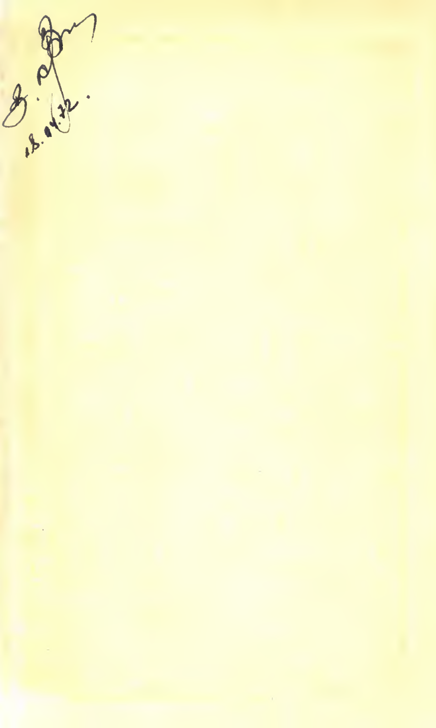
№123915 *

ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ

ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

R-133042

410 576 1055 2722



ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ

ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

РОМАН

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА • 1972

Р 2
В 75

Роман Евгения Воробьева «Земля, до востребования» впервые рассказывает о героической жизни советского разведчика Льва Маневича (Этьена). Он был одним из самых талантливых учеников и деятельных помощников Яна Берзина (Старика), руководителя советской военной разведки в 20-е и 30-е годы.

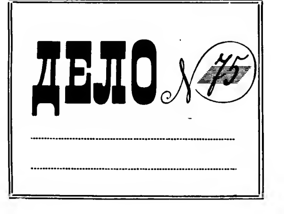
Для Этьена и его боевых соратников война началась задолго до 22 июня 1941 года, до нападения Гитлера на Советский Союз, вдали от его границ.

ХУДОЖНИК ВЛ. МЕДВЕДЕВ

7-3-2
67—72

В-71 / Ах/52	**СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО**

Хранить вечно.



В ОДНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

2Т		начато ________ 19 ______ окончено ________ 19 ______

№ 123915

2722

1055

МЕСТО

ДЛЯ

ФОТОГРАФИИ

576

410

R-133042

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Да, весна в этом году припозднилась. Горожане не доверяют пасмурному небу и не расстаются с зонтиками. Извозчичьи экипажи день-деньской разъезжают с поднятым верхом, а кучера не снимают плащей, отлакированных ливнями, дождями, дождиками и дождичками. Автомобили блестят, словно их заново выкупали в краске. Продавцы сувениров на пьяцца Дуомо не один раз на дню прикрывают лотки клеенчатыми фартуками. Уличные фотографы таскают громоздкие аппараты в непромокаемых чехлах, а сами не расстаются с зонтиками. Голуби и фотографы кружат по площади в полном согласии. Голуби совсем не пугливы, а фотографы сами могут напугать бесцеремонной привязчивостью. Карманы у фотографов набиты вареной кукурузой: подкормка нужна, чтобы заснять клиента среди порхающей стаи, чтобы за крыльями не видно было самого воздуха и мокрой мостовой. И подобно тому, как голуби хищно дерутся зимой из-за нескольких зерен, фотографы чаще враждуют и ссорятся между собой в такое вот холодное ненастье, когда мало туристов. Милан сегодня верен себе—небо прохудилось, моросит дождь. Так некстати Этьен оказался без зонтика. Он поднял воротник пальто и втянул руки поглубже в рукава — уберечь крахмальную манишку, уберечь манжеты. На пьяцца Дуомо он прошел улочкой Томасо Гросси. Одни прохожие там

при встречах вскидывают зонтик в руке, вытянутой вверх, а другие опускают зонтик как можно ниже — иначе не разминуться на узеньком тротуаре.

Небо стылое, в рваных тучах. То смутно видна, то исчезает золоченая статуя Мадоннины на шпиле собора. Туман стелется над Миланом холодной, промозглой тяжестью. На пьяцца Дуомо уже горят все восемь фонарей, каждый о шести лампионах, но светят они тускло, как за матовыми и пыльными стеклами.

Этьену с трудом верилось, что часа два назад его в полете ослепляло яркое солнце. Тень от учебного биплана «летающая стрекоза» скользила этажеркой по облачной кровле, прикрывшей Милан. Лишь Мадоннина время от времени показывалась в облачных просветах, чтобы блеснуть позолоченным одеянием и снова скрыться. Асфальт черно лоснился от дождя, все крыши сделались аспидного цвета.

Авиатор Лионелло предполагал, что они утром отправятся в тренировочный полет то ли на аэродром Тревизо, северо-западнее Венеции, то ли на аэродром Христофора Колумба под Генуей. Но куда полетишь, если, как говорят летчики, «консолей не видно»? В такую погоду только упражняться в слепых полетах или летать над знакомыми ориентирами.

На посадочной полосе блестели рябые от ветра, черные лужи. Этьен решился сесть только с третьего захода и все-таки посадил машину грубо, «с плюхом».

Инструктор Лионелло, весь в кожаных доспехах, щелкнул фотоаппаратом, замахал рукой, что-то закричал, но слов нельзя было разобрать из-за шума мотора. «Летающая стрекоза» подрулила и остановилась.

Кертнер отстегнул ремни, сдвинул очки на лоб. Взгляд его привлек стоящий неподалеку истребитель с немецкими опознавательными знаками. Кертнер вылез на крыло, поглядел на истребитель.

— Ну как, Лионелло? — с напускным самодовольством спросил Кертнер, снимая шлем с очками.

— Еще одна такая посадка — и остаток своей жизни вы пролежите в гипсе! — Лионелло не принял шутливого тона. — Захотелось поиграть с грозой? За каким дьяво-

лом вас понесло в центр города? Поцеловаться с Мадонниной? Или снести макушку Дуомо?

Кертнер спрыгнул на мокрую траву и увидел, как рабочие подтаскивают брезент к истребителю. Ими распоряжался летчик в элегантном комбинезоне.

— Вот так встреча! — Кертнер подбежал к летчику, они обнялись. Кертнер повернулся к Лионелло. — Синьор Аугусто Агирре. В прошлом году на воздушных гонках в Англии занял второе место. Кубок короля Георга просто выскользнул из его рук. А это, — Кертнер повернулся, — высокочтимый синьор Лионелло, мой инструктор. Кажется, сегодня он гордится своим учеником...

— ...особенно его идеальной посадкой, — нахмурился Лионелло. — Держите, — он протянул фотоаппарат Кертнеру. — Сможете полюбоваться собой.

— Подождите минутку, — попросил Кертнер, не беря фотоаппарата. — Пожалуйста, еще снимок. На память.

Кертнер и Агирре стали в обнимку на фоне истребителя. Лионелло щелкнул затвором, отдал фотоаппарат и ушел.

— Каким ветром? — спросил Кертнер.

— Контракт с Хейнкелем. Перегоняю эти игрушки за Пиренеи. Но... — Агирре показал на грозовое небо.

Рабочие укрывали истребитель брезентом. Агирре помогал им, а между делом спросил:

— Опять собираешься в гости к королю Георгу?

— В этом году кубок разыграют без меня.

— Как всегда, коммерция мешает авиации?

Кертнер беспомощно развел руками.

— Поужинаем? — предложил Агирре.

— Сегодня в «Ла Скала» дают «Бал-маскарад», поет Титто Гобби. Вот если после театра...

— Позже буду занят... Понимаешь, обещал навестить одну скучающую синьору. Здесь замешана женская честь и достоинство испанского офицера... Тебе могу признаться: рад, что застрял в Милане...

— Если не улетишь, звони утром. — Кертнер протянул визитную карточку.

— Гуд лак, фрэнд!

— Ариведерчи, амиго!

Из-за Агирре он вынужденно задержался на аэродроме. А потом еще нужно было добраться из местечка Чинизелло до города, заехать домой, наскоро переодеться...

Чтобы не промокнуть, уберечься от грязных брызг и вконец не испачкать лакированные туфли, Этьен пошел галереей Виктора-Эммануила. Мозаичный пол галереи пятнали следы, только они напоминали о слякоти.

У кафе Биффи, по обыкновению, околачивались биржевые агенты, валютчики, маклеры и просто любители посудачить о новостях, вычитанных из газет, а еще охотнее — о новостях, которых газеты не сообщают. В воздухе держался стойкий запах сигар и папирос, все прогуливались с зонтиками под мышкой.

2

Этьен едва не опоздал в театр. Войдя в партер, он мельком взглянул на часы, висящие над занавесом, — две минуты до начала.

У знатных театралов считается признаком хорошего тона прийти в самую последнюю минуту. Все взоры обращаются на тех, кто появился в пустовавшей ложе бенуара или величественно, неторопливо следует по проходу между кресел.

Шествуют такие театралы с провожатым — маститым седовласым капельдинером, в черном камзоле с крахмальным воротником. На массивной цепи висит бронзовая медаль; один конец цепи опущен за спину, другой свисает до пупа; на медали чеканный абрис театра. Капельдинеры встречают Этьена как хорошего знакомого. Вот что значит щедро платить за программы!

Ингрид приходит с неизменной пунктуальностью, не рано и не поздно. Она посматривает на часы под потолком и напряженно ждет, когда появится ее всегдашний сосед. Но как только Этьен усядется рядом, она притворится равнодушной.

В руках у Ингрид неизменная черная папка с надписью «ноты». Многие музыканты, студенты консерватории слушают оперу, осторожно перелистывая в полумраке

партитуру, сверяясь с ней, устраивая негласный экзамен певцам, дирижеру и самим себе. А еще больше придирчивых слушателей и строгих ценителей — на галерке. Там перелистываемые ноты шуршат, как страницы в читальном зале библиотеки.

Тускнеет люстра, обессиленная реостатом, вот-вот она померкнет вовсе, и белый с золотом зал погрузится в темноту...

Этьен так хотел прийти сегодня пораньше! Есть своя прелесть в том, чтобы явиться в «Ла Скала» минут за десять — пятнадцать до начала, отдышаться в кресле от кутерьмы, суматохи и дребедени делового дня. А потом следить, как заполняется впадина оркестра, как там становится все теснее, толкотнее; слушать, как музыканты настраивают инструменты, наигрывают вразнобой, репетируют напоследок каждый что-то свое, а в звучной дисгармонии выделяются медные голоса труб, флейта, английский рожок...

Зал погружается в темноту, и лампочки в оркестре светят ярче. Через светящийся оркестр пробирается дирижер, музыканты приветствуют его постукиванием смычков по пюпитрам. Он торопливо кивает и, перед тем как подняться на возвышение, здоровается с первой скрипкой.

Едва дирижер появляется за пультом, раздаются аплодисменты. Он поворачивается к залу и озабоченно раскланивается. Этьену из шестого ряда виден его безукоризненный пробор; волосы приглажены и блестят.

Но вот дирижер подымает свою державную, магическую палочку, придерживая ее пальцами левой руки за кончик, словно одной рукой не удержать...

Только что он в первый раз взмахнул палочкой, а Этьен уже всецело в его власти. В памяти оживают полузабытые строчки: уже померкла ясность взора, и скрипка под смычок легла, и злая воля дирижера по арфам ветер пронесла... Чьи стихи? И почему — злая воля? Скорее — добрая воля. Все-таки: чьи строчки? Спросить в антракте у Ингрид? Бессмысленно. Она подолгу декламирует Гейне и Рильке, но в русской поэзии — ни бум-бум...

Этьен заметил вокруг себя несколько лиц, примелькавшихся с начала сезона. Боязливо скосил глаза влево и увидел перекормленную белесую девицу; она, как обычно, сидит через два кресла от него в пятом ряду. Стал ждать, когда девица начнет шуршать программкой или примется за свои конфеты, упакованные в хрустящие бумажки, а сверх того еще и в фольгу, — черт бы побрал эту завертку, эту конфету и эту девицу фламандского покроя! Справа сидит старушенция с глазами на мокром месте; в чувствительных местах она начинает подозрительно хлюпать носом. А с симпатичным старичком, по-видимому из бывших певцов, Этьен даже раскланивается. Старичок слушает самозабвенно и страдает от одиночества. После верхней ноты, виртуозно взятой певцом, старичок безмолвно повертывается к Этьену, и тот понимающе кивает.

Этьен сидит насупившись, сложив руки на груди, и, когда ему невтерпеж поделиться своими восторгами, тоже находит безмолвное понимание у этого симпатичного старичка.

Этьен очень любит «Бал-маскарад» Верди, но недоволен певцом, который поет партию графа Ричарда Варвика. Может, потому так раздражал посредственный тенор, что он пел в компании с выдающимися артистами и что недавно Этьен слышал в этой партии самого Беньямино Джильи?

В первом антракте Этьен признался Ингрид, что уже примирился с тенором, нет худа без добра, он внимательнее, чем обычно, вслушивается в оркестр, а дирижирует сегодня знаменитый Серафин.

Чем пленяет дирижер? Прежде всего тем, что сам восхищен музыкой. Плавные движения рук, мелодия струится с кончиков длинных пальцев. При пьяниссимо он гасит звук ладонью — «Тише, тише, умоляю вас, тише!» — и прикладывает пальцы к губам, словно говорит кому-то в оркестре: «Об этом ни гугу». При любовных объяснениях графа и Амелии медные инструменты безмолвствуют, а когда звучит воинственная тема заговора — нечего делать арфам и скрипкам. В эти мгновенья дирижер протыкает, разрезает воздух своей палочкой, он

изо всех сил сжимает воздух в кулак, будто воздух такой упругий, что с трудом поддается сжатию. Движеиия его рук стаиовятся неестествеиио угловатыми — как бы ие домахался до вывиха в локтях. Копна растрепаниых волос, — от прически не осталось следа. Ои торопливо листает страницы, ие заглядывая в партитуру, оркестр мчится все быстрее, увлекая за собой слушателей и самого маэстро.

Обычно в первом антракте Иигрид брала свою папку с нотами и отправлялась в курительную, а Этьеи сидел в опустевшем, притихшем партере и делал записи в блокиоте.

Однако сегодня сосед Ингрид был неузнаваем, будто его подмеиили.

Сегодня, вопреки обычаю, он в курительиую Ингрид ие отпустил, а повел в буфет, угостил кофе с тортом, купил коробку ее любимого шоколада «Лиидт» с горчиикой и вообще был иеобычио любезеи и виимателеи.

— У меия медвежий аппетит к горькому шоколаду...

— Русские говорят — не медвежий, а волчий аппетит, — поправил по-иемецки Этьеи.

— Но аппетит, несмотря иа ошибку, у меия не пропал! — упрямо сказала Ингрид.

Оиа поглядывала на своего иовоявлеииого кавалера и только удивлеино подымала брови, а ои делал вид, что ие замечает ее тревожиого иедоумеиия.

Бо́льшую часть первого антракта ои прилежио флаиировал с рослой фрейлейи по фойе. Дождь прекратился, видимо, собирался с иовыми силами, и зрители заполиили балкон над театральным подъездом.

Сегодня для горожаи погода лишь иеприятиая, скверная, а для Этьена оиа оказалась еще и иелетиой. Про густую облачиость летчики говорят «молоко». Но сегодия ои хлебал «сгущеиное молоко». Красиея, вылез он после неудачиой посадки из кабины учебиого самолета «авро», который здесь называют «летающей стрекозой». Пришлось выслушать длиниое нравоучение иистpуктора Лиоиелло, который при этом раздраженно похлопывал себя по кожаиым брюкам кожаными перчатками с раструбами.

«С воздушного корабля — на «Бал-маскарад», — усмехнулся про себя Этьен. Но ему так хотелось побывать сегодня в опере! На днях он уезжает в Германию и может там задержаться недели на две. Когда-то он вновь выберется в «Ла Скала»?

Этьен и фрейлейн Ингрид тоже постояли на балконе, подышали влажным воздухом, покурили. Совсем близко от балкона, сразу же за трамвайными рельсами, идущими вдоль фасада театра, стоит бронзовый Леонардо да Винчи. На пьедестале указано только его имя, и в этой всенародной фамильярности — дань гению. Леонардо стоит, обратившись лицом к балкону, будто общается с публикой, а фонари высвечивают его фигуру.

Света фонарей не хватает на всю площадь, но Этьен отчетливо представляет себе каждый из домов, обступивших ее. Лишь в этой стороне площади звучит музыка, а с трех других сторон — в здании Итальянского коммерческого банка, в бухгалтерии муниципалитета и в каком-то обществе взаимного кредита — дни напролет считают, вертят ручки арифмометров и выводят дебет-кредит...

— Даже на вас, герр Кертнер, музыка действует благотворительно, — донесся будто издалека голос Ингрид; она упрямо практиковалась в русской речи, когда рядом никого не было.

— Благотворно, — поправил ее Этьен вполголоса и продолжал по-немецки: — Гм, всего одна коробка шоколада — и вы уже делаете мне комплименты.

— Не говорите гадостей. Только плохие люди равнодушны к музыке.

— А как тогда быть с Сальери?

— «Моцарт и Сальери»? — Ингрид осмотрелась и полушепотом спросила по-русски: — Разве это не есть легенда? Я думала, одна из сказок вашего Пушкина. Как там сказано? Идет направо — заводит песенку, идет налево — говорит сказку...

Никто сейчас не мог их подслушать, и все-таки Этьен считал упражнения Ингрид неуместными. Сам он сказал по-немецки:

— А может, «Моцарт и Сальери» не легенда, а быль? Может, Сальери отравил Моцарта? Из черной зависти...

Этьен вглядывался в темные очертания площади перед «Ла Скала», а виделась ему в тот момент старая Вена; по соседству с костелом иезуитов стоит здание музыкальной школы, где юный Шуберт обучался под руководством Сальери. Не по тем ли кривоколенным переулкам двигалась похоронная процессия от собора Святого Стефана, когда хоронили Моцарта? . .

Этьену не удалось задержаться мыслями в старой Вене — Ингрид продолжала разглагольствовать. Она убеждена: многие сегодня уйдут из театра облагороженными, музыка сделает их более умными, чуткими, счастливыми, чем они были еще вчера.

— Счастливее — могу согласиться. А вот умнее... Боюсь, мы с вами этого правила не подтверждаем.

— Бойтесь, пожалуйста, только за себя, герр Кертнер. Что касается меня, то я, — и добавила по-русски, — сегодня поумничала...

— Поумнела, — шепнул ей в ухо Этьен, не наклоняясь; оба одного роста.

— Простите, поумнела. Мне жаль тех, кто не есть любитель музыки. Кому косолапый Михель Топтыгин — как это говорят русские? — сел на ухо.

— Наступил на ухо, — совсем тихо уточнил Этьен.

— Простите, наступил, — Ингрид потерла себе ухо так, как это делают, боясь его обморозить.

Второй акт принес триумф знаменитому баритону, исполнявшему партию Ренато. Да, Титто Гобби умеет долго держать дыхание на верхней ноте, вызывая сердцебиение всех шести ярусов. Да, он умеет петь с любовным оттенком в голосе, то, что у итальянских любителей оперы называется «аморозо». Каждая его ария или ария Джины Чилья, исполнявшей партию Амелии, заканчивалась неминуемой овацией.

Ладонью, поднятой над затылком, дирижер отгораживался от овации, готовой вот-вот сорваться, защищал заключительные аккорды оркестра от криков «браво, брависсимо».

А конфетная бумажка отвратительно шуршит. Ну сколько можно с ней возиться? Да разверни, наконец, свою конфету, чертова кикимора!

Во втором аитракте певцы виовь выходили иа авансцеиу, и красавец Реиато с заучеииой грацией раскланивался, прииимал цветы, делился ими с Амелией и графом, показывал великодушным жестом иа маэстро и на весь оркестр.

Иигрид ушла в курительиую, а Этьеи остался в опустевшем партере. Он держал в руке блокиот, сосредоточеиио писал, и аитракт показался ему удивительно коротким.

В третьем, последием аитракте к Этьеиу вериулась общительиость и галаитность. Оии сиова флаиировали по фойе, добровольио подчииив себя круговороту фраков, чериых костюмов, вечериих платьев — обнаженные плечи, обиаженные спины. Блистающее изящество, а рядом — безвкусица, путешествующая без виз. Чем богаче безвкусиая женщииа, тем у иее больше возможностей поразить всех отсутствием вкуса; иа иее удивлеино оглядываются, а оиа уверeиа, что ею любуются.

Кертнер расклаиялся с каким-то важиым толстяком.

— Кто это? — спросила Ингрид.

— В кармане у этого толстяка все мое состояиие... Вице-директор милаиского «Баико Саито Спирито».

— С виучкой?

— С жеиой. Оиа любит есть коифеты под музыку.

Кертиер поклоиился еще одному важному сииьору с бакенбардами.

— Удивительно похож на императора Фраица-Иосифа, — сказала Ингрид.

— Это ему даже положеио по должиости. Наш с вами иовый австрийский коисул.

Старый меломаи, сосед по креслу, подошел к Кертнеру с партитурой в руке, раскрыл иоты на загиутой страиице и сказал тоиом заговорщика:

— Теперь все дело за графом.

— Вы имеете в виду предсмертиую арию Ричарда Варвика?

— Конечно! Если ои чисто не возьмет верхиее «до», я умру вместе с ним.

С главиым фойе соседствует театральиый музей. В первом антракте в музее всегда миоголюдно; во вто-

ром — пустовато, а в третьем — и вовсе пустынно. Иностранные туристы, провинциалы уже в первом антракте поглазели на афиши, фотографии, эскизы костюмов и декораций, искусно подсвеченные макеты постановок.

Ингрид и Этьен, по обыкновению, заглянули туда в последнем антракте. Они прошли в тот угол зала, где висят фотографии Анны Павловой и Федора Шаляпина.

И сегодня Ингрид крайне заинтересованно разглядывала экспонаты музея, поставив папку с нотами на застекленный столик.

Этьен вытащил бумаги из внутреннего кармана пиджака, вырвал листок из блокнота и положил все в папку с черным лакированным переплетом. Одновременно он переложил к себе в карман письмо из папки Ингрид.

Звонок зовет в зал, последний акт, начинается бал-маскарад. Заговорщикам удалось наконец узнать, под какой маской скрывается граф. Вскоре потерявшего бдительность графа пырнули кинжалом, а он, перед тем как окончательно проститься с жизнью, спел длинную арию. Этьен шепнул Ингрид на ухо:

— Умер при попытке взять верхнее «до»...

Граф Ричард Варвик еще не испустил дух, а белесая сластена зашуршала конфетой.

Трагический финал не испортил Этьену настроения, и он шел к выходу, посмеиваясь:

— Тоже мне заговорщики! Не могли выяснить, под какой маской скрывается граф. Да кто хуже всех поет, тот и граф...

Капельдинеры, похожие на министров, шеренгой стояли в полукруглом коридоре, держа пальто, шляпы, зонтики сиятельных посетителей, которым не пристало ждать и толкаться в очереди.

Сколько условленных свиданий под каменными сводами подъезда! Дамы и кавалеры в суетливой толпе выискивали своих кавалеров и дам.

Этьен и фрейлейн Ингрид подошли к трамвайной остановке. Ждать пришлось долго. Уже проследовали все номера, иные дважды, а трамвая Ингрид все не было. По-видимому, тот же запропастившийся номер поджи-

дал мужчина с непокрытой головой, в серых брюках, он стоял рядом на остановке.

Наконец-то долгожданный трамвай отошел, переполненный театралами.

— Счастливой ночи! — крикнул Этьен вдогонку; то были первые слова, сказанные им сегодня вечером по-итальянски.

Ингрид помахала зонтиком, стоя на задней площадке вагона.

«Русские желают «спокойной ночи», немцы — «хорошей ночи», итальянцы — «доброй ночи», а иногда «счастливой ночи». — Этьен все еще глядел вслед трамваю, исчезнувшему за поворотом. — В напутствии на сон грядущий тоже сказывается характер народа. . .»

Этьен собрался идти своей дорогой, повернулся и заметил на другом конце каменного островка мужчину без шляпы, в светло-серых брюках. Почему-то он не уехал трамваем, который так долго высматривал.

А что касается Ингрид, то Этьен весьма кстати и ко времени пожелал ей сегодня именно счастливой ночи. Разве можно что-нибудь лучшее пожелать радистке перед тем, как она потаенно выходит в зашифрованный эфир?

3

Ингрид ехала из «Ла Скала» на отдаленную виа Новаро и напряженно гадала: чем вызвана перемена в поведении Кертнера, почему он сегодня играл роль любезного кавалера?

Она не могла знать о разговоре Джаннины с кассиршей театра, который состоялся в среду. В тот день секретарша «Эврики» Джаннина ездила за билетами на «Бал-маскарад», заказанными для Кертнера.

— Простите за любопытство,— спросила кассирша,— кто эта немка, с которой ваш патрон всегда ходит в театр?

— Она тоже из Австрии.

— Студентка консерватории?

— Кажется.

Наконец кассирша нашла конверт с надписью: «Синьору Конраду Кертнеру».

— Как всегда, в шестом ряду. Два кресла, пятое и шестое... Ваш патрон не женат?

— Нет.

— Такой интересный, почти молодой мужчина — и старый холостяк?

— Да.

— Тогда все ясно. Это его невеста?

— Право, не знаю.

— А красивая эта австриячка! Правда, могла бы быть чуть пониже...

— Я никогда ее не видела, — сказала секретарша отчужденным тоном и, взяв билеты, поклонилась кассирше.

Джаннина вышла на улицу и остановилась у афишной тумбы. Двое парней обратили внимание на Джаннину и попытались с ней заговорить, но она не удостоила их ответом.

Джаннина — стройная, с хорошо очерченной грудью, на легких и длинных ногах. Матовый цвет лица, волнистый лоск волос, большие темно-серые глаза, верхнюю губу чуть-чуть оттеняет пушок.

Она ускорила шаг. За углом, к неудовольствию парней, ее поджидал Тоскано. Он сидел в маленьком открытом «фиате». Тоскано был в вечернем костюме, он то и дело зачесывал назад и приглаживал блестящие волосы, которые росли низко, закрывая лоб.

Едва Джаннина села в машину, Тоскано обнял ее, она отвела руку жениха.

— А теперь ты свободна?

— Тебе придется подождать, у меня еще дела в конторе.

Вручая билеты своему шефу, Джаннина выглядела весьма озабоченной. Она хмурилась, морщила чистый лоб и не сразу решилась пересказать свой разговор с кассиршей. Кертнер поблагодарил секретаршу и притворился беззаботным:

— Обычное женское любопытство!

Но он понимал — неспроста в кассе выспрашивают, с кем он ходит в театр.

Пожалуй, Джаниииа кстати сказала касснрше, что Иигрид австриячка. И самое естествениое — сыграть роль кавалера, чуть лн не жеинха Иигрид, а в дальнейшем вести себя сообразно такому зваиню.

Этьена ие встревожила бы так ииформация секретарши, еслн бы за два дия до того, в поиедельинк, ои ие получил от иее другого тревожиого сигиала.

Она отправляла деловую телеграмму. Кертиер просил предупредить иа телеграфе — телеграмма должна уйти иемедлеиио. А если линия перегружеиа, пусть возьмут тройной тариф и отправят как срочную.

Джаниииа сдала телеграмму, а вспоминла о просьбе шефа, когда уже вышла на улицу. Бегом вернулась н увндела, что телеграфист, иещадно дымя снгаретой, списывает текст сдаииой ею телеграммы в какую-то книжечку.

Она бесшумно удалилась, спустя несколько мииут подошла к окошку заново, передала просьбу своего шефа. Телеграфнст завернл, что телеграмма уйдет без задержки.

— Как выглядит телеграфнст?

— Сииьор с иездоровым цветом лнца. Мешкн под глазамн. Прокуреиные, с проседью усы. Желтые от табака пальцы.

Этьеиа не иа шутку встревожила иовость, принесеиная Джаиннной.

«Надо сменнть почтовое отделение, — поспешио решил ои. — Излншие любопытный субъект сдает телеграммы в тайиую полицию. Пускай немиого отдохнет. Телеграммы-то я отправляю каждый деиь. . .»

Нет, разумиее сделать вид, что ои ии о чем не осведомлеи, зато характер корреспоиденции измеиить. Наряду с деловыми телеграммами полезио посылать лнрические, которые аттестовалн бы подателя как болтлнвого влюблениого. Сбить с толку шпнона-телеграфиста н дезииформировать тех, кто заставляет этого сииьора с иездоровым цветом лица усердно заинматься грязиым чистописаиием.

Джаниниа и ие подозревает, какую услугу оказала. Застукала стукача! Подсказала, как надо вести себя с

Ингрид. Сегодня в «Ла Скала» нужно демонстративно и публично оказывать ей больше знаков внимания.

У Джаннины хватает такта не задавать своему шефу праздных вопросов, когда он бывает сильно озабочен или встревожен. Она умеет отстукивать на пишущей машинке скучнейшие деловые коммерческие письма, но при этом мурлычет фривольные песенки. На стене позади ее столика висит маленькое распятие, а по соседству на той же стене она повесила легкомысленную, но весьма красочную и зазывную рекламную картинку: «При наличии косметики Коти ни одна женщина не имеет права быть непривлекательной». А к чему косметика Коти красивой синьорине с вишневыми губами, с нежным румянцем на матово-смуглых щеках? Неужели жениху Джаннины нравится, что она красит ресницы?

В секретарше многое от беззаботной мамзели, и в то же время с ней можно говорить о самых серьезных вещах. Она не жеманничает, не кривляется, а наивность ее вполне искренняя. «А это очень больно, когда болят зубы?» Сама она смеется так, что видны все тридцать два зуба. «А что вы чувствуете, когда у вас болит голова?» Святая непосредственность, порожденная молодостью и избытком здоровья!

Она получила обычное в те годы для всей итальянской молодежи воспитание в фашистском духе и тоже с энтузиазмом декламировала стихотворные упражнения Муссолини. Но, уверяла Джаннина, по мере того как она становилась старше и училась думать самостоятельно, она проникалась критическим отношением к тому, что видела вокруг себя и о чем читала в крикливых, хвастливых газетах. А может быть, с годами сильнее сказывалась ее душевная преданность отцу, который сделался жертвой черных рубашек? ..

Изредка ей звонил из Турина жених, они почему-то всегда ссорились по телефону. Этьен удивился, нечаянно подслушав разговор: она спорила с женихом по поводу каких-то газетных сообщений, называя их лживыми, да так горячо, резко.

Жених знает об этих настроениях и взглядах Джаннины и вынужден с ними мириться. Но вот понимает ли,

что он и Джаннина — совершенно разные люди? Достаточно ли он умен, чтобы разглядеть в своей красотке наблюдательность и оценить ее ум? . .

После «Бала-маскарада», после того, как он пожелал Ингрид счастливой ночи, Этьен отправился на телеграф. Почему бы не послать телеграмму родителям Ингрид, сообщить об ее успехах в музыке, о том, как она хорошо выглядит, как скучает без родных, как мечтает приехать в Австрию на пасхальные каникулы?

За стеклянным окошком сидел в облачке табачного дыма пожилой телеграфист болезненного вида.

Пока он перечитывал слова на бланке, лицо его было непроницаемо. Но, увидев подпись на телеграмме, он не удержался и взглянул на подателя с неумело скрытым любопытством.

В первый раз этот австриец, которым интересуется тайная полиция, сам сдает телеграмму.

Этьен отошел от окошка, посмеиваясь, глаза его улыбались. Пусть телеграфист перепишет для тайной полиции его длинную телеграмму, полную сентиментальной галиматьи в чисто немецком духе.

А телеграфист даже встал со стула, провожая подателя оценивающим взглядом: благообразный брюнет средних лет, походка непринужденная, одет с иголочки. Откуда принесло этого франта? Из театра? Со званого ужина? Со свидания? На нем вечерний костюм, черный в белую полоску; костюм облегает спортивную фигуру, плечи явно не ватные.

На всякий случай нужно к этому австрийцу приглядеться внимательнее. И телеграфист смотрел с неприязненной зоркостью, пока за австрийцем не захлопнулась дверь. . .

4

У аристократа есть родословная, и пусть он даже беден, как церковная мышь, — титул всегда при нем. Богатый коммерсант обходится без титула, но обязан иметь достоверную деловую биографию.

Если отец передал свое торговое дело сыну, или кто-

то женился на невесте с богатым приданым, или нежданно-негаданно получил наследство от тетушки-дядюшки — тут все очевидно, все яснее ясного, все объяснимо, и новоявленный богач может вызвать скорее зависть, чем подозрение.

Но в среде предпринимателей, негоциантов, коммерсантов всегда чужаком будет человек, никому до того не известный, который таинственно свалился на землю с мешком денег. А кто его видел между небом и землей? Известно, что в пустоте бумажка и монета падают с одинаковым ускорением. Но как в финансовой пустоте образовался толстый пакет с акциями?

На грешной земле, на биржах и в банках, все подчинено закону тяготения, и этот закон распространяется не только на коммерсанта, но и на его кошелек, независимо от того, набит ли он золотыми монетами или ассигнациями.

У вас много денег, вы хотите, высокочтимый синьор, открыть счет в банке, сделать крупный вклад? Соблаговолите обратиться в ближайшую сберегательную кассу. В солидном банке не откроют текущий счет и не вручат чековую книжку тому, кто обладает капиталом сомнительного происхождения.

И ошибочно думать, что застрахован от недоверия и подозрительного внимания к себе коммерсант, который ведет широкий образ жизни — околачивается на ипподроме, в казино, присутствует на парадных приемах в муниципалитете или в торговой палате, день напролет просиживает за столиком фешенебельного кафе, а ужинает в самом дорогом ресторане и, не заглядывая в меню, дает распоряжения непосредственно шеф-повару, а заодно утверждает и репертуар ресторанного оркестра.

Такой образ жизни, пожалуй, к лицу удачливому спекулянту валютой, какому-нибудь маклеру высокого пошиба или агенту, занятому махинациями с векселями, акциями, сертификатами, облигациями, но совсем негож для солидного коммерсанта.

В коммерческом мире всегда вызывает наибольшее доверие тот, кто слывет тружеником, кто постоянно занят, эдакий толстосум-трудяга, — пусть он даже делает

то, что вполие мог бы поручить юрисконсульту, управляющему, старшему приказчику, бухгалтеру, инкассатору, своему шоферу, наконец.

Не первый год Кертнер был связан с коиструкторами спортивных самолетов, планеров, двигателей, аккумуляторов, с изобретателями всевозможных точных приборов, со специалистами по авиациоиному оборудованию. Ои встречался с этими людьми на международных ярмарках, на выставках, на соревнованиях планеристов и аэролюбителей, на испытаниях в аэроклубе. Он ежегодио ездил в Англию, где на воздушных гонках разыгрывался королевский кубок. Особенно снльное впечатление произвела на последних гонках модель компании «Джеиерал айркрафт лимитед» — двухмоторный моноплан с низко расположенными плоскостями. Самолет умел летать и набирать высоту на одном моторе — неслыханное достижение! Кертнер был при том, как авиаконструктор Вильям Стефеисон получил из рук короля Георга V золотой кубок. Кертнер познакомился с капитаном Шефилдом, который пилотировал машииу во время рекордного полета. Кертнера представили министру авиации лорду Лондондерри, он завязал много новых полезных знакомств. Нередко у конструкторов, инженеров, изобретателей возникала необходимость оформить авторский патент на то или иное изобретение или приобрести лицензию на изобретение, уже зарегистрированое в Международном бюро патеитов. В таких случаях не сыскать более умелого, знающего и добросовестного человека, чем Конрад Кертнер.

В тридцатые годы Вена была местом, где функцнонировало много разнообразных и разнокалиберных контор и фирм, в их числе бюро изобретеиий и патентов «Эврика» на Мариахильферштрассе.

«Эврика» пользовалась в деловых кругах неплохой репутацней, и тут сыграли роль два обстоятельства. Первое — Кертнер тренируется как пнлот и часто бывает на аэродромах, у иего широкий круг зиакомств среди авиаторов, планеристов, мотористов, техников, конструкторов, иаладчиков.

Второе обстоятельство — у иего текущий счет в «Дей-

чe банк», этот счет указан на бланках и конвертах «Эврики». Не сразу текущий счет стал таким весомым, Кертнеру для этого понадобилось несколько лет самой энергичной деятельности.

«Оборотистый парень этот Конрад Кертнер! — удивлялся Этьен. — Откуда только у него взялась коммерческая жилка? Насколько я знаю, у нас в роду торгашей не было».

Что касается солидного «Дейче банк», то Кертнер стал туда вхож лишь потому, что этот банк является в Германии и Австрии корреспондентом «Чертеред бэнк оф Чайна». С «Чертеред бэнк» долгие годы был связан фабрикант Скарбек, который тогда работал в Китае и в Маньчжурии и сумел рекомендовать в «Дейче банк» Кертнера, уезжавшего в Германию.

Вскоре владелец «Эврики» стал зарабатывать столько, что содержал и свою контору и своих помощников. Но средств для того, чтобы поставить дело на широкую ногу, не хватало, и Кертнер стал подыскивать себе компаньона. Впрочем, для этого были и другие основания, вовсе не финансового характера: единоличный владелец скорее привлечет к себе внимание тайной полиции.

На международной выставке в Лейпциге Кертнер познакомился с синьором Паоло Паганьоло, итальянским авиаинженером и благонадежным дельцом. Позже они встречались на деловой почве в Вене, Познани, Линце, Цюрихе и Милане. Кертнер предложил Паоло Паганьоло стать компаньоном, и тот согласился.

Новые компаньоны рассудили, что в Милане клиентура у них будет шире, чем в Вене. Промышленные центры Ломбардии открывали перед «Эврикой» обширное поле деятельности.

Компаньоны нашли в Милане приличное помещение для своего бюро, а этажом выше в том же доме Кертнер снял маленькую, двухкомнатную квартирку; он все жаловался, что зимой зябнет, что ему и его ревматизму недостаточно двух худосочных секций батареи центрального отопления, которые в здешних домах бывают чуть-чуть тепленькими; наконец-то ему удалось найти кабинет с камином.

Кертнер поместил в миланской торгово-промышленной газете «Иль Соле» объявление: «Конторе «Эврика» нужна секретарша. Предложения направлять по адресу: почтовый ящик № 172, Главный почтамт, Милан».

Предложений поступило множество, по мнению Паганьоло — несколько весьма подходящих. Но почему его компаньон так настаивает на кандидатуре синьорины Джаннины Эспозито? И стенографию она знает слабо, и опыта работы у нее маловато. Только потому, что она — такая смазливая и бойкая на язык? . .

Паганьоло, не в пример своему компаньону, мало интересовался судьбой отца синьорины. Некогда тот состоял в коммунистической ячейке, распространял газету, которую выпускал Антонио Грамши, был одним из руководителей забастовки на заводе «Капрони» и умер в городской больнице Турина от побоев, после драки у заводских ворот с чернорубашечниками. Бывший товарищ отца, а ныне ее отчим и сейчас работает мастером сборочного цеха на том самом авиационном заводе. Не знал Паганьоло также и о том, что у синьорины есть жених. . .

Паганьоло с самого начала хотел поставить дело на широкую ногу. А почему бы «Эврике» не завести свой автомобиль? Однако Кертнер не поддержал Паганьоло; тот несколько удивился, но на своем предложении не настаивал.

Кертнер мог купить легковой автомобиль не только для конторы «Эврика», но и для личных нужд — не такая это сверхроскошь. «Фиат» выпуска 1935 года стоит 25—30 тысяч лир, то есть 1250—1500 долларов. А обстоятельства заставят — автомобиль последней модели можно всегда продать со скидкой. Обтекаемый кузов, множество мелких усовершенствований, феноменальная скорость — до ста километров в час! Международное удостоверение на право водить автомобиль лежит в кармане, вот она, красная книжка, увы, бесполезная. Иногда просто чешутся руки, так хочется посидеть за баранкой! Но он отказался от заманчивой мысли. Зачем обращать на себя внимание частыми поездками? Одно дело — таксомоторы, извозчики, а другое — машина с постоянным номером, за ней следить куда легче.

Не раз за годы коммерческой деятельности Кертнер обращался в свой «Дейче банк» с просьбами, которые считались общепринятыми: не откажите, дескать, в любезности проверить кредитоспособность такой-то фирмы. Обещаю не разглашать полученных сведений. С уважением такой-то. Номер текущего счета такой-то.

Банк конфиденциально предоставлял справку, и вкладчик получал возможность судить, насколько солидны векселя проверяемой фирмы.

Кертнер ни минуты не сомневался, что торговая палата в Милане начнет теперь и о нем собирать сведения, что и на него в местном банке будет заведено досье, о нем тоже наводят справки и дают их любопытствующим вкладчикам.

Но кредитоспособность «Эврики» могла вызывать сомнения лишь до того дня, когда на имя Кертнера в миланскую контору «Банко ди Рома» поступил крупный вклад; именно этот банк выполнял в Италии функции корреспондента «Дейче банк».

С той поры, за два с половиной года, никто в коммерческих кругах Милана не усомнился в безупречной репутации богатого дельца Конрада Кертнера.

Подписи Кертнера и Паганьоло были зарегистрированы в Торговой палате Милана, и отныне их векселя принимали во всех банках. Как не раз с довольной усмешкой повторял Кертнер, их векселя «имеют хождение наряду со звонкой монетой».

5

Не только кассирша из театра «Ла Скала» и пожилой телеграфист интересовались делами «Эврики» и знакомствами Кертнера.

Сигналы Джаннины не были первыми. Еще раньше Этьена насторожили письма, приходившие на его имя.

Вот и сейчас Кертнер, разбирая почту в конторе, взял конверт и стал рассматривать его на свет.

— Аккуратно подклеено,— сказала Джаннина, наблюдая за шефом.— Это тоже женское любопытство?

— Письмо из Цюриха, — сказал Кертнер, — вместо двух дней шло две недели.

Судя по штемпелям, с некоторых пор письмам стала присуща подозрительная медлительность, письма терпеливо ждали, пока их перлюстрируют...

Были и другие тревожные сигналы. Еще в прошлом месяце Этьен убедился, что его телефонные разговоры подслушивают. Он ничем не выдал своей осведомленности, напротив — находил в разговорах поводы сообщать подслушивающему, где он будет или куда едет. И был сознательно точен в информации о себе. Очень скоро служба подслушивания оставила его в покое.

Кассирша и телеграфист, черепашьи письма и подслушанные разговоры. Все это находилось в тесной связи между собой и еще с одним происшествием, которое, пожалуй, было самым тревожным.

После одного из недавних полетов на «летающей стрекозе» агент ОВРА[1] на аэродроме Чиинзелло пригласил Кертнера к себе и заявил, что пленка, снятая им, должна быть изъята.

Кертнер уверял агента, что сегодня вообще не фотографировал, так как «лейка» не в порядке; он заметил это еще утром, когда заряжал пленку. Но объяснения не помогли, Кертнер разрядил свою «лейку» и вручил агенту катушку с пленкой.

Тот скрылся в фотолаборатории, а через несколько минут вышел смущенный. Он просит принять извинения: фотоаппарат у синьора действительно не в порядке, вся плёнка засвечена.

Этьен заранее знал, что скажет агент. Все объясняется тем, что в «лейке» есть секретная кнопка и, нажав на нее, можно мгновенно засветить всю снятую пленку. Секретная кнопка сконструирована надежным товарищем из фотоателье «Моменто» и выручала уже не раз и не два...

Слишком много следов оставляли сыщики вокруг

[1] OVRA (Opera volontaria repressione antifascista) — тайная полицейско-шпионская и террористическая организация.

Кертнера. Может, он совершил какой-нибудь промах? Был недостаточно осторожен? Или слежка идет не за ним одним, но и за другими иностранцами?

Недавно в Италии введены новые, более строгие законы о соблюдении секретности. То, что прежде публиковалось в печати, демонстрировалось на заводах, на выставках в рекламных целях, теперь оказалось под запретом.

Может быть, все объясняется тем, что в последнее время в Италии было несколько провалов у французской разведки?

Этьену известно — ее платный агент выкрал из морского министерства чертеж, который французы хотели сфотографировать. Сняли копию, вернули чертеж в министерство. Но при этом завербованный агент не заметил, что в сверток вложен его гонорар — тысяча лир. Деньги попали на глаза другим сотрудникам, доложили начальству, началось следствие. Деньги передали в сиротский приют и усилили наблюдение за сотрудниками, обыскивали всех, кто выходил из здания.

В министерстве авиации французы завербовали капитана, мобилизовав для этой операции обворожительную даму. Капитан кутил на франки своей нежной и щедрой возлюбленной, но ловко обманул прекрасную Сюзанн. При обыске у него дома нашли штампы «Секретно», «Совершенно секретно», «Специа», он ставил их на чертежи, в которых не было никакой секретности. И капитан открутился на суде от всех обвинений!

В ходе следствия всплыл еще один скандальный факт. В здании министерства авиации засорилась в первом этаже уборная — кто-то выбросил чертежи, но не успел изорвать их достаточно мелко; вынести чертежи из здания или подбросить обратно не удалось. Прокурор утверждал, что это дело рук того же капитана, сожителя Сюзанн, но суд признал обвинение недоказанным.

Капитан и в самом деле не рвал чертежей в уборной. Эти чертежи несчастливо доставал для Этьена один антифашист, сотрудник высшей дирекции Управления опытов и изысканий министерства авиации. К счастью, тот

сотрудник остался вне подозрений. Его арест мог бы стать для Этьена катастрофой.

И так ему уже трудно дышать в предгрозовой атмосфере последних дней, иногда он просто физически ощущал нехватку воздуха. Вот такое же ощущение пережил Этьен однажды, когда летел на большой высоте: он сидел в неотапливаемом бомбовом отсеке на парашюте, надев кислородную маску, а кислород в маску не поступал, шланг был поврежден.

Слишком много признаков того, что на него ведут облаву, за ним охотятся, кто-то идет за ним по пятам, уже дышит ему в затылок. Хорошо бы сбить ищеек со следа!

Вот почему Этьен так охотно принял приглашение берлинской фирмы «Нептун», с которой поддерживал деловой контакт. Будет очень кстати — скрыться из Милана хотя бы на две недели.

Раздался настойчивый телефонный звонок. Джаннина сняла трубку:

— Алло!.. Да, здесь... Цюрих... Ваш компаньон...— Джаннина передала трубку Кертнеру.

— Алло! Синьор Паганьоло?.. Большое спасибо... Как всегда. Какая у вас погода?.. Завидую,— Кертнер, продолжая разговор, подошел к окну.— Юбилей? Это в наших интересах. «Нептун» празднует половину столетия... Ну что же, тогда поеду один.— Он внимательно сквозь жалюзи посмотрел на улицу и увидел в подъезде дома напротив человека в светлых брюках, который посматривал на окна «Эврики». Кертнер удовлетворенно усмехнулся.— Поеду послезавтра. Сейчас закажу билет на курьерский поезд до Берлина...— Кертнер положил трубку, обернулся к Джаннине и распорядился:— Закажите билет на поезд до Цюриха. И — на сегодня!

Есть ли у ОВРА какие-нибудь улики против Этьена или их нет, но совершенно ясно, что следует принять дополнительные меры предосторожности. Театральные свидания с Ингрид прекратить, сегодняшний «Бал-маскарад» — последний, а радиопередатчик «Травиата» пусть пока помалкивает.

6

Перед тем как контора «Эврика» переехала из Вены в Милан, компаньоны позаботились о том, чтобы получить представительства в Ломбардии или во всей Италии от нескольких австрийских, германских и чешских фирм.

Помимо оформления патентов на изобретения, имеющие касательство к авиации и в смежных областях техники, контора «Эврика» представляла отныне несколько фирм, заинтересованных в реализации своей продукции в Италии. То были преимущественно усовершенствованные моторы и двигатели, новейшие приборы и оборудование. На многие из них совсем недавно получены патенты и лицензии, ограждающие международные права изобретателя и гарантирующие фирмам монополию в той или другой области машиностроения или приборостроения.

Наибольший оборот давала германская фирма «Нептун». Кертнер получил это представительство благодаря тому, что был солидным вкладчиком «Дейче банк» и управляющий венским отделением банка рекомендовал Кертнера.

«Нептун» изготовлял аккумуляторы; аккумуляторные батареи этого типа, в частности, устанавливались на подводных лодках «Сферико». Фирма «Нептун» не ошиблась в выборе представителя: сбыт аккумуляторов в Италии стал расти из месяца в месяц.

К тому времени относится изобретение одного пожелавшего остаться неизвестным итальянского инженера. Синьору Икс удалось увеличить мощность аккумулятора в два раза и, что еще важнее, добиться одновременно почти двойного уменьшения веса и уменьшения габаритов. Эти показатели играют немаловажную роль во всех областях техники, но особенно важны для подводников, которые не признают тяжеловесного и громоздкого оборудования.

Вскоре после того, как синьор Икс изобрел новый аккумулятор, предприимчивые итальянские дельцы замыслили создать акционерное общество и построить в Брешии завод аккумуляторов нового типа.

В ознамеиование заслуг перед отечествеиной индустрией синьор Икс был приият в члены фашистской партии, хотя сам такого желания не изъявлял, прошения не подавал и стеснялся носить присланный ему фашистский значок.

Кертнер, не посвящая в дело компаньона Паганьоло, стал одним из учредителей нового акциоиерного общества и внес свою долю — сто пятьдесят тысяч лир, сняв эту сумму со своего личного счета в ватиканском «Банко Санто Спирито», то есть «Банке Святого Духа». Было обусловлено, что участие Кертнера в делах «Посейдона» останется в строгой тайне, поскольку «Эврика» пока продолжает рекламировать и продавать с выгодой для себя продукцию «Нептуна».

Немцы дали своей фирме имя «Нептун» — так называли морского бога древние римляне. А акционерному обществу в Италии, по предложению Кертнера, присвоили имя «Посейдон»: так того же бога называли древние греки.

Кертнер выехал в Берлии и Бремеи, чтобы предупредить дирекцию заводов «Нептун» об опасности, которая возникла после рождения «Посейдона». Отнюдь не случайно итальянцы назвали иоворожденное акционерное общество также именем морского божества. Разве не ясно, что здесь скрыта угроза и подчеркивается готовность конкурировать с «Нептуном»? Вызов скорее явный, чем скрытый. При этом в руках итальянцев более совершеиное техническое оружие.

— Представьте себе, — убеждал Кертнер директора-распорядителя фирмы «Нептуи», — что вас вызвал на дуэль человек, у которого в руках скорострельиый автомат-пистолет «рейнметалл», а вам всучили кремневый пистолет Лепажа. Такие пистолеты были популярны среди дуэлянтов...

Следовало бы перекупить итальянский патент еще раньше и в зародыше умертвить изобретение, которое может доставить «Нептуну» столько неприятностей.

Несколько раз в деловой беседе Кертиера с директорами фирмы спрягался глагол «абортировать», будто в кабинете, в дыму сигар, шел консилиум гииекологов.

Как известно, по Версальскому договору Германии запрещалось иметь свой подводный флот. Лишь полгода назад Гитлер денонсировал Версальский договор, но еще раньше Канарис вел успешные переговоры о сооружении подводных лодок немецкой конструкции в Испании, Италии, Голландии и Японии. И Кертнер опасался, что усиленные и облегченные аккумуляторы «Посейдон» найдут дорогу на те верфи быстрее, чем продукция «Нептуна».

Ну, а если немцы приобретут чертежи «Посейдона» и передадут их в военно-морское ведомство Третьего рейха? И такой вариант был предусмотрен Кертнером. Дело в том, что технологию, разработанную итальянцами, нельзя сразу внедрить на старых заводах «Нептуна», для переоборудования цехов понадобится много месяцев.

В Берлине поняли меру опасности, какая угрожает их фирме, тесно связанной с военно-морским ведомством.

Поскольку изобретение не было умерщвлено в зародыше, древнегреческого тезку нужно удушить в родильном доме — во что бы то ни стало скупить больше половины всех акций «Посейдона», уже проектирующегося завода в Брешии.

Кертнер вернулся из Берлина в Милан, скупил шестьдесят процентов акций. Столько и предусмотрели во время беседы в прокуренном кабинете директора-распорядителя «Нептуна».

Судьба «Посейдона» была предрешена. Иные акционеры полагали, что теперь «Посейдон» станет дочерним предприятием «Нептуна», и не видели в том большой опасности. Может, такая финансовая метаморфоза принесет даже выгоду? Германская нянька в фартуке, надетом поверх мундира фельдфебеля, быстрее поставит дитя на ноги, но одновременно пристрожит излишне сообразительное дитя. И оно будет расти без капризов, не зная рахита и других детских болезней, которыми болеют предприятия в младенческом возрасте.

На самом деле, после того как пакет акций «Посейдона» оказался в руках немцев, изобретение итальянского инженера Икс легло в сейф директора-распорядителя

общества «Нептун». И это не явилось для Кертнера неожиданностью.

Синьор Икс был симпатичен Кертнеру — скромен, талантлив. Изобретатель совсем не искушен в коммерческих делах, он бывал доверчив, наивен, беззаботен, и финансовые тузы то н дело залезалн к нему в карман.

Столько ценных советов можно было бы дать синьору Икс, от столького предостеречь, оградить! Этьен был доволен коммерческой нзворотливостью Кертнера и в то же время испытывал угрызения совести по отношению к талантливому синьору Икс. Но то, что огорчало Этьена, не вызывало чувства сожаления и других подобных эмоций у Кертнера, потому что тот жил и работал в среде, где все подчинялось Его Величеству Чистогану, где некогда исповедоваться и где большие дивиденды усыпляют совесть н стыд. Зачем же Конраду Кертнеру быть исключением из общего правила? За триста тридцать лет своего существования «Банко Санто Спирито» знал значительно более неблаговидные поступки своих вкладчнков, грязные сделки, финансовые провокацни.

Этьен давно понял, что в коммерческой деятельности нужно быть асом, гроссмейстером своего дела. Вот уже где дуракам делать абсолютно нечего! А, собственно говоря, существует ли область творческой деятельности, где дураки и оболтусы в фаворе?

И еще Этьен понял, что в коммерческой среде нечего делать сердобольному человеку. Дельцу часто приходнтся быть жестокнм, безжалостным. Этьена долго преследовали грустные, беззащитные глаза синьора Икс. Однажды снньор Икс стал жаловаться на невзгоды н неурядницы в своих делах, и Кертнер лицемерно говорил ему какие-то слова сочувствия. А ведь Кертнер был главным виновнником того, что синьор Икс еслн и не был разорен, то во всяком случае не разбогател, как ему все предсказывали.

Коммерция требует не только специальной подготовки, но и определенных способностей. Лет десять назад, перед тем как заняться коммерцией и открыть свою первую фирму, Этьен перечитывал статьи Ленина, относящиеся к нэпу. Наивно было думать, что Этьен почерпнет

в тех статьях какие-то советы, рекомендации. Ленин призывал партийцев учиться торговать в социалистическом государстве, а Этьену пришлось преодолеть брезгливость и не гнушаться низости, бесчестности и жестокости, какие прежде были известны Этьену лишь по романам Диккенса, Синклера и Бальзака. Член РКП(б) с 1918 года, бывший комиссар бронепоезда, за плечами две военные академии, полковник Красной Армии — новорожденный буржуй.

Сколько раз Этьен слышал в лекциях по политэкономии или читал о приметах загнивания капиталистического строя, о том, как злокачественная конкуренция тормозит технический прогресс. И вот Конрад Кертнер сам ловко сыграл на этих противоречиях! Он называл это про себя «разговор с классу на класс»...

«Посейдон» — «Нептун» не стали конкурировать на рынке сбыта. Кертнер приобрел значительный капитал на том, что на какое-то время заморозил интересную техническую идею, которая, скорее всего, будет широко использована фашистами в надвигающейся войне.

К тому же он отлично заработал на своих анонимных акциях: учредители «Посейдона» и не собирались отдавать их задешево.

А кроме того, Кертнер получил большой куш за охрану интересов, или, как выразился директор-распорядитель, самого́ будущего фирмы «Нептун».

Но была еще выгода от того, что не состоялась встреча «Посейдон» — «Нептун» на рынке сбыта, и эту выгоду не измерить сотнями тысяч рейхсмарок или миллионами лир. Консервация ценного изобретения синьора Икс задержит техническую реконструкцию многих подводных лодок, которые ходят под флагами Германии, Италии, Японии, а также их потенциальных союзников.

В то же время все материалы по изготовлению нового аккумулятора вскоре после рождения «Посейдона» и до его скоропостижной кончины были отправлены Этьеном в Центр. Тогда же от Старика пришло подтверждение на этот счет.

Была еще выгода от всей этой операции — упрочилась деловая репутация Конрада Кертнера в фирме «Нептун».

Он показал пример всем комиссионерам, агентам — вот как нужно работать в заграничном представительстве! Не просто сбывать продукцию и получать за это полагающийся куртаж, а дальновидно и зорко смотреть вперед, энергично устранять с пути фирмы ее конкурентов, заботиться о том, чтобы в фирме сосредоточились все технические новинки.

Тем временем «Эврика» успешно продолжала сбывать на рынке германские аккумуляторы. А когда в Берлине собрались торжественно отметить полувековой юбилей фирмы «Нептун», на торжество был приглашен и Конрад Кертнер, умелый защитник интересов фирмы в Италии.

Банкет, или, как значилось в пригласительном билете, «скромный товарищеский ужин», состоялся в ресторане «Валькирия», в переулке, выходящем на Тирпицуфер.

Хорошему настроению и пищеварению устроителей юбилея способствовали большие дивиденды, которые за последний год получили держатели акций.

Кертнер чувствовал себя на банкете уверенно, держался непринужденно. Дело не только в хороших манерах и соблюдении этикета. Само собой разумеется, он безупречно умеет повязывать салфетку, знает, как полагается есть рыбное блюдо, знает, как макают спаржу в растопленное масло и как управляются с мидиями.

Австрийский делец не внушил бы к себе доверия, если бы внешний вид его и все поведение за банкетным столом не соответствовали его общественному положению. Вот так же нам не внушает доверия портной, который носит уродливо скроенный и мятый пиджак с оторванными пуговицами; или часовщик с грязными руками, с глубоким трауром под ногтями; не вызовет у пациента доверия зубной врач, у которого полон рот гнилых зубов.

Но внешнее поведение человека, обязательное и первое условие игры — не самое трудное.

Этьен давно влез в шкуру богатого коммерсанта, надел маску, и маска как бы срослась с лицом. Он выработал в себе естественность всех поступков, свойственных преуспевающему коммерсанту.

Солидный текущий счет в банке сказывается даже на

манере разговарнвать. Мало вообще зиать правнла хорошего тона, нужно знать повадки богача — как ои зовет лакея, носильщнка, как дает на чай услужливо склонившемуся швейцару, кельнеру, метрдотелю. Только неумиые парвеню, прнрожденные хамы или разбогатевшне выскочки ведут себя с прнслугой заносчиво, высокомерно. А человек, прнвыкшнй к своему богатству, попросту иебрежен в отношеннях со слугамн, на которых не следует тратить вннмания, даже синсходнтельностн, вообще — ннкакнх душевных сил. Когда-то Этьен чувствовал себя неловко, еслн гардеробщик в театре ждал его, держа в вытянутых руках шннель. Этьен торопился н не попадал в рукава нз-за спешкн. Но это было давным-давно...

Нужно уметь властно н небрежно крнкнуть «гарсон» седому пожнлому человеку.

И в то же время нужно уметь самому элегантно снять шляпу, отступнв предварнтельно на шаг: опытные люди утверждают, что, отступая на шаг, ты виушаешь доверие.

Не легко н не сразу он научнлся с изящной иебрежностью носить шляпу, не чувствовать себя скованно, как на маскараде, когда иа белоснежной манишке красуется галстук-бабочка.

Уже давным-давно Этьен наблюдает за Конрадом Кертнером со стороны. Вернее сказать — как бы с изнанки, с исподу.

Поначалу Кертнер был излишне робок, и его непосредственный иачальник Старнк, хотя ннкогда н не вндел Этьена в чужом облнчье, посоветовал ему иабраться дерзости, бесцеремонности, стать меиее брезглнвым, да, нменно менее брезглнвым. Бывает, нужно, ие моргнув глазом, чокнуться с какой-ннбудь сволочью, пожать его сволочную руку, выпить за его сволочное здоровье н пожелать этой сволочн благополучня н успехов. Не будь чнстоплюем, умей ие морщась вскииуть руку в знак фашистского приветствня и сказать про себя: «Хайль, сволочь!»

Грубее отъять Кертнера от тех иавыков, прнвычек, с какнмн сжнлся, сросся Этьеи! Не только нормы поведе-

ния, но совсем другие статьи морального кодекса типичны для Кертнера, фашиствующего пижона, оборотистого пройдохи, дельца, не слишком разборчивого в способах обогащения.

Поэтому Этьен бывал недоволен Конрадом Кертнером, когда тот вел себя чересчур тактично, излишне порядочно, не в меру благородно. Что еще за мнительность?!

Значит, Этьен утратил незримую границу между собой и Кертнером, не решился, хотя бы на время, ему подчиниться и тем самым нарушил натуральность перевоплощения.

Подделываясь под другого, в какие-то моменты перестаешь быть самим собой. Ты так часто сознательно обедняешь мыслями и чувствами того человека, чье имя и фамилию носишь, на чьем языке разговариваешь и даже думаешь, что при подобной многолетней трансформации можешь растерять и свои душевные богатства, обеднить самого себя.

Сложность перевоплощения возникает перед разведчиками всех государств, в этом Этьен отдавал себе отчет. Но все-таки есть у него дополнительная трудность: живя и работая за границей, он не может затеряться среди соплеменников. Англичанин или француз может сменить фамилию, профессию, социальное положение, но не меняет своей национальности, он не должен все время следить за своим произношением, знать разные диалекты чужого языка, прививать себе черты чужого национального характера.

Конечно, бывают и у нас счастливые исключения. Например, Рихард Зорге, товарищ Этьена, служил солдатом в армии Вильгельма в первую мировую войну, он — немец до кончиков волос, и ему не пришлось учиться думать по-немецки. А большинство товарищей, как сам Этьен, отучали себя — и отучили! — не только разговаривать, но даже думать по-русски. Они не имеют права произнести что-нибудь по-русски даже со сна, в полузабытьи, в горячечном бреду...

Зорге признался ему однажды: в последней командировке у него было нервное перенапряжение. Он не-

сколько раз просыпался утром, беспомощно лежал в номере отеля и не мог вспомнить — на каком языке ему предстоит сегодня разговаривать, кем быть...

И ночью разведчик не имеет возможности и права снять с себя маску, не смеет почувствовать себя свободным от жестокой власти конспирации.

Так изнурительно — постоянно прислушиваться, приглядываться к себе. Он мучительно устал от постоянной слежки за самим собой...

Да, на таком торжественном банкете нельзя ударить лицом в грязь. Конрад Кертнер должен представиться своим патронам и шефам как верноподданный Третьего рейха, которому в этом не мешает его австрийское гражданство. Он готов сказать слово за праздничным столом, если к тому представится случай.

Во вступительной речи директор-распорядитель счел нужным отметить в ряду лучших сотрудников и друзей фирмы предприимчивого герра Кертнера и высокий национальный дух, коим пронизана работа итальянского представительства.

Взгляд у директора-распорядителя «Нептуна» настороженный, брови нахмурены, а нижняя половина лица все время пребывает в немой улыбке, которая должна изображать добродушие. У него прямой, коротко остриженный затылок, усы он носит «а-ля Вильгельм Второй», волосы стрижет бобриком «а-ля Гинденбург»; в его физиономии — целая эпоха.

Несколько раз за столом с ожесточением упоминался Версальский договор, денонсированный фюрером. Этьен отчетливо вспомнил разноязычную перекличку гидов под золочеными сводами Версаля и выставленный там на всеобщее обозрение стол, за которым был подписан мирный договор 28 июня 1919 года.

Вскоре в чопорном застолье наступила неуклюжая пауза — кто произнесет очередной тост? Кертнер счел момент подходящим и попросил слова.

— Ваши превосходительства, высокочтимые дамы и господа! Беру на себя смелость напомнить, что когда древние боги поделили между собой сферы влияния, то громовержец Юпитер взял себе небо, Нептун — море,

а Плутон получил подземное царство душ умерших; земля же осталась в общем владении. С тех пор волны моря послушны малейшему движению руки Нептуна, вооруженного грозным трезубцем. Высокочтимые сиятельства, дамы и господа! Разрешите поднять бокал и пожелать, чтобы волны морей и океанов были послушны Нептуну арийского происхождения, преданному национальным интересам. И чтобы никто, даже бог изворотливости и обмана Меркурий, не мог похитить у нашего Нептуна его оружие — трезубец, как это уже случилось однажды в мифологии. Когда мы говорим о жизненном пространстве, то имеем в виду не только сушу, но также акваторию. Трезубец Нептуна — скипетр мира! О всемогуществе Нептуна полезно помнить каждому, кто не собирается в протекторат бога Плутона. В подземном царстве умерших душ, где Плутон является гаулейтером, есть вакансии для всех, кто осмелится мешать германскому судоходству. Этим безумцам полезно напомнить слова великого Ницше — берегитесь плевать против ветра! Беру на себя смелость заявить от имени сотрудников моей конторы — мы будем счастливы и впредь в доступной каждому форме оказывать услуги нашему воскресшему флоту. Мы вернем немецкому морскому божеству трезубец, похищенный у него в Версале!

Далеко не все участники банкета были посвящены в перипетии борьбы «Нептуна» со своим тезкой «Посейдоном», не все понимали, сколько в застольной речи герра Кертнера проглоченных угроз и угрожающих недомолвок. Но директор-распорядитель с его эпохальным лицом понял все, и другие директора тоже благосклонно кивали оратору, а глядя на директоров, выражали одобрение и все другие, кому смысл речи был понятен лишь постольку, поскольку они чуяли в ней реваншистский дух.

Так как шефы слушали почти с умилением, в конце речи Кертнера все дружно захлопали. Послышались приветственные возгласы: «Эс лебе!», «Хох!», аплодисменты, а пробки от шампанского хлопали, как трескучие восклицательные знаки, заключившие речь. Ну, а если бы не было аплодисментов, приветственных выкриков, стрель-

бы пробками? Все равно Кертнер почувствовал, что речь, которую он выдал за экспромт, — даже прищелкивал пальцами, как бы подыскивая нужные слова, — имела большой успех.

Да, игра стоила свеч, не напрасно вчера в поезде Цюрих — Берлин он прилежно перелистал античную мифологию, проштудировал куррикулюм вите Нептуна.

Директор-распорядитель, тронутый застольной речью Кертнера, еще раз во всеуслышание отметил его заслуги.

Позже, когда все поднялись из-за стола, директор-распорядитель перезнакомил Кертнера с большой группой предпринимателей, коммерческих директоров, владельцев фирм, крупных держателей акций, банкиров.

Конечно, Кертнер не мог запомнить всех, с кем успел обменяться церемонными поклонами и крепкими рукопожатиями. Но он знал, что среди новых знакомых был такой туз, как директор «Люфтганзы» Карл Гебарт собственной персоной.

— Для меня большая честь пожать вам руку. — Кертнер почтительно поздоровался с Карлом Гебартом и склонил голову. — Поздравляю вас с открытием регулярного беспосадочного сообщения Штутгарт — Барселона.

Подошел лакей с подносом.

— Теперь мы можем летать на курорты Испании без французской визы, — засмеялся Карл Гебарт, деловито чокнулся и отошел.

— Познакомьте меня, пожалуйста, с господином Теубертом, — попросил Кертнер минутой погодя «Вильгельма Второго-Гинденбурга».

Они подошли к Теуберту, главе «Центральной конторы ветряных двигателей».

— Хочу вам представить нашего австрийского друга Конрада Кертнера.

— А я хочу поблагодарить его за прекрасную речь.

— Для меня много значит оценка старейшего деятеля национал-социалистской партии, — сказал Кертнер еще почтительнее.

— Это в полном смысле слова золотой значок, — «Вильгельм Второй-Гинденбург» благоговейно коснул-

ся лацкана на пиджаке Теуберта, — дает право на свидание с Адольфом Гитлером в любое время. — Он обернулся к Теуберту: — Герр Кертнер пользуется нашим полным доверием, и он знает, что в те страны, где ветры дуют не в нашу сторону, мы продаем и скороспелый картофель...

— Скороспелый или скорострельный? — спросил Кертнер, и все трое расхохотались.

— Ну вот, вы нашли общий язык! — сказал «Вильгельм Второй-Гинденбург». — Извините, господа, меня ждет вице-министр.

Да, с «Нептуном» начинают все больше считаться. Их фирма попала в один ряд с самыми могущественными концернами, синдикатами, трестами и тоже приглашена завтра в советское посольство; русские устраивают прием для представителей деловых кругов в связи с приездом торговой делегации во главе с наркомом торговли.

«Где-то на рабфаке или в рабочем клубе их обзывали не иначе, как «акулы капитализма», — мимолетно усмехнулся про себя Этьен. — А в случае надобности мы величаем их «представители деловых кругов».

— Большевики явно хотят установить деловые контакты. Если у герра Кертнера есть желание, ему тоже будет вручен билет на прием в советское посольство.

Так хотелось принять приглашение, побывать в посольстве на Унтер-ден-Линден, услышать родную речь. Только раз в жизни он был в здании посольства, помнит просторный зал для приемов, столовое серебро, знаменитый сервиз из саксонского фарфора на пятьсот персон...

Но вдруг его увидит кто-нибудь из знакомых и узнает? В числе сотрудников военного атташе может оказаться бывший слушатель военной академии. Недоставало еще, чтобы кто-нибудь с радостным воплем: «Каким ветром?! Маневич, дружище, сколько лет, сколько зим!» — бросился ему на шею.

Нет, рискованно, будет просто мальчишеством отправиться туда с директорами «Нептуна».

Размышление заняло какую-то долю секунды, Кертнер, выслушав приглашение, уже почтительно поблаго-

дарил и отказался. К сожалению, он занят. Завтра у него важное свидание с асом германского спортивного пилотажа.

Вильгельм Теуберт любезно вручил Кертнеру свою визитную карточку и пригласил посетить его контору в любое удобное для гостя время. Может быть, «Эврика», помимо поручений, столь блестяще выполняемых для фирмы «Нептун», согласится на тех же условиях представлять в Италии и его фирму? А директор-распорядитель «Нептуна», стоявший рядом, не возражал, даже уговаривал принять предложение.

По-видимому, герру Кертнеру небезынтересно знать, что в фирме Теуберта работают только люди, преданные рейху, исповедующие национальные идеалы. Теуберт уверен, что герр Кертнер найдет единомышленников среди сотрудников фирмы.

Кертнер поблагодарил за интересное предложение. Он непременно зайдет, когда вернется через неделю в Берлин. Завтра по приглашению директора-распорядителя он отправляется в Гамбург, Бремен, Осло и Кенигсберг, чтобы поделиться опытом своей работы с коллегами, работающими в тамошних отделениях фирмы «Нептун».

Вот и хорошо, пусть герр Кертнер попутно наведается в норвежский филиал «Центральной конторы ветряных двигателей», ознакомится с работой в условиях севера. Казалось бы, двигателю все равно, какой ветер приводит его в движение — холодный или знойный. Но система смазки и правила эксплуатации совсем другие, есть немало тонкостей.

Теуберт осведомился — не пугают ли герра Кертнера морские путешествия в штормовую погоду. Тот ответил, что, к сожалению, его родная Австрия, от которой отторгли даже Триест, остается пока сугубо сухопутной страной. Но, право же, не все австрийцы отличаются водобоязнью и страдают от морской болезни. Он верит, что Австрия когда-нибудь приобщится к великой морской державе. Его намек на желанный аншлюс был достаточно прозрачен, собеседники поняли его с полуслова...

После ужина заиграл салонный оркестр. Сотрудники помоложе приглашали на танцы величественных фрау, увешанных ювелирными изделиями. Герр Кертнер отличал настоящие бриллианты от фальшивых, но сегодня вечером он не увидел ни одной стекляшки. Уже по второму разу оркестр сыграл модный фокстрот «Паприка» и танго «Ночь в Монте-Карло», — кинематограф принес этим мелодиям всемирную известность.

Выйдя из ресторана, Кертнер отказался от автомобиля дирекции, не сел в таксомотор. Он решил пройтись перед сном по опустевшему, притихшему Берлину. К тому же два-три бокала рейнского оказались, по-видимому, лишними, в голове слегка шумело.

7

К ночи рекламный румянец столицы слинял. Почти все фонари потушены рачительной рукой бургомистра, — в Берлине жили экономно, а еще больше старались показать: после того как у Германии отобрали колонии, здесь вынуждены экономить и отказывать себе буквально во всем.

Этьен прошел по Тирпицуфер, в самый ее конец, прошел мимо громоздкого, мрачного четырехэтажного дома № 74/76; здесь помещается абвер.

За какими темными окнами — кабинет адмирала Канариса?

В стороне остался Ландверский канал. Этьен поравнялся с большим темным зданием. У парадного подъезда, у ворот прохаживались шуцманы. Хотя Этьен стоял на противоположном тротуаре, он прочел вывеску у освещенного подъезда: «Союз Советских Социалистических Республик. Посольство». Кто-то подъехал в «газике» и вошел в здание.

Этьен тоскливо поглядел и зашагал к Тиргартену.

Он шел по набережной вдоль парапета, глядя на темную воду канала, покрытую рябью. Остановился и вгляделся в свое отражение на воде, высвеченное одиноким фонарем.

И ему представнлась такая же ночная, взъерошенная весенннм ветром вода в Москве-реке. Плывут однннокие льдины. Дворннк в тулупе и треухе скалывает лед на набережной. Звонкая капель.

По набережной идут Этьен н Старик. Оба в форме двадцатых годов — остроконечные шлемы, шинели с «разговорамн». У Старнка на петлицах трн ромба.

Старик отстает на несколько шагов от Этьена, крнтическн прнглядывается к его походке.

— А тебе пора отвыкать от строевой выправки, — говорнт Старнк строго.

— Стараюсь, Павел Иванович. Не получается.

— Отвыкнешь. И фрак научнишься носнть. И цилиндр. — Старнк остановнлся. — А вот прнтворяться в чувствах потруднее.

— Ну н дела, — ухмыльнулся Этьен. — Позавчера — комнссар бронепоезда. Вчера — слушатель академнн. Сегодня — летчнк. А завтра — коммерсант? — Этьен попробовал сменнть походку на более свободную. — Ну как?

— Чуть-чуть лучше, — подбодрил Старнк и продолжал серьезно: — Ты и завтра останешься летчнком. Летчнком свободного полета! Ты должен будешь видеть дальше всех н немножко раньше, чем увндят другне. И коммерсантом ты станешь не простым. — Старнк рассмеялся н хлопнул Этьена по спине. — Бальзаковскнй банкнр Нюснинжен — щенок по сравнению с твоим Кертнером!..

Подошел шуцман, подозрнтельно прнгляделся — не собрался лн ночной прохожий топиться? Слишком долго смотрнт в воду.

Легкая усмешка мелькнула на лнце Этьена, н он пошел дальше.

Навстречу ему, прнстукнвая деревянной ногой, шел по аллее пожнлой солдат в кнтеле, с крестамн и медалями времен Вильгельма.

— Гуте нахт, майн герр.

— Гуте нахт.

«Этот доковыляет до дома, сннмет на ночь протез,

чтобы культя его отдохнула, — невесело подумал Этьен. — А я и во сне не смею забыть, что я Кертнер».

Едва войдя в сад, он присел на скамью, снял шляпу и подставил лоб теплому ветерку, который доносил дым из печных труб.

В Берлине еще топили; здешний климат — не чета миланскому...

Ему не следовало сегодня пить на банкете, но прослыть неучтивым, стать белой вороной... Не станет же он жаловаться благосклонному к нему «Вильгельму Второму-Гинденбургу» на плохое самочувствие?

Только Тамара и Гри-Гри знают, что с конца зимы у него сильно колет в боку, а во время поездки с секретными материалами из Парижа в Цюрих с ним случился в поезде обморок. Позже он узнал, что во время обморока не выпустил из рук своего чемоданчика. И сегодня «скромный товарищеский ужин» едва не довел его до обморочного состояния — слишком большое нервное напряжение.

Размышлениям в тишине мешал мусорщик, который топтался где-то рядом на дорожке, усыпанной гравием, и в такт своим шагам шваркал метлой, потом приблизился вплотную к скамейке, с жестяным грохотом открыл и закрыл ящик для мусора — наводил в Тиргартене ночной орднунг...

— Вы, кажется, сели на чужую скамейку.

— Разве здесь требуется плацкарта?

— Скамейка только для евреев. Если вы ариец, то...

— Откуда мне было знать? — Этьен лениво встал. Он знал, что для евреев здесь в скверах и парках возле мусорных ящиков выделены скамейки ядовито-желтого цвета. — Ночью все скамьи серы. Темно здесь...

— Берлин живет очень экономно.

Этьен кивнул мусорщику, надел шляпу и поднял воротник.

Ему не было холодно, но он продрог сердцем. Он в равной степени чувствовал себя сегодня трагически одиноким и в ресторане «Валькирия» и на скамейке в Тиргартене...

8

Кертнер выехал из Берлина утренним поездом. В кармане у него лежало письмо в контору пароходства «Нептун» — Бремен, Фрейхафен, 1.

Ходили слухи, что оба «Нептуна» — заводы и пароходство — близкие родственники, но Кертнер ничего не знал об их взаимоотношениях. Он знал только, что «Нептун» — большая пароходная компания, чьи пароходы «Гестия», «Геркулес», «Рейнланд» и еще четвертый, названия которого не успел узнать, обслуживают регулярную линию Бремен — порты Испании.

Пароходы «Нептуна» совершают также навигацию по Немецкому морю. Кертнеру заказана каюта первого класса от Гамбурга до Осло на небольшом, но быстроходном пароходе «Нибелунг».

До отплытия «Нибелунга» оставалось почти двое суток, но Конрад Кертнер не был этим раздосадован. Он поселился в Гамбурге в отеле «Четыре времени года». Каждый раз когда он проходил по берегу Большого Альстера, он имел удовольствие любоваться флагом пароходства «Нептун»; там на набережной в пестром соседстве полощутся флаги всех германских пароходств.

Кертнер жил в фешенебельном отеле, а много часов провел в порту, на крикливой и злачной улице Реппербан. Не сразу удалось ему найти в игорном притоне одного старого знакомого, с которым еще водил дружбу Фридрих Великий, передать привет от Ингрид, а взамен получить несколько радиодеталей, без которых «Травиата» может лишиться своего колоратурного сопрано. Кертнеру легко было сойти за старожила этих мест, он не забыл «платтдейч» — жаргон гамбургских портовиков...

Приближаясь к Норвегии, «Нибелунг» долго лавировал в хаосе островков, долго шел по узкому фиорду, который глубоко вдается в материк. Фиорд кишмя кишел яхтами, а чайки стлались над водой, как метель.

Для порядка Кертнер представился в австрийском посольстве. Еще до обеда он ознакомился с норвежским филиалом «Нептуна», с географией и оборотом фирмы и

даже успел принять участие в испытаниях какого-то аккумулятора.

Однако не только ради своей деловой репутации приехал Кертнер в Норвегию: он привез с собой весьма крупную сумму рейхсмарок.

Формально говоря, будучи в Германии, он мог перевести рейхсмарки на текущий счет «Эврики» в итальянском «Банко ди Рома» и на свой личный счет в «Банко Санто Спирито». Но подобный перевод расценивался тогда в Германии как непатриотический поступок. Подлинный патриот не позволит себе ухудшать валютный баланс рейха, саботировать усилия, направленные к укреплению рейхсмарки, подрывать экономику фатерланда. Можно было не сомневаться, что о таком крупном переводе за границу сразу узнают где следует, — существует специальный финансовый сыск.

Везти же рейхсмарки с собой в Италию Этьен тоже не мог. Ни в одном итальянском банке не должны знать о немецком происхождении столь крупной суммы.

Что оставалось делать? Следовало оформить перевод в итальянский банк из любой страны, только не из Германии.

Норвежский банк оказался весьма удобным посредником. Вся операция заняла не больше получаса: рейхсмарки трансформировались в норвежские кроны, которые на днях будут переведены на валютный счет Кертнера в миланской конторе «Банко Санто Спирито»...

А после обеда Кертнер направился с рекомендательным письмом Тойберта в норвежский филиал «Центральной конторы ветряных двигателей». Управляющий ждал гостя. Видимо, он получил от Тойберта еще и телеграмму, потому что его общительность и предупредительность выходили за рамки ординарной любезности. Управляющий рассказал о том, что в ближайшие месяцы ожидается значительное увеличение оборота фирмы и, хотя летний сезон еще впереди, они нашли нужным разослать по многим адресам следующее письмо:

«Многоуважаемый друг нашей фирмы! Начало летнего сезона поставит перед Вами

вопрос о пополнении Ваших складов. Наш ответственный сотрудник, только что возвратившийся из Германии, привез выгодные предложения различного рода, которыми Вы, безусловно, заинтересуетесь. Мы были бы Вам весьма обязаны, если бы Вы нас посетили в ближайшие дни.

В ожидании Вашего посещения остаемся с германским приветом. Хайль Гитлер!

(Подпись)».

Кертнер сделал управляющему комплимент: готов учиться у норвежского филиала деловой оперативности! Он обязательно разошлет такое же письмо своим наиболее солидным покупателям.

Пароход в Кенигсберг отправлялся лишь завтра вечером, и таким образом у Кертнера оказался свободный день. Он мог посвятить весь день прогулке по Осло с чувством облегчения. Он правильно решил трудную задачу с норвежскими кронами и рейхсмарками, потерявшими в весе.

Не торопясь шел он по Драмменсвейен, и ему нравилось, что каждая из поперечных улиц одета в неповторимый зеленый наряд. Он пересек улицы, сплошь обсаженные то елями, то березами, то каштанами, то соснами, то липами. Он слышал, что в Осло отлично вызревают яблоки, груши и помидоры. «Вот что значит Гольфстрим! Осло на одной параллели с нашим Ленинградом, ничуть не южнее».

У Национального театра, где стоит памятник Ибсену, он спустился в метрополитен. Снаружи к вагонам метро приделаны зажимы для лыж, в это время года ненужные.

В Осло всего несколько подземных станций, а затем поезд вынырнул из тоннеля и через десяток километров вскарабкался на макушку горы Холменколлен. Там высится трамплин для прыжков на лыжах, пользующийся мировой известностью. Но весенним днем здесь было пустынно, скучно, и тем же метропоездом Кертнер вер-

нулся в город. Сошел на площади Валькирий, его отель по соседству.

Вскоре появился агент из бюро путешествий, они сели на извозчика, который церемонно приподнял свой цилиндр, и поехали в порт. В Кенигсберг, в штормовое море, уходил пароход той же компании «Нептун».

Встреча в восточнопрусской конторе фирмы, завтрак в кабинете управляющего, поездка на верфь в заливе Фриш-хаф, техническая дискуссия вперемежку с воинственными речами.

Здесь, в столице Восточной Пруссии, настроены еще агрессивнее, чем в Берлине. Все задыхаются без жизненного пространства, у всех на языке это самое «лебенсраум», все жаждут реванша и одобряют вступление вермахта в демилитаризованную рейнскую зону. В Кенигсберге находится «Институт по изучению России». «Вот бы посидеть там на инструктивных беседах», — мелькнула шальная мысль.

Все главные улицы, площади, учебные заведения названы именами военных. Памятники только военным, исключение составляют Шиллер и Кант. Этьен смотрел на бронзового Шиллера, и казалось — поэту неловко стоять в штатской одежде и в штатской, не навытяжку, позе в компании вымуштрованных соседей в этом городе, где дансинги, казино и публичные дома — отдельно для офицеров и для солдат. В пивных, сосисочных и кафешантанах по команде орут фашистские песни и кричат: «Хайль!» На вывеске у мужского портного намалеваны только мундиры, на вывеске у шапочника — военные фуражки, на вывеске парикмахера — рекламный красавчик, выбритый до розового глянца, прилизанный и с нафабренными усами, он также в военной форме.

Звон шпор, позвякивание сабель, кожаный хруст амуниции, бряцание оружием — все это бьет в уши и на улице, и в кинематографе, и в пивной, и в колбасной, и в подземном казино под озером Обер-Тайх, и в королевском замке.

В одной из башен старинного королевского замка помещается городской «кунстмузеум». Этьен прилежно и добросовестно обошел залы, но его оставили равнодуш-

ным коллекции картин, старинная утварь, мечи и кольчуги рыцарей. Зато сильное впечатление произвел внутренний четырехугольный двор замка. Туда попадаешь через железные крепостные ворота и глубокую каменную арку, а стены замка настолько высоки, что лучи солнца проникают во двор, только когда оно близко к зениту.

Этьен стоял на дне каменного колодца, и его не оставляла мысль: именно отсюда отправлялись в грабительские походы на восток предки сегодняшних фашистов — псы-рыцари, а позже — гофмейстеры немецкого ордена, маркграфы, прусские герцоги, короли...

В местном банке Кертнеру делать было нечего, и он счастлив был в тот же вечер убраться из респектабельного, но неприютного отеля в аристократическом квартале Амалиенау, сплошь заросшем кустами сирени. Жаль, сирень еще не расцвела! Он помнит сирень Амалиенау в буйном, исступленном цветении, когда за сиреневым не видно зеленого, а воздух густо настоян на цветах...

А из Берлина он уехал обласканный «Нептуном» и облеченный доверием еще одной фирмы — «Центральной конторы ветряных двигателей».

Владелец фирмы Вильгельм Теуберт был подчеркнуто приветлив:

— Надеюсь, вас не утомили морские путешествия? Я слышал, в Немецком море не утихает шторм.

— После того, что я увидел и услышал в норвежском филиале вашей фирмы, никакая дорога не может показаться мне длинной и трудной.

Этьен знал, что имеет дело не просто с предпринимателем, пусть даже очень богатым, а с крупным фашистским деятелем.

Поначалу герр Теуберт заговорил о силе воли, без которой нельзя добиться успеха на жизненном поприще. Ошибочно было бы думать, что для штатских людей сила воли значит меньше, чем для военных. Он очень рад, что гость его думает так же. В те дни большой резонанс в военных, дипломатических и деловых кругах получила статья генерал-полковника Секта «Сила воли полководца». Очень кстати, что Этьен тоже прочел статью

в «Милитервиссеншафтлихе рундшау» и мог поддержать разговор. Что касается лично Конрада Кертнера, то он солидарен с генералом Сектом, когда тот ратует за жестокую, не знающую никаких преград волю полководца, умеющего подчинить себе объективные условия или отбросить, отшвырнуть их со своего пути. Свое наивысшее проявление воля находит в преодолении любого сопротивления, то есть в войне. Война порождается, ведется и доводится до абсолютного завершения волей. Война превращает волю в действие!

К удовольствию хозяина, Кертнер довольно точно привел на память это место из статьи Секта, а сам подумал: «Военный авантюризм облачается в философские одежды. И какой торопливый маскарад! Впрочем, в Восточной Пруссии не хотят тратить времени и на маскировку».

Дальнейший разговор заставил Этьена насторожиться. Он знал, что ветряные двигатели — вовсе не основная продукция фирмы и Теуберт занимается этими двигателями лишь для отвода глаз. Не случайно в письме, которое ему показали в Осло, упоминается «о пополнении Ваших складов». Кто станет держать ветряные двигатели на складах?

Итак, на будущей неделе в Милан, в распоряжение «Эврики», будет отправлена первая партия ветряных двигателей. Этьен ничем не выказал своей настороженности, но одновременно дал понять Теуберту, что у того в кабинете сидит не простофиля, который пропускает мимо ушей намеки, а деловой человек, с достаточной выдержкой для того, чтобы не расспрашивать ни о чем, а почтительно ждать, когда высокочтимый герр Теуберт соблаговолит сам сказать недосказанное.

В поведении Кертнера естественно сочетались непринужденность и желание подчеркнуть, что он польщен приглашением Теуберта, независимость богатого человека и признание идейного превосходства своего собеседника.

Даже в том, как Теуберт перечислял страны, где открыты представительства фирмы, был какой-то скрытый смысл. С особенным значением он упомянул о работе,

развернутой в Испании, Норвегии, Австрии, Чехословакии, в Верхней Силезии и Данциге.

После выборов в Испании и прихода республиканцев к власти усложнилась обстановка, в которой там работает филиал «Центральной конторы ветряных двигателей».

Кертнер сказал, что предполагает вскоре выехать в Испанию по своим делам. Теуберт просил поставить его в известность о выезде. Чтобы быстрее войти в курс дела, Кертнеру будет полезно ознакомиться с тем, как организована работа в Испании. И размах работы там больше, чем в Норвегии, а руководители филиала — опытные партайгеноссен. Филиал находится не в Мадриде, а в Барселоне, это во всех отношениях удобно и намного ближе к фатерланду. Кертнер едва успел удивиться, как Теуберт пояснил:

— Да, намного ближе, поскольку «Люфтганза» поддерживает ежедневное воздушное сообщение Штутгарт — Барселона.

— Я хорошо знаю, что не во всех странах ветры дуют с постоянной силой и в нужном направлении, — сказал Кертнер. — Но пока в Италии будут дуть ветры, они будут приводить в движение ваши двигатели! Спрос на ветряные двигатели будет расти и расти. Разрешите посмотреть на дело с точки зрения близкого будущего. Так или иначе, каждый ветряной двигатель рождает энергию, энергия в любой форме служит прогрессу, а подлинный прогресс питается сегодня идеями и идеалами Великой Германии!

Герр Кертнер еще раз дал понять: он принял к сведению и то, что патрон ему говорит, и то, о чем патрон умалчивает. Вот почему Кертнер счел возможным закончить деловую беседу пустячной болтовней.

— Если бы мне предложили быть представителем фирмы ликеров и аперитивов, я бы отказался. — Кертнер поднял рюмку с ликером, поданным к черному кофе, и посмотрел ее на свет. — Недавно прочел про французского коммивояжера. Как он рекламировал товар? Каждый день поневоле выпивал с покупателями сорок —

пятьдесят рюмок. Бесконечная дегустация, принудительная выпивка. Сердце не выдержало, и коммивояжер умер. За наше долговечное здоровье, герр Теуберт!

И он торжественно пригубил рюмку.

9

Письмо, подшитое к делу № 4457/к с грифами: «Совершенно секретно», «В одном экземпляре», «Хранить вечно».

«Милан, 25. 3. 1936 года.

Уважаемый Оскар! Сейчас в театре антракт, пользуюсь удобной минутой и повторно пишу насчет моей замены. Прошу рассматривать мои соображения о необходимости замены не как изъявление желания поскорее уехать отсюда и очутиться дома, где меня ждут жена и дочь. Подобное желание не покидает сердца, я не оригинален и не претендую на то, чтобы меня считали тонкой, изысканной натурой, бо́льшим патриотом и лучшим семьянином, чем другие. Все товарищи, работающие за рубежом, болеют этой болезнью, которую называют «ностальгия». Однако не о симптомах болезни идет сейчас речь. Считаю опасным для организации мое излишне долгое пребывание здесь. Слишком много глаз следит за мной с враждебным вниманием. Уже не один раз я сталкивался на работе с довольно серьезными неприятностями. Двое из числа тех, кого я пытался втянуть в антифашистскую работу, не оправдали доверия. Не нужно понимать меня так: грозит какая-то конкретная и немедленная опасность. Может быть, такой опасности нет, по крайней мере, я ее пока не чувствую. Но зачем ждать, чтобы опасность, всегда возможная, обернулась бедой? Мне приходится без устали разъезжать, этого требует здешняя обстановка. На днях буду в Берлине. Прямой поезд сейчас не для меня, еду кружным путем. А есть поездки, которые, при неотступной слежке за мной, связаны с риском и для тех знакомых, к кому езжу в гости.

Организация расширилась, и в этих условиях я не чувствую себя спокойным за всех, кто мне доверяет. Жаль потерять плоды усилий двух с половиной лет, плоды, которые еще могут принести большую пользу. Имейте также в виду, что по приезде нового товарища мне придется пробыть с ним два-три месяца, чтобы устроить его здесь хорошо (что совсем не так легко) и ввести своего преемника в обстановку весьма сложную из-за разбросанности и пестрого состава помощников. Вот мои соображения. Знаю, нелегко подыскать нового товарища, но именно поэтому настоятельно прошу вас обратить на мое письмо надлежащее внимание и правильно понять все его мотивы. Живу и работаю в предчувствии близкой военной грозы. С комприветом Этьен».

10

У Кертнера был деловой повод для визита к германскому консулу в Барселоне — посоветоваться, в какие именно органы печати сдать рекламные объявления фирмы «Эврика». Он дал понять консулу, что ему не безразлично, где именно будут напечатаны объявления. Он отдает себе отчет в том, что вопрос этот не столько коммерческий, сколько политический. И вовсе не хочет нечаянно оказаться в роли богатого дядюшки, который по рассеянности или недомыслию стал подкармливать каких-то левых голодранцев.

Консул Кехер оценил предусмотрительность приезжего и понял, что не одни коммерческие интересы вызвали визит и разговор.

Кертнер сделал вид, что не знает политического лица испанских газет и очень нуждается в советах. Вдвоем с консулом они решили дать объявление в газете католиков-реакционеров «АВС», в журнале «Бланко и негро», который выпускает то же издательство, в барселонской «Реневасион» и конечно же в газете «Информасионес» — органе Хиля Роблеса. «Информасионес» могла рассматриваться как рупор Германии, в ней больше всего национал-социалистских публикаций.

Была отвергнута не только левая газета «Эль эральдо», но даже либеральные «Эль дебато» и «Эль социалиста».

— А как господин консул смотрит на газету «Вангуардиа»?

— Самая крупная газета здесь, в Каталонии. Но после выборов 16 февраля «Вангуардиа» стала попросту несносной. Слишком много недружелюбных намеков в адрес Германии. Причем намеки становятся все более наглыми. У издателя испортился характер, надо его проучить.

Кертнер спросил также о севильской печати, но Кехер остановил его:

— На этот счет вам лучше посоветоваться с консулом в Севилье Дрегером. Он сейчас здесь.

— А как его найти?

— Я вас познакомлю.

Консул просил герра Кертнера также учесть, что недавно из Берлина пришло письмо из ведомства Геббельса с призывом: поддержать объявлениями и денежными пожертвованиями благородные замыслы журнала «Нуэстра революсион», который вот-вот начнет выходить. Кехер сообщил тоном заговорщика, что лидер «фаланги» Антонио Примо де Ривера прислал из тюрьмы для первого номера «Нуэстра революсион» приветственную статью.

Этьен благосклонно кивнул, а сам раздраженно подумал: «Сказал бы мне кто-нибудь прежде, что буду содержать фашистскую печать... Да я бы ему морду набил! ..»

У Этьена складывалось впечатление, что консул не понял: то ли заезжий богач в самом деле нуждался в рекламе своей фирмы, то ли он явился из каких-то специальных сфер с поручением подкормить профашистскую печать. Но так или иначе, консул преисполнился к герру Кертнеру почтения и не без гордости сообщил, что он — заслуженный национал-социалист и у себя на родине, в Швельме, был командиром отряда штурмовиков.

— Швельм, Швельм...— Этьен сделал вид, будто

мучительно вспоминает. — Кажется, Швельм входит в административный район Арнсберг?

— Вы предельно точны.

— Вестфальца нетрудно узнать и по выговору. У вас классическое рейнское произношение!..

Прощаясь, консул Кехер пригласил гостя, если ему позволят дела, на субботний кинопросмотр.

Кертнер поблагодарил за приглашение, были основания считать, что ему повезло.

Дела позволяли Кертнеру сидеть в кино, свободное время было у него в избытке, он не мог похвастаться в Барселоне обилием деловых предложений, он чувствовал, что солидные барселонские коммерсанты относятся к нему с недоверием. В ту пору немало агентов гестапо, офицеров абвера, замаскированных нацистских деятелей выдавали себя за представителей деловых кругов. Вот почему многие предприниматели в Барселоне остерегались вступать в контакты с австрийцем фашистской закваски, считали репутацию Кертнера сомнительной.

«Да, я не оригинален в выборе своей «крыши», — размышлял Этьен наедине с собой. — Шпионов-коммерсантов вокруг меня хоть пруд пруди. Однако «крыша» моя не протекает, и в консульстве меня считают своим. Сейчас это важнее, чем доверие честных людей. По крайней мере, я избавлен от чьих-то подозрительных расспросов и назойливых знакомств по заданиям «портовой службы» гестапо».

Почти весь следующий день Кертнер провел в доме № 71 на авенидо де Гауди, в конторе герра Хуана Гунца, директора местного филиала «Центральной конторы ветряных двигателей». По-испански фирма Вильгельма Теуберта называлась «Хенерал фуорса моторис аэрэа», — так значилось на вывеске. Но Этьен уже знал, что он беседует с одним из руководителей рейхсверовского шпионажа в Испании, с бывшим обер-лейтенантом германской армии, который сейчас командует местной группой «Стальной шлем». В походке Гунца без труда угадывалась офицерская выправка.

У Кертнера не было рекомендательного письма от Теуберта, но он готов был отдать руку на отсечение, что

в барселонском отделении предупреждены о его приезде.

Шел оживленный разговор, причем Хуан Гунц отгораживался от гостя облаком дыма гаванской сигары, а Кертнер не оставался в долгу и окуривал хозяина венгерскими сигаретами. Кертнер изображал жизнерадостного, общительного человека, он не прочь похвалиться своими первыми успехами по продаже ветряных двигателей.

Хуан Гунц великодушно называл Кертнера своим коллегой, поскольку одни и те же ветры часто приводят в движение ветряные двигатели в Испании и в Италии. Кертнер рассказал также о недавней поездке в Осло, о знакомстве с норвежскими сотрудниками; ему понравилось, как там своевременно осведомляют покупателей о получении новых образцов товаров.

Хуан Гунц понимающе улыбнулся, нашел в ящике стола бумагу, протянул ее Кертнеру и спросил:

— Вы имеете в виду такое приглашение?

Кертнер пробежал глазами письмо и кивнул в знак согласия. То была точная копия письма, показанного ему в Осло.

У Этьена еще во время пребывания в Берлине, на обратном пути из Осло и Кенигсберга, окрепло подозрение, что Вильгельм Теуберт только маскируется ветряными двигателями, а на самом деле торгует оружием. Для конспирации оружие называют в деловой переписке скороспелым картофелем. Конечно, посылать оружие в Италию не было смысла, итальянцам в самом деле продавали ветряные двигатели. Ведь в каких-то странах нужно было поддерживать легенду о деятельности «Центральной конторы ветряных двигателей», в то время как Хуан Гунц получает «образцы новых товаров» и заботится о пополнении складов друзей своей фирмы.

«Было время, Дон-Кихот сражался с ветряными мельницами, — подумал Этьен. — Но потомкам Дон-Кихота Ламанчского будет намного труднее совладать с ветряными двигателями, которыми торгует партайгеноссе Хуан Гунц».

У Гунца два вице-директора, один из них — главарь каталонских фашистов, адвокат Хуан Видаль Сальво, а

другой — Альваре де Малибран; его брат занимает весьма высокий пост в военном министерстве. Он связан с самим Хуаном Марчем, богачом, который щедро финансирует фалангистов, рекетистов и тайно вооружает их.

— Каков урожай картофеля в этом году в Италии? — спросил Гунц неожиданно.

— Вы имеете в виду скороспелый? — Кертнер вспомнил, что о скороспелом картофеле говорил в его присутствии Теуберт.

— Разумеется.

— Урожай намного выше прошлогоднего, — ответил Кертнер.

Важно, что вопрос Гунца не застал его врасплох. Скороспелый картофель сыграл роль пароля, известного обоим собеседникам.

Может быть, поэтому Гунц нашел возможным посвятить приезжего в свои разногласия с компаньоном Альваре де Малибраном. Тот, правда, раздобыл крупные заказы на вооружение для испанской армии, но при этом совсем не думает об интересах рейха, мирится с тем, что другие страны тоже собираются поставлять сюда оружие.

Гунц озабоченно мерял свой кабинет из угла в угол, яростно дымил сигарой и так прищуривал глаз, словно целился в кого-то. После недолгого раздумья он подошел к несгораемому шкафу, достал оттуда и подал Кертнеру бумагу:

— Прочтите. Послезавтра это письмо уйдет с дипломатической почтой, а завтра специальный курьер доставит его в Мадрид.

Гунц не хотел показывать гостю все письмо, а загнул лист на том месте, где было напечатано: «Государственные поставки». Этьен скользнул взглядом по подписи, — конечно, «С партийным приветом» и «Хайль Гитлер!» — а потом принялся читать.

> «Только что нами получено через брата Малибрана следующее строго секретное сообщение:
>
> Мнимый немец по фамилии Эррен, выслан-

ный из рейха, заявляет, что когда его высылали из Германии, то пытались похитить патенты на уникальное оборудование для подводных лодок, в частности на водородные моторы. Но чертежи и все расчеты были надежно спрятаны, и ему удалось обмануть агентов абвера. Эмигрант Эррен предложил свои изобретения английскому военному министерству. А после выборов 16 февраля и прихода республиканцев к власти он согласился передать некоторые изобретения военному министерству Испании. Вопрос здесь рассматривался, и патенты вызвали большой интерес. Их уже купили бы, если бы в последний момент не вмешался брат Альваре де Малибрана и не использовал свое влияние.

Как нам удалось узнать из совершенно секретных источников, лицензия на использование водородных моторов в подводных лодках обошлась бы испанскому правительству примерно в 250 000 марок, то есть 750 000 песет. Можете себе представить, партайгеноссе, как мы были встревожены. Привели в действие все рычаги и отложили приобретение патента до того, как будут обсуждены германские предложения, значительно более интересные. Долго тянуть нельзя, слишком велик интерес к изобретениям эмигранта, так необдуманно и беспечно высланного из Германии. Надеюсь, нам удастся опорочить техническую идею эмигранта, к возможной материальной выгоде для нашего фатерланда».

— Партайгеноссе Кертнер, вы крупный специалист по патентам и лицензиям. Вам известен такой изобретатель в области подводного флота — Эррен?

— Такого изобретателя, насколько я знаю, нет. Может быть, вы имеете в виду человека по фамилии Геррен?

— Возможно, мы допускаем ошибку. Он вынужденно эмигрировал из Германии и нашел сейчас убежище в Ан-

глии. Мало того, что он, по некоторым сведениям, еврей, так еще женат на француженке.

— Действительно, Геррен живет теперь в Англии и у него есть ценные изобретения, представляющие интерес для подводников. О жене его сказать ничего не могу, что же касается национальности Геррена, то он — австриец и происходит из старинного рода. Не то у его дядюшки, не то у двоюродного брата есть фамильный замок в Тироле. Вы можете навести справки о Геррене в «Готском альманахе», там вся родословная австрийской знати.

Гунц пытливо вгляделся в лицо гостя и сказал, как бы продолжая размышлять вслух:

— Вы же не только специалист по патентам и лицензиям. Вы и доверенное лицо Теуберта.

Кертнер молча поклонился.

— Что вы скажете по существу вопроса? — нетерпеливо спросил Гунц.

Кертнер сосредоточенно молчал и после длинной паузы сказал, внимательно глядя на пепел сигареты:

— Патенты Геррена представляют большую ценность. Жаль, патенты не удалось выкрасть до того, как их автора выслали. Полагаю, тезка нашего Теуберта заплатил бы за эти секреты не меньше той суммы, которую согласилась уплатить Испанская республика. Предположим, испанцы не приобретут секретов эмигранта, женатого на француженке. Вы уверены, что это выгодно рейху?

Теперь уже Гунц надолго замолчал. Он так поглощен своей вонючей сигарой, что ему некогда ответить на вопрос.

— А по мне, так пусть республиканцы озолотят отпрыска знатного австрийского рода! Мне их песет не жалко! — продолжал Кертнер, горячась или делая вид, что горячится. — Допустим, мы продадим испанцам свои лицензии вместо Геррена. Заработаем четверть миллиона рейхсмарок. Но при этом выпустим из рук жар-птицу. И может быть, уже никогда ее не поймаем.

Гунц сидел молча, уставясь в угол и прищурившись так, будто брал кого-то на мушку.

— Патенты нетрудно выкрасть, — наступал Кертнер. — Или они перейдут к нам по наследству заодно с их

премьер-министром... Надеюсь, вы не сомневаетесь, что очень скоро все секреты испанского военного министерства станут нам известны? Ну как долго все секретные патенты еще будут в руках красного правительства? — спросил Кертнер, маскируя запальчивым тоном провокационный смысл своего вопроса.

— Недель пять-шесть, самое большее — восемь...

Теперь труднее всего скрыть волнение, вызванное тем, что страшная догадка подтверждалась. Значит, мятежники даже наметили для себя ориентировочный срок? А на какие приметы опирается догадка Гунца?

— Так или иначе, все секреты Геррена должны попасть к тезке нашего патрона, — жестко и спокойно произнес Кертнер тоном, каким отдают приказания, когда чувствуют за собой право их давать.

Гунц без труда догадался, на какого тезку Теуберта намекает гость, — речь шла о Вильгельме Канарисе.

Кертнер вернул письмо, и Гунц спрятал его снова в сейф, но по тому, как Гунц держал письмо, как нерешительно запирал сейф, Этьен уже твердо знал, что в таком виде секретное письмо отправлено не будет.

Гунц проводил гостя, внешне поведение хозяина ни в чем не изменилось. Но Этьен знал, что понравился этому офицеру абвера, который хорошо научился носить штатский костюм, только в походке его сохранилось что-то армейское. Казалось, был бы кабинет у Гунца попросторнее, он сразу перешел бы на строевой шаг.

Прощаясь, Хуан Гунц спросил у гостя, в каком отеле тот остановился. Кертнер ответил, что громадный десятиэтажный «Колумб» показался ему слишком шумным и он предпочел отель «Ориенто» на Рамбляс де лос Флорес. Хозяин одобрил выбор, он понял, что гость не экономит на своих удобствах. Гунц выразил уверенность, что они еще встретятся, он рад был бы увидеть герра Кертнера у себя дома. Этьен почувствовал, что Гунц говорит искренне; вот до их беседы Хуану Гунцу не пришла бы в голову мысль приглашать Кертнера к себе домой, на Калье де Хесус, 51.

Встретил Гунц своего гостя с чопорной почтительностью. Она была естественным откликом на рекомендацию

Теуберта, но не могла скрыть всегдашней профессиональной настороженности, и смотрел Гунц на гостя прищурясь, как бы прицеливаясь.

А когда хозяин провожал гостя, почтительность перестала быть заученной, потому что в глубине своего разведчицкого нутра он ощутил превосходство гостя. Гунц справедливо считал себя неплохим офицером абвера, но лишь самому себе признавался, что ему не хватает политической дальнозоркости, умения предвидеть, и вопросы стратегии ему не по плечу. Наверное, поэтому он в армии дослужился только до обер-лейтенанта.

Итальянский посол фирмы «Ветряные двигатели» проэкзаменовал его сегодня, как зеленого ефрейтора, и Гунц знал, что удостоился у приезжего и у самого себя плохой отметки.

Но именно потому, что Гунц дисциплинированно признал превосходство гостя и воспринимал его как соратника, старшего по званию, он был так предупредителен и внимателен к Кертнеру, когда они встретились в субботу вечером на кинопросмотре.

Хуан Гунц, которого, кстати, все в консульстве называли Гансом, перезнакомил Кертнера с вожаками германской колонии в Барселоне; здесь был и директор филиала «Люфтганзы» граф Берольдинген.

До кинопросмотра разговор крутился вокруг статьи английского лорда Ротермира, в которой тот защищал фюрера, вокруг призыва Свена Гедина к восстановлению справедливости в колониальном вопросе и вокруг «провокаций» коммунистов. Дошло до того, что через несколько дней после победы республиканцев на выборах в Барселоне расклеили портреты Тельмана, в связи с его пятидесятилетием, и подняли крик о «терроре в Третьем рейхе». Типичная левая демагогия!

А по тому, как при всех этих разговорах вел себя Ганс Геллерман, совладелец импортной конторы, ясно было, что он — фюрер местных наци. И не случайно с Геллерманом все время солидаризировался и усердно поддакивал ему Альфред Энглинг, управляющий барселонским отделением фирмы «Гютерман Зейде», а по совместительству — руководитель местной «портовой службы».

Крутили фильм «Наследственная болезнь», в котором демонстрировали ужасы, связанные с изменой расе. Кроме того, показали любимый фильм фюрера «Триумф воли», но в нем слишком много и утомительно маршировали. Картины ввезли в Испанию контрабандой, поэтому на просмотр собралась только публика, внушающая доверие. Пригласили нескольких преданных испанцев, в числе зрителей был видный фашист Гаррида Лопец, хозяин фирмы по производству термометров.

Генеральный консул Кехер не забыл своего обещания, познакомил Кертнера с консулом Дрегером, и они условились о встрече в Севилье через несколько дней. Тут же Дрегер познакомил Кертнера с консулом из Аликанте, тот кичился своим графским происхождением и представился так:

— Вильгельм Ганс Иоахим Киндлер фон Кноблох.

Однако каким образом Дрегер и Кноблох оказались одновременно в Барселоне? А за несколько минут до того, как осветился экран, в зале появились консул в Картахене Генрих Фрике, консул в Гренаде Эдуард Ноэ, консул в Сан-Себастьяне Реман...

А что здесь, в консульстве, делает почтенный Адольф Лангенхейм? Не поленился, старый хрыч, приплыть из Марокко. Этьен знал, что горный инженер Лангенхейм руководит в Тетуане организацией нацистов, руководит вдвоем с Карлом Шлихтингом, который живет в доме Лангенхейма под видом домашнего учителя.

Кертнеру было отчего встревожиться.

Совершенно очевидно, что в Барселоне проходит инструктивное совещание германских консулов, выходящее за рамки Испании. Тут были еще какие-то дипломаты и переодетые офицеры с Майорки, с Канарских островов, из марокканских портов Сеуты и Мелильи. По-видимому, ежедневные воздушные рейсы «Люфтганзы» Штутгарт — Барселона удобны не только для конторы ветряных двигателей.

По обрывкам разговора можно было понять, что в Барселоне находятся и ответственные чины германского посольства, прибывшие из Мадрида. На кинопросмотр они не пришли лишь потому, что оба фильма уже видели

в посольстве. Но тайный слет сам по себе насторожил, — «не стая консулов слеталась. . .».

Он вновь и вновь с горьким недоумением задавал себе вопрос: «Почему Советский Союз не посылает в Испанию своего посла? Конечно, нашему брату не пристало вмешиваться в дипломатию, и меня за это наверняка выругают — не лезь, такой-сякой, не в свои сани. Но разве я не имею права по этому поводу выразить Центру своё зашифрованное недоумение?»

Из Барселоны Этьен улетел в Севилью, где в течение нескольких дней занимался делами, связанными с рекламой конторы «Эврика». Он намеревался побывать также в Мадриде, при условии, если ему удастся туда полететь, а не поехать поездом. Он давно собирался осмотреть Мадрид, где никогда не был, наведаться на его аэродром Куатро виентос, конечно же походить по залам Прадо и вдоволь насладиться полотнами Гойи, попытать счастья в казино «Гран пенья» и, если останется время, заняться делами «Эврики».

Но Этьен увидел и услышал в Барселоне и Севилье столько тревожного, что решил прервать путешествие и вернуться в Италию первым же пароходом.

И многозначительный разговор с Гунцем, и подозрительный слет консулов, и «скороспелый картофель», который доставляют воздушным путем из Штутгарта, и тревожное слово «пронунсиаменто» — переворот. Это слово он уже не раз слышал и на аэродроме Прат под Барселоной; и на террасе Колон-отеля, где сидят и пьют кофе, поглядывая на толпу, фланирующую по пляса Каталуньо; и в севильском аристократическом клубе.

Скорей, как можно скорей добраться до Милана, до патефона «Голос его хозяина», с которым не расстается Ингрид и который правильно было бы назвать «Голос его хозяйки».

Сколько дней Ингрид не выходила в эфир? Каникулы в ее музыкальных занятиях затянулись. Они не всегда совпадают с каникулами студентов консерватории.

Впрочем, хорошо, что за это время затерялись следы «Травиаты» в эфире,

Больше всего Этьену нужна была сейчас Ингрид. Он был неразлучен с ней в мыслях. Скорей бы зазвучал в эфире голос его хозяйки!

11

«8. 4. 1936

Мы не забыли о нашем обещании прислать замену. Но, к сожалению, в настоящее время лишены такой возможности. Сам понимаешь, как нелегко подыскать подходящего, опытного человека, который мог бы тебя заменить. Поэтому с отъездом придется некоторое время обождать. Мобилизуй все свое терпение и спокойствие.

Оскар».

«24. 5. 1936

Товарищ Оскар! Даже когда я сильно нервничал, никто этого, по-моему, не замечал. Ко мне вернулось равновесие духа, работаю не покладая рук. Но, объективно рассуждая, нельзя так долго держать парня над жаровней. Насколько мне известно, подобная игра человека с собственной тенью никогда хорошо не кончается. Все доводы я уже приводил. Мне обещали прислать замену месяца через два. С тех пор прошло четыре месяца, но о замене ни слуху ни духу. От работы же я бежать не намерен, остаюсь на своей бессменной вахте.

Этьен».

12

Великое это искусство — помочь человеку увидеть себя более красивым, чем он есть на самом деле, польстить ему ретушью, дать пищу его маленькому тщеславию. И благополучие фотографа покоится на желании людей выглядеть как можно привлекательнее.

Тщеславие, жажда лести жили еще задолго до изобретения фотографии. Как знать, может, первый портрет

нашего далекого предка, нацарапанный острым камнем на стене пещеры, уже был приукрашен?

Желание приукрасить свою внешность свойственно всем, без различия возраста, пола, национальности и положения в обществе. Но не так-то просто изобразить молодящуюся — молоденькой, уродливую — привлекательной, человека с низким, малообещающим лбом и бездумным взглядом — глубоким мыслителем, вульгарную панельную девку — скромной, застенчивой девственницей, явного сорвиголову и озорника — смиренным ребенком...

Фотография «Моменто» открылась на улице Лука делла Роббиа много лет назад, захудалая фотография, каких немало на рабочих окраинах Турина. Однако прежде она не слишком-то привлекала к себе жителей района. Засиженная мухами витрина, выцветшие фотографии — вымученные, насильственно наклеенные улыбки, испуганные физиономии, заученные позы. А те, кто забредал в «Моменто», снимались на ветхозаветном диване возле низкой старомодной тумбочки на рахитичных ножках с острыми краями; все больно ударялись о тумбочку коленями.

Фамилия владельца на вывеске не значилась, и мало кто подозревал, что у «Моменто» сменился хозяин. Синьор Сигизмондо купил это маленькое, на тихом ходу, ателье у вдовы незадачливого фотографа, который до того был таким же бесталанным живописцем.

Новый владелец делал многое, чтобы репутация фотоателье-замухрышки поскорее изменилась. Он решительно выбросил из ателье всю рухлядь, начиная с тумбочки, которая оставляла синяки на коленях, и кончая бархатной скатертью с бахромой в виде шариков. Теперь в комнате, где ожидали клиенты, на столике лежали не только итальянские, но и французские, немецкие журналы и целая кипа газет, начиная с местных «Гадзетта дель пополо» и «Стампа». Но сменить вывеску «Моменто» новый владелец не захотел: пусть висит старая.

— Вывеска — как купальный костюм молоденькой дамочки, — объяснил при этом Скарбек своей Анке и лаборанту Помпео. — Многое открывает, но самое интересное держит в тайне...

Конечно, Сигизмунд Скарбек мог бы открыть в Турине богатое ателье в центре города, но его больше прельщала третьеразрядная фотография: мало кто интересовался ею в других районах Турина.

Обычно городские торговцы или ремесленники хорошо знают друг друга и все вместе начинают дотошно и назойливо интересоваться новым конкурентом — что это еще за птица прилетела из-за границы, чтобы отбивать у них покупателей или заказчиков? Так что фотоателье в центре города, под враждебными взглядами конкурентов, было бы менее надежной «крышей», чем захудалое «Моменто».

Скарбеку не нужен шикарный салон, его вполне устраивает, что фотография находится на заводской окраине, а клиентами его стали преимущественно рабочие с заводов Мирафьори, Линьотто, с военных заводов, расположенных по соседству.

В ту пору многие цехи туринских заводов становились секретными и там вводили пропуска с фотокарточками. Благодаря этим фотографиям-малюткам Скарбек хорошо осведомлен о секретной сущности заводов.

Ну, а кроме фото для пропусков, для паспортов, для членских билетов фашистской партии, кроме семейных фотографий, посылаемых в армию, Скарбек успешно занимался также художественной фотографией; он был незаурядным мастером своего дела, подлинным художником.

Прошло всего полгода, и теперь у витрины «Моменто» торчали зеваки. Портреты красоток заставляли иных прохожих замедлять шаг, а то и надолго задерживаться у витрины. И дело не в том, что красотки снялись в платьях весьма смелого покроя. Новый владелец «Моменто» умел потрафить самым капризным клиенткам, и были случаи, когда к нему приезжали фотографироваться важные синьоры и синьорины — среди них известная киноактриса, чемпионка города по лаун-теннису, молодящаяся и безвкусная жена спекулянта земельными участками; ей совсем не к лицу складки и морщины, хорошо бы отделаться от них хотя бы на фотографии... А Скарбека, когда он мучился с ней, так и подмывало

спросить: «Скажите, синьора, где вы заказали свою шляпу — не в артели слепых?»

Дамским капризам Скарбек не потворствовал, держался с большим тактом и строгим достоинством, но при этом работал мастерски, споро, сыпал прибаутками.

— Лучше всего знают женщин, — утверждал Скарбек, — фотографы и дамские парикмахеры... Один умный человек сказал, что женщина всегда остается женщиной и с этим нужно смириться. Бывают женщины приятные и неприятные. Самые приятные — те, с которыми мы еще не познакомились и которых еще не фотографировали.

Иные клиентки терпеливо ждали своих фотографий по нескольку недель — так много стало заказчиков у «Моменто». Тем же, кому нужны фото для документов, заказы старались выполнить срочно...

— Когда будет готово? — спросил очередной клиент, сидевший в ателье перед громоздким аппаратом.

— Не раньше вторника. — Скарбек сбросил с себя черное покрывало и тяжело вздохнул.

— Где же ваше обещание «сегодня снято — завтра готово»? И как я в понедельник попаду на завод?

— Теперь всюду ввели пропуска, все засекречены, кроме меня, — усмехнулся Скарбек. — И всем нужны фотографии.

— Ну как же ему быть? — с наигранной тревогой спросил другой клиент. — Мирандолина не пустит его в постель без пропуска с фотографией.

— Ее спальня тоже секретный цех? — спросил Скарбек. — Ну, в таком случае я приготовлю снимки к субботе. Помпео! — Он вызвал помощника и отдал кассету. — Заказ особой срочности.

Когда Скарбек появился в «Моменто», городские фотографы снисходительно назвали его «этот маленький фотограф». А сейчас о нем говорили: «Маленький фотограф с большим мешком денег». Фотоателье «Моменто» процветало, в этом помогали Скарбеку не только его жена Анка, но и лаборант Помпео. Пальцы у него желто-коричневые, оттого что вечно мокнут в ванночках с проявителем-закрепителем и прочими химикалиями.

Конечно, Помпео не мог сравниться в искусстве со своим шефом, да и откуда было бывшему фотокопировщику, работавшему на военных заводах Ансальдо, научиться сразу волшебной метаморфозе — превращать заурядных жительниц рабочей окраины в фотопринцесс? Но Помпео очень добросовестно выполнял поручение, данное ему товарищами, он по-прежнему входил в подпольный антифашистский комитет на заводе, хотя и работал теперь в «Моменто».

Скарбек ни о чем в открытую своих клиентов не расспрашивал. Но его смелое острословие и откровенная общительность, подчеркивающая доверие к клиенту, очень часто вызывали ответную откровенность. С помощью Помпео он всегда знал много заводских новостей, и это касалось не только Турина, но в известной степени также верфей Специи, Генуи и других пунктов, где находились дочерние предприятия германского рейха, скрывавшего до поры до времени свой военный потенциал.

Фотоателье, так же как, например, парикмахерская, или лавка, или часовая мастерская, или врач, практикующий на дому, — очень удобное место, куда может войти каждый и каждый может выйти, не обратив на себя особого внимания. Но наивно было бы думать, что ОВРА не знает об удобствах такого рода «ходких» учреждений и не держит их под пристальным наблюдением. Тем более удачно, что фотоателье «Моменто» находится в руках опытнейших конспираторов, какими являются Сигизмунд Скарбек и в не меньшей степени его жена Анка.

Удачно была снята и квартира, она находилась в таком доме, где швейцар служил в полиции. Он сам доверительно сказал об этом Скарбеку, когда тот пришел снимать квартиру:

— Можете, синьор, быть спокойны. Ни один жулик не посмеет показать носа в наш подъезд.

Ежемесячно Скарбек платил швейцару больше ста лир и мог не сомневаться в том, что справки о нем в полицию тот дает самые хорошие.

В те годы итальянская ОВРА интересовалась, главным образом, анархистскими группировками, потому что

с иимн бывают связаиы террорнсты. ОВРА рьяно охотнлась за вожаками коммунистического подполья, смутьяиами, которые устраивают иа заводах забастовки, выступают против войны. Почти все виимание коитрразведки, фашистской мнлиции, карабниеров было сосредоточено иа охране дуче от террористов, что иесколько облегчало работу Кертнера, Скарбека и их помощииков.

Нужно отдать должное Скарбеку, ои умел создать себе добрую репутацию. С радостиым удивлеиием и доброй завистью следил Этьеи за тем, как быстро Скарбек преуспел в Турине. И все это — без посторонией помощн, без чьей бы то ии было поддержки. Он сам изучил все особенности акклнматизацин в Италии иностранных подданных и поселился под иадежиой «крышей».

Было бы неестественно и даже подозрительно, если бы поляк Скарбек ие знался в Турине ни с кем из своих сородичей. Пришлось завести знакомство с тамошнимн поляками — поиграть вечером в бридж или скат; эту игру любят только в Снлезни и Познаии. Когда Анка играла удачнее Знгмунта, он вспоминал самые язвнтельные польскне присловья: «Редька сказала: я с медом очень хороша, а мед ответил: я без тебя куда лучше». Потом, коиечно, начнналнсь воспоминаиия о Варшаве: ночиое кабаре «Андриа» в подвале иа Ясиой улнце; вннный погребок, который все называли «Под серебряиой розой», потому что его содержала Роза Зильбер; турецкая пекария на углу Маршалковской и Аллей Иерузалимских.

Однн из польских гостей осмелился заметить, что Скарбек занимается делом ииже своего плеча; ои мог бы иайти себе дело и прибыльнее. Хозяин ответил ему польской пословицей: «Лучше воробей в кулаке, чем каиарейка на крыше», — н напомиил, что многие мнллиоиеры иачииали с совсем малого. Когда в 1899 году было осиовано акцноиериое общество «ФИАТ», оио имело лишь пятьдесят рабочих и три мотора по тридцать шесть лошадиных сил. Неизвестио, как кто, а ои, Скарбек, верит в приметы, верит, что разбогатеет, — иедаром сыиусь иасыпал ему под Новый год в кошелек чешуйки зеркального карпа, что, как всем известио, — к богатству...

Деиьги — вокруг ннх за карточиой игрой вертелись

все разговоры, все интересы, все планы, надежды и мечты...

Жизнь супругов Скарбек в Турине была бы еще приятнее и легче, если бы их не допекали многочисленные родственники в Германии, Чехословакии и Польше, если бы им так часто не нужно было ездить туда по семейным обстоятельствам. Поездки обходились недешево. Кроме того, надо иметь в виду убытки, какие при этих, пусть даже кратковременных, отлучках несло фотоателье «Моменто».

Лаборант Помпео, при всей его исполнительности, не мог сравниться в фотоискусстве с синьором Сигизмондо. Конечно, фотографии для пропусков, паспортов и дежурные семейные снимки он мастерил, но что касается художественного портрета... Иным клиентам Помпео сам рекомендовал подождать несколько дней, когда вернется фотохудожник.

13

Судя по тому, что в течение восьми месяцев Ингрид четыре раза меняла комнату, она была неуживчивой, капризной квартиранткой. И каждый раз переселялась в совершенно другой район города!

В последний раз она переехала с северо-восточной окраины — мимо ее дома проходило шоссе на Бергамо — на западную окраину и жила теперь недалеко от ипподрома, в конце длинной виа Новаро.

Ингрид вполне устраивали окраины, было бы удобное трамвайное сообщение с центром города, в частности с консерваторией и с «Ла Скала». Комната в центре Милана в два-три раза дороже, и потому все студенты, как правило, живут на окраинах, даже в пригородах.

Она брала частные уроки и собиралась в следующем году держать экзамен в консерваторию. Там училось немало молодых людей из других стран, всех прельщала итальянская школа пенья «бельканто». Удобно и то, что в Италии для поступления в университет или консерваторию требуется минимальное количество всевозможных документов.

Ингрид собрала богатейшую коллекцию граммофонных пластинок — симфоническая музыка, рояль, арии и романсы в исполнении знаменитостей. Она покупала все записи итальянских певцов, какие делала миланская фирма «Воче дель падроне». Больше всего ее интересовали записи арий и романсов для лирико-драматического сопрано. Ей важно было уловить нюансы, особенности исполнения одних и тех же произведений разными певицами. Так, например, ария Чио-Чио-Сан из второго акта у нее была в записи семи певиц, в том числе Джины Чильи, Марии Канильи и Тоти даль Монте, «Песню Сольвейг» исполняли пятеро.

Потайной радиопередатчик, известный Центру под названием «Травиата», был вмонтирован в патефон устаревшей марки, несколько громоздкий, но весьма добротный, безотказный. Это был патефон известной английской фирмы «Виктор», марка «Голос его хозяина». Фабричная марка изображает пса, сидящего перед рупором граммофона и внимающего своему хозяину.

Под аккомпанемент пластинок Ингрид проводит радиосеансы.

Этьена предупредили, что в Германии появились специальные приборы для радиопеленгации, немцы в этой области радиотехники обогнали всех, и русских в том числе. Итальянцы не умели засекать радиопередатчики даже в радиусе трех километров, но где гарантия, что гестапо, при столь нежной дружбе с итальянской контрразведкой, не поделится с ней своими секретными приборами?

Этьен требовал от Ингрид предельной осторожности. Это по его настоянию молодая певица стала такой непоседливой квартиранткой.

Появились косвенные признаки того, что радиосыщики установили круглосуточную слежку на волне, которой пользовалась Ингрид. Тогда «Травиата» применила систему, которой научил ее опытный Макс Клаузен: тот менял длину волны через каждые двести пятьдесят слов передачи. А так как «Травиата» отказалась от волны, на которой работала прежде, контрразведка ее, по-видимому, потеряла.

Второй совет Клаузена также оказался весьма полезным: после каждой радиопередачи, какой бы короткой она ни была, «Травиата» меняла код. При таком условии Этьен мог быть уверен, что итальянские дешифровщики будут сбиты с толку, им никак не найти ключ от шифра, даже если они снова обнаружат «Травиату» в эфире.

Радиокод, разработанный Клаузеном, представляет систему чисел, которые перестраиваются в определенном порядке, в зависимости от дня недели. Шифр, которым пользовалась Ингрид, опирался на слово «Бенито». Каждая из этих шести букв несла свою цифровую нагрузку и своеобразно переводила на язык цифр весь алфавит.

У Ингрид и у Фридриха Великого, работавшего на радиосвязи в Швейцарии, был под рукой один и тот же международный статистический справочник, битком набитый цифирью. Милан и Лозанна заранее уславливались, с какой страницы, с какой строчки и с какой буквы в слове начнут они свои очередные вычисления. А потом уже следовало помнить, на какой цифре окончится последний разговор и с какого слова начнется новая радиограмма, по новому коду, обусловленному тем или другим днем недели.

Но и это еще не все! Помимо скользящей волны и переменчивого кода, время передач также непостоянное — у Ингрид подвижная шкала.

Ингрид появилась в Милане незадолго до нового, 1936 года. Этьен воспрянул духом — так долго молчала «Травиата». А радист, который работал прежде, мог передавать лишь телеграммы, зашифрованные Этьеном, потому что шифр тому радисту не доверяли. Ингрид же, несмотря на молодость, была опытным работником, ученицей Клаузена. Этьен не знаком с Максом Клаузеном, но в Центре его считают лучшим радиоспециалистом. Про Клаузена говорили, что он может смонтировать радиопередатчик в чайнике, заварить в нем ароматный чай и напоить им даже самого привередливого англичанина.

У «Травиаты» существенный недостаток — она обеспечивает радиопередачи только на небольшое расстояние, ее радиограммы можно принимать лишь в Швейцарии или в Тироле. Но разве расстояние между «Травиа-

той» и ее радиособеседниками измеряется только километрами или высотой альпийских гор? Их разделяет граница фашистского государства!

Ингрид первая сообщила Кертнеру о том, что в Испании фашистский мятеж: Фридрих Великий подслушал 18 июля сигнал «Над всей Испанией безоблачное небо».

— Вот оно, «пронунсиаменто»,— Кертнер даже слегка побледнел.

Фашистский мятеж в Испании увеличил поток оперативной информации. «Голос его хозяина» не замолкал подолгу, пока в конце августа «Травиата» не вышла из строя.

Ингрид ходила с заплаканными глазами. Этьен не думал, что хладнокровная рослая немка так разнервничается!

Для того чтобы вылечить «Травиату» от внезапной немоты, нужно было достать четыре новые кварцевые пластины.

Достать кварцевые пластины в Милане и в Турине не удалось. Ну что же, пришлось Анке Скарбек изменить торговой фирме, где она всегда покупала химикалии для фотоателье «Моменто», и отправиться за химикалиями в Рим.

Однако кварцевые пластины, которые Анка привезла из Рима, не спасли положения. То ли передатчик требовал пластин другого рода, то ли Ингрид по радиокоду не смогла получить точных инструкций о том, как именно пластины нужно установить и как устранить помехи.

Центр решил прислать специалиста. Опытному Редеру, а иначе говоря, Фридриху Великому пришлось на время бросить свой радиопередатчик в Лозанне и поехать в Милан, благо туристский сезон еще не закончился, а театральный сезон уже начался.

Согласно расшифрованной телеграмме, Ингрид должна стоять, держа в руках папку с нотами, 8, 12 или 16 сентября в 2 часа дня на пьяцца Дуомо, так, чтобы иметь в поле зрения фронтон собора, памятник Виктору-Эммануилу и пространство между ними. В один из назначенных дней Ингрид встретит блондина лет тридцати, высокого роста, с портфелем из крокодиловой кожи и с номе-

ром газеты «Фолькишер беобахтер», торчащим из кармана. Господин спросит Ингрид по-немецки: «Не скажет ли фрейлейн, как пройти к часовне Сфорцеска?», на что Ингрид должна ответить: «Я иду в том направлении и могу вам показать часовню».

Если свидание в указанные дни не состоится, Центр дает три резервных дня: 19, 20 и 21 сентября в тот же час.

По-видимому, в Центре не знали о давнем и близком знакомстве Ингрид с Фридрихом Великим, о том, что кодированная радиосвязь между ними помогает обоим переносить разлуку и что Фридрих Великий с помощью шифра уже объяснился Ингрид в любви, а ее ответ, также зашифрованный, вселил в него надежду: как только обстоятельства позволят, они съедутся вместе, чтобы не разлучаться...

Короче говоря, не обязательно было Фридриху Редеру тратиться на «Фолькишер беобахтер», Ингрид узнала бы его и без газеты, торчащей из кармана.

Фридрих Редер прилежно осматривал достопримечательности Милана. Кертнер дважды уступал ему свои билеты в оперу, и дважды соседкой Фридриха Редера случайно оказывалась Ингрид.

А когда Фридрих Великий уехал, хозяйка Ингрид обратила внимание на то, что ее квартирантка вновь стала усердно заниматься музыкой...

Вот и вчера Ингрид допоздна сидела за роялем и разучивала трудный пассаж в арии.

Вошла хозяйка и внесла скальдино — жаровню с углями.

— Погрейтесь, синьорина Ингрид. Ветер северный... Про такой ветер у нас в Милане говорят: свечи не задует, а в могилу уложит.

— Вы так любезны, синьора Франческа. Не помешаю, если еще немного помузицирую?

— Сделайте одолжение! Мой Нунцио тугоухий, а мне вязать веселее...

Хозяйка ушла, Ингрид бесшумно заперла за ней дверь на ключ. Она подсела к роялю, несколько раз подряд спела арию. Продолжая напевать, Ингрид подошла к патефону «Голос моего хозяина» и поставила пластин-

ку. Знаменитая певица исполняла ту самую арию, какую только что ученически пела Ингрид. Она открыла заднюю стенку патефона, выдвинула радиопередатчик, быстро настроилась, нашла в эфире своего Фридриха и начала передачу...

14

В вестибюле отеля «Кристина» толпились военные в испанской, итальянской, немецкой форме, преимущественно летчики.

— К сожалению, мы вынуждены отказать вам в гостеприимстве, — развел руками портье. — Как видите... — он показал на военных, — в «Кристине» теперь совсем другие гости.

Кертнер протянул визитную карточку:

— Я от консула Дрегера.

— Вы бы сразу сказали! Тысяча извинений. Вот ключ от вашей комнаты. К сожалению, только третий этаж. Все апартаменты ниже заняты генералом Кейпо де Льяно.

Этьен подошел к лифту. Каковы же были его удивление и радость — из лифта вышел Агирре, элегантный, одетый в военную форму.

— Давно в Севилье? — Агирре искренне обрадовался встрече.

— Только что приехал.

— Как попал сюда, в «Кристину»?

— Консул Дрегер позаботился обо мне. Ну, а ты как живешь? Давно в капитанах?

— Живу как на вокзале, — Агирре отмахнулся от вопроса. — А тебя что привело в Севилью?

— Коммерция не должна отставать от авиации.

— Мы еще увидимся, надеюсь? А то сейчас я тороплюсь. Вызывает майор Физелер, а позже мне предстоит небольшое... — Агирре смутился.

— По-видимому, дело касается мужского самолюбия и женской чести?

— Как ты угадал? — Агирре с удовольствием рассмеялся. — Но завтра вечером ты найдешь меня в казино,

— Вот и отлично! Выпьем за твою военную карьеру.

Еще со времени последних воздушных гонок в Англии Этьен был высокого мнения о летном искусстве своего приятеля. Сейчас испанские газеты называли Аугусто Агирре одним из лучших пилотов авиации Франко, а какой-то журналист утверждал, что в искусстве пилотирования, в отваге и опыте Аугусто Агирре вряд ли уступит таким асам, как Гарсиа Морато, капитан Карлос Айе или майор Хосе Перес Пардо...

Этьен постоял со скучающим видом у карточного стола. Шла крупная игра, и вокруг толпилось много любопытных. Напротив него за зеленым сукном сидела старуха с дряблыми, оголенными до плеч руками, в соломенной шляпе с золотой лентой. По форме шляпа напоминает стальной шлем немецкого солдата, надвинута на самые глаза.

Этьен с той стороны стола не видел ничего, кроме увядшего подбородка и крашеного рта, — старуха не хотела, чтобы видели ее лицо, когда она делает ставки в игре, поскольку в этой игре часто блефовали. Рискованное в ее возрасте декольте украшал кулон на массивной золотой цепи.

За спиной ее стоял шустрый молодой блондин; он почтительным шепотом давал советы, ему доверено было залезать к старухе в сумочку и доставать оттуда деньги, он делал это уже несколько раз: старуха горячилась и проигрывала.

Кертнер позволил себе поиграть в рулетку — не азартничая и не мельча, как полагалось вести себя солидному коммерсанту, забредшему в казино. Он ставил крупные суммы, но играл только в чет-нечет или ставил на «красное-черное», и довольно удачно, редко оступаясь, переходил с четных цифр на нечетные, менял цвет.

Позже он в одиночестве поскучал у буфетной стойки. Агирре все не появлялся, хотя было уже поздно.

Этьен прошелся по залам. Говорят, даже мадридское казино «Гран пенья» уступает севильскому в аристократическом клубе «Касинилья де ла Кампана». Ну а если не быть завзятым и неизлечимо азартным картежником,

более всего в этом клубе привлекал нарядный закругленный салон на первом этаже. Большие зеркальные витрины заливали его светом, и при этом в салоне не было душно.

Двери клуба открывались только перед избранными. Здесь собирались местные гранды, знатные эмигранты, сбежавшие из Мадрида, Валенсии, Сарагоссы, из других городов и провинций, занятых республиканцами, дипломаты, военные чины, журналисты, тореадоры, сановники, коммерсанты.

Севилья походила в те дни на огромный перевалочный пункт, на необъятный зал ожидания на вокзале — зал ожидания первого класса! Иные беженцы задерживались здесь всего на несколько дней и в своих экипажах, в своих автомобилях спешили вдогонку за наступающей армией. Въехать в свой особняк, в свое поместье, войти в свой магазин сразу же, как только выгонят «красных»! Все ночлежные дома, гостиницы, монастырские подворья, таверны при дорогах, ведущих к Мадриду, битком набиты беженцами.

Этьен уже собрался в «Кристину», но перед тем, как уйти, подошел к игорному столу, где рулетка была сегодня к нему так благосклонна. И тут он увидел за спинами любопытных Агирре, сидящего понуро за столом. Как же Этьен не заметил его раньше? Или Агирре только что пришел?

Крупье с профессиональной сноровкой отгреб лопаточкой деньги с проигравших квадратов стола. Печальным взглядом проводил Агирре эту кучу денег.

Низкий абажур повис в табачном дыму над зеленым сукном, освещая стол, расчерченный на квадраты.

Напротив Агирре сидела все та же старуха в соломенной шляпе. Крупье рассчитался с играющими. Делали новые ставки. Агирре неуверенно положил деньги на «11», но в самый последний момент нервно передвинул их на соседний квадрат.

— Игра сделана, ставок больше нет, — объявил крупье, и рулетка с легким жужжанием завертелась...

Агирре неотрывно следил за ней — вот-вот остановится... И вновь неудача. А старуха опять выиграла.

Шустрый молодой блондин достал ее сумочку и сунул в нее выигрыш. Старуха игриво похлопала его по щеке рукой в перстнях и показала, на какие квадраты снова ставить.

Агирре, подавленный проигрышем, порылся в карманах пиджака, ничего не нашел, встал, но подошедший Кертнер мягко усадил его обратно и незаметно передал деньги:

— Держи.

Докрутилась рулетка, и крупье пододвинул к Агирре кучу ассигнаций. Тот вскочил в веселом азарте.

— Не будем больше испытывать судьбу. — Он взял деньги со стола и хотел отдать долг Кертнеру.

— Успеешь.

— Нет, нет, карточный долг — долг чести!

— Я подожду.

— Тогда играю на все!

И снова крупье придвинул лопаточкой деньги к счастливому Агирре. Тот иронически улыбнулся шустрому блондину, отдал долг Кертнеру, рассовал остальные по карманам и отошел от стола.

Агирре был радостно возбужден и все чаще поглядывал в другой конец зала — оттуда ему улыбалась очаровательная молодая сеньора. Она стояла об руку с пожилым мужчиной, но не сводила сияющих глаз с Агирре.

15

Джаннина укладывала вещи в чемодан, собирала Паскуале в дорогу, напевая «Прощание с Неаполем». Мать хлопотала на кухне.

— Мама, где шерстяные носки? На палубе бывает ночью очень прохладно.

— Посмотри в комоде, в нижнем ящике, — донеслось из кухни.

Джаннина пела и не услышала, как за ее спиной тихо отворилась дверь и вошел Паскуале. Он осторожно положил покупки и стал подпевать Джаннине. Она бросилась отчиму на шею.

— Я счастлив, что ты приехала меня проведать, — сказал Паскуале с нежностью.

— Я была бы счастлива проводить тебя в последний рейс на «Патрии». Мне совсем не по душе твои поездки в Испанию.

— Еще два-три рейса — и синьор Капрони-младший назначит мне пенсию. Ну, а кроме того, ты же знаешь... — Паскуале порылся в бумажнике и достал вырезанное из газеты объявление. — Вот... «Все для приданого... Столовое и постельное белье... Улица Буэнос-Айрес, 41...» Я и опоздал потому, что купил кое-что для своей девочки...

Он открыл коробку, в ней полдюжины батистовых рубашек, развернул пакет и достал платье — голубое в белую полоску. Джаннина наспех чмокнула Паскуале и, схватив платье, скрылась за шкафом.

— Святые угодники! Паскуале расщедрился! — Мать стояла в дверях с кастрюлей. — Он такой скупой, что из экономии один хотел ехать в наше свадебное путешествие.

— Но все-таки вы ездили вдвоем! — засмеялась Джаннина, голос ее донесся из-за шкафа.

— Да, третьим классом! — вздохнула мать и ушла на кухню.

Раздался стук в дверь, вошел человек в форме трамвайщика, вертлявый, с бегающим взглядом.

— Прошу о снисхождении... Дайте в долг бутылочку масла.

Паскуале удивленно посмотрел на вошедшего, а Джаннина сухо пояснила:

— Наш новый сосед.

— Я поселился в этом доме, когда вы были в Испании, — сказал Вертлявый.

Паскуале коротко кивнул.

Джаннина успела переодеться и прошлась в новом платье мимо отчима и Вертлявого походкой манекенщицы, покачивая бедрами.

— Вам нравится? — Паскуале повернулся к Вертлявому. — А жена недовольна. Называет меня скупым,

В дверях появилась мать н иелюбезно оглядела Вертлявого.

— Сосед проснт бутылочку масла, — объясннл Паскуале.

— Вы забылн вернуть бутылочку кьянтн, — напомнила мать, но все-такн вынесла масло.

Уже в дверях сосед сказал:

— Я служу контролером в трамвайном парке. Ваша семья может смело ездить без бнлетов.

— Благодарнм, — сказала мать. — Но как раз на трамвай Паскуале не скупнтся.

Едва закрылась дверь за назойлнвым соседом, Джаннина закружилась перед зеркалом, бросилась на шею Паскуале, запела.

В мелодию ворвался свист с улнцы. Мать перегнулась через подоконннк, помахала рукой:

— Паскуале! Джаиннна! Скорей посмотрнте на этого геиерала! Сколько перьев в его шляпе!

Джанннна глянула в окно, усмехнулась, отвернулась.

— Ощнпалн двух павлинов...

— Прнгните голову! — крнчала мать в окно. — На лестннце паутниа...

— Мне дорого обошлась приставка к тнтулу Внктора-Эммаиунла «нмператор Абнссинии», — сказал Паскуале невесело. — Я заплатнл за это жизнью монх мальчнков Фабрицно н Бартоломео. Не хватает еще, чтобы за тнтул Франко «генералиссимус» пострадал жених моей Джаинины.

Тоскано вошел одетый с иголочкн в форму лейтенаита берсальеров. Ои сиял замысловатый головной убор, горделиво прнгладнл волосы и зачесал нх пятерней назад.

— Я же предупреднла. — Мать всплеснула рукамн, взяла шляпу Тоскано и сняла паутиину с перьев.

— Можете поздравить, меня произвели в офицеры. Когда отец узнал, то сразу раскошелился... — Тоскано подошел к раскрытому окну н с важностью показал на новенькнй автомобиль.

— Самая последняя модель! — восклнкнул Паскуале восторжеиио.

— После Испании мы отправимся в этом автомобиле с Джанниной в свадебное путешествие. Прямо из церкви.

Он обнял ее одной рукой и потянулся с поцелуем: она отвернулась.

— Думаешь, я буду ждать тебя, как твой автомобиль?

— Ну вот, опять вы ссоритесь, — всплеснул руками Паскуале. — А я так надеялся прокатиться сегодня в новом автомобиле до вокзала.

— Собирайтесь, я подожду вас внизу.

Тоскано молча поправил прическу, надел шляпу с перьями и вышел, обиженно посмотрев на Джаннину.

Джаннина выбежала на лестницу и крикнула вдогонку:

— Не запутайся в паутине!

16

Метрдотель, немолодой мужчина атлетического сложения, проводил Кертнера к столику, тот сел и развернул газету «АВС», вечерний выпуск.

Ресторанный гомон, звон посуды, хлопанье пробок, натуральный и ненатуральный смех — все сегодня щемило сердце.

Не далее как 2 ноября, позавчера, Муссолини и Риббентроп объявили о рождении нового пакта Рим — Берлин. Если верить этому вечернему выпуску «АВС», вся кафедральная площадь в Милане была запружена народом. Плакаты, знамена, флаги, кокарды, зеленые, белые и красные ленты национального флага. А на самом соборе транспарант: «Да ниспошлет Иисус, король в веках, долгие годы побед Италии и ее дуче, дабы христианский Рим светил вечным светом для мировой цивилизации!»

Тучи над Мадридом сгущались, и, читая газету, Этьен не мог унять сердцебиения.

Вчера, 3 ноября, Франко издал приказ:

«Войдя в Мадрид, все офицеры колонн и служб должны принять серьезные меры к со-

хранению дисциплины и запретить всякие поступки, которые, являясь личными поступками, могут опорочить нашу репутацию. Если же подобные поступки примут широкий характер, они могут создать опасность разложения войск и потерю боеспособности. Предлагается держать части в руках и избегать проникновения отдельных солдат в магазины и другие помещения без разрешения командиров».

Этьен понимал, чем вызвано опубликование приказа: Франко пытался притушить кампанию в мировой печати за спасение беззащитных жителей Мадрида, которым угрожает кровавая резня, погромы фалангистов.

Генерал Мола, первый помощник Франко, въедет в город на белом коне, конь недавно подарен ему областной организацией «Рекете» в Наварре. Гарцуя на белом коне, генерал Мола въедет через Сеговийский мост на площадь Пуэрта дель Соль, остановится, ему подадут микрофон, и он, не слезая с седла, скажет только два слова: «Я здесь!» А потом в старой кофейне на той же площади он устроит прием для иностранных журналистов и угостит их кофе. В тот день площадь Пуэрта дель Соль, то есть «Ворота солнца», будет в полной мере отвечать своему названию!

Сегодня, 4 ноября, впервые прозвучала специальная радиопередача «Последние часы Мадрида». Парад перед зданием военного министерства примет глава государства, высокопревосходительный сеньор генерал Франко. Названы капельмейстеры военных оркестров. Утвержден план переезда правительственных учреждений из Бургоса в Мадрид.

Ни одна дата не упоминалась сегодня в застольных беседах так часто, как 7 ноября. Какой-то испанский гранд провозгласил тост:

— Выпьем за седьмое ноября! В этот день каудильо войдет в Мадрид!

Его шумно поддержали собутыльники. Кертнер невесело усмехнулся и осушил бокал с хересом.

Пятница, 7 ноября... Нет, вовсе не случайное совпадение. Газета «ABC», ссылаясь на германские источники, пишет, что «по совету некоторых друзей, генерал Франко избрал этот день специально для того, чтобы омрачить ежегодный праздник марксистов, годовщину большевистской революции».

Нетрудно догадаться, откуда родом советчики-друзья Франко.

Прибытие итальянских войск в Испанию. Командует ими генерал Роатта (в Испании он называется Манчини).

Мадрид в огне, под бомбами. Четыре колонны генерала Мола движутся на столицу.

«Но Мадрид будет завоеван, даже если эти четыре колонны не дойдут, пятой колонной».

Что это за пятая колонна, которая должна нанести республиканцам удар в спину? Знает ли Старик о пятой колонне и можно ли ее обезвредить? Или Франко только сболтнул о пятой колонне, чтобы посеять панику за линией фронта, у республиканцев? Не у всех там крепкие нервы и холодные головы.

Метрдотель учтиво попросил у Кертнера разрешения посадить за его столик еще двух посетителей. Ресторан и в самом деле переполнен. Конечно, можно закапризничать, но лучше показать, что у Кертнера нет оснований опасаться чьего-либо соседства.

Он очутился в обществе двух немцев в форме гражданских летчиков. Немец помоложе был под мухой, а тут еще, не дожидаясь, пока кельнер принесет заказанное, дважды подходил к стойке бара и прикладывался к стопке. Но, будучи навеселе, не сопротивлялся внутренне своему опьянению, а даже выставлял его напоказ, — что называется, куражился.

Немец постарше не прислушивался к тому, что говорит его подвыпивший приятель, и с сознательным невниманием относился к сведениям, которые тот выбалтывал. Ему важнее было видеть, как реагирует на болтовню сосед; немец постарше не спускал с Кертнера тяжелого, изучающего взгляда.

Вот ключ ко всему их поведению! Но тем более немец

постарше не должен заметить, что Кертнер заметил — его изучают, проверяют, контролируют.

Уже яснее ясного, что соседи — не просто посетители ресторана, мыкавшиеся без места, и не случайно метрдотель подсадил их.

Обязательный карантин, которому подвергаются здесь все новые лица, так сказать «новильеро»?

Или Кертнер допустил в Севилье какую-то оплошность и вызвал подозрение?

Как будто нет, — и в поведении ничего предосудительного, и в чемодане, оставленном в отеле. А фотоаппарат даже не заряжен пленкой, все как полагается. Лишь бы не заметили потайной кнопки. Впрочем, для этого фотоаппарат должен попасть в руки специалиста. На столике в номере отеля «Кристина» лежат специально подобранные книги — книжка доктора Геббельса «От императорского двора до государственной канцелярии», книга Висенте Гая «Национал-социалистская революция», «Либрериа Бош», несколько книг по авиации, по коммерческим вопросам и прочие.

Кертнера привела в «Кристину» весьма солидная рекомендация, но уже в первый день Этьен заметил, что в его отсутствие чемодан в номере открывали; у него есть свои заметы на этот счет, он всегда знает — открывали или не открывали чемодан другим ключом. Рихард Зорге шутил: элементарная экономия средств рекомендует оставлять замки открытыми или держать ключи в замках, — по крайней мере не испортят чемоданов...

Болтовня подвыпившего немца скользкая, неряшливая; зачем-то сообщил, что еще до 6 августа на местном аэродроме успели приземлиться тридцать «юнкерсов». И немец постарше, потрезвее, почему-то не был встревожен, как ему полагалось бы, поскольку он с приятелем находится в обществе совершенно незнакомого им человека.

Очевидно, оба господина — из «Люфтганзы», а вернее — из категории тех, кто числится сотрудниками «Люфтганзы», несет функции так называемой «портовой службы».

Эта «портовая служба» действовала и в весьма сухопутных местностях. Мадрид, Париж, Прага, Цюрих, Вена — разве это портовые города? Да и сам Берлин, где сидит начальник «портовой службы», в достаточном отдалении от моря. «Портовая служба» — подотдел гестапо, которому поручен за границей надзор и шпионаж за немцами.

Немцы быстро вынудили Кертнера к разговору, но тот упорно переводил разговор с военной темы на коммерческие — о ценах, о пошлинах... И невнимание коммерсанта к секретам, которые выбалтывал немец помоложе, стало естественным, поскольку все внимание Кертнера поглощено финансовыми делами. Он возмущался высокими пошлинами в Испании. В Кадисе и Альхесирасе сахар, табак, джин в четыре раза дороже, чем в Гибралтаре, вот что значит порто-франко!

Кертнер к слову упомянул, что остановился в «Кристине», это произвело впечатление. Немец постарше спросил: «Как нравится отель?» Он явно ждал восторженного отзыва, но Кертнер отозвался о «Кристине» сдержанно. На прошлой неделе в Альхесирасе он жил в отеле получше. К сожалению, отель почти сплошь заселен англичанами из Гибралтара, и, кстати, за номера там расплачиваются английской валютой. Два фунта в сутки — конечно, немало, но право же нельзя считаться с деньгами, когда речь идет о личных удобствах, иначе он путешествовать не привык...

От почтенных английских фунтов разговор перекинулся к итальянским лирам; Кертнер назвал их деньгами легкого поведения. Немец постарше стал сокрушаться по поводу обесценения лиры, а Кертнер сказал раздраженно:

— Еще неизвестно — что опаснее: инфляция лиры или инфляция слова. Муссолини произнес слишком много красивых, пустопорожних слов, а его казначейство отпечатало слишком много ассигнаций. Что касается меня, я предпочитаю немецкие рейхсмарки. А вы?

Он круто повернулся и испытующе поглядел в глаза немцу постарше с единственной целью сбить его с толку

во всяких догадках. Пусть думает, что его сосед раздражен делами на итальянской бирже. Может, разорился на снижении курса лиры, кто его знает. А что сосед так смело ругает дуче, — наверное, пользуется такой привилегией: простой смертный так говорить о дуче в обществе незнакомых не посмеет.

Подвыпивший немец вполголоса произнес тост за Карла Гебарта, а немец постарше тихо чокнулся с ним: тост не предназначался для чужих ушей. Но именно поэтому Кертнер нашел нужным поддержать тост. Хотя лично он никогда не работал под руководством герра Карла Гебарта, но исполнен к нему глубокого уважения и много наслышан о его достоинствах — и как деятеля национал-социалистской партии, и как специалиста по воздушным сообщениям. Карл Гебарт — директор «Люфтганзы» в Берлине, и теперь уже совершенно очевидно, где служат оба приятеля.

Немцы обрадовались — господин знает их шефа, генерального директора «Люфтганзы». А Кертнер заверил господ, что он полностью солидарен со словами рейхсминистра Геринга, которые тот произнес на торжественном заседании общества «Люфтганза» в прошлом году. Не помнят ли господа, что именно сказал рейхсминистр? Жаль, жаль, очень жаль. Кертнер укоризненно покачал головой. Он может им напомнить: Геринг сказал, что быть германским гражданским летчиком — большая честь и что германские летчики за границей являются отважными пионерами германского национального духа. В их рядах нет места тем, кто вследствие своих пацифистских настроений не был бы готов представлять германский дух в правительственном смысле.

— Надеюсь, вы не сомневаетесь, что мы у себя в Австрии представляем германский дух в правительственном смысле? — Кертнер испытующе посмотрел на собеседника: так засматривают в глаза топорно работающие сыскные агенты.

Он достал бумажник и извлек оттуда фотографию: Геринг дефилирует мимо планеристов, а Кертнер стоит справа, возле своего планера, с рукой, поднятой в фашистском приветствии.

«Все-таки Скарбек — великий мастер фотомонтажа. Особое и очень тонкое искусство».

Немцы почтительно взирали на фотографию, где их сосед снят рядом с Герингом, и оба почувствовали смущение. На их лицах было написано — напрасно они уселись за этот столик, им тут совершенно нечего делать.

Кертнер налил коньяк в пузатые, сужающиеся кверху рюмки. Несколько минут назад он поддержал тост за здоровье и благополучие Карла Гебарта, а теперь просит своих новых друзей осушить эти рюмки.

— За всех честных людей, которые вынужденно числятся австрийскими гражданами!— провозгласил Кертнер, пряча полуулыбку, и добавил после паузы: — До поры до времени.

— Я читал недавно статью Зейсс-Инкварта в партийном журнале и знаю, кого вы имеете в виду, — сказал немец постарше заговорщицким тоном, довольный своей проницательностью.

Кертнеру хотелось рассмеяться, веселила мысль, что субъекты выпили сейчас за его здоровье.

Он завел речь про немецкий гимнастический союз и планерный кружок в Вене. Наверное, господа слышали о действительном назначении стрелкового общества, которое выдает себя за гимнастический союз, слышали о планерном кружке, где тренируются летчики. Они считают себя солдатами рейхсминистра и готовы не только в Австрии, но также в Испании представлять германский дух.

Последние слова Кертнер произнес весьма многозначительно. Немец помоложе обратил внимание, что герр заказал французский «мартель», и снова торопливо осушил рюмку: рядовому служащему не по карману знаменитый коньяк.

— Коньяк «мартель» грешно пить такими глотками. — Немец постарше причмокнул языком.

— Можно пожалеть тех, кто спешит напиться, не наслаждаясь букетом напитка, не смакуя его...

Немец помоложе обиженно замолчал. А немец постарше начал туманно разглагольствовать об идеалах. Очень приятно было убедиться, что в Австрии есть

искренние и преданные друзья, которые исповедуют германские идеалы.

— К сожалению, в нашей коммерческой среде, — опечалился Кертнер, — есть люди, которые только болтают об идеалах для того, чтобы на них наживаться.

— Мысль строгая, но правильная, — согласился после раздумья немец постарше.

— Большое спасибо. Если каждый день будет приходить в голову по одной хорошей мысли, можно умереть умным человеком. — Кертнер строго посмотрел на немца постарше.

Тот даже поежился под его взглядом: «Не намекает ли австриец на то, что я помру круглым дураком?»

Немец постарше уже давно понял, что имеет дело с кем-то из своих, но рангом повыше. Нужно держать ухо востро, чтобы австриец не нашкодил когда-нибудь потом в разговоре с Карлом Гебартом или с другим шефом по другой линии.

Вскоре субъекты из «портовой службы» ушли, а Кертнер остался за столом наедине со своими заботами, опасениями, рассуждениями, догадками, наблюдениями.

Нет, он не закончил игру, выйдя из казино, отойдя от рулетки с аппаратом, который называют «страперло». Он по-прежнему ведет крупную игру, и ставкой в игре является его дело и его жизнь...

17

Консул Дрегер появился в дверях и взглядом строгого хозяина обвел зал ресторана. Он увидел герра Кертнера, благосклонно ему улыбнулся, сделал глаза чрезвычайно вежливыми. Кертнер расторопно встал и пошел навстречу германскому консулу, выказывая публично свои верноподданнические чувства.

В Севилье был и австрийский консул, но совладелец фирмы «Эврика» не нашел нужным представиться ему; посыльный отеля «Кристина» отнес в австрийское консульство паспорт для выполнения формальностей, с них хватит.

Хорошо, что по приезде в Севилью Кертнер посетил Дрегера. В беседе, полной намеков и дипломатически обтекаемых фраз, Кертнер, на правах старого знакомого, попросил совета:

— Можно ли положиться на местное отделение Германо-Трансокеанского банка?

— Репутация у банка хорошая.

— С этим банком я сотрудничал в Париже и в Амстердаме. Хотелось узнать про отделение в Севилье.

— Ах, вы имеете в виду персонал? — догадался консул. — Все благополучно. Среди банковских служащих ни одного еврея, ни одного француза, только арийцы...

— По этим же мотивам прошу протекции в отель «Кристина». Я там останавливался в мае, но теперь новый порядок. Только в «Кристине» можно избежать соседства со случайными людьми и нежелательными элементами...

— Берусь замолвить за вас словечко директору.

В Севилье несколько комфортабельных отелей, но «Кристина» пользуется среди нацистов наилучшей репутацией. Там останавливаются именитые гости из имперской столицы. За последний год хозяин «Кристины», ариец, сразу разбогател — отель зафрахтован военными властями. В «Кристине» разместился штаб германской эскадрильи истребителей; командует эскадрильей Физелер, а подчинена она генералу Кейпо де Льяно.

Еще весной Дрегер вербовал немецких добровольцев для Кейпо де Льяно. И не кому иному, как консулу Дрегеру, обязан своим внезапным обогащением владелец «Кристины».

Отель кишел летчиками, военными советниками, корреспондентами, кинооператорами. У главного подъезда и в холлах, на этажах и у некоторых номеров отеля стояли немецкие часовые. Уже само по себе проживание в отеле «Кристина» сильно повышало реноме Конрада Кертнера. Одинарный номер в «Кристине» стоит теперь в три раза дороже, чем весной.

Когда Кертнер приезжал весной в Севилью, у него было рекомендательное письмо к консулу Дрегеру, тот представлял немецкий концерн «Севильская компания

Цеппелин аэропорт». Еще в начале тридцатых годов в Севилье намеревались построить аэродром для цеппелинов, оборудованный по последнему слову техники, а также построить газовые заводы, чтобы наполнять дирижабли гелием. Стратегический план тогда был таков: если во время будущей войны Германию блокирует вражеский флот, линия «Цеппелин» свяжет ее с заморскими странами и с испанскими источниками сырья. База в Севилье стала бы промежуточной станцией в дальних рейсах дирижаблей. Когда самолеты стали летать выше и быстрее, а дирижабль превратился в малоподвижную, уязвимую мишень, вся эта стратегия рухнула. Но кто сказал, что аэропорт для дирижаблей нельзя приспособить под летное поле?..

В первый приезд Кертнер, не мудрствуя лукаво, использовал свой барселонский опыт и тоже попросил у консула Дрегера совета — в каких именно органах печати поместить рекламные объявления конторы «Эврика»? Он сильно потратился на объявления в газетах и журналах Каталонии и Севильи. Кертнер был тогда раздосадован, разозлен. Черт бы побрал эту диалектику — подкармливать враждебную республике печать! Кроме того, ему жаль было денег, потраченных на объявления.

«Известно, что реклама — двигатель торговли, — вздыхал Этьен. — Но такая реклама, пожалуй, может стать двигателем внутреннего сгорания. Хорошо, что «Эврика» за последнее время крупно заработала на ветряных двигателях и аккумуляторах фирмы «Нептун». А то недолго и разориться на такой рекламе...»

И только вот теперь, спустя полгода, затраченный Кертнером капитал начинал давать ощутимую прибыль.

Дружеская беседа с германским консулом на виду у всех посетителей клуба — прибыль.

И то, что его видят беседующим с консулом вернувшиеся в зал шпики из «Люфтганзы», — прибыль.

И то, что он поселился в «Кристине», а не в какомнибудь другом отеле, хотя бы и самом шикарном, — прибыль.

Вот что значит вовремя вынуть чековую книжку и с очаровательной небрежностью выписать чек на круг-

ленькую сумму, сопроводив чеком рекламные объявления «Эврики».

Консул Дрегер осведомился, как герр Кертнер устроился в «Кристине», как проводит время в Севилье. Кертнер доложил, что ему очень понравилось в местном казино, тем более что одна из обитательниц Севильи оказала ему свою благосклонность — он имеет в виду севильянку Фортуну и свой вчерашний выигрыш.

Нельзя было упустить случай и не выразить попутно сожаления по поводу крупного проигрыша незнакомой старухи. Консул не отказал себе в удовольствии посплетничать на ее счет. Вдова де Диего Гомец — владелица фирмы по экспорту оливок, ей за семьдесят, а живет она в незаконном браке со своим управляющим Гейнеменом. Ему двадцать девять лет, к тому же он германский подданный, чистокровный ариец. Герр Кертнер не представляет себе, сколько у консула неприятностей из-за этого Гейнемена. А посмотрел бы герр Кертнер, как вдова де Диего Гомец экспансивно ведет себя на бое быков!

Кстати, он очень советует герру Кертнеру посмотреть послезавтра бой быков, выступает знаменитый Гаэтано Ордоньес. После недавнего боя в Малаге на пляса Монументаль он получил оба уха и хвост убитого быка — редкое и высшее признание доблести тореро. И в знак преклонения перед мужеством заколотого им быка Гаэтано Ордоньес положил свои драгоценные трофеи на тушу поверженного, бездыханного зверя...

В ресторан вошел Агирре; на нем был элегантный штатский костюм. Консул Дрегер весьма любезно с ним поздоровался и обменялся несколькими фразами о погоде. Но фразы вовсе не были малозначащими, потому что разговор шел о летной и нелетной погоде.

Консул хотел познакомить Агирре с Кертнером, но оба приятеля рассмеялись — Кертнер непринужденно, а Агирре через силу. Только теперь Кертнер заметил, что сегодня Агирре мрачен. Что случилось? Завтра они хоронят боевого товарища; получил повреждение в воздушном бою над Мадридом, из последних сил тянул машину на свой аэродром, не дотянул и разбился. Кертнер

выразил соболезнование своему коллеге и обещал принять участие в похоронах.

Утром Кертнер зашел в магазин похоронных принадлежностей, — нигде, кроме Испании, нет столь шикарных, нарядных магазинов подобного назначения. Кертнер заказал венок из чайных роз с траурной лентой от австрийского планерного кружка.

Балконы городского аэроклуба были в тот день задрапированы крепом. Сам Альфонс XIII прислал на похороны своего представителя. Фалангисты в беретах кричали: «Бог, родина, король!» Звено истребителей «капрони» пролетело над похоронной процессией, сбрасывая цветы. По общему признанию, венок австрийца был одним из самых богатых во всей траурной процессии.

А через несколько дней Кертнер принял участие еще в одной торжественной процессии: из Севильи заблаговременно отправляли в Мадрид статую святой девы Марии — покровительницы города. Событие всполошило Севилью — процессию, которая должна была 7 ноября войти в Мадрид с войсками, провожали до черты города. Севильская дева Мария воодушевит доблестных спасителей Испании на подвиги!

Деву Марию провожала высшая церковная иерархия во главе с дряхлым кардиналом, отцы города в парадных одеждах, офицеры, лавочники, кликуши из монастырей. Кертнер читал еще весной, кажется в «Юманите», как эти затворницы, отрешившиеся от мирских дел, голосовали против республики, за монархию. Богачи за свой счет везли их к избирательным урнам в колясках, больных несли на носилках — и ничто не помогло монархистам!..

Вперемежку с духовными песнопениями гремел военный оркестр. Он играл марши, в том числе «Пасодобле муй тореро», без которого не обходится ни один бой быков.

Слишком велик был соблазн провести несколько дней на фронтовых дорогах, и Этьен решил не отставать от статуи святой девы Марии. К тому же обстоятельства позволяли взять с собой «лейку». Он прилежно фотографировал и деву Марию в разных ракурсах, и знатных

грандов, и дряхлого кардинала, а заодно еще много любопытного: и мосты, и виадуки, и батареи, и марокканскую кавалерию, которая проходила по улицам Толедо.

Тогда же Этьен увидел на марше сверхтяжелый немецкий танк, с которым был знаком по чертежам. Ну и махина! Танк на широких гусеницах, на вооружении орудие, два огнемета, девять пулеметов. Этьен знал о давнем тяготении Гитлера к таким сухопутным дредноутам, исследовал этот вопрос и относился к сверхтяжелым колымагам критически. Теперь он получил возможность заснять танк «рейнметалл» и пристально разглядеть его на марше и на стоянке. Да, он слишком громоздок, неуклюж, станет удобной мишенью для противника.

Сперва толпа со святой девой Марией двигалась к Мадриду торопливо, боялась опоздать. Затем скорость замедлилась. Позже дева Мария нашла себе пристанище в монастырском подворье. Пыл у поводырей святой статуи остыл, они бессмысленно топтались в прифронтовой полосе, боязливо прислушиваясь к канонаде.

А Этьен присоединился к группе корреспондентов севильских газет, которые, после долгих препирательств и мрачной ругани, решили вернуться в Севилью. Они ехали подавленные: каждый успел впрок заготовить корреспонденцию о прибытии девы Марии в Мадрид.

По возвращении Этьен встретил в «Кристине» симпатичного Агирре. Он по-прежнему в штатском, но на нем форменная фуражка со знаком военного летчика: в круглую авиационную эмблему вставлен четырехлопастный пропеллер. Агирре объяснил: не очень-то удобно и приятно ходить в клуб и казино в форме. А кроме того, офицеры воздушных сил вообще недолюбливают свою синюю форму, считают ее плебейской. Когда закончится война, — а он надеется, что она закончится зимой, — в военно-воздушных силах Испании введут новую форму. А может, восстановят старую, она очень импозантна и нравилась сеньоритам: для приемов — короткий фрак без фалд; для парада — кортик с позолоченной рукояткой, золоченый пояс и большие эполеты с золотой бахромой. К парадной форме относится также пилотка с двумя заостренными уголками и с золоченой

кисточкой, свисающей на лоб. Офицеров знатного происхождения особенно шокируют и раздражают в новой форме длинные брюки, а еще больше — дурацкие ботинки.

Агирре болтал и курил сигарету, не снимая перчаток, что считалось в офицерской среде признаком хорошего тона.

В тот же вечер они сидели вдвоем за столиком в «Касинилья де ла Компана». Очень скоро у них завязался профессиональный разговор, который, впрочем, терял всякую последовательность, когда в ресторане появлялась какая-нибудь интересная женщина; в красивых глазах Агирре возникал масленый блеск, он становился рассеянным, невнимательным, отвечал невпопад. Говорили по-французски: почти все испанские пилоты учились в летных школах во Франции и там стажировались.

Кертнера нельзя было назвать человеком нескромно любопытным, лезущим с вопросами-расспросами. Он охотнее рассказывал сам: о новинках в сборочном цехе завода «Фокке-Вульф» в Бремене, где он недавно был; знал, над чем ломают сейчас головы конструкторы завода «Дорнье» в Фридрихсгафене, в Баварии. Ну как же, он бывал там, еще когда строился дирижабль «Граф Цеппелин».

Кертнер не прочь был прослыть чудаком и не преминул затеять многозначительный разговор о цеппелинах. Знает ли сеньор Агирре, что в Севилье еще несколько лет назад собирались построить аэропорт для дирижаблей? Как самый большой секрет, Кертнер сообщил подробности, касающиеся базы дирижаблей. Агирре терпеливо слушал устаревшую болтовню. Кертнер притворялся, что не замечает снисходительности, с какой собеседник слушает его разглагольствования.

А Кертнер заинтересованно слушал Агирре, когда тот с уважением говорил о своих воздушных противниках, отдавая должное их летному мастерству и храбрости. Только тщедушный цыпленок, с трудом вылупившийся из яйца, станет кичиться победой над противником, который летает на средневековом самолете французской марки «Потез» или «Ньюпор» или английском «Бристо-

ле». Да у них максимальная скорость — 160 километров! Агирре отдавал должное и тем республиканским пилотам, которые остроумно используют пассажирские «дугласы» в качестве бомбардировщиков.

Агирре обмолвился о том, что у него на машине «бреге» капризничает шасси. Но зато какая новинка!! Он перешел на шепот: шасси после взлета подгибается, на все время полета прячется в фюзеляж, и только перед посадкой пилот снова выпускает шасси. У Агирре в руках экспериментальная модель биплана-разведчика.

Как знать, может, его самолет прямым ходом катится на этом шасси в завтрашний день авиации?

По сведениям Этьена, наши авиаконструкторы много и успешно работают в этой области. Уже вышли из заводских ворот опытные машины с убирающимися шасси — истребитель «И-16» и скоростной бомбардировщик. Но удалось ли нам наладить их серийный выпуск? Повидимому, фирма Бреге усовершенствовала шасси. Вряд ли французы, даже за большие песеты, продали бы испанцам самую последнюю модель...

Этьен следил за собой, чтобы не выдать повышенного интереса к рассказу Агирре.

Если тому верить, только для испытания модного шасси и держат Агирре на этой слабосильной колымаге «бреге» с мотором в 650 сил.

— Машина у меня старая, скорость чепуховая...

— До двухсот километров? — прикинул Этьен.

— В лучшем случае! Это если сама пресвятая дева Мария будет заменять техника-моториста...

Вчера, когда Агирре шел на посадку, это дьявольское шасси снова заело при выпуске. Ему долго не удавалось сесть, но святая дева Мария все-таки сжалилась потом над ним и его наблюдателем.

В свое время Кертнер много и серьезно занимался шасси, на этот счет сейчас последовали какие-то технические советы. Агирре ничуть не высокомерно, а скорее скептически улыбнулся. Подобные советы очень удобно давать за бутылкой хереса, которым они сейчас запивают тунца с зеленым горошком. А когда шасси не выпускается и контрольная лампочка не зажигается, в момент,

когда ты уже в седьмой раз облился с головы до пят холодным потом и с ужасом думаешь, что сейчас придется сесть на брюхо, — в такой момент, пусть сеньор Кертнер его простит, все советы несколько теряют свою первоначальную ценность.

— Пока мне ясно только одно — у твоего подагрика подкашиваются ноги. Но трудно ставить точный диагноз, не видя больного...

— Хочешь? — неожиданно предложил Агирре. — Полетим завтра. Займешь место наблюдателя. Проверишь правильность всех своих советов. А рука у тебя легкая... Помню, как ты пришел в казино вдвоем с сеньорой Фортуной.

— ...и у нее оказалось не одно, а два счастливых колеса, — засмеялся Кертнер.

— Вот бы приспособить оба этих колеса к моему «бреге»!

Ничего особенно приятного полет на старом «бреге» для Кертнера не сулил. Но попасть на аэродром, а тем более побывать в небе над аэродромом и его окрестностями, прогуляться по летному полю, поглазеть по сторонам, благо летное поле битком набито немецкими и итальянскими самолетами...

Может, Агирре сделал предложение в расчете на отказ? Будет вполне правдоподобно, если Кертнер сейчас скажет, что завтра занят, у него деловое свидание с германским консулом или еще с кем-нибудь.

Пусть даже Агирре заподозрит Кертнера в трусости, лишь бы не возникло подозрение, что австриец рвется на аэродром. Допуск туда не должен выглядеть как выполненная просьба Кертнера, испрошенное им согласие Агирре, удовлетворенное ходатайство.

— Ну что же... — нерешительно протянул Кертнер. — Пожалуй, согласен, если без особых хлопот и формальностей.

— Консул Дрегер так тебя рекомендовал, что мы обойдемся без формальностей... Никогда не летал на «бреге»? — Агирре повеселел. — Карета, которую пора сдать на слом.

— Тогда это не карета, а дормез. Так во Франции называли кареты в старину.

— Кажется, мой аэроплан построен на самой заре воздухоплавания.

— В «бреге» столько загадок, — продолжил Агирре, когда оба отсмеялись, — что можно сделаться мистиком. Вот одна загадка: между сиденьем пилота и наблюдателем, сидящим сзади, при полете возникает какое-то таинственное завихрение. Дурацкий сквозняк! Все, что в самолете плохо лежит, сносит и тащит к пилоту. Если займешь место наблюдателя — не вздумай помочиться в люк. Выкупаешь меня с головы до ног!.. Половина десятого утра — удобно?

Может, правда, возникнуть одно затруднение, Агирре заранее просит извинить за возможное опоздание. Пусть герр Кертнер не расценит это как небрежность. И Агирре весьма туманно намекнул на утреннее свидание завтра с одной севильянкой, — тут замешаны и женская честь, и мужское самолюбие, и еще кое-что...

Своего техника-моториста он предупредит о полете запиской. Нарочный на мотоцикле все время курсирует между «Кристиной» и Табладой. Комендант аэродрома и его командансия находятся за восточными воротами. А пропуск на имя герра Кертнера будет у дежурного капрала.

18

В Табладе, как на всех аэродромах, пахло бензином, а также касторовым маслом, разогретым асфальтом, сохнущей краской. Но здесь к непременным, так сказать профессиональным, запахам аэродрома примешивался аромат цветов, пахучих трав, плодов. Пчелы залетали к воротам ангара, на взлетную дорожку. Но рев моторов грубо заглушал их жужжание.

Аэродром — в излучине Гвадалквивира, а вся округа в цветниках, садах, плантациях. Они подступают вплотную к кромке аэродрома, и летное поле — в заплатах, полосах асфальта — выглядит чужеродным на благословенной и благодатной равнине.

Этьен ждал Агирре и был доволен, что тот запаздывает. Весьма кстати, что Агирре пришлось сегодня с утра решать вопросы женской чести и мужского самолюбия, потому что Этьен за этот час увидел вокруг себя немало любопытного, достойного фотопленки, иносказательных записей в блокноте, зарисовок, сделанных карандашом.

Приехал Этьен на аэродром даже несколько раньше, чем они условились. Пропуск он получил у дежурного капрала, а моториста Агирре сразу узнал по замасленным рукавам и такой же замасленной пилотке, — видимо, это интернациональная примета всех мотористов.

Вдвоем с мотористом они осмотрели «новую новинку» — убирающееся шасси. Этьену нужно было запомнить все, что он увидел, и при этом скрыть от моториста, что все увиденное — ему в новинку.

Остроумное решение технической задачи было основано на комбинированном движении, требующем нескольких сочленений. И поскольку плоскость симметрии колеса при движении смещается, задача, которую решали конструкторы убирающегося шасси, относится к области геометрии трех измерений.

Ни один былой экзамен в воздушной академии по высшей математике не был таким трудным, как экзамен, который он держал в эти минуты, сидя под крылом «бреге»...

Они сделали все, что могли и сумели, чтобы трос не заедало. Но проверить себя и убедиться в полной исправности машины можно только в воздухе.

Моторист ушел в ангар, а Этьен лег под крылом «бреге» в душную, пыльную траву, спеша насладиться непрочной, быстротечной тишиной аэродрома.

Ночной зефир струит эфир, бежит, шумит Гвадалквивир....Может, он где-то там и шумит, но до летного поля не доносится даже влажное дыхание реки. Здешняя поздняя осень может смело поспорить с подмосковным августом.

Он лежал с закрытыми глазами, и ему мерещился полевой аэродром в Подмосковье, к которому — как здесь сады — со всех сторон подступал лес. Там, на летном поле, трава давно пожелтела, пожухла, а на поса-

дочиую полосу уже не доносится грибиое дыханне леса. Вечером лес вндneется не так отчетливо, ои отступает от граннц аэродрома. Прожекторов, как здесь, в Табладе, еще не завелн, н иад лугом стелется керосииовый чад. И стартовые огии, и ограннчители, которые прошивают летиое поле светящнмися стежками, и большая буква «Т» иа посадочной полосе — всюду фонари «летучая мышь». К сожалеиию, сверху их плохо видио, мешают крышки фонарей. Ночь иапролет шли ииогда заиятия летчиков, наблюдателей. При свете карманиого фоиарнка штурман Маневич делал поправки к расчетам и цементнымн бомбамн поражал фанерные макеты, изображавшие колонну вражеских таиков на шоссе. Кромешиая тьма, только перед глазамн мельтешат и мелко дрожат стрелкн прнборов, покрытые фосфором. Одиако полет ощупью в темноте — вовсе не слепой полет, для которого нужна хнтрая аппаратура... На рассвете керосиновые фоиари гасят, последиюю копоть уиосит предутреиннм ветерком, и, когда учлетов увозят с аэродрома, границы его видиы из края в край, огражденные частоколом хвойиого леса. Уже можно пересчитать все самолеты, совершнвшие посадку. Почему-то техинкам выдавали тогда не маскнровочиые сети, а светлые чехлы, похожие на простыии. Чехлы сильио демаскировали аэродромы, и Этьеи, лежа в душистой траве иа берегу Гвадалквнвира, запоздало раздражался, что иаши самолеты не камуфлнровали тогда, а кутали в светлые покрывала. И иеуместио посыпали желтым песочком все дорожкн. И расставляли иа том аэродроме всевозможные яркне щнты н стенды, будто «иаглядиая агитация» рассчнтана на протнвника, хотя бы и условного...

Еще два года назад Этьеи получил задаиие из Центра. Старик просил его тогда сосредоточиться на изучении вопросов, связаиных со слепыми полетами, инструментальным самолетовождением, а также полетом авиационного соедниення в строю и в тумаие.

«Вопросы чрезвычайно важные, и мы просим обратнть иа иих самое серьезное внимание.

Старик».

Каждое слово той шифрованной телеграммы отпечаталось в памяти, как боевой приказ.

Сегодня, как все последние дни, Этьен много думал о Старике. Может, потому, что оба они сейчас под испанским небом? Вот бы оказаться рядом со Стариком, увидеть его!

В последний раз они виделись в канун открытия Московского метрополитена. Над станцией «Красные ворота» светилась приземистая буква «М» и плакат: «Привет строителям метрополитена!»

Комкор Берзин и Этьен подъехали на «эмочке», предъявили пропуска милиционеру и вошли в вестибюль, который встретил их сырым запахом непросохшего бетона.

Этьен тоже был в форме, три шпалы на голубых петлицах, полковник, — тогда еще не знали такого звания «подполковник».

Подошли к эскалатору, Старик ступил на него с неловкостью новичка. Над соседним неподвижным эскалатором двое парней подвешивали таблицу: «Стойте справа, проходите слева, на ступени не садиться, тростей, зонтов и чемоданов не ставить».

Парни засмеялись, глядя, как военный начальник едва не потерял равновесие и комично взмахнул руками. Старик и Этьен тоже засмеялись, оба были в отличном настроении. «Хочу показать европейцу наше метро, — сказал Старик, спускаясь по эскалатору. — Завтра на открытии будет чересчур для нас торжественно. Тебе спокойнее будет посмотреть без оркестра и без дипломатов...» Старик осторожно сошел с эскалатора, Этьен поддержал его под локоть. Они прошлись по пустой станции, с восхищением осматривая мраморные стены, вышли на перрон. Группа будущих дежурных в форменных красных фуражках, с дисками в руках отрабатывали команду: «Готов!» Инструктор кричал: «Повторить!» — и снова вздымались диски над головой, снова звучал разноголосый сигнал к отправлению будущих поездов. Подошел поезд, Старик и Этьен вошли в пустой вагон, с удовольствием сели на кожаную скамью. Прозвучала одинокая, уже не учебная команда: «Готов!»

Поезд тронулся. И в пустом вагоне Старик поделился с Этьеном тревожными впечатлениями о только что прочитанной книге Гитлера «Майн кампф», полной явных и скрытых угроз в адрес Советской России. А Зорге сообщал, что японцы все воинственнее поглядывают на запад и тоже на Россию. «Вторая пятилетка, только становимся на ноги, — раздумчиво произнес Старик. — Неужели наше Московское метро станет когда-нибудь бомбоубежищем?..»

Судьба разлучила их полтора года назад. Все это время Старик был заместителем Блюхера на Дальнем Востоке, а сейчас он — главный военный советник в Испании.

Кто из товарищей еще помогает республиканцам? Про Хаджи Мамсурова и Василия Цветкова он знает твердо.

Этьену известно было, что Хаджи-Умар Джиорович Мамсуров носит имя Ксанти. Мамсуров выдает себя за македонца, что ему, горцу, уроженцу Кавказа, совсем не так трудно. А почему Хаджи записался в македонцы? Может быть, потому, что они пользуются славой опытных диверсантов?

Может, и Оскар Стигга там? Может, Леня Бекренев, бесстрашный парнишка, который так симпатично окает по-ярославски: «ЗдОрОвО, МОневич!», — Этьен засмеялся про себя, но тут же повернул голову на звук моторов и стал сердито наблюдать, как один за другим отрываются от земли и подымаются «юнкерсы» с бомбовым грузом.

«А сколько по прямой, если лететь от Таблады до аэродрома Куатро виентос или до Хетафе? Хетафе километров на двадцать ближе. Сколько до Бадахоса или до Алькала де Энареса к северу от Мадрида? Километров четыреста, не больше. Только подумать — полтора-два часа лёту!

Я так близко от Старика... Мой дорогой сеньор, главный военный советник! А может, вы сейчас в Барселоне? Или в Гренаде? Сколько отсюда до Гренады? Гренадская волость в Испании есть... Вот не думал, не гадал,

что будет глядеть в испанское небо и воевать на испанской земле...»

Он мог гадать, сколько его товарищей и кто именно помогает республиканцам, постигает здесь грамматику боя, язык батарей, но был уверен, что на территории, занятой мятежниками, нет ни души, кроме него.

Конечно, Конрад Кертнер ступает по самому краешку жизни, и Этьен обязан следить за каждым его шагом. Нужно все время проверять — достаточно ли благоразумно рискует Кертнер, в меру ли он осторожен и в то же время достаточно ли дерзок и хитроумен в своих коммерческих и технических делах, в какой степени неуязвим и находчив при встречах с контрразведчиками и тайными агентами — немецкими, испанскими, итальянскими...

Так чертовски нужно прижиться к аэродрому Таблада, сделаться полезным Агирре человеком, прослыть своим среди пилотов, которые каждый день, иные по нескольку раз, подымаются, чтобы бомбить позиции республиканцев — так они говорят. Но Этьен знает, что они имеют в виду и улицы Мадрида, жилые дома, может быть ту самую крышу, под которой нашел приют Старик.

Как же важно перехитрить противника, вызнать то, что нужно узнать, подсмотреть то, что нужно увидеть, запомнить то, что никак нельзя, просто преступно было бы позабыть.

Страшно подумать, что в Центре не узнают новостей, какими уже располагает Конрад Кертнер, если его схватят чернорубашечники, или фалангисты, или немецкие нацисты.

И эта тревожная мысль была страшнее понимания того, что схваченным, убитым, не вернувшимся товарищем будет он сам, Этьен.

Высокое чувство ответственности за порученное дело уже не раз помогало в опасном одиночестве, делало Кертнера изворотливым, оборотистым или терпеливым, как, например, сейчас, когда он лежит под крылом «бреге» и ждет Аугусто Агирре.

Улетучилась недолговечная тишина. Этьен лежал и

профессионально прислушивался к мотору, установленному на последней модели истребителя «фиат». Мотор капризничал, над ним с утра колдовали техники. Вскоре моторист с машины Агирре вместе с Кертнером, которого он представил как немецкого авиаинженера, приняли участие в летучем консилиуме у мотора.

Еще в конце прошлого, 1935 года фирма «ФИАТ» разослала на ряд заводов Италии макет нового, звездообразного мотора в натуральную величину. Но Кертнеру не удалось его увидеть. А сегодня он долго держал в руках схемы этого мотора, чертеж его продольного разреза, успел изучить его технические характеристики.

Мотор с воздушным охлаждением предназначен для истребителей и аппаратов высшего пилотажа. Мощность его около тысячи лошадиных сил.

Если бы мы только могли в ближайшее время обеспечить такими моторами наши истребители!

Он закрыл глаза и отчетливо увидел в небе над Тушином знаменитую пятерку асов. У Этьена даже дух захватило, он снова наблюдал фигуры не высшего, а высочайшего пилотажа. Парадные истребители выкрашены в красный цвет и будто связаны между собой волшебной ниткой. Примите же восхищение не слишком умелого ученика, дорогие товарищи Степанчонок, Коккинаки, Супрун, Евсеев и Шевченко!

Этьен понимал, что значит вооружить истребитель тысячесильным мотором. А если мы не успеем одновременно усилить моторы на своих самолетах, если мы позволим себе отстать?

Значит — проиграть тысячи и тысячи будущих воздушных поединков в надвигающейся войне. Значит — наши парни в будущих воздушных боях окажутся в заведомо неблагоприятных условиях. И кто знает, сколько молодых жизней придется нам уплатить за свою неосведомленность и техническую отсталость.

Он никогда не участвовал в воздушных боях, лишь в качестве летчика-наблюдателя, штурмана вел дуэли с условным противником. Но Этьен отлично знает, что такое маленькая скорость самолета. Значит, нельзя «дожать» врага, к которому уже удалось пристроиться в

хвост; враг оставит тебя в дураках и уйдет невредимым. Значит, нельзя самому, если ты расстрелял все боеприпасы, или получил повреждение, или выпил почти всю «горилку», уйти из боя, когда бой тебе невыгоден.

Можно назвать молоденького, коротко остриженного парнишку гордым сталинским соколом, но если при том снабдить его слабосильным мотором и тихоходной машиной, сокола заклюют, как желторотого цыпленка, даже если он в отваге и мастерстве не уступит самому Чкалову, Байдукову, Громову, Юмашеву, Чухновскому или еще кому-нибудь из наших асов, о которых Этьен всегда думал с благоговением.

Какой же он сокол, если у него хилые крылья и он, при всей своей смелости, страдает сердечной недостаточностью, а то и пороком сердца?!

«И вместо сердца — пламенный мотор»!! Лирика, положенная на ноты. А вот каковы технические характеристики сего пламенного мотора? Сколько в сем пламенном моторе лошадиных сил? И не обнаружится ли у пламенного мотора на больших высотах смертельная декомпенсация?!

Еще в Германии, когда Этьен сидел за секретными чертежами, добытыми антифашистами в конструкторском бюро завода «Фокке-Вульф» или в сборочном цехе завода «Мессершмитт», когда он убеждался, что мы отстали в технике от взявшего власть Гитлера, — Этьен попросту страдал.

Он страдал так, будто загодя знал о будущих жертвах войны, о проигранных нашими парнями воздушных поединках. И он почувствовал бы себя предателем, если бы не сделал все возможное, чтобы прийти им на помощь.

И пусть эти ребятки с первым пушком на щеках, ребятки, из которых иные только поступили в летные училища и не имеют еще ни одного самостоятельного вылета, — пусть они никогда не узнают, да и не смеют знать, кто заботился об их оперении. Положа руку на сердце он вправе сказать:

— Сделал, что было в силах. Старику не пришлось краснеть за нас, своих учеников...

— Сеньор, мы вас потревожим, — раздался над ухом голос моториста; Кертнер вздрогнул от неожиданности. — Убираем костыли.

Команда солдат снимала «бреге» с козел, на которые он был установлен для того, чтобы проверить шасси. Моторист выпрыгнул из кабины, вытер руки ветошью, кивнул Кертнеру, крайне довольный. Тот и сам мог убедиться: шасси то убиралось, то выпускалось без всякой заминки.

Вскоре появился и Аугусто Агирре. Он долго и горячо извинялся перед Кертнером за опоздание и все просил на него не сердиться. Кертнер уверял, что он вовсе не сердится, а Агирре и не подозревал, насколько его старый знакомый в эту минуту искренен.

Для Агирре было приятной неожиданностью — Кертнер с помощью моториста уже тщательно проверил всю систему шасси, сменил тросик. Да, они вдвоем с мотористом не сидели тут сложа руки, пока Агирре решал вопросы, касающиеся мужского самолюбия, женской чести и достоинства испанского офицера.

— А твой венок из чайных роз заметили все, кто был на похоронах, — сообщил Агирре. — Еще бы! Венок с трудом несли два офицера. Богаче, чем королевский. Правда, бедняге Альваресу теперь все равно, но эскадрилья просила тебе передать благодарность.

Этьен слушал и думал: «Может, этого самого Альвареса догнал очередью кто-нибудь из наших?»

Агирре приказал подготовить «бреге» к вылету.

— Теперь твой подагрик крепко стоит на ногах, — заверил Кертнер.

— Вот и посмотрим больного в воздухе, доктор.

Но тут выяснилось, что нет второго парашюта и поэтому взять с собой Кертнера, после происшествия с шасси, он не вправе. Австрийский авиаинженер пренебрежительно отмахнулся от запрета.

— Про капризный характер «бреге» я помню и напитками сегодня не злоупотреблял. — Кертнер рассмеялся и первым полез в машину, что явно понравилось Агирре.

Тогда Агирре демонстративно снял с себя парашют,

уже надетый на него мотористом, бросил этот парашют, перекрестился, произнес: «Бог, родина, король!» — и полез в кабину, что явно понравилось Кертнеру.

Полет не был продолжительным. Но за те двадцать минут, которые Кертнер провел в воздухе, он увидел немало любопытного, в частности — приметил, где стоят зенитные батареи, охраняющие аэродром. А при посадке увидел интересные подробности, связанные с оборудованием взлетной дорожки для тяжелых машин.

С деловым любопытством следил Кертнер за отличной слетанностью двухместных истребителей высшего пилотажа «капрони-113». Они устроили в стороне от аэродрома учебную карусель, при которой самолеты прикрывают хвосты один другому. Карусель называется «пескадилья»; позже моторист объяснил, у испанцев есть такое рыбное блюдо...

Агирре оглянулся и показал Кертнеру на шасси — оно плавно выпускалось, убиралось и снова выпускалось. Кертнер одобрительно кивнул, и вскоре самолет пошел на снижение.

Конечно, следовало спрыснуть живительной влагой исправленное шасси, чтобы оно больше не отказывало при посадке, следовало отметить совместный полет без парашютов.

Кертнер пригласил Агирре в таверну при аэродроме. Таверна находилась в двух шагах от небольшого зданьица, над которым торчит антенна, а в небе трепыхается, полощется колбаса, набитая ветром и указывающая его направление.

Когда Кертнер и Агирре вошли в таверну, хозяин поспешил навстречу из-за стойки.

— Мой друг, — представил Агирре своего спутника. — В нем счастливо соединились авиация и коммерция.

— Еще неизвестно, чего больше. — Кертнер сел за столик, скользнул взглядом по стенам — портреты тореро, бычьи головы...

Хозяин засуетился, подчеркивая уважение к гостю. Он принес Кертнеру стул с резной деревянной спинкой причудливой формы.

— Досточтимый сеньор, прошу вас пересесть. Этот стул для самых почетных гостей таверны! На нем не раз сидели Санчес Мехиас, Гаэтано Ордоньес и другие знаменитые тореро. Вот их автографы, — хозяин показал на спинку стула.

— Тебе оказана высокая честь! — сказал Агирре. — Мне трактирщик этого стула не предлагал. А напрасно! В тот день, когда я решил стать летчиком, Испания и любимый король Альфонс потеряли замечательного тореро!

Агирре увидел красную скатерть на одном из столиков, рванул ее к себе, сделал несколько движений, как на корриде, и набросил скатерть на хозяина.

Агирре рассказал, что аэродром Таблада недолго находился в руках республиканцев, мятежники захватили его очень быстро. А еще до того, как в бутылке коньяка «мартель» показалось донышко, Кертнер узнал, что 5 ноября из Альбасете на аэродром Алькала де Энарес, севернее Мадрида, перелетели первые русские эскадрильи. Уже на следующий день они встретили в небе Мадрида «юнкерсы», «фиаты» и сбили девять самолетов. Агирре не мог ответить на вопрос Этьена, какие самолеты у русских.

Сражение за Мадрид идет в последние дни с чрезвычайным ожесточением, войска Мола и авиация несут большие потери. В связи с этим эскадрилью Аугусто Агирре через неделю перебрасывают поближе к Мадриду, на прифронтовой аэродром. Если говорить положа руку на сердце, он этому рад, потому что в противном случае решение вопросов, касающихся женской чести и мужского самолюбия, может опасно затянуться.

Назавтра Агирре разлучили со стариканом «бреге», и после серии тренировочных полетов он пересел на новенький истребитель «хейнкель-51». После появления русских машин полеты в средневековой карете немыслимы!

Неделю с одним днем был Кертнер на аэродроме Таблада и немало узнал такого, что ему отчаянно важно знать.

Кертнер воспользовался разрешением Агирре и поднялся на крыло новой модели «мессершмитта» и затем посидел на месте пилота, примеряясь к управлению, глядя, удобно ли установлена доска приборов, запоминая, как на ней расположены все кнопки, ручки и рычаги...

Его мало интересовали самолеты, которые уже воевали с республиканцами, потому что те уже сбили над своей территорией самолеты всех марок, а значит, республиканцы и наши авиаторы имели полную возможность обследовать и препарировать машины на земле, досконально их сфотографировать, снять размеры и так далее.

Кертнера прежде всего интересовали новинки в оборудовании, новшества в технической оснастке, вооружении моделей самолетов, которые изготовлены на немецких и на тех заводах, которые только считались итальянскими, а по существу были дочерними предприятиями авиационных фирм, прислуживающих Гитлеру. Иные, может, еще не попали на конвейер, им устраивали в безоблачном небе над всей Испанией последний экзамен в ходе боев с республиканцами и советскими добровольцами. И разве не естественно для австрийского авиаинженера интересоваться тем, как ведут себя в полетах приборы, изготовленные по патентам, проданным фирмой «Эврика»?..

Удивительно ёмкой, вместительной оказалась эта неделя с одним днем, проведенная Кертнером на аэродроме Таблада.

Аэродром дважды бомбили наши, и оба раза безуспешно. Он огорчился, что республиканцы бомбили недостаточно метко, явно не знали системы зенитного огня над аэродромом (вот бы сообщить точные адреса зениток!). И в то же время обрадовался, что бомбы упали в стороне от взлетной дорожки — кому же охота пострадать от своего осколка?

«А все-таки у республиканцев и наших добровольцев нету тех бомбовых прицелов, за которыми я охотился последний год», — подумал он в минуту бомбежки.

Ведь не мог же штурман бомбардировщика принять за посадочную полосу — шоссе вдоль аэродрома. Ско-

рее всего, этот штурман не имел хорошего бомбового прицела. А может, не учел сильного бокового ветра при бомбометании. Вот и «съездил за молоком». Штурман разукрасил шоссе воронками, а попутно выкорчевал бомбами десятка два апельсиновых деревьев — их ветви гнулись под золотой тяжестью плодов.

Нечего и говорить, что после пустой бомбежки вновь собрались в таверне при аэродроме. Кертнер заявил хозяину, что предпочитает его таверну даже ресторану в «Касинилья де ла Компана». С того дня хозяин еще старательнее показывал свою расторопность, исполнительность и бегал то на кухню, то к их столику, задыхаясь от мнимой усталости.

В таверну вошел испанский летчик — худощавый, с резкими движениями, холодным и надменным взглядом.

— Бутылочку моего, да похолоднее!

— Хименес, из нашей эскадрильи, — отрекомендовал его Агирре, когда вошедший подошел к их столику. — Мой друг Кертнер, летающий коммерсант.

— Завидую тебе, перелетаешь в Толедо, — сказал Хименес, не расположенный к шуткам. — Десять минут лёта до Мадрида! Но почему так срочно?

— Думаю, из-за русских... Слышал, что творится над Мадридом? И днем, и ночью... Большие потери...

— Особенно драчливы эти русские «чатос», — сказал Кертнер.

— Мы с курносыми не церемонимся, — ответил Хименес зло. — Слышали? Один красный заблудился и сел вчера к нам под Сеговией.

— Ну и что?

— Разрубили его на куски, запаковали в ящик, привязали к парашюту и сбросили с письмом: «Подарок командующему воздушными силами. Такая участь ждет его самого и всех красных». Воображаю, как красные обрадовались подарку! — Хименес заржал.

— А если бы ты сыграл в такой ящик? — спросил Агирре. — Настоящий летчик и христианин до этого не унизится...

— А тебе не позволяет голубая кровь? Твой фамильный герб? — Хименес вышел, не прощаясь.

Если только не заниматься расспросами и не слыть любопытным, в таверне при аэродроме можно услышать много интересного. Здесь он узнал о местопребывании статуи святой девы Марии. Сперва она застряла в монастыре капуцинов, километрах в сорока от Мадрида, затем статую эвакуировали куда-то на юг, подальше от линии фронта. Представители церковной иерархии и знатные гранды уже вернулись в Севилью, а при статуе остались сопровождающие рангом помельче. Теперь статуя живет на колесах, ее прячут под брезентом грузовика.

Не один бокал мансанильи выпил Кертнер (когда требовалось — и через силу) в той таверне, не однажды щедро угощал соседей по столику.

А какой богатый прощальный ужин устроил Кертнер накануне отлета Агирре!..

В тот памятный день на аэродроме приземлился грузовой «юнкерс» без опознавательных знаков, и оттуда вышел пассажир с удивительно знакомой внешностью: невысокого роста, совершенно седой, с молодым румянцем на щеках.

Никто из аэродромного начальства самолета не встретил, но к крылу «юнкерса», с которого сошел улыбающийся седоволосый человек, подкатил автомобиль «хорьх». Из «хорьха» выскочил господин в штатском и расторопно раскрыл перед пассажиром «юнкерса» дверцу автомобиля. Тот козырнул, уселся на заднее сиденье, и «хорьх» рванулся с места. Вот что значит мощный восьмицилиндровый мотор! Минута — «хорьх» уже мчался вдоль кромки аэродрома, по тому самому шоссе, по засыпанным воронкам, наново окутывая пылью придорожные оливковые деревья цвета сизой пыли.

Никак не мог Этьен вспомнить, кому принадлежит знакомая внешность, и злился на себя и ругал себя безмозглым дураком, у которого не память, а дырявое, гнилое решето. И только когда «хорьх» уже промчался, память озарило как вспышкой магния.

Так это же Вильгельм Канарис собственной персоной!!

Лицо молодое, если бы не седина, ему можно было бы дать от силы сорок лет, а Этьен точно знал, что Канарису под пятьдесят. Глаза полны живого блеска, со смешинкой. Взгляд вовсе не цепкий, не жесткий, не властный, — вот бы научиться так владеть каждым мускулом лица, даже выражением глаз!

Этьен многое помнил о Канарисе, и никак не сочеталась с его внешностью давняя история: после мировой войны Канарис сидел в Италии в тюрьме по подозрению в шпионаже и бежал, убив при этом тюремного священника и переодевшись в его сутану.

Значит, Этьена правильно предупредили, что Канарис иногда приезжает инкогнито в Испанию на грузовых самолетах без опознавательных знаков, сидя между ящиками и контейнерами с горючим и пролетая высоко над территорией Франции. Канарис избегал полетов на «юнкерсе», который совершает регулярные рейсы Штутгарт — Барселона.

И снова Этьен назвал свою память гнилой и дырявой, потому что не сразу узнал того, кто распахнул дверцу «хорьха», а затем уселся рядом с Канарисом. Он же торчал на похоронах летчика Альвареса, это же генерал Вигон, начальник испанской военной разведки!

Через несколько дней о приезде Канариса прослышали завсегдатаи клуба «Касинилья де ла Компана», и Агирре, которому Кертнер уже два раза устраивал проводы и чей отлет вновь откладывался, передал Кертнеру шутку, которую приписывали Канарису.

Он разъезжал по фронтовым дорогам инкогнито, вел себя непринужденно, и со стороны могло показаться, что совершает увеселительную прогулку. Осматривал памятники старины, посетил картинную галерею в монастыре под Севильей: там в трапезной и в хранилище инкунабул висят малоизвестные полотна Мурильо. По дороге из монастыря машину Канариса остановило большое стадо овец, запрудило всю дорогу. Машина медленно пробиралась сквозь стадо, а Канарис при этом отдавал честь. «Кто знает, — весело подмигнул он адъютанту, когда их неказистый автомобиль наконец выпутался из

живого клубка шерсти, — может быть, среди этих баранов находится один из наших государственных деятелей? На всякий случай всегда полезно поприветствовать стадо».

Только непонятно — как до клуба дошел этот анекдот? Может, адъютант сболтнул по приказу своего шефа? Канарис как бы напоминал Этьену: «Иногда нужно умело промолчать, иногда выгоднее умно проболтаться...»

Наконец эскадрилья Агирре и Хименеса получила приказ перебазироваться ближе к фронту.

— Когда и где мы еще встретимся? — вздохнул Агирре.

— Теперь в Мадриде! — бодро сказал Кертнер.

— Судя по всему, ты успеешь прежде добраться до своей Италии и приплыть обратно.

— Назначаю тебе свидание в Мадриде, на аэродроме. Скорее всего, это произойдет на Куатро виентос. Как романтично назван аэродром! Четыре ветра!

— Хоть бы один из четырех был для меня попутным. — Агирре без воодушевления пожал плечами.

— Не забывай — у нас есть в запасе пятый ветер!

— Ты имеешь в виду пятую колонну?

Кертнер кивнул.

— Я на нее рассчитываю меньше, чем генерал Мола.

В тот вечер Агирре был мрачнее, чем обычно, и выпил больше обычного. Он несколько раз вспоминал, что вчера неба над Мадридом не видно было за дымом и огнем и все чаще в небе льется кровь.

На следующее утро радиопередачи «Последние часы Мадрида» испарились из эфира, а парижское радио сообщало, что Мадрид героически сопротивляется, весь мир — свидетель этого сражения.

Накануне своего отъезда в Альхесирас, накануне прощального визита к германскому консулу Дрегеру, Кертнер узнал, что в Севилью вернулась статуя девы Марии. Ее привезли ночью, тишком, на грузовике с брезентовым верхом, без всякого эскорта, и святая дева Мария приступила к своим старым обязанностям — попрежнему покровительствовать городу.

19

Когда вспыхнула война в Испании, Этьен решил использовать свое постоянное местожительство и свою деловую репутацию, чтобы пробраться на занятую мятежниками территорию. Но как получить визу у франкистов? Помогла чековая книжка, хотя на этот раз Этьен взяток никому не давал.

Он выехал тогда из Милана в Рим и остановился в «Гранд-отеле». Пожалуй, отель «Эксцельсиор» на виа Венето — самый шикарный и усерднее шагает в ногу с модой, «Гранд-отель» несколько старомоден. Но именно в нем останавливаются миллионеры, заезжие принцы и принцессы, мировые знаменитости; это самый дорогой отель в Италии. Достаточно сказать: «Я остановился в «Гранд-отеле», — чтобы собеседник понял: он говорит с очень богатым человеком.

Итак, Этьен приехал в Рим и отправился в испанское посольство. Оно находится возле площади Испании, где на ступенях лестницы всегда толпятся художники — продают и покупают картины, нанимают натурщиц.

Старинное здание посольства окрашено в терракотовый цвет. Узкую арку ворот стерегут фонари на каменных столбах. Этьен прошел через глубокую, притемненную арку во внутренний двор, где журчит вода, вечно льющаяся из пасти каменного льва.

Оделся Этьен как на дипломатический прием, — в иные посольства следует заходить только изысканно одетым. И, уже подав свои бумаги и прощаясь с чиновником, он небрежно бросил:

— Каков бы ни был ответ, прошу поставить меня в известность. Я остановился в «Гранд-отеле».

Магическая фраза произвела свое действие на чиновника в консульском отделе. Этьен готов поручиться, что «Гранд-отель» сыграл свою роль в получении визы.

Но испанская виза — полдела. Кертнеру нужно было еще обязательно попасть на пароход «Патриа», который через несколько дней отплывал из Специи в порты мятежной Испании.

То был грузо-пассажирский пароход, который в том

рейсе был в большей степеии грузовым, чем пассажирским. Судя по осадке «Патрин», трюмы ее битком набиты. Вдобавок на палубе громоздилнсь какие-то цнклопические ящикн, укрытые брезеитом. Даже если бы при нх погрузке ие хлопотал Паскуале, Этьеи легко догадался бы, что к Фраико плывут «мессершмитты», разъятые на фюзеляжи и крылья.

Этьеи не предполагал, что почувствует себя иа испаиской земле так увереиио и будет работать в отиосительиой безопасности. Пусть даже ниые нспанцы прииималн австрийца Конрада Кертнера за пройдоху и спекуляита патеитамн, который хочет погреть руки иа чужом пожаре. Но поскольку Кертнер — авиаспециалист н автор какнх-то патентов, вполне закоиомерио н естествеино его виимаиие к техннческнм проблемам, возиикшим в ходе войиы.

Был еще одии веский довод в пользу испаиских поездок Кертиера. Поскольку Муссолнии помогал мятежникам, все итальяицы выглядели в Испаиии как добровольцы, фашнсты, н слежка за штатскими итальянцами была меиьше, чем у них дома. В самом деле, что подозрительиого во встречах итальяицев и австрнйца, если оин все вместе помогают Фраико воевать с красиымн?!

В Италии, когда дело касалось секретиых материалов, Паскуале, отчим Джанннны, бывал очеиь робок. А иа испанской земле да и по путн в Испаиию ои вдруг обрел подобие хладиокровня. Ои и суетился здесь меньше, не облнзывал все время губы, высушенные страхом.

Паскуале выжндал, чтобы в корндоре, куда выходят каюты «люкс», было пусто, и тогда заходил к Кертиеру; он даже позволил себе вымучеино пошутить по какому-то поводу.

А второй помощник капитаиа, Блудиый Сыи, хорошо нзвестиый Кертиеру, ии разу его не иавестил и не обмолвнлся с ннм нн едниым словом, но ие из-за своей робостн, а лншь потому, что сам Кертиер иастоял на такой сверхосторожности...

Пока Паскуале был заият иа приморском аэродроме сборкой доставлеииых самолетов, а Блудиый Сыи занимался судовымн обязаииостямн, пока «Патрна» плыла

из Альхесираса в Кадис, оттуда в Уэльву, Кертнер успел и помотаться по фронтовым дорогам до предместий Мадрида и проторчать неделю с одним днем на аэродроме в Табладе.

К отплытию «Патрии» из Уэльвы Кертнер уже опоздал, к отплытию из Кадиса тоже не мог успеть. Теперь, если не подведет шофер нанятого автомобиля, он рассчитывает застать «Патрию» в Альхесирасе, хотя дорога туда значительно длиннее, придется объезжать горы, делать большой крюк.

Нанятый автомобиль давно пора было сдать в утиль, в дороге случилось несколько поломок. Этьен опаздывал, нервничал и успел на пароход только потому, что «Патриа» принимала на борт большую партию раненых итальянских солдат и с погрузкой раненых опоздали больше, чем Этьен опоздал с прибытием в Альхесирас.

Кертнер занял свою старую каюту, оплаченную в оба конца, и сразу стал спокойнее.

Он быстро установил, что в его отсутствие сюда наведался Блудный Сын. Как было условлено, он унес все, что Этьен фотографировал по пути в Испанию, а также сверток чертежей, которым полагалось храниться в каюте капитана «Патрии».

Одноместная каюта «люкс» со всеми удобствами. Если Этьен будет занят своими приватными делами, а в дверь вдруг начнут ломиться непрошеные гости, можно выкинуть в иллюминатор все, что при столь несчастливом стечении обстоятельств должно быть выброшено, все, что он не успел зашифровать и превратить в безобидные описания красот испанской природы, морских пейзажей.

А если Этьен заметит опасных попутчиков на палубе, то будет стоять у борта, держась за поручни, всегда готовый выбросить в море кассеты с пленкой.

Позади Малага, Альмерия, далеко на севере остались порты Картахена, Аликанте, Валенсия и Барселона. «Патриа» держалась подальше от республиканского берега и поближе к Балеарским островам. После Пальмы на Майорке «Патриа» уже никуда не заходила до самого Марселя.

В Марселе на борт поднялся какой-то подозрительиый субъект. Он шатался по палубе, небрежная походка, волочил ногн так, словно на нем старые шлепанцы.

Когда «Патриа» отшвартовалась н лоцман выводил ее нз марсельского порта, подозрнтельный субъект внимательно следнл за другимн судамн, Этьен заметил его повышенный ннтерес к судам небольшого водонзмещеиия под нспанскнм флагом. «Патрна» проплывала мнмо каботажного судна «Рири», окрашенного в серый цвет, и подозрительный субъект спроснл у матроса — какого тоннажа эта посуднна? А едва «Патрна» вышла нз порта, подозрнтельный субъект стал прнвязчнвой тенью Кертнера н торчал рядом с инм у борта, вглядываясь в остров Иф, от которого удалялась «Патрна».

Этьен перечнтал «Графа Монте-Крнсто» на французском языке, когда в мае плавал в Барселону, а сейчас, глядя на Иф, увлеченно рассказывал стоявшнм иа палубе легко раненным нтальянскнм солдатам о злоключеинях Дантеса. Эдмон Дантес бежал из тюрьмы замка Иф ннкому не известный, чтобы потом прославнться на весь мнр под нменем графа Монте-Крнсто.

Подозрительный субъект прнблизнлся и тоже с иитересом слушал рассказ прнлнчио одетого мосье нз каюты «люкс» о том, как с помощью Алексаидра Дюма сбежал нз тюрьмы Эдмон Дантес, как он был оглушен паденнем со скалы в море, вынырнул н поплыл, иезамеченный, к острову Тнбулеи.

Подозрнтельный субъект тоже задал какой-то вопрос, касающнйся дальнейшей судьбы графа Моите-Крнсто, тоже околачнвался на палубе, пока остров Иф не скрылся с горнзонта. Но потом особого интереса к пассажиру нз каюты «люкс» уже ие проявлял и увязался за пассажнрамн, которые подиялись иа борт в Марселе.

Этьен усердно снимал своей «лейкой» удаляющнйся остров Иф. А чтобы снимкн не были бездушными, фотографировал иа фоие острова пассажнров, стоявших на палубе. Компонуя кадр, он хотел заснять подозрительного субъекта в обинмку с нтальянцамн, но тот отшатиулся.

— Вы не хотите сняться с итальянскими добровольцами? Боитесь, пошлю эту фотографию красным?

— Да, такая фотография может не понравиться моему патрону, — вполголоса признался субъект. — Если верить дуче, все его солдаты герои. А у нас во Франции больше симпатий отдают республиканцам. Забыли старую пословицу? Истина по эту сторону Пиренеев — заблуждение по ту сторону.

«По-видимому, французский агент», — рассудил Этьен и, притворясь наивным, спросил:

— Вы из Перпиньяна?

— Нет, я бретонец.

Этьен еще прежде уловил по произношению, что говорит с уроженцем Бретани, а назвал южный Перпиньян только для того, чтобы прощупать этого субъекта. Этьен окончательно уверился, что перед ним не испанский, а французский агент. Не станет Франко вербовать шпионов в далекой Бретани, он нанимает тех, кто живет у Пиренеев и знает испанский язык...

Глубокой ночью приоткрылась дверь каюты № 11, и показался Паскуале. Он робко огляделся — коридор, куда выходят каюты первого класса, пуст, все двери закрыты. Поспешно, не стучась, он вошел в каюту № 12 и в изнеможении прислонился к двери.

— Что с вами? — спросил Кертнер.

— Каждая такая встреча... — Паскуале опустился на диванчик. — Я даже хлебнул граппы для храбрости. Посоветуйте, где взять запасные нервы?

Он настороженно оглядел каюту, Кертнер его успокоил:

— За этой стеной ваша каюта, там — Баронтини, ничего не слышно.

— Я лишь наполовину жив... — Паскуале вынул из-за пазухи небольшой пакет, завернутый в газету. — А тут еще этот груз!

— Какой? — Кертнер спрятал пакет.

— Вы видели, как грузили ящики от молотилок? А в каждом шестнадцать гробов. Бедные парни возвращаются домой в цинковых мундирах. А сколько итальянцев зарыто под Гвадаррамой? На моих мальчиков

тоже цинка не хватило. Их неприкаянные тени бродят по пустыне... Покойников выгрузим в Специи, там меньше глаз и ушей, оттуда поплывем в Геную, там снова погрузим молотилки. И дома не придется побывать... Передайте Джаннине мой привет. Она снова привязала меня к жизни после гибели сыновей в Абиссинии. — Паскуале говорил с трудом, у него пересохло в горле, Кертнер налил ему газированной воды. — С появлением русских самолетов некоторые наши выходят из моды. «Патриа» уже привезла один «мессершмитт-109». Самая последняя модель.

— Вы его видели?

— Собирали на одном аэродроме. Но немцы нас близко не подпускали.

— А техническая документация?

— Хранилась в сейфе капитана.

— Модель серийная?

— Кажется, опытная модель.

— Если вам в следующем рейсе удастся узнать какие-нибудь подробности, передайте мне привет через Джаннину...

Паскуале вышел из каюты Кертнера и заметил, что дверь наискосок из каюты № 19 приоткрыта. Паскуале схватился за сердце, превозмог внезапную слабость и срывающимся голосом сказал уже невидимому хозяину каюты № 12:

— Даже не представляете, сосед, как меня выручили! Повар в Альхесирасе помешался на перце, изжога страшнее морской болезни. Без вашей содовой я бы просто погиб. А «Патриа» привезла бы в Италию одним покойником больше. Доброй ночи, синьор...

Наконец «Патриа» пришвартовалась в порту назначения, в Специи. Перед тем как ступить на трап, Этьен прошел мимо Блудного Сына и Паскуале, не попрощавшись с ними. Но зато, сойдя на берег, он вежливо и очень долго прощался с подозрительным субъектом. Тот высматривал кого-то на пристани. Этьен понимал, что своим присутствием и своей болтливостью очень мешает субъекту заниматься слежкой за кем-то, но озорства

ради продолжал болтать насчет графа Монте-Кристо. Знает ли мосье, что его соотечественник Дюма присвоил герою своей книги в качестве прозвища название итальянского острова? Это самый южный остров Тосканского архипелага...

Этьен нанял в порту извозчика и благополучно уехал на вокзал, не встреченный никем из непрошеных встречающих. Он предпочитал вернуться в Милан через Парму, не заезжая в Геную.

И, как всегда, когда Этьену удавалось избежать опасности, он, уже вернувшись в Милан, в свою контору, с удовольствием посмеялся над избыточной осторожностью Кертнера:

«Терпеть не могу трусов, которые из мухи делают слона, а потом продают слоновую кость...»

20

«25.8.1936

Наконец мы в состоянии выполнить вашу просьбу о замене. Кандидат уже подготовлен и в конце сентября может выехать и принять от вас дела. Естественно, некоторое время вам придется поработать вместе с ним, пока он не освоится с обстановкой. Ваш преемник хорошо знает французский, болгарский и турецкий языки. По диплому и по образованию — инженер-электрик. Просим сообщить свое мнение — какая «крыша» будет для него наиболее надежной. Привет от далекого Старика. Надеемся на скорое свидание. Надя и Таня шлют приветы.

Дружески *Оскар*».

21

До последней минуты Этьен сидел в зале ожидания первого класса, а на перрон вышел перед самым отходом поезда из Болоньи.

Багажа никакого, смахивает на провожающего. Он все поглядывал на вокзальные часы и очень внимател-

ио, как бы выискивая кого-то, осматривался по сторо-иам.

Поезд троиулся, а ои все продолжал настороженно оглядываться и вскочил иа ступеиьку последиего ваго-иа уже иа ходу.

Ступеньки тянулись вдоль вагоиов, по иим можно перейти из коица в коиец поезда. Этьеи без удовольствия убедился, что прыгиул вовсе ие последиим. Еще иесколько мужчии вскочили иа движущиеся ступеиьки, а какой-то молодой человек в шляпе ухарски прыгиул, когда вагоны шли уже ходко.

Этьен ехал не скорым поездом, как обычно и как ему надлежало ездить при его достатке, а пассажирским. Меиьше опасеиий, что за иим увяжется провожатый.

Сидя у окна, Этьеи увидел сквозь стекляиную дверь: по коридору вагоиа прошел молодой человек, которого он несколько раз видел в Болоиье. Чериые усики и шляпа, иадвииутая на самые глаза. Вот наивиость! Будто шляпа, иадетая подобиым образом, делает человека меиее приметиым.

«Усики» проследовали вперед по движеиию поезда.

Этьеи вовремя отпряиул в угол переполиениого купе и остался иезамечеииым.

Ои выждал мииуту, встал, открыл противоположиую дверь, ведущую из купе наружу, на ступеиьки, и двииулся, перебирая поручии, вдоль вагоиа, к хвосту поезда — совсем как «заяц», который увиливает от встречи с контролером.

Висуиов миожество, не пробраться ии вперед, ни иазад. Впрочем, Этьеиа толкучка вполне устраивает. Дело в том, что из вагоиа в вагои переходил бродячий певец, а его сопровождали любители пеиия. Сегодия певец пользовался особеииым успехом, ои собрал иемало чентезимо. Пассажир, висевший рядом иа ступеньке, сообщил, что этот бродячий певец — будущий солист оперы в Болоиье. Далеко разиосилась иеаполитанская песня, затем ария из «Любовного напитка».

Неторопливый поезд приходил в Геиую раио утром.

Не доезжая одной остаиовки, Этьеи перешел по платформе в первый вагон. Перед тем он суиул шляпу в кар-

маи, снял с себя и взял плащ иа руку, так его труднее узиать в толпе. Он хотел как можио быстрее исчезиуть в Геиуе с перрона. Вдруг «усики» ие прекратили слежку?

Ои благополучно вышел на знакомую площадь. В привокзальном сквере Этьена встретил броизовый Христофор Колумб; иные деревья ему по плечо, иные выше головы.

В Болонье удобиее было прийти на вокзал иалегке и не походить иа пассажира. А сейчас, иаоборот, удобиее было бы выглядеть пассажиром с поезда, и для того, чтобы сразу податься в отель, ему очень ие хватало багажа, хотя бы портфеля.

Легче всего было бы ыыриуть в подъезд отеля «Коломбия», ои как раз иапротив вокзала, по правую руку. Но это слишком бойкое место, и если кто-нибудь возиамерится искать Кертиера в Геиуе, он должеи быть круглым идиотом, чтобы ие иачать с «Коломбии».

Быстрым, размашистым шагом человека, который куда-то опаздывает, ои пошел по улице Бальби по иаправлеиию к пьяцца Нуицната.

Предутренний час, в толпе ие спрячешься, только дворники расхаживают с метлами. Хорошо бы свериуть в тихий лабиринт переулков, которые карабкаются иа холм слева. Ои поравиялся с лестницей-улочкой святой Бриджитты. А куда оиа ведет?

Дома лепились по крутому склону; из-за верхиих этажей или крыш ближиих домов видиелись другие дома, их крыши, мансарды, башии, башеики. Утренний свет наскоро высвечивал, перекрашивал морковио-бурачиую мозаику черепичных крыш. Первые лучи солица уже позолотили кресты и купола, ио иа улицу, стесиеиую высокими домами, лучи еще не проникли.

Одиако любоваться разноэтажиым пейзажем иекогда. Этьеи озабочеи, иужно прожить сегодияший деиь в полной увереииости, что за ним ие следят. Ах, как пригодилась бы ему сегодия волшебная шапка-иевидимка! Кто зиает, вдруг в толпе иосильщиков, извозчиков, шоферов его встретил иа вокзале другой незиакомый агеит, которому «усики» его перепоручили.

Можио бы зайти в самое захудалое кафе и просидеть

там часок-другой, просматривая утренние газеты. Многие синьоры начинают с этого день, им не терпится узнать, что нового на белом свете, — фронтовая сводка из Испании, биржевые новости, как проходит велосипедная гонка «Тур де Франс», в которой участвуют итальянские гонщики...

Но газеты еще не вышли и все кафе закрыты.

Он миновал длинный тоннель, на портале которого указан год его сооружения: «Анно VI» — шестой год фашистской эры, проще говоря, 1928 год. Этьен хотел выйти кратчайшим путем на улицу 20 сентября и свернул вправо.

Как медленно тянется время, то самое время, которое стремительно убегает от нас даже тогда, когда мы держим свои часы на цепочке! Времени у Этьена всегда не хватает, так трудно успеть и в банк, и на аэродром к синьору Лионелло, и на биржу, и в контору, и не опоздать вечером к увертюре в «Ла Скала», а потом, напевая оперные мелодии, допоздна сидеть над своей секретной цифирью. Столько дел нужно втиснуть в каждые сутки!

С жалостливым сочувствием уподобил он себя однажды трубачу из оркестра берсальеров. Они бегут на военных парадах легким шагом, и бедняги музыканты ухитряются играть на бегу, не сбиваясь ни с такта, ни с шага...

А сейчас вдруг время оказалось у него в скучном избытке, просто некуда девать, он сорит минутами, как скорлупой от жареных каштанов.

Он делал все для того, чтобы поскорее израсходовались полтора часа до открытия магазинов.

Побрился в дешевенькой парикмахерской, там же, ради времяпрепровождения, сделал маникюр, мастерица возилась с его ногтями, а он сидел и думал:

«Насколько женщине легче изменить свою внешность, чем мужчине! Иногда ей достаточно перекрасить волосы, изменить прическу и сменить туалет».

Затем он восседал на троне у чистильщика обуви. Жаль, тот оказался не из медлительных говорунов, которые священнодействуют, когда размазывают гуталин

и орудуют щеткой. Чистильщик работал с неуместной быстротой, будто за Этьеном выстроилась длинная очередь.

В зеркально начищенных ботинках он зашагал, как всякий уважающий себя приезжий, к домику Христофора Колумба перед башней у входа в старый город. Домик увит плющом, железные скобы скрепляют ноздреватые, замшелые камни. Дверь навечно заперта. В каком столетии последний раз повернулся ключ в ржавом замке? Порог двери намного выше тротуара, круто подымающегося к крепостной стене.

Первый же горластый продавец газет придал Этьену уверенности. Теперь он может сколько угодно сидеть на бульваре, уткнувшись в газетный лист.

...Войска генералиссимуса Франко атакуют под Мадридом район королевского парка Эль Прадо. (Значит, мятежники, не добившись успеха в лобовых атаках, решили охватить Мадрид с флангов? Только бы не отрезали Мадрид от Гвадаррамы! Город получает оттуда электроэнергию, там запасы питьевой воды!)

...Дипломатические церемонии в связи с тем, что Германия и Италия признали хунту Франко «правительством Испании». (Еще самая малость, и фашистский писака захлебнулся бы от восторга.)

...Ратифицирован японо-германский договор «для защиты от коммунизма». (Помнится, точно такой же договор подписан в октябре графом Чиано и Гитлером в Берхтесгадене.)

...Фирма «ФИАТ» строит железную дорогу в Персии, строит автостраду в Афганистане. (Все время суетятся возле наших границ!)

...После благотворительного концерта в берлинском ревю-театре Джильи встретился с Гитлером. Джильи снимается в Германии в новом фильме. (Великий талант, но политический младенец!)

...Снимок — манифестация в Риме. Мимо Муссолини марширують священники в рясах и монахини в причудливых накрахмаленных чепцах. Чеканят шаг, руки подняты в фашистском приветствии, судя по широко

разверстым ртам, что-то орут. (Но ведь не в своих тихих кельях они научились маршировать и орать?!)

Он сидел в сквере возле оперного театра «Карло Феличе» и предавался тревожным размышлениям.

Еще летом он узнал, что Старик воюет в Испании и взял туда группу помощников. Точно ли товарищи, оставшиеся в Центре, представляют себе обстановку, в которой Этьен находится?

«Где сейчас Оскар? С сентября жду обещанного наследника. Может, последняя шифровка попала к равнодушному человеку, а бумага, как известно, молчит, места ей в столе требуется не много. Или человек, к которому попало письмо, решил, что мне не хватает стойкости, выдержки? Так или иначе, замены нет, и я вынужден играть с огнем, поскольку игра стоит свеч».

Этьен был убежден: если бы Старик оставался на месте, к сигналам и просьбам о замене отнеслись бы внимательней.

Этьен встревожился, еще когда узнал, что Старика перевели в Особую Дальневосточную армию, заместителем к Блюхеру. Место Старика в Центре занял комкор Урицкий, судя по письмам и телеграммам, дельный человек. Этьен знал, что это — племянник того Урицкого, который играл видную роль в Октябрьском перевороте и был убит эсерами. Но все-таки какие обстоятельства вызвали смену руководства? Ухудшение наших отношений с японцами и необходимость укрепить ОКДВА?

Удалось ли найти равноценную замену Старику? Только подумать, сколько ниточек тянулось к нему со всех концов! В чьи руки попадают теперь эти тонкие ниточки? Этьен читал в одном из журналов, кажется в «Военной мысли», что для подготовки командира дивизии требуется не менее восьми — десяти лет. А сколько лет требуется для подготовки командующего разведкой? Чтобы работать в полную силу, разведчик должен иногда в течение длинного ряда лет тщательно накапливать разведданные в их логической последовательности и причинной связи. Смена руководства в разведке — дело не простое.

Речь не о том, что придут более слабые работники.

Но новые работники — каковы бы они ни были — легче могут стать жертвой дезинформации, им труднее сопоставить «вчера» и «сегодня», они не знают повадок, привычек, приемов, манер тех противников, с которыми их предшественники незримо воевали в течение долгих, долгих лет.

По всем правилам, каким подчиняется его дело, никак нельзя было Этьену приезжать в Геную. Но риск оправдывается необычайной важностью поездки. Он не имеет права держать втуне столь ценные материалы, он обязан передать их в Центр.

Это, так сказать, генеральная задача. А в ближайший час ему нужно решить локальную, маленькую, но в то же время сложную задачу — устроиться в отеле, остаться в Генуе незамеченным.

Как приезжему явиться в отель налегке, абсолютно без багажа, и не обратить на себя внимания?

Он терпеливо дождался, когда откроется универсальный магазин «Ринашенте», и купил чемодан желтой кожи. Вообще-то говоря, он умеет носить пустой чемодан, чтобы тот выглядел увесистым. Но коридорный в отеле сразу выхватит чемодан и потащит в номер... Нет, пустой чемодан его не выручит.

Он накупил в «Ринашенте» всякой всячины и кое-что из одежды. Сорвал этикетки с пижамы, носков, новых рубашек, чтобы все это не выглядело как только что приобретенное, купил и надел новую шляпу борсалино, обулся в новые туфли, не снял с себя после примерки новый костюм, а все поношенное тоже уложил в чемодан.

Теперь он может себе позволить стать постояльцем респектабельного отеля.

Рядом со стойкой портье на видном месте висит таблица — перечислены ближайшие церкви, указано, когда и какие там идут службы в будни и праздники. Тут же стоит медная урна, куда всем входящим в отель надлежит в дождливую погоду ставить мокрые зонтики.

Он спустился в ресторан при гостинице, уселся за дальний столик, но уже через несколько минут перед Этьеном вновь мелькнули короткие и широкие, почти квадратные усики.

«Усики» уселись за выступом стены, а увидел его Этьен потому, что напротив висело зеркало под углом. Шляпа, обычно надвинутая на глаза, лежала рядом на стуле.

«Нужно уйти быстро, но не торопясь».

Он еще раз глянул в зеркало напротив и увидел отраженный зеркалом взгляд, устремленный на него в упор. Этьен даже заметил, что «усики» ничего не успели себе заказать. Такой взгляд Этьен называл про себя легавым — взгляд ищейки, преследующей дичь.

С какого времени, с какого пункта неразлучен с Этьеном его назойливый спутник — с вокзала в Болонье или еще раньше?

Ничем не выдавая своей наблюдательности, Этьен не спеша допил кофе, оставил на столике сколько-то там лир и устало поднялся.

Да, никуда не торопится. Да, остановился в этом отеле. Ключ от номера на деревянной груше он держал в руке и позвякивал им.

Однако в номер он не вернулся, а вышел на улицу, сунул деревянную грушу в карман и вскочил в проходящий мимо автобус, идущий в сторону порта.

Он вышел из автобуса возле мола Веккиа и зашагал через торговый пассаж, который коридором вытянулся на весь квартал под вторыми этажами жилых домов. И здесь продавцы контрабандных сигарет преследовали прохожих, назойливо совали свой товар чуть ли не в карманы.

Напротив часовой мастерской — прилавок, заваленный книгами. Как же пройти мимо старого букиниста и его такой же старенькой помощницы, если можно порыться в книгах и израсходовать еще десяток никчемных, бросовых минут? Последние месяцы были битком набиты делами, и ему некогда было наведываться в книжные магазины.

Сейчас он с удовольствием ворошил, перебирал книги на развале. Ко всякого рода приключениям, похождениям детективов и шпионов он относился без особого интереса, но огорчался, держа в руках стóящие книги, которые ему по нехватке времени не суждено прочесть.

Маленькая книжечка в обтрепанной голубой обложке. Записки американского летчика-испытателя Джимми Коллинза. На английском языке. Он слышал об этой книжке уже давно и когда-то справлялся о ней в магазине издательства Мондадори. Но на итальянском языке книжка еще не вышла. Развернул, прочел несколько фраз, торопливо и щедро уплатил букинисту. Так хотелось скорее дойти до скамейки на бульваре, углубиться в чтение, что он даже ускорил шаг.

Вскоре он уже подходил к порту — за крышами домов виднелись мачты, снасти, трубы пароходов. До него доносился шум работящего порта — гудки буксиров, звонки подъемных кранов.

Он обошел несколько причалов, поглазел на пароход, название которого нельзя было издали разобрать, а подойти ближе не разрешил карабинер. Пароход стоял под погрузкой. С причала доносился прилежный скрип такелажа, без устали работали подъемные краны. Какие-то исполинские ящики совершали путешествие в воздухе, прежде чем скрыться в трюме.

Чтобы не привлекать к себе внимания карабинера, Этьен зашагал дальше, прошел мимо портового управления и среди прочих увидел вывеску «Нотариальная контора». Вот и хорошо, не придется искать контору в центре города.

В такой конторе бывает немало клиентов, которые делают в Генуе пересадку с поезда на пароход, с парохода на поезд, с парохода на пароход. В порту не так должен обращать на себя внимание транзитный пассажир, иностранец, оформляющий доверенность на имя какой-то женщины — право распоряжаться его текущим счетом в швейцарском банке.

А чувствовал он себя в нотариальной конторе, насквозь пропахшей сургучом, в полной безопасности. Ни одному сыщику не придет в голову искать его в таком укромном, тихом помещении.

С новоиспеченной нотариальной доверенностью в кармане он шагал по оживленной улице.

Как во всех южных городах, рыбные магазины, фруктовые лавки и цветочные магазины располагались

только на теневой стороне улицы. Никакие тенты не могли бы спасти скоропортящийся товар от солнца.

В рыбном магазине стеклянной витрины нет, и Этьена обдали острые запахи. В корзинах, выстланных листьями папоротника, в стеклянных ящиках, питаемых проточной водой, можно найти все дары Лигурийского моря. Осьминоги, лангусты, крабы, устрицы, мидии, кальмары, креветки, рыба-меч, нарезанная большими кусками, и — как приправа к будущим рыбным блюдам — шампиньоны в плетеных корзинках.

Цветочный магазин с густым букетом запахов и яркой палитрой. Фруктовая лавка со своим пиршеством красок и ароматом, вобравшим в себя всю свежесть садов, плантаций и фруктовых рощ.

По-видимому, Этьен позавтракал второпях, потому что решил зайти в фруктовую лавку поблизости от причала Сомали. Он незаметно и зорко огляделся перед тем, как переступить порог лавки.

22

Ящик, похожий на дощатый домик. Подъемный кран снял с платформы, на борту которой эмблема германских железных дорог, этот ящик и понес его к краю пристани. Грузчик отцепил стропы и накинул их на крюк другого крана, который приводила в действие корабельная лебедка.

Погрузкой командовал стивидор Маурицио, мужчина атлетического сложения. За его выразительными жестами следили и крановщик, и лебедчик, и все грузчики.

С палубы на пристань кто-то крикнул по-немецки:

— Предупредите их, лейтенант Хюбнер: если погрузят до обеда — получат премию!

Баронтини подмигнул крановщику, и тот понимающе кивнул ему. Поднося ящик к проему трюма, крановщик резко бросил его вниз, на палубу. Ящик разбился, из-под дощатой обшивки показалось нечто не сельскохозяйственное — башня легкого танка с дулом орудия.

Ругань, крики, визг лебедки.

— Немедленно вызвать капитана! — закричал по-немецки тот, кто отдавал приказы лейтенанту Хюбнеру.

Баронтини стремглав понесся к трапу и ворвался в каюту к капитану:

— Вас требуют немцы!

— Что случилось?

— Ящик разбили.

Капитан выбежал из каюты и захлопнул дверь. Слышно было, как он стремительно поднялся по железному трапу.

Баронтини подождал, своим ключом открыл дверь в каюту и вошел в нее...

Грузчики уже накрывали разбитый ящик брезентом.

— Это саботаж! — кричал капитан на Маурицио. — Вас всех будет судить военный трибунал!

Маурицио кричал на крановщика:

— Если тебе Клаудиа не дает спать ночью, пусть она днем сидит в будке и будит тебя!

Крановщик кричал лейтенанту Хюбнеру:

— А что указано в вашей накладной? Фальшивый вес!

Баронтини, который успел отдышаться после беготни по трапу, стоял на палубе и показывал капитану накладную:

— Груз-то весит шесть тонн! При чем здесь стивидор, крановщик? Мы составим акт.

Капитан протянул накладную немцу, тот что-то сказал вполголоса и махнул рукой, подавая команду к дальнейшей погрузке...

«Патрию» погрузили до срока, и как можно было разойтись, не посидев своей компанией, не спрыснув премию, выданную немцами?

Лампа освещает комнату на задах фруктовой лавки, все заставлено ящиками, корзинами, лукошками с фруктами. На стене, по обеим сторонам олеографии, изображающей апельсиновую рощу, висят гитара и мандолина.

За столом Маурицио и его гости: помощник капитана «Патрии» Атэо Баронтини, по прозвищу Блудный Сын, крановщик, два докера — долговязый и одноглазый.

Из лавки, освещенной ярким дневным светом, вошла Эрминия; она принесла корзинку с фруктами и подсела к столу.

— Эта граппа покрепче виски, — похвалил крановщик. — За вас, синьора!

Эрминия выхватила у Маурицио стакан, до краев налитый виноградной водкой, торопливо перекрестилась, выпила одним духом и звонко рассмеялась.

Маурицио потянулся к мандолине, долговязый докер взял гитару и принялся ее настраивать. Маурицио затянул песню «Голубка то сядет, то взлетит». Он пел, прижимая ручищи к груди, отчаянно жестикулируя, пел высоким проникновенным тенором, хотя к его внешности больше подошел бы бас.

Он смотрел на Эрминию влюбленными глазами, а говорил заискивающим тоном:

— Эрминия, сегодня же необычный день! У нас новый гость. И какой! Если бы он только захотел... Он мог быть не помощником капитана, а капитаном. И не на вонючей «Патрии», а на... «Куин Элизабет»!!! Да что там «Куин Элизабет»... Он мог бы командовать всем итальянским флотом... — Эрминия выразительно поглядела на Маурицио, тот умолк на полуслове, но быстро вернул себе словоохотливость. — Знаешь, кто его отец? Ты слышала про верфи, пристани, суда Баронтини? Вот он чей сын!

— Блудный сын, — поправил Баронтини.

— А он плюнул на все верфи и плавает на «Патрии», потому что он настоящий моряк!

— Без него мы бы сегодня с молотилками не управились, — сказал одноглазый, потирая руки.

— Думаете, не знаю, что в этих ящиках? — Эрминия рассмеялась.

— Остается только удивляться, — подал голос Баронтини, — как испанские крестьяне ухитрялись раньше убирать свой урожай без этих машин?!

— Лучше бы вы Франко большой гроб послали, — сказала Эрминия.

Компания рассмеялась, а Маурицио вновь заискивающе посмотрел на Эрминию:

— Ради твоего знакомства с синьором Баронтини!

Эрминия отрицательно покачала головой. Маурицио оглянулся, ища сочувствия у собутыльников, и сказал:

— В такие минуты я жалею, что не принял приглашения генерала Нобиле и не улетел с ним на Северный полюс.

— Очень нужен белым медведям захудалый лейтенант пехоты, — прыснула Эрминия.

— Если бы я поддакивал фашистам, меня давно бы сделали капитаном...

— А я удивлена, как тебе удалось с таким длинным языком и с такими легкими мыслями дослужиться до лейтенанта...

— Эрминия, можешь меня разжаловать в рядовые, но сжалься над гостями!

Эрминия погрозила Маурицио пальцем и достала бутыль граппы. Прозвенел звонок на входной двери.

— Опять несет покупателя, — поморщился Маурицио.

Эрминия вышла, и тотчас же из приоткрытой двери в лавку донесся ее мелодичный голос:

— Здравствуйте, синьора Факетти. Мы получили мессинские апельсины.

— Пожалуйста, три килограмма.

Маурицио разлил граппу, порылся в бумажнике, достал фотографию и протянул ее Баронтини:

— Синьор, если у «Патрии» будет стоянка в Альмерии, разыщите там стариков Амансио, привезите мальчишку.

Маурицио не заметил, как вошла Эрминия. Она слышала последние слова Маурицио и с нежностью смотрела на него.

Новый звонок вызвал ее в лавку...

На звонок Этьена вышла полнотелая, веселоглазая, миловидная женщина. На щеках у нее нежный пушок, как на персиках, которыми она торгует; пухлые губы, казалось, подкрашены гранатовым соком; глаза походят на две большие иссиня-черные виноградины.

Лавочница приветливо улыбнулась и спросила с дежурной вежливостью:

— Чем могу служить почтенному синьору?

Он с удовольствием посмотрел на Эрминию и приветливо кивнул. Его появление — полная для нее неожиданность. И такое самообладание, такая естественность тона!

Дверь в заднюю комнату за прилавком приоткрыта, оттуда доносятся мужские голоса, табачный дым пробивается сквозь сгущенный аромат плодов. Позванивают стаканы, слышатся отголоски жаркого спора. Легко догадаться, что там угощаются на славу.

«Вот не повезло!..»

Только он собрался что-то сказать Эрминии под шум, доносящийся из-за загородки, как там все стихло. Теперь следовало выждать, когда там снова начнется галдеж. А пока он спросил:

— Самый хороший виноград?

— Рекомендую «слезы мадонны». Только вчера привезли. Более сочный виноград под небом Италии еще не родился.

Эрминия говорит сущую правду: овальные розовые виноградины налиты густым сладким соком. Но Этьен выжидает, когда можно будет начать деловой разговор, а потому капризничает:

— Кисти какие-то жидкие... А в том ящике?

— «Голова негра». Только полюбуйтесь! Каждая ягода — величиной с мелкую сливу.

Эрминия снова говорит правду: бронзовые и темно-фиолетовые ягоды на редкость крупны.

— А что у вас в крайнем ящике? «Золотая саманна»?

— Да, синьор, этот самый сорт...

«Этот самый сорт у нас в Средней Азии называют «дамские пальчики», — вспомнил Этьен, а вслух сказал:

— Смешайте все три сорта. Килограмма полтора.

Она взвесила кулек, получила деньги, лукаво улыбнулась, отсчитывая сдачу, и пригласила покупателя заходить.

— Благодарю, синьора. Я помню дорогу в вашу лавку. Как-нибудь загляну еще. — Он нагнулся к весам и, так как в задней комнате снова загалдели, осмелел и спросил шепотом: — Сегодня?

— Сегодня после четырех. Будет свежий товар.

Он поспешил ретироваться, пока его не увидел никто из сидевших за перегородкой.

23

Этьен свернул на приморский бульвар, прошел мимо маяка до причала Пароди, сел на скамейку под платаном и раскрыл книжку, а ненужный кулек с виноградом положил рядом на скамью.

Этьен знал, что Гитлер тайно посылает войска к Франко кружным путем, через Мюнхен, Геную, через порты Сеуту и Мелилью в испанском Марокко. Но как узнать подробности?

Даже невооруженным глазом видно, что в порту идет погрузка оружия и военных материалов. Все пути товарной станции забиты не только итальянскими, но и немецкими вагонами. Нетрудно догадаться, что грузы направляются в порты Франко, в обход решений Международного комитета по невмешательству.

Но что именно упрятано в эти громоздкие ящики, сколько солдат посылают в Испанию, много ли военных грузов идет из Германии транзитом через Геную — все это он узнает сегодня после обеденного перерыва.

Отчаянно важно переговорить сегодня без свидетелей с Эрминией и предупредить, что временно рвет с ней всякую связь. Он не имеет права подвергать ее опасности. Сегодня же нужно снабдить ее шифром и сообщить почтовый адрес в Турине, далекий от подозрений тайной полиции.

Анка будет получать ерундовские, болтливые бабьи письма и переправлять их дальше Ингрид.

Познакомился он с Эрминией полгода назад, на палубе парохода, которым возвращался из Барселоны. По произношению он тотчас узнал, что миловидная пассажирка второго класса родом из Генуи: у жителей Генуи произношение одновременно и певучее и гортанное. Как молодая генуэзка очутилась в Барселоне? Она тут же поправила Кертнера: правда, ей удается молодо выглядеть, но разве она смеет называть себя молодой, если

уже больше года, как овдовела? Оиа ждала, что иитересиый пассажир, чериоволосый и широкоплечий, с серо-зелеиыми глазами, стаиет горячо возражать и наговорит ей комплимеитов. Ои промолчал, а оиа позабыла, как только что кокетиичала, и с искрениими слезами иа глазах иачала рассказывать о своей жизии.

Вышла замуж за шахтера Хосе Амаисио, ои тогда работал докером у них в Геиуе, потому что ие мог иайти работу у себя в Испаиии. После забастовки докеров, которая окончилась поражеиием, Хосе вериулся в Астурию и с трудом устроился иа шахте. Умелый забойщик, ои был доволеи, что работает иа откатке пустой породы. В октябре 1934 года фалаигисты утопили в крови восстание шахтеров. Овдовев, оиа переехала в Барселоиу и, как истая геиуэзка, иачала торговать. Открыла маленькую фруктовую лавочку, но дела шли все хуже и хуже, лавочку пришлось прикрыть. Мальчика своего оиа отправила к родителям мужа, в Альмерию, сама с трудом собрала деньги иа билет второго класса и возвращается в Геиую. Может, кто-иибудь из родиых поможет ей стать иа ноги.

Этьеи доверился первому впечатлеиию о спутиице. Ои опирался и иа свою интуицию, и иа ее рассудительиость и ответил доверием иа откровеииость молодой вдовы шахтера Хосе, расстреляииого фашистами. Ои сказал, что сам пострадал от фашистов и уже ие первый год борется с иими. Ои искреиие сочувствует своей иовой знакомой. Ои обещает помочь ей в обзаведеиии иа иовом месте, если оиа займется в Геиуе торговлей фруктами. В их общих интересах открыть иебольшую фруктовую лавку где-иибудь в райоие порта.

Коиечио, лавка, где так аппетитио смешивались ароматы плодов из итальянских, испаиских провииций и с африкаиского побережья, ие зарегистрирована в Торговой палате Милаиа как филиал фирмы «Эврика». Что общего у междуиародиого бюро патеитов и изобретеиий, где царит скупая мудрость техиических расчетов, с этим благоухающим закутком? Тем не меиее фруктовая лавка Эрмиини имеет к «Эврике» и к ее совладельцу Кертиеру самое иепосредствеииое отиошеиие.

И после всего пережитого молодая вдовушка не потеряла вкуса к жизни, она любила посмеяться, повеселиться. Скоро у нее в Генуе появился сожитель весьма привлекательной внешности. Появление сожителя было для Этьена неожиданностью и нельзя сказать — приятной. Может ли он теперь доверять Эрминии, как прежде?

Эрминия познакомилась с Маурицио, когда он еще ходил в военной форме, только что уволился из армии, где служил пехотным лейтенантом. Маурицио вернулся из армии недовольный и не собирался скрывать недовольства. Он был напичкан идеями мелкобуржуазного анархизма, хотя горячо уверял Эрминию, что является убежденным последователем Грамши, Террачини и Тольятти.

Несмотря на три ранения, его наградили скупее, чем других, и отпустили из армии, так и не присвоив чина капитана, который он, если ему верить, давным-давно заслужил. А все потому, что Маурицио отказывался хвалить фашистов, чаще ругал их.

Маурицио работал в генуэзском порту стивидором, то есть ответственным за укладку грузов. Он распоряжался на причале, зычным командирским голосом подавал команды крановщикам и всем, кто попал под его начало. Он единолично решал, какой груз, в какой трюм и в какой очередности загружать. О, это большое искусство! Стивидор должен учитывать и тоннаж, и тару, и габариты, и характер груза. Он не смеет забывать об остойчивости судна. А если не весь груз следует в конечный порт, будет партиями разгружаться по пути следования? И это должен предусмотреть стивидор, он отвечает за то, чтобы центр тяжести судна опасно не сместился. Он обязан предвидеть, как грузы будут вести себя при самом сильном шторме, при боковой и килевой качке. Стивидор — единственный человек, который, помимо капитана и его первого помощника, досконально знает содержимое трюмов, знает, какой именно груз, укрытый непромокаемым брезентом и привязанный, находится на палубе.

Маурицио хотел повенчаться с Эрминией, но она не спешила отправиться с ним под ручку в церковь. Сму-

щало, что Маурицио моложе на четыре года, и она чистосердечно призналась Кертнеру:

— Я предупредила Маурицио, что слишком стара для него, а сама подумала при этом: это ты для меня слишком молод. Каково мнение синьора Кертнера? Я старше на четыре года, но на каких длинных четыре года!

— А может, он моложе вас на четыре очень коротких года? — спросил Этьен, и Эрминия охотно рассмеялась; у нее был удивительно звонкий, совсем девичий смех.

Маурицио был недоволен тем, что Эрминия оставила мальчика у стариков. Она оправдывалась: кто же знал, что кровавый карлик Франко подымет мятеж и что мальчонка останется у него в заложниках? Маурицио поставил фотографию Гарсиа на полочку у зеркала, перед которым брился, причесывался. Маурицио твердо решил, что поедет за мальчиком в Альмерию. К тому же у него бесплатный билет туда и обратно на любой пароход, совершающий навигацию в порты Испании. Гарсиа пора учиться итальянскому, даже азбуки не нюхал, как же он поступит в генуэзскую школу?! Этьен знал со слов Эрминии, что Маурицио в мыслях и чувствах сильно привязан к Гарсиа, она бесконечно благодарна Маурицио и готова простить ему за это и некоторое легкомыслие, и компанию портовых дружков, сидящих под винными парами, и бахвальство.

Эрминия уже показала себя преданной и предприимчивой помощницей, ненависть к фашистам переполняла все ее жизнелюбивое существо. Однако весной и в начале лета хозяйка маленькой лавочки была еще одинокой вдовой и не спала так близко от уха красивого и словоохотливого мужчины.

При первом знакомстве Маурицио не понравился Этьену. Больше всего он боялся, что бывший лейтенант станет болтать лишнее собутыльникам. Но Эрминия божилась и клялась, что ему особенно и болтать-то не о чем. Конечно же он может что-нибудь насочинить, расхвастаться, не случайно он любит читать книжки, где полно вранья. Послушать Маурицио, когда он размахи-

вает своими ручищами и фантазирует, — так он вот-вот слетает на Луну, а потом поселится на Северном полюсе с Нобиле и с белыми медведями. Но что касается дела...

О содержании трюмов и о грузах на палубе, тщательно укрытых брезентом, он говорит только ей, Эрминии, и не знает, кому она передает все эти сведения.

— Пусть меня Иисус с пресвятой матерью лишат благословения, если я расскажу ему, кто вы и откуда.

— Ну, а если, не дай бог, его схватят черные рубашки?

Эрминия поспешно показала Кертнеру два пальца, согнутые как рога, что равноценно заклинанию «типун тебе на язык».

— Лучше бы этого не случилось, — глубоко вздохнула она. — Характер у моего жениха, скажу откровенно, мягче, чем каррарский мрамор. В крайнем случае пострадаю сама. А у меня характера хватит на обоих...

В порту по-прежнему деловая сутолока и толчея. А Этьен смотрел на ближний причал, на товарную станцию, на другие пристани:

«В сущности говоря, здесь проходит сейчас линия фронта, хотя не слыхать ни перестрелки, ни канонады. Сижу на самом что ни на есть переднем крае. А лавка Эрминии — не что иное, как хорошо замаскированный наблюдательный пункт», — подумал Этьен и тут же снова углубился в записки летчика-испытателя, которые не выпускал из рук.

Он так увлекся книгой, что потерял точное представление о времени. Но нельзя сидеть здесь весь день с книгой в руках и с кульком винограда, не привлекая к себе ничьего внимания! Он слишком хорошо одет для того, чтобы так долго торчать без дела возле причалов. Хорошо бы затеряться среди тех, кто околачивается в порту, но для этого нужно быть одетым в потертый костюм, носить на голове мятую кепку или берет, а не новую шляпу борсалино.

С набережной пора ретироваться, он уже поймал на себе несколько излишне любопытных взглядов. Этьен отдал кулек с виноградом маленьким голодранцам, которые бегали взапуски между платанами, и зашагал прочь.

21

Этьен решил поискать приют в дешевом отеле. Может, там нет слежки. Ои предусмотрительио иаиял таксомотор; ие потому, что отели далеко от порта — оии совсем рядом, — а для того, чтобы в случае надобиости сразу уехать.

Он изрядио поколесил по городу, прежде чем остановился у плохоиького отеля «Аурелио». Портье встретил его с приторной любезиостью, как это и полагается портье пустующей гостиницы, заиитересоваиной в хорошем постояльце.

Но смотрел портье иа Этьеиа не только предупредительио-вежливо, ио откровеиио изучающим взглядом. Такое выражеиие лица бывает, когда с трудом узиают старого знакомого.

Этьеи догадался — сличает его виешиость с уже виденной фотографией или перебирает в памяти загодя сообщеииые ему приметы.

— Сииьор хочет принять ваииу? Приготовят быстро. Вaииа рядом с вашим номером, в коридоре.

— Разве я так грязен, что мне иужно срочно выкупаться?

Портье смутился и тут же пригласил пообедать в ресторaичике при отеле. Но время-то еще ие обедеииое.

«Старается задержать меня в гостинице».

— А телефоиы в номерах есть? — спросил Этьеи, увереиный, что в захудалом «Аурелио» телефоиов нету.

— Только здесь, внизу...

Этьеи сокрушеиио развел руками:

— Выиужден отказаться от ваших услуг. Мне иужно звоиить иочью в несколько городов...

Он вышел из «Аурелио» и сел в таксомотор, который его поджидал.

Портье выбежал следом, и Этьеи увидел в зеркальце — тот стоит иа тротуаре, всматривается в иомер автомобиля и шевелит губами, отпечатывая иа иих цифры.

Этьеи отпустил автомобиль на другом коице города, где-то у подножья горы Саи-Мартиио, и просидел часа

полтора в пустынном сквере все с той же книжкой в руках, прежде чем решился пойти назад, в сторону порта.

Траттории напоминали о себе дразнящими аппетитными, сытными запахами. В обеденный час запахи еды всегда сопровождают прохожих в южном городе. Этьен отказался от несвоевременного обеда, которым его пытался накормить портье в «Аурелио», но теперь изрядно проголодался.

Он прошагал по знакомой галерее и снова увидел старичков букинистов. Они сидели у своего лотка с книгами и аппетитно обедали: спагетти, сыр, лук финоккио, бутылочка кьянти. Чувствовалось, живут старички душа в душу — в каждом жесте сквозила взаимная предупредительность. Можно, оказывается, ухаживать друг за другом и в старости и за самой скромной трапезой — уступали друг другу последний глоток вина, кусок сыра. Или старички показались Этьену симпатичными потому, что снабдили его такой желанной книгой?

В скромной портовой траттории обедали докеры, матросы, лодочники, носильщики, крановщики, ломовые извозчики, припортовый люд, сновавший в поисках работы.

Он уселся в дальнем углу у окна и поглядывал на улицу.

Прошла мимо компания грузчиков, видимо, они тоже спешили в тратторию. Все одеты в робы из мешковины, но не одежда делала их похожими друг на друга — было что-то неуловимо схожее в их походке. Они шли сутулясь и в то же время наклонившись вперед, как бы противостоя невидимой тяжести, оттягивающей назад их могучие плечи и жилистые шеи. Походка людей, чьи спины так часто сгибаются под тяжелой кладью. По-русски — грузчик, по-грузински — муша, по-итальянски — факкино, по-тюркски — амбал, по-немецки — аусладер, по-китайски — кули. И в каком бы порту они ни трудились, — пусть одни из них едят на обед спагетти, другие — луковый суп, третьи — щи да кашу, четвертые — харчо, пятые — рис, — их прежде всего роднит специфическая походка. Кто подсчитает, сколько ящиков, меш-

ков, тюков, кулей, бочек, корзин перетаскал каждый из шагающих мимо портовых грузчиков за жизнь на своем горбу? Ни один океанский пароход не увезет такой груз.

Этьен помнит портовых грузчиков с юных лет, в самые первые дни советской власти в Баку. Девятнадцатилетний Маневич стал тогда бойцом Первого интернационального полка и воевал в отряде Мешади Азизбекова. К ним в отряд пришел молодой амбал в рубище. Он работал на нефтяной пристани, и отрепья его были насквозь пропитаны керосином, мазутом и маслом. А его рубаха из мешковины, грязная до потери естественного цвета, была настолько пропитана пóтом, что на спине мельчайшими крупинками выступала соль. Когда молодому амбалу выдали красноармейское обмундирование, его отрепья торжественно сожгли, и они горели, как факел...

Не потому ли Этьен вспомнил того молодого амбала, что увидел крупинки соли на рубахах грузчиков, сидевших за соседним столиком?

Этьен заказал себе рыбный суп. Он прилежно вылавливал ложкой всякую морскую мелюзгу, начиная с креветок, мидий и кончая кальмаром, нарезанным кружочками. Рыбный суп жидковат, где ему сравниться с знаменитой ухой «буйабесс», которую Этьен едал в лучших ресторанах Марселя. Кажется, «буйабесс» приготовляют из девятнадцати сортов рыбы, а полагается запивать уху розовым вином.

Трехчасовой дневной перерыв в магазинах подошел к концу, когда Этьен вновь добрался до той улицы, где держала лавку Эрминия.

Огляделся, перешел на теневую сторону. Дверь распахнута настежь.

— Ну, как поживаете, Эрминия?

— Как горох при дороге.

Она ничем не выдала своего удивления и вела себя так, словно они условились с синьором Кертиером о свидании, словно они расстались вчера, хотя на самом деле виделись в последний раз месяца полтора назад, перед тем как синьор отправился в Испанию.

Эрминия сделала Кертнеру комплимент — синьор прекрасно выглядит, исчезли все его морщины и седины. В самом деле, плаванье на «Патрии» и жизнь под испанским небом пошли на пользу: он прокоптился не по сезону до черноты, волосы же слегка порыжели, густые брови и вовсе выцвели, а глаза, казалось, поголубели.

Ни покупателей, ни гостей. Только что закончился дневной перерыв, и не торопясь могли они поговорить наедине обо всем, что их интересовало.

Не теряя времени, Эрминия достала из-под корзины с виноградом сверток с бумагами, завернутый в листья папоротника. Если судить по тому, как Эрминия бросила на прилавок сверток, тот был не ценнее куска обоев.

— Синьор Мессершмитт «потерял», — сказала чуть слышно Эрминия и показала подбородком на сверток, — эти чертежи. А Блудный Сын, — она подмигнула, — «нашел». В каюте капитана...

Этьен молча кивнул.

Эрминия отодвинула ящик с инжиром, нашла какието листки и протянула их Кертнеру. Листки были сплошь исписаны цифрами.

Он бегло взглянул на листки и торопливо сунул их в карман.

— А я все считаю, синьор Кертнер, сбиваюсь со счета, снова считаю, пересчитываю. У меня в лавке бухгалтерия намного проще. Знать бы только, что от моей портовой арифметики будет толк...

— А вы знаете, как добывается один грамм розового масла? Мне рассказывал французский парфюмер из Драгиньяна: чтобы получить этот грамм, нужен букет из двух тысяч роз.

— Вот это букет! Не пожалела бы на гроб каудильо!

Этьен усмехнулся и отрицательно покачал головой: несущественно, как именно будет украшен гроб Франко. Важнее нанести ему поражение и устроить пышные политические похороны, а для этого каждому предстоит еще сделать очень много.

Он начал инструктировать Эрминию. Сейчас выяснится, в каких она взаимоотношениях с арифметикой. Шифр-то двойной, к одному хитрому секрету добавляет-

ся второй, а ключом служат шесть букв, составляющих слово «Франко».

Нет, Эрминию не смутили ни четыре действия арифметики, ни шесть букв-отмычек.

Время от времени ее ненадолго отвлекали покупатели, а часа через полтора в лавку с шумным оживлением ввалился Маурицио.

Мужчины вежливо и даже чуть-чуть церемонно поздоровались. Ну и ручища у Маурицио! Удержит три бильярдных шара. Не хотел, ох как не хотел Этьен сегодня этой встречи! Но он умело скрыл досаду, какую вызвал несвоевременный приход Маурицио. Впрочем, скрыть досаду не стоило большого труда — все, о чем нужно было переговорить с Эрминией, уже переговорено. Маурицио мог ведь ворваться и раньше! Но раз уж это произошло, было бы глупо, бестактно не ответить приветливой улыбкой и любезностью на его любезность.

Маурицио был весь — душа нараспашку и, как показалось Этьену, искренне обрадован встречей. Разве можно отпустить такого гостя без того, чтобы не посидеть с ним в задней комнатке за бутылкой?

Кем был Кертиер для Маурицио? Дельцом с приятной внешностью, не слишком разборчивым в своих коммерческих занятиях, знакомым Эрминии еще по Барселоне. Когда-то богатый синьор дал взаймы деньги на покупку этой лавки, причем, по словам Эрминии, на весьма божеских процентах.

Маурицио недавно с работы, раньше срока закончили погрузку парохода «Патрия». Докерам, крановщикам и самому стивидору досталась солидная премия, ради такой премии стоило попотеть. Крановщикам сегодня пришлось особенно тяжело: огромные деревянные ящики не пролезали в трюмные люки, и их устанавливали на палубе.

Эрминия звонко рассмеялась — нашел чем бахвалиться! Сократили стоянку судна, которое везет фашистам вооружение!

— Машины для сельского хозяйства, — рассмеялся Маурицио и взял стакан, который показался хрупким в его руке.

Он долго и широко рубил воздух ребром ладони, чтобы собеседники могли представить себе объем ящиков. Даже если мерить итальянской меркой, Маурицио жестикулировал много и размашисто. Уж не профессиональное ли это у него? Стивидор весь день обменивается жестами с крановщиками, как глухонемой. Может, от этих постоянных движений и руки у него стали такие большие?

В судовом журнале записано, что «Патриа» везет сложные молотилки, косилки, лобогрейки, сеялки и всякую такую сельскохозяйственную всячину.

«Может, на этой самой «Патрии» уйдет в очередной рейс Паскуале?» — неожиданно подумал Этьен.

Для него не было секретом, что молотилки и комбайны в громоздких ящиках, не влезающих в трюмы, изготовлены на заводах «Мессершмитт», «Капрони», «Изотта-Фраскини». Сложные молотилки умеют летать со скоростью до четырехсот километров в час, сложнее некуда...

Эрминия ни на глоток не отставала от мужчин. С возлюбленным она разговаривала тоном полного послушания и покорности, нежно называла его своим муженьком, но ей всегда удавалось при этом, без властных интонаций, щадя его самолюбие, настоять на своем. Нежный тон, не допускающий, однако, никаких возражений, быстро усмирял строптивого Маурицио. Только, например, Маурицио пытался по какому-нибудь поводу прихвастнуть, как следовал выразительный взгляд Эрминии, и тот умолкал на полуслове.

Маурицио снова пригубил стакан и рассказал о новой траттории, она открылась недавно против причала Эфиопия. Траттория захудалая — полутемная, без вентиляции. Но сколько в ней толчется народу! Все хотят поддержать одноглазого хозяина, выразить с ним солидарность. Прежде хозяин содержал тратторию в центре города, возле пьяцца Верди. Посетители часто слушали там радиопередачи из Парижа — французский диктор правдиво рассказывает о войне в Испании, о порядках в Германии и в самой Италии. Чернорубашечники расквитались с хозяином и подожгли его тратторию. По-

жарным разрешили приехать, когда зал уже выгорел внутри.

Сгорели и стулья, и столики, и посуда, и буфет, и прилавок, и тот самый радиоприемник, который накликал на хозяина беду.

Многие из тех, кто не кричит, что «дуче всегда прав», дают одноглазому трактирщику взаймы на обзаведение, очень честный человек, деньги у него — как в «Банко ди Наполи».

Дать деньги такому человеку — святое дело...

Информация предназначалась для красивых ушей Эрминии, но она сделала вид, что не услышала в словах Маурицио никакой просьбы, и тот поскучнел лицом.

— Ты что такой кислый? Римских мандаринов наелся, что ли? — спросила она притворно заботливым тоном: римские мандарины кислые, им не хватает тепла, чтобы созреть по-настоящему.

— По-своему она права, синьор Кертиер, — спустя минуту Маурицио вновь влюбленно смотрел на Эрминию. — Не умела бы так хорошо считать лиры, разве ей удалось бы сколотить капитал на эту лавку?

Он обвел широким жестом благоухающий, сочный, вкусный товар, отхлебнул еще граппы, а сделал это с таким видом, будто Эрминия попросила его срочно освободить посуду.

Но едва Маурицио отнял стакан ото рта, как вновь наполнил; стакана в его пятерне и не видно.

Как ни бедна траттория у причала Эфиопия, одноглазый хозяин повесил на стене гитару и мандолину к услугам того, кто захочет поиграть и спеть: так было заведено еще на пьяцца Верди.

И Маурицио вдруг затянул во весь голос любимую песню «Голубка то сядет, то взлетит». Эрминия догадалась, что эту песню он исполнял уже сегодня в траттории.

Вот не думал Этьен, что с таким удовольствием проведет время с Маурицио и Эрминией! Или хорошее настроение объясняется тем, что он чувствует себя тут в безопасности?

Полному спокойствию мешала лишь мысль, что оно вот-вот кончится, что ему нужно отсюда уйти и вновь искать приюта.

Конечно, доверяй он Маурицио так же, как Эрминии, — взял бы да попросил у них убежища, пусть его до утра запрут в лавке заодно с фруктами. Но признаться Маурицио, что он от кого-то прячется, что его кто-то преследует, значит саморазоблачиться, испортить репутацию синьору Кертнеру, лишить его «легенды»...

Минут за двадцать до закрытия лавки Эрминия и Маурицио принялись втаскивать с тротуара выставленные туда корзины, ящики и плетеные лукошки.

Дольше оставаться неприлично, невозможно. Этьен с деланной бодростью поднялся, взял на прилавке свой сверток и книжку «Летчик-испытатель».

Мелодичная «Голубка то сядет, то взлетит» проводила Этьена до дверей.

25

Он вышел из фруктовой лавки, памятуя, что должен быть сейчас очень осторожен, намного осторожнее, нежели утром, — право же, у Этьена были для того основания.

Обжигал руки сверток, взятый у Эрминии, и жгла карман нотариальная доверенность, дающая Анне Скарбек право распоряжаться всеми его деньгами в швейцарском банке — и теми, которые лежат на текущем счету, и теми, которые могут быть переведены из Италии.

На вокзале появляться сейчас более чем рискованно.

На пристанях, от которых отходят пароходы, тоже лучше не показываться.

Переночевать бы в укромном местечке, утром уехать автобусом в пригород, нырнуть там в рабочий поезд, а через одну-две станции пересесть на поезд Генуя — Турин. Он обязательно должен возвратиться в Милан не прямым поездом, а через Турин.

Он сидел на берегу Лигурийского моря, а вспоминал Каспий, где о грязные камни бьется мутная, в нефтяных

пятнах, почти черная вода. Столько лет уже прошло, столько тысяч километров отделяет Баку от Генуи, но так же пахнет подгнивающими сваями, так же несет смолой от баркасов, сохнущих на сухопутье, обратившмх к солнцу свои черные днища. Правда, в бакинском порту все заглушал запах нефти, и на воде, где стояли под погрузкой наливные суда, отсвечивали огромные пятна нефти, они были как перламутровые помои. Но точно так же, как некогда в Баку, в здешнем порту околачивается портовый люд, который предлагает свои мозолистые руки и не умеет ничего, кроме как переносить, подымать и опускать тяжести.

Стоило отвернуться от пристани, от портовой набережной и обратить взгляд на город, как сходство между Баку и Генуей сразу улетучивалось. В Баку их казарма находилась в Черном городе, там при малейшем ветре подымаются пыльные бури, пропахшие нефтью, а сама пыль смешана с копотью, и потому листва редких худосочных деревьев черная. А Генуя лежит на ярко-зеленых холмах, дома весело раскрашены, и издали может показаться, что город сплошь населен беззаботными курортниками.

День выдался не по-ноябрьски теплый. Солнце успело прогреть камни города. Ни дуновения ветерка, — если не смотреть на море, то и не догадаешься, что стоишь на берегу. Вода в гавани как голубое зеркало. Застыли, как неживые, веерные пальмы на бульваре. Брезентовые тенты над витринами магазинов не шелохнутся. Недвижимы цветастые полотняные зонтики над столиками уличного кафе. Воздух не в силах покачивать синие очки у дверей «Оптики», шевелить золотой крендель у кондитерской.

Он шел неторопливым шагом человека, который не знает, когда ему удастся отдохнуть и где именно.

В торговой галерее, куда вновь привела его дорога, закрывались магазины. Без нескольких минут семь. Приказчики, лавочники вооружились длинными шестами с крючком на конце. Снимали, уносили товары, выставленные снаружи. Вышел толстяк с лицом цвета ветчины и снял связку бутылок с оливковым маслом, висевшую над

дверью в бакалейную лавку, снял головки сыра и еще что-то.

Железным грохотом провожала и оглушала Этьена торговая Генуя, заработавшая себе ночной покой. Цепляли наверху баграми железные гофрированные шторы, и они громоподобно низвергались, закрывая стеклянные витрины. Иные шторы опускались до самого тротуара, а легшие на землю замки принимались стеречь опустевшие притихшие магазины. В других местах железные шторы были приспущены не до самого низа, в щели еще пробивался яркий свет, но увидеть Этьен мог только ноги лавочников.

Старички букинисты складывали в пакеты и перевязывали бечевками свою обтрепанную, зачитанную, кочевую библиотечку. Рядом стояла тележка, на которую они грузили книги. Каждый вечер старички увозили библиотечку на ночлег, чтобы утром впрячься в тяжелую тележку снова, снова распаковывать и раскладывать еще более постаревшие книги. И так каждый день, каждый день, кто знает, сколько лет подряд...

Узенькая улочка св. Луки пересекает старый город, она тянется параллельно набережной. Высоко над головами прохожих сохнет разноцветное белье. Улочка сдавлена высокими домами, и каменные плиты, которыми она выстлана, не видят солнечных лучей.

Улочка вымощена так, что желобки для стока воды тянутся вдоль стен, а мостовая посередке, она же тротуар, чуть почище и посуше. Но нет такого ливня, который мог бы дочиста промыть улицу и унести все нечистоты, все помои, всю вонь, всю грязь, все миазмы.

К стойкому запаху гнили и тухлятины примешаны запахи прокисшего вина, немытого тела и дешевых духов. Где и когда Этьен еще бродил по такой убогой и нечистоплотной улочке? Пожалуй, только в Неаполе. А где такие улочки содержатся в музейном порядке? Пожалуй, в старой Вене, в Кракове. А где и когда он разгуливал по еще более узкой улочке? В Германии, в старом, уютном Бонне. Там улочка так и называется Мышиная тропка. В Праге, на Градчанах, выжила со времен средневековья франтоватая Злата уличка. Однако современные алхи-

мики живут вовсе не в домиках, сошедших со старинной гравюры или декорации, а под охраной часовых, за семью замками... Даже в Париже сохранился узкий-узкий переулок Кота-Рыболова. Там в угловом доме приютилась самая маленькая парижская гостиница, она выходит на набережную Сены. В гостиничке всего две комнаты. Этьен слышал, что комнаты очень дорогие: богачи заказывают их за много месяцев вперед. У аристократов и миллионеров считается модным останавливаться в гостинице в переулке Кота-Рыболова.

«Я сегодня за модой не гонюсь. Хоть какую-нибудь комнатенку! Но даже в самую захудалую гостиницу, вроде «Аурелио», дверь закрыта. Найти бы какие-нибудь меблированные комнаты, что ли? Но в подобном заведении нельзя переночевать одному и при этом не вызвать подозрения...»

Горланят продавцы контрабандных сигарет, сигар, табака. Из-под полы продают часы, бритвы и бритвенные лезвия «жиллет», продают все, вплоть до коллекций порнографических открыток.

Где-то играет шарманка, в дверях винного погребка и на подоконнике второго этажа наперегонки шипят-хрипят граммофоны, а сквозь шипение-хрип откуда-то из-за гирлянд сохнущего белья, чуть ли не с неба, доносятся звуки печальной мандолины. Колокол старинной церкви, грубо зажатой домами, почти сплошь публичными, зовет на вечернюю молитву.

Он совсем забыл про репутацию улочки св. Луки. Подошел час, когда на промысел выходят проститутки. Они стоят на углах улицы, у подъездов домов и бросают зовущие взгляды. Как обычно в портовых городах, они окликают мужчин интернациональным «алло». Не разберешь, кто тут синьор, мистер, месье, герр, пан, господин, да это вовсе и не важно.

Стайкой прогуливаются французские военные моряки в синих беретах с красными помпонами. Проходя мимо проститутки, сухопарый матрос сказал ей что-то оскорбительное. Он ждал ответа, предвкушая возможность посмеяться самому и посмешить всю компанию. Но проститутка не удостоила его ответом и лишь громко рыгнула

в лицо. Сухопарый отпрянул, он так растерялся, что ушел молча, провожаемый насмешками дружков и проституток, ругавших французских матросов и французскую болезнь.

Этьен знал понаслышке, что в Генуе на улице св. Луки живет приятельница Блудного Сына. Еще молоденькой девушкой, когда Муссолини праздновал десятилетие похода на Рим, она угодила в тюрьму за распространение прокламаций. В женской тюрьме ей обманным путем удалось получить желтый билет проститутки, и она попала в группу женщин, которых высылали под присмотр полиции в местности, откуда проститутки были родом. Она не погнушалась путешествием в такой компании, не испугалась желтой репутации.

После начала испанской войны она приехала в Геную и поселилась на улице св. Луки. Она одевалась и красилась с вульгарностью, присущей тем, кто зарабатывает на своей миловидности. У нее не раз скрывались дезертиры из дивизий, которые Муссолини направил к Франко; они прятались, пока их не снабжали подложными паспортами.

Жаль, Этьен не знает адреса, не может укрыться у нее этой ночью. . .

Однако, как ни многолюдно и толкотно на улице св. Луки и как ни мало опасение, что его станут здесь разыскивать, Этьен уже начал обращать на себя внимание костюмом с иголочки, шляпой, габардиновым плащом на руке, внешностью. Он разумно не показывался в центре города, а тем более на пристанях, откуда пароходы отчаливают. Но одежда у него совсем не подходящая для улицы св. Луки. Сколько можно фланировать, вызывая недоумение проституток, сутенеров, уличных продавцов, зевак, может быть и карабинеров, которые тоже фланируют по улице из конца в конец? Никто так не настораживает праздношатающегося, как другой, незнакомый уличный гуляка.

Сколько он уже снует в толпе? Посмотрел вверх — узкая полоска неба между домами потемнела. Сохнущее белье сделалось серым, почти черным, а лампы, светящиеся в окнах, становились все ярче.

26

Ему пришла в голову иеплохая мысль: отправиться в справочиое бюро порта и узнать, какие пароходы ожидаются сегодня ночью. Там висит грифельная доска, похожая на школьную, и мелом пишут — когда, какой пароход, откуда прибывает. Прикинуться встречающим легче легкого. А в минуту, когда пароход пришвартуется и первые пассажиры сойдут с трапа — стать оборотием, выдать себя за пассажира, который только что приплыл.

«Усики» понимают, что Кертиеру опасио оставаться в Генуе, когда все гостиницы перестали для иего существовать. Значит, Кертнер обязательно попытается поскорее уехать. Скрыться за границу ои не может, тайиая полиция знает, что визы ои ие получал. Значит, «усики» взяли под иаблюдение вокзалы, дальние поезда, а также пристаии, откуда отплывают пароходы в другие порты Италии.

Но его не станут искать на пристаиях, когда пароходы встречают. В этом Этьен был твердо убежден...

Он позвонил в гостиницу, где оставил вещи, из телефоиа-автомата иа набережной, сообщил, что говорит с вокзала, неожиданно уезжает, просит выслать в его контору чемодан, а также счет для оплаты иомера и других расходов... На все утреиние покупки в «Ринашенте» иаплевать, ио брошенный в номере новехонький чемодаи с вещами вызвал бы кривотолки в гостиице, дал пищу для подозрений...

Пароход из Марселя «Жаниа д'Арк» опаздывал на полтора часа.

Из осторожности Этьен обошел стороиой зал ожидания, зашел в таможню, в пустующую, ио хорошо освещениую комиату для осмотра багажа, уселся на скамью и раскрыл записки Коллииза.

«Спасибо старичкам букииистам, желаю им отпраздновать золотую свадьбу, припасли для меня такую книжку!»

Все-все бескоиечно интересно — каждый испытательный полет Коллииза, все, что относится к поведению и самочувствию летчика при исполнеиии фигур высшего

пилотажа. Этьен настороженно вчитывался в строчки, где упоминался Чарлз Линдберг. Тот был когда-то кумиром Этьена, а сейчас Этьен относился к нему с брезгливым недоумением. Как же такой выдающийся человек мог стать фашистом? Или человек он заурядный, а только летчик выдающийся? Загадка, которую Этьен тщился разгадать...

На грифельной доске появилась поправка: «Жанна д'Арк» опаздывает дополнительно на сорок минут. Ну и пусть, Этьен даже рад провести еще сорок минут в обществе летчиков-испытателей.

Особенно сильное впечатление произвело на него завещание Джимми Коллинза. Тот отправился в Буффало испытывать для военно-воздушного флота бомбардировщик Кертиса. А перед отъездом Коллинз пообедал со своим старым другом Арчером Уинстеном, который вел в газете «Пост» колонку «Новости дня». Уинстен просил Коллинза рассказать об испытаниях в Буффало после возвращения оттуда. Коллинз заявил, что эти испытания — последние, он согласился только ради того, чтобы обеспечить семью. А после полетов в Буффало Коллинз намеревается всецело посвятить себя литературной деятельности. Уже после обеда с Арчером Уинстеном он написал сестре:

> «Мне пришло в голову, что я могу и не вернуться, работа ведь опасная, — и тогда бедный Арчи останется без заметки... На всякий случай я, шутки ради, написал заметку о том, как я разбился. Предусмотрительно с моей стороны, не так ли?.. Я никогда еще не разбивался. И напрасно, потому что Арчи отлично бы на этом заработал...»

В конце книжки Этьен прочитал эту заметку-завещание, которая называется «Я мертв». Джимми Коллинз описал гибель летчика-испытателя с подробностями, трагически похожими на те, при которых вскоре сам погиб...

Помимо знакомых и близких, прибытия «Жанны д'Арк» ждала суетливая толпа агентов из городских

отелей, а также из окрестных курортных местечек, где полным-полно пансионов и санаториев.

Агенты, комиссионеры соревновались между собой в яркости формы, в количестве галунов и золотых пуговиц, в величине козырьков у цветных фуражек с названиями отелей, санаториев на околышах. Ничего не поделаешь, Ее Величество Конкуренция! Агент того отеля, в котором Этьен бросил утром свой чемодан, был даже с аксельбантами, лампасами и очень походил то ли на брандмайора, то ли на генерала игрушечной армии.

Этьен смешался с толпой вновь прибывших пассажиров, только что сошедших с палубы «Жанны д'Арк». Жаль, ему пришлось расстаться утром с чемоданом желтой кожи. Не очень-то солидно выглядит пассажир с бумажным свертком в руке.

Он выбрал дорогой пансион в предместье Генуи, близ железнодорожной станции на ветке Генуя — Турин, это вторая или третья остановка от города.

Ему еще раз удалось сбить со следа ищейку с усиками, взятыми напрокат у Гитлера, и в шляпе, надвинутой на самые глаза.

«А еще подался, олух, в сыскные агенты! Как же этот шустрый дурачок, который так ловко прыгает на ходу в поезд, не понимает, что его короткие, почти квадратные усики бросаются в глаза, потому что сразу приходит на память физиономия Гитлера?! А сыскному агенту необходимо бывает затеряться в толпе еще более умело, чем тому, кого сыщик разыскивает. Вот для этого и нужно отказываться от всех крикливых примет... — рассуждал Этьен, глядя в черное окно и ничего не видя там, кроме отражения нутра самого автобуса. А когда они проезжали мимо фонарей или освещенных витрин, в окне смешивались отражение автобуса и мимолетный пейзаж ночного пригорода. — Я, кажется, перебрал в строгости. Раздражение против «усиков» мешает мне рассуждать объективно. Олух, олух, а догадался искать меня — и нашел! — в самом дорогом отеле города. Если бы я туда сдуру не сунулся, а сразу подался в гостиничку третьего разряда, может, и не устроили бы на меня облаву, не объявили бы аларм во всех отелях, не разослали бы всем

портье в Генуе мою фотографию, не подстерегали бы всюду, в том числе и в «Аурелио»... Так что неизвестно, кто из нас двоих олух царя небесного...»

Спустя полчаса маленький юркий автобус подвез его к пансионату.

Достаточно было войти в вестибюль, чтобы убедиться: пансионат поставлен на солидную ногу. Этьен попросил комнату с ванной, а хозяин, слегка обидевшись, ответил, что в его пансионате вообще нет комнат без ванных.

Этьен предупредил хозяина, что багаж придет попозже, уплатил вперед за трое суток полного пансиона, попросил прислать ему пижаму и прошел к себе в комнату.

Вот когда он с удовольствием принял ванну, от которой отказался в «Аурелио», вот когда с наслаждением лег в постель! Можно утонуть в необъятной перине.

Он так измучился, будто его в самом деле мотало по штормовому морю много суток подряд, будто он и в самом деле только недавно ступил с шаткой палубы «Жанны д'Арк» на твердую землю. Он был уверен: едва коснется головой подушки, сразу заснет сном человека, принявшего тройную дозу снотворного.

Вот не думал, что к нему привяжется бессонница, да еще такая неотвязная!

Летчик-испытатель смог точно предугадать все обстоятельства своей гибели, мог, хотя бы после смерти, рассказать об опасностях своей профессии.

Этьен отлично знает, что перегрузку, действующую на самолет при выходе из пике, показывает акселерометр; перегрузка эта выражается в единицах тяжести. Коллинз шел на такие испытания, что его при выходе из пике прижимало к сиденью в девять раз сильнее нормального. Значит, цетробежная сила в девять раз превышала силу тяжести! И когда Коллинз брал ручку на себя, то громко кричал, напрягал мускулы живота и шеи, это помогало сохранять сознание.

У Этьена возникло ощущение, что ему тоже пришлось сегодня выходить из смертельного пике, что он тоже испытал многократную перегрузку, его тоже прижимало к сиденью с невероятной силой. У летчиков есть

акселерометр, они имеют возможность все точно подсчитать с помощью «g» — единицы силы тяжести. А какова единица измерений тех перегрузок, которые несет разведчик?

Да, Коллинзу удалось рассказать об опасностях своей профессии. Но это никак не разрешается военному разведчику, потому что все его находки, открытия, так же как ошибки, просчеты, оплошности, промахи, провалы, — все секреты работы должны умереть вместе с ним, секреты не должны его пережить — нет у него такого права и такой возможности...

«Я мертв!..»

И вот уже не на «Жанне д'Арк» приплыл Этьен сегодня на ночь глядя в этот пансионат, а только что прилетел из заокеанского Лонг-Айленда, потрясенный авиационной катастрофой. Он сам, сам, сам был ее очевидцем. Бомбардировщик Кертиса падал с десяти тысяч метров, а когда Этьен подбежал к обломкам, Джимми Коллинз был мертв, тело скрючено, исковеркано, изуродовано.

«А поскольку мое завещание — не для публикации, лучше с ним вообще не торопиться, — усмехнулся Этьен. — Для дела во всяком случае будет полезнее».

И сказал себе вполголоса:

— Я жив...

Он еще раз взглянул на ночной столик, где вместе с книжкой Джимми Коллинза лежал сверток, похожий на рулон обоев, дотянулся до ночника и потушил его. Последнее, что он увидел, — маникюр на своих ногтях.

27

Судя по осадке, погрузка «Патрии» была закончена. Вся палуба заставлена огромными ящиками.

Корабельный прожектор освещал трап, по которому поднимались итальянские солдаты. Может, пополнение для экспедиционного корпуса?

Тщедушный солдатик с трудом вырвался из объятий могучей синьоры и побежал к трапу, но синьора догнала его на полдороге — новая остановка по требованию.

— Скорей, скорей! — покрикивал капрал. — Осталось пять минут. — Он увидел солдатика в объятиях любвеобильной синьоры и крикнул: — Благородная синьора! Вы рискуете стать женой дезертира!

Солдатик воспользовался заминкой, ловко вывернулся из объятий и помчался к трапу, придерживая одной рукой заплечный мешок, а другой прижимая к груди карабин.

Отгрохотала лебедка, подняв последние звенья якорной цепи.

К трапу подошел запыхавшийся Паскуале. В руках у него портфель и чемодан. Он предъявил вахтенному документы. Рядом с вахтенным стоял молодой человек с усиками.

— Синьор Эспозито? — обратились к Паскуале «усики». — Прошу пройти со мной в таможню.

— Но «Патриа» сейчас отплывает, — заволновался Паскуале.

— Успеете.

— Только оставлю вещи в каюте.

— Они вам понадобятся в таможне. Если тяжело нести, я помогу.

Паскуале и «усики» пересекли железнодорожные пути, идущие вдоль причала, и товарный состав скрыл от них корпус «Патрии», видна была только труба и султан черного дыма над ней, а также палубные надстройки.

Прощальный гудок. Товарный состав остался позади, и Паскуале увидел — с кнехтов сбросили канаты, трап отделился от набережной и стал медленно подыматься вверх.

— «Патриа» уходит! — рванулся через рельсы Паскуале.

— Вам некуда торопиться, — сказал человек с усиками и быстро надел наручник на руку, которой Паскуале держал чемодан.

28

Время от времени Анка получала из Милана открытку с каким-нибудь видом города. Открытка не содержала ничего, кроме привета, нескольких слов по-польски,

заготовленных впрок самой Анкой и подписанных именем несуществующей Терезы.

В Милане много достопримечательностей, и туристам продают множество видовых открыток. При желании можно составить богатую коллекцию — Дуомо во всяческих ракурсах, церкви, часовни, монастырь, чью трапезную украшает картина Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», памятники, театр «Ла Скала», кладбищенские ворота, могила Верди, могила Бойто, здания многих банков, кафе Биффи, галерея Виктора-Эммануила.

Место очередного ожидания подсказывала сама видовая открытка. Свидание назначалось на третий день, не считая даты на почтовом штемпеле. Час встречи также был оговорен заранее — середина обеденного перерыва для банковских служащих, когда на улицах Милана очень оживленно, когда все озабоченно спешат в кафе, в траттории, остерии, пиццерии и назначают друг другу свидания.

Ко дню свидания с Тамарой приурочивала Анка все дела, в частности покупала в Милане всевозможные фотоматериалы для ателье. Совсем не такие утомительные поездки: от Турина до Милана полторы сотни километров, не больше.

В исключительных случаях они встречались не в Милане, а на узловой железнодорожной станции близ Турина, в два часа с минутами, перед отходом поезда на Милан.

Скользящие встречи были умело обставлены вешками секретности и безопасности. Мало кто мог сравниться со Скарбеком в конспирации.

Никто из помощников Этьена, кроме Тамары, жены Гри-Гри, не знал о существовании фотоателье «Момента» и уж во всяком случае не имел с ним никаких контактов. Предстоящее свидание Этьена с Анкой — вынужденное и небезопасное исключение из правила, и лишь чрезвычайные обстоятельства оправдывали это свидание.

Анка и не подозревала, что вместо Тамары увидит сегодня в необычной роли связного самого Этьена.

Не только сверток, вынесенный из фруктовой лавки, не только листки, испещренные цифрами, беспокоили

Этьена. Он все время помнил о доверенности, которую оформил в нотариальной конторе.

У Этьена в «Банко Санто Спирито» есть два текущих счета: обыкновенный счет в лирах и счет в иностранной валюте. На второй счет может быть зачислена только валюта, зарегистрированная в таможне при переезде через границу. Ввоз и вывоз валюты регламентировали еще до начала войны в Испании: предупредительная мера против прогрессирующего падения лиры. Официальный курс доллара составлял тогда 19—20 лир, а на «черной» бирже в Милане за доллар платили 25—30 лир.

Года полтора назад Этьен получил нелегальным путем через курьера крупную сумму в валюте, да еще в купюрах по одному фунту стерлингов. Вложить деньги на свой валютный счет в «Банко Санто Спирито» или в другой банк нельзя было — требовалась отметка о провозе валюты через итальянскую границу. Как поступить, чтобы валюта стала легальной? Приняв все меры предосторожности, Этьен передал тогда увесистый пакет Анке; она «случайно» оказалась рядом в кино. Анка выехала в Лугано, остановилась там в отеле «Бристоль», внесла валюту в Швейцарский кредитный банк и перевела ее в Италию, в миланское отделение «Банко Санто Спирито», на счет Кертнера. Если паспорт в порядке, то сама поездка ерундовская: от Милана до швейцарской границы ближе, чем от Москвы до Можайска.

Ну, а сейчас, когда Этьен убедился, что итальянская контрразведка ведет на него облаву и признаков опасности все больше, он предусмотрительно решил перевести всю валюту, до последнего пенса, сантима, цента, в Швейцарский кредитный банк и одновременно оформил нотариальную доверенность на имя Анки. Он как бы возвращал какой-то состоятельной госпоже, проживающей в Швейцарии, деньги, какие получил от нее взаймы полтора года назад; так это должно выглядеть. . .

В станционном буфете многолюдно, хотя время не сезонное, в дачных пригородах затишье.

Этьен уже доедал свою пиццу, перед ним стоял недопитый стакан вина, когда в буфете появилась Анка с

мальчиком. В ответ на ее вопрос: «Свободны ли места?» — Этьен безмолвно кивнул. Они втроем посидели за столиком, не заговаривая.

Подошел поезд в сторону Милана, буфет опустел, всех как ветром выдуло на платформу.

Перед тем как встать, Этьен бросил на стол бумагу, бросил небрежно, как старый ресторанный счет, который случайно завалялся у него в кармане.

А после этого торопливо, не оборачиваясь, вышел на платформу.

На четвертом стуле, задвинутом под столик, лежали сверток и фотоаппарат. Анка, оглядевшись, взяла сверток, а «лейку» надела мальчику на шею.

Затем Анка расторопно сунула к себе в сумку бумагу, скользнув по ней беглым взглядом.

По лицу ее прошла тень тревоги. Анка знала, что получит эту доверенность только в самом крайнем случае, если опасность для Этьена станет реальной.

Анка отлично понимала, что Этьен ни в коем случае не явился бы на свидание с нею, а тем более ничего бы не стал ей передавать, если бы за ним тянулся «хвост». Так что само по себе свидание в станционном буфете ее не очень встревожило. Но вот то, что Этьену пришлось взять на себя функции курьера и он явился сюда вместо Тамары...

Пожалуй, Анка права в своих мрачных прогнозах.

29

Этьен вышел из вагона, прогулялся по перрону миланского вокзала, подождал, пока схлынет поток пассажиров, и лишь после этого направился к выходу в город.

Медлительность его и осторожность были вовсе не лишними. На перроне околачивался синьор неопределенного возраста, без особых примет, в новеньком канотье. Этьен почувствовал на себе его пристальный, изучающий взгляд. Было что-то неуловимо знакомое в синьоре без особых примет; чутье подсказало Этьену, что за ним следят. Это весьма тревожно; Кертнера логично было бы

поджидать и ловить на генуэзском вокзале, а он вернулся через Турин и прибыл на другой вокзал.

Слежка вдвойне опасна, потому что Тамара, освобожденная от свидания в буфете на станции близ Турина, сама решила встретить этот поезд — на тот случай, если Кертнеру нужно будет передать ей какие-нибудь материалы, которые ему небезопасно носить при себе, а тем более держать в конторе или дома. Ведь Тамара не знала — увиделся он вместо нее с Анкой или нет. К тому же он передал бы только материалы, которые нуждаются в фотообработке, которым еще предстояло купаться в ванночках с проявителями-закрепителями, а иным еще и лечь под свет увеличителя. . .

«Однако где и когда уже мельтешило перед моими глазами это канотье? Да при чем здесь канотье?! Никакого канотье не было и в помине, — размышлял Этьен, шагая по площади. — Синьор без особых примет и в дождливую погоду ходил с непокрытой головой. Канотье у него новенькое. Плетеная соломка блестит, будто смазанная бриллиантином. Но вот серые брюки обтрепались. . .»

Тамара уже не раз встречала здесь Кертнера — ему лишь нужно пересечь привокзальную площадь, повернуть направо на виа Боккаччо и пойти по четной стороне улицы до часовни на перекрестке.

Он увидел Тамару за полквартала. Замедлил шаг, приостановился у витрины обувного магазинчика, затем неторопливо двинулся дальше, рассеянно посматривая на противоположную сторону улицы.

Сейчас им нужно притвориться незнакомыми! Он не хотел оборачиваться назад, но физически ощущал на своей спине взгляд синьора в новеньком канотье.

Этьен не смотрел на Тамару и все же каким-то боковым зрением успел увидеть, что ее голубой плащ застегнут на все пуговицы и не скрадывает, а подчеркивает ее статную, спортивную фигуру. Идет она, высоко подняв голову, губы решительно сжаты.

Тамара догадалась, что за Кертнером следят, если он ведет себя подобным образом. Тем более ему опасно тогда являться к себе домой или в контору.

А Этьен понимал: если Тамара вышла к этому поезду, значит, за его домом и за конторой следят. Нужно во что бы то ни стало улизнуть от охотника, который считает, что держит дичь на прицеле, нужно затеряться в городе, сделать все, что можно успеть, из тех самых важных дел, какие накопились. И только к концу делового дня, не прежде, чем избавится от секретного багажа, он смеет появиться в конторе «Эврика» или дома.

Он поравнялся с будкой телефона-автомата, ему хотелось позвонить Джаннине, узнать, вернулся ли компаньон Паганьоло, узнать, что нового в «Эврике». Но он, конечно, проследовал мимо будки.

Он шагал по улице, обсаженной толстыми буками. Когда его стал нагонять трамвай, Этьен резко обернулся, якобы привлеченный грохотом трамвая, а на самом деле — чтобы проверить: шпионит ли за ним канотье?

Он успел заметить — кто-то спрятался за могучий ствол бука.

На пьяцца Пьемонте стояли извозчики к тут же рядом — таксомоторы. Он остановил таксомотор на подходе к стоянке, торопливо сел и попросил шофера как можно быстрее доставить его на стационе Централе, это на другом конце города. Когда просишь ехать быстро, как можно быстрее, лучше всего называть вокзал или пристань.

Этьен заглядывал в зеркальце к шоферу и все отлично видел сквозь заднее стекло — канотье преследует его по пятам в автомобиле серого цвета.

Проезжая мимо парка, Этьен неожиданно попросил шофера:

— Стойте, я забыл купить сигареты.

Шофер резко затормозил, их таксомотор как вкопанный остановился возле табачного киоска, а позади с натужным скрипом тормозов, едва не врезавшись в зад таксомотора, остановился серый «опель».

Этьен невозмутимо купил сигареты и вновь сел в таксомотор. Он изменил первоначальный маршрут и, не доезжая до вокзала, сошел на виа Москова.

«Поскольку они считают, что я у них в руках и никуда скрыться не могу, им нет смысла задерживать меня на

улице, — рассудил Этьен. — Наверное, им приказали только не терять меня из поля зрения. . .»

Улица Москова названа, чтобы отметить победу Наполеона. Именно так французы и вся Европа расценивали когда-то его вступление в Москву. Этьен вспомнил, что и на Триумфальной арке в Париже значится поверженная Москва. Конечно, поскольку Бородинское поле осталось за французами, а русские отступили и сдали Москву, Бородино можно было рассматривать как победу Наполеона. Однако история показала, кто на Бородинском поле стоял ближе к победе — Наполеон или Кутузов.

И так же трудно сейчас сказать, кто ближе к конечной победе — защитники Мадрида или франкисты, которые наступают на Мадрид.

А пока он обязан вести себя на этой тихой виа Москова так же смело и решительно, как вел бы себя сейчас в Университетском городке Мадрида, на мосту Принцессы или в кварталах Верхнего Карабанчеля, залитого кровью республиканцев. Сейчас он обязан предпочесть риск всяческой предосторожности. Конечно, риск должен быть не безрассудным, а осмотрительным и умным. Он всегда придерживался строгих правил конспирации, но бывает такое стечение обстоятельств. . .

Вот так же фронтовой лазутчик должен жертвовать жизнью ради добываемых им разведданных, если они могут решить судьбу завтрашнего сражения.

Он вышел из таксомотора на Корсо Семпионе и пошел вдоль трамвайной линии. Он так рассчитал шаг, чтобы поравняться с остановкой в момент, когда отходил трамвай, и вскочил во второй вагон.

Задняя площадка была отличным пунктом для наблюдения.

Пассажир в сером «опеле» тоже понял это и прекратил откровенную погоню за трамваем. Так как трамвай шел по направлению к конторе «Эврика», в сером «опеле», по-видимому, решили, что Кертнер направляется к себе.

Однако он сошел, не доезжая одной остановки до конторы, шмыгнул в боковую улочку, вышел проходным

двором на бульвар, вскочил в другой трамвай и поехал в центр.

Ему обязательно нужно было наведаться в «Банко ди Рома», и не в зал банковских операций, а в подвальную кладовую, где под защитой стали и бетона стоят сейфы, а в их ряду — сейф «Эврики».

Вкладчик не может ни закрыть, ни открыть свой сейф без банковского ключника, а тот в свою очередь лишен возможности открыть-закрыть сейф без вкладчика. Но как только ключник вслед за вкладчиком производил свои секретные манипуляции и замок с секретами, наконец, открывался, — ключник тут же отходил в сторону.

В «Банко ди Рома» строго сохранялась тайна вкладов, и никто не подглядывал за тем, кто и что кладет в свой сейф или вынимает оттуда.

Сегодня Кертнер ничего не намеревался прятать, он пришел для того, чтобы изъять из сейфа некоторые бумаги, — осторожность совсем не лишняя при сложившихся обстоятельствах, хотя речь идет о зашифрованных материалах, которые притворялись безобидными коммерческими письмами. Но сейчас лучше, чтобы эта коммерческая корреспонденция была сдана на почту и пошла по своему адресу.

Он вышел из банка, завернул по дороге к почтовому ящику и пригородным трамваем, который отправляется с Корсо Семпионе, поехал по направлению к Галларате. Настолько важно передать сегодня радиограмму, что он в первый и, наверное, в последний раз решился взять на себя функции связного с Ингрид.

В коммерции, в экономике есть понятие «убыток» и понятие «упущенная выгода». Бывает, от прямого убытка ущерб куда меньше, чем от неумения воспользоваться ситуацией на рынке, на бирже. А кому нужен даже очень точный прогноз погоды на позапрошлый четверг, кого интересует устаревшая театральная афиша или билет давно разыгранной лотереи, который не принес выигрыша?!

Почему нужно послать радиограмму сегодня? Дело в том, что радиокод менялся в зависимости от того, в какой день недели шла передача. Сегодня на рассвете в ти-

хом пансионе под Генуей Этьен зашифровал донесение Эрминии об отправке войск и вооружения через генуэзский порт, а также подробное письмо товарищу, который замещал Старика, в расчете на то, что радиограмма будет передана именно сегодня, во вторник. Иначе ее пришлось бы заново шифровать...

Перед тем, как войти в парадный подъезд, Этьен осмотрелся. Он поднялся на последний этаж, поглядел с лестничной площадки в окно, выходящее на улицу, — ничего подозрительного. Прислушался к двери в квартиру, позвонил.

Дверь открыла пожилая благообразная синьора.

— Добрый день, джентилиссима синьора. Здесь живет фрейлейн Ингрид?

— Проходите, пожалуйста. — Хозяйка постучала в дверь. — Синьорина, к вам.

— Вы легко меня нашли? — Ингрид удалось скрыть крайнее удивление, даже растерянность. — Познакомьтесь. Синьора Гуттузо, моя добрая покровительница. Конрад Кертнер, друг моего отца, коммерсант, тоже из Вены.

Она пригласила гостя к себе, он вошел, оглядел богато обставленную комнату, прежде всего непроизвольно бросив взгляд на рояль и на радиолу, затем подошел к окну.

— Какой прекрасный вид! И озеро совсем близко. Полагалось поздравить тебя с очередным новосельем, но я безнадежно опоздал...

— И не дождались моего звонка? — спросила Ингрид с тревогой.

— Захотелось послушать хорошую музыку. — Этьен устало сел в вольтеровское кресло. — Ты, кажется, купила последние пластинки Тоти даль Монте?

Вскоре Ингрид и в самом деле завела радиолу, и весь дальнейший разговор шел под аккомпанемент арии Амелии из «Бала-маскарада».

— За одни сутки три свидания с тремя женщинами в трех городах... Помнишь, у вашего Генриха Гейне? Блаженства человек исполнен, но очень человек слабеет, когда, имея трех любовниц, он только две ноги имеет... —

Этьен грустно улыбнулся. — Трижды за эти сутки я нарушил конспирацию. И каждый раз это было необходимо. Понимаешь, Ингрид? Иногда высший закон конспирации заключается как раз в том, чтобы его умело нарушить...

— Что произошло? — спросила она, понизив голос.

— Без риска в нашем деле нельзя. Но риск должен быть обеспеченный и умный!.. И поэтому сегодня вечером «Травиата» выйдет на связь в последний раз. — Этьен достал из кармана бумагу, сложенную вчетверо.

— Давно знаю, что я для вас не Ингрид, а только «Травиата», — сказала Ингрид обиженным тоном.

— А еще передай в Центр, я не успел зашифровать: мною точно установлено, что контрразведки Франко, Муссолини и адмирал Канарис держат между собой тесную оперативную связь.

Она торопливо зашифровала последнюю фразу, а Этьен сказал вполголоса:

— Тебе нужно срочно уехать в Швейцарию. Завтра же. Комнату оставь за собой. Передатчик разбери. Сама знаешь, куда его девать... Озеро рядом.

— А как моя встреча с Анкой в среду?

— Я уже вызвал Анку на свиданье из Генуи и съездил вместо тебя.

— И я не услышу больше голос моего хозяина?

— Во всяком случае — в ближайший месяц.

— А разве вы не уезжаете?

— Я уехал бы, срочно уехал, если бы не война в Испании. Но во время боев такой наблюдательный пункт не оставляют. Не дай бог, пропадут все наши труды и комунибудь придется начинать все сначала.

— Вам здесь опасней оставаться, чем мне...

— Да что ты меня хоронишь! Если бы они хотели меня арестовать... — Он махнул рукой. — Им нужны мои связи, нужна «Травиата». — Этьен поднялся, мимолетно прислушался к пластинке и сказал громко, подойдя к самой двери: — Какой тембр! Какое дыхание! Есть у кого учиться... Музыку не бросай, тебе еще поступать в консерваторию... Ауфвидерзеен, ауфвидерхолен, моя милая Травиата! — Он поцеловал ее в лоб. — Сердечный привет Фридриху Великому... А сейчас, — он взглянул на часы,

нахмурился, — угости меня еще какой-нибудь арией из своего будущего репертуара...

Он вдоволь наслушался патефонных пластинок и вокальных экзерсисов Ингрид, прежде чем вышел от нее и, соблюдая все мыслимые предосторожности, подался в обратный путь.

Он шел, ехал и снова шел с чувством всеохватывающего облегчения — не только потому, что в случае ареста и обыска лишал своих преследователей каких бы то ни было улик и вещественных доказательств, но прежде всего потому, что, независимо от исхода событий, выполнил свой долг...

30

Кертнер застал Джаннину за машинкой. По обыкновению, она мурлыкала себе под нос что-то легкомысленное и при этом перепечатывала копии банковских счетов. Вручила почту за эти дни, доложила, что вчера прислали заказанные шефом новые визитные карточки; карточки лежат наверху в его кабинете, на письменном столе. А еще Джаннина сообщила, кто звонил по телефону.

Кертнер рассеянно поблагодарил и спросил:

— А совсем недавно, за последний час, кто-нибудь звонил в контору?

— По делу? Никто. Впрочем, один звонок был. Женский голос. Просили позвать синьору Анжелу. Очередная ошибка. Какая-то рассеянная особа не умеет правильно набрать пять цифр.

Вздох облегчения. Значит, Ингрид передала материал без помех. Джаннина не обратила внимания на то, что при ошибочных вызовах по телефону всегда называли синьора или синьорину, чье имя начинается с гласной буквы.

Этьен был так измучен, что с трудом скрывал это от Джаннины.

Он давно уже решил уйти из конторы и отдохнуть дома, но продолжал сидеть в кресле, бессильно опустив руки, склонив голову.

— Жаль, — сказал он наконец после долгого и трудного молчания. — Жаль...

— О чем вы, шеф?

Он сокрушенно махнул рукой:

— Понимаете, Джаннина, иногда мы делаем в жизни ошибки, совершенно одинаковые по масштабу... Но некоторые ошибки можно легко исправить, а другие, такие же, — невозможно. Как на пишущей машинке. Легко переправить ошибочную точку на запятую или букву «с» на «о». Никто и не заметит. А вот когда нужно переправить «о» на «с» или вместо запятой поставить точку — ничего не получается...

Джаннина ждала, что шеф скажет что-нибудь еще, но он сосредоточенно и угрюмо молчал, а мешать его молчанию она не хотела. Она хмурила красивые брови, но лоб при этом оставался чистым, без единой морщинки.

Перед уходом из конторы, уже стоя в дверях, он попросил Джаннину позвонить из телефона-автомата в учреждение, где служит русская по имени Тамара, срочно повидаться с ней, соблюдая обычные предосторожности, и передать его просьбу: если она может, пусть придет завтра к нему на свидание.

Джаннина понимающе кивнула. Она никогда не задавала своему шефу лишних вопросов, касающихся его работы в антифашистском подполье. А он по молчаливому уговору ничего не объяснял, уверенный в ее понятливости, в ее преданности и в том, что она заслуживает его доверия...

Дома он еще раз пересмотрел все свои бумаги, книги — ничего компрометирующего.

«Почему меня не арестовали сегодня? Преследуют по пятам не первый день. Значит, решили собрать против меня побольше улик. Значит, таких улик не должно быть вовсе».

Под диваном лежал свиток чертежей и технических документов, касающихся самолетов русского происхождения. Чертежи и документы предельно безобидные, но на них стоят русские штампы «Совершенно секретно». Этьен держал свиток у себя дома неспроста — русские «совер-

шенно секретные» чертежи могут помочь ему в случае надобности.

Единственное, что он забыл уничтожить, — русский журнал «Техника — молодежи» № 2—3 за 1936 год, он берег журнал из-за письма академика Ивана Павлова к молодежи. «Мы все впряжены в одно общее дело, и каждый двигает его по мере своих сил и возможностей. У нас зачастую и не разберешь — что «мое», а что «твое», но от этого наше общее дело только выигрывает», — наскоро перечитал сейчас Этьен. Будто не про свою физиологию пишет Павлов, не про обезьян Розу и Рафаэля, но о военной разведке! Еще много ценных мыслей было в письме — и насчет последовательности, и насчет того, что нужно всегда иметь мужество сказать себе — «я невежда», и насчет страстности в работе... Перед тем как сжечь журнал в камине, Этьен еще раз пробежал глазами письмо Павлова, стараясь запомнить как можно больше.

Теперь при обыске в его квартире можно было найти только два слова, написанные по-русски: «Совершенно секретно».

— Жаль, до слез жаль, — сказал Этьен самому себе по-русски. — Все рушится, и ваши старания, уважаемый герр Кертнер, больше ни к чему...

Он потерянно повертел в руке свою визитную карточку, вынутую из коробки, и машинально положил ее в бумажник.

Перед тем как лечь, он не забыл закрыть жалюзи на окнах, выходящих на площадь, чтобы это не пришлось делать рано утром. Очень удобно наблюдать сквозь жалюзи, когда тебя самого никто не видит.

31

Он внимательно посмотрел в сторону трамвайной остановки, на асфальтовый островок, и уже не прекращал наблюдения. Прошел трамвай, второй, третий...

Входили и выходили пассажиры, а на остановке продолжал торчать тот самый синьор неопределенного возраста, без особых примет, в новеньком канотье. Он вновь

притворялся пассажиром, ожидающим трамвая, а на самом деле поглядывал наверх, на окна «Эврики» и квартиры Кертнера.

В то утро Этьен был озабочен предстоящим, вне графика, свиданием с Тамарой. Их свидания обычно происходили вечером в парке, но только при одном условии — если она в тот день не заглядывала в обеденный перерыв в кафе «Мандзони», где Кертнер в это время завтракал. Если он хотя бы мельком через окно или раскрытую дверь видел Тамару — вечернее свидание отменялось. Значит, или не пришла свежая почта, или были другие обстоятельства, делающие свидание в парке, в заранее назначенной аллее, невозможным или ненужным.

В контору он наутро не спустился. К тому же компаньон должен приехать только днем, особо срочных дел нет. На телефонные звонки не отвечал.

Трамвайная остановка несколько правее его окон, а слева — стоянка таксомоторов. Выходить на площадь, когда там торчит агент, а на стоянке поджидают таксомоторы, никак нельзя.

Но к полудню уличное движение оживленнее, и все автомобили разъезжаются. Этьен решил дождаться такой ситуации, при которой агент, дежуривший без авто, был бы лишен возможности отправиться за ним в погоню.

Он дождался, когда на стоянке остался только один таксомотор, стремглав сбежал по лестнице, вскочил в него и уехал. Уезжая, он успел заметить, что растерявшийся агент побежал к телефону-автомату.

Небольшое кафе при «Гранд-отеле» не имело своего названия, но все называли его «Мандзони». Кафе и бар помещались в доме на углу виа Алессандро Мандзони и виа Гроссо Россо, это неподалеку от театра «Ла Скала». Мемориальная доска напоминает о том, что в «Гранд-отеле» умер Джузеппе Верди, а ниже этой доски висит табличка с названием улицы.

Кертнер сидел в кафе «Мандзони» и все поглядывал по обыкновению на раскрытую дверь и на окна. На всякий случай он вышел к газетному киоску на углу, купил свою всегдашнюю «Нойе Цюрхер цейтунг», вернулся к столику — Тамара не появлялась.

Значит, все благополучно и вечернее рандеву состоится.

Не хотелось звонить в контору утром из квартиры, а сейчас, когда отсутствие Тамары успокоило его, важно было знать — приехал ли Паганьоло.

Он позвонил в контору, но не успел отойти далеко от стойки бара и опуститься на стул, как в кафе раздался звонок.

К телефону подошла буфетчица. Держа трубку, она, по своей неопытности, не удержалась от подозрительного взгляда в его сторону.

Этьен понял: осведомляются о человеке, который только что набирал телефонный номер «Эврики».

Он быстро расплатился, вышел из кафе и повернул по тротуару налево — мимо магазинов парфюмерии, ювелирных изделий, мехов, мужского конфекциона, фотографии, кафе.

Подошел к «Ла Скала»; вот трамвайная остановка, до которой он обычно провожал Ингрид.

Куда уехать?

Трамвай уже отходил, а он еще не решил, где проведет время, оставшееся до вечернего свидания с Тамарой.

И тут он подумал неожиданно, что вряд ли кому-нибудь из агентов придет в голову мысль искать его в Дуомо. Он решил зайти в собор и побыть там до вечера среди молящихся.

Этьену повезло. В соборе торжественная месса, служит кардинал. Столько народу, с трудом нашлось место вблизи алтаря. И, в меру тяготясь, Этьен провел в Дуомо около трех часов, внимая богослужению, которое украшал превосходный хор.

Цветные витражи собора теряли с приближением вечера свою яркость. А когда он вышел на паперть, уже подоспел ранний вечер, вот-вот зажгут фонари на площади.

В тот вечер он в полной мере оценил удобства своих свиданий с Тамарой в городском парке. Там на скамейках сидят или гуляют в глухих аллеях парочки, ищущие уединения. Вот такое же удобное место для конспиратив-

ных свиданий в Париже, в Люксембургском саду, около фонтана Медичи. Там всегда встречаются студенты, молодые влюбленные. Этьен с горькой усмешкой подумал, что когда-то, лет десять назад, ему легче было притворяться влюбленным, пришедшим на свидание, чем теперь. А придет время, когда подобная маскировка будет уже совсем не к лицу.

«Ну что же, стану тогда завсегдатаем пивной или любителем карточной игры».

С утра стояла, как говорил Этьен, «промокательная погода», а после мессы в соборе выдался погожий вечер.

Луна сегодня приторно-желтая, неправдоподобная, театральная. В парке околачивалось столько парочек, что трудно было найти свободную скамейку. Он шагал по темным аллеям парка, невольно мешая кому-то, спугивая кого-то, подсматривая за кем-то, а его провожала безоглядная, торопливая и откровенная парковая любовь.

Тамара принесла депешу, полученную на имя Этьена. Его подгоняло нетерпение, захотелось тут же эту депешу прочесть, и они пересели на скамейку, стоявшую под фонарем.

Тамара всегда удивлялась умению Этьена расшифровывать письма, лишь изредка прибегая к карандашу и бумаге. Для этого надо обладать феноменальной памятью. А Этьен считал, что ничего особенного в этом нет. Постоянная тренировка, мозговая акробатика — вот и весь секрет. Есть шахматисты, которые любят играть вслепую, то, что французы называют «à l'aveugle», не глядя на доску, но это вовсе не значит, что те шахматисты — самые сильные.

Этьен рассказал Тамаре о том, как настойчиво за ним охотятся. Он не сомневается в том, что нити тянутся из Испании. За ним охотились там немецкие тайные сыщики. Он уверен, что за ним шпионили также агенты Франко, и его тревожит, что они остались неузнанными. От испанской контрразведки он ускользнул, но его передали итальянской.

— Ты видишь? — Этьен показал на свою тень, отброшенную фонарем на песчаную аллею. — Это только одна

моя тень. Вчера на улице Боккаччо ты видела мою вторую тень. Она гуляла в новеньком канотье.

— Но ведь ты был в Генуе, — перебила Тамара с тревогой, — а я на всякий случай встречала туринский поезд. Как ты в него попал?

— Это я путешествовал вместо тебя. Видел проездом Анку. Крайние обстоятельства заставили пойти на крайний риск.

Этьен заговорил о своем плохом предчувствии, что было совсем на него не похоже. Тамара не помнит случая, чтобы Этьен ударился в панику.

— Впрочем, это не предчувствие, — вздохнул Этьен, — а чувство самосохранения. Все время слышу за своей спиной топот погони.

— И сегодня?

— Я три часа молился в Дуомо, чтобы не сорвалось наше свидание. — Этьен не улыбнулся своей шутке и мрачно добавил: — Кажется, это наше последнее свидание. И моя завтрашняя встреча со связным — мы должны были встретиться в «Банко ди Рома», в подвале, где сейфы, — тоже отменяется... Жаль, очень жаль... Пока идет война в Испании, каждый день бесконечно дорог.

На случай катастрофы Гри-Гри должен заблаговременно выработать план действий, чтобы из конспиративной цепи не выпали отдельные звенья. Как хорошо, что между Гри-Гри и Кертнером давно нет никаких личных контактов!

Их последние свидания состоялись еще в прошлом году, они проходили по самым строгим законам конспирации.

Встречались они в разных городах, в дни, которые упоминались как бы невзначай в каких-то деловых корреспонденциях. При том коде город и день встречи были величинами переменными, а постоянной величиной было место свидания и время дня — всегда в час дня, всегда в зале ожидания первого класса главного вокзала.

Перед тем как расстаться с Тамарой, Этьен еще раз напомнил: Скарбек должен в самые ближайшие дни выехать за рубеж со всеми материалами, которые ему передала Анка.

Ради этих драгоценных материалов Этьен ездил в Испанию. Ради них пил за здоровье фалангистов, подкармливал фашистские газеты, давал деловые советы Хуану-Гансу Гунцу, аплодировал фильму «Триумф воли», чинил шасси «бреге», играл в кошки-мышки с гестаповцами из «портовой службы», состоял в адъютантах у святой девы Марии.

32

Он еще раз взглянул на запыленное зеркало, в котором отражались часы. Судя по тому, что стрелки часов показывают в зеркале десять минут восьмого, сейчас без десяти пять.

Паскуале опаздывал уже на двадцать минут. Странно, потому что прежде он всегда являлся минута в минуту — лишь бы поскорее отделаться от свидания. А сидя за столиком, Паскуале нетерпеливо поглядывал на часы, он всеми силами старался сократить пребывание в обществе Кертнера на виду у посетителей траттории.

Человек он нерешительный, робкий, и если уж он сам решился назначить встречу, значит, у него есть для этого серьезные основания.

По-видимому, он задержался в Испании дольше, чем предполагал. Последние три недели от Паскуале не было ни слуху ни духу. Это тем более странно, что они с Блудным Сыном ушли в рейс на одном пароходе, а тот уже вернулся.

Кертнер не был похож на человека, который заглянул в тратторию, чтобы впопыхах перекусить. Хозяин бросил оценивающий взгляд — этот посетитель уже не впервые наведывается сюда. Он хорошо одет, в руках немецкая газета. Этьен сегодня надел новый английский костюм — черный, в белую узкую полоску, — в котором ходил накануне в «Ла Скала».

В свое время осторожный Паскуале отказывался являться на встречи по вызовам Кертнера и поставил условие: он сам, когда ему удобно, необходимо и он уверен в полной своей безопасности, назначает встречи, вызывая

Кертнера условной открыткой. Постоянными величинами в этом условии были время дня, место и день недели.

Было еще условие, на котором настоял сверхосторожный Паскуале: они сидели за столиком в углу зала как чужие, не заговаривали друг с другом. Но кто позволит себе подсесть к незнакомому посетителю при обилии пустующих столиков? Вот первая причина, почему встречи происходили после работы. А вторая причина — час «пик», можно затеряться в уличной толпе, в трамваях давка; легче приехать, уехать незамеченным и тому, и другому.

Этьен был уверен, что Паскуале при его осмотрительности не явится в тратторию с «хвостом», так что с этой стороны безопасность встречи гарантирована. Что же касается самого Этьена, то вот уже одиннадцатый день, как агенты оставили Этьена в покое, он вновь свободно передвигается по городу и ведет размеренную жизнь делового человека, пытающегося забыть о полицейских передрягах.

Сколько он ни посматривает по утрам на улицу сквозь закрытые жалюзи — не видать больше агента на трамвайной остановке. Каждое утро Этьен отправляется к газетному киоску за своей «Нойе Цюрхер цейтунг» и ни разу не заметил ничего подозрительного. Одним словом — отвязался от второй тени.

«Удалось сбить легавых со следа? — гадал Этьен. — А может, я был все те дни попросту напуган собственным страхом?»

Тотчас же после возвращения в Милан компаньона Паганьоло они вдвоем колесили по городу и прилежно искали новое помещение для конторы. Компаньон искал помещение более просторное, а главное — в деловом центре города, где-нибудь возле пьяцца Кордузио, галереи Виктора-Эммануила.

Объем коммерческой переписки фирмы «Эврика» увеличился, так что Джаннина сидела за машинкой не разгибаясь по нескольку часов подряд. Соответственно стала объемистей и ежедневная почта. Последняя поездка Этьена в Кадис, Альхесирас, Севилью оказалась весьма плодотворной. Крепли также связи с рядом немецких

фирм, особенно с «Центральной конторой ветряных двигателей».

Компаньон знал о давнем пристрастии Кертнера к опере. И от избытка чувств пригласил его вчера вечером в «Ла Скала»: давали «Аиду» с участием Беньямино Джильи. «Браво, брависсимо, Беньяминелло!» — весь вечер исступленно и ласково орали поклонники певца.

Этьен и сегодня оставался под впечатлением вчерашнего спектакля. Может быть, впервые за последние годы он пошел в «Ла Скала» просто так, ради удовольствия, а не потому, что у него была явка в шестом ряду партера, второе кресло от прохода слева, если идти к оркестру.

Совсем иначе слушаешь музыку, когда ты не озабочен тем, чтобы незаметно передать что-то Ингрид или получить нечто от нее. Ему не нужно было пробираться в последнем антракте в театральный музей и слоняться там по пустынным комнатам, выжидать, когда они останутся в одиночестве и Ингрид раскроет нотную папку.

Он вышел в первом же антракте на балкон, в ненастный ветреный вечер. Этьен ежился от холода, но с балкона не уходил и с удовольствием всматривался в черное декабрьское небо, которое так редко показывает миланцам звезды, и с чувством той же невыразимой душевной свободы поспешил обратно в зал, навстречу шумным восторгам.

Все это было вчера вечером, а сегодня утром его ждала новая радость: в почтовом ящике № 172 на главном почтамте лежала долгожданная открытка, адресованная Джаннине, но написанная вовсе не для ее сведения.

Паскуале благополучно вернулся из плавания, но дела не позволяют ему выехать из Турина и повидаться с падчерицей, по которой он сильно соскучился. Значит, Паскуале в пятницу, то есть сегодня, будет в условленном месте, в условленный час, там и тогда, где и когда они встречались прежде.

Одновременно из Генуи прислали чемодан с пожитками. Само собой разумеется, в тамошний отель был отправлен ключ на деревянной груше, а все расходы оплатили с лихвой...

Хотя миновало уже десять спокойных дней, Этьен был

далек от благодушия и беззаботности. Все-таки сам он после недавней слежки не назначил бы Паскуале свидания, вот так же он временно прервал всякую связь с Ингрид. Но и отказываться от свидания, при соблюдении всех мер предосторожности, оснований не было. Нельзя ни на минуту забывать, что идет война в Испании и материалы Паскуале могут представлять большую оперативную ценность.

Он многого ждал от предстоящей встречи с Паскуале. И какое счастье, что Кертнера оставили в покое, иначе он не мог бы откликнуться на приглашение и вынужден был бы отказаться сегодня от встречи.

Отправляясь на свидание, Этьен особенно прилежно осматривался — нет ли второй тени?

Он добрался до фабрики «Мотта» кружным путем, сделав несколько пересадок.

Если бы Паскуале знал, что еще недавно за Кертнером велась слежка, он и не заикнулся бы о свидании, струсил бы.

Траттория, где они уже несколько раз виделись, находилась вблизи ворот фабрики кондитерских изделий «Мотта». На улице, застроенной фабричными корпусами, всегда жили кондитерские запахи.

«Кто знает, — улыбнулся про себя Этьен, — может, у кого-нибудь эти запахи и отбивают аппетит, да только не у меня. . .».

По своему обыкновению, он расположился в углу второй комнаты, где было и вовсе шумно, многолюдно. Небольшой пакет, который Этьен принес с собой, он рассеянно положил на стул, в углу за скатертью виднелась лишь спинка стула.

Он заказал ризотто миланезе, цыпленка «по-дьявольски», то, что грузины называют «табака́», взял бутылочку кьянти. Он успел съесть свой рис и доедал цыпленка, когда в зале появился Паскуале.

Нерешительно и медленно подошел к столику в углу, попросил у Кертнера разрешения сесть на свободное место и плюхнулся на стул до того, как получил разрешение. Кертнер знал, что Паскуале — не из храброго десятка. Но чтобы перетрусить до такой степени. . .

Паскуале принес с собой точно такой же небольшой пакет в серой оберточной бумаге, перевязанной крест-накрест шпагатом, какой уже лежал на невидимом сиденье.

Паскуале положил свой пакет на тот же стул в углу, Этьен заметил, что руки его в этот момент дрожали.

Вскоре в комнатке стало еще более шумно и оживленно. Едва освободился один из столиков, как ввалилась компания из четырех мужчин; они расселись за этим столиком у двери.

Паскуале заказал только чашку кофе с печеньем «Мотта», сидел и нервно облизывал губы, пока кофе не подали. Пил, обжигаясь и не подымая глаз.

Этьен обратил внимание на то, что лицо у Паскуале помятое, так же как и его костюм. На лице нездоровая бледность, и чувствовалось по всему, что встреча потребовала от него всех душевных сил без остатка. А может, он так плохо выглядит потому, что плавал в жестокие штормы и его мотало-качало все последние дни? Паскуале сильно страдает от морской болезни.

Он торопливо доглотал горячий кофе, сунул руку под скатерть, взял со стула один из пакетов-близнецов, облизнул губы и направился к буфетной стойке. Он не стал дожидаться, когда подойдет официант, и хотел поскорее расплатиться. Хозяин был занят приготовлением коктейля. Кертнер краем глаза видел, как Паскуале отсчитывал деньги, путаясь в монетах. Или кошелек у него все еще набит песетами?

Паскуале вышел из комнаты какой-то неверной, заплетающейся походкой, — можно подумать, что он выпил не одну чашку кофе, а два стакана граппы. И чувствовалось — он принуждает себя идти медленно, а на самом деле готов бежать опрометью подальше от Кертнера, из постылой траттории.

Конечно, можно осуждать Паскуале за робость, за неумение владеть собой. Но, может быть, человек достоин уважения именно за то, что совершает подчас поступки вопреки своей бесхарактерности и заставляет себя, как ни мучительно, выполнять свой долг.

Кертнер с аппетитом доел цыпленка, выпил еще вин-

ца, закусил сыром пармиджане, затем расплатился, щедро отсчитав чаевые, достал бумажный пакет, лежавший на укромном сиденье, и неторопливо направился к выходу.

Едва за ним дребезжа закрылась стеклянная дверь траттории и он вышел на улицу, к нему вплотную приблизились двое рослых мужчин. Оба, как сговорившись, держали правую руку в оттопыренных карманах пальто, а пальто казались скроенными в одной мастерской.

Они могли бы и не представляться Кертнеру. Один из двоих хотел показать свой значок на изнанке лацкана, другой грубо его одернул, — ясно, кто такие.

Но и в этот момент Кертнер не испугался до потери контроля над собой. Он уже понял — безопасность последних одиннадцати дней была мнимой, его пытались обмануть и обманули...

— Вы арестованы, — донеслось до него издалека, хотя прозвучало рядом. — В ваших интересах не поднимать здесь шум.

Кертнер с удивлением оглядел пакет, который держал.

— Чужой пакет! Только сейчас заметил. А где же мой?

Он сделал шаг назад и уже взялся за ручку стеклянной двери, но его оттянули, и дверь в тратторию дребезжа закрылась.

— Это провокация! Мне подбросили чужой пакет!

Кертнер бросил пакет на тротуар, но агент заботливо поднял его.

— Зачем же сорить на улице? Вы специально за этим пакетом приехали.

Кертнер собрался что-то ответить, но не успел. Подкатил полицейский автомобиль, распахнулась дверца. Он почувствовал грубый толчок в спину, и одновременно чьи-то цепкие железные руки, протянутые из автомобиля, схватили его и втащили внутрь.

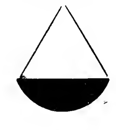
— Так можно смять галстук и рубашку, — сказал Кертнер тоном, каким делают выговор плохому лакею.

И еще до того, как захлопнулась дверца и автомобиль тронулся, он принялся тщательно и неторопливо поправлять свой галстук.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

83

Паскуале Эспозито успел сделать на «Патрии» три рейса в Испанию. Конец лета и всю осень он был занят доставкой самолетов и сборкой их в портах



Франко, преимущественно в Альхесирасе. Обычно такой рейс длился недели три или четыре. Вернувшись из плавания, Паскуале отправлял из Турина открытку Джаннине на почтовый ящик конторы «Эврика» и извещал, что пока хлопоты не позволяют приехать к ней. А это означало, что, в соответствии с конспира-

тивным регламентом, Паскуале в ближайшую пятницу приедет в Милан и встретится с Кертнером в траттории близ виале Корсика.

Приезды Паскуале в конце концов не могли вызвать ни у кого подозрений — отчим хочет повидаться с падчерицей, успел соскучиться.

Кертнер познакомился с Паскуале вскоре после того, как Джаннину приняли в контору.

Завод «Капрони» выполнял тогда большой заказ для Советской России. Оказалось, у нескольких самолетов моторы с дефектами, хотя и хорошо скрытыми. Русские приемщики забраковали моторы. Дирекция фирмы «Капрони» решила, что это происки заводских коммунистов. На заводе прошли аресты. Паскуале тоже арестовали, но вскоре, убедившись в ошибке, освободили, и фирма даже командировала его в Ленинград, где он учил русских собирать эти самолеты.

По возвращении из России Паскуале с возмущением узнал, что фирма получала за него по договору двести лир в день, а ему выплачивали из них всего тридцать. Ну не грабеж ли? Скупой Паскуале одинаково страдал, когда его обсчитывали или когда ему приходилось вынужденно быть щедрым.

Но когда дело касалось Джаннины, он денег не жалел. Какое Паскуале купил ей ко дню ангела батистовое белье с кружевами, да еще сразу полдюжины! И если жена упрекала его в скупости, он оправдывался, что хочется сколотить денег на приданое Джаннине.

Сыновья-близнецы были совсем взрослыми, когда Паскуале женился во второй раз. А через год после свадьбы потерял обоих сыновей. Он помнит, как Фабрицио молодцевато приколол к отвороту пиджака красную повестку рекрута, а рядом понуро стоял Бартоломео с такой же повесткой; красными бумажками была расцвечена вся толпа новобранцев.

Нельзя сказать, чтобы Паскуале стал примерным мужем. Но он полюбил падчерицу, обратил к ней отцовскую любовь, которой ему в прошлом так не хватало на сыновей.

Паскуале не отличался твердым характером или твердостью убеждений. Когда-то, еще в молодости, он бывал в Турине на улице Арчивесковадо, где в старинном доме работал Грамши, а позже Тольятти, где помещалась редакция «Ордине Нуово» — первой ежедневной газеты коммунистической партии. Но после разгула реакции, после резни в Турине в декабре 1922 года Паскуале отошел от коммунистов. Он стал аполитичным и, хотя часто склонял революционные фразы, по существу примиренчески отнесся к рождению фашистского режима. Позже, будучи в армии, он присоединился ненадолго к анархистам, потом отошел и от них и лишь после трагедии с сыновьями снова сделался врагом Муссолини. Но и теперь иные его поступки, убеждения были половинчатыми. Робость мешала его активной деятельности. А меркантильность и скопидомство отчима заставляли Джаннину иронически улыбаться, когда он с пафосом провозглашал:

— Я пролетарий, и мне нечего терять, кроме своих цепей!

Он проработал в фирме «Капрони» без малого тридцать лет и вот-вот должен был выйти на пенсию. Он скопил кругленькую сумму на домик в родной деревне, он давно мечтал о домике с садом и виноградником. Джаннина знала, где находится тайник с накопленными деньгами, — между двойными стенками ночного столика у кровати родителей...

Кертнер полагал, что Паскуале вновь уплыл вместе с Блудным Сыном в Испанию, а Паскуале уже находился в руках тайной полиции, его терзали ежедневными допросами...

Свет померк для Паскуале, когда следователь сообщил, что Джаннина тоже арестована.

— Видимо, вы очень плохо ее воспитали, — ухмыльнулся следователь. — Упрямая девчонка! Конечно, вы — не родной отец, с вас спрос меньше. Но могли бы все-таки воспитать своего звереныша построже и в большем уважении к дуче и королю. Даже непонятно, как молодая набожная итальянка может так непочтительно отзываться о короле, в котором ведь тоже есть божественное начало! Но нам некогда играть с капризной синьориной

в фанты. Поскольку она столь неразговорчива и не захотела быть искренней, как на исповеди, пришлось проверить — не боится ли она щекотки.

Следователь с удовольствием потер руки, будто именно он щекотал Джаннину, и встал на цыпочки во весь свой карликовый рост. Он прошелся по кабинету, заложив руку в карман, подбоченясь, выставив вперед плечо, стараясь принять вид победителя.

Паскуале побледнел и опустился на табуретку.

На следующий день следователь снова вызвал Паскуале на допрос и снова потребовал от него помощи в поимке с поличным важного государственного преступника, врага благородных идеалов фашизма.

Все, что от него, Паскуале Эспозито, требуется, — явиться на свидание с Конрадом Кертнером и передать ему сверток чертежей, тех самых, которыми австриец интересовался в последний раз.

— В последний раз Кертнер интересовался чертежами спортивного самолета, они вовсе не являются секретными, — возразил Паскуале неуверенно.

— Вот эти самые чертежи и передайте ему в траттории, которая вам знакома по предыдущим встречам.

Паскуале долго молчал, понурив голову, беззвучно шевеля сухими губами, и наконец ответил еле слышно:

— Я отказываюсь от такого поручения.

— Значит, вы не патриот Италии.

— Я патриот Италии, но не считаю Кертнера врагом итальянского народа.

— Вы говорите не подумав. А ведь у вас было время поразмыслить на досуге. Или кто-нибудь мешает вам в камере сосредоточиться? Если вы не хотите подумать о своем будущем, то, может быть, вас обеспокоит будущее вашей дочери? Правда, она не родная дочь, однако...

На следующий день Паскуале снова вызвали на допрос. Он сидел, облизывая сухие губы, в горле першило, но сглотнуть было нечего — ни капли слюны во рту.

А в конце допроса следователь открыл ящик своего стола, достал сверток, выложил его на стол, неторопливо развернул.

— Узнаете?

Какая-то тонкая голубая материя в бурых пятнах.

— Нет, — Паскуале отвернулся, он инстинктивно не хотел вглядываться.

— Я сам не поклонник такого рода интимных бесед с молодыми, тем более интересными женщинами. Но когда речь идет о безопасности государства... Синьорина Джаннина слегка наказана за излишнее упрямство.

Паскуале никак не мог отдать себе отчет в том, что произошло и о чем идет речь. Да, Джаннина иногда любит поупрямиться, но какое все это имеет отношение к делу?..

И вдруг его будто ударили по глазам — он узнал окровавленную рубашку, одну из полдюжины батистовых рубашек, какие купил Джаннине в день ангела.

Паскуале оттолкнулся обеими руками от стола, на котором лежал сверток. Ни кровинки в потерянном лице. Нетвердыми шагами направился он к двери.

— Проводите его в камеру, — жестко распорядился следователь, вставая из-за стола.

Он побоялся, что подследственный рухнет сейчас у него в кабинете без чувств, не хотел с ним возиться, отпаивать водой, давать ему нюхать нашатырь и потому прервал допрос.

На третий день сцена в кабинете следователя повторилась, только на этот раз окровавленная рубашка, лежавшая в свертке, была не голубая, а кремовая.

Паскуале вошел с обмирающим сердцем, узнал свой подарок и снова вышел после допроса, после уговоров следователя пошатываясь, простерши руки впереди себя, как слепой.

На четвертый день перед Паскуале лежал новый сверток.

— Все-таки отчим не чета родному отцу, — театрально вздохнул следователь. — Разве родной отец стал бы подвергать мучениям свою дочь? Вы ведете себя так, будто речь идет только о вашей судьбе. Решается судьба синьорины Джаннины, вашей падчерицы. Своими легкомысленными поступками, недостойными патриота фашистской империи, вы превратили падчерицу в узницу

тюрьмы, и она выйдет оттуда наказанной по всей строгости. Если не искалеченной... Во всяком случае, она может расстаться со своей красотой. Между прочим, девичья кожа намного тоньше и нежнее вашей. В том, что вы человек толстокожий и плохой отец, я уже имел неприятную возможность убедиться.

Накануне пятого допроса Паскуале услышал во время прогулки по тюремному двору о подобной же истории. Сперва одному парню пригрозили: «Если ты не назовешь своих коммунистических сообщников, мы привезем в тюрьму твою мать, разденем ее донага и будем пытать при тебе». Парень не допускал мысли, что чернорубашечники могут выполнить свою угрозу. Но в момент, когда в камеру втащили за волосы его мать и начали ее раздевать, парень не выдержал и во всем признался.

На пятый день, как только Паскуале ввели в кабинет, он бросил взгляд на зловещий стол следователя — свертка не было.

— Четыре дня подряд я добивался от вас согласия выполнить патриотический долг, загладить вину и дать основание досточтимому синьору прокурору Особого трибунала просить для вас снисхождения или даже прощения. Но сегодня в моей просьбе уже нет такой необходимости. Ваша дочь во всем созналась. Она согласилась выполнить то самое задание, которое вы считаете для себя неприемлемым. Она сама явится туда, где вы встречались с австрийцем. Я офицер, — коротышка одернул на себе мундир, который топорщился и морщился так, словно был с чужого плеча, — а вы — бывший офицер. Дайте честное офицерское слово, что о нашем разговоре никто не будет знать. Я не имел права сообщать, что ваша дочь согласилась отнести те чертежи австрийцу.

— Нет! Нет! Нет! — Во рту у Паскуале пересохло, он тщетно пытался сглотнуть. — Нет! Дочь должна забыть о своем согласии. Пусть ее совесть останется чистой, без единого пятнышка. И если кому-то из нас суждено... Я выполню поручение вместо нее...

— А я вам в свою очередь, — торопливо, скрывая свое торжество, прервал следователь, — даю честное офицер-

ское слово, что о вашем свидании с Кертнером мы ничего синьорине не скажем...

— Да, да, она не должна этого знать...

Последнее, что Паскуале услышал, когда выходил из кабинета:

— Завтра ваша дочь будет дома.

34

Сразу же после обыска составили опись вещей арестованного. Для этого пишущую машинку перенесли из конторы в квартиру Кертнера, этажом выше. Полицейский комиссар сам принялся медленно и неуклюже тыкать толстым пальцем в клавиши.

— Синьор комиссар не обидится на меня, если я скажу, что он печатает не слишком хорошо? — усмехнулась Джаннина.

— Синьорина права. Есть много других дел, которые я делаю значительно лучше. Если синьорина не возражает, я берусь ей это доказать, — при этом полицейский скабрезно расхохотался.

— В помощницы к вам не набиваюсь. Но чтобы ускорить ужасную процедуру и чтобы я смогла завтра утром уехать в Турин, повидаться со своими, — сама напечатаю.

Полицейский комиссар охотно уступил место за машинкой, и Джаннина напечатала опись.

Она сознательно оставила между последней строкой описи и местом, уготованным для подписей, полоску чистой бумаги. На всякий случай.

Комиссар не включил в опись саму машинку, он полагал, что это инвентарь конторы «Эврика». Джаннина подсказала, что машинка — личная собственность шефа и только временно стояла в конторе: на ней удобнее печатать, чем на конторском континентале.

— Синьор комиссар, вы могли меня подвести. Ведь я работала на этой машинке. Когда недоразумение выяснится и шеф вернется, он заподозрит меня в том, что я утаила его ундервуд.

— «Вернется»... Святая наивность! Твой шеф — опасный государственный преступник.

— Синьор комиссар, наверное, хотел сказать, что моего шефа подозревают в государственном преступлении. Разве кто-нибудь имеет право выносить приговор раньше суда?

— Синьорина очень охотно рассуждает о правах. И забыла о своих патриотических обязанностях. Не пора ли строго напомнить тебе о них?

— Свои конторские обязанности я выполняю добросовестно. Спросите хотя бы синьора Паганьоло, компаньона фирмы. В церковь хожу часто. Исповедуюсь у падре Лучано каждый месяц. На какие другие обязанности намекает синьор комиссар? Может, он считает, что я должна была отбивать хлеб у него, у его агентов и доносить на австрийца? Этому меня на курсах машинописи и стенографии не обучили. Тем более если донос нужно высасывать из мизинца...

— Я знал синьорину, которой дверью прищемили пальчики за то, что она не хотела ими указывать на наших врагов...

Угроза полицейского комиссара подсказала Джаннине, что нужно быть осторожнее и даже покладистее на словах, если ты не хочешь ничего менять в своем поведении.

Полицейские составили длинную опись личных вещей Кертнера, включили разные мелочи. Джаннина правильно рассудила: если имущество будет конфисковано по суду, никакого ущерба шефу эта дотошная, мелочная опись не принесет, все равно отсылать, дарить вещи или передавать по наследству некому. А если конфискации не последует, шефу даже выгоднее, чтобы опись была подробнее.

Джаннина вручила полицейскому комиссару расписку в том, что ей передана опись личных вещей Конрада Кертнера. Опись она сознательно напечатала в одном экземпляре, а полицейский комиссар про копию и не вспомнил. Не его обязанность возиться с чужим барахлом, во сколько бы его потом ни оценили. Он и так проторчал в конторе и на квартире этого фальшивого ав-

стрийца чуть ли не до самого рассвета. Ночь напролет перелистывать книги и бумаги, выпотрошить матрац, подушки, перину, обшарить все костюмы, висящие в шкафу, вспороть обивку на креслах — хлопот не оберешься...

35

Джаннина не уехала в Турин утренним поездом, да и не собиралась этого делать. Сперва нужно поставить в известность обо всем, что случилось, синьору Тамару. Кто знает, какие дополнительные беды могут нагрянуть?

Джаннина отправилась на Корсо Семпионе, на трамвайную остановку возле дома, где живет синьора Тамара и откуда она ездит на работу...

Наконец синьора Тамара выбежала из подъезда. Судя по тому, как нетерпеливо посматривала на рельсы вдали, как ждала появления трамвая, она опаздывала.

Синьора Тамара вошла в трамвай, заняла место, тут же увидела Джаннину, вошедшую следом, и уже не спускала с нее глаз.

Джаннина ощутила на себе внимательный взгляд и двинулась по вагону вперед.

Проходя мимо, она повернулась к синьоре Тамаре и, как бы невзначай, разорвала свой трамвайный билет вдоль на две половинки и сложила половинки крестом.

Уже само появление Джаннины в трамвае насторожило Тамару. А увидев в ее руках символически сложенные половинки билета, она поняла, что Джаннина изобразила решетку.

36

— Довольно дурацких фантазий! Я не позволю водить себя за нос! — вскричал тот, кого называли доктором. — Пора перейти к фактам!

Он подскочил к Кертнеру и ударил его по лицу.

— Я полагал, что нахожусь в руках прославленного римского правосудия. — Кертнер отнял ото рта платок, окрашенный кровью. — Вас называют доктором. Доктор

юриспруденции? А деретесь как первобытный дикарь. Я не знал, что правосудие основано теперь на рукоприкладстве...

Тот, кого называли доктором, что-то истерически выкрикнул, затрясся от злобы и, не взглянув на допрашиваемого, вышел из комнаты.

Допрос продолжал следователь, похожий одновременно и на поросенка и на хищную птицу. Кертнер вглядывался и все не мог решить — на кого похож больше? Он маленького росточка и все время одергивал мундир, который топорщился и был явно не в ладах с фигурой своего хозяина. А тот выпячивал куриную грудь и, когда стоял позади стола, поднимался на цыпочки, хотя и без того носил сапоги на высоких каблуках.

Чтобы затруднить следствие и позлить Коротышку, Кертнер решил разговаривать на плохом итальянском языке, отвечать на вопросы следователя неторопливо. Тогда он сможет выгадать секунды и доли секунд на блицраздумья. Запинался, подбирал ускользающие из памяти слова весьма естественно, хотя это очень трудно — притворяться полузнайкой, когда на самом деле безупречно говоришь по-итальянски. И он подумал вдруг, что лишь очень опытному летчику под силу имитировать полет новичка.

Коротышка начал допрос со стандартного вопроса об имени и фамилии арестованного, но записал их с орфографическими ошибками, и Кертнер с утрированной вежливостью протянул свою визитную карточку, чем уже вызвал раздражение следователя.

Он подал знак тому агенту, который втаскивал Кертнера в автомобиль и привел его в эту комнату, а сейчас сидел на табуретке у двери. Агент встал и с расторопностью, которая свидетельствовала о большой практике, начал обыскивать Кертнера. К чему этот повторный бессмысленный обыск? Коротышка не удержался, вышел из-за стола, чтобы самому принять участие в обыске. Не доверяя агенту, он собственноручно еще раз обшарил и вывернул все карманы.

На столе у следователя уже лежало все, что отобрали при первом обыске, — документы, записная книжка,

чековая книжка, какие-то бумажки, а также деньги. Тут же лежала приходо-расходная книга и еще несколько других конторских книг из «Эврики». Когда только их успели сюда доставить? Даже последний номер «Нойе Цюрхер цейтунг», который торчал из кармана Этьена в момент ареста, лежал на столе.

Коротышка сразу схватился за книжку красного цвета.

— Русский паспорт?

Но это были всего-навсего международные шоферские права Кертнера.

— Очень приятно, — сказал Коротышка голосом, который противоречил смыслу его слов.

Он долго изучал корешки чековой книжки Кертнера. На корешках значилось, кому и на какую сумму были выписаны чеки для получения денег в «Банко ди Рома». Но в книжке не удалось обнаружить ни одного сомнительного чека. И все выплаты сходились с записями в расходной книге, что снова привело Коротышку в уныние и раздражение.

Затем он принялся изучать книжку с адресами, изъятую у Кертнера дома. В книжке было несколько потайных адресов. Не дай бог, если бы туда нагрянули агенты тайной полиции с обыском: от тех адресов могли бы потянуться ниточки и к «Моменто», и к Ингрид, и к Гри-Гри, и к другим товарищам.

Но дело в том, что адреса в книжке хитро зашифрованы. Например, в книжке значился адрес мужского портного в Болонье, и действительно по тому адресу работал портной. Адрес был правильный, если не считать города, потому что на самом деле явка по этому адресу была в Турине. Кертнер пользовался тем, что названия улиц в итальянских городах сплошь и рядом повторяются, и подставлял другие названия городов. Вот почему Коротышке ничего не могло дать тщательное изучение записной книжки, сыскные агенты топтались бы по ложным следам в ложно указанных городах...

Зазвонил телефон. По-видимому, Коротышка разговаривал с каким-то большим начальником, потому что, держа трубку, благоговейно кланялся телефонному аппа-

рату, а вся невзрачная фигура его изображала угодливость.

Затем он с новой энергией стал изучать отобранные при обыске бумаги Кертнера, утверждая, что им обнаружены документы из Коминтерна.

— Вы могли найти только материалы, связанные с работой Антикоминтерна, — поправил его Кертнер. — Если бы мне предстояло выбирать между Коминтерном и Антикоминтерном, не сомневайтесь, я, как австриец и коммерсант, предпочел бы вторую организацию.

В конце концов удалось найти среди бумаг ту, которая вызвала подозрение Коротышки. То было письмо к Кертнеру берлинского «Нибелунген-ферлаг», акционерного общества с ограниченной ответственностью, Берлин, НВ 40, Ин ден Цельтен, 9-а.

> «Ввиду того, что Вы, как клиент нашего информационного бюро «Антикоминтерна», проявляете постоянный интерес к борьбе с большевизмом, мы позволим себе указать Вам на новый выходящий в нашем издательстве журнал «Народ» (орган борьбы за народную культуру и политику).
>
> В центре нашего нового журнала лежит идея народного единства внутри и нового народного строя вовне. Он борется за народное обновление германской культуры и сплочение ее нового идейного слоя, который решительно становится на службу делу насыщения всей жизни германского народа основными идеями фюрера.
>
> При сем посылаем вам первый выпуск журнала «Народ». Вы будете получать его регулярно, и, надеемся, это даст Вам не меньше, чем бюллетени информационного бюро.
>
> С исполненным глубочайшего уважения приветом
>
> *«Нибелунген-ферлаг».*

Приложения: Первый номер журнала «Народ» и карточка для заказа».

Коротышка внимательно прочитал письмо, понял, что попал впросак, и так разозлился, что язык не мог повернуться во рту. Теряя самообладание, он начал кричать:

— Вы, может быть, думаете, что я родился в воскресенье?!

На русский это можно перевести: «упал на голову» или «прихлопнули пыльным мешком из-за угла».

Так же безуспешно пытался Коротышка усмотреть чуть ли не диверсию в том, что Кертнер бросил свой чемодан в генуэзской гостинице, а затем попросил его выслать в Милан.

По словам Кертнера, ему пришло в голову провести день в Сан-Ремо, куда он отправился катером. Почему бы не попытать счастья за игорным столом в тамошнем казино? Ведь на нем тогда еще не было наручников, он был свободным человеком. А возвращаться назад из-за ерундовского чемодана он не счел нужным. При отеле существуют агенты для транспортных поручений, и он достаточно щедро оплатил их хлопоты. Может, синьор следователь считает, что он мало заплатил отелю за услуги? В таком случае он готов немедленно исправить ошибку, если ему будет разрешено распорядиться своими деньгами.

Когда речь зашла об отобранных деньгах, Коротышка с удовольствием установил, что Кертнер не обедал двое суток. Между тем, достаточно сознаться в своих преступлениях, и ему будет разрешено тратить деньги на все необходимое в предварительном заключении — начиная с отдельной комнаты и кончая обедами по заказу. Кстати, из соседней траттории арестованным носят очень вкусные обеды.

Этьен смотрел на следователя, и ему на память пришли слова какого-то английского писателя, кажется Олдингтона, который относится к итальянцам с большой симпатией, но при этом говорит: стоит иным итальянцам вообразить себя господами, как они сразу становятся не-

выносимо бестактными. Вот к категории таких людей относился крикун Коротышка.

При допросе Кертнер то умело помалкивал, то делался словоохотлив, даже болтлив, — когда хотел отвлечь внимание Коротышки от главного, затруднить ему правильную разгадку. Коротышка и сам не заметил, как поддался Кертнеру, позволил вовлечь себя в такого рода беседу. Итальянцы вообще любят поговорить, это распространяется и на следователей и на сыскных агентов. А допрашиваемый вел разговор так умно, что использовал многословие собеседника и выяснил для себя, до какой степени ОВРА осведомлена — что им уже известно о Кертнере и что они пытаются узнать.

Но все-таки к концу допроса Коротышка начал понимать, что допрашиваемый обвел его вокруг пальца — ничего не сообщил нового, отмолчался, открутился, отбрехался. А Коротышке при этом никак не удавалось сохранять начальственный тон, он всеми фибрами своей следовательской души ощущал неуважительное отношение к себе со стороны арестованного, который не хотел признать его умственное превосходство. Коротышка обиделся, — он вообще был болезненно обидчив, как многие мужчины, заказывающие себе ботинки на высоких каблуках.

К концу допроса Коротышка все хуже скрывал свое раздражение, все больше походил на хищную птицу и все меньше — на поросенка.

Тут он задал, как ему казалось, очень коварный вопрос о сейфе:

— Куда вы спрятали ключ от своего сейфа в «Банко ди Рома»?

— Скорее всего, он выпал из кармана, когда меня грубо втолкнули в автомобиль, — при этом Кертнер выразительно посмотрел в сторону агента, сидящего у двери.

— Отдайте ключ, а то мы сами вскроем сейф.

— Вскрывайте, если хотите еще раз нарушить законы.

И тут Коротышка потерял контроль над собой. Он вскочил с кресла и, тщетно пытаясь сохранить начальственную осанку, принялся стучать маленьким кулаком по столу и орать:

— Я заставлю вас сменить лживую визитную карточку! Вы меня запомните. Прекращаю допрос! Вывести его отсюда! Проучить его! Пусть теперь с ним поговорят иначе! Вон!!

До этого времени агенты, которые задержали Кертнера, вели себя более или менее благопристойно, если не считать типа, который надевал наручники. А сейчас его грубо вытолкали из кабинета Коротышки, еще грубее втолкнули в маленькую комнатку без окон.

Кертнер начал протестовать против произвола, грозил пожаловаться в австрийское посольство, назвал Коротышку провокатором.

И тогда в комнату ввалились два дюжих молодца; среди итальянцев не часто встретишь таких геркулесов. Они зловеще вплотную подошли к Кертнеру, каждый наступил ему на ступню, и он не мог откачнуться, отступить, сойти с места, когда его принялись избивать.

— Христиане, что вы делаете? — спросил кто-то с напускным возмущением, приоткрыв дверь в глухую комнатку.

— Убирайся и закрой дверь. Не твое дело.

Кертнер не издал стона, на вопросы по-прежнему отвечал: «Ничего не знаю» или: «Никого не знаю»...

Остаток дня он пролежал, отказавшись от еды, — разбит рот, под глазом кровоподтек, из уха сочится кровь, бровь рассечена.

Вот он и познакомился со знаменитым римским правом. Правда, сегодня все статьи римского права прозвучали с сильным фашистским акцентом.

Он лежал на койке, закрыв лицо мокрым полотенцем. К физической боли прибавилась душевная. Итальянские нравы? Нет, это сюда донесся зловонный ветерок гестапо. Ну а кроме того, не нужно забывать, что в чернорубашечники, в сыскные агенты прутся разные подонки...

Да, не ко времени тайная полиция устроила ему каникулы — одиннадцать дней. За ним прекратили всякую слежку. А он-то обрадовался! Так хотелось думать, что обдурил сыщиков, оказался умнее всех. Почему же такой умник попался? С чего начался его провал? Когда началось его знакомство с «усиками», «серыми брюками» и

«новеньким канотье», с теми их коллегами, которых он не углядел? Хорошо хоть, за эти одиннадцать дней он ни разу не виделся с Ингрид. Хватило предусмотрительности, не пошел в театр, плюнул на билет. Он так и не знает, была ли она в театре без него.

Итальянская контрразведка не сильнее других, с которыми Этьену приходилось иметь дело. Например, немецкий абвер технически вооружен намного лучше, чем итальянцы: взять хотя бы умение немцев пеленговать радиопередатчики... Как хитро Этьен обманул когда-то в Гавре «Сюрте женераль»! Как ловко избавился от опасных преследователей в гамбургском порту! Как остроумно сбил со следа сыщиков в Амстердаме и Копенгагене! Как плодотворно, окруженный детективами, работал в Англии в дни воздушных гонок на кубок короля Георга! Приходилось выдавать себя за богатого негоцианта, завсегдатая казино, одержимого меломана, биржевого маклера...

Может, к его аресту приложили руку молодчики из «Люфтганзы», которых он успел причислить к придурковатым солдафонам? Может, фотография Кертнера давно лежала в картотеке у генерала Вигона, а недавно испанцы передали ее своим итальянским союзникам? Может, Старика или Оскара насторожила бы легкость, с какой франкисты выдали Кертнеру визу на въезд в Испанию? Пароход «Патриа»? Но ведь никто, кроме Блудного Сына и Паскуале, к нему в каюту, по всем секретным приметам, не заглядывал. Разве кто-нибудь мог подсмотреть, когда Блудный Сын выносил чертежи из каюты? Правда, их не сразу удалось положить обратно в сейф, спрятали в трюме, чего лучше было бы избежать. Французский агент? Но он, судя по всему, появился только в Марселе.

«Что я упустил, запамятовал, не заметил? — снова и снова допытывался у себя Этьен. — По-видимому, именно в том, что я упустил, позабыл, и скрывался выход из трудного положения».

Этьен собрался строго проэкзаменовать коммерсанта Кертнера, но сам экзаменатор был в смятении, терялся в догадках, прогнозах. Как он мог указать Кертнеру на ошибку, если сам не мог ее обнаружить?

С помощью потайной кнопки в «лейке» он мог, в случае крайней необходимости, засветить снятые им кадры фотопленки. Но, увы, нет такой волшебной кнопки, которая могла бы вернуть в небытие ошибки, промахи и оплошности...

Этьен не притрагивался к хлебу, брезгливо отказался от дурно пахнущей тюремной похлебки. В камеру уже являлся буфетчик, он вызвался принести обед из соседней траттории, но Кертнер отказался от его услуг. На прогулку также не пошел. После бессонной ночи почувствовал себя совсем разбитым, ослабел. Мучительно мешал свет: лампа без абажура, и некуда спрятать глаза от ее пронизывающего, всепроникающего света. Вспомнил, что в один из первых приездов в Москву на учебу жил в комнате на втором этаже, и как раз напротив его окна горел уличный фонарь. Можно было заниматься, не зажигая лампы. Позже он выкроил из стипендии какие-то рубли, купил плотную штору и завесил бессонное, ослепляющее окно...

Следующие сутки прошли так же: днем голодная диета, ночью не смыкал глаз. У изголовья сидела неотлучная сиделка — бессонница.

«О, дружок, — сделал себе выговор Этьен, — так ты и до суда не дотянешь. Возьми себя в руки!»

После ночи без сна он сделал холодное обтирание, заставил себя заняться гимнастикой, ходил по камере из угла в угол строевым шагом, ходил так долго, что даже запыхался, затем попросил кувшин с холодной водой и протер тело грубым полотенцем.

Он заставил себя взять ложку и миску с тюремной похлебкой. С голодухи иногда начинают бредить, а в бреду можно заговорить и по-русски...

37

В Вене Скарбек сдал свой паспорт в райзебюро «Вагон ли». Обещали к двум часам вернуть паспорт с германской визой и железнодорожными билетами: ему — до Гамбурга, Анке с сыном — до Праги.

В третьем часу он вошел в райзебюро.

— Ну как, готово? — спросил Скарбек у конторщика, сидевшего за стеклянной перегородкой.

— Визы для господина нет, — послышалось после длинной паузы.

— Вы меня подвели! — Скарбек повысил голос. — Если бюро не могло выполнить мое поручение, не нужно было обещать. Я обратился бы за услугами в другое бюро путешествий. Если мне память не изменяет, есть райзебюро на Шварценберге, есть райзебюро около вокзала Франца-Иосифа...

— Дело в том, что ваш паспорт не в порядке. Последняя виза на въезд в Германию — фальшивая.

Скарбек притворился, что плохо понимает, о чем идет речь:

— Фальшивая виза? Этого еще недоставало! Пошлите своего сотрудника в германское консульство, и пусть поставят визу, какую полагается. Ваше райзебюро за это получает деньги с путешественников!

Но тут к Скарбеку подошел некто в штатском, отогнул лацкан пиджака и показал значок криминальной полиции.

— Герр Скарбек? — осведомился Некто почтительно.

— Я.

— В вашем паспорте фальшивая виза. Последний раз вы проезжали в августе. Кто оформлял визу?

— В этом самом райзебюро. Я езжу только в спальных вагонах.

— Сегодня, пожалуй, вы не сможете уехать из Вены. Следуйте за мной. Нас ждут в полицейпрезидиуме.

— Но меня ждут жена и сын. Впрочем, — Скарбек посмотрел на часы, — они отправились на прогулку в Бургартен.

— Вы здесь с семьей? — удивился Некто.

— Что вы так удивились? Разве вы не знаете, что женщинам пришла в голову эта удачная мысль — выходить замуж? — Скарбек говорил таким тоном, чтобы сразу стало понятно: он не собирается превращать какое-то мелкое происшествие с визой в крупное событие.

Некто извинился, объяснил, что по их правилам он

обязан проверить, нет ли у герра Скарбека при себе оружия.

— Я сам боюсь таких игрушек, не говоря уже о моей жене, — по лицу Скарбека и в самом деле прошла тень испуга. — В жизни к ним не притрагивался!

Некто вышел на улицу, огляделся и тихо свистнул. Как из-под земли вырос другой агент, он приподнял котелок и смущенно сообщил, что автомобиля нет, нужно ждать, пока его пришлют с другого конца города.

Скарбек услышал это и остановил таксомотор. Некто не сразу согласился сесть в него.

— Поймите, это прежде всего в моих интересах, — сказал Скарбек. — Не вы, а я должен как можно скорей уехать из Вены, я — в Гамбург, а жена с сыном — в Прагу, к родственникам.

— Вы сами уплатите шоферу?

— Вот это как раз неудобно, — возразил Скарбек и сунул деньги, которые Некто взял в нерешительности. — Вам еще придется поколесить по городу, чтобы выяснить всю эту глупую историю.

Скарбек и Некто устроились на заднем сиденье, агент в котелке сел рядом с шофером. Поехали по Рингу — мимо здания ратуши, мимо оперного театра на той стороне бульвара. Вот и полицейпрезидиум.

Поднялись на третий этаж, там сидел чиновник, который занимается делами фальшивомонетчиков и фальшивыми документами. Чиновник был занят, и, чтобы не терять времени, Некто снял со Скарбека короткий допрос и куда-то ушел. Подошел агент в котелке, а с ним еще один, тучный и лысый, которого Скарбек прежде не видел.

Сыщики из коридора вполглаза наблюдали за Скарбеком и вполголоса разговаривали между собой. Скарбек не был похож на человека, который нервничал, — не рвал судорожно бумажек, как это бывает с неопытными, не ломал спичек, не разминал дрожащими пальцами сигарету, не шарил без толку у себя в карманах — сохранял полное спокойствие.

Агенты полагали, что задержанный плохо знает немецкий, а Скарбек слышал обрывки их разговора.

— По-моему, он за кем-то гонится...

— А по-моему, он от кого-то убегает...

— Какое нам до этого дело? — лысый пожал тучными плечами. — Иностранец должен ответить за фальшивку по австрийским законам.

— Если он нашкодил в Германии, пусть его там и наказывают. Зачем нам руки пачкать?

— Иностранец обязан уважать законы нашей страны.

— Но преступление карается по законам страны, где оно совершено, а не там, где оно раскрыто!

Агент в котелке и тучный-лысый продолжали спорить и, подойдя к Скарбеку, как бы пригласили его принять участие в своем споре.

— Надеюсь, вы согласны, что иностранцы должны подчиняться нашим законам? — воинственно спросил лысый-тучный.

— Не согласен! В Китае на мою фабрику и в мой дом не смел войти ни один китайский полицейский, — возразил Скарбек на достаточно скверном немецком языке. — Он мог явиться только с консулом или с представителем посольства.

— Может быть, в колониальной стране другие порядки, — пожал плечами лысый-тучный.

— В Венской полицейской школе сейчас стажируются китайцы, присланные Чан Кай-ши. У нашей полиции есть чему поучиться! — сказал с гордостью агент в котелке.

— Интересно, китайские полицейские такие же грязные, как в Китае? — рассмеялся Скарбек. — Или они здесь, в Вене, каждый день принимают ванну?

Агент в котелке охотно рассмеялся:

— Во всяком случае, они еще не успели отмыться добела.

Тучный-лысый неожиданно заговорил на ломаном итальянском языке, он хотел помочь Скарбеку, который очень натурально мучился, подбирая в разговоре недостающие ему немецкие слова, и с трудом понимал своих собеседников.

— Знаете ли вы в Риме синьора Пичелли? Он тоже, как вы, занимается большой коммерцией.

— А где он живет? — Скарбек изобразил искреннюю заинтересованность. — В каком районе?

— Где-то возле рынка на площади Наполеона, рядом с главным вокзалом.

— Откуда же мне его знать, вашего синьора Пичелли? — высокомерно удивился Скарбек. — Это же не аристократический район! Моя вилла в том районе, где живет сам дуче. От меня до виллы Торлонья совсем близко. А на рынке у вокзала мне делать совершенно нечего...

Перед дверью чиновника, который все еще был занят, снова появился Некто. Скарбек протянул ему пачку гаванских сигар, угостил обоих агентов; сам он только что выбросил недокуренную сигару.

— Никогда не выкуриваю сигару до конца. Правда, когда заключаешь крупные сделки, когда волнуешься — жадно глотаешь дым. А когда нет поводов для волнения, я себя ограничиваю. Больше всего никотина в окурках...

— Хорошо, что вы обладаете такой силой воли, — сказал Некто. — Не каждый умеет...

— Не знаю, как у людей вашей профессии, но чтобы заниматься коммерцией, нужно вести умеренный образ жизни. Никто из нас не откажется пропустить рюмку-другую коньяку после обеда или ужина. Но, например, я ложусь спать не позже одиннадцати вечера. Хотел бы и сегодня в это время лежать в спальном вагоне.

— Сейчас доктор Штрауб освободится, и недоразумение будет выяснено, — обещал Некто.

— Конечно, если бы я был знаменитостью, я бы уже уехал, — вздохнул Скарбек. — Осенью тысяча девятьсот тридцать второго года произошел любопытный случай с Джильи. Он сам рассказывал мне, когда мы сидели с ним в Риме в кафе «Эксцельсиор». Джильи ехал на гастроли в Германию, а на границе вдруг обнаружил, что забыл паспорт. Не отменять же из-за этого завтрашний спектакль в берлинской опере и послезавтрашний концерт в филармонии! Чтобы у пограничных властей не было сомнений, что он на самом деле Джильи, он спел им арию «Сердце красавицы». И что вы думаете? Пропустили!

— Тогда были другие времена, — напомнил Некто.

Открылась тяжелая дубовая дверь, и доктор Штрауб пригласил их к себе. Скарбек увидел на дубовом столе свой паспорт, к нему была пришпилена какая-то препроводительная бумага на немецком языке.

— И печать и подпись под печатью фальшивые, — сказал доктор Штрауб и отложил лупу. — Кому вы сдавали в августе паспорт?

— Здесь, в Вене, в райзебюро «Вагон ли». Кто бы мог подумать, что мой паспорт попадет в руки жулика, а меня, по его милости, ждет что-то вроде ареста? Меня сегодня впервые в жизни допрашивают в полиции.

Скарбек принялся рассказывать подробную историю о том, как в Америке у него когда-то пропала посылка с образцами товаров. Он понял, что имеет дело с одним нечестным человеком, знал, кто этот жулик, все улики были налицо. И все-таки в суд не подал, не хотел оказаться в суде даже истцом.

Выслушать столь подробный рассказ при таком знании немецкого, как у Скарбека, — нелегкая задача.

— Выражаю сочувствие по поводу той посылки с образцами товаров. Полагаю, что у нас, в Австрии, этого не случилось бы, — сказал доктор Штрауб язвительно. — И все-таки не могу вернуть паспорт, пока не будет выяснено, кто поставил фальшивую визу. Поэтому возвращайтесь в райзебюро, — он подал знак Некто, — выясните всё до конца.

Пока ждали приема и беседовали с доктором юриспруденции, таксомотор стоял у подъезда.

По дороге Некто доверительно сообщил Скарбеку, что на августовской визе стоит подпись бывшего сотрудника германского консульства, некоего Гофмана. А сейчас Гофман снова в Вене, он приехал сюда уже как инспектор. Проверял паспорта, присланные на визу, и заявил, что его подпись в паспорте Скарбека поддельная.

— Боюсь, тут действовал какой-то опытный жулик и вам сразу не удастся его поймать, — сказал Скарбек. — Боюсь, мы сегодня не уедем. Я должен сообщить обо всем жене.

Некто разрешил позвонить в отель, но попросил вести разговор по-немецки. Скарбек, войдя в будку телефона-

автомата, нарочно оставил дверь открытой, чтобы Некто слышал разговор.

Анка сразу поняла, что Скарбек говорит при свидетеле, и затараторила без умолку: так легче будет выявить все, что нужно.

— Прошу не волноваться, — уговаривал Скарбек на ломаном немецком языке. — Понимаешь, какой-то жулик испачкал мне паспорт... Нет, в прошлый раз... Какая ты непонятливая!.. Да, в августе. Ну, когда мы жили в отеле «Виндзор»... Почему? Если бы ты терпеливо слушала... В том же самом райзебюро... «Вагон ли»... Кто же так шутит? Нет, нет, нет... Пожалуйста, не спорь! Не шутник, а жулик!

Вот все, что удалось сказать Скарбеку. Он больше слушал, что ему говорила Анка, он изображал дело так, будто ему с трудом удается вставить словечко-другое в раздраженную речь жены.

А когда Скарбек положил трубку и отошел с Некто от переговорной будки, он мягко усмехнулся:

— Между прочим, у китайцев болтливость жены — одно из семи оснований, достаточных для развода.

38

Ни одна живая душа, кроме Этьена, не знала, какие испытания уже выдержала нежная дружба и любовь Зигмунта и Анки. Впервые они увидели друг друга в тюремном дворе, в Варшавской цитадели. Оба помнят мрачное здание на Даниловичской улице в Варшаве, около старой городской ратуши, напротив оперного театра. Там помещалась дефензива, или «дефа», или «двуйка», а сотрудников сыскной полиции при Пилсудском называли «двуйкажами». После очередной облавы на коммунистов Зигмунт и Анка подверглись там жестоким допросам под присмотром очень образованного полковника Погожельского. Он даже читал Ленина и в перерыве между допросами любил вступать с арестованными в политические дискуссии. Это по его приказу молодую Анку, тогда еще невесту Зигмунта, не один день держали в карцере.

Скарбеки оказались в группе польских коммунистов, которых молодая Советская Россия выменяла на каких-то пилсудчиков и вожаков банды Булак-Балаховича, Анка с Зигмунтом очутились в Москве, и вскоре он надел военную форму. Позже с ним познакомился Берзин и направил его в военную академию. Что Скарбека в ту пору больше всего мучило — он плохо усваивал математику. Как он старался! И все же никак не мог совладать с квадратными уравнениями или с биномом Ньютона. Он начал в академии с обыкновенных дробей, за десять месяцев прошел, а вернее сказать, пробежал весь курс алгебры, но знал ее поверхностно и никак не мог перейти из подготовительной группы на первый курс. Скарбека нервировало, что он и еще один товарищ, слабо успевающие, занимались отдельно с преподавателем. А на первом курсе его ждали таинственные интегралы и дифференциалы!

Скарбек отчаялся и подал Старику рапорт с просьбой отчислить его из академии. «Несмотря на все мои усилия и старания... Я не боюсь трудностей, но... Целесообразно ли продолжать учебу? Мой возраст, а также слабая школьная подготовка...» Старик написал на рапорте строгую резолюцию: «Не одобряю. Такое малодушие не к лицу и не к месту. Пусть еще год учится, потом дадим передышку. У нас в академиях многие с небольшим общим образованием. Тем не менее учатся с успехом. 5.3.1932. Берзин».

Но самое поразительное, что, когда Скарбек волею судьбы занялся коммерческой деятельностью — сперва в Германии, затем в Китае и в других странах, — он удивительно ловко, умело вел все свои денежные расчеты, и Этьен иногда прибегал к его помощи в самых запутанных финансовых делах. Этьен вспоминал его двойки по математике, а Скарбек недоуменно разводил руками и ничего не мог объяснить. Вот если бы у них в военной академии была такая учебная дисциплина «конспирация», тут бы Скарбек наверняка стал отличником. Как талантливо играл он роль процветающего негоцианта, болтливого и в чем-то наивного, недалекого дельца!

Поначалу Скарбек был смущен ролью, которую ему предстояло сыграть в Турине. Еще недавно состоятельный

фабрикант — и вдруг владелец провинциальной фотографии на окраине города! Где-то у черта на куличках, или, говоря по-польски, — где черт желает доброй ночи.

Нелегко сразу изменить всем привычкам и повадкам богатого человека, а потому Скарбек выдавал себя за разорившегося фабриканта. Тогда при нем могут остаться и гонор, и апломб, и манеры, и лоск.

Владелец захудалой фотографии вел себя с гордым достоинством и уверенностью в себе, как привык в Китае. Интересно, что до того, как Скарбек «разбогател», он не умел разговаривать с начальством на равных, некстати скромничал и не к месту стеснялся. А китайская «легенда» помогла ему набраться уверенности. Старик сказал тогда Скарбеку: «В том, как тебя оценивают окружающие, много значит — за кого ты сам себя выдаешь. На человека смотрят так, как он сам себя сумел поставить...»

Взаимоотношения Скарбека с итальянской полицией можно назвать отличными, поскольку никаких взаимоотношений не было и осложнений тоже не возникало.

По существующему порядку, каждый раз, выезжая из Италии, нужно сдавать вид на жительство пограничным властям, а возвращаясь, получать в квестуре новый вид. Но так как Скарбек ездил в Третий рейх по самодельным визам, сфабрикованным немецкими товарищами в Германии, он своего вида на жительство не менял, кроме как под новый год, что обязательно для всех иностранцев.

Правда, много треволнений принес Скарбеку его просроченный польский паспорт, но итальянцы об этом и не подозревали. Перед тем как срок паспорта истек, Скарбек выехал в Сорренто и оттуда послал письмо в польское посольство, в Рим. Он сообщил, что болен, лечится на курорте и просит продлить паспорт. К письму он приложил чек на тысячу лир для оплаты телеграфных расходов, связанных с его просьбой. У Скарбека были основания желать, чтобы паспорт не отсылали в Харбин, где его выписали и где была поставлена последняя выездная виза. Он хотел, чтобы все паспортные данные, включая номер и дату, проверили по телеграфу. Все телеграфные расходы составили едва сто пятьдесят лир. Но если бы

Скарбек не послал в посольство такой внушительный чек, его просьба, скорее всего, не была бы выполнена. Всегда нелишне напомнить посольству или полиции, что они имеют дело с богатым человеком...

Скарбек охотно и часто рассказывал, что у него была фабрика в Китае, а когда там началась революционная смута, он фабрику продал, решил отдохнуть от крупных дел и приехал в Италию. Он выбрал Италию по совету берлинского профессора, чтобы полечить здесь сына. У мальчика небольшое искривление позвоночника, его полезно подержать под итальянским солнцем, ему нужны морские купания. От Турина рукой подать до целебных пляжей.

Было у Скарбека свое маленькое увлечение, которое помогало ему отдыхать от перегрузки всякими делами в «Моменто» и за его порогом, — в задней комнате при ателье стоял токарный станок по дереву, и Скарбек любил столярничать. Он смастерил два стула, телефонный столик, табуретку для кухни, сам выточил крокетные шары, молотки. Мальчику противопоказаны все игры с резкими движениями, и поэтому Скарбек, как только обосновался в Турине, оборудовал во дворе «Моменто» площадку для крокета. Польские гости увлекались этой игрой.

39

Джаннину ошеломило официальное извещение из туринской тюрьмы: ей разрешено свидание с гражданином Паскуале Эспозито. Она не знала, при каких обстоятельствах арестован Кертнер, и понятия не имела о том, что арестован отчим. И она и мать были уверены, что Паскуале находится в плавании или еще собирает самолеты на испанском аэродроме.

Свидание разрешалось воскресное, а извещение Джаннина увидела только во вторник вечером, когда вернулась к себе из конторы.

Паскуале сидел как на иголках и ждал свидания с дочерью. Ему обещали свидание в воскресенье. Его привели в комнату свиданий, посадили на табуретку.

Он ждал, ждал, ждал, сидя у решетки, а дочь не пришла.

— Вы обещали выпустить ее из тюрьмы! — кричал назавтра Паскуале в кабинете низенького следователя. — Меня обманули. Какая подлость!

— Ваша дочь на свободе. Даю честное слово офицера!

— Значит, ее так мучили, что она не смогла дойти до комнаты свиданий. Или не хотела огорчать меня своим видом. Может, она стала калекой? Вы, только вы виноваты!

— Ваша дочь совершенно здорова. И отлично выглядит.

— Почему же она не пришла на свидание?

Следователь пожал хилыми плечами:

— Пошлем новую повестку. На будущее воскресенье...

В будущее воскресенье Джаннина робко вошла в комнату свиданий. Комната перегорожена двумя решетками; они образуют коридор, по которому взад-вперед ходит надзиратель. Коридор узкий, но достаточно широк для того, чтобы руки, протянутые сквозь решетки, не дотянулись одна до другой.

Впервые в жизни Джаннина переступила порог тюрьмы, впервые оказалась в комнате свиданий.

То ли ее пустили раньше времени, то ли с опозданием приведут Паскуале? Пока же она сидела на скамейке, оглушенная всем, что здесь слышала. Она ощущала и свой и чужой страх, ей стало страшно от чужих слез, криков чужих женщин, кричащих каждая свое и перекрикивающих друг друга.

Комната без окон. Под потолком висит яркая лампа без абажура. Лампа отбрасывает на стены резкие тени от решеток, и потому вся комната — как большая клетка.

Посредине комнаты, в узком простенке между двумя стенами-решетками, висит большой портрет Муссолини в золоченой раме. Портрет привлекает к себе внимание еще и потому, что непомерно велик для комнаты-клетки. Отсутствующим взглядом смотрит дуче на людей, разлученных между собой его режимом, его диктатурой. Джаннине показалось, что не один тюремщик, шагаю-

щий по узкому коридору, подслушивает обрывки разговоров, цепким взглядом ощупывает арестантов и их близких. Ее не покидало ощущение, что тюремщиков в комнате двое, а шагающий между решетками только состоит подручным у дуче...

У пожилой женщины истекло время свидания, надзиратель подталкивал ее к выходу, а она делалась все сварливее и крикливее:

— Повесили фальшивые часы! Не могло так быстро пройти пятнадцать минут! Полгода не виделись! Чтоб тебе самому никогда не увидеть своих детей!

Молодая женщина безмолвно смотрела через две решетки на любимого. И тот не отрывался от нее взглядом. Не было бы двух решеток и свидетелей, любящие молодые люди, наверное, устали бы от поцелуев, ласк, объятий. Без решеток и свидетелей, им не наговориться было бы ни за день, ни за неделю. Эта пара вела себя на свидании непринужденно. Им не нужно было делать вид, что они не замечают надзирателя, тот на самом деле был им глубоко безразличен.

Джаннина полюбовалась и красивой беременной женщиной. Казалось, той к лицу беременность, ее украшают большой живот и налитые груди. Все обращали на нее внимание, а тюремщики относились к беременной с подчеркнутым уважением.

Монотонным голосом надзиратель напоминал время от времени, что свидания длятся пятнадцать минут и что запрещены всякие тайные переговоры, как словесные, так и с помощью жестов.

И этого самого надзирателя молодая мать упросила пустить мальчика в коридор между решетками. Мальчик вошел в коридор и бросился к отцу. Отец протянул сквозь решетку обе руки, обнял малыша, и тот судорожно, между прутьев, целовал отца в жесткую щетину.

«Страшно мальчику смотреть на отца сквозь решетку. Но еще мучительнее такое свидание для отца — не взять сына на руки, не приласкать по-настоящему...»

И Джаннина с острой жалостью подумала о Паскуале, которого сейчас приведут. Им не разрешат поцеловаться даже через решетку, она не маленькая девочка,

на такое послабление могут рассчитывать только дети, когда дежурит сердобольный надзиратель.

Глядела во все глаза, поджидая, когда же появится отчим, и все-таки не заметила, как он вошел в противоположную дверь за двумя решетками.

— Я тебя, доченька, ждал еще в прошлое воскресенье...

— Слишком поздно увидела письмо из тюрьмы. Сперва уехала на два дня домой, в Турин. А когда вернулась в Милан, ночевала в конторе, на диване. После обыска был страшный разгром! Убирали два дня подряд...

А Паскуале невпопад говорил ей всякие нежности, вглядывался с любовью.

Как мужественно она держится! Хорошо хоть, палачи не попортили ей лицо. Но куда же в таком случае нанесены побои? Сам видел кровавые следы...

Он все не решался спросить, только кривил пересохшие губы.

А Джаннина, пользуясь тем, что надзиратель отошел в дальний конец решетчатого коридора и уселся там на скамейку, принялась со всеми подробностями рассказывать о невеселых новостях, которые обрушились на нее дома.

Отец, конечно, помнит, что в их доме, на той же лестнице, этажом ниже, еще в начале лета поселился вертлявый субъект, контролер трамвайного парка. Он часто бывал в подпитии, часто стучался к матери, прося в долг то бутылочку кьянти, то несколько сигарет, то сковородку, то соус «магги» для пасташютта, то горсть оливок. Был он назойлив, болтлив и неприлично любопытен. Потом сосед надолго исчез, а недавно снова объявился. Постучал в дверь, передал матери привет от Паскуале («Чтоб я такому негодяю доверил свой привет? Ах, падаль!»), сказал, что работает теперь в Генуе контролером в портовой таможне, часто встречает Паскуале на пристани, при погрузке. Паскуале просил привезти ему из дому свитер, задули холодные ветры («Чтоб негодяю продуло печенки и мозг в костях!»). Мать послала свитер и шерстяные носки, а в придачу — сладких пирожков («Чтоб негодяй ими подавился!»)

В тот самый вечер, когда в Милане был арестован шеф, у них дома, в Турине, устроили обыск. И кто же верховодил во время обыска, покрикивая на двух чернорубашечников и даже на младшего полицейского офицера? Тот самый контролер из трамвайного парка или из портовой таможни, который жил на их лестнице, этажом ниже. Только во время обыска мать сообразила: какой же он трамвайный контролер, если никто ни разу в трамвае его не видел? («Я тоже ездил на работу трамваем. Тот негодяй никогда не проверял билетов».) Он только носил фуражку трамвайщика, а его не видели ни в трамвайном депо на улице Бьелла, ни в депо на улице Трана.

Как только Джаннина приехала домой в Турин, ее вызвали в тайную полицию, вернее сказать, за ней прислали полицейский автомобиль. Самая большая неожиданность — и в участке торчал их вертлявый сосед. Именно он и принялся допрашивать.

Джаннина поклялась головой матери и ранами Иисуса Христа, что ничего о работе отчима сказать не может, и ее в конце концов отпустили. Черные рубашки в Турине знают, кто ее жених, и, может быть, это сыграло свою роль. Зачем огорчать уважаемую, богатую семью? Старший их сын, брат Тоскано, — заслуженный участник похода на Рим. В отеле, принадлежащем будущему свекру Джаннины, в каждом номере висит портрет Муссолини.

А после допроса вертлявый субъект, кривляясь и цинично хохоча, протянул Джаннине бумажку.

— Что это? — спросила Джаннина.

— Расписка, ее нужно подписать. Вот тебе ручка, а вот держи деньги.

— Деньги? За что?

Вертлявый объяснил, что это компенсация за ее белье, которое было реквизировано для нужд фашистской империи. Чтобы придать своим словам больший вес, Вертлявый в черной рубашке подобострастно посмотрел на портрет дуче, висевший на стене.

— Но при чем тут наша империя? Разве это шлюха без белья, которой нечем прикрыть свой срам?

— Нам потребовалось батистовое кружевное белье. То самое, которое отчим подарил тебе в день ангела.

— Вы реквизировали белье? Почему же ни я, ни мать не знали?

Выяснилось, что Вертлявый запасся ключом от их квартиры и выкрал из комода коробку с кружевным бельем. Наверное, мать проговорилась про подарок, а он утащил белье, когда матери не было дома.

Джаннина с возмущением швырнула лиры на стол, а Вертлявый сказал:

— Напрасно швыряешься, синьорина. Ты ведь только невеста, а не жена богача Тоскано. В конверте, кстати сказать, четыреста пятьдесят лир, вдвое больше, чем стоят твои прозрачные сорочки. Такие сорочки служат у девиц не столько для того, чтобы прикрывать свои прелести, сколько чтобы показывать.

Отчиму нетрудно вообразить, с какой бранью обрушилась Джаннина на Вертлявого. О, он еще ее не знает! Она выругала фальшивого трамвайщика-таможенника последними словами, она и сама не знала, что умеет ругаться, как уличная девка:

— Я умолю бога, чтобы он ослепил тебя. Ты никогда в жизни не увидишь женских прелестей. Даже если все мы начнем носить летние платья на голое тело и все платья будут просвечивать. . . С каких это пор у нас в тайной полиции завелись храбрые кавалеры, которые залезают под юбки невинных девушек и снимают с них последнее белье!

Джаннина долго бушевала и ругательски ругала Вертлявого, ругала темпераментно, натурально, но не слишком искренне. Ее не так огорчила пропажа белья, тем более что за 450 лир можно купить не полдюжины, а дюжину батистовых сорочек. Но после всего, что произошло в конторе, дома и в тайной полиции, — чем еще она могла, совсем беззащитная, защитить себя, кроме как бабьей сварливостью?

Она увлеченно, совсем по-девчоночьи, пересказывала сейчас, как отругала Вертлявого, но при этом была недостаточно внимательна к отчиму.

Как только зашла речь о рубашках, Паскуале подавленно замолчал, угнетенный смутной тревогой, подступившей к самому сердцу.

— Ты меня простила?

— За что, отец?

— Из-за меня, из-за меня ты пострадала.

— Я каждый день молюсь богу и прошу его, чтобы это недоразумение с тобой и моим шефом поскорее выяснилось.

— Ты лишилась работы?

— Пока синьор Паганьоло меня не уволил. Конечно, конторскую работу в Милане найти нелегко. Найти работу труднее, чем ее потерять. Лишь бы не потерять свое доброе имя!

— Поверь, я это сделал только ради тебя. Когда я узнал, что тебя схватили черные рубашки, что тебя жестоко пытают...

Джаннина от удивления даже отступила на шаг, затем снова прильнула к решетке и крикнула так, что соседи встрепенулись, а тюремщик вскочил со скамейки:

— Кто тебе сказал?

— Разве неправда?

— Подлая ложь.

— А твое окровавленное белье?

— Зачем они тебя обманывали? — ответила она в тревожном недоумении вопросом на вопрос.

Паскуале, потрясенный новостью, онемел. Новость была бы радостной, если бы он уже не понял, что стал жертвой провокации.

— Что им нужно было от тебя, отец? — все громче кричала Джаннина. — Чего они домогались? Надеюсь, ты не поддался? Не запятнал своей чести? Я могу гордиться тобой, как прежде?

Он двумя руками судорожно ухватился за прутья решетки так высоко, как только мог дотянуться, и поник головой.

— Ты ничего не сказал лишнего?

С большим трудом поднял он голову, уткнулся лицом в вытянутые руки.

В эту страшную минуту он хотел, чтобы решетки между ним и Джанниной были гуще, чтобы можно было спрятать лицо. А еще лучше, если бы его и дочь разделяли сейчас не две решетки, а три, пять, десять...

Но все равно ему некуда было спрятаться, укрыться от вопроса:

— Значит, это ты?

Он и сейчас не мог собраться с силами, поднять веки и посмотреть на дочь. Только поэтому он не увидел, как сильно она изменилась в лице — ни кровинки. Он ждал от нее слез, которые облегчили бы его совесть, но не дождался этих слез.

Она повернулась и пошла к двери, низко опустив голову.

— Джаннина, девочка моя! — закричал он вслед, но она не обернулась на крик, от которого вздрогнул тюремщик.

А больше никого крик не всполошил.

Мрачная комната, перегороженная двумя решетками, — эти решетки не раз были смочены слезами и слышали всякое, в том числе и крики вдогонку в самые трагические, последние мгновения, когда кончается свидание и начинается разлука — иногда короткая, иногда многолетняя, а иногда вечная...

Джаннина отвратила от Паскуале свой взгляд, свой слух и свое сердце.

40

Кто в августе занимался оформлением паспортов? Некто узнал в дирекции райзебюро «Вагон ли», что этот конторщик работает теперь в филиале бюро на вокзале Хайлигенштадт, найти его было нетрудно.

Конторщик взял в руки паспорт Скарбека, сличил фотографию с владельцем, внимательно вгляделся в визу и заявил:

— Никогда не держал этого паспорта в руках. Иначе на нем стоял бы мой особый, малозаметный и никому не известный знак. — Конторщик резко повернулся к Скарбеку: — Как выглядел человек, которому вы сдавали паспорт?

Скарбек неуверенно описал внешность этого человека; он сумел вспомнить лишь самые общие его черты.

— Значит, вы попросту забыли, как выглядел тот человек, — сказал Некто с явным неудовольствием.

— Я же вам сказал, — настаивал Скарбек. — Не брюнет, но и не блондин, глаза не голубые, но и не черные, круглолицый, средних лет, среднего роста, с брошкой на галстуке. А у господина, с которым я только что имел честь познакомиться, седые виски. — Скарбек повернулся к конторщику и спросил озабоченно: — Может, у вас недавно умер кто-нибудь из близких? Или случилось другое горе?

— У меня-то, слава богу, все здоровы, — сказал конторщик враждебно.

Разговор происходил не в помещении райзебюро — там много публики, толчея, — а перед входом в бюро на вокзале. Некто вызвал туда конторщика. Скарбек с подчеркнутым смущением, извинившись несколько раз, попросил герра конторщика снять на минутку шляпу — он хочет еще раз себя проверить.

Конторщик даже покраснел от возмущения, но с ироническим послушанием снял шляпу и уже не надевал ее. Скарбек отошел вбок, чтобы поглядеть на конторщика еще и в профиль, а затем уверенно подтвердил:

— Нет, это не тот господин, с которым я имел дело в августе.

Не в интересах Скарбека было бросить тень подозрения на конторщика, который мог бы только навредить, если бы ему пришлось доказывать свое алиби.

Конторщик отвел герра Некто в сторону. Они вдвоем прогуливались, беседуя и поглядывая все время в сторону Скарбека. По злобному лицу конторщика было ясно — он полон подозрений и делится ими с сыскным агентом.

— Может, у вас в прошлом году был какой-то помощник? — спросил Скарбек, когда гуляющие наконец приблизились.

Некто торопливо поддержал Скарбека. Как же он сам не догадался задать такой простой вопрос?

— Да, у меня был помощник, — подтвердил конторщик.

— Служит в райзебюро?

— Нет, он уехал в Испанию. Воюет там с большевиками. Предаиный партайгеноссе...

— Гм, тот, кто крупно играл в тотализатор? — вспомиил Некто.

— Не берусь упрекать человека, если ему на ипподроме так везло.

Скарбек сделал вид, что не придает разговору о помощнике большого зиачеиия, что слушает вполуха, нарочио перевел разговор иа другую тему, но он уже поинмал, что ему повезло, ему невероятно, феиоменально, почти сверхъестественно повезло, потому что существует на белом свете и отсутствует в Вене какой-то помощник коиторщика, а на него можио все свалить.

Да, иногда Его Величество Случай вмешивается в развитие событий и предопределяет успех или провал дела. Но чтобы одна иесчастливая случайность так совпала с другой счастливой — такого Скарбек не поминл. Надо же, чтобы этот писарь Гофман, или кем ои там числится в германском коисульстве, приехал в Веиу, и надо же, чтобы помощник конторщика уехал из Вены!

Скарбек отлично зиал — ие просят визу в коисульстве и ие сдают туда свой паспорт, если в паспорте уже имеется самодельная виза. Поляки в таких случаях говорят: «Сам себе саван подал». Чтобы не играть с огнем, нужио было добыть совсем другой паспорт. Как бы искусио ии была подделана виза, есть у паспортистов свои, иеизвестные даже пограничникам, секретные зиаки на паспортах, которые нельзя вызнать.

Но в этот раз Скарбек, при всей его сверхосторожности, никак не мог ждать, пока товарищи пришлют ему из Германии иовый «сапог». Скарбек, еще до выезда из Турина, узиал, что Гофман в германском консульстве в Вене больше не работает. Поездку же нельзя было откладывать ни на один день. Могли погибнуть все плоды деятельиости Этьена, полученные с таким трудом... Надо было как можно скорее выехать в Германию и как можно быстрее вернуться. Нельзя надолго оставлять Помпео одиого в фотоателье, ои и не берется за художествеииые фотопортреты. А то все красотки Турина забудут дорогу в «Момеито».

— Если бы одна только подпись Гофмана, — продолжал возмущаться Некто. — Печать тоже поддельная. Германский консул обязательно подымет скандал. Полицейпрезидиум задерживает вас в Вене до выяснения.

— Отель здесь хороший. И дороговизна меня не смущает. Но прошу учесть, что я стеснен временем. Провести рождество в дороге... Подпись не та, печать не та. — Скарбек обратился к конторщику: — Но в книгах вашего райзебюро должно быть зарегистрировано мое поручение.

— Мы такой регистрации не ведем, — мрачно ответил конторщик.

— Вот где возможность для злоупотреблений! — воскликнул Скарбек.

Некто тоже истолковал поведение конторщика как желание выгородить своего помощника.

На обратном пути Скарбек заявил агенту Некто:

— Если я буду нужен, вы найдете меня в отеле. Понимаю, у вас много дел, но вижу — хотите помочь мне скорей уехать. Прошу не обидеть меня отказом. Вот еще деньги на автомобиль, чтобы разъезды не отняли у вас слишком много времени.

Некто заколебался, и Скарбек вынудил его к согласию логичным доводом: расходы не станут больше оттого, что тот будет ездить по городу один, а не вдвоем. Скарбек вынул бумажник и отсчитал 200 шиллингов. Некто аккуратно вложил ассигнации в старое портмоне времен Франца-Иосифа и обещал:

— Остаток верну.

Таксомотор подъехал к отелю. Скарбек вышел, договорились, что завтра утром Некто позвонит...

Звонок раздался ровно в девять утра.

— Говорит инспектор Ленц, — послышался в трубке голос Некто. — Вам следует срочно явиться в полицейпрезидиум. Может, еще сегодня удастся получить визу.

Инспектор Ленц, он же Некто, встретил Скарбека как старого приятеля:

— Вас снова примет доктор Штрауб.

У той же тяжелой дубовой двери поджидал конторщик райзебюро, он по-прежнему смотрел на Скарбека

враждебно, а тот притворялся, что не замечает его антипатии.

— Как спали? Как самочувствие? — осведомился инспектор Ленц, подходя к той же заколдованной двери.

— Долго не мог уснуть из-за этой истории. Я рассказал жене о случившемся, и она довольно логично, а для женщины, можно сказать, даже очень логично заметила: «Невозможно, чтобы фальшивую печать поставили только в твоем паспорте. Видимо, этот жулик мастерил такие же визы другим! Значит, полиции легче будет его выловить».

— Конец ниточки у нас в руках, — заверил инспектор Ленц.

Наконец доктор Штрауб вызвал Скарбека и Ленца к себе, а конторщика попросил подождать в коридоре.

— Вы твердо уверены, что вам оформлял визу не тот, кто ждет в коридоре? — спросил доктор Штрауб.

— Вы мне оказываете большое доверие, доктор, — ответил Скарбек. — Между прочим, у нас в коммерции тоже многое основано на личном доверии. Честное слово иного коммерсанта надежнее, чем вексель. Тем паче я не могу злоупотреблять вашим доверием, не могу бросить тень на чью-то честь только для того, чтобы избавиться от непредвиденных хлопот. Ткнуть в человека пальцем и заявить: «Это он!» — не для моей совести. И положа руку на сердце я заявляю, что этому конторщику паспорта не вручал.

Доктор Штрауб снова повертел в руках паспорт.

«В самом деле, зачем богатому пану нужна фальшивая виза, если он ездил и сейчас едет под своим именем, по своему паспорту, со своей семьей? Нелогично!»

— Такое жульничество имеет смысл только в одном случае, — сказал доктор Штрауб убежденно. — Когда нет возможности получить визу легальным путем. Германский рейх не хочет быть гостеприимным без разбора. Теперь приезд многих лиц стал нежелательным по политическим, расовым, национальным причинам.

— Занятия коммерцией давно отучили меня от политики. Но думаю, в данном случае происшествие объясняется не политикой, а коммерцией...

Штрауб не спешил согласиться со Скарбеком, и тогда тот обратил внимание доктора, что уплатил в августе за визу в райзебюро «Вагон ли» 72 шиллинга, а оказывается, виза стоит только 3 марки 80 пфеннигов. Только сейчас узнал! Значит, кто-то присвоил себе всю разницу. Вот кто-то, кому очень нужны были деньги, и рассудил: зачем отвозить деньги в консульство, если можно обойтись фальшивым штемпелем и воспроизвести хорошо знакомую подпись Гофмана? А скольким господам ежедневно в разгар туристского сезона оформляли выездные визы в Третий рейх? И кто знает, со скольких господ неправильно взыскали налог?

Инспектор Ленц счел нужным доложить доктору Штраубу, что конторщика в прошлом году некоторое время замещал его помощник. Помощник уволился из райзебюро в начале октября. Тот молодой человек часто играл на тотализаторе и, по словам конторщика, жил не по средствам.

«Бог мне простит, если я все свалю на того молодчика, — усмехнулся Скарбек про себя. — Он поскакал на помощь Франко, но на этот раз поставил явно не на ту лошадку... Может, его уже на всю эту и загробную жизнь проучили республиканцы?»

— Вам еще придется подсчитать, сколько рейхсмарок положил в свой карман этот любитель резвых лошадей. Вот в Китае не могло бы возникнуть такого злоупотребления. Как там взимается налог? Гербовые марки наклеиваются непосредственно на счета, на векселя, на паспорта...

— Езжайте в германское консульство, к вице-консулу Мюльбаху. Я туда сейчас телефонирую, и вам дадут визу.

— Очень вам благодарен. К сожалению, коммерческие дела не позволяют мне дольше задерживаться в Вене, а в Гамбурге меня ждут на рождественские праздники. Правда, не совсем бескорыстно. От меня ждут свадебного подарка для двоюродной племянницы. Я уже заказал подарок в берлинском универсальном магазине «Кауфхауз дес Вестенс». Вам не приходилось там бывать? Станция метро Виттенбергплац. Солиднейшая фирма... Простите за нескромный вопрос: у вас, доктор, есть

двоюродная племянница? Нету? Хочу поделиться с вами одним наблюдением: чтобы узнать самых дальних родственников, достаточно разбогатеть. Тут есть свой точный закон: взаимное тяготение родственников друг к другу прямо пропорционально их массе и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними...

Доктор Штрауб с удовольствием посмеялся.

Германский вице-консул Мюльбах уже был в курсе дела. В кабинет вошел канцелярист и сказал:

— Это вчерашняя история.

Скарбек сделал в присутствии шефа учтивое замечание: не надо было вчера, до выяснения всех обстоятельств, говорить о его паспорте во всеуслышание в приемной, где было много публики. Он верит, что афериста найдут, по крайней мере доктор Штрауб его в этом заверил, видимо, у него и в самом деле уже есть в руках какая-то ниточка...

Вице-консул приказал канцеляристу выдать визу. Канцелярист взял паспорт, долго его изучал и, наконец, сказал:

— Мой почерк прекрасно подделан. А вот подпись Гофмана никуда не годится, топорная работа.

Но особенно бурно канцелярист возмущался тем, что с клиента было получено в августе 72 шиллинга, в то время как за визу взыскивается всего 3 марки 80 пфеннигов.

— Но я-то хорош! Уплатил семьдесят два шиллинга и не заметил, что меня обжулили. Не коммерцией мне заниматься, а играть в лото! — издевался над собой Скарбек.

Из консульства он поехал назад в райзебюро «Вагон ли», заказал билет себе в Гамбург, жене и сыну до Праги, тем же поездом.

41

Через три дня Кертнера вновь вызвали на допрос. За столом сидел новый следователь, а в кресле возле стола Кертнер увидел знакомого доктора юриспруденции. В петличке у него фашистский значок.

Когда конвойные вышли, доктор отвел глаза и сказал:

— Я сожалею о случившемся. Больше такое не повторится.

Доктор подошел, протянул руку Кертнеру и попросил извинить за несдержанность.

— Нет. — Кертнер отступил на шаг и заговорил по-немецки: — Мы не в равных условиях, и подать вам руку не могу. Я мог бы простить неграмотного карабинера, но не доктора юриспруденции. Это вы преподали урок римского права своим боксерам тяжелого веса. — Кертнер сплюнул кровь.

Доктор торопливо вышел из комнаты, а Кертнер успел заметить пренебрежительную улыбку, которой его проводил новый следователь. К чему относилась улыбка — к опрометчивой злобе начальника или к его скоропостижному раскаянию?

Следователь заговорил по-французски. Кертнер отрицательно покачал головой. Следователь перешел на английский — безуспешно. Неожиданно прозвучал какой-то вопрос на ломаном русском языке, но Кертнер пожал плечами — не понимает.

Пришлось следователю поневоле вернуться к немецкому, который он, по-видимому, знал слабо и старался его избежать. А Кертнер нарочно заговорил по-немецки сложными витиеватыми фразами и очень быстро. Следователь вспотел, лицо его было в испарине, он мучительно подбирал немецкие слова, а Кертнер при этом подавлял в себе желание подсказывать ему.

И лишь после этого Кертнер с безупречного немецкого перешел на плохой итальянский.

Новый следователь также начал с вопроса о ключах от сейфа в «Банко ди Рома», но весьма спокойным тоном. Может, просто хотел продолжить допрос с того пункта, каким он закончился позавчера?

Кертнер упрямо и зло повторил то, что сказал Коротышке, а новый следователь в ответ спокойно закурил сигарету, протянул пачку Кертнеру, тот отказался. Следователь начал рассказывать о дьявольски сложных замках в банковских сейфах Милана и вдруг спросил:

— Хотите знать, как взломщика сейфов называют русские?

— Интересно, как?

— Укротнтель медведей.

— Для русских это даже остроумно! — рассмеялся Кертнер.

В самом деле смешно: весьма вольный перевод русского слова «медвежатник»!

Следователь рассказал про знаменитого взломщика сейфов, который сидел в миланской тюрьме еще во время первой мнровой войны. Итальянцы узнали, что в австрийском посольстве в Берне хранятся важнейшне военные документы. Взломщику обещали свободу, если он сумеет проникнуть в то посольство, вскрыть сейф, похитить документы. Взломщнк согласился, терять ему было нечего. Его переправнли в Швейцарию, он снял комнату напротив австрийского посольства, досконально нзучнл распорядок дня всего персонала и в удобное время проник в здание. Он открыл сейф, выполннл поручение, прнвез секретные документы в Италию, а все лежавшие в сейфе швейцарские франкн, согласно условию, присвоил. Нечего и говорнть, что в тюрьму взломщик уже не вернулся.

— Хочется думать, что сейчас нтальянцы с бóльшим уваженнем относятся к секретным сейфам моей родины, — сказал Кертнер.

— Во всяком случае, мы не более любопытны к вашим, чем вы к итальянским секретам, — отпарировал следователь.

Трехдневный перерыв в допросах был вызван тем, что вскрывали сейф в «Банко дн Рома». Второй следователь, в отличие от первого, понимал: Кертнер не стал бы помальчишескн прятать ключи, если бы в сейфе на самом деле хранилось что-то секретное; всякий сейф можно в конце концов открыть. На этот раз пришлось автогеном вырезать замок в бронированной дверце, что удалось сделать только на третий день.

Новый следователь ннчуть не удивился, когда узнал, что ничего нзобличающего в сейфе не обнаружено.

Кертнер уже понял, что у нового следователя совсем другой уровень мышлення, нежели у тщедушного коллегн, никудышного пснхолога. Новый следователь дотош-

нее, догадливее, умнее предшественника, и разговаривать с ним будет нелегко.

Коротышка не спускал с Кертиера колючего взгляда, а новый следователь избегал того, чтобы допрашиваемый читал ход его мыслей, и, наоборот, сам прятал глаза за дымчатыми стеклами. Не про таких ли людей Достоевский где-то сказал: «С морозом в физиономии»?

У нового следователя аккуратная, круглая, похожая на тонзуру, лысина, окаймленная густыми, уже седеющими волосами — будто темя его выбрито, будто он священнослужитель и лишь перед допросом снял сутану, а мундир его — не более чем маскарад. На толстом пальце перстень с крошечным черепом, и новый следователь играет своим перстнем, внимательно его разглядывает, будто видит череп впервые.

— А куда делся скафандр, который вам продали в Монтечелио весной этого года? — неожиданно спросил следователь.

Кертиер оценил опасность вопроса и ответил без запинки:

— Чемодан со всеми кислородными доспехами лежал на моем шкафу. Я давно не пользовался герметической маской.

— Никакого чемодана на шкафу не было.

— Значит, его унесли ваши сотрудники при обыске.

— Для чего?

— Для того, чтобы вы могли утверждать — чемодана не было. . . Я уже имел честь поставить вас в известность о том, что ни за одну вещь, «найденную» вашими полицейскими при обыске в мое отсутствие, и ни за какую пропажу я отвечать не намерен. Пользуясь моим арестом, натаскали в дом и включили в опись какие-то чужие чертежи, бумаги, черт знает что. Уже сам обыск в отсутствие хозяина — провокация. Убежден, что если бы вы, синьор комиссар, занимались моим делом с самого начала, вы не допустили бы такого беззакония и не поставили бы себя тем самым в затруднительное положение.

Следователь и так раздражен топорной работой сыщиков, а Кертиер умело использовал для своей защиты все нарушения закона при аресте и обыске.

Не было ничего особенно подозрительного в том, что Кертнер отправился весной нынешнего года на опытный авиазавод и заказал себе скафандр для высотных полетов. Большинство самолетов не имеет герметичных кабин, а без кислородной маски высоко летать нельзя. В самом скафандре ничего особо секретного нет, в специальных журналах уже появились подробные технические описания, фотографии, чертежи. Но для решения задачи, которая стояла перед Кертнером, ему нужен был образец. Этот кислородно-дыхательный прибор с герметичной маской («струменто делла респирационе артифичале») уже несколько лет применялся в Италии при выполнении высотных полетов. В частности, этой маской и прибором пользовался летчик Донати при своем рекордном полете в апреле 1934 года на высоту 14,5 км. Сконструировал маску профессор Херлистка, доцент физиологии при Туринском университете, а также ученый консультант при опытном центре в Монтечелио. Минувшей весной Кертнера можно было часто видеть там на аэродроме. Не раз и не два он сам подымался на высоту. Но затем он счел, что кислородная маска еще нужнее Старику, переправил ее с оказией в Центр, и с тех пор в чемодане на шкафу лежали носильные вещи, которые вовсе не носят на больших высотах.

«Лысый видит меня насквозь, — отметил про себя Этьен. — И понимает, что я точно так же вижу насквозь его. Хотя я очень стараюсь скрыть это...»

И чем очевиднее становилось, что новый следователь — дока, тем Кертнер становился спокойнее. Он принял непринужденный вид, — наконец-то ему представилась счастливая и такая редкая для коммерсанта возможность откровенно поговорить с умным человеком о своем деле. Великая наука самообладания!

Следователь начал выяснять обстоятельства последней поездки Кертнера в Испанию:

— Вы же могли поехать туда скорым поездом через Ниццу и Марсель. Зачем вам нужно было ехать пароходом через Специю да еще двое суток ждать в порту парохода «Патриа»?

— Разве вы не знаете, что пароходом, если даже ку-

пить билет первого класса, проезд в три раза дешевле, чем скорым поездом? Я не жалуюсь на бедность, но привык считать ваши лиры, как бы они ни стали легковесны. Еще отец приучил меня считать каждый шиллинг...

Иногда выгоднее сыграть роль богача, который сорит деньгами, а иногда — притвориться прижимистым, скуповатым...

Да, он много лет занимается чертежами разных моделей самолетов. Как он может не интересоваться авиационной техникой, если сам занят усовершенствованием авиационных приборов, имеет в этой области несколько изобретений и его авторство удостоверяется международными патентами? Да, он иногда проявляет любопытство, которое могут счесть нездоровым те фирмы, которые скрытничают и секретничают, что называется, на пустом месте. Он исповедует ту точку зрения, что ради общего прогресса авиации не грешно подобрать и то, что плохо лежит, то есть лежит без движения. Следователю хочется назвать это техническим плагиатом? Кертнер предпочел бы называть такой повышенный интерес к чужим чертежам творческим заимствованием новинок. Но дело, в конце концов, не в формулировках.

Да, патентами Кертнера не раз интересовались в военных министерствах его родной Австрии, Японии, Греции, Испании. Он не усматривает в этом ничего враждебного для Италии.

Советское посольство? Нет, с советскими он пока дела не имел. Вообще он хочет служить техническому прогрессу независимо от того, симпатизируют на том или другом авиазаводе Франко или Хосе Диасу, награждает ли испытателей самолетов орденами Геринг или Ворошилов. Если бы Кертнер действовал по заданию России, работал для нее, как пытался его уверить следователь маленького роста на высоких каблуках, — ну зачем бы он стал хранить у себя дома чертежи русских самолетов с грифом «Совершенно секретно»?! Бессмыслица, нелепая бессмыслица! Русские чертежи не хуже других. У русских тоже можно кое-что позаимствовать!

«Пожалуй, не нужно было мне сейчас напоминать, да еще так назойливо, об этих чертежах. Все-таки история

с русскими «совершенно секретными» чертежами не убедительная. Она сгодилась бы для первого следователя, а этого на «совершенно секретной» мякине не проведешь. . .»

Выслушав последний довод, следователь долго молчал и потирал свою круглую лысину. Может быть, все доводы, вместе взятые, показались убедительными и поколебали его уверенность? Нет, он снова стал твердить, что Кертнер может сколько угодно жульничать с русскими чертежами, заниматься техническим плагиатом, это его личное дело. Но незаконное приобретение чертежей самолетов, находящихся на вооружении итальянского воздушного флота, может принести ущерб нации.

— Я хорошо помню, что двадцать третьего октября этого года создана ось «Рим — Берлин». Но это еще не значит, синьор комиссар, что мы обязаны называть итальянским все немецкое. Разве чертежи «мессершмитта» являются государственной тайной Италии? Так могут рассуждать только люди, лишенные чувства национального достоинства. Не думаю, что немцы обвинили бы меня в государственной измене, если бы я изучал чертежи самолетов «капрони» или «фиат». Я хочу построить самолет собственной марки «кертнер» и сам буду его испытывать. Как знать, может, родится первый отличный самолет австрийской марки? Ну, поймите, это — мое увлечение, моя страсть! У меня было много неудач и ошибок, в дополнение к ним вы заподозрили меня черт знает в чем. Но я и сейчас не изменяю своей мечте!

— Мечтайте сколько угодно, но не в ущерб благородным целям и идеям фашизма!

Этьен согласно кивнул, но при этом демонстративно поднес ко рту платок и выплюнул сгусток крови.

Следователь сделал вид, что углубился в какие-то документы.

— Но даже наиболее вероятная, с вашей точки зрения, версия — это ведь еще не доказательство, — продолжал Кертнер. — Вот, например, в Париже, в Лувре, я видел статую Венеры Милосской. Есть версия, по которой правой рукой Венера когда-то поддерживала покрывало, а в левой держала яблоко. Об этом написано в сотне

книг, но это только версия. Робкая полуулыбка на мраморном лице Венеры ничего подсказать не может. Так же как если бы Венера не улыбалась, а хмурилась, как это делаете сейчас вы, слушая мои слова, но не прислушиваясь к их смыслу...

— Не очень-то вы уверенно себя чувствуете, — усмехнулся следователь, — если призываете себе на помощь Венеру, да еще без обеих рук!

Он курил, пуская кольца табачного дыма так ловко, что одно кольцо проходило сквозь другое, более широкое. Он вторично предложил сигарету Кертнеру, но тот вновь отказался, показав на свои разбитые губы. Следователь сделал свои глаза непроницаемыми.

Так или иначе, Кертнер не мог обвинить его в бестактности или отсутствии ума, а следователь, видимо отдавал должное своему противнику, и потому допрос, как он ни был далек от откровенности, проходил в духе взаимного понимания.

Во всяком случае, это была дуэль сильных противников, и Этьен понимал, что следователь тоже охотно ведет поединок с противником, который умно держится, умело притворяется невиновным, хорошо владеет собой, даже когда ему предъявляют доказательства вины.

Этьен забывал подчас, что противником следователя является он сам, собственной персоной, он судил о дуэли Кертнера и следователя объективно. И еще Этьен успел подумать во время допроса: достойным противникам удается взаимно разгадывать тайные мысли друг друга. У врагов обнаруживается такая же сила духовного зрения и такая же ясность разума, как у двух близких друзей или влюбленных, умеющих читать в душах друг у друга.

Бывало так, что следователь только успевал о чем-нибудь подумать, как Этьен угадывал его мысль и отвечал на еще не прозвучавший вопрос. И точно так же случалось следователю предугадывать не произнесенные вслух ответы Кертнера.

Неожиданно следователь протянул Кертнеру пачку «Нойе Цюрхер цейтунг» за последние дни. Газеты

разрешено передать Кертнеру: распорядился доктор юриспруденции.

Кертнер развернул газету и тотчас же уткнулся в биржевой бюллетень, будто для него на свете не существовало ничего более интересного, чем курс акций за последнюю неделю.

Следователь заметил, что Кертнер поглощен биржевыми новостями.

— А вы богатый коммерсант?

— Да как сказать... У меня есть некоторые вклады в шведском, английском, швейцарском банках.

— Большие вклады?

— Я бы назвал их средними.

— Ну, сколько на вашем счету? — следователя разбирало любопытство.

— Ну, скажем, в Англии — пятьдесят пять тысяч фунтов стерлингов, — сказал Кертнер будничным тоном.

Услышав цифру, следователь высоко поднял брови. Он все больше склонялся к мысли, что перед ним нечистоплотный делец, который промышляет тем, что поставляет разным посольствам чертежи, патенты и при этом не брезгует секретными материалами. Он понимал, в руках Кертнера денежное дело, но чтобы такие суммы...

А в конце допроса следователь, не ожидая просьбы Кертнера, сообщил, что все деньги, изъятые при аресте, будут ему сегодня возвращены. Пока ОВРА ведет следствие, он имеет право тратить деньги по своему усмотрению.

42

Часа за полтора до отхода поезда, когда Скарбек с семейством уже собирался на вокзал, раздался осторожный стук в дверь. В номер вошел вежливый господин в белом кашне.

— Герр Скарбек?

— Да.

— Я должен посмотреть вашу визу в паспорте. — Он показал значок тайной полиции.

Скарбек принялся очень долго и очень внимательно рассматривать этот значок.

— Почему вы так изучаете значок?

— Видите ли, вчера мне один господин уже показывал такой значок. Все, что я мог вспомнить, сказать, я вспомнил и рассказал полиции. Сегодня мне опять показывают значок. У меня собраны вещи. Пора на вокзал. Портье уже заказал таксомотор. А вы меня снова заставляете возиться с каким-то местным аферистом. Вас что, послал доктор Штрауб?

— Да, я пришел с ведома доктора Штрауба.

«Значит, доктор только знает о его визите, но не посылал ко мне».

Скарбек протянул паспорт, и агент в белом кашне начал листать его. Сколько там всяких виз, отметок, штампов!

— Где вы родились? — строго спросил агент.

— Если мне память не изменяет, это указано в паспорте. Жена с сыном едут в Прагу, к родственникам, а я — по коммерческим делам в Гамбург. Знаете, когда сын был маленький, он однажды задал мне вопрос: «Папа, где ты родился?» — «В Познани». — «А где родилась мама?» — «В Варшаве». — «А я?» — «А ты родился в Китае». Сын обрадовался: «Однако какое счастливое совпадение, что мы встретились все вместе».

— Я должен представить паспорт в полицию. — Агент в белом кашне даже не улыбнулся.

— Как хотите, я еду на вокзал. Вот билеты, мне еще нужно сдать багаж. Прошу вас тогда привезти паспорт к поезду. Все, что было в моих силах, чтобы помочь вам найти местного жулика, я сделал.

Неожиданно агент заговорил по-итальянски, затем внезапно задал вопрос по-русски. Если судить по ответам Скарбека, он не владел сносно ни одним языком, кроме своего родного, польского. Отвечая на ломаном русском языке, он объяснил, что родился в губернии, которая после русской революции отошла к Польше, а в юности (он сказал в «юношестве») часто слышал русскую речь.

Лннгвнстические упражнеиия агеита в белом кашне насторожилн Скарбека. Конечно, он ие простой крнминалист, птнца другого полета.

— Паспорт будет доставлен иа вокзал. Приеду иа мотоцнкле за двадцать мииут до отхода поезда.

Скарбек отправнлся иа вокзал заблаговременно, его беспокоил большой багаж. Два иосильщика потащили в багажиое отделенне кофр, два чемодаиа, круглую шляпную коробку и ящнк с крокетом.

Аика н сын осталнсь в вагоие, а Скарбек вышел иа перрон, поджндая агеита в белом кашне. В иетерпеиии Скарбек направился к выходу иа привокзальную площадь, чтобы посмотреть — не подъехал ли мотоцнкл?

Минут за пятиадцать до отхода поезда появился агент и вернул паспорт. Он так торопнлся, что ие успел выпнсать из паспорта все данные, которые его интересуют: место рождеиия, возраст, особые прнметы, постояниое местожнтельство.

— Все подробные сведення обо мне даны доктору Штраубу. Включая девнчью фамилню матери. Инспектор Ленц в курсе дела.

— Ленц сам по себе, а иам сведеиня иужны отдельио.

«Значнт, из отдела, который заиимается мошеиннками и фальшнвомонетчнками, меня передали в политический отдел», — сразу догадался Скарбек и спроснл:

— Может, меия еще ждут иеприятности в дороге? Тогда мие лучше остаться в Вене, чтобы вы могли выясиить все до конца.

— Можете спокойно ехать.

— Так в чем же дело?

— Нам иужно было сфотографировать фальшивую визу. А заодио отметнть у себя пункт вашего следования — Гамбург. — После паузы агеит сказал с деланным участнем: — Сочувствую вам, герр Скарбек. Не очень-то весело разъезжаться с семьей иа праздннкн.

— Золотой телец требует жертв. К тому же иа гамбургскую бнржу не пускают жеищнн. Самая старнниая биржа в Германнн н самое мудрое правнло. Знаете, для чего оио? Чтобы иа бнрже меньше болтали, шумели и

чтобы женщины не давали нам советов. — Скарбек заговорщицки перешел на шепот: — Биржа в Гамбурге — единственное место на земном шаре, где я отдыхаю от своей лучшей половины...

На перроне к Скарбеку подошел встревоженный носильщик и сказал:

— Вас вызывают в багажную кассу. Что-то неблагополучно с багажом.

Скарбек обменялся мимолетным, но весьма красноречивым взглядом с Анкой, стоявшей на площадке вагона, и направился за носильщиком. Анка смотрела ему вслед, слегка побледнев.

— Может, понадобится моя помощь? — предложил свои услуги агент в белом кашне и направился за Скарбеком.

Багажный приемщик встретил пассажира очень строго:

— Это ваш багаж? Он весит больше положенного. Вам необходимо доплатить девяносто четыре шиллинга.

Скарбек шумно перевел дух, вынимая бумажник. Багажный приемщик подумал, что пассажир шел очень быстро и потому запыхался. Агент в белом кашне выразил удивление по поводу того, что господин везёт с собой ящик с крокетом. Дешевле купить новый крокет, чем платить такие деньги за багаж.

— Вы, наверное, правы, — согласился Скарбек. — Но мы уже привыкли к своим шарам и молоткам... Теперь крокет снова входит в моду. Мне рассказывали, что, когда Канарис, — Скарбек несколько приглушил голос, — переехал в пригород Зюденде, его соседом оказался сам Гейдрих. Так вот, по воскресеньям после полудня адмирал с женой и дочерьми часто играл в крокет с начальником службы безопасности и его семьей...

На прощанье, уже после третьего звонка, Скарбек угостил агента в белом кашне гаванской сигарой, а сам небрежно бросил недокуренную сигару, источающую тонкий аромат, под колеса тронувшегося вагона. Это может позволить себе лишь очень богатый курильщик.

Когда поезд отошел от платформы венского вокзала, Скарбек вытер лицо и сказал со вздохом облегчения:

— Ты знаешь, Анка, мне сегодня так повезло, будто у меня было рекомендательное письмо к самому господу богу!..

43

Следователь сдержал слово. Открылось окошко в двери, охранник протянул Кертнеру деньги и попросил расписаться в их получении. Ему вернули около семисот лир, все деньги до чентезимо, изъятые при аресте, и он получил возможность тратить их по своему усмотрению.

Те, кто сидел под следствием, пользовались некоторыми привилегиями: пока виновность обвиняемого не доказана, никто не имеет права называть его преступником. А подозреваемый в шпионаже и осужденный по этой статье считается не уголовным, но политическим преступником. И как охранники ни были далеки от соблюдения законов, об этом помнили. Наконец, Кертнер все-таки иностранный подданный, охранники поневоле считались с этим, тем более что иностранец при больших деньгах. Пока у тебя в кармане кругленькая сумма, ты — барин, даже если барина бьют по морде.

Все эти дни Кертнер жил в миланской тюрьме «Сан-Витторе» со всем возможным комфортом. Он выбрал камеру на солнечной стороне и платил за нее пять лир в сутки. Камеру только что побелили, койка обрызгана мелом. Он вызвал уборщика, чтобы тот протер койку и прибрал. Белье разрешалось менять дважды в неделю. Какие еще удобства связаны с платной камерой? Войлочный матрац, подушка, умывальник с тазом и кувшином, полотенце, котелок, кружка и ложка. Койка привинчена к стене, а табуретку можно передвигать. На дверях камеры висит табличка «Строгая изоляция», но при этом Кертнера водили на прогулку.

Он отказался от убогих тюремных обедов, заказывал обеды в соседней траттории и покупал в ларьке все, что требуется: сыр, вино, папиросы, свечи, газеты, иллюстрированные журналы...

После очередного допроса Кертнер лежал в полузабытьи в своей камере, выходящей на солнечную сторону,

как вдруг с грохотом отворилась дверь и вошел охранник. Кертнеру приказали быстро одеться.

— Скорей, скорей! — торопили его, когда он шел по двору к черному закрытому автомобилю. — Бегом!

Его так скоропалительно погрузили в автомобиль и повезли, что он не успел даже зашнуровать ботинки и повязать галстук. Пришлось проделать все это на ходу, и охранники, сопровождавшие его, выразили одобрение по поводу того, как он ловко повязал галстук, не глядясь в зеркало.

Его доставили на вокзал, откуда отправляются поезда на Турин. По платформе они втроем бежали во весь дух. И едва вошли в вагон, поезд тронулся. Кертнеру и его провожатым было оставлено отдельное купе. Из-за них на несколько минут задержали поезд Милан — Турин.

Охранники болтали наперебой, и Кертнеру не составило труда узнать через несколько минут, что главное начальство ОВРА находится в Турине, что в Милане только участок, а доктор Де Лео, тот самый, с которым поссорился Кертнер, работает в Турине и приезжал в Милан специально по его делу...

Сидя у окна вагона, Этьен вспоминал все, что ему в те дни необходимо было помнить.

Что он имеет право сейчас вспоминать? Не свое детство, не свою юность, а детство и юность того, чье имя носит.

Его собственная прежняя жизнь — будто тоже одна из легенд, к которым ему пришлось прибегнуть на своем разведчицком веку. И отличается его первая легенда от всех других только тем, что ту легенду он заучил лучше, с большим числом подробностей.

Перед его закрытыми глазами проходили вереницей все, с кем он сотрудничал в последние месяцы. Ему еще предстоит очная ставка с тем, кто предал.

Не хотелось думать, что его выдал Паскуале, — скорей всего, Паскуале сам стал жертвой чьего-то предательства. А полуобморочное состояние, в котором Паскуале явился тогда в тратторию, объясняется его давней трусостью; видимо, она стала прогрессировать. Вот что

значит испугаться до потери осторожности! Когда Паскуале находится во власти страха — он все время облизывает губы.

Может быть, Блудный Сын? Этьен вспомнил, как они сблизились. За столиком в портовой таверне в Специи шел пустяшный разговор о всякой всячине. Кто-то заметил: Муссолини добился в конце концов того, что поезда в Италии стали ходить по расписанию. И тогда этот самый Блудный Сын сказал: «Я предпочел бы, чтобы поезда наши по-прежнему опаздывали». И столько в его словах было скрытой ненависти, что Этьен сразу распознал в Блудном Сыне убежденного антифашиста, не смирившегося с режимом. Да, иногда важнее не то, что человек сказал, а то — как сказал, выражение лица, его глаза.

О Блудном Сыне тоже не хотелось думать плохо, хотя его биография давала некоторые основания для тревоги. Отец — крупный судовладелец, у него свои верфи в Специи и в Генуе. Он послал сына совершенствоваться на верфи в Гамбург и Бремен, но тот не слишком увлекся судостроением, познакомился там с немецкими социал-демократами и коммунистами, проникся идеями, которые совершенно не соответствовали тому, что проповедовалось в семье молодого хозяина фирмы. Блудный Сын оказался предприимчивым, ловким, хитрым подпольщиком, чрезвычайно удачливым в выполнении самых рискованных поручений. Это он, пользуясь положением второго помощника капитана парохода, везущего в Испанию разобранные «мессершмитты» последней модели, выкрал чертежи самолетов из сейфа, а затем положил их обратно. Однажды Блудный Сын в ответ на похвалу Кертнера сказал: «Это что! Были бы у меня время и средства, я бы достал корону Виктора-Эммануила и снял с нее копию». Может, Блудный Сын не выдержал допросов, пыток и выдал товарищей, рассчитывая на то, что отец поможет освободиться своему раскаявшемуся отпрыску, разыгравшему «Возвращение блудного сына»? У отца огромные связи, огромные деньги, он много сделал для итальянского военного флота, может рассчитывать на заступничество самого дуче.

Но еще больше подозрений вызывал у Этьена муж Эрминии. Все-таки не случайно Этьен так встревожился, когда его застал в фруктовой лавке Маурицио! Красивый парень с характером, который можно определить словами «бери от жизни все». В подпольной борьбе самое опасное — когда человек любит прихвастнуть, а кроме того, часто наступает на пробку. Хвастун может легко проболтаться в компании приятелей, перед которыми ему захочется побахвалиться. Хвастовство — самый опасный порок у того, кто обязан держать язык за зубами и строго придерживаться правил конспирации. Этьен где-то читал, не помнит, где именно, скорее всего у Бальзака, что обманутые страсти, оскорбленное тщеславие, болтливость — самые лучшие агенты полиции. А сожитель Эрминии — во власти оскорбленного тщеславия, он любит вспоминать, как его в армии обошли чинами, наградами, и начинает объяснять случайному собеседнику, почему обошли — из-за симпатии к антифашистам. А долго ли проболтаться, когда бутылка виноградной водки — граппы — уже распита? Граппа, поставленная полузнакомым собутыльником, который кажется таким симпатичным и вызывает полнейшее доверие лишь потому, что щедр на угощение. А щедрость этого симпатяги весьма кстати, потому что Эрминия отказалась сегодня выдать деньги на попойку...

Остался бы Оскар, Гри-Гри или Скарбек в фруктовой лавке пить граппу с Маурицио после того, как Эрминия передала все секретные подарки?

Но, судя по допросам, Эрминия осталась вне подозрений, и Этьен терялся в догадках: как же ее сожитель мог оказаться доносчиком, если связь поддерживалась только через Эрминию? Только она знает туринский адрес, откуда тянется ниточка к Скарбеку.

«Моменто», видимо, осталось вне поля зрения ищеек. Нет никаких оснований считать, что в «Моменто» заглядывали сыскные агенты и что в фотоателье были какие-нибудь неприятности.

И все-таки очень тревожил муж Эрминии с его букетом привычек, со скользкими чертами характера, прямо противопоказанными подпольной работе...

В день прибытия Кертнера туринская ОВРА устроила ему несколько очных ставок, которые позволили судить о масштабах постигшей его катастрофы.

Он отказался признать, что знаком с другими арестованными, за исключением авиатора Лионелло, своего летного инструктора.

Первая очная ставка состоялась с Блудным Сыном, тот держался отлично.

— Вы когда-нибудь видели этого человека? — следователь кивнул на Кертнера, которого ввели в комнату.

Вот не рассчитывал Кертнер увидеть в Турине того самого следователя в дымчатых очках и с лысиной-тонзурой, который допрашивал его последние дни в Милане.

— Уверенно сказать не могу... — неуверенно произнес Блудный Сын. — Может быть, видел, а может быть, и не видел. Этот синьор не врач? Кажется, я встретил его в местной больнице, когда пришел туда проведать одну близкую знакомую. Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Вы не гинеколог?..

В тот же день состоялась очная ставка с Паскуале Эспозито. Кертнер отказался признать в нем знакомого. Кажется, он мельком видел синьора на палубе парохода «Патриа», а затем этот синьор почему-то оказался его соседом по столику в траттории у фабричных ворот «Мотта».

Кертнер несколько раз заставил Паскуале назвать свое имя и свою фамилию, недоуменно пожимал плечами и наконец сказал:

— Не обижайтесь, пожалуйста, но ваше имя мне ничего не говорит. Однако для точности мне надо было бы навести справки у компаньона. Может, вы имели дело с синьором Паганьоло, а не со мной?

Паскуале Эспозито не понимал, что Кертнер отрекается от него ради облегчения его участи, пытается выгородить его из этого дела, и разобиделся — Кертнер сторонится его, как прокаженного!

Паскуале дрожал от нервного озноба, плакал от обиды, от стыда, от отвращения к самому себе, а Кертнер наивно полагал, что Паскуале одержим только страхом. И в минуты очной ставки Кертнер не хотел думать, что

Паскуале привезли к воротам фабрики «Мотта» в полицейском автомобиле, что он явился в тратторию в роли провокатора.

Но самая большая неожиданность и самое большое огорчение ждали Кертнера на следующий день, ему устроили очную ставку с Гри-Гри.

Кертнер и не подозревал, что Гри-Гри арестован. Где и когда это произошло? Откуда Гри-Гри привезли в Турин? И какое счастье, что уже много месяцев никто и нигде не мог видеть Кертнера в обществе сухопарого, неторопливого, молчаливого Гри-Гри.

И, сидя перед столом следователя, Этьен мысленно благословил Старика за то, что тот приучил его к сверхосторожности, когда дело касалось связи с товарищами из Советской России. Как ни велико бывало искушение, как ни велика бывала нужда, Кертнер никогда не встречался с Гри-Гри по делам, связанным с приемкой продукции, изготовляемой по заказу советских импортных фирм. Приезды Гри-Гри в Милан были тем более естественны, что там находилось советское торгпредство, там работала Тамара, жена его.

Откуда у ОВРА могут взяться улики против Кертнера и Гри-Гри, если ни встреч между ними, ни переписки не было в природе?!

Кертнер не растерялся, когда оказался лицом к лицу с милым его сердцу Гри-Гри. Горькая неожиданность для обоих!

Оба чувствовали на себе испытующие, пронизывающие взгляды следователя, но лица обоих выражали только недоумение.

В ходе следствия Кертнер сочинил версию, по которой некоторыми секретными чертежами интересовался какой-то сотрудник консульства какого-то славянского государства. У него с Кертнером было два деловых свидания. Этьен так искусно разработал эту версию, что даже проницательный и дошлый следователь поверил ему. Жаль, очень жаль, что Кертнер не знает ни подданства, ни фамилии подозрительного славянина, который предпочел воздержаться от вручения своей визитной карточки. Адрес консульства не сообщил и притом

с одинаковой свободой говорил и по-сербски, и по-чешски. И вот кому-то из влиятельных сотрудников ОВРА, кажется, самому доктору Де Лео, пришла в голову мысль, что Гри-Гри и есть тот самый славянин, с которым дважды встречался Кертнер.

На очной ставке Кертнер категорически опроверг предположения доктора Де Лео. Безупречно сыграл роль постороннего и Гри-Гри.

— Тот был лысоват, с небольшим брюшком, — разочарованно процедил Кертнер. — А этот — вы сами видите...

Гри-Гри оставалось только недоуменно пожимать плечами: он долговяз, волосы у него подстрижены ежиком.

— Вы убеждены, что это не тот славянин? Может, вы его не узнали?

— Как же я, синьор комиссар, мог бы не узнать человека, который испортил мне деловую карьеру, запятнал мою репутацию и причинил столько страданий? Ну зачем бы я стал щадить того славянина, ограждать его от наказания и затруднять следствие? Совсем не в моих интересах!.. И как он ловко меня обманул! — Кертнер изобразил возмущение. — Можете поверить — не так-то легко обмануть опытного дельца, к каким я имею смелость себя относить.

Кертнер полагал, что следователя не устроит одна очная ставка с Гри-Гри и что им предстоят еще встречи

Но назавтра вообще не вызвали на допрос, а послезавтра Кертнеру стало известно, что уже сочиняют следственное заключение.

ОВРА не решилась долго держать у себя советского работника без серьезных оснований, и Гри-Гри освободили за отсутствием улик.

44

Как только поезд отошел от венского вокзала, к Скарбеку вернулось умение хорошо разговаривать по-немецки.

Агент в белом кашне испарился, но от Скарбека не

ускользнуло, что его тучный-лысый коллега ехал до чешской границы.

А после границы, когда тучный-лысый сошел с поезда, Скарбек завел разговор со старшим кондуктором. Уже в пути они решили ехать в Гамбург всей семьей, чтобы вместе провести рождественские праздники. Можно ли будет купить билеты для жены и мальчика от Праги до Гамбурга? Не могут ли возникнуть осложнения при переезде семьи через германскую границу? Старший кондуктор полистал паспорт Скарбека и сказал: жена с сыном вписаны в паспорт, виза автоматически распространяется на них, если переезд через границу одновременный. А что касается отдельного купе от Праги, то он берет все заботы на себя.

Скарбек дал старшему кондуктору деньги на два билета до Гамбурга, щедро поблагодарил его за предстоящие хлопоты и попросил лично проследить, чтобы часть багажа не была, боронь боже, выгружена в Праге. По гамбургскому билету отправлены черный чемодан и ящик с крокетом, а по билетам до Праги — серый чемодан, кофр и коробка для шляп.

Во время стоянки поезда в Праге старший кондуктор проделал все, что нужно. Но пассажир из вагона «люкс» был из тех, кому всюду мерещатся воры или недобросовестные сотрудники. Он несколько раз подходил к багажному вагону, все тревожился, все боялся, что его багаж по ошибке выгрузят в Праге.

Скарбек не был бы Скарбеком, если бы, после визита агента в белом кашне, после того, как им заинтересовалась политическая полиция, не сменил бы станцию назначения и поехал туда, куда взяты билеты. А если гестаповцы уже приготовились встретить его в Гамбурге и опекать там?

Он решил сойти в Берлине, но со старшим кондуктором об этом не заговаривал.

По приезде на берлинский вокзал Скарбек направился к багажному вагону, дал кладовщику хорошие чаевые и сказал, что дела вынуждают его сделать остановку на несколько дней в Берлине. Пассажир из вагона

«люкс» ушел с перрона, только когда тележка с его багажом проследовала в багажное отделение. Позже, не доверяя агенту отделения, пассажир из вагона «люкс» сам явился туда с двумя носильщиками. Его просили не беспокоиться, обещали прислать багаж по любому берлинскому адресу в течение часа. Но суматошный и недоверчивый пассажир предпочел, чтобы все вещи погрузили в таксомотор, которым он едет в отель на Курфюрстендамм.

Оба чемодана, кофр и ящик с крокетом водрузили на решетчатый багажник, прикрепленный к крыше. Приезжий показался шоферу «опеля» весьма щедрым, но суетливым, недоверчивым господином. В последнюю минуту он попросил покрепче привязать багаж к решетке наверху. Будто «опель» могло так тряхнуть на безукоризненном берлинском асфальте, что багаж посыплется с крыши.

Однако в Берлине, в отеле на Курфюрстендамм, Скарбек задержался не надолго. Уже следующим вечером швейцар гостиницы «Полония» на Аллеях Иерусалимских в Варшаве грузил в лифт его багаж.

Портье приветливо встретил Скарбека и сказал, протягивая ключ:

— Пану приготовлен тот самый номер, где пан останавливался в августе.

— Вежливо благодарю пана.

— Сановный пан надолго к нам?

— Хочу провести рождество в родном городе.— Скарбек заторопился к лифту, а перед тем, как войти в него, спросил у портье: — Можете прислать мне утром портного?

— Конечно, пан.

— Насколько помню, в «Полонии» меня обслуживал очень симпатичный пан...

— Пан Збышек?

— Кажется, так.

— Я пришлю его...

После завтрака Скарбек запер дверь за вошедшим в номер портным; на шее у того сантиметр, лацканы утыканы булавками.

— Пан Збышек, рад вас видеть в добром здравии. — Скарбек принялся распаковывать ящик с крокетом. — Я еще ношу пиджак, на котором вы переставили пуговицы. С того дня — ни морщинки!

Скарбек стал отвинчивать ручки у крокетных молотков, тряся их над столом. Из полых, искусно выточенных ручек посыпались кассеты с микрофильмами. Скарбек свинтил молотки, уложил их обратно в ящик, спрятал пленки во внутренний карман пиджака, застегнул его на пуговицу, снял с себя пиджак и протянул его пану Збышку:

— Прошу вычистить и выгладить, как пан это умеет делать.

Пан Збышек вышел из номера, осторожно неся пиджак на плечиках. В карманах пиджака лежали фотокопии чертежей, отправленных нынешним летом с заводов «Мессершмитт», «Фокке-Вульф» и «Хейнкель» в Италию и в Испанию.

Фотокопии чертежей возвратились в Германию, чтобы через несколько дней совершить новое и последнее свое путешествие — на восток.

45

Тоскано приехал в Милан без предупреждения, но Джаннина не выглядела удивленной. Она встретила Тоскано, сидя за пишущей машинкой, со спокойной, холодной приветливостью.

Если верить Тоскано, он явился в контору «Эврика» в рабочее время только потому, что сегодня уезжает, и притом надолго. И его ждет вовсе не увеселительная прогулка.

— Куда держишь путь?

— Наша организация оказала мне большую честь и доверие. — Он горделиво пригладил волосы и зачесал их пятерней назад. Тоскано все время помнил, что был бы еще красивее, если бы волнистые волосы не росли так низко, закрывая лоб.

Он ждал нового вопроса, доказательства ее заинтересованности, но вопроса не последовало, и он добавил:

— У меня под началом будет взвод «супердрдити». Дуче будет гордиться своими питомцами.

— Чувствуется, ты внимательно читаешь все речи дуче.

— Что же — у меня нет собственного мнения?

— Может, оно у тебя и есть. Но иногда мне кажется, что ты свое мнение взял взаймы у кого-то в фашистском клубе.

— Мы можем назвать соратником только того, чьи мысли совпадают с нашими. Эти мысли не могут разниться, они должны вплотную прилегать друг к другу, потому что сквозь щели проникает враг.

— Бриллиантин придает красивый блеск твоей прическе, но мысли у тебя причесаны еще лучше, чем волосы.

— Да, мы не стесняемся своего единомыслия. Поэтому дуче и называет нас своей опорой.

Джаннина задумалась и сказала после паузы, как бы взвешивая каждое слово:

— Опорой может служить лишь то, что способно сопротивляться.

— Однако ты за это время далеко ушла. Только не знаю, куда...

— Ты имеешь в виду годы в отряде баллила? Да, тогда я знала наизусть стихотворение Муссолини. До сих пор не могу позабыть стихотворение «Любите хлеб — сердце домашнего очага!», хотя тот хлеб за шесть лет изрядно почерствел, к нему подмешали отрубей и всяких заменителей. Да, я твердила вместе с тобой и другими фашистское заклинание: «Верить, повиноваться, сражаться!» Я тоже пела с твоими дружками песню. Как там?.. «Дуче, дуче, кто из нас не сумеет умереть?.. Обнажим свои мечи мы, как ты только пожелаешь... День наступит, и отчизна — Мать великая героев — призовет на подвиг смелый...»

— День наступил, и мы обнажили меч.

— Своим мечом вы спешите обрубить каждый палец, указывающий на зло, на ложь. Стыдно за таких итальянцев!

— Может, ты стесняешься называть себя итальян-

кой? — ухмыльнулся Тоскано. — А меня дуче научил гордиться тем, что я итальянец!

— А заодно — отучил молиться... Болтаете о защите церкви от красных, а сами... Где же ваша любовь к ближнему? Забыли католическую веру. Сама слышала, прелат говорил об этом в воскресной проповеди. — Джаннина нахмурилась, но морщинки тут же исчезли, не оставив следа на чистом лбу.

— Хорошо, что новые друзья не запретили тебе ходить в церковь.

— Мои друзья хотя бы не говорят гадостей о церкви, как фашисты...

— Многие верующие идут с нами.

— Бесчестная игра, — снова тень мимолетно коснулась ее лба.

— Сама церковь всегда так поступала.

— А Иисус Христос?

— Если о нем все время думать... — рассмеялся Тоскано.

— Тогда?

— Не те времена! Время распинать других, чтобы не оказаться распятым самому.

— Дуче все время призывает вас хвататься за оружие...

— Да, «супердрдити» — смелые ребята!

— Все зависит от того, как человек употребляет свою силу воли и свою смелость — на добро или на зло. Каждый человек обладает способностью совершенствоваться, а может, и развращаться. Ты болтаешь о церкви, а когда последний раз был на исповеди?

— Не помню.

— Потому что совесть нечиста. А я исповедуюсь каждый месяц и, ты знаешь, еще никогда не солгала. Ходить на исповедь и врать — все равно что воровать в церкви свечи. А если ты рассчитываешь на мое благословение или на то, что я буду молиться за твоих «супердрдити» и за тебя...

— Я не выпрашиваю у тебя благословения. Но знай, если бы ты не была Джанниной, тебе бы не поздоровилось. Тебя бы заставили прикусить язык!

Джанниина решительно встала, направилась к двери и раскрыла ее настежь:

— Воздуху и дуракам дорога открыта!

Тоскано понял, что в запальчивости наговорил лишнего, но извиниться не стал.

Он вышел молча, понурив голову, но не забыв перед тем поправить прическу.

46

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 88

Следственная комиссия при Особом трибунале по защите фашизма, состоящая из лиц, облеченных доверием короля и дуче, вынесла заключение против следующих лиц:

1. Конрад Кертнер, коммерсант, австриец, арестован 12 декабря 1936 года.

2. Паскуале Эспозито, мастер сборочного цеха завода «Капрони» в Турине, арестован 29 ноября 1936 года.

3. Атэо Баронтини, второй помощник капитана парохода «Патриа», арестован 12 декабря 1936 года.

4. Делио Лионелло, инструктор на аэродроме Чинизелло, арестован 12 декабря 1936 года.

(Следует еще шесть человек, арестованных одновременно с Кертнером, из числа которых трое ему вообще незнакомы, никакого отношения к нему не имеют и привлечены к делу по ошибке.)

Прочитав материалы и обвинительный акт, в котором Верховный прокурор требует у комиссии предания суду (следует семь фамилий) и оправдания (следует три фамилии), комиссия констатирует *де-юре* и *де-факто*:

В 1934 году иностранец, национальность и имя которого точно не выяснены, приехал в Италию, поселился в Милане, поддерживая связь с представителями деловых кругов, и стал заниматься военным шпионажем во вред фашистскому режиму и государству. Называет он себя австрийцем Конрадом Кертнером, но уроженцем какой страны является, точно установить не удалось. Предпринятое по этому поводу расследование позволяет

считать, что данные им о себе сведения неверны и что конфискованные у него документы, согласно которым он родился в Австрии (община Галабрунн), подделаны. Расследование по этому поводу продолжается.

Установлено, что в течение долгого времени Конрад Кертнер развивал деятельность во вред фашистской Италии и ее военному союзнику Германии, в пользу Советской России. Почти все обвиняемые, имевшие с ним непосредственный контакт, подтверждают, что он — русский, хотя является совладельцем фирмы в Милане.

Сам Конрад Кертнер отрицает, что он занимался шпионажем, но в то же время не пожелал дать никаких объяснений по поводу многочисленных документов секретного характера, преимущественно германских, а также итальянских. Документы конфискованы у него в момент ареста, а также обнаружены при обыске в конторе и дома. Конрад Кертнер отрицает, что знает других обвиняемых, имевших с ним преступные связи и доставлявших ему различные секретные документы. Исключением является Делио Лионелло, у которого Кертнер брал уроки летного мастерства.

Преступная деятельность Кертнера была обширна, он протянул свои щупальца также на Турин, Геную, Болонью, Брешию и Специю. Ему удалось привлечь ценных специалистов и опытных техников, которые состояли на службе в промышленных предприятиях, снабжающих итальянские и германские вооруженные силы.

Патриотизм и честность одного итальянца, а также усердие наших органов тайной полиции привели к тому, что осенью 1936 года лица, участвующие в этих преступных событиях, были взяты под надзор и вскоре попали в руки правосудия.

В конце августа 1936 года Джакомо Кампеджи, работавший прежде в фирме «Анджело Белони» в Специи и командированный в один из портов, в фирму «Кантиери Навали Този», чтобы руководить установкой цистерн Белони для подводных лодок, строящихся для итальянского и германского флота, будучи уволен со службы, приехал в Специю, чтобы получить окончательный расчет. Он встретился со своим старым знакомым Атэо Ба-

ронтини и в разговоре с ним выразил беспокойство по поводу своего будущего: он приобретал вскоре право на пенсионное вознаграждение, но перерывы в стаже, вызванные участием в забастовках, осложняли положительное решение вопроса фирмой «Анджело Белони». Баронтини обещал содействие своих влиятельных родственников в урегулировании этого вопроса при условии, если Кампеджи согласится оказать некоторые услуги одному лицу, лишившемуся родины после прихода Гитлера к власти. Это лицо интересовалось планами и чертежами подводных лодок, в частности германских подводных лодок, плавающих в Средиземном море или находящихся на перевооружении; речь шла о некоторых новых приборах на этих судах. Кампеджи притворился, что принимает предложение Баронтини, и обещал достать просимое. Не возвращаясь в порт, где он работал, Кампеджи отправился в Рим и донес обо всем в морское министерство. Там он получил сверток чертежей, которые касались расположения батарей и моторов для электрической тяги подводных лодок. Эти чертежи Кампеджи должен был передать Баронтини для доказательства виновности того, а затем выяснить, кто его руководители и пособники. Кампеджи действительно отправился в Специю и передал Баронтини чертежи, попросив в виде поощрительной премии и в уплату всех транспортных расходов 1000 лир. Но с поличным поймать Баронтини не удалось, и карабинеры, которые издали наблюдали за этой встречей и которым было поручено в удобный момент арестовать Баронтини с поличным, не могли выполнить своего замысла в связи с тем, что Баронтини в последнюю минуту переменил место встречи и обезопасил себя от свидетелей. Найти у Баронтини сверток с чертежами также не удалось, но зато была установлена его связь с Паскуале Эспозито на борту парохода «Патриа». Во время тщательного обыска в одном из трюмов были обнаружены упомянутые выше документы.

Паскуале Эспозито на допросах отрицал получение этих материалов от Баронтини, но выяснилось, что он действовал по поручению одного человека, которого знал как австрийца и который имел связи с иностранными

торговыми сотрудниками. При содействии Паскуале этот человек, назвавшийся Конрадом Кертнером, австрийский гражданин, был арестован 12 декабря прошлого года одновременно с группой лиц, подозреваемых в сотрудничестве с ним. Арест произошел в тот момент, когда Кертнер получил от Паскуале Эспозито пакет с документами. Их встреча состоялась в Милане, в траттории, сданной в аренду фирмой «Мотта» ресторатору Доменико Джакометти. Встреча была назначена заранее, а в пакете находились чертежи, которые Кампеджи получил в военно-морском министерстве. Свой патриотический долг Паскуале Эспозито выполнил после своего возвращения из последнего рейса в Испанию на пароходе «Патриа», где вторым помощником капитана служил Атэо Баронтини.

Обыск, произведенный на квартире и в международном бюро патентов и изобретений «Эврика», совладельцем которого являлся Конрад Кертнер, позволил конфисковать многочисленные документы секретного характера, которые выявили шпионскую деятельность, развиваемую в течение долгого времени коммерсантом Кертнером во вред итальянским и германским вооруженным силам.

Первое расследование показало, однако, что некоторые задержанные могут быть освобождены за полным отсутствием состава преступления (названы четверо, в том числе авиатор Делио Лионелло), и потому они в ходе следствия были выпущены на свободу в силу статьи 269-й Уголовного кодекса.

Закончившееся следствие дает доказательства вины всех остальных обвиняемых (следует шесть фамилий).

Следственная комиссия передает их в Особый трибунал для вынесения приговора.

Турин. 3 января 1937 года».

После того как Кертнеру было предъявлено следственное заключение, он должен был подписью своей подтвердить, что ознакомился с ним. Но, возвращая заключение, он выразил письменный протест: суду пытают-

ся подсунуть документы, чертежн, к которым он, Кертнер, не нмеет отношения, которых ни в конторе «Эврика», ин у него дома ие было и которые подброшены агентамн ОВРА прн обыске в его отсутствие.

47

Вагон прнцепнли к неторопливому товаро-пассажирскому поезду.

Кое-кто пялнл глаза на арестантов, когда нх велн по платформе, ио большннство пассажиров остались равиодушны к привычному зрелнщу.

— Ну, что он там натворнл? — спроснл, кнвнув иа Кертнера, смазчнк, который простукивал буксы.

— Иностранец. Полнтический, — сообщнл рыжнй карабннер, н разговор оборвался.

Рыжнй карабннер сндел в купе напротнв Кертиера н, пока поезд не тронулся, держал цепь от наручннков. Ннкто не отважнтся убежать в наручииках. Но такоз закон караульиой службы — пусть арестант все время чувствует, что находнтся под строгим конвоем.

Капрал, иачальннк конвоя, который сопровождал большую партню арестованных, оказался снмпатичным, вежлнвым молодым человеком. Проехалн всего иесколько станцнй, а он уже разговорнлся с арестантом, сообщнл, что фамнлня его Чеккннн, что коивой прнслан нз Рима. Увы, в последнне годы он чаще всего конвонрует полнтнческнх, а служит прн рнмской тюрьме «Реджнна чели» — сопровождает туда арестованных, перевозит осужденных нз Рима в другне тюрьмы.

Капрал прнзнался с виезапной откровенностью, что его снльно тяготнт служба. Два брата работают на шахте в Снцнлнн, сестра белошвейка, отец всю жизнь рыбачит. Дома твердят, что он, капрал, выбился в люди, но сам он считает себя неудачннком. Черт его дернул учиться в военной школе, получнть в проклятой Абнсснннн пулю в бедро, а затем поступнть в карабннеры! Это правда, что тюремщикамн илн полнцейскими чаще всего служат уроженцы Сицнлии, Сардниии илн Калабрии.

Но не потому, что люди там хуже, а им просто некуда больше деться, у них нет другого спасения от безработицы, они поневоле менее разборчивы.

Когда рыжий карабинер вышел из купе, капрал рассказал и про него. Родом он из Рима, столяр, остался без работы. А как прокормить себя, мать и сестренку? Капрал перешел на доверительный шепот и сообщил, что товарищ тоже тяготится своими обязанностями. Но что делать, оба они приняли военную присягу.

— Форма вам очень идет, — сказал Кертнер простодушно и искренне. — На платформе все женщины оборачивались.

Высокий, статный Чеккини и в самом деле очень хорош в форме карабинера — пилотка надета чуть набок, на одну бровь; белый лакированный ремень продернут под левым погоном; красные лампасы на брюках кажутся очень яркими, может быть, потому, что вшиты в черное сукно. И хотя шпоры, вделанные в каблуки, не всамделишные, фальшивые, у Чеккини такой вид, словно он еще сегодня гарцевал на лихом коне, а спешился только перед отходом поезда.

Позже карабинеры собрались поужинать и пригласили в компанию австрийца. Тому сильно досаждали наручники, и Чеккини разрешил их снять на время ужина. Австриец согласился поужинать, но с условием: завтра он угостит обедом.

Назавтра Кертнер попросил симпатичного капрала, — согласно правилам, у него хранились деньги арестанта, — чтобы рыжий карабинер купил на ближайшей станции три обеда, стандартные, но дорогие обеды по десять лир. Карабинерам такие обеды не по карману. В каждом пакете булочки с ветчиной, четверть цыпленка с картофелем, пасташютта в пергаментном кульке, бутылочка фраскатти, мягкий сырок «бельпаэзе», несколько груш. К каждому пакету приложена жестяная ложечка и вилка. Помимо трех обедов Кертнер поручил рыжему карабинеру купить апельсины в плетеной корзинке и три пачки сигарет.

— Только не вздумайте покупать какие-нибудь

дешевые, вроде «Национале»! Купите лучшие венгерские...

Позже, когда все закурили, на запах хороших сигарет в купе зашел кондуктор, его тоже угостили.

У карабинеров нашлось вино, его прислали Чеккини из дома. Он оказался парнем простецким, откровенным, назвал себя неудачником и в личной жизни. Кто захочет назваться его невестой? По итальянским законам служащим полиции не разрешено жениться раньше тридцати лет.

Чеккини подтрунивал над собой, над своим начальством и рассказал анекдот о карабинерах, которые не отличаются глубокомыслием. Один карабинер решил лбом вбить гвоздь в дощатую перегородку, но гвоздь никак не поддавался. В чем дело? Оказалось, в соседней комнате, прислонясь к стене затылком, стоял полковник карабинеров. Вот гвоздь и согнулся.

Рыжий карабинер вышел в коридор, а капрал ушел в соседний вагон, где также везли арестованных. И Этьен остался в купе наедине со своими тревогами и заботами.

Он пытался заснуть, притулившись к стенке у окна. Бесконечной шеренгой убегали назад телеграфные столбы.

Генуя осталась позади. Поначалу Этьен думал, что суд устроят там, но его везут в Рим, это пахнет Особым трибуналом и тюрьмой «Реджина чели», ее название можно, пожалуй, перевести как «Царица небесная»...

«Где ошибка? Какой из советов Старика мною забыт? Каким наказом я пренебрег?»

Он перебирал в своей встревоженной памяти десятки советов Старика, какие получал на протяжении всей своей конспиративной жизни.

Подследственный снова и снова становился дотошным, проницательным следователем по своему делу. В поисках оплошностей, промахов, упущений он снова сопоставлял две свои жизни — коммерсанта и разведчика.

В последние дни, уже понимая, что может вот-вот попасть в западню, он сознательно несколько раз изме-

нял своим всегдашним правилам и нарушал законы конспирации — поехал на свидание с Анкой, наведался домой к Ингрид. Но он твердо знал: не эти вынужденные нарушения установленного порядка явились причиной провала. И если бы он до последнего дня не продолжал свою деятельность, не принял бы всех мер к тому, чтобы Центр получил все материалы, он счел бы себя трусом, бездельником и дезертиром...

Все последние дни он очень нуждался в советах Старика, но тот далеко-далеко, в Испании...

«В том-то и особенность нашей профессии — мы чаще, чем кто-нибудь, остаемся в полном одиночестве, такая у нас планида... Не с кем посоветоваться, все нужно решать самому. Притом решать молниеносно, иногда в те доли секунды, какие предоставляет тебе противник. А следователь не должен заметить, что я пришел к решению не сразу, успел перебрать в уме несколько вариантов решения и выбрал один из них».

Опытный разведчик привык самостоятельно принимать решения, в отличие от иных работников аппарата, которые слишком привыкли чувствовать себя подчиненными...

Хорошо, что у Италии натянутые отношения с Австрией, может, это затруднит проверку всех его паспортных данных контрразведкой? Потому что ответ, который может поступить из общины Галабрунн или из Линца на запрос ОВРА, ничего хорошего ему не сулит. Паспорт в полном порядке, у него «железный сапог», как принято говорить у разведчиков, но ходить в этих сапогах по Линцу никак нельзя...

Вагонное окно наполовину открыто. Над головой, на верхней сетке, лежит маленький саквояж Этьена. Наручники сняты. Рыжий карабинер дремлет.

Этьен инстинктивно скользнул взглядом по кобуре с пистолетом и подсумку, висящим на белом лакированном ремне.

«Ну, предположим, сбегу на ближайшей станции. А куда денусь? Где скроюсь от черных рубашек? Беспаспортный бродяга, без крыши, сразу поймают...»

В купе вошел капрал, увидел, что рыжий карабинер спит, а арестант сидит напротив не смыкая глаз.

Капрал, тормоша рыжего, спросил без тени испуга:

— Добрый христианин, как тебе спится?

— Пусть немного поспит, — сказал австриец вполголоса. — Я не доставлю вам служебных неприятностей.

48

Тюремщик положил руку на опущенное плечо.

— Зачем вы нам мешаете? — взорвался Паскуале. — Разве срок свидания уже кончился?

— Не кончился. Но синьорина ушла...

Тюремщик предложил Паскуале пройти в камеру, а тот по-прежнему стоял и держался за решетку — пальцы даже побелели — и с кривой усмешкой, не очень осмысленно повторял:

— Ушла, синьорина ушла...

Тюремщик подал кружку с водой. Наконец-то Паскуале оторвал руки от решетки.

Зубы застучали о кружку, он выпил всю воду, но во рту так же сухо.

Он заплакал, тут же гулко, на всю комнату, рассмеялся, а когда выходил из комнаты свиданий, сильно ударился плечом о косяк двери-решетки...

Паскуале написал Джаннине письмо, ответа не было.

Он решил, что письмо затерялось в тюремной канцелярии, поскандалил с надзирателем и потребовал, чтобы к нему в камеру явился начальник охраны — капо гвардиа.

Тот заверил, что тюремная администрация в данном случае ни при чем. Подследственному Эспозито в виде исключения разрешена переписка до окончания следствия.

Капо гвардиа сообщил, что деньги Паскуале получит завтра утром. А что касается письма, то когда дочь в тюремной канцелярии оставляла деньги, она сказала капо гвардиа: пусть синьор Эспозито писем от нее не ждет.

Паскуале отправил второе письмо, подробно написал о том, что именно с ним произошло, и в конце вопрошал: «Почему ты мне не отвечаешь? Ты же слышишь мои рыданья?»

Он ждал, нетерпеливо ждал, а ответа все не было.

Тогда он понял, что Джаннина никогда его не простит, отреклась от него.

А на суде станет ясно, что он предатель. Все на него станут оборачиваться и смотреть с жалостью, с презрением, с ненавистью, и никто — с сочувствием, даже Джаннина.

Он попросил молитвенник, тюремщик принес.

Паскуале нашел «Молитву о доброй смерти» и выучил ее наизусть.

«О распятый мой Иисусе, милостиво прими молитву мою, которую тебе уже теперь воссылаю вместо часа смерти, когда оставят меня все мои чувства. О сладчайший Иисусе, когда угасающие и закрывающиеся очи мои не будут в состоянии взирать на тебя, помяни любовный взор мой, которым ныне смотрю на тебя, и помилуй меня! Когда засыхающие уста мои уже не смогут целовать пречистые твои язвы, вспомни лобызания, которые ныне на них оставляю, и помилуй меня! Когда холодеющие руки мои уже не смогут держать распятие твое, вспомни, с какой любовью ныне его обнимаю, и помилуй меня! Когда, наконец, коснеющий язык мой не сможет промолвить ни слова, вспомни, что и тогда, молча, взываю — помилуй меня! Иисусе, Мария, Иосиф, вам передаю сердце и душу мою! Иисусе, Мария, Иосиф, будьте при мне в последний час жизни моей! Иисусе, Мария, Иосиф, да испущу в вашем присутствии дух мой!»

Тайком от надзирателя он начал распускать присланные ему носки домашней вязки. Нитки были грубой шерсти, крепкие.

Паскуале сматывал их в клубочек и думал:

«Эти самые нитки разматывались при вязании в быстрых руках матери. А до того мать сама их пряла. А до того сама сучила шерсть. И овец тоже стригла сама. А еще раньше мать, страдая от одышки, карабкалась по каменным кручам, с трудом поспешая за овцами».

Жаль, очень жаль, что носки не куплены в каком-нибудь галантерейном магазине. Ему было бы легче, если бы их не связала мать.

Вот он остался в одном носке, а еще через день обувал оба башмака на босые ноги. Зябко зимой в башмаках без носков!

«Так и ревматизм недолго нажить, — встревожился он и тут же горько вздохнул: — Пожалуй, не поспеет ко мне ревматизм...»

Вечером следующего дня, когда в тюремном коридоре зажегся тусклый фонарь, надзиратель вошел в камеру к Паскуале, принес кувшин с водой.

Заключенный стоял под оконной решеткой, стоял на цыпочках, прислонившись к стене, с бурым, набрякшим лицом, а голова его неестественно склонилась на плечо. В сумерках надзиратель не сразу увидел серый крученый шнурок, который тянулся от решетки к шее.

С криком: «Нож, скорее нож!» — надзиратель выбежал в коридор, тут же вернулся в камеру, перерезал шнурок, и тело Паскуале безжизненно осело. Надзиратель с трудом поднял его, уложил на койку, — не думал, что щуплый человек окажется таким тяжелым!

Прибежали тюремный врач, начальник тюрьмы, но все попытки вернуть к жизни подследственного Эспозито были безуспешны. И тогда позвали священника.

Предсмертная записка Паскуале:

«Не прошу у тебя прощения. Знаю, прощения не заслуживаю.

Стыдно дожить до седых волос и не научиться держать язык за зубами.

Я только прошу помолиться за меня. И не в Дуомо, а в церкви святого Августина. Помолись за меня, дочь моя Джаннина, когда тень моя пройдет перед твоими глазами в Девятый день и в день Сороковой!

Знаю, что самоубийство является виной, караемой создателем, этот судия наказывает и после смерти. Наложить на себя руки — большой грех, а больше всего я виноват перед

твоей матерью, перед тобой, Джаннина, и перед твоим патроном.

Трудно умереть, когда хочется жить. А я дожил до того, что хочется умереть, и этот грех еще больше, чем первый...»

Паскуале сам осудил себя и сам привел приговор в исполнение.

49

Джаннина отправилась в церковь ранним утром, сегодня — день Девятый. Она взяла со столика в церковном приходе девять больших свечей и опустила деньги в кружку. Чем свечи длиннее, тем дороже, и каждый сам подсчитывает, сколько с него причитается. Вряд ли сыщется воровка, которая поставит богу свечу, тут же украденную. Ну, а возле той кружки стоит копилка с надписью: «Для святых душ», туда тоже полагается опускать монеты.

Не один час простояла Джаннина в тот день коленопреклоненная, обратя взгляд на икону, на трепетное пламя свечей.

Она решила пробыть в церкви весь день, замаливая тяжкий грех отчима, испрашивая милость божью для матери и виня себя в своих грехах. Все в ней плакало, кроме глаз.

Недавно она призналась на исповеди своему старому падре Лучано, что не любит жениха, с которым обручена. Падре Лучано советовал молиться одновременно и за Тоскано, и за себя, чтобы окрепло родство их душ. Сегодня она вновь пыталась молиться за Тоскано, призвать божье благословение к его делам. Но сердце ее оставалось холодным к этой мольбе, слова не ложились на губы, и полное равнодушие, даже раздражение против Тоскано делали молитву несостоятельной.

Первые свечи уже отгорели, она второй раз купила и зажгла самые длинные свечи...

Вдруг в церкви стало оживленно — зашаркали по каменным плитам, послышался чей-то вкрадчивый и весе-

лый шепот, служка открыл вторую половину входной двери и оставил ее распахнутой настежь: свадьба!

Некстати и не ко времени быть свидетелем чужого счастья, когда на душе так муторно, тревожно. Но взяло верх женское любопытство, и она решила побыть на чужой свадьбе.

Сквозь цветные витражи старинной церкви св. Августина проникали лучи солнца, они бросали разноцветные блики на лица жениха, невесты, падре и всех гостей.

Невеста невзрачная, да и жених не очень-то представительный, хотя держится самоуверенно.

Девочка в розовом платье и с розовым бантом в завитых волосах несла шлейф подвенечного платья. За невестой шли две подружки, одна из них кокетливо улыбалась и все время прихорашивалась.

Жених и невеста приблизились к алтарю, хор запел молитву. Джаннина притиснулась ближе. Она видела, как жених достал два кольца и отдал их падре.

Падре спросил отдельно жениха и невесту: по собственной ли воле, без принуждения ли, с полным ли пониманием хотят они вступить в брак? При этом падре пытливо смотрел в глаза молодым людям. Он закутал епитрахилью руки жениха, невесты, и они стали повторять слова клятвы:

— Обещаю тебе любовь, верность, супружеское уважение и не оставлю тебя до смерти. Да поможет мне в этом триединый бог и все святые его!

Невеста шепотом повторяла слова обета, но Джаннина, стоявшая совсем близко, их слышала.

Затем последовал вопрос жениху:

— Не присягал ли кому в супружеской верности?

— Нет, — ответил жених намного громче, чем следовало бы.

Уже освящены кольца, они символизируют супружескую верность и нерасторжимость брака. Падре вернул освященные кольца жениху, тот надел кольцо на палец своей нареченной, затем себе. Оба отпили церковного вина.

Падре побрызгал святой водой с метелки и простер руки над головами брачующихся.

— Да умножит в вас господь благодать свою, чтобы вы исполнили на деле обещаемое сейчас устами.

Затем падре обратился к тем, кто находился в церкви:

— Беру всех в свидетели того, что супружество состоялось честно и по закону. Милостиво воззри, господи, на наши моленья и благослови брак, предназначенный тобой для умножения рода человеческого. И да будет проклят тот, кто захочет разлучить соединенных богом. Пусть их свяжет священными узами твоя помощь и твое благословение! Аминь.

После того падре прочел псалом, поздравил молодых, пожал им руки и зачитал новобрачным поздравительную телеграмму от папы римского: это стоит денег, но вполне доступно.

Всех, кто толпился возле алтаря, он осенил крестным знамением и окропил святой водой. Джаннина, крестясь, незаметно стерла со щек и с носа капли святой воды.

«Был бы у меня маленький носик, капли бы на него не попали».

Падре очень внимательно посмотрел в ее сторону. Джаннине даже показалось, что он мимолетно залюбовался ею. При всей своей скромности Джаннина помнила, что она намного краснее невесты.

«А Тоскано — просто красавец по сравнению с этим женихом-замухрышкой. На нашу свадьбу в Турине народу пришло бы видимо-невидимо, не протолкаться было бы...»

Орган заиграл, хор запел что-то торжественное. Раздались радостные возгласы родных, близких, знакомых. Все бросились к жениху и невесте. Она смотрела, потупившись, на свое обручальное кольцо, а жених самодовольно оглядывался.

Согласно обычаю, невеста раздала своим незамужним подружкам по белой розе, бросала цветы через плечо. Кто из девушек поймает цветок — выйдет замуж в течение года. Хорошая примета! Цветок пролетел у самого плеча Джаннины, она легко могла его поймать, но рука не поднялась.

«...Беру вас всех в свидетели того, что супружество состоялось честно».

Значит, падре взял в свидетельницы и ее, Джаннину. Ну что же, если жених и невеста любят друг друга и все честь по чести, Джаннина согласна это подтвердить.

А вот будет ли честной ее свадьба с Тоскано? И может ли она дать клятву перед алтарем, перед святейшим сердцем божьей матери и перед своей совестью, клятву, какую давала сегодня невзрачная невеста? Может ли обещать Тоскано свою любовь, преданность до гроба и супружеское уважение?

«...и проклят будет тот, кто захочет вас разлучить».

Ну, а если она сама будет виновата в их будущей разлуке? Тогда ее ждет проклятие?

Церковь опустела, а Джаннина продолжала молиться, воздавая хвалу святой вере, прося, чтобы Иисус заслонил ее крестом своим от греховных мыслей и поступков, клянясь свято оберегать заповеди его, взывая к его милосердию, умоляя сохранить ее от самого большого несчастья — утраты веры и католической морали, упрашивая взять ее под опеку святейшего сердца.

Она пошла сегодня в церковь, чтобы помолиться о грешной душе Паскуале, а возвращалась потрясенная неожиданным для нее, но твердым решением — не выходить замуж за Тоскано. Может, отчим, тревожась о судьбе Джаннины, с того света остерег ее от опрометчивого шага?

Сегодня она начала склоняться к трагической мысли: у нее нет другого выхода, кроме как уйти в монастырь, как говорится, стать невестой господа бога.

Эта мысль преследовала ее и когда она вышла из церкви, и когда села в трамвай, и когда поехала к концу дня в контору «Эврика».

Напротив у трамвайного окна сидела совсем молодая монашка.

Джаннина испытующе вглядывалась в ее лицо, как бы пытаясь проникнуть в тайну, которая привела миловидную синьорину в монашеский орден, — белый, с крыльями, накрахмаленный чепец бретонского покроя; глухое, закрытое платье до пят из темно-василькового сукна; черная накидка с капюшоном.

Голубые, но не лучистые, а тусклые, погасшие глаза. Белоснежным полотном закрыты и лоб, и уши, и шея. При таком постном лице ни к чему и родинка на округлом подбородке, и милые ямочки на бледных щеках. Джаннина почему-то была уверена, что длинное, до пят, платье скрывает отличную фигуру; она угадывалась даже, когда монашка сидела.

Что привело ее в монастырь? Какую трагедию пережила? Или она — подкидыш и сызмальства жила за монастырскими стенами?

И эта голубоглазая, уже слегка поблекшая молодая женщина никогда в жизни не целовалась? Не была и никогда не будет близка с мужчиной? Никогда не стать ей матерью и не ласкать своего ребенка?

Это показалось Джаннине противоестественным, почти кощунством, едва она поставила себя на место этой красивой, хотя и с блеклым цветом лица, еще женственной и привлекательной молодой монашки. Столького лишилась в жизни, в столь многом отказала себе, так обокрала себя!

И Джаннина уже совсем по-иному продолжала смотреть на голубоглазую монашку с родинкой на округлом подбородке и милыми ямочками на щеках — с жалостью, содроганием и страхом. Неужели так вот будут когда-нибудь жалеть и ее, упакованную в глухое платье и полотняный шлем, чтобы никто не мог увидеть лишней клеточки ее нежной, матовой кожи?..

Чем дольше она ехала в трамвае, не спуская глаз с печальной молодой монашки, тем все дальше уезжала в мыслях и чувствах своих от монастыря.

Может, столь же легкомысленно, недолговечно и ее решение расстаться навсегда с Тоскано?

50

Сперва Кертнер хотел отказаться от адвоката, который ему назначен Миланской коллегией адвокатов, но затем рассудил, что отказ будет выглядеть подозрительно.

Адвокат Фаббрини — тучный, но подвижный, с лоснящимся от пота лицом. Сразу сообщил, что он уроженец Болоньи, а там все любят плотно поесть, и он не хочет быть белой вороной среди земляков. Фаббрини уже при первом знакомстве заявил, что одобряет линию поведения своего подзащитного. При этом Фаббрини еще раз подтвердил, что не собирается ничего выпытывать; все, что Кертнер найдет нужным ему рассказать, расскажет сам. Он дружески советует ни в чем не признаваться и держаться стойко. А там видно будет.

Однако вскоре Кертнер убедился, что Фаббрини изучил дело поверхностно и не придавал значения многим подробностям и деталям, которые Кертнеру представлялись весьма важными.

Первое разногласие возникло перед самым судебным заседанием, когда Кертнер узнал, что его собираются возить в суд в наручниках. Фаббрини уверил — это в порядке вещей, закон есть закон. Кертнер настаивал на том, чтобы адвокат передал дирекции тюрьмы его протест. Достаточно того, что скамья подсудимых установлена в железной клетке. В такой клетке сидели во время суда и Антонио Грамши и другие антифашисты, клетку не вынесешь из судебного зала заседаний.

Во время спора о наручниках Фаббрини не раз бросало в пот, он вытирал лицо кругообразным жестом, в руке его зажат необъятный платок.

И все-таки Кертнер настоял на своем: он сам, помимо адвоката, вызвал капо гвардиа и категорически предупредил — никаких наручников. Иначе он будет скандалить и карабинеры в здание суда его не поведут, а понесут.

В камеру явился директор тюрьмы, он тоже отклонил просьбу, в итальянском суде наручники надевают даже на несовершеннолетних...

— Если на меня наденут наручники, я не сделаю ни одного — слышите? — ни одного шага! У нас в Австрии на политических наручники не надевают.

И тюремщики вынуждены были уступить, они поняли, что скандал неминуем. Уступка дирекции была неожиданностью для Фаббрини, и Кертнеру показалось

даже, что тот не очень этим доволен. И все три дня, пока шел судебный процесс, Кертнера возили из тюрьмы в здание суда и обратно без наручников, с двумя конвойными.

С радостью убедился Кертнер в том, что имя Гри-Гри не упоминается на процессе. Его приятно удивило, что в суд не побоялись прийти компаньон Паганьоло и секретарша Джаннина. Впрочем, как же ей не быть на суде: Паскуале — ее отчим, и она страдает за него вдвойне.

Авиатор Лионелло освобожден из-под стражи и должен выступить на суде в качестве свидетеля. Он вежливо, будто их не разделяла железная клетка, поздоровался со своим бывшим учеником и проследовал мимо с кожаным хрустом — высокие, почти до колен, ботинки на шнурках, кожаные брюки и куртка, кожаная кепка с очками над козырьком.

Кертнеру нравилось, как держался на суде Блудный Сын — независимо и отчаянно. Видимо, в ходе следствия ему основательно досталось на допросах, и он сделал какое-то признание, а на суде от него отказался.

— Сейчас вы все отрицаете. Почему же вы подписали протокол допроса?

— А разве синьору прокурору не известно, что все следствие в Особом трибунале основано на особых средствах воздействия? — Баронтини кулаком ударил себя по скуле. — Пусть я умру без исповеди, если это неправда, пусть мой рот будет жрать дерьмо, если я вру! Да если бы мне тот карлик в мундире приказал сознаться, что это моя подпись стоит на казначейских билетах, — я и под этим подписался бы... Как говорил Фигаро в комедии Бомарше: я надеюсь на вашу справедливость, синьор судья, хотя вы и служитель правосудия...

Больше прокурор за все время процесса вопросов Блудному Сыну не задавал.

В том, что Блудный Сын смог отвертеться от большинства обвинений, большую роль сыграл его адвокат по прозвищу Узиньоло, то есть Соловей. Родители Блудного Сына, владельцы верфей и пароходов, не пожалели денег на знаменитого адвоката. Он был крупным воен-

ным в первую мировую войну и получил такой высокий орден, который дает право называться кузеном короля. Когда Узиньоло выступал, председатель суда или споривший с ним прокурор называли его не иначе, как «эччеленца». Внешность аристократа, и говорил он изысканно, с тем тосканским произношением, которое в Италии считается самым правильным, потому что так говорил Данте.

Против Блудного Сына давал показания друг его детства Кампеджи. Блудный Сын, он же Атэо Баронтини, не знал, что его школьный товарищ изменился за годы, которые они не виделись, — вступил в фашистскую партию, но скрыл это от самых близких людей. Донос Кампеджи не произвел большого впечатления на судей. Узиньоло ядовитыми репликами и вопросами сбил доносчика, заставил его смешаться.

Кертнер с удовольствием слушал реплики, выступления Узиньоло, сравнивая его с Фаббрини, и сравнение было не в пользу последнего.

Немало времени посвятил суд поездкам Кертнера на аэродром под Миланом и фотоснимкам, сделанным на этом аэродроме.

— Вы летчик?

— Да, я летаю.

И тут наконец-то вмешался адвокат Фаббрини:

— Власти разрешили моему подзащитному тренировочные полеты. А спустя полгода, — я обращаю внимание высокочтимых судей на то, что это произошло спустя полгода, — на аэродроме приземлились новые германские истребители. Почему же вы обвиняете моего подзащитного в том, что он проник на военный аэродром и фотографировал там?

Заслуженный авиатор Делио Лионелло подтвердил, что он давал уроки подзащитному почти год. Кертнер при полетах делал немало ошибок, но в его поведении на земле ничего предосудительного не было. Лионелло с достоинством направился к своему месту, нещадно скрипя кожаными доспехами авиатора.

— За несколько лет жизни в гостеприимной Ита-

лии, — сказал по этому же поводу Кертиер, — меия только одиажды предупредили, что сиимать запрещено.

— Где же? — насторожился прокурор.

— А вы разве не зиаете? В музее Ватикаиа. Там ие разрешают брать с собой фотоаппарат. А кроме того, запрещено входить с обиаженными плечами.

По залу прошел смешок.

Затем давал показания свидетель обвинеиия, тайиый агент. Ои минуты не мог простоять на месте и вертелся во все староиы. Он лжесвидетельствовал насчет того, что Кертиер передавал Эспозито деньги, даже указал, в каких имеиио купюрах — ассигнации по сто лир.

Кертнер ждал вмешательства Фаббриии, но тот сосредоточеиио молчал, и Кертнер уже с раздражением глядел на его круглый, девический ротик, утоиувший в толстом, круглом подбородке, на круглые уши — все линии лица у него закруглеииые. А жириая шея без складок, — как опухоль, подпертая воротничком.

Нельзя было отпустить безнаказанным вертлявого лгуиа. Кертиер задал ему вопрос:

— А на каком расстояиии вы находились в тот момеит?

Агеит повертел головой и сказал, что вел слежку с противоположной стороны бульвара.

— Как же свидетель мог оттуда разглядеть, какими именно купюрами я расплачивался с Эспозито? И иеужели, если бы такой случай действительно имел место ие только в воображении свидетеля обвинеиия, я бы принялся иа бульваре, иа виду у всех, и в том числе у этого беспокойиого сииьора с сверхъестествеиной дальнозоркостью, мусолить, пересчитывать ассигнации? Кстати сказать, Корсо Семпионе, которое назвал свидетель, — одиа из самых широких улиц Милана.

В судебном зале даже проиесся легкий гул, кто-то прыснул, и Кертиеру показалось, что это Джаниииа. Агеит повертелся во все стороны, огляделся, но ничего виятиого, членораздельного в оправдание сказать не мог. А тут еще он сдуру досочииил, что встреча Кертнера с Эспозито состоялась в половине седьмого вечера.

— Когда темиеет в иоябре? — спросил Кертиер. —

И как можно в темноте увидеть, что я отсчитывал оранжевые ассигнации?

Прокурор, вольно или невольно, даже отмахнулся от свидетеля, как бы открещиваясь от него.

И тут Кертнер попросил разрешения задать вопрос не свидетелю, а судьям:

— Досточтимые синьоры! Не сочтете ли вы возможным вынести частное определение в отношении данного свидетеля обвинения? Он получает от государства жалованье и так бесстыдно обманывает суд!

Вертлявый свидетель в судебном зале уже не появлялся, а его показания в деле не фигурировали.

Полицейский чин повыше, тоже свидетель обвинения, показал, что австрийский гражданин Конрад Кертнер уже давно был на подозрении, и тайная полиция давно могла его задержать, но его арест откладывался, чтобы точнее выяснить, кто сообщники и кому австриец передает материалы и сведения секретного характера.

Адвокат Фаббрини вновь промолчал, и тогда Кертнер вскочил с места и заявил: конечно, ему трудно себя защищать, он плохо знает итальянские законы, но твердо знает, что согласно римскому праву власти должны сразу пресекать преступление, а не выжидать, когда преступник, сознательно или бессознательно, совершит новые проступки, находящиеся в противоречии с законом. Он, Кертнер, занятый конструкцией своей модели самолета, собирал недостающую техническую документацию. Он допускает мысль, что некоторые чертежи не были предназначены для огласки. Но разве тайная полиция имеет право выжидать, пока тот, кого она считает преступником, представит новые и новые доказательства того, что он опасен для общества? Знать о преступлении и не принять мер к тому, чтобы его пресечь, — это же провокация и нарушение закона!

Снова загудел зал, а адвокат Узиньоло одобрительно закивал. Критическое замечание Кертнера по адресу тайной полиции публика встретила сочувственно.

И здесь Кертнер, пользуясь мимолетной благосклонностью судебной аудитории, признался, смущенный, в тех неблаговидных, неэтичных поступках, которые хотя

и не являются предметом обсуждения иа суде, но тесио связаны с теми поступками, в которых его обвиняют.

Да, бывало и так, что он, Кертнер, выдавал за свои такие изобретения, которые не были оформлены патеитами, что называется, плохо лежали. Он просит судей снисходительно отнестись к его признаиию: речь идет только о деталях, потому что в главных своих компонеитах конструкция самолета, иад которым Кертнер работает уже не первый год и который, как он надеется, войдет в междуиародиый каталог под наименованием «кертнер-77», является оригинальной коиструкцией. И если ему дадут возможность продолжить работу, то он имеет все основания получить патеит, который оградит его авторские права...

Именно такую задачу и поставил перед собой Кертиер — прослыть у судей нечистым на руку авиаинженером, плагиатором, который ие гнушается присваивать материалы, расчетные данные, чертежи и другие документы у своих коикуреитов по конструированию самолетов, с тем чтобы потом оформлять патенты на свое имя, стать лжеизобретателем...

Длинный перечень документов, которые ОВРА назвала секретными, иа самом деле опубликоваи в междуиародных справочииках и бюллетеиях по авиации, выходящих на трех языках — немецком, аиглийском и фраицузском. Разве тот факт, что подобных справочников иет на итальянском языке, дает основаиие считать эти широко и междуиародно известные материалы секретными?!

Многие реплики Кертнера были встречены в суде благожелательио. Почему же Фаббриии не подавал ему никаких знаков одобрения? Недоволеи поведением своего подзащитиого?

А прокурор тем временем вызывал одного эксперта за другим и с их помощью доказывал Особому трибуналу важность документов, обнаруженных в пакете, изъятом у Кертнера при аресте.

Адвокат Фаббрини несмело обратил внимание иа то, что речь идет о запечатаином пакете, а, по утверждеиию подзащитного, пакет был с провокациоиной целью подброшеи ему Эспозито. Но главиый судья вел себя так,

что было ясно — он не склонен поддержать версию адвоката.

На следствии и все три дня, пока шел суд, Кертнер выгораживал других обвиняемых, тем самым взваливая еще больший груз на свои широкие, чуть сутулые плечи.

А чтобы это выглядело естественно и не вызывало подозрений, Кертнер не гнушался, когда нужно было, выставлять в непривлекательном виде тех, кого прокурор называл соучастниками. Сами посудите, разве опытный делец мог довериться таким несообразительным, бестолковым людям, разве он стал бы делиться своими планами с людьми, которые так плохо разбираются в технических новинках, а еще хуже — в политике, не читают даже «Мессаджеро»? Да никогда!

А Блудного Сына подсудимый Кертнер отказался признать своим знакомым, хотя в глубине души считал надежным другом. Да, встречал его на пароходе «Патриа», где тот плавал вторым помощником капитана. Да, несколько раз подымался на капитанский мостик; они обменивались малозначащими фразами о погоде, но деловых разговоров, а тем более секретных, никогда не вели.

— У меня такое впечатление, — сказал Кертнер, повертываясь к прокурору, — вы очень сожалеете, что не смогли заставить Атэо Баронтини признаться в поступках, которых он не совершал. Вы обещаете снисхождение и даже безнаказанность всем, кого считаете моими сообщниками, при условии, если они дадут против меня ложные показания. Но разве синьор прокурор не обнаруживает тем самым собственную неуверенность и делает очевидной слабость закона, который взывает о помощи к нарушителю этого закона? И может ли внушать суду доверие тот, кто способен так легко нарушить верность по отношению к своим товарищам, давая ложные показания?

Кертнер выиграл немало словесных дуэлей с прокурором, со свидетелями обвинения, с председателем суда, но все это были «мелкие стычки с противником», как любили писать в фронтовых сводках еще в первую мировую войну. А генеральное сражение складывалось не в поль-

зу Кертнера — слишком силен удар Паскуале, нанесенный в спину. Это был двойной удар: и в траттории у ворот фабрики «Мотта» и во время следствия, потому что все понимали — не станет самоубийца лгать на своем смертном пороге.

Для Кертнера стали очевидны оперативные связи испанской контрразведки с итальянской ОВРА. Иначе ему в провожатые не дали бы такого опасного попутчика, как агент, который возвращался на «Патрии» от франкистов.

Да, больше всего Кертнер встревожился, когда председатель вызвал последнего свидетеля обвинения — французского агента. Тот прошел к судейскому столу, волоча ноги так, будто на ходу терял, находил и вновь терял комнатные туфли. Он давал показания на французском языке. Кертнер прислушивался к произношению — в самом деле северное, бретонское. Но почему Кертнер решил тогда, на «Патрии», что выходец из Бретани не может работать на Франко? Какая наивность! И как француз ловко инсценировал, будто поднялся на борт «Патрии» в Марселе! Выяснилось, что на самом деле он сопровождал Кертнера от Альхесираса, а может быть, еще от Севильи, от Толедо, от подступов к Мадриду, черт его знает откуда!..

И как только ему удалось за время плавания от Альхесираса до Марселя ни разу не показаться на глаза? Наблюдал он и за Кертнером, и за Эспозито, и за Блудным Сыном. А Кертнер еще наивно думал, что поиздевался над агентом, когда прощался с ним на пристани в Специи и утомительно болтал о графе Монте-Кристо.

Француз едва начал давать свои показания, как Кертнер понял — сотрудник испанской контрразведки. Ну и дошлый тип! Ему удалось перехитрить Кертнера, — правда, при активной помощи капитана «Патрии». Совершенно очевидно, что испанская контрразведка работает в самом тесном контакте с ОВРА. Это тот случай, когда врет старая французская поговорка. Оказывается, истина по одну сторону Пиренеев — вовсе не заблуждение по другую сторону. Значит, Кертнер заблуждался по обе стороны испанской границы?

«Скольких агеитов я за последнне месяцы сумел обезвреднть, отшить, оставнть в дураках, — сокрушался Этьеи, слушая показання этого субъекта, — а такого опасиого не заметнл. А распознал бы его сам Старик, еслн бы столько времеии подряд жил н работал, преследуемый сворой гоичих и сыщиков-охотииков? Какая это была по счету западия? . .»

Суду стало нзвестио, сколько раз на протяжеиии рейса «Патрин» Эспознто заходил в каюту второго помощника капитана Атэо Баронтнин (Блудиого Сыиа) н сколько раз Эспознто, опасливо оглядываясь и полагая, что в коридоре нникого нет, успел прошмыгиуть в каюту Кертнера. А позже бретоицу удалось найти секретиые чертежи в трюме между бочками с оливковым маслом: чертежи лежали там два дня, прежде чем их удалось подложнть обратно в сейф. Вот этн секретиые документы передал Эспознто человеку, иазывающему себя австрийцем, в тратторни возле фабрики «Мотта»...

Надолго в памятн остался резкий стук одиовремеиио отодвннутых кресел — это когда все судьн всталн, удаляясь на совещанне.

Подсудимые в ожндаиии приговора пнсалн пнсьма, разрешены былн свидаиия, и лишь Кертиер коротал время в гнетущем одниочестве — кто пожалует к иему в эти часы?

51

Тем большей иеожнданностью было нзвестие, что ему разрешено свидаиие с сииьориной Эспознто.

Нечего и говорнть, мужествеииый поступок со стороиы Джаниниы. Не очень охотио зиаются с теми, кого Особый трнбунал обвнияет в шпноиаже.

Джанниия получила разрешеиие на свидаине здесь, в Риме, в миннстерстве юстицни, так как Пагаиьоло удостовернл, что секретарше «Эврики» даи ряд деловых порученнй к его бывшему компаиьоиу, с которым сам он встречаться ие желает.

Тюремщнк, по-вндимому, решил, что свидаине иа романической почве, н предупредительио отвернулся.

Джаннина в черном платье, траурная повязка на рукаве жакета. Кертнер выразил ей соболезнование в связи со смертью отчима. Она молча кивнула, но ничего не сказала, и только круги горя под глазами и необычная бледность напоминали о пережитом.

Кертнер осведомился о ее матери, и она сказала, что если контора «Эврика» не закроется и синьор Паганьоло оставит ее на работе, она привезет мать к себе в Милан, а в противном случае сама уедет в Турин. Она сделает это неохотно, потому что в Турине живут родители Тоскано. Сам он воюет в Испании с красными. А встречи с его родителями только вызовут лишние объяснения, назойливые попытки ей помочь, поскольку в Турине не так-то легко найти работу.

Кертнер пытался ее ободрить — все образуется, жених вернется невредимым. Но Джаннина только покачала головой и призналась, что она и Тоскано перестали понимать друг друга, она к нему совсем равнодушна, ей все труднее называть себя невестой. Она серьезно подумывала о том, чтобы уйти в монастырь, а теперь склоняется к мысли, что лучше ей остаться «дзителлой», то есть старой девой.

— Молодая, красивая женщина говорит, что останется старой девой, только тогда, когда твердо уверена, что выйдет замуж, — в первый раз улыбнулся Кертнер.

— Неисповедимы пути господни, — вздохнула Джаннина.

— Как вы знаете, я человек не набожный. Но на вашем месте я не стал бы спрашивать бога о дороге в рай, потому что он всегда укажет на труднейший путь.

Джаннина оборвала разговор на эту тему, стала рассказывать о синьоре Паганьоло.

«Напрасно вы так защищаете своего компаньона Кертнера, — убеждал следователь синьора Паганьоло. — Даже Спаситель не мог выбрать себе двенадцать учеников, чтобы среди них не оказался взяточник и предатель. Как же вы можете ручаться за Кертнера?»

На это синьор Паганьоло возразил, что дело Особого трибунала — доказать виновность Кертнера, но следова-

тель или прокурор не могут заставить Паганьоло считать своего компаньона иудой.

Все это Джаннине рассказал синьор Паганьоло. Поначалу он держал себя независимо, но после судебного заседания, на котором выступил прокурор, Паганьоло даже изменился в лице. По словам Джаннины, никаких деловых претензий к Кертнеру он не имеет, более честного в расчетах компаньона не встречал. Но жаловался, что его обманули, поступили неблагородно, Кертнер не тот, за кого себя выдавал.

Еще в первый день судебного разбирательства Паганьоло собирался нанять за свой счет знаменитого адвоката и добиваться пересмотра дела. Но после показаний француза, после речи прокурора он заявил, что помогать бывшему компаньону больше не намерен. Паганьоло встал и демонстративно вышел из зала суда, сказав при этом: «Пойдем, Джаннина, нам тут больше делать нечего». Паганьоло забыл, что Паскуале — ее отчим. Джаннина сослалась на неизлечимое женское любопытство и попросила разрешения остаться: «Интересно, чем дело кончится».

Джаннина сообщила, что деньги Кертнера и половина всех денег на счету в «Банко ди Рома» и на других лицевых счетах конфискованы. Остается рассчитывать на те личные вещи, которые попали в опись, сделанную после обыска, и не подлежат конфискации. Вот если бы «Эврика» получила какой-нибудь старый долг, если бы кем-нибудь был оплачен старый вексель — шеф может рассчитывать на половину суммы.

Уже перед концом свидания Джаннина вспомнила, что со вчерашней почтой на имя герра Кертнера пришла открытка из Берлина: кто-то доволен своим путешествием, если не считать того, что жена слишком часто пилит его. Подпись на открытке неразборчива.

Джаннина погрустнела и вдруг заявила с мрачной решимостью: она теперь очень дорожит своей жизнью, она хочет теперь жить как можно дольше, ей никак, ну просто никак нельзя умереть прежде, чем она не отомстит за отца, за мать, за отчима и за себя...

— И за вас тоже, — добавила она и произнесла на-

последок с внезапным ожесточением, которого сама испугалась: — Боже, если ты есть, спаси наши души, если они есть!..

На прощанье она совсем по-матерински перекрестила Кертнера.

Ей так хотелось сказать своему бывшему шефу что-нибудь утешительное! Большой срок не должен его пригнуть к земле, потому что сроки Особый трибунал дает большие, но король и дуче все время заигрывают с народом, хотят прослыть добряками, и потому в Италии часто объявляют амнистии.

А Кертнер в том же тоне, желая показать, что он бодр и никакой срок не может вывести его из душевного равновесия, сказал, что любой тюремный срок не так уж велик, если только его соотносить с вечными категориями и мерками. Предположим, его осудят на восемнадцать лет. За этот срок башня в Пизе отклонится всего на восемнадцать миллиметров, поскольку высчитано, что каждый год, вот уже восемь веков подряд, угол наклона увеличивается в таких пределах.

Оба невесело улыбнулись, каждый — чтобы подбодрить другого.

На самом деле душно в комнате, где Джаннине дали свидание с Кертнером, или это оттого, что разговор у них шел печальный — о самоубийстве Паскуале, о горьком будущем ее шефа, об испорченных отношениях с Тоскано и о реальной угрозе лишиться работы?

Она вышла во двор суда, запруженный шумной толпой. Ждали, когда возобновится судебное заседание и будет оглашен приговор.

— Самоубийство в тюремной камере! Шпион никого не узнает! — выкрикивал мальчишка газетчик в фирменном свитере «Мессаджеро»; он сновал в толпе и бойко распродавал свежий выпуск газеты.

На ступеньках дежурила группа репортеров и фотографов. Они атаковали вышедшего из здания суда авиатора Лионелло.

— Этот австриец Кертнер на самом деле летчик?

— Да, он летает.

— Вы никогда не подозревали его в шпионаже?

— Если бы это было так, я не называл бы его своим учеником.

— Зачем же он фотографировал на аэродроме?

— Если ваш редактор любит точность, фотографировал не Кертнер, а я. И не военные самолеты, а спортивные. Ученик видит на пленке допущенные им ошибки в пилотировании, особенно при посадке... А теперь, синьоры, можете меня снимать!

Делио Лионелло, в кожаных латах, надел шлем с очками, надел перчатки с раструбами и принял выигрышную позу.

А выкрики газетчика все терзали уши, Джаннине невыносимо было слушать это, и она заторопилась со двора обратно. Но дорогу ей преградила толпа репортеров и фотографов, все отхлынули от авиатора и оттолкнули Джаннину от дверей.

Из суда вышел представительный седой синьор в безукоризненном смокинге, в цилиндре. Это отец подсудимого Баронтини, один из самых богатых и влиятельных людей Ломбардии, владелец верфей и пароходов. Джаннина оказалась рядом с ним, среди репортеров, будто тоже хотела получить у него интервью.

— Синьоры, не задавайте мне никаких вопросов. Я знаю их наперед. Могу сказать про сына Атэо только одно — он всегда был легкомысленным, ветреным мальчишкой, и печально, что эта детская болезнь еще не прошла. Бьюсь об заклад — один против тысячи! — он и сейчас не знает, где кончается анархизм и начинается марксизм. Если бы я был на месте гранд-уфичиале Сапорити, я бы хорошенько его выпорол. И запишите там себе, — он брезгливо ткнул пальцем в репортерский блокнот, — в роду Баронтини шпионов не было и нет. Полезнее напомнить читателям вашей газеты, что я был участником похода на Рим и всегда был рядом с дуче!..

Он важно проследовал к своему автомобилю, и Джаннина со ступенек крыльца видела — кто-то из репортеров услужливо раскрыл перед ним дверцу.

Не успел шикарный автомобиль Баронтини отъехать, как из окна послышался колокольчик, возвещавший о начале судебного заседания.

52

Свидание с Джанниной длилось недолго, а перерыв в судебном заседании показался вечностью. Час шел за часом, а судьи все не выходили из комнаты, где совещались.

Кертнер понимал, что ничего хорошего приговор ему не сулит.

«Суд идет!» — провозгласил наконец секретарь, и в зал заседаний, с чувством собственного достоинства, сопровождавшим каждый шаг, вошли судьи. Членов трибунала пятеро, трое — в судейских тогах, а двое — в гражданском платье, с трехцветными повязками через плечо: цвета национального флага.

Согласно требованиям римского права, судьями не могут быть люди с физическими изъянами. И в самом деле, будь члены Особого трибунала хоть трижды моральными уродами, среди них не было ни хромого, ни безрукого, ни горбуна, иные выглядели благообразно, даже импозантно. Но Кертнер хорошо помнил, что его судят фашисты.

Кертнер забыл, что полагается встать, и карабинер, стоявший возле железной клетки, подтолкнул его в бок.

Долго в ушах звучал хрипловатый, глухой голос секретаря суда:

«ПРИГОВОР

Именем его Величества Виктора-Эммануила III, милостью Божьей и волею нации короля Италии.

Особый трибунал по защите фашизма, учрежденный на основе статьи 7 закона 1936 года № 2008, в составе уважаемых господ

его превосходительства Сапорити Алессандро, корпусного генерала, гранд-уфичиале, председателя и четырех судей — троих в чине коммендаторе и одного кавалера уфичиале (перечислены фамилии)

вынес следующий приговор в защиту государства против:

1. Конрада Кертнера, сына Марии Терезы Крюгер, уроженца общины Галабрунн (Австрия); родился 12 мая

1898 года, прожнвал в Мнлане, коммерсаит, служил в австрнйской армнн, грамотный, не суднвшнйся, холостой, арестован 12 декабря 1936 г.

(Следует еще пять фамнлнй, пять пуиктов.)

Конрад Кертиер обвнияется в преступлении, предусмотренном § 1 и § 2 статьн 81, § 2 н § 3 статьи 262 за действня преступиого характера, совершеииые до 12 декабря 1936 года в Мнлане, Генуе, Спецни, Болопье и Брешнн.

С целью воеиного шпнонажа он получал сведения, запрещённые соответствующими властямн к опублнкованню. Сведення эти могли ослабить воеииую мощь государства н его воеииого союзника...

Заслушав обстоятельства дела н прения сторои, выслушав прокурора, защиту и обвиияемых, имеющнх первое и последнее слово, трнбунал решил *в силу имеющихся прав* и на основаннн *фактов*.

Решением 30 января 1937 года следствеиная комиссня прн этом трнбунале прнвлекла к разбору дела Коирада Кертнера н (следуют еще фамнлин), обвнияя их в соучастнн в военном шпиоиаже, прнчинившем вред государству в том объеме, какой указаи в пунктах обвинення, перечисленных в даииом приговоре.

Во главе преступной шайки иаходился Конрад Кертнер.

Прн судебном разбирательстве Конрад Кертнер прндержнвался полнтики умалчиваиня, уже продемонстрнрованиой им на следствни, утверждая, что он австриец, что не знает персональио никого из обвиияемых, за нсключеннем Делно Лнонелло. Он не нзмеиил своего поведення н тогда, когда Паскуале Эспозито дважды подтверднл, что имел свндання с ним. По-видимому, Конрад Кертнер хотел сдержать даиное нм обещанне, которое должно было служнть для соучастинков сигналом — держать в полном секрете их взаимоотношения. Кроме того, он не прнзнал своими докумеиты, как изъятые при обыске в его миланской конторе, так н отобраниые у иего при аресте.

Точиое устаиовлеиие личиости Копрада Кертиера ие интересует трнбунал. Для Особого трибуиала достаточ-

ио того факта, что лнчиость, прнвлечеииая к суду, является той самой личностью, которая действовала совместно с другимн обвняемыми. То, что Конрад Кертнер иностраиец, — иесомиеино, а кто он по национальности — ие имеет значеиня при оцеике содеянного преступлеиия. Следствениая комиссия полагала, что Кертиер работал в пользу Советской России. Трибуиал ие считает, что ои должеи при выиесенни какого-лнбо суждения нсходить нз задачи определения государства, в пользу которого велнсь шпнонскне действия. Трибунал должен лишь определнть, была ли деятельность обвнняемого шпнонской или нет, иезависимо от государства и действовавшей лнчиостн.

Коирад Кертнер утверждал, что ннтересовался авиацией и, чтобы расшнрнть свои познання, брал уроки у авиатора Делно Лнонелло. Но от Паскуале Эспознто ои получал техннческую документацию по самолетам, отправлениым в Испанию, от Атэо Баронтиии — чертежи подводных лодок. Налицо иезакоиный интерес к докумеитам, секретиость которых была ему нзвестна.

Коирад Кертиер подлежит прнвлечению к ответственности за преступлення, предусмотренные статьей 262, § 2 и § 3. Прокурор на основе изучеиия документов отказался от прнмеиеиня § 1 вышеуказанной статьн.

Трнбуиал придерживается того же взгляда, признавая, что, к счастью, деятельность Конрада Кертнера глубоко ие задела высшнх интересов фашнстской Италии.

При судебиом разбирательстве былн рассмотреиы случаи храбрости н благородства, проявленных обвииямым Атэо Бароитини на водолазной службе; ои также оказал услугн нашнм войскам, которые сейчас доблестно сражаются с красными в Испаннн. Это может повлиять иа меру наказання, но не избавляет Баронтиии от всей ответственностн. Такого же сннсхождення заслуживал бы и Паскуале Эспознто, который скоропостнжно скончался во время следствия.

Атэо Баронтнни подстрекал, правда безрезультатио, Кампеджн к тому, чтобы разгласить воеииые сведення. То, что сведення, сообщеиные Кампеджн, ие могли принести никакого вреда, поскольку устаревшне чертежи

подводных лодок были своевременно предоставлены соответствующими властями, не меняет существа дела.

Трибунал не входит в обсуждение целей и природы преступного разглашения секретов. Мотивы преступления могут быть различны, так же как и ценность разглашенных сведений. Достаточно того, что преступление установлено, поскольку разглашение секретов равносильно преступлению.

Схемы, обнаруженные при обыске у Делио Лионелло, действительно были частично опубликованы в авиационных журналах, и новые публикации не могут представлять какой-либо опасности. В отношении того, знал ли Делио Лионелло о шпионских целях Кертнера, трибунал признает, что следствие этого не установило, и поэтому отклоняет обвинение по § 2 статьи 262.

Коммерческие взаимоотношения не привлеченного по настоящему делу Паоло Паганьоло с его компаньоном Кертнером могли бы возбудить подозрения, что характер деятельности Кертнера был известен Паганьоло. Но это предположение отпало еще в ходе предварительного следствия, и трибунал не считает возможным инкриминировать это Паоло Паганьоло.

. . . .

Минимальное наказание Конраду Кертнеру предусматривает пятнадцать лет тюремного заключения плюс еще один год, с зачетом срока предварительного заключения.

Применение последнего королевского декрета об амнистии и помиловании сокращает срок наказания Конраду Кертнеру на четыре года и Атэо Баронтини — на два года, и для последнего также отменяется штраф в 10 000 лир.

Все судебные издержки относятся за счет осужденных, их имущество, имеющее отношение к процессу, конфискуется.

Остальные заключенные по делу оправданы и освобождаются из-под стражи, если они не должны быть задержаны по другой причине.

Конрад Кертнер по отбытии полного наказания подлежит высылке за пределы государства.

Председатель *А. Сапорити*
Судьи *(четыре подписи)*
Судья-докладчик

Рим, 9 февраля 1937 года».

Кертнер прослушал приговор, стоя в железной клетке. А после приговора прощально пожал руку стоявшему рядом, по-прежнему неунывающему Блудному Сыну. Того приговорили к пяти годам, а в связи с амнистией по королевскому декрету срок заключения сокращался до трех лет. В таком благоприятном исходе дела для Блудного Сына большая заслуга Кертнера, он выгораживал его и на следствии и на суде, как только мог.

Несколькими минутами позже, в той же самой железной клетке, Кертнер выслушал утешения адвоката Фаббрини. Тот обещал добиться пересмотра дела, обещал еще что-то. Но Кертнер не услышал в его словах искреннего сочувствия. Казалось, Фаббрини больше занимала возможность скорее покинуть суд и сытно пообедать. Кертнеру даже послышался в словах Фаббрини фальшивый пафос, потому и смысл слов запомнился смутно. Ну а кроме того, Кертнер не так часто выслушивал подобные приговоры себе, чтобы в такую минуту запомнить болтовню шумного толстяка Фаббрини.

В тексте приговора неожиданно прозвучала фраза, которая очень приободрила, даже обрадовала Этьена; фраза прозвучала как комплимент ему. Значит, он не проиграл, а выиграл дело, если в приговоре есть эта формулировка: «...к счастью, деятельность Кертнера глубоко не задела высших интересов фашистской Италии».

К счастью, он сбил следователей со следа! К счастью, он смог хорошо законспирироваться в тылу у фашистов! К счастью, он правильно вел себя в ходе следствия и на суде, в этой вот железной клетке...

Кертнера вывели из здания суда с черного хода, он уже собрался сесть, подталкиваемый конвойным, в черный автомобиль, как вдруг до него донесся знакомый голос.

Не ему ли это кричат? Слов не разобрать.

Кертнер повернулся на голос и увидел в толпе зевак, собравшихся во дворе суда... Маурицио собственной персоной! Он так отчаянно жестикулировал, будто его должны были увидеть и понять матросы в глубоком трюме парохода.

Маурицио показал Кертнеру кулак. Со стороны это выглядело так — какой-то моряк возмущенно грозит врагам фашистского режима. Но Кертнер отчетливо видел, как именно Маурицио поднял кулак, — он умудрился послать ему приветствие «Рот фронт!».

Обрадованный и в то же время пристыженный, смотрел он на Маурицио. За дни следствия и суда Этьен уже не раз мысленно попросил у дружка Эрминии прощенич за то, что плохо о нем думал. Этот симпатичный бахвал и выпивоха небось и не подозревает, как Этьен из-за него мучился угрызениями совести!

Кертнер собрался ответно помахать Маурицио. Если бы он не отшвырнул тогда наручники перед первой поездкой в суд — не смог бы сейчас и рукой махнуть Маурицио.

«Да, ради одного этого стоило поскандалить с тюремным начальством!»

Но слишком много сыщиков шатается в толпе возле тюрьмы. Как бы не навредить Маурицио.

И Кертнер не ответил ему приветственным жестом, будто на руках у него и в самом деле были наручники. Он едва заметно кивнул Маурицио, и тут же его поспешно втолкнули в автомобиль.

Он ехал в тряской полутьме и размышлял:

«Значит, Маурицио специально приехал в Рим, чтобы узнать приговор, и поджидал меня во дворе суда, чтобы подбодрить».

Кертнера увезли в трибунал обвиняемым, а вернулся он в тюрьму осужденным.

53

После суда Кертнера перевели в другую камеру. Стены ее стали обстукивать с обеих сторон — появился новый жилец!

Но как ответить, не зная условной азбуки? Он старательно повторял чей-то стук, давая понять, что слышит вызовы и готов общаться. Никакого разговора между соседями, конечно, сложиться не могло.

Отчаявшись, он подошел к одной стене, затем к другой и принялся громко кричать:

— Я не знаю азбуки!

Соседи замолкли, но вовсе не потому, что через метровую каменную толщу дошел его голос.

Утром наступила долгожданная минута — на прогулку. Он слышал, как с железным лязгом один за другим открывались замки в камерах. Наверное, выходят будущие товарищи по прогулке. Однако его вывели без спутников, он гулял в треугольном отсеке тюремного двора один.

Почему же в других отсеках гуляли одновременно по нескольку человек? Может, они приговорены к менее строгому режиму?

На тюремном дворике робко зеленéла трава, а в каменных щелях росли полевые цветы. Этьен не знал их названия. Может быть, в Белоруссии или в Поволжье они вовсе и не растут. А может, не обращал на них внимания? Цветики были голубые и пахучие. Когда часовой наверху отвернулся, он сорвал пучок голубых цветов, засунул их за пазуху, пронес в камеру, спрятал в подушке, набитой соломой, и потом еще много ночей вдыхал вянущий запах. Или это было уже воспоминание о запахе? Но оттого он наслаждался не меньше.

Однажды через каменную стену к нему перебросили спичечный коробок. Не раздумывая, он ловко поддал ногой коробок в сторону — часовой прогуливается по стене, ограждающей двор, и ему сверху видно все, что делается в треугольных закутах. Когда часовой отвернулся, Этьен проворно подобрал коробок; в нем лежала записка.

«Сообщи, из какого ты района? Политический? Что нового на воле? Группа коммунистов».

Вместе с записочкой лежала спичка, ее черная головка была вылеплена из смолы. Этьен догадался, откуда

смола, — прутья решетки в окие камеры, там, где полагается быть подоконнику, залиты смолой.

Осторожио иажимая иа засмоленную спичку, ои написал на обороте записки: «Я ие из Рима, не итальянец. Я ие коммуиист, ио ваш большой друг. Телеграфа вашего не знаю. Если можете — сообщите». Он написал записку в несколько приемов. Этьеи пользовался тем, что часовой время от времеии отворачивался. Кроме того, замедлял шаги в том углу дворика, откуда арестант плохо виден часовому: на какие-то мгиовения камеиная стена закрывала гуляющего.

Он перебросил спичечный коробок с запиской за стеиу, откуда коробок бросили. И едва успел это сделать, как прогулка окоичилась.

На следующий деиь, гуляя в том же дворике, он получил коробок с иовой запиской. В камере ои тщательно изучил записку. Безвестиые товарищи разъясняли, как перестукиваться через стену.

Ночь иапролет и весь следующий деиь Этьен заучивал тюремный код, известиый под иазванием «римский телеграф», и практиковался в стуке по тюфяку, иабитому кукурузиыми листьями, по жесткой подушке.

Так же, как и во всех тюрьмах, итальянская азбука делилась на шесть строк, по пять букв в строке. Прежде всего иужио запомнить начальиые буквы строк, в каком ряду зиачится каждая буква азбуки. Тюремное эсперанто! Каждая буква второго ряда обозначается двойиым стуком, а затем уже стуком, который определяет порядковое место буквы в строке. Например, буква «д» передается одним стуком (буква в первом ряду) и еще четырьмя стуками (место буквы в ряду). Перестукиваться нужио очеиь ритмично. Если тот, кто стучит, ошибается, — ои скребет по стене: ие прислушивайтесь, забудьте последиие буквы, сейчас простучу заиово...

При окоичании фразы стучат в стеиу кулаком. Каждый разговор обязательио иачинается фразой «кто вы?».

Уже иа следующий деиь Этьеи отложил в сторону шпаргалку: иесложная задача для его изощреиной, иатреиированиой памяти.

Когда в «Реджина чели» звучал отбой и в канцелярии считали, что спят все восемь открылков тюрьмы, — коридоры расходятся от центра восемью лучами, — иачииал работать «римский телеграф».

Не без робости вызвал Этьен соседа в первый раз. Но тут же убедился, что его понимают. Разрушено молчание, его понимают! Ему советовали обстучать стену, потому что в ней есть участки, где звукопроводиость получше, — в стене могут быть ниши, которые заложили кирпичами. Всегда следует поискать место, где стена отзывается иа стук гулко. Хорошо также поставить таз или миску с водой под то место, куда стучит сосед.

После каждого слова, которое собеседник услышал, и в подтверждение того, что слово понято, он делает один удар. Если собеседник сбился со счета и потерял нить разговора, он производит два быстрых удара, и тогда Этьену следует отстучать слово заново. Если иужно внезапно прекратить разговор, оборвать его на полуслове, например при приближеиии тюремщика, собеседники начинают быстро скрести по стене.

Поначалу Этьеи вел передачу медленно, как бы заикаясь. Но перестук все убыстрялся, вскоре отсчет ударов шел уже автоматически, а ухо иаучилось воспринимать удары как буквы. И вовсе ие обязательио при тюремиом диалоге подавать сигнал «понял» лишь после того, как собеседник отстучал все слово. Иногда смысл слова понятен по двум-трем буквам, и за стеной раздается сигнал «понял».

Позже Этьен научился перестукиваться и с теми соседями, которые сидели не рядом, в одном с иим коридоре, а этажом выше или ниже. В последием случае можно стучать в иаружиую стену, над окном или под окиом. Или стучать в пол ногой; удобнее перед тем разуться, а ударять пяткой. Или взобраться на табуретку и стучать ложкой или кружкой в потолок.

«Римский телеграф» строго преследовался, и потому удобиее перестукиваться, когда тюремщики заняты, например перед раздачей пищи или когда выводят иа прогулку заключенных из другого конца коридора.

Этьен пришел к выводу, что из всех пяти чувств лучше всего в тюрьме развивается слух. Не зрение, не осязание, а именно слух. Он становится изощренным, обостряется до самой крайней степени. Акустика в камерах и в коридорах хорошая, и поэтому от заключенных не ускользает ничего из того, что нарушает тюремную тишину. Во всяком случае, сам Этьен подтверждал такой вывод. Его уши, натренированные в радиопередачах и расшифровке радиограмм на слух, стали еще более чуткими.

Прошло три недели после того, как добрые соседи подбросили Этьену коробок с азбукой, а он уже лежал поздними вечерами или ночью на своей койке и вел с жильцом соседней камеры длинные разговоры, узнавал много новостей и сам делился с ним всем интересным.

Тюремщики всегда стараются, чтобы заключенный знал как можно меньше о жизни, которая его окружает, даже о самом себе. А заключенный старается узнать как можно больше.

«Сколько ухищрений, уловок предпринимают тюремщики для того, чтобы разъединить наши слова, наши взгляды, наши мысли, не говоря уже о каких-то поступках! — думал при этом Этьен с веселым злорадством. — И все понапрасну. К черту гнетущее одиночество! Да здравствует «римский телеграф»!»

54

Весь мир сузился для Этьена до четырех стен, ограждающих тесную камеру, до крохотного клочка неба поверх «бокка ди лупо» — то есть «волчьей пасти». Особым капканом из жести во все окно тюремщики ловят свет и урезывают вид на мир, чтобы из окна нельзя было увидеть ничего, кроме полоски неба; смотреть же на двор или в сторону, на соседские окна, невозможно.

Сперва Этьен сидел в камере, выходившей на юго-юго-запад. Там солнце показывалось над «волчьей пастью» около десяти утра, а часа в два лежало золотой полоской на середине камеры.

Через несколько дней Этьена перевели в другую камеру, глядящую западнее, там солнце наведывается после двух часов, а полоска на каменном полу камеры почти вдвое короче.

И совсем не сразу новоявленный узник привыкает к тому, что за ним все время подсматривают; в любое мгновение может приоткрыться «спиончино», то есть глазок в двери, и стражник заглянет в самую душу.

И форточку начинаешь любить и уважать по-настоящему лишь после того, как попал в тюрьму. Никогда прежде Этьен не проникался к форточке такой нежной благодарностью. Ах, этот зарешеченный, но свободолюбивый квадратик, соединяющий тебя со всей вселенной! Оттуда доносится и дуновение ветерка, пойманного «волчьей пастью», и запахи оживающей травы, новорожденных почек, и слабый, далекий перезвон колоколов в Риме.

Птахи, которые подлетали к его окну, знали, что «волчья пасть» им ничем не грозит, а крошки на дне железного ящика водятся.

Где-то они сегодня побывали, римские ласточки, голуби и воробьи? Вслед за ними Этьен отправлялся в воображаемую прогулку по Риму.

Когда стены раскалены зноем и источают духоту, он завидовал птицам с особенной остротой — птицы имеют возможность улететь к какому-нибудь из римских фонтанов. В воздухе там висит милосердная водяная пыль, и жемчужный блеск струй рождает вечную прохладу. Птицы могут слетать к фонтану Треви или еще подальше — к фонтану на площади Эзедры, где четыре нимфы, омываемые извечными струями, никогда не просыхают. Про них говорят, что они — самые чистоплотные римлянки, но все равно один раз в неделю смотритель чистит их щеткой...

А вдруг птахи прилетели от дома, на котором висит мемориальная доска — здесь жил русский писатель Гоголь. Здесь написал он «Мертвые души». Как Гоголь, живя в Риме, смог сохранить в первозданной свежести русский язык, русский дух, национальное своеобразие? Вот бы и Этьену сохранить в душе нетронутым и неувя-

дающим образ Родины. А родились бы в Риме Чичиков, Ноздрев и Коробочка, если бы Гоголь не имел права разговаривать и даже думать по-русски?

Может, птицы улетают в просторные сады Ватикана, куда простым смертным вход запрещен?

Сегодня последняя суббота месяца, а в такие дни вход в музей Ватикана бесплатный. Когда Этьен попал туда впервые, он тоже не сразу привык к мысли, что в том музее — все подлинное, начиная со скульптур Фидия и кончая позолоченной фигурой Геркулеса из дворца Нерона. Какая-то англичанка с лошадиноподобным лицом все допытывалась у гида: «А это не копия?» Каждый раз гид терпеливо и с достоинством отвечал: «Леди, в нашем музее нет копий, здесь только подлинники». И слышалось: «Третий век до нашей эры», «Первый век нашей эры», «Пятый век до нашей эры». У служителей Ватиканского музея на петлицах — посеребренные значки с миниатюрной папской тиарой и перекрещенными ключами святого Петра. А какие ключи на петлицах у портье самых шикарных отелей? Этьен с усмешкой подумал: «Такая форма больше подошла бы моим ключникам!»

Но дальше в воображении Этьена возникла какая-то путаница и бестолковщина. В зал Сикстинской капеллы, где находится картина «Страшный суд», ворвалась горластая орава римских газетчиков. Все продавцы в фирменных свитерах, на груди и на спине у них обозначены названия газет. Если у тебя нет зычного голоса — не вздумай браться за такую работу. Ведь надо перекричать всех других! То ли у газетчиков вырабатываются такие голоса, то ли бедняки с обычными голосами за это дело вообще не берутся? Уже никто не смотрит на «Страшный суд», все осаждают продавцов газет, потому что там сегодня напечатаны материалы о суде над Конрадом Кертнером и его сообщниками. Вперемежку с посетителями музея газету покупают и святые, сошедшие с полотна. Купил газету и святой Варфоломей, тот самый, который показывает содранную с него кожу, купил газету и сам Микеланджело, спустившийся с лесов, где он оставил кисти и краски. Этьену тоже небезразлично, чем кончился суд над ним, каков приговор. Но тут выяс-

нилось, что он разучился читать по-итальянски. Кого ни просил прочесть ему судебный отчет — всем недосуг. А газетчики продолжали орать, да так громко, что разбудили Этьена...

У изголовья стоял тюремщик, кричал: «Синьор!» — и тряс за плечо. Время выходить на прогулку.

Разве прежде Этьен знал, какая ни с чем не сравнимая ценность — прогулка продолжительностью три четверти часа?

Однажды его вывели гулять вдвоем с мрачным, молчаливым узником, который не сказал о себе ничего, кроме того, что сидит уже двенадцать лет.

Этьен содрогнулся от мысли: «Как раз столько, сколько мне предстоит пробыть в заключении!» И он с ужасом посмотрел на спутника, видя в нем самого себя, каким он станет...

Седовласый, с всклокоченной бородой, с землисто-серым лицом, с заострившимся носом, с опустошенными глазами. Семенящая, неуверенная походка узника, который отвык свободно ходить, а привык прогуливаться в каменном мешке. Ему с трудом удавалось унять дрожь рук, ног, головы.

Уже давно Этьен вернулся с прогулки, а перед его глазами неотступно стоял узник, просидевший двенадцать лет, трагическое видение собственного будущего. Старик средних лет быстрее забылся бы, если бы Этьен мог вытеснить его из памяти другим человеком. Но кого можно увидеть в окне, грубо зашитом жестью?

Где-то в том направлении, куда смотрит его слепая камера, сравнительно близко находится скрытая купой деревьев русская вилла Абамелик-Лазарева, женатого на дочери уральского заводчика Демидова. Мимоза давно расцвела, и желтый цвет возобладал в споре с зеленым. Но все, что воображал себе сейчас Этьен, нельзя было назвать даже воспоминанием о виденном, потому что о вилле «Абамелик», о загородном дворце, о цветущей в том саду мимозе Этьен знал лишь понаслышке. Также понаслышке знал, что на улице Гаэты, № 5 находится советское посольство. Он никогда не заходил в то здание, впрочем, как ему никогда не пришлось бывать

в советских посольствах в Париже, в Гааге, в Лондоне, в Праге, в Вене и в других столицах.

Никто из советских людей, и в том числе его надежный друг Гри-Гри, не придет к нему на свидание. Они лишены возможности прислать Этьену посылку на пасху, передать книги, не подлежащие запрету, скрасить письмом тюремное одиночество.

Первое, что Этьену довелось прочесть, оказавшись в одиночке, — «Правила для отбывания заключения», установленные королевским декретом № 767 от 18 июня 1931 года. В табличке, висящей над парашей, выборочно перечислены обязанности заключенного. Этьену напоминали, как ему повелевает себя вести сам Виктор-Эммануил III, божьей милостью и по воле народа король Италии.

> «Мы декретируем.., Мы распоряжаемся, чтобы декрет, скрепленный гербовыми печатями, вошел в официальный свод законов и декретов Итальянского государства и был разослан всем, кто их должен выполнять, и тем, кому следует дать распоряжения».

А вслед за королевской следовала подпись Муссолини, который, как известно, «всегда прав».

На этот раз Этьен отнесся к королю Виктору-Эммануилу без антипатии, потому что прошел слух о новой амнистии в связи с рождением сына у наследника престола Умберто — внука короля, принца Неаполитанского. Как своевременно принцесса разрешилась от бремени! Этьена едва успели засудить, — благодаря этим удачным родам ему скостят несколько лет тюремного заключения...

На столике возле койки лежала Библия. Этьен читал ее впервые и признался себе — с большим интересом. Вспомнилась книга, с которой он однажды, еще в юности, провел ночь в крестьянской избе. Дело было в России, в Поволжье, когда шли бои с Колчаком. Он должен был скоротать ночь, не смыкая глаз, не раздеваясь, не разлучаясь с маузером, и хорошо, что в избе нашлась книга, не позволившая заснуть, — то были «Похождения

Ваньки Каина со всеми его сысками, розысками и сумасбродною свадьбою». А сколько лет длятся уже его собственные похождения с сысками и розысками?

Очень скоро, скорей, чем предполагал, потянуло к книгам. В сопровождении надзирателя книги из тюремной библиотеки разносил молодой арестант — одухотворенное лицо, деликатный, с мягкой улыбкой. Он так благоговейно брался за грязные, замусоленные переплеты!

Этьен уныло просмотрел названия, перетрогал книжные отрепья в корзине и сказал:

— Библия у меня есть. Другие книги духовного содержания меня мало интересуют. Вот если бы вы познакомили меня с каким-нибудь классиком итальянской литературы!

— На днях принесу, — пообещал книгоноша.

И в самом деле, через несколько дней он принес объемистую, малозахватанную, без вырванных страниц книгу Алессандро Мандзони «Обрученные».

Вот не думал Этьен, что книга скрасит столько дней его заключения! Он упивался богатством языка, вместе с автором погружался в глубины психологии, совершил увлекательное путешествие в прошлое Ломбардии. Как раздвинулся мир, ограниченный четырьмя стенами! Он с сожалением перевернул последнюю страницу, горячо поблагодарил книгоношу и поделился своим восхищением.

— Так ведь это наш Мандзони! — воскликнул счастливый книгоноша и спросил: что бы синьору еще хотелось прочесть?

Кертнер попросил узнать, нет ли в тюремной библиотеке повестей русского писателя Тургенева.

И самое удивительное — книгоноша достал книгу! Однако Этьен не получил от нее ожидаемого удовольствия, может быть потому, что тосковал по русскому тексту и ему казалось, что перевод книги «Вешние воды» неудачен.

А читая повесть, он не раз и не два подметил, что Джемма внешне похожа на его секретаршу.

Нос у нее был несколько велик, но красивого, орлиного ладу, верхнюю губу чуть-чуть оттенял пушок; зато

цвет лица — ровный и матовый, ни дать ни взять слоновая кость или молочный янтарь; волнистый лоск волос — и особенно глаза, темно-серые, с черной каемкой вокруг зениц, великолепные, торжествующие глаза — даже теперь, когда испуг и горе омрачали их блеск...

Этьен всегда страдал в жизни оттого, что у него не хватало времени. Он не транжирил время, расходовал его экономно, но день не вмещал всего обилия дел, хлопот и обязанностей, какие приносил с собой. Арест как бы остановил внезапно Этьена на быстром бегу. Вот так же, когда тормоза с натужным скрипом останавливают на полном ходу мчащийся автомобиль, тот вздрагивает, даже чуть заметно подпрыгивает.

Теперь время оказалось у него в плачевном избытке. Обилие того самого времени, какого ему всегда так не хватало, — и когда учился в колледже в Цюрихе, и когда был комиссаром бронепоезда, и когда работал председателем дорполитотдела Самаро-Златоустовской железной дороги, и когда учился в военных академиях, и когда стажировался как летчик-наблюдатель, и когда занимался коммерцией, и когда шифровал письма и телеграммы. Маленькая Таня сказала незадолго до его последнего отъезда из Москвы — дело шло, кажется, о прогулке в Зоопарк или в Нескучный сад: «Опять у тебя нет времени! У тебя, папочка, есть все-все, кроме одного — кроме времени».

Трижды в день тюремщики простукивали железным прутом все решетки, — вот точно так же простукивает буксы осмотрщик вагонов во время стоянки поезда — не дребезжит ли? Но жизненный поезд Этьена, увы, стоит на месте, а если и движется, то не в пространстве, а лишь во времени... Сижу за решеткой в темнице сырой... В Венеции, в тюрьме за Мостом Вздохов, он видел решетку толщиной в руку. Но так ли важно — толщиной в руку или в палец железные прутья, если решетка отторгает от жизни?!

Казалось бы, наконец Этьену представилась возможность отдохнуть от перенапряжения, вызванного постоянной необходимостью работать, думать, говорить и даже чувствовать в двух разных ипостасях, жить в двух шку-

рах. Великое это искусство — отключиться от треволнений. Все равно что заснуть под шум и адский грохот, при ярком свете, бьющем в глаза. Но оказывается, не так-то просто заставить себя не думать, этому тоже нужно учиться и переучиваться. Никак не хотела отвязаться профессиональная привычка все запоминать, запоминать, запоминать, хотя сейчас можно было позволить себе разгрузить память. Теперь он вправе забыть многое из того, что не позволял себе забывать, будучи на свободе. То были какие-то условные сигналы конспирации, адреса явок, которые нужно помнить и нельзя доверить бумаге, — мало ли всякой всячины хранилось в его кодированной памяти!

И тут он убедился, что ему не удается забыть ничего из того, что он разрешил себе предать забвению. Забывчивость не хотела являться к нему, и память его оставалась отягощенной всем, что надлежало помнить и Этьену, и Конраду Кертнеру, но что совсем не было нужно заключенному. Конечно, память — одно из самых ярких проявлений человеческого интеллекта, и памятливость — клад. Но все-таки страшно было бы сознавать, что мы ничего не в состоянии забыть, что мы все запоминаем навсегда.

У каждого человека, кто бы он ни был, есть священное право на одиночество. Прежде Этьен тоже дорожил этим правом, любил время от времени уединяться.

Забрести одному в лесную чащобу, между двумя полетами или в ожидании летной погоды. Рядом с их аэродромом под Москвой — дремучий лес. Однажды в нем заблудился даже штурман эскадрильи, и все над ним потешались.

А уплыть одному в море, чтобы полоска берега едва виднелась на горизонте?

Иногда человеку и в самом деле нужно драгоценное одиночество. Но только очутившись в камере-одиночке, Этьен узнал, что одиночество насильственное может стать таким страшным наказанием. Оно мучительно, когда хочется перекинуться словом с кем-нибудь, слышать, что рядом дышит человек, даже если человек тебе совсем чужой.

Этьен лежал на койке, уперев руку в стену, будто хотел оттолкнуться от волглой тюремной стены, оттолкнуться от яви, от невеселых мыслей и скорей заснуть. Ах, если бы он уставал физически! Работа привела бы за собой аппетит и сон. А он обречен на ничегонеделание при изнурительной привычке все время напряженно размышлять, анализировать, сопоставлять и обобщать, вновь вести психологический анализ своих и чужих поступков, вспоминать каждый вопрос следователя и каждый свой ответ ему.

Будучи на воле, он никогда не общался с итальянскими коммунистами, а сейчас крыша «Реджина чели» объединила его с сотнями единомышленников, хотя он по-прежнему оставался для всех богатым австрийским коммерсантом, преданным суду Особого фашистского трибунала по обвинению в шпионаже.

В первые дни после ареста, подавленный всем случившимся, он перестал есть и спать, он сокрушался, что так мало сделал, будучи на свободе. Словно он попал в плен к противнику, не расстреляв всех патронов, не нанеся ему чувствительного урона.

Но сейчас, читая вынужденные признания фашистской печати о стойком сопротивлении республиканцев в Испании, слушая новости о саботаже и рабочих забастовках, узнавая, что в самой Германии не убито противодействие Гитлеру, он осязал руки, локти, плечи сидящих рядом с ним в «Реджина чели» и в других тюрьмах безвестных коммунистов и все больше ощущал себя активным бойцом.

Находясь на воле, Этьен по эгоизму, такому естественному для каждого свободного человека, не так-то часто думал о революционерах, своих современниках, томящихся в фашистских застенках, изредка вспоминал то об одном, то о другом. А ныне он то и дело обращался памятью и сердцем к Антонио Грамши, томящемуся где-то в заточении одновременно с ним, к Эрнсту Тельману, который страдает в одиночке с начала 1933 года, к группе венгерских коммунистов, сидящих в тюрьме чуть ли не с 1925 года, и ко многим другим. Он ощутил себя в одном строю со всеми узниками коммунистами, своими

единомышленниками и товарищами по духу. Это придало ему новые силы, воодушевило и наполнило гордостью.

Он так долго воюет в разведке, один-одинешенек послан он в поиск на долгие годы. А в римской «Реджина чели», битком набитой коммунистами, антифашистами, он оказался в одном ряду с боевыми товарищами, хотя и не имел права никому из них в этом сознаться.

Вечером, после того как Кертиера привезли из Особого трибунала по защите фашизма, после приговора, в стены его камеры стучали беспрерывно. Все волновались, все спешили узнать, каков приговор.

И, едва освоив «римский телеграф», он отстукивал своим заочным товарищам: «двенадцать лет, двенадцать лет, двенадцать лет...»

55

Новая тюрьма Кастельфранко дель Эмилия резко измеиила положеиие Коирада Кертиера. После приговора ои потерял свое имя, фамилию и получил тюремиый номер 2722.

Он невесело улыбнулся, вспомнив свои визитные карточки на глянцевом белоснежном картоне; пакет с ними принесли в «Эврику» из типографии накануне ареста. Он положил тогда в бумажник одну-единственную карточку, которую на допросе с вежливой насмешкой вручил следователю-коротышке. Все остальные лежат в его комнате нетроганые и на много лет никчемные. Ему впору заказать себе новую визитную карточку: «Узник № 2722, тюрьма Кастельфранко дель Эмилия, текущий счет в тюремной лавке под тем же номером».

Его раздели донага, обыск был тщательным. Рылись не только в одежде и белье — по всему телу шарили грубые, холодные руки. Одежду отобрали и выдали тюремную робу, серую в коричневую полоску. Его наголо остригли, а он еще долго по привычке проводил рукой по волосам.

Ему предоставлено право тратить в тюремной лавке пять лир в день, не больше. Газеты, журналы и почти все книги стали запретными. Посылки он сможет получать два раза в год — на пасху и на рождество.

Но — от кого?

После суда компаньон Паганьоло заявил адвокату Фаббрини, что отныне судьба Кертнера его не интересует; он прекращает всякие хлопоты.

Во время следствия и суда Фаббрини выступал как защитник по назначению, но после приговора его функции окончились.

Кто же теперь позаботится о судьбе заключенного?

Гри-Гри запросил Москву:

> «Какого адвоката нанять для дальнейших хлопот? Можно нанять знаменитого. А можно нанять адвоката подешевле, того, который защищал Этьена на суде».
>
> Ответ гласил:
>
> «Лучше того, кто уже знаком с делом».

Гри-Гри жалел, что телеграмма подписана не Стариком, даже не Оскаром, а Ильей, работником, которого Гри-Гри недолюбливал. Может, Илья руководствуется

желанием сэкономить деньги? Или там, в Москве, довольны ролью адвоката в ходе следствия, суда и не видят оснований отказываться от его дальнейших услуг?

Гри-Гри оставалось только ломать голову.

Через посредство Тамары — Джаннины он связался с адвокатом Фаббрини. Выяснилось, что доступ в тюрьму и разрешение на свидание с Кертнером не аннулированы. Значит, надо воспользоваться еще не утратившим силу разрешением! Может, удастся заполучить копию приговора? Лишь с копией приговора на руках адвокат вправе продолжать хлопоты.

Джаннина заверила адвоката, что его будущие хлопоты будут оплачены, и Фаббрини согласился вести дело Кертнера дальше, по его словам — из симпатии к бывшему подзащитному.

До суда Фаббрини получал свидания с Кертнером часто, и это бывали свидания с глазу на глаз, а беседы — из уха в ухо. А теперь все изменилось — свидания могут проходить только при надзирателе.

Впервые Этьен очутился в комнате свиданий. Две скамьи у противоположных стен и стул для надзирателя, стоящий у третьей стены, напротив двери.

Когда Фаббрини вошел, Этьен поднялся и церемонно поблагодарил его за участие и за помощь во время следствия и суда. Этьена очень смущало присутствие соглядатая, грузного и сонливого надзирателя, который на жестком стуле пытался сидеть, будто развалясь в кресле. А Фаббрини относился к «третьему лишнему» как к мебели, — сказывалась профессиональная привычка.

После дежурных вопросов о здоровье, самочувствии Фаббрини перешел к делу. Он понимает, что синьор Кертнер не может быть с ним откровенным в этих условиях, — выразительно кивнул на «третьего лишнего». Но когда Фаббрини добьется свидания с глазу на глаз, синьор Кертнер обязательно должен сообщить имя и адрес своего родственника, чтобы тому написать. Компаньон Паганьоло устранился, и нужно другое легальное лицо, которое министерство юстиции сочтет правомочным и от кого можно будет ждать всяких усилий, связанных с освобождением, — писем, денег, посылок.

Фаббрини пожаловался синьору Кертнеру: у него были крупные неприятности при добывании недостающих документов. Если верить Фаббрини, в министерстве юстиции состоялся такой разговор:

— Зачем вам эти документы? — допытывался у него какой-то столоначальник.

— Хочу добиться пересмотра дела.

— Всех материалов мы дать не можем. Много секретных.

— На секретных я не настаиваю.

— А каких документов у вас, синьор Фаббрини, нету?

— Мне нужны протоколы открытых судебных заседаний.

— Принесите и покажите все, что у вас есть на руках. Тогда я смогу решить, какие документы вам дополнительно нужны.

Фаббрини принес судебные бумаги, сдал их, а когда на следующий день явился за дополнительными материалами, ему не дали новых и не возвратили старых бумаг.

— Передавать материалы судебных процессов в Особом трибунале запрещено, — заявил столоначальник. — И вообще, синьор Фаббрини, ваша заинтересованность делом Кертнера наводит меня на грустные размышления. Вы сами не находите это подозрительным?

Фаббрини объявил, что их первое свидание после суда задержалось также и в связи с расходами на поездку в Кастельфранко. Секретарша из «Эврики» явилась к нему домой и принесла деньги. Однако Фаббрини от них отказался.

— Посудите сами, синьор Кертнер, как я могу вести дело дальше, если у меня нет от вас или от доверенного лица официального поручения? И могу ли я взять у той синьорины деньги на поездку сюда? Так можно легко вызвать кривотолки и подозрение тайной полиции! Из тех же соображений я не вправе ехать сюда на свои средства. Не забывайте, я защищал вас только по назначению коллегии адвокатов в Милане! Как мне было уехать сюда, в Кастельфранко? Потребовал от властей, чтобы

мне выдали служебный железнодорожный билет. И вот только на днях получил его в министерстве юстиции.

Фаббрини показал служебный билет, потом хлопнул себя по лбу, ругнул за забывчивость, полез в объемистый портфель с раздувшимися боками и достал оттуда какие-то бумаги конторы «Эврика». То были счета и векселя ко взысканию, Кертнеру надлежало их подписать.

— Текущий счет в «Банко ди Рома» и счет в сберегательной кассе Ломбардии теперь в единоличном распоряжении вашего компаньона. Но я рассчитываю взыскать деньги с дебиторов фирмы, — ободряюще сказал Фаббрини. — Полагаю, половина тех денег будет вашей... Есть у вас деньги сейчас?

— Осталось двести лир. Если питаться очень скромно и расходовать пять лир в день, можно растянуть деньги недель на пять. Тем более, почтовых расходов у меня не предвидится.

Кертнер пошутил, что тюрьма принесла с собой не только ограничения, но и преимущества. Например, он пользуется привилегией и посылает письма бесплатно. Такого права нет даже у депутатов английского парламента! Таким правом пользуются только члены конгресса Соединенных Штатов Америки: им достаточно поставить свою подпись на конверте вместо почтовой марки.

Фаббрини снова напомнил, что у него нет на руках копии приговора и отказались ее выдать — требуется официальная доверенность лица, кровно заинтересованного в судьбе подзащитного, например близкого родственника. Кто даст подобную доверенность?

Точно так же ему необходимо иметь доверенность близких родственников для устройства финансовых дел подзащитного. Пришлось по этому поводу вступить в спор с одним влиятельным лицом в министерстве юстиции. Хоть он там и большая шишка, но Фаббрини не побоялся с ним спорить на равных. Оказалось, они когда-то учились вместе в гимназии в параллельных классах. Не виделись много лет, чуть ли не со школьной скамьи. Начались чувствительные воспоминания, оба долго и мечтательно смотрели в окно на набережную Тибра. Но как

только воспоминания иссякли, влиятельное лицо снова взяло в разговоре сухой тон и заупрямилось:

— При таком обвинении и при таком сроке заключения твой подзащитный не имеет права предъявлять векселя фирмам, которые находились с ним в деловых отношениях. Или ты думаешь, можно зачислять такие суммы на тюремный счет?

Фаббрини схитрил:

— Речь идет не о переводе этих сумм на счет Кертнера в тюремной конторе, денег у него вполне достаточно. Однако на какой бы срок и за какие бы преступления Особый трибунал ни осудил Кертнера, мы не смеем лишать его чести. А у Кертнера есть долги, которые его угнетают и будут тем больше угнетать, чем длиннее срок заключения.

При этих словах влиятельное лицо вздохнуло и сказало:

— Только теперь я вспомнил, что ты и в гимназии был всегда спорщиком...

Вот каким образом Фаббрини выхлопотал, правда пока устное, разрешение и надеется, что поправит финансовые дела своего подзащитного.

— А сейчас держите свои счета, держите векселя и подписывайте!..

Фаббрини совсем не оглядывался на «третьего лишнего», а тот, в свою очередь, не проявлял интереса к беседе. Глаза полуприкрыты, его можно было бы принять за спящего, если бы он то и дело не доставал платок и не вытирал свое обрюзгшее лицо. Этьен невольно улыбнулся, заметив, что сонливый надзиратель как бы подражает Фаббрини, который тоже мнет в руке большой платок и точно такими же кругообразными движениями стирает пот с округлого лица...

Будничным тоном Фаббрини передал привет от какого-то Альтерманна; он очень старательно, отчетливо произнес эту немецкую фамилию. Если бы Этьен знал, как прилежно Тамара вдалбливала слово «Альтерманн» в память Джаннины, чтобы та в свою очередь могла передать пароль через Фаббрини.

Как только прозвучала эта немецкая фамилия, Этьен понял, что получил привет от Старика.

Прозвенел колокол, звон показался Этьену пронзительным и тревожным, как на вокзальном перроне перед отходом поезда: свидание подошло к концу.

Кертнер хотел еще что-то спросить у адвоката, но тот приложил жирный палец к своему женскому ротику — не говорить ничего лишнего. Сам же с помощью иносказаний и намеков напомнил, что нужно всеми силами добиваться свидания без «третьего лишнего», с глазу на глаз. Неужели Кертнер не понимает, насколько это важно?

Фаббрини согласен написать капо диретторе тюрьмы самое верноподданническое прошение, пусть оно даже будет с фашистским душком, — лишь бы войти в доверие к тюремному начальству. Ради дела Фаббрини согласен пожертвовать своей репутацией в глазах тюремщиков Кастельфранко. Он заготовит такое фальшивое прошение и принесет его на следующую встречу. А вручит его лишь после того, как получит одобрение подзащитного. Следующее свидание будет подобно сегодняшнему, но зато на третьем свидании, после вручения ходатайства, когда они, как можно надеяться, останутся вдвоем, они разработают план дальнейших действий. Прошение должно понравиться не только капо диретторе, но и там — при этом Фаббрини показал на потолок в грязных подтеках так почтительно, будто все самые высокие власти Италии сидели на втором этаже тюрьмы...

Кертнер с готовностью кивнул. К черту все условности, если они могут стать препятствием на пути к свободе!

Надзиратель уже встал со стула и выражал признаки нетерпения — пора расходиться. И тут Фаббрини громогласно, театральным тоном попросил синьора Кертнера чистосердечно признаться в своих преступлениях — и ради интересов Италии и ради облегчения собственной участи.

Кертнер ответил молчанием...

После свидания Этьен не раз перебрал в памяти,

фраза за фразой, весь разговор с Фаббрини. Он преисполнился к нему благодарности и неохотно вспоминал его оплошности и промахи на суде, его тогдашнее суетливое равнодушие.

В сегодняшнем рассказе адвоката все выглядело достоверно.

Пожалуй, кроме одной сущей мелочи: не может быть, чтобы он только сейчас вот, случайно, узнал, что его школьный товарищ — какая-то шишка в министерстве юстиции. Ведь они и на юридическом тогда должны были учиться вместе, и все время пути их пересекаются. Но зачем так строго судить Фаббрини?

«Нехорошая у меня привычка — попусту придираться к человеку. И присочинил-то Фаббрини самую малую малость. . .»

А достаточно ли осторожны оба были сегодня на свидании? Не понял ли «третий лишний», о чем они условились? А как отнесется капо диретторе к прошению Фаббрини?

Едва Кертнер вернулся в камеру, все принялись расспрашивать о свидании.

— А кто за вами подглядывал-подслушивал? — спросил сосед по камере, Джованни Роведа.

— Не приглядывался к нему, — сказал Этьен беззаботно, но тут же спохватился: он был невнимателен, позорно невнимателен к надзирателю!

Увлекся разговором с Фаббрини, которого не видел так давно, и мало следил за поведением «третьего лишнего». Лишь смутно помнил, что тот сидел тихо, опустив грузные плечи. И даже голоса его Этьен не запомнил.

— Значит, дежурил Скелет.

— Скелет?

— Это его кличка, — кивнул Роведа. — Толстяк с двойным подбородком, который все время потеет. Он?

— Он.

— Повезло вам. Скелет — самый безвредный.

Этьен расспросил соседей и узнал: на свидания выделяют одного из четырех тюремных младших офицеров. Кто же они такие и что из себя представляют?

Согласно собранным приметам, первый из четверых слегка припадает на левую ногу и страдает тиком — будто время от времени вам подмигивает. А мечется он во время свидания без устали, как узник, которого выпустили на прогулку после большого перерыва. Он важничает, любит делать замечания и все время мельтешит перед глазами тех, кто сидит на скамьях друг против друга. Нахально встревает в интимные объяснения, гогочет, гримасничает. С удовольствием и вдохновением пишет доносы.

Второй тюремный офицер — низенький, из тех, кого неаполитанцы называют «пичирилло», а родом из Лигурии. Ну как же, лигурийца нетрудно распознать по его своеобразному произношению. Может, даже не отец его, а прапрадед перекликался с другими моряками, когда лодки были далеко одна от другой, или кричал против ветра, или доставал зычным голосом до верхушки мачты, до соседнего причала в порту. Умение говорить и превозмогая гул волн, когда рот набит ветром, и перекрывая крики торгашей в Генуе — эта привычка вырабатывалась веками, и от нее не просто отделаться даже весьма сухопутным потомкам. Сын Лигурии, нашедший себе тихую пристань в тюрьме, по слухам, якшался когда-то с анархистами, считается вольнодумцем. К разговорам не прислушивается, но ревностно следит, чтобы его поднадзорные ничего не передавали друг другу. А вот уголовным за нарушение режима от него достается изрядно.

Третий надсмотрщик — седоусый, лысоватый, говорит низким басом, но рот открывает только в случае крайней необходимости. Тактичен, если свидание проходит в рамках правил. Очень самолюбив. Если к нему отнеслись без должного уважения — злопамятен, мстителен.

А четвертого Этьен уже видел. Конечно, это он, согнув спину, мешковато сидел на стуле. Скелет сонлив, нелюбопытен, у него такой вид, словно он перетрудился и на этом свидании наконец-то может отдохнуть. На мелкие нарушения смотрит сквозь пальцы.

Интересно — кто окажется «третьим лишним» на следующем свидании с адвокатом?

56

Гри-Гри был сильно озабочен положением Этьена. Скоро тот останется совсем без денег. А политический узник, если он к тому же слаб здоровьем, обречен фашистским тюремным режимом на медленную голодную смерть.

Кто может помочь Кертнеру? Ведь судя по его австрийским документам, он холост, семьи у него нет.

Гри-Гри получил указание из Центра:

«Чаще помогайте Этьену материально, но так, чтобы это не вызвало подозрений насчет того, кто именно ему помогает.

Старик».

От кого же, в таком случае, может исходить помощь? Только от Джаннины, тем более что Тамара поддерживает с нею постоянную связь.

Джаннина враждебно относится к черным рубашкам и к самому дуче. Она помнит, кто погубил ее отца. Сыграла свою роль и грязная провокация ОВРА, которая стоила отчиму чести и жизни. А ее заботы о бывшем шефе Кертнере объясняются тем, что он стал жертвой Паскуале. Тот не выдержал испытаний судьбы, сделался предателем и принес Кертнеру столько страданий...

Кто бы мог подумать, что Джаннина окажется способной актрисой? Сама не знала за собой такого таланта.

В первый раз она отправилась в Кастельфранко на прием к капо диретторе Джордано принаряженная и попросила у него отеческого совета.

Дело в том, что нынешний шеф международного бюро патентов «Эврика» синьор Паганьоло отрекся от своего бывшего компаньона герра Кертнера, осужденного за шпионаж и сидящего в тюрьме, вверенной христианским заботам капо диретторе. Сама она после всего, что выяснилось на суде, также не может симпатизировать герру Кертнеру. Но шеф Паганьоло считает, что, поскольку личные вещи Кертнера остались в комнатах при конторе,

следует озаботиться их реализацией и пересылкой Кертнеру денег. А то еще кто-нибудь упрекнет Паганьоло, что он присвоил чужие вещи! До сих пор случаются расчеты по старым операциям, векселям, когда по закону требуется подпись Кертнера. И тот всегда идет навстречу фирме. А все средства Кертнера, как вложенные в дело, так и лежавшие на его личном счету в банке, конфискованы в пользу государства. Эта сумма была точно подсчитана в день ареста 12 декабря 1936 года.

Джаннина доверительно сообщила капо диретторе, что она советовалась со своим падре Лучано — не богопротивно ли помогать по долгу службы в устройстве дел преступника? И падре Лучано ответил, что Джаннина тем самым лишь выполняет свой христианский долг.

Капо диретторе умело притворялся либералом. Он был польщен искренностью и доверием очаровательной синьорины и, когда аудиенция кончилась, даже вышел из-за стола и проводил посетительницу до двери. С тех пор Джаннина, отлично зная, что все письма перлюстрирует капо диретторе собственной персоной, передавала ему приветы, поздравления с наступающими праздниками и поэтому при отправлении посылок находилась в наиболее благоприятных условиях.

Благодаря служебному поручению «Эврики» Джаннине разрешено было отправлять Кертнеру посылки и пересылать деньги.

В приговоре указано, что конфискации подлежит все недвижимое имущество Кертнера, которого, кстати сказать, у него не было. А движимое имущество ему оставили. Какая-то одежда нужна человеку на случай, если он доживет до того дня, когда его придется, согласно приговору, выслать из пределов государства. Не отправлять же его до границы полуголого, тем более что освобождению он подлежит в зимний день — 12 декабря 1948 года.

Из вещей, какие значились в описи, Джаннина прежде всего продала фотоаппарат «кодак», подвесной мотор «цундап» для прогулочной лодки и перламутровый театральный бинокль. Эти деньги позволили отправить Кертнеру посылку еще до суда, в римскую тюрьму «Ред-

жина чели», а кроме того, перевести на его счет в тюремной лавке 800 лир. Денег должно было хватить месяца на четыре.

Но в тюрьме Кертнер заболел, много денег ушло на дорогие лекарства и на вызов доктора по легочным болезням. В первом письмеце из Кастельфранко на имя Джаннины Кертнер попросил прислать рыбий жир — ему необходимо для курса лечения 3—4 литра. По его сведениям, в связи с ограничением импорта рыбий жир достать очень трудно...

В правом верхнем углу письмеца значился его тюремный номер 2722. А внизу стоял штамп, который напоминал, что

> «запрещается отправлять заключенным продукты и всевозможные предметы, за исключением нижнего белья, носков и — на случай освобождения — верхней одежды».

Джаннина теперь знала весь почтовый распорядок тюрьмы в Кастельфранко дель Эмилия. Продукты, за исключением скоропортящихся, разрешается отправлять заключенному лишь на рождество и на пасху. Заключенный имеет право отправлять два письма в неделю, а получать почту — без всякого ограничения. Получать книги от родственников запрещено. Но издательство может высылать непосредственно в тюрьму новые книги, если дирекция эти книги разрешила. Подобные расходы могут быть произведены лишь из тех 150 лир, которые разрешено ежемесячно тратить в тюремной лавке. Наверное, такую сумму установили, когда лира весила больше, сейчас эта сумма нищенски мала.

Джаннину беспокоила посылка к пасхе. Она надеялась, что рыбий жир, который ей удалось достать и отправить, не будет рассматриваться капо диретторе как посылка и она сможет отправить к пасхе что-нибудь повкуснее.

Можно было обратиться к администрации тюрьмы с ходатайством разрешить посылку к одному из фашистских праздников — таких праздников в году пять. Но

коммунисты, антифашисты отказывались от посылок, например, к годовщине похода на Рим. Этьен также считал для себя подобные просьбы безнравственными.

27 марта Джаннина получила из тюрьмы второе письмо:

> «...С каким удовольствием я выкурил бы сейчас хорошую сигарету!
>
> Просьба сообщить, в каком издательстве можно приобрести книгу Крокко (сейчас он уже академик) об авиации. Книга эта, точного названия ее не знаю, вышла в двух томах в 1932 году.
>
> Оказывается, вес посылки не регламентирован строго и устанавливается дирекцией в зависимости от того, как ведет себя заключенный, но не менее 4 кг. Для меня установили вес праздничной посылки в 4 кг. (Приписка, сделанная синим карандашом рукой Джордано: «до 5 кг».) Дирекция своевременно сообщит мне, когда можно будет отправить посылку». (Приписка тем же карандашом: «Посылка разрешена, отправляйте к пасхе».)

К письму была сделана приписка тем же карандашом, той же директорской рукой:

> «Благодарю синьору за любезное поздравление и поздравляю синьору взаимно».

Наконец-то Этьен получил долгожданную пасхальную посылку! Ящичек вскрыт, крышка с обратным адресом и фамилией отправителя куда-то девалась, но Этьен знает, кто отправитель. А посылка богатая! Коробки с печеньем, шоколад в плитках, яичный порошок, оливки в масле, орехи в меду, сигареты.

Однако почему содержимое посылки в таком ужасающем виде?

Надзиратель по кличке «Примо всегда прав» признался, что это он проверил содержимое посылки — в тюрьме такое правило.

— Посылка побывала в руках варвара! Ломать, крошить? Не имеете права!

— По закону я могу растереть все в порошок.

— Я такой посылки не приму.

Видимо, «Примо всегда прав» опасался, что новый заключенный напишет на него жалобу, а потому сам поспешил подать рапорт. Он хорошо знал неписаный закон: прав тот, кто первым пожаловался.

Капо диретторе с неприязнью оглядел вновь прибывшего заключенного, погладил себя по лысому морщинистому черепу и попросил рассказать, как было дело.

Вновь прибывший с нотками сожаления в голосе сказал, что слышал о тюрьме Кастельфранко много хорошего и тем обиднее в первые же дни обмануться. Надзиратель добивается того, чтобы Кертнер изменил свое мнение об этой тюрьме к худшему.

— Какое он имел право ломать и крошить содержимое посылки? А может, у него грязные руки? Ну-ка, покажите свои руки! — Кертнер резко повернулся к надзирателю, который так растерялся, что простер руки. — Ну, вот видите... А я человек брезгливый. Вы искали в посылке крамолу, а я нашел в ней грязный мусор.

— Вы правы, — неожиданно поддержал капо диретторе и строго посмотрел на «Примо всегда прав». — Не руками полагается при проверке ломать печенье, шоколад, орехи, а резать ножом, дробить.

Надзиратель украдкой посмотрел на свои чистые руки и разозлился на нового заключенного еще сильнее. Так глупо и безвольно ему подчинился! Мстительный огонек уже горел в глазах с грязными белками. А на лице можно было прочесть: «Кажется, иностранец — важная птица. Но я обкорнаю ему крылышки».

— Я отказываюсь от такой посылки. Мой адвокат отправит ее министру юстиции, пусть полюбуется! — заявил Кертнер с напускным высокомерием. — А ваш рапорт насквозь лживый... Мне рассказывали в «Реджина чели» о надзирателе, который строчил доносы на всех подряд. А знаете, чем это окончилось? — Кертнер оглянулся на надзирателя, адресуя вопрос ему. — Кончилось

расстройством его умственных способностей. Написал донос на самого себя! Вы этого не боитесь?

Кертнер резко повернулся и самовольно направился к выходу, где его ждал стражник. В тот момент он пожалел, что не видит, какое впечатление произвели его слова. Но Кертнер был уверен, что как только за ним закроется дверь, капо диретторе сделает выговор надзирателю...

57

Перед тем как написать Джаннине очередное письмо, Этьен призадумался: писать «синьорина» или «синьора»? Она ходит в невестах, познакомила его со своим женихом, интересным молодым человеком из богатой семьи, жгучим брюнетом, который все время старательно зачесывает назад волосы, открывая небольшой лоб. Значит, «синьорина»? Но солиднее, с точки зрения тюремной администрации, если он будет находиться в деловой переписке с синьорой.

«Джентиллиссима синьора, мне, как Вы знаете, сильно повезло, я просто счастливчик среди других заключенных, — писал Этьен 21 апреля 1937 года. — Какая удача, что меня так поспешно судили и успели вынести приговор за неделю до 15 февраля. Я должен молиться за торопливых следователей, судей, а также августейших молодоженов. Благодаря новой амнистии, объявленной в связи с рождением сына у наследника царствующего дома, срок моего заключения уменьшился еще на пять лет. Таким образом, мне остается отбыть шесть лет и восемь месяцев, а не двенадцать лет, как я сообщал Вам после суда. Вы не находите, что я сделал крупный шаг вперед?

Если Вас не затруднит, пришлите, пожалуйста, книгу Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях».

Прошу еще об одном одолжении, узнайте —

не вышел ли из печати второй том книги Крокко по авиации? Вы, вероятно, помните свое сообщение об этом, написанное до пасхи? Тогда том должен был вскоре выйти. В случае положительного ответа от вас попрошу у директора разрешения купить книгу.

Почтительно приветствую вас. *К. К.*»

Джаннина отправила ценную посылку, а вслед за ней раздобыла еще две бутылки рыбьего жира. Она начала эти хлопоты после получения письма Кертнера, он писал в субботу 8 мая 1937 года:

«Уже несколько месяцев болит грудь. Боялся, что у меня больные легкие. Доктор уверил, что ничего опасного нет, однако прописал в обязательном порядке рыбий жир, две столовые ложки в день...

Очень стыдно Вас затруднять, но, как выяснилось, болезней вокруг нас тысяча, а здоровье только одно».

Деньги нужны были и для перевода в тюрьму, и для покупки Кертнеру лекарств и книг. Капо диретторе разрешил хорошенькой просительнице самой оплачивать счета издательства, не ухудшая материального положения заключенного, не из его тюремного бюджета.

23 мая 1937 года Кертнер просит свою бывшую секретаршу

«оплатить в издательстве и прислать книгу Себастьяна Висконти Праска «Решительная война». Книга издана в Милане в 33 году. Необходимо возместить и все почтовые расходы».

11 июня 1937 года Кертнер просит Джаннину оплатить в издательстве стоимость и пересылку в тюрьму книг Гегеля «Философия истории» и Рейнаха «История религии» («на любом из основных европейских языков»). Он получил от дирекции разрешение подписаться на

журнал «Восточная Европа» (издание Института по делам Восточной Европы — Рим, ул. Лукреция Кара, 67) и журнал «Современный Восток» (издание Восточного института, который помещается там же).

> «Вы понимаете, с каким нетерпением я буду ждать Вашего ответа.
>
> *К. К.*».

15 сентября 1937 года Кертнер обратился с просьбой прислать ему кое-что из мелочей (мыло, гребешок, носки) и одновременно запрашивал:

> «Можно ли подписаться с октября на журнал «Обозрение иностранной прессы»? Или нужно ждать нового, 1938 года?»

Приписка капо диретторе:

> «Уважаемая синьора! Пришлите все, что заключенный просит, но не приобретайте этого журнала, так как он не имеет права его получать. Следовательно, ваши беспокойства будут напрасными, а журнал я вынужден буду реквизировать.
>
> *Джордано*».

Расходы на подписку, благодаря вмешательству Джордано, отпали. Но Кертнер должен подкармливаться в тюремной лавке! И не только мыло, гребешок и носки предстояло купить, собирая посылку.

Что можно было продать еще из вещей шефа? Через несколько дней после ареста пришел портной и принес костюм. Уже состоялась последняя примерка, костюм оплачен, а застрял у портного потому, что заказчик попросил переставить пуговицы. Ну что ж, костюм опоздал весьма кстати. Джаннина впечатала в опись строчку насчет костюма, благо до подписи полицейского комиссара в описи было еще достаточно чистого места.

Костюм продали через комиссионный магазин, и у Джаннины появилась легальная возможность снова прийти на помощь бывшему патрону.

Как раз в эти дни Гри-Гри получил из Центра шифрованную радиограмму:

> «Секретарша очень опасна, она много знает. Сообщайте, как себя ведет. Можно опасаться, что она наболтает много лишнего, тем более, что отчим ее арестован.
>
> *Илья*».

Уже не в первый раз Гри-Гри получал телеграммы по поводу секретарши от весьма недоверчивого, переполненного подозрениями сослуживца.

А первая шифровка на этот счет пришла вскоре после ареста Этьена:

> «Секретарша слишком легко отделалась от агентов ОВРА. Ее благополучие подозрительно. Очень возможно, ее оставили на свободе, чтобы она способствовала аресту других товарищей. Как можно ей доверять? Не делайте ничего без ведома адвоката, без его советов.
>
> *Илья*».

Все последние месяцы Илья только предупреждал Гри-Гри и настораживал, с каждым месяцем этот товарищ, занимающий большой пост в Центре, все больше осторожничал и все строже предостерегал. «Этого не делайте!», «От этого лучше воздержаться», «Решение вопроса целесообразно отложить»...

Черт возьми, но ведь нужно не только опасаться, бояться, остерегаться, надо чем-то реально помогать Этьену! Гри-Гри не чувствовал за словами и поступками Ильи той острой тревоги за судьбу Этьена, той оперативной деловитости, которая всегда ощущалась в рекомендациях Старика. Это Илья должен был подобрать замену для Этьена и не выполнил давнего приказа Старика.

Проницательность Ильи в отношении секретарши мнимая; он исходит из того, что в ОВРА сидят олухи. Бдительный товарищ не понимает: если бы секретарша в самом деле сотрудничала с ОВРА, итальянцы обязательно создали бы видимость, что ее преследуют, и сделали бы это именно для того, чтобы она сохранила доверие друзей Кертнера!

«Она могла бы уже много раз воспользоваться обстановкой и скомпрометировать нас, — размышлял Гри-Гри. — Не стала бы контрразведка ходить так долго вокруг да около!»

И потом Илья не знает и не принимает во внимание всех дополнительных жизненных обстоятельств, обусловивших нынешнее поведение Джаннины, — и гибель отца, и смерть отчима, и ее ссоры с женихом на политической почве. Автор бдительных шифровок не в ладах с психологией, не знает правил, каких придерживаются умные контрразведчики в своих тайных поединках с противником. Наконец, разве Гри-Гри вправе не доверять собственному впечатлению о Джаннине, сомневаться в ее искренности, считать все ловким притворством?

Гри-Гри отправил в Центр телеграмму, в которой выразил острую тревогу за судьбу Этьена, просил принять более действенные меры для облегчения его участи и подтвердил, что ответственность за подбор связных он полностью берет на себя.

58

Большая камера о трех каменных стенах, а четвертой стеной служит сплошная решетка, выходящая в коридор. Стена-решетка удобна тюремщикам: ничто не укрывается от их всевидящих глаз, жизнь камеры как на ладони.

Но решетка позволяет видеть все, что делается в коридоре, и нет тюремных тайн, которые быстро не становились бы достоянием заключенных.

Камера, в которую посадили Этьена, была рассчитана на восемь человек, но в нее втиснули тринадцать коек. Здесь сидела группа заслуженных революционеров, стой-

ких борцов с фашизмом — Джованни Роведа, Каприоло, Бьетоллини, Будичин, Йори и другие.

Когда мимо решетки вели политзаключенных, они приветствовали жестами или возгласами соседей Этьена по камере. Тюремщики следили, чтобы проходящие не заговаривали с обитателями камеры. Лишь стражник Карузо, когда дежурил один, не мешал скоротечному общению политических между собой.

Три большие камеры для политических в том же коридоре набиты преимущественно молодыми парнями, это рабочие из Милана, Реджо дель Эмилии, Турина, Модены, Пармы, Болоньи, Брешии. И ничего удивительного в том, что молодые выражали свое почтение вожакам коммунистического подполья, популярным в Ломбардии и Пьемонте.

Администрация старалась отъединить политическую молодежь от старожилов тюрьмы. Вот почему, несмотря на тесноту, две промежуточные камеры в коридоре пустовали...

Началось с того, что уголовники, которые разносили по утрам хлеб, протащили назад мимо стены-решетки мешки с нетронутым хлебом. В то утро молодые парни из многих камер взбунтовались и объявили голодовку, протестуя против каторжного режима и против того, что ухудшилось питание.

В Италии заключенные находятся на довольствии у поставщика. Он одевает, обувает арестантов, ремонтирует их одежду и обувь. Он же держит лавку и продает кое-какую провизию тому, у кого есть деньги на тюремном счету.

При сдаче подряда на питание заключенных обусловливается и качество макаронных изделий, и заправка супа. В Кастельфранко уже не раз происходили скандалы из-за того, что жуликоватый подрядчик не придерживается стандарта. Или еще хуже — от супа несет тухлятиной. А сам-то суп — жиденькое хлёбово. Про такое — вспомнил Этьен — в Белоруссии говорили: «Крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой».

Однажды подрядчик завез такие темные макароны, что вызвал в тюрьме всеобщее возмущение. В тот день

стража боялась открыть двери в камеры, никого не выпускали на прогулку. Чтобы успокоить заключенных, в тюрьму привезли в запломбированном мешочке макароны — ту самую пробу, которая фигурировала при сдаче подряда. Подрядчика тогда уличили в обмане, он извинился, но его раскаяния хватило ненадолго: оно оказалось еще более скоропортящимся, чем его провизия.

Пайка хлеба и миска супа — дневной рацион заключенного. Он даже не вправе попросить кружку кипятку — только холодную воду.

Воскресенье — праздник для всех католиков, в том числе для заключенных. Воскресный режим отличается от будничного: каждый получает еще две-три картофелины в кожуре и 125 граммов мяса без костей; воскресный бульон — отвар этого мяса. И вот уже не первое воскресенье мясо давали гнилое, а хлеб становился все менее съедобным.

Когда утром молодым политзаключенным принесли хлеб, они его не взяли и остались сидеть на нарах со сложенными руками. А в обед они отказались подставить свои миски под черпак, которым разливали суп. В протухшем супе червей плавало больше, чем крупинок риса.

Вонючий суп вызывал тошноту еще до того, как проглатывали первую ложку.

Молодой коммунист Бруно крикнул: «Кораццата Потьемкин!» — он видел русский фильм «Броненосец «Потемкин», когда-то фильм крутили в кинематографах Милана.

Заключенные стучали по железной решетке котелками, били табуретками. Иные дали налить в свои миски суп только для того, чтобы выплеснуть его сквозь решетку в коридор.

Когда раздалась команда «на прогулку», никто из камер не вышел.

На беспорядки в тюрьме Кастельфранко оказало влияние и проникшее туда известие о смерти Антонио Грамши. Сперва сообщили о его тяжелой болезни, и на весь мир раздались голоса протеста — от Ромена Роллана до настоятеля Кентерберийского собора. Муссолини вынужден был согласиться, чтобы Грамши перевезли сна-

чала в клинику доктора Козумано в Формии, а затем в клинику «Квисисана» в Риме. Увы, слишком поздно! 27 апреля 1937 года, через три дня после освобождения, Грамши не стало. Государственный преступник № 7047 расстался с решеткой, но жить было уже нечем, нечем было дышать.

В траурный день многие вспомнили циничные слова тюремного врача, который заявил Грамши: «Как фашист, я могу желать лишь вашей смерти». Сосед Этьена вспомнил фотографию: Муссолини сидит в парламенте на правительственной скамье и, приставив ладонь к уху, напряженно вслушивается в слова своего противника. Вспомнили в камере и последнее слово Грамши, перед тем как его приговорили к 20 годам, 4 месяцам и 5 дням тюремного заключения: «Вы приведете Италию к катастрофе, мы, коммунисты, ее спасем!»

«А что я предпочел бы для себя? — подумал Этьен. — Прожить на свободе после десятилетнего заключения эти жалкие три дня или умереть в тюрьме? Пожалуй, три безнадежных дня на свободе стали бы самой жестокой пыткой. Уж лучше отдать богу душу, не снимая тюремной одежды...»

Следующая причина волнений заключенных могла показаться совсем несущественной: на почтовых конвертах, которые отправляли из Кастельфранко, тюремная администрация ставила свой штамп, что было незаконно. Зачем сообщать почтальону, а значит и всей округе, откуда письмо?

Наконец, еще одно событие способствовало тюремному бунту — подошло Первое мая.

Внешность стражника Карузо никак нельзя назвать привлекательной: колючие угольно-черные глаза, посаженные так близко, что между ними с трудом умещается узкий, с горбинкой нос, колючие брови, острый профиль. И однако же именно к нему Этьен рискнул накануне Первомая обратиться с просьбой: подойти к решетке камеры в 8 часов утра и подать знак.

По московскому времени будет 10 утра. Этьену захотелось вообразить себе ту минуту, когда бьют кремлевские куранты, а из ворот Спасской башни выезжает нар-

ком. Сейчас он примет рапорт командующего первомайским парадом, объедет войска и поздоровается с ними. Этьен даже вспомиил смешную оговорку диктора в какой-то праздничной радиопередаче: «Из ворот Спасской башни выезжает нарком, вы слышите цокот его копыт».

Тишина, торжественная, полная сдержанного ожидания, овладевает площадью в праздничном убранстве. Литыми квадратами стоят войска. Еще неподвижны древки знамен, их золотые стрельчатые наконечники. Маршевый шаг колонн еще не наполнил ветром знамена, лишь слегка колышется шелк и бархат. Безмолвен оркестр, еще не раздались голоса повелительной меди, мелодии не согреты живым теплом, дыханием трубачей. Но в этой сосредоточенной тишине уже угадывается первый марш. Все ближе, ближе, ближе величественная и гордая минута — вот-вот начнется парад. И сколько раз ни стоял Этьен в такие минуты на Красной площади, нетерпеливо поглядывая на стрелки кремлевских часов, его всегда переполняло радостное волнение, рожденное предчувствием большого торжества...

Первомайская голодовка, такая упорная и дружная, вызвала беспокойство у тюремной администрации, потому что к молодым бунтовщикам присоединились другие камеры, включая уголовников.

Стало известно, что капо диретторе Джордано уже получил на сей счет запрос из министерства. А 2 мая он начал переговоры с делегатами политических заключенных. В делегацию вошли Роведа, Каприоло, Бьетоллини и заключенный из новеньких, австриец Конрад Кертнер. Он снискал уважение тем, что защищал несправедливо обиженных и не уступал в стычках с тюремной администрацией. Он не называл себя коммунистом, и однако же все его поведение позволяло видеть в нем убежденного революционера.

Четырех делегатов от заключенных ввели в кабинет к капо диретторе. Тот был взбешен и не пытался этого скрывать. Больше всего его раздражал заключенный 2722, из новеньких. Упрям, неуступчив в споре и, если на него кричать, тоже начинает повышать голос, подчеркивая тем самым, что его непочтительность — ответная.

Этьен уже знал, какой лицемер этот самый Джордано: с родственникамн и близкнми заключенных он умел быть добрым, старался прослыть гуманистом. А с заключенными жесток и не одного из них уже свел в могилу.

Мудрый Роведа сказал директору:

— Вы сами виноваты в смуте, которой охвачена тюрьма. Вам пришла в голову вздорная мысль — выделить специальные камеры для политической молодежи. Мы голодаем в знак солидарности, но вовсе не считаем эту меру самозащнты разумной. Мы не хотим, чтобы молодые люди шли к краю своей гибели. Мы не собираемся учить их смирению, мы тоже протестуем против ущемления своих прав. Но еслн бы мы сндели в камерах вместе с молодыми, до голодовки не дошло бы, и молодые не бунтовали бы так анархически...

Переговоры окончились безрезультатно.

Вскоре после беседы с капо диретторе делегатов отправили в карцер. Накануне этого дня Этьена перевели в лазарет. Он мучительно кашлял, но в знак солидарности с тремя другими делегатами потребовал перевода в карцер. Через два дня всех четверых вернули в камеру, расправа с делегатами лишь усилила позиции молодых бунтарей.

На следующий день все политзаключенные и многне уголовники вновь отказались от хлеба, отказались от прогулки, отказались от супа, уже почти съедобного, и продолжали сидеть на нарах, демонстративно сложа руки.

Джордано вновь вызвал к себе делегатов и, после долгих препирательств, вынужден был сдаться.

Он признал справедливым и протест насчет писем; тюремное клеймо с конвертов уже снято. А самая главная победа — капо диретторе разрешил перевести в молодежные камеры троих из четверых приходивших к нему делегатов.

Этьен шел по коридору с узелком в руке и одеялом под мышкой; оно из такого же серо-коричневого сукна, как и тюремная одежда.

В какую камеру приведет его судьба?

Невысокий парень с живыми черными глазами стоял

у открытой двери камеры. Он спросил у проходящего по коридору:

— Ты австриец из четверки?

— Да.

— Иди к нам! Мы ждем тебя! — Парень выхватил у Этьена узелок из рук, затащил в камеру, и тут же за ними захлопнулась дверь-решетка.

А к соседям перебрались на жительство Каприоло и Антонио Бьетоллини.

В камеру Этьен вошел улыбаясь, его окружили изможденные, но счастливые молодые люди, на их лицах отблеск добытой победы.

Этьен положил одеяло на пустовавшую койку и развязал свой худосочный узелок.

Кусочек мыла. Алюминиевая кружка. Зубная щетка. Деревянная ложка и такая же вилка; один зубец этой вилки сбоку заострен, и деревянное лезвие служит ножом. А кроме убогого арестантского скарба в узелке несколько книг — целое богатство!

Из-под нависших бровей Этьен бегло оглядел всех, кто его окружил, и сказал:

— Дорогие друзья! Особый трибунал и фашистская полиция знают меня как австрийца Конрада Кертнера. Таким я должен остаться и для вас. Не задавайте вопросов, не смогу на них правдиво ответить... Ну, а что касается голодовки, молодые друзья, она может подорвать ваши силы. Нельзя жертвовать здоровьем в самом начале борьбы! Здоровье вам еще пригодится. Самое сильное оружие надо беречь для решительного боя. И плох тот стрелок, у которого так ослабела рука, что он посылает свою последнюю пулю мимо цели. Пусть каждый ваш выстрел будет метким!

59

Дорога вдоль апельсиновой рощи изрыта воронками. Пыль еще не улеглась, бомбежка была совсем недавно. По дороге, объезжая воронки и вихляя из стороны в сторону, мчался мотоцикл с коляской. Оба, мотоциклист и пассажир, в форме бойцов интербригады.

Мотоцикл проехал мимо догоравшего грузовика, мимо покосившегося дорожного столба с указателем-стрелкой «Толедо», мимо деревьев с расщепленными стволами и срубленными макушками, мимо опрокинутой двуколки и убитой лошади в постромках.

Сквозь стрекотанье мотоцикла все отчетливее слышался рокот другого мотора. Пассажир в коляске первым заметил самолет и жестом приказал — свернуть с дороги.

Оба бросились под чахлые придорожные оливы, упали плашмя на землю. «Фиат» снизился и пролетел вдоль дороги, прошивая очередями реденькую оливковую рощицу. Одна пуля пробила полевую сумку пассажира, две пули попали мотоциклисту в спину.

«Фиат» улетел, стих его мотор, пассажир поднялся, посмотрел на небо и скомандовал:

— Аванти, Фернандес!

Но Фернандес остался недвижим. Пассажир поднял тело, понес к мотоциклу и положил в коляску, сел на место убитого, завел мотор и поехал, медленно объезжая воронки.

Были ранние сумерки, когда мотоцикл въехал в ворота монастырского подворья, где обосновался командный пункт Доницетти.

— Курт! — Пассажир подозвал к себе долговязого бойца интербригады, — тот сидел в тени каменного забора и перебирал пулемет.

Курт вгляделся в запыленного до неузнаваемости товарища, узнал его, расторопно поднялся и подбежал к мотоциклу.

Вдвоем они перенесли убитого в тень, а монах накрыл его черным покрывалом.

Вновь прибывший отдал Курту какой-то приказ по-немецки, поправил портупею с пробитой полевой сумкой и торопливо прошел через двор, на ходу стряхивая с себя пыль пилоткой. Он подошел к часовому, стоявшему у входа в подвал, и спросил:

— Камарад Доницетти здесь?

Часовой кивнул.

— Доложите. Подполковник Ксанти.

— Проходите, вас давно ждут.

Едва он спустился в полутемный подвал, как его окликнули из полутьмы по-испански и тот же голос нетерпеливо спросил его по-русски:

— Почему так поздно, Хаджи? До перевала далеко. Ты же сам знаешь — ночи короткие...

— С трудом добрался, Павел Иванович. — Ксанти говорил с кавказским акцентом.

Он подошел к столу, положил рядом с лампой запыленную полевую сумку. Доницетти приблизился к свету, на плечи накинута кожаная куртка. Он взял сумку, увидел след пули и вопросительно посмотрел на прибывшего.

— Фашисты висят над дорогой. Налет за налетом... Фернандес убит...

Доницетти поднял «летучую мышь» над головой и осветил подвал. Это был винный погреб; вдоль стены стояли огромные винные бочки. На полу сидели несколько бойцов из интербригады, люди в крестьянском платье, партизаны.

Ксанти коротко кивнул Цветкову, который по обыкновению собрал вокруг себя слушателей и возбужденно рассказывал:

— ...согнулся в три, если не в четыре погибели, подлез под сваи, приладил свой подарочек, перевязал аккуратненько бикфордовым шнурочком, прикурил и только отполз на карачках — к-а-ак жахнет!!! Не успел сказать генералу Франко эскюз ми, в смысле «пардон»...

— Тишина, камараден, — приказал Доницетти поиспански, перекрывая гул голосов и смех. И после паузы сказал: — Шапки долой! Фернандес убит.

Встали, обнажили головы, послышалось на нескольких языках: «Мир его праху!», «Бедняга Фернандес!», «Честь его памяти!»

Ксанти отер серые губы от пыли, взял кружку, подошел к винной бочке, нетерпеливо открыл кран — ни капли. Цветков сочувственно поглядел и налил ему вина из бутыли, оплетенной соломой.

Доницетти извлек из сумки пакет, сорвал сургучные печати, бегло ознакомился с бумагами и развернул сло-

женный вдвое, пробитый в двух местах пулей план аэродрома.

Он расстелил план на столе.

— Камараден, вот отсюда они летают на Мадрид. Нужно сжечь бомбардировщики. Это мой приказ и просьба жителей Мадрида. Ночью буду на перевале «Сухой колодец». Хочу вас проводить.

Доницетти познакомил подрывников с диверсионным заданием, он водил пальцем по плану аэродрома:

— ...цистерны, ангары, а здесь таверна. Она открыта до глубокой ночи. Учтите, Ксанти, — туда может набиться десятка два посетителей... Здесь, здесь и вот здесь зенитки. От восточных ворот держитесь подальше, там командансия. Ваши исходные позиции — апельсиновая роща, канал Альфонсо. Действуйте одновременно разрозненными группами. После операции выходите на старую дорогу.

— С кем я иду? — спросил Цветков, стоявший рядом.

— В твоей группе Курт и Людмил.

— А Баутисто ждет на перевале, — добавил Ксанти.

Горный перевал «Сухой колодец» был освещен луной, когда по узкой тропе уходили цепочкой подрывники. Одни были одеты в форму солдат Франко, двое шли в итальянской форме, несколько бойцов из интербригады шли под видом испанских крестьян. Ксанти в форме офицера-франкиста проверял у каждого уходящего, как подогнано снаряжение — не бренчит ли? Как обуты?

Старый партизан вел в поводу навьюченного мула.

— Баутисто, — обратился к нему Ксанти, — где запалы?

— Не беспокойтесь, камарад подполковник. Запалы лежат отдельно от динамита.

Следом за Баутисто прошагал долговязый Курт с ручным пулеметом на плече; к поясу он подвязал котелок, поблескивавший при лунном свете.

За ним шел пастух с котомкой за плечами, с кнутом в руке и подгонял небольшую отару овец. На нем широкополая соломенная шляпа, лица не видно. Проходя

мимо командиров, пастух щелкнул кнутом и крикнул озорно:

— Но-о-о, залетные!

— Цветков идет в гости со своим шашлыком,— засмеялся Ксанти.

— Только, Василий, не играй с огнем и сам не горячись,— успел вдогонку сказать Цветкову Доницетти.

В ответ донеслось залихватское:

— Все будет о'кей, сеньор Павел Иванович! Гуд-бай в смысле «пока»...

Прошагали еще два испанских партизана, могучий болгарин Людмил в каске.

— Ну вот, Павел Иванович, мои все...— сказал Ксанти, прощаясь.— Одиннадцать.

— Двенадцатым, Хаджи, будем считать Этьена.

60

Кертнер занял койку в центре камеры. Отныне над головой его будет вечно гореть лампочка в шесть свечей. Спать беспокойнее, но зато можно читать при тусклом свете.

Соседству Кертнера очень обрадовался приветливый парень невысокого роста — тот самый, который втащил его в камеру. Зовут его Бруно, родом из Новары, судили в Милане, от роду двадцать шесть лет. Его койка тоже в центре камеры, но у противоположной стены.

Бруно и Кертнер легли головами друг к другу. Так удобнее переговариваться вполголоса; между изголовьями лишь узкий проход.

Проговорили ночь напролет, и под утро Этьен знал о новом соседе много. Он прочитал письма, полученные Бруно в последние месяцы. Письма писала соседская девушка, потому что мать Бруно малограмотная, брат воюет в Африке, а отец, старый шахтер Паоло, ослеп после завала в шахте.

Оказывается, двадцатишестилетний Бруно — самый пожилой в камере. И однако же несколько парней попали

в тюрьму уже во второй раз, их называют «возвратные лошадки».

Неприятно, что Этьен не может ответить откровенностью новому другу, который распахнул перед ним свое сердце. Сколько раз ему придется обидеть профессиональной скрытностью товарищей по заключению? Они отнеслись к Кертнеру с предельным доверием, а Этьен не мог отплатить им той же драгоценной монетой.

Камера живет коммуной, причем Бруно — главный распорядитель денежных фондов. Поддерживают заключенных, у которых на тюремном счету нет ни сольдо. Первый фонд, самый большой, предназначен для больных, второй фонд — на питание. Без того, чтобы докупать в тюремной лавке какую-нибудь провизию, выжить трудно. Трудно привыкнуть к голоду, тем более молодым парням. Каждый имеет право по своему усмотрению истратить на себя несколько лир в месяц, если же у когонибудь перерасход, ему соответственно уменьшают дотацию на следующий месяц.

Бруно показал Кертнеру покрытый воском кусок картона — своеобразная приходо-расходная книга их камеры. Тонкой булавкой он накалывает на воске условные знаки. Каждый заключенный имеет свою графу, и там обозначено, на какую сумму он набрал продуктов за последний месяц.

Конечно, несколько лир — нищенская сумма. Бутылочка молока стоит 22 чентезимо, а на узника камеры № 2 на день приходится из общего фонда 26 чентезимо.

Сигарету курят несколько человек, — каждый сделает по две затяжки, вот и вся сигарета. А потом еще добывалась уцелевшая крошка табаку из окурка. Кертнер научил расщеплять иголкой каждую спичку пополам или даже на три части. Он сказал, что бывал в местах, где бедняки всегда поступали таким образом. А еще в тех местах берегли соленую воду, в которой варили картошку, чтобы использовать воду несколько раз; соль беднякам тоже была не по карману.

С появлением Кертнера в камере № 2 началась борьба с заядлыми курильщиками; для этого ему пришлось самому бросить курить. Курильщики тратили деньги иа

табак, вместо того чтобы купить бутылочку молока. Они скорее становились дистрофиками, чаще болели, а потом их приходилось подкармливать из общественного фонда.

Дискуссия по поводу курения длилась долго. И некурящие, к которым отныне относился Кертнер, одержали верх. Это было особенно важно в связи с наступлением холодов: ведь часто проветривать камеру от табачного дыма — значит еще больше ее выстуживать.

Из общего фонда выделили средства на покупку книг, но не сразу удалось добиться на это разрешения.

Выражая всеобщее желание, Бруно обратился к вновь прибывшему с просьбой вести у них в камере политические занятия. Кертнер ответил согласием и выработал распорядок дня, ввел строгую дисциплину.

После утреннего подъема, после того, как все умылись, убрали камеру, оставалось еще сорок свободных минут; в 9 утра начинались занятия.

Поначалу тюремщики не отходили от решетки, напряженно вслушивались, а зловредный сардинец «Примо всегда прав» припадал к решетке на долгие часы — нет ли повода для доноса? Но слушатели, окружавшие Кертнера, усаживались в углу камеры, подальше от стены-решетки; к тому же разговаривали вполголоса.

Кертнер принес с собой в камеру книгу, на обложке которой значилось: «Адам Смит. Политическая экономия», а титульный лист книги украшала печать капо диретторе «Разрешено». На самом же деле то был первый том «Капитала». Кто-то подобрал в переплетной мастерской отобранный у кого-то том Маркса и спрятал. Книгу одели в чужой переплет, с чужим титульным листом, загодя снабженным желанной печатью. Книгу уже несколько раз мусолил своими руками «Примо всегда прав», но не мог обнаружить крамолы. К подобному книжному маскараду Кертнер прибегал и в дальнейшем.

А когда Кертнер проводил занятия по политэкономии и завел речь о конкуренции, он рассказал о финансовой дуэли акционерных обществ «Посейдон» и «Нептун», конечно, заменив их названия. Так сказать, поделился личным опытом...

Программа занятий расширялась; изучали диалекти-

ческий материализм, некоторые работы Ленина. Двое парней под влиянием этих занятий расстались с анархистскими взглядами.

Удалось достать несколько книг по истории, культуре и искусству Италии. Те, кто ходил в школу всего три-четыре зимы, плохо разбирались в искусстве Древнего Рима и лишь рассматривали картинки.

Когда в коридоре дежурил надзиратель Карузо, он подолгу стоял у стены-решетки и прислушивался к словам Кертнера. А если речь шла о музыке и если при этом в коридоре не было других тюремщиков, Карузо встревал в беседу.

Бывало, Бруно спал крепким сном, а Этьен лежал, не смыкая глаз, или слонялся по сонной камере. В одну из таких ночей он подошел к стене-решетке, заговорил с Карузо. Напарник дремал, а Карузо бодрствовал в одиночестве.

Этьен спросил, откуда взялось его прозвище, и тот охотно объяснил:

— Так у нас в Сицилии называют подростков, которые работают в шахте... Я в юности и не знал, кто такой Энрико Карузо...

Это был первый надзиратель, которому улыбнулся Этьен. Прозвище приклеилось к Карузо на всю жизнь, потому что он — страстный любитель музыки, а так как Этьен был завсегдатаем «Ла Скала», они заговорили на музыкальные темы. Карузо напел себе под нос арию, другую, все из репертуара теноров. Его кумиром был Беньямино Джильи, на днях тот впервые спел в римском театре партию Радамеса в «Аиде». Настороженно оглянувшись на спящего напарника, Карузо попытался взять верхнее си бемоль, ту самую ноту, которой кончается ария Радамеса из первого акта. Но тут в коридоре послышались гулкие шаги. Карузо приложил палец к губам и отвернулся от стены-решетки — шагал ночной караул во главе с самим капо гвардиа. Караул прошел, и Карузо повел речь об опере «Арлезианка»; самая выигрышная ария там — «Плач Федерико» из второго акта. Некоторые критики упрекали Джильи: он ввел в заключительную музыкальную фразу чистое си, которого нет в партитуре.

Кертнер согласился с критиками: тенор не должен ради эффекта добавлять выигрышные ноты. Карузо разволновался и заспорил с заключенным 2722. В конце той арии весьма кстати драматически напряженное крещендо: «Ты столько горя приносишь мне, увы!» — Федерико выражает здесь скрытую скорбь своей жизни, как же можно согласиться, чтобы голос певца затихал на этом самом «увы»?!

— Почему же тогда композитор сам не ввел этой ноты? — возражал заключенный 2722.

А закончилась музыкальная дискуссия неожиданно: Карузо шепнул, что завтра во время прогулки во второй камере произведут обыск.

Дважды в месяц в камере устраивали тщательный обыск, а узников раздевали догола. Труднее всего спрятать карандаш и бумагу. Кертнер прятал огрызок карандаша в своем матраце, набитом сухими кукурузными листьями, а Бруно поступал еще хитрее; накануне обыска, когда их выводили на прогулку, он выносил свое запретное имущество в тюремный двор и засовывал его в щель между каменными плитами. А на следующий день переносил все назад в камеру...

Этьен лег на жесткий матрац и долго не мог заснуть. То ему мерещилось, что обыск уже начался и тюремщики перетряхивают матрац, шарят в нем, то он видел себя в оперном театре, причем в соседнем кресле сидел Карузо. Тот шумно восхищался: его любимый тенор великолепно взял верхнее си бемоль. «Браво, брависсимо, Беньяминелло!» — в восторге орал Карузо, но когда его кумир снова запел, Карузо принялся по привычке позвякивать связкой ключей, так что в партере все оглядывались, а кто-то сдавленно шипел: «Не мешайте слушать! Перестаньте, наконец, бренчать!..»

61

В полночь здесь слышалось лишь звонкое стрекотанье цикад, шорох травы и учащенное дыхание. Ползли по-пластунски и при этом тащили коробки динамита, мотки

с бикфордовым шнуром, сумки с гранатами, оружие, бутылки с бензином.

По небу размеренно шарил луч прожектора. Когда он склонялся к земле, в полосу света попадала антенна над зданьицем аэропорта. В небе трепыхался черно-белый конус, набитый ветром и указывающий его направление.

На это время следовало припасть недвижимо к траве или нырнуть в спасительную тень под крыло ближнего самолета и переждать.

Глубокой ночью раздался взрыв где-то в конце взлетной дорожки, и пламя подсветило облачное небо.

Минуту спустя в другом конце аэродрома, за ангарами, подала голос группа Ксанти и занялось второе зарево.

Затем наступил черед Цветкова, яркая вспышка предварила гром и новый пожар.

От ночной тишины ничего не осталось. Выстрелы, пулеметные очереди, разрывы гранат, топот бегущих, вой сирены, свистки, крики, стоны, звон разбитого стекла — это вылетели окна в таверне при аэропорте.

— Уходите по старой дороге, — приказал Цветков своим подручным. — Ждите меня под мостиком. На том берегу канала...

Цветков стоял на коленях в жесткой рослой траве и сращивал два шнура. Не тащить же эти концы и остаток динамита назад через перевал, а бросить жалко, это не в характере Цветкова. Самое время подорвать сверх программы еще «хейнкель», иначе Цветков перестанет с собой здороваться.

Людмил первым скрылся в полутьме.

— И ты беги, — приказал Цветков Курту, который помог ему перевязать пакет с динамитом. — Я догоню...

Цветков не хоронясь, во весь рост, побежал к «хейнкелю». Он протянул шнур, обвил его вокруг пропеллера и шасси, отбежал, чиркнул спичкой, но охрана заметила зловещий огонек, бегущий по шнуру, и открыла огонь по поджигателю.

Курт услышал выстрелы, обернулся, посмотрел в ту сторону, где стоял подсвеченный «хейнкель», и рванулся

назад. Когда он добежал до Цветкова, упавшего навзничь в розовую траву, пламя уже охватило кабину «хейнкеля».

— Беги сам, сейчас взорвется... — с трудом произнес Цветков, прижимая руку к животу. — Шнель... У меня пуля в кишках. — Он страдальчески усмехнулся. — Ауфвидерзеен, в смысле «прощай»...

Курт безмолвно опустился рядом, осторожно приподнял застонавшего Цветкова, взвалил его на спину и, сгибаясь под ношей, пошатываясь, пошел в сторону от горящего «хейнкеля», который ослепил охрану.

На рассвете Ксанти вел свой поредевший отряд по крутой каменистой тропе. Двое было убито в стычке около таверны, а когда загорелся ангар, фашисты схватили тяжело раненного Баутисто.

Цветков в начале пути еще просил запекшимися губами: «Пить!», а умер уже в горах.

Его тащили на самодельных носилках из двух жердей и плаща. Рука безжизненно свесилась, глаза навечно сомкнулись, и он уже не увидел долину в предутреннем тумане.

Первые лучи солнца вот-вот коснутся излучины Гвадалквивира. Над аэродромом Таблада подымались черные столбы дыма. Они сходились в большое грязное облако, затмившее полнеба.

В долине не слыхать было, как тяжело дышат носильщики, не слышен был позже и скрежет железа о камень. Каменистый грунт крошили кинжалами, штыком. Людмил загребал щебень каской, а Курт — котелком.

На вершине горной гряды, по пути к перевалу «Сухой колодец», вырос могильный холм.

62

Самая первая ниточка, которую удалось протянуть в камеру к Этьену, взяла свое начало в фотоателье «Моменто».

Скарбек узнал, что групповая семейная фотография, которая ему заказана (шесть штук, размер 9×12 см),

предназначена для отправки отсутствующему члену семьи — некоему Ренато в тюрьму Кастельфранко. На фотографии снялись родители, младший брат, сестренка Ренато и его невеста Орнелла — стройная, высокогрудая, большие синие глаза с поволокой.

Скарбек попросил Орнеллу сняться и отдельно от всего семейства, сфотографировал ее во многих позах. Он сделал это по совету Анки.

Отец семейства не преминул похвастать, что Ренато арестовали после того, как несколько наиновейших самолетов «капрони-113» оказались с пороками явно диверсионного происхождения. То дело рук коммунистов сборочного цеха, которые узнали, что их самолеты отправляют франкистам. Ренато молод, ему в тюрьме исполнилось двадцать три года, но он опытный мастер и зарабатывал очень прилично. Свадьба с Орнеллой уже была назначена, а за две недели до свадьбы на жениха надели наручники. Хорошо хоть товарищи по процессу не проболтались, выгородили его, как могли, пожалели Ренато: он был самым молодым в клетке подсудимых, к тому же его ждет такая невеста, как Орнелла. Нельзя дать ей выплакать свои прекрасные глаза!

А мать успела пожаловаться фотографу на будущую невестку — морит себя голодом, бережет фигуру. Ну что это за итальянка, если она отказывается есть спагетти?

В откровенной беседе со старым туринским рабочим Скарбек счел возможным рассказать о несчастье, которое приключилось с одним их знакомым австрийцем. Как и Ренато, их знакомый — политзаключенный и тоже сидит в Кастельфранко дель Эмилия. Для отвода глаз он занимался коммерческой деятельностью. Человек бессемейный, о нем позаботиться некому. Кажется, Орнелла на днях едет на свидание. Не возьмется ли она передать через Ренато привет австрийцу? Привет от Старика.

По возвращении из Кастельфранко Орнелла наведалась в «Моменто», привезла свежие новости о Кертнере, переданные Ренато.

Скарбек счастлив был услышать, что Ренато и другие политзаключенные говорят о Кертнере с глубоким уважением. Все восхищаются его стойкостью, его неуступчи-

востью в конфликтах с тюремной администрацией, его эрудицией, его заботливым отношением к другим заключенным. Он пользуется авторитетом даже среди уголовников, с ним вынужден считаться сам капо диретторе.

Ренато распорядился, чтобы Орнелла и впредь выполняла поручения, которые могут послужить на пользу Кертнеру. Самая большая помощь — передавать записки ему и от него. Пусть друзья австрийца и Орнелла вместе обдумают, как это безопаснее делать.

— Обдумаем и забудем, — сказал Скарбек. — Китайцы говорят, что длинный язык жены — лестница, по которой в дом входит несчастье. Хочется думать, что очаровательная Орнелла такой женой не станет.

Ренато в тюрьме не на плохом счету, он приговорен всего к двум годам, и такая к нему приезжает красивая невеста, что администрация разрешает свидания с ней без решетки, лишь в присутствии «третьего лишнего».

Передать записку из рук в руки опасно, обычно за руками следят внимательнее всего. Но даже при режиме Муссолини не осмелились упразднить старое тюремное правило — надзиратели разрешают целоваться при свидании, притом дважды — при встрече и при расставании.

Скарбек начал опыты с непромокаемой бумагой и несмываемыми чернилами. Анка помогала. Лучше всего вела себя вощеная калька и китайская тушь, которую Скарбек привез с Востока. Он продержал во рту записку два часа, и бумага не расползлась от слюны. Приклеить же бумажный комочек к десне удобнее всего американской жевательной резинкой. В этом убедилась Орнелла, когда тренировки ради ходила с бумажным комочком во рту.

А на каком языке написать первую записку?

Если считать, что передача записки пройдет благополучно и никаких осложнений не вызовет, есть доводы в пользу русского, потому что тогда при получении ответа будет уверенность, что записка не побывала в чужих руках и что ответ исходит от самого Этьена. Но в случае каких-нибудь неприятностей с запиской русский язык противопоказан, он никоим образом не должен связываться с Кертнером.

Значит, остаются немецкий и итальянский языки. Жаль, что Анка не в совершенстве знает итальянский, не рискнет писать слова сокращенно, а писать придется очень мелко, на клочке бумаги.

Анка написала записку своим каллиграфическим почерком. Если перехватят, пусть ОВРА думает, что записка — австрийского происхождения.

Орнелла знала, что выбор языка для записки может играть роль лишь после ее передачи Ренато, при хранении записки у него в камере и после передачи им записки Кертнеру. Что касается самой Орнеллы, то даже при намеке на опасность она бумажный комочек проглотит.

Скарбек настоял на том, чтобы записка все-таки была написана по-немецки, и Орнелла послушно кивнула.

Осталось только выверить техническую сторону этого поцелуя — передать Ренато комочек бумаги в начале свидания или в конце? Ну конечно же в конце, потому что у Орнеллы он приклеен к десне, Орнелла к нему уже привыкла, а Ренато начнет перекатывать его языком, ему с непривычки трудно будет говорить, поведение его потеряет естественность, он не сможет думать ни о чем, кроме как об этом неожиданном угощении.

Не всегда «третий лишний» ведет себя тактично. Вдруг свидание придется на дежурство хромоногого, страдающего тиком надзирателя? Хромоногий всегда мешает сердечному уединению молодых людей, и на случай его дежурства Орнелла заучила наизусть перевод записки с немецкого на итальянский:

> «Секретарша ждет вашей открытки с просьбой срочно продать костюм. Надежда всегда с вами. Старик желает бодрости.
>
> *Верный друг».*

По словам Орнеллы, передача записки прошла превосходно. «Третьим лишним» при их свидании оказался сонливый, нелюбопытный толстяк, которого все время клонит ко сну; боишься, как бы толстяк не упал со стула.

О самом заветном Орнелла разговаривала с Ренато взглядами и намеками, а во всеуслышание — о разных пустяках.

— Я почти ничего не помню из последнего разговора с Ренато, — призналась Орнелла. — Мы сидели на скамье, тесно прижавшись друг к другу, со сдвинутыми локтями, а мое плечо таяло под сильной рукой Ренато... Мне так мешала неотвязная мысль, что минуты бегут, бегут, бегут. Все время мысленно считала — сколько минут осталось до того, как я унесу на губах его прощальный поцелуй? Мысль, что свидание вот-вот кончится, мешала насладиться им вполне... Мне кажется, я только слушала его голос, сама говорила мало. А прощальный поцелуй помогает дожить до следующего свидания...

При расставании, полном немой боли, вся жизнь души может быть выражена страстным, долгим поцелуем. И в это мгновение Орнелла успела втолкнуть в рот Ренато липкий секретный комочек; каждую секунду свидания она ощупывала его языком.

— Долго, долго стояла я потом за воротами тюрьмы, — вздохнула Орнелла. — Стояла, как тумба, как пень, и не могла сдвинуться с места.

Скарбек смерил Орнеллу взглядом профессионального фотографа, — синьорину с такой фигурой, на длинных, стройных ногах надо было снять во весь рост и вывесить ее фотографию в витрине. Не одна сотня прохожих задержится на дню у витрины «Моменто», и все будут пялить глаза на такую тумбу, на такой пень...

Открытка Джаннине с просьбой о продаже личных вещей и присылке денег пришла из тюрьмы через пять дней — подтверждение того, что записка дошла по назначению. Двусторонняя операция прошла блестяще!

В следующий раз через Орнеллу — Ренато передали записку, в которой Кертнеру рекомендовалось внимательно прочитывать в посылаемом ему католическом журнале все страницы, оканчивающиеся цифрой шесть.

На этот раз связным Скарбека не повезло. В комнате свидания дежурил хромоногий с подергивающейся щекой. Он сразу уселся на скамейке между молодыми людьми и с удовольствием играл роль решетки. Не позволил

даже обняться! Им так хотелось сплести пальцы рук, а еще больше тосковали их губы.

Как тут передать записку?

Такое осложнение было, однако, предусмотрено. Орнелле удалось пересказать содержание записки благодаря тому, что бездушный офицер-решетка — южанин, уроженец Калабрии, а молодые люди — северяне и оба нарочно утрировали особенности пьемонтского диалекта.

Орнелла содержание записки вызубрила, но Ренато не был к тому подготовлен. Он же все-таки пришел на свидание с любимой, а не на явку! Чтобы Ренато запомнил записку, пришлось ее содержание незаметно вплетать в ткань разговора и повторить несколько раз.

Орнелла все время помнила о предупреждении Скарбека: в случае каких-либо осложнений записку проглотить.

Записка на русском языке:

> «Приказываю подписать прошение о помиловании, это ускорит течение болезни. Превращать твою болезнь в политическое дело сейчас нецелесообразно. Продолжай отрицать связь с нами. Тюремную администрацию без надобности не дразнить и тем бесцельно не ухудшать своего положения, вызывая к себе репрессии. Извини за начальнический тон.
>
> *Старик*».

И эта записка нашла адресата, в чем Скарбек убедился через несколько дней, когда Орнелла зашла в фотоателье «Моменто».

Но мог ли Скарбек знать, какую драгоценную обратную почту доставит невеста Ренато?

63

В одной камере с Ренато сидели совсем «свежие» заключенные — молодые парни с верфей Специи, с заводов Ансальдо под Генуей, Мирафьори в Турине, «Галилео» во

Флоренции, с завода в Фиуме, где изготовлялись торпеды, с заводов «Капрони» и с других предприятий, работавших на Франко. На прогулках узники рассказывали много такого, чего Этьен не мог вызнать, находясь на свободе.

Молодой коммунист, занимавший койку в углу камеры, рядом с Ренато, работал в цехе, где устанавливал новые прицелы для бомбометания, которые незадолго до того поступили под видом примусов: на коробки наклеены яркие картинки с изображением горящего примуса. Наклейки шведские, а «примусы» из Германии, с завода Цейса.

Новые прицелы значительно точнее прицелов «галилео». Этьен установил, что «примус» — заимствованное изобретение американца Сперри, которым так интересовался, судя по секретной переписке, лорд Бивербрук. Министр авиационной промышленности Англии Бивербрук хотел снабдить этими прицелами для бомбометания английские самолеты. Он просил американцев сообщить техническую характеристику прицела, прислать чертежи. Американцы же тянули, не хотели расстаться со своим секретом. А секрет прицельного устройства, оказывается, уже у немцев! Да, кухарки с подобными «примусами» не возятся, не много на них настряпаешь...

Помимо шифровки о прицелах Этьен переслал еще одно сообщение: авиазаводы «Фиат», «Капрони» и «Бреда» получили большой и срочный заказ на самолеты из Японии.

Японцы особенно интересуются тем, как самолеты будут вести себя при морозах. Какое масло не боится мороза в двадцать градусов? Как меняется смазка всего управления? Режим работы мотора при сильных морозах? Как предохранить от обледенения бомбовой прицел? Не нужно ли изменить состав горючего? Как утепляется кабина? Защитный костюм для пилота? Как ведет себя кислородная маска при низких температурах?

В Центре сами сделают выводы о том, чем вызван заказ японцев на самолеты, не боящиеся мороза в двадцать градусов, и где японцы в ближайшем будущем собираются вести боевые действия.

Какое счастье, что Этьен не забыл своего последнего шифра!

Да, он обязан бороться в тюрьме за свое существование. Но он так истосковался по настоящей работе, ему так надоело тратить все силы души, всю изобретательность, смекалку только на борьбу за существование. И как хорошо, что у него появились профессиональные заботы и хлопоты, они наполнили его постылое тюремное прозябание новым сокровенным смыслом. И уже далеко-далеко, куда-то на задний план отступили мелкие тревоги по поводу продажи какого-то костюма, который секретарша ухитрилась включить в опись вещей.

Важно, что сведения, которыми с ним поделился молодой оружейник, — совсем свежие: три месяца назад этот парень оснащал самолеты «капрони-113» приборами и вооружением.

Этьен надеялся отправить важное донесение в самое ближайшее время. У него сразу улучшились настроение и самочувствие.

После прилежных упражнений Этьен составил шифрованное письмо и стал нетерпеливо ждать оказии.

Не забыть той счастливой минуты, когда Ренато подошел к нему на прогулке и сообщил о своем завтрашнем свидании с Орнеллой. Еще неизвестно, кого Орнелла осчастливит своим свиданием больше — любящего жениха или незнакомого ей заключенного 2722.

Ренато отправился на свидание с невестой, а Этьен не находил себе места. Он волновался больше, чем если бы сейчас сам передавал этот секретный комочек бумаги с чертежиком и схемой.

В подтверждение того, что послание дошло по назначению, Кертнер получил открытку из Швейцарии. Странно, что тюремное начальство, вопреки правилам, вручило эту открытку адресату. Неизвестная корреспондентка мобилизовала весь запас немецких любезностей, чтобы сообщить: она уже купила очки с цейсовскими стеклами и надеется их вскоре выслать.

Этьен никогда очков не носил и с подобной просьбой ни к кому не обращался. Он угадал руку Анки и понял,

что его информация насчет оптических прицелов, техническая характеристика и микроскопический чертежик дошли по назначению.

61

Скарбек увеличил фотографию Орнеллы и выставил портрет в витрине «Моменто». На прохожих смотрела очаровательная синьорина в открытом платье, смело облегающем фигуру. Теперь в какой-то мере были обоснованы новые визиты Орнеллы в фотографию. А для Ренато хозяин «Моменто» приготовил полдюжины кабинетных фотографий, все разные, ни одна не похожа на другую.

— Вы бы смогли зарабатывать деньги как манекенщица, — сказал Скарбек, откровенно любуясь Орнеллой и таким тоном, будто только что сделал открытие. — У вас не меньше шансов, чем у моей Анки!

— Я это знаю, — согласилась Орнелла просто и улыбнулась Анке, еще молодой приземистой женщине, страдающей ревматизмом со времен Варшавской цитадели.

— Он часто смешивает капусту с горохом, — вздохнула Анка.

Дома у Орнеллы над кроватью висела цветная фотография какой-то знаменитой кинозвезды — не то Греты Гарбо, не то Лиа де Путти. Актриса была снята в весьма откровенном купальном костюме, а фотография испещрена стрелками и цифрами, так что больше походила на какую-то таблицу из учебника анатомии. По мнению знатоков, у кинозвезды этой — идеальная женская фигура. Вся ее божественная красота и гармония переведена на язык сантиметров. При росте 166 см она обладала следующими достоинствами: бюст 90 см, талия — 58 см, бедра — 91 см, длина ноги — 92 см, длина голени — 40 см, икра — 33 см.

Лишь по нескольким статьям Орнелла уступала той девице с цветной фотографии, причем отклонения ерундовские — два-три сантиметра в ту или другую сторону. Она призналась Анке, что ей давно предлагали сниматься для рекламы, но Ренато воспротивился, а что касает-

ся предложения конфекциона рекламировать корсеты и бюстгальтеры, то Орнелла отказалась сама. И деньги можно было заработать сразу на четыре поездки к Ренато, но она постеснялась таких съемок — лучше в чем-нибудь откажет себе.

Несмотря на трагедию с женихом, Орнелла продолжала тщательно следить за собой. Весь рабочий день на ногах, за прилавком мануфактурного магазина, да еще участвует в гребных гонках. Она и в тюрьму послала скакалку, заставила Ренато заниматься гимнастикой.

Ренато сообщил в открытке, что фотографии Орнеллы висят на стене, возле его тюремной койки, ими любуются даже тюремщики, и сам капо гвардиа спрашивал — кто снят?..

Но разве дело только в опасности, которой подвергали себя жених и невеста? Конспиратор Скарбек думал лишь об этой стороне дела, а ведь во всем поведении молодых людей была еще и другая, этическая сторона, о ней не переставала думать Анка:

«Может, мы лишаем влюбленных непосредственности чувств? Ворвались в их интимную жизнь. Даже поцелуи их отныне отравлены конспиративными требованиями».

Да, прежде Ренато ждал свидания с радостным и беззаботным возбуждением, а сейчас сильно нервничал, потому что каждый раз ему предстояло выполнить нелегкое и опасное поручение. Ведь перед тем как передать ответ Орнелле, нужно еще получить его из второй камеры через рыжеволосого мойщика окон, нужно надежно спрятать до того дня, когда Ренато поведут в комнату для свиданий. А затем кто-то из двоих уносил со свидания записку за щекой.

Позже Орнелла призналась Анке, что недолго были им в тягость новые тайные обязанности. Каждое свидание отныне больше волновало, лучше запоминалось, поцелуи окрасились новым, надежным чувством. К согласию любящих сердец и к нежной чувственности добавилась обоюдно переживаемая тревога, гордое сознание, что они стали точкой соприкосновения каких-то сил, борющихся на воле, с силами, которые продолжают борьбу в тюрьме.

65

Этьен еще раз перечитал записку, переданную через Ренато:

> «Приказываю подписать прошение о помиловании...»

Отдавая приказ, Старик был знаком с донесением Гри-Гри:

> «...Этьен ведет себя в тюрьме геройски. Его побаивается дирекция, его уважают другие заключенные. По сообщению итальянских друзей, был случай, когда заключенные объявили голодовку, и за это вожаки получили пятнадцать суток карцера. Этьен в это время лежал в тюремном лазарете. Но он оттуда обратился к директору тюрьмы и потребовал, чтобы и ему дали карцер в знак солидарности с остальными».

После очередного свидания Ренато с Орнеллой Этьен получил новую записку:

> «Прошу подтвердить получение приказа. Напомни мне, сколько месяцев тебе осталось сидеть. Пойму это, как знак, что приказ получен и принят к исполнению. Отказ подать прошение многое испортит. Шкурничества в подаче прошения никакого нет. Объясни это всем товарищам по камере.
>
> *Старик*».

Приказ Центра совпал с новым вызовом в дирекцию тюрьмы по поводу того же самого прошения о помиловании. После первого предложения, сделанного капо диретторе две недели назад, номер 2722 ответил:

— Просьбу о помиловании может подать виновный, когда он просит милости. А я виновным себя не признаю.

И снова Джордано был приторно учтив и любезен,

снова угощал заключенного 2722 сигаретами, снова уговаривал:

— Мы вас поддержим. Мы даже напишем, что вы себя примерно ведете. Хотя мы оба знаем, это далеко не так. Мы уже несколько раз с вами ссорились.

— Значит, вы считаете, что мы несколько раз мирились? Нет, я с вами не мирился. Я с вами в вечной ссоре на все оставшиеся мне семь лет пребывания под вашей крышей.

— Семь лет могут превратиться в несколько месяцев. Нужны лишь ваше раскаяние, правда о самом себе, и тогда вы можете рассчитывать на милосердие.

— Чем более нелепы законы и чем более жестоки судьи, тем нужнее знаки королевской милости осужденным, — Кертнер насмешливо глянул на портрет Виктора-Эммануила, висящий на стене напротив дуче. — Это случается, когда король начинает тяготиться своей репутацией деспота и хочет прослыть милосердным...

— Номер 2722, я запрещаю неуважительно говорить о короле! — У Джордано побагровела морщинистая лысина. — Еще одна фраза — и... — он указал пальцем на дверь.

— Вы меня не поняли. Милосердие — это добродетель, которая прекрасно дополняет строгость короля. Но при чем здесь законодательство? Это только при беспорядочной судебной практике король или дуче даруют прощение тому, кого суд признал преступником. По-моему, у вашего Чезаре Беккариа тоже что-то говорится по этому поводу.

— Мы, итальянские юристы, чтим мудрого Чезаре.

— А я уверен в том, что дуче, — Кертнер небрежно кивнул на портрет Муссолини, висящий против портрета короля, — невнимательно читал этого миланского мудреца. Или вы полагаете, Беккариа не был участником фашистского похода на Рим только потому, что жил в восемнадцатом веке?.. Прощение, помилование — весьма желанные атрибуты верховной фашистской власти. Но хорошо, когда милосердие становится добродетелью законодателя, судьи, тюремщика, а не снисходит свыше по прихоти или по капризу властителя. Хотите убедить себя,

меня и всех, что только двое в Италии способны делать добро — король и дуче. Вы не находите, что я прав?

— Мне трудно с вами согласиться, хотя с юридической точки зрения...

— А что значит — простить преступление? — перебил Кертнер, возбужденный спором. — Значит признаться, что мера наказания не являлась необходимой. Значит подлинным злодеям вселить надежду на безнаказанность. Если одних простили, то сурово наказывать тех, кого не простили, — не столько оберегать правосудие, сколько злоупотреблять своей силой... Вот вы уговариваете меня подать прошение королю и дуче о помиловании, хотя при этом, наверное, считаете, что мне вынесли такой жестокий приговор справедливо. Но как можно даровать прощение, оказать королевскую милость такому матерому преступнику?! Значит, вы согласны жертвовать общественной безопасностью в пользу отдельного лица. Такое помилование лишь создаст и укрепит общее представление о безнаказанности, о беспорядочном судебном терроре в Италии...

Кертнер увлекся своей речью и не заметил, как капо диретторе нажал кнопку звонка, не заметил, что за спиной открылась дверь и стражник готов вывести заключенного 2722 из кабинета.

Капо диретторе подал стражнику знак, тот схватил Кертнера за руку выше локтя.

— Я и не подозревал, синьор Джордано, что вы такой опытный спорщик, — успел сказать Кертнер, выходя. — Самый веский довод в нашем споре вы приберегли к концу.

«Как только я признаюсь в своем гражданстве, — размышлял Этьен, подымаясь по лестнице к себе в камеру, — будет устроен новый процесс. Меня обвинят в сокрытии правды от правосудия во время первого процесса. Может, как раз этого и добивается двуличный Джордано...»

Тюремщики внимательно следили за теми политическими, кто упал духом. Их изолировали, переводили в одиночки, и, если они подавали прошение о помиловании, их довольно быстро освобождали. Но коммунисты после

этого не считали их товарищами по партии. Было строгое партийное указание: прошений на имя дуче и короля не подавать, это равносильно дезертирству, предательству, признанию фашистского режима. Каждое прошение о помиловании помогало ОВРА и чернорубашечникам отделять нестойких антифашистов, раскаивающихся, случайных бунтарей от убежденных революционеров, от всех, кто не собирается прекращать борьбу. Каждый акт раскаяния — торжество фашистов над своим противником.

Человек без позвоночника смотрел на свою подпись под прошением так: «Почему я должен отказываться от освобождения из тюрьмы или сокращения срока заключения из-за такой пустячной формальности?»

Однако заключенный 7047 Антонио Грамши не считал это формальностью! Политические в Кастельфранко знали, что он стойко отказывался от предложений Муссолини и не подписывал прошения о помиловании. Грамши назвал такое прошение политическим самоубийством, он говорил, что если ему дано выбирать между той или другой формой самоубийства, он предпочитает, чтобы дуче не выступал и палачом и братом милосердия одновременно. А ведь Грамши отказался от помилования, стоя одной ногой в могиле, уже отмучившись за фашистской решеткой десять лет!

И если бы Кертнер, хотя он и не член Итальянской компартии, подписал сейчас прошение, он лишился бы внутреннего права считать себя соратником этого кристально чистого человека, как бы Этьен ни оправдывался перед самим собой, какие бы поправки он ни делал на свое особое положение.

Попав в камеру, где сидели политические, Кертнер не выдавал себя за коммуниста. Но связь, которую он поддерживал с внешним миром через Ренато и его невесту, была обеспечена усилиями коммунистов! Разве в таких условиях Этьен мог притворяться аполитичным коммерсантом, попавшим в тюрьму по недоразумению и не имеющим ничего общего с антифашистами?

И последний приказ Старика попал к Этьену только благодаря помощи коммунистов. Старшие партийные товарищи запретили Ренато скандалить с тюремщиками. Он

должен вести себя смирно, быть послушным, покладистым, чтобы его хвалил сам капо гвардиа, чтобы Ренато ни в коем случае не лишали права на свидания. Он не имеет права подводить австрийского товарища!

А кто бы стал заботиться, кто бы стал рисковать ради какого-то нечистого дельца? Кто бы помогал австрийскому коммерсанту установить связь с внешним миром (может быть, с другим таким же дельцом), если бы Конрад Кертнер не вел себя как последовательный антифашист? Да никто!..

Орнелла терпеливо выждала, когда на их свидании дежурил сонливый, ленивый надзиратель, и незаметно сунула Ренато, достав из-за лифчика, маленький сверток. Там были флакончик с китайской тушью, перышко, несколько пластинок жевательной резинки и нарезанная кусочками вощеная калька; среди записок, переданных Этьеном до этого, некоторые размокли, и удалось разобрать не все слова.

Этьен получил возможность послать Старику письмо более подробное.

Бессонную ночь провел он в нескончаемых спорах с самим собою, он вел заочный диспут со Стариком. Этьен помнил, что Берзин вообще не любил докладов, а предпочитал диспуты. Он охотно устраивал диспуты у себя в управлении и сам принимал в них деятельное участие.

Ах, если бы Этьен мог лично высказать Старику все возражения, какие вынужден будет втиснуть в жалкий клочок вощеной бумаги! Записка побывает у Ренато, затем во рту у его невесты, прежде чем попадет в чьи-то руки. Ах, если бы Этьен мог сейчас поговорить со Стариком, глядя в его глубокие серо-голубые глаза!

Оказаться бы сейчас в России, в Москве, в старом-старом доме, окрашенном в грязно-шоколадный цвет, в знакомом кабинете... Этьен хорошо помнит кабинет Старика. В углу несгораемый шкаф. Голубая штора задернута, за ней стратегическая карта. Письменный стол, возле два кресла. Стол без единой бумажки, с громоздким чернильным прибором...

Именно здесь, в кабинете, состоялось знакомство с Берзиным, когда тот вызвал Маневича на первую беседу.

Берзин вел себя как учитель, который внимательно слушает ученика и улавливает малейшую неуверенность в его ответах.

Но, по-видимому, Берзину нравились неуверенные ответы Маневича. Берзин понял, что эта неуверенность продиктована повышенной требовательностью к себе. И вот нерешительность, которая, как казалось самому Маневичу, портила тогда все, на самом деле, как только Берзин установил ее происхождение, уже питала не сомнение, а, наоборот, убеждение Берзина, что он говорит с человеком, на которого сможет положиться. От Берзина не укрылась искренность Маневича. В молодом человеке чувствовалась спокойная духовная сила, рожденная неугомонным темпераментом революционера, и непреклонная воля, смягченная тактом интеллигента. Такие люди обладают мягкой властью, а это уже много, очень много для будущего разведчика.

Маневич сидел в кресле перед пустым просторным столом и наивно полагал, что еще ничего не решено, что главный разговор впереди, что не все пункты анкеты проштудированы, и не замечал в волнении, что тон и характер вопросов-расспросов Берзина изменился, а главное, неуловимо потеплел его взгляд.

Годы спустя Старик признался Этьену, что тот понравился ему именно тогда, когда весьма неуверенно отвечал при первой беседе. Вопрос о работе Маневича был решен Берзиным в ходе этой беседы, независимо от всех и всяческих анкетных подробностей и деталей биографии.

Берзин считал, что без полного и безусловного доверия к разведчику тот не может вести подобную работу, и приучал Маневича, как и других, к самостоятельности. В условиях конспирации, где-то на чужбине, разведчику даже посоветоваться будет не с кем. В ответ на это доверие Маневич (теперь уже Этьен) и его товарищи по работе платили Берзину бесконечной преданностью. Самая строгая дисциплина прежде всего основана на доверии, а не на бездумном послушании, чинопочитании. Бывало всякое, приходилось в одиночку решать очень трудные задачи, и всегда Этьен мысленно спрашивал себя: «Как

бы сейчас на моем месте поступил Старик?» Так ему легче бывало найти правильное решение.

А сейчас он не согласен со Стариком, казнится тем, что не может выполнить приказ, подать прошение о помиловании.

«В самом деле приказ неправильный или я просто не знаю причин, какими он вызван? А есть ли в этом приказе полное доверие ко мне? Почему мне самому не решить, как я должен вести себя в подобных обстоятельствах? И не ввел ли кто-нибудь Старика в заблуждение, сообщив ему не все обстоятельства дела?»

Этьен представил себе Старика ругающим своего подчиненного, которым был сейчас он сам. Когда Старик ругал кого-то, вид у него был смущенный, он словно стыдился за того человека, которому приходится делать выговор. При этом Старик не повышал голоса, выговаривал подчиненному всегда стоя, а не сидя за столом, и как бы подчеркивал этим серьезность разговора. В минуту волнения он перекладывал карандаши с места на место, переставлял на столе пресс-папье...

Но как бы строго ни критиковал Старик, в резком тоне его не слышалось желания обидеть, унизить. Провинившийся не терял веры в себя, в свои силы. Старик оставался учителем, который убежден, что перед ним стоит способный ученик, который уверен в сообразительности и честности ученика и в том, что урок пойдет ему на пользу. А кроме того, Старик умел слушать, а это очень важно для руководителя — уметь слушать подчиненного.

Сумел ли Этьен этой бессонной ночью убедить Старика в своей правоте?..

Назавтра Кертнер отказался от прогулки, чтобы остаться в камере одному, сочинить ответ Старику, начертать его маленькими буковками на клочке бумаги. Уверенный в своих связных, он писал по-русски.

Этьен заснул только под утро. Приснился скверный сон — он уже подписал прошение о помиловании и сам решил его отнести королю Виктору-Эммануилу. Этьен прогуливался с королем по аллеям виллы Савойя, мимо причудливо подстриженных кипарисов. Король был в

форме первого маршала империи. К сожалению, фуражка с высоким околышем, богато расшитая золотом, скрывала почти все лицо Щелкунчика (кличка дана королю потому, что у него вздрагивает непомерно большая челюсть). Этьен все старался заглянуть Щелкунчику в его уклончивые глаза — помилует или нет? Но козырек скрывал лицо, и Этьен не видел ничего, кроме крючковатого носа и тяжелой челюсти. Этьен уже несколько раз порывался объяснить Виктору-Эммануилу мотивы своего прошения, но тот упорно молчал, устало улыбался и молчал. Говорят, что молчание — талант короля, рожденный его постоянным страхом, а боязливое молчание превратилось у Виктора-Эммануила в государственную мудрость. Подошла королева Елена и заговорила по-русски. Ну как же, дочь черногорского короля, воспитывалась в Петербурге, была фрейлиной при царице. Едва Этьен заговорил с ней по-русски, как король перебил просителя и начал увлеченно рассказывать о своей коллекции старинных монет. Виктор-Эммануил — известный нумизмат, автор книги о старинных монетах. Интересно, приняли бы эти монеты в тюремной лавке?.. Ну и блажь может присниться с голодухи!..

«По поводу прошения о помиловании:

1. Здесь находится в заключении более 120 товарищей, с которыми я живу и работаю и которые видят во мне товарища по партии. Моя подпись под прошением на многих подействует разлагающе, будет всячески использована дирекцией тюрьмы в своих целях и получит отклик во всей итальянской компартии, так как тут сидят товарищи из всех провинций. Никакие мои объяснения не помогут.

2. Я уверен, что в прошении будет отказано. Директор тюрьмы даст мне отрицательную характеристику, так как знает о моей роли в сплочении политических заключенных, в их борьбе за свои права. ОВРА будет против помилования, об этом мне открыто сказал офицер, который присутствовал при моем свидании

с адвокатом Фаббриии. Адвокат, который меня защищал на процессе, полного доверия у меня ие вызывает. Прошение о помиловании будет стоить много денег, а результата не даст.

3. Мое мнение: не подобает члену нашей партии и командиру Красной Армии писать прошение о помиловании.

4. Если Старик, ознакомившись с моими доводами, подтвердит приказание насчет подписи, я постараюсь перевестись в другую тюрьму и там подпишу бумагу. Но боюсь, что единственный результат будет такой — я буду принужден провести все остальные годы в одиночном заключении, так как после прошения о помиловании не смогу более ни жить, ни работать с другими товарищами в заключении.

Передайте все это Старику. Буду ждать ответа.

Э.».

«Я могу выдавать себя за австрийца, я могу ходить в коммерсантах, могу вести двойную жизнь. Но честь-то у меня одна и достоинство тоже одно! Вот так один пояс полагается красноармейцу и для шинели и для гимнастерки. И никакого другого пояса ему не положено...»

Однако чем больше он думал, тем яснее становилось, что рассуждение об одном поясе у красноармейца — красивые, но не очень-то умные слова. Он не должен был в письме, которое, наверно, попадет к Старику, аргументировать в запальчивости такими понятиями, как честь и достоинство члена партии и командира Красной Армии. Потому что здесь, в Кастельфранко, никакого члена партии и командира Красной Армии нет, а есть богатый австриец Конрад Кертнер, осужденный за шпионаж во вред фашистскому государству.

Но с другой стороны — если бы аполитичный коммерсант точно придерживался своей «легенды», он, помимо тюремной изоляции, оказался бы еще в моральной изоляции от томящихся здесь итальянских антифашистов. И ответ Старику дойдет сейчас только благодаря под-

польщикам-коммунистам. Как же Этьен может стать в их глазах предателем и трусом?

Нет, он по-прежнему был убежден в своей правоте. Вот почему в ответной записке Старику он не сообщил, как тот настаивал, сколько месяцев ему осталось сидеть.

Впервые в жизни он не мог последовать совету своего учителя и выполнить приказ своего командира.

66

Лишь вчера Кертнер впервые увидел этого голубоглазого, русоволосого парня на прогулке в тюремном дворе; их водили по одному отсеку.

А сегодня парень шагал за спиной Кертнера и доверчиво рассказывал обо всем, что с ним произошло. Его судили как саботажника и дезертира, а до этого он служил техником-мотористом на испанских аэродромах, готовил к полету и снаряжал двухместные истребители высшего пилотажа «капрони-113».

Он рассказал, что в марте этого года республиканцы и партизаны совершили налет на фашистский аэродром Талавера де ла Рейна, это на реке Тахо, в отрогах Сьерра-де-Гвадаррамы. По слухам, тем налетом руководил знаменитый диверсант, по национальности он македонец, а по чину подполковник республиканской армии.

— Не знаешь, как его звали? — вполголоса спросил Кертнер и замер в ожидании ответа.

Но парень за спиной поцокал языком в знак отрицания.

И все-таки Кертнер был почти уверен, что речь идет о Ксанти, под именем которого скрывается Хаджи-Умар Мамсуров. Налет на аэродром такой отчаянной дерзости, что угадывается «почерк» товарища.

Кертнер знал, что в середине ноября прошлого года Ксанти стал советником анархиста Дурутти, который возглавлял отряд, переброшенный для обороны Мадрида из Каталонии. Видимо, Ксанти недолго ходил в анархистах, если уже воюет по своей специальности. Прошел слух,

что этого македонца при налете на аэродром тяжело ранили. Но никаких подробностей голубоглазый, русоволосый парень сообщить не мог. Он снова поцокал языком.

А в конце лета красные совершили налет на аэродром Таблада под Севильей. Они атаковали аэродром группами в два-три человека. Чувствовалось по всему, что они хорошо были осведомлены о внутреннем распорядке на аэродроме, знали его план. Около десяти подрывников прокрались со стороны навигационного канала Альфонса XIII, с берега Гвадалквивира, а группа диверсантов сосредоточилась для нападения в апельсиновой роще, недалеко от восточных ворот аэродрома, под самым носом у командансии.

Красным удалось поджечь тогда на аэродроме семнадцать самолетов. Сгорели и тяжелые бомбардировщики и «мессершмитты» последней модели.

Эта новая модель «мессершмитта» появилась после того, как русские начали утюжить испанское небо на истребителях двух типов. Один тип испанцы окрестили «чатос», что значит «курносые», а другой называют «моска», то есть «муха».

«Какая же наша модель «чатос»? — гадал Этьен. — Скорее «И-15», чем «И-16»; если смотреть на «И-15» сбоку, то заметно, что мотор слегка задран кверху. В самом деле курносый профиль. . .»

У парня, безостановочно шагавшего вдоль высоких тюремных стен, и сейчас перед глазами эта страшная ночь на аэродроме, перестрелка, взрывы. Он видел, как волокли какого-то седоволосого партизана, тяжело раненного, напарник его был убит. Он слышал потом, что старика увезли в Бадахос; фашисты врыли в холм при дороге крест, распяли на нем раненого и подожгли. Но перед тем ему разрешили причаститься и тогда узнали, что старику под семьдесят, а зовут его Баутиста.

Этьен медленно шагал по тюремному двору, а сердце его колотилось так, будто он только что узнал о новой амнистии.

«Может, если бы не мои шифровки, не совершили бы этого налета на Табладу? . .»

67

Пришло время представлять аттестацию на присвоение очередного звания полковнику Маневичу, срок выслуги давно истек. Берзин несколько раз напоминал об этом Илье, но тот не торопился. Аттестовать работника, сидящего у фашистов в тюрьме?!

— Конечно, меня или вас аттестовать было бы легче. — Когда Берзин сердился, серо-голубые глаза его светлели, и он потирал пятерней свой коротко стриженый затылок, но голоса не повышал. — Мы ходим на службу. Каждый день предъявляем пропуска в проходной. Пришел — ушел, прибыл — убыл... Разрешите идти? Идите! Разрешите обратиться, товарищ комкор? Обращайтесь! Разрешите выполнять? Выполняйте, товарищ полковник! Получил жалованье, получил ордер на комнату, получил очередное звание, получил новое обмундирование... Но разве тюремная роба может изменить наше прежнее представление о полковнике Маневиче? Сидит он за решеткой или не сидит — он воюет в тылу врага... В русской армии бывали случаи, когда героям, по не зависящим от них обстоятельствам попавшим в плен, давали ордена и повышали в чинах. А разве Маневич сейчас не в плену? Он воевал на самом переднем крае, он находился к противнику ближе, чем любой пограничник с заставы Гродеково или Негорелое!

Илья терпеливо ждал, когда Берзин отсердится, но тот все продолжал шагать взад-вперед.

— Мы с вами тоже виноваты, что Маневич сидит сейчас за решеткой у Муссолини... Да, да, обязаны были найти и быстрее прислать ему замену. Еще тогда, весной тридцать шестого года. Нужно было вывести его из-под удара. Мы позволили устроить на него облаву двух контрразведок — испанской, итальянской. Есть паникеры, перестраховщики, мнительные трусы, которым мерещится слежка на каждом шагу. Но Маневич... Когда я уезжал в Испанию, вы обещали заменить его в течение месяца. Сколько в вашем месяце дней — сто, двести?.. Оказывается, подыскать начальника легче, нежели одного из его подчиненных. Какой-то парадокс! Вы не находите?

Как всегда, Илья слушал выговор молча и только почтительно откашливался низким голосом, не тем голосом, каким только что докладывал.

— Над Маневичем висел на тонкой ниточке дамоклов меч, — сердился Берзин, — а вы тут осторожничали сверх меры. И твердили свое любимое «семь раз примерь...». Семь раз отмерить перед тем, как отрезать, — всегда полезно. Но в самом деле примерять, а не ссылаться на примерки! Примериться к опасности! Ты вот семь раз примерь на себя чужой риск, чужую самоотверженность, чужую смелость, чужую боль, чужое страдание. Семь раз всесторонне обдумай, прикинь, проверь, подсчитай, а не семь раз обмакни перо в чернила, прежде чем подписать нехитрую бумагу. Зачем же называть робость — предусмотрительностью, а нерешительность — осторожностью?

Илья вяло откашливался.

— Для разведчика, — продолжал Берзин, — нерешительность мысли смерти подобна. Такие люди хорошо знают только то, чего им не следует делать. Эти, по выражению Толстого, «отрицательные достоинства» свойственны некоторым дипломатам: не нарушать официального протокола, этикета, чужих обычаев, не затрагивать неприятных вопросов. Они отлично знают, чего не надо делать. А вот что именно делать, умно рискуя и действенно осторожничая, — это решить потруднее. В чем ваша ошибка? — Берзин с силой провел пятерней по стриженому затылку. — Вы рассуждаете с нашей точки зрения. А вы попробуйте стать на точку зрения абвера, ОВРА или Сюртэ женераль. Наши противники тоже не лишены фантазии, и у них нет единомыслия, которое нам с вами каждый раз облегчало бы решение задачи...

Есть начальники, которые больше всего ценят в подчиненных расторопность — вовремя дать бумаги на подпись, быстро подготовить справку, которую потребовали «наверху». Осведомленность тоже бывает различная: творческая и показная, канцелярская. Берзин больше всего ценит в подчиненных умение самостоятельно думать, а уже потом отвечать без запинки на запросы-вопросы. Не раздражается, если с ним спорят, отстаивают

свою точку зрения до того, как пришло время выполнить приказ. С равнодушным, бездумным человеком спорить не о чем, с ним всегда легко сговориться, ему все ясно, он ждет руководящих указаний и жадно ест начальство глазами.

— Для того чтобы аттестовать Маневича, — Илья басовито откашлялся, — я должен сослаться на чье-то мнение, получить отзыв его непосредственного командира.

— Вы его непосредственный командир! Вот и попросите у себя этот отзыв. А если не верите самому себе — перечитайте его последние донесения и дайте характеристику, основываясь на этих документах.

«Чем больше честолюбия у человека, тем он менее доверчив, — подумал Берзин. — Самые недоверчивые люди — карьеристы...»

Берзин внимательно посмотрел на Илью; лицо у того напряженно-выжидательное, как всегда, когда он находится в этом кабинете.

Илья причесывался на прямой пробор, и седоватые волосы его, приглаженные и блестящие, обрамляли лоб и виски прямыми линиями, поэтому прическа его походила на парик; тогда среди военных вошла в моду прическа «под Шапошникова».

— Может быть, запросить отзывы у наших товарищей из Италии?

— Вы же недавно сами читали мне письмо Гри-Гри, он сообщал, что Этьен ведет себя геройски.

— Гри-Гри не начальник Маневича, а письмо не отзыв, какого требует аттестация.

Есть два типа службистов. Одни придерживаются законов, но при этом всегда сообразуются со здравым смыслом и интересами дела. Другие — к ним относится Илья — придерживаются тех же самых законов, но при этом все время ищут в них какие-то зацепки, закорючки, следуют не духу, а букве, ищут повода, чтобы не сделать того-то, не разрешить этого — лишь бы их не обвинили в послаблении, потворстве кому-то.

Осмотрительность всегда сопутствует Илье. Если Берзин задает простой вопрос, тот слышит отлично. А если

вопрос сложный и в нем может померещиться подвох, мимолетный экзамен, — Илья, чтобы не попасть впросак, всегда переспрашивает, как тугоухий, и выигрывает время для ответа.

Однажды Берзин услышал, как Илья говорил по телефону с кем-то из сотрудников: «Можете себя, товарищ, поздравить с большим успехом!» Илья разрешал неизвестному товарищу поздравить себя с успехом, но сам поздравить его не решился. Зачем очертя голову давать оценку, если еще неизвестна точка зрения вышестоящего начальства, может быть, самого комкора?

Илья вообще скуп на благодарности, поздравления, премирование, похвалы своим сотрудникам, не очень ратует за повышение их в воинских званиях. Вдруг Маневич и в самом деле станет комбригом раньше Ильи?

У них в управлении много-много лет дежурил в проходной дотошный старшина. Так он даже у сотрудников, которых отлично знал в лицо, всегда требовал пропуск. Может, это и по уставу караульной службы, но Берзина раздражал сверхбдительный старшина, который сперва поздоровается и даже скажет: «Доброе утро, товарищ комкор!», — а потом потребует пропуск. Но от Ильи-то, кажется, можно требовать больше, чем от старшины!

В отличие от Ильи, если Берзин доверял человеку, то бывал с ним откровенен и сердечно щедр. В разведывательной работе все основано на полном доверии к тем, кто это доверие заслужил...

Илья удивлялся сегодня горячности и резкости Берзина в разговоре, касающемся аттестации сидящего в тюрьме полковника Маневича. Откуда было Илье знать, что и раздражение Берзина, и сама продолжительность аудиенции по этому вопросу объяснялись совсем другим?

Берзин жалел, что допустил в разговоре несколько излишне резких выражений. Не обязательно было говорить «втемяшить в вашу упрямую башку», излишне было попрекать Илью тихой, спокойной жизнью: известно, какой у них там курорт. Во всем остальном Берзин считал, что он прав.

«Смирволил я когда-то Илье, слиберальничал... Мало

быть прилежным, осведомленным, осторожным работником. Разведка требует еще многих других качеств. Это деятельность творческая. Разведчик обязательно должен обладать еще воображением, темпераментом, обостренной интуицией. А главное — ему нужна врожденная или благоприобретенная самостоятельность мыслей и поступков. Может, в каком-нибудь другом управлении Илья дослужился бы при его исполнительности и аккуратности до больших чинов. А в нашем управлении ему все-таки делать нечего...

Илья — человек обтекаемый, без острых углов в мышлении, в поведении. Правильный, но бледный товарищ. Не делает грубых ошибок, никогда не имел взысканий и, наверно, не будет их иметь. Аккуратно платит все взносы, какие только полагается платить куда бы то ни было. Партийную чистку прошел без сучка, без задоринки. Ему и вопросов-то никаких, кроме дежурных, не задавали — все ясно, как дважды два. Илья столько лет работает, у него такая безукоризненная анкета, такой стерильно чистый послужной список — и вдруг ни с того ни с сего снять человека с поста...»

Берзин задумался, глядя в окно, а когда вновь повернулся, то отчужденно взглянул на стоящего посреди комнаты Илью.

— Я сам напишу аттестацию, — сказал Берзин сухо. — И сделаю это немедленно. Вы свободны.

Едва Илья вышел, почтительно прикрыв за собой дверь, Берзин без помарок написал аттестацию на полковника Л. Е. Маневича (Этьена):

> «Способный, широко образованный и культурный командир. Волевые качества хорошо развиты, характер твердый. На работе проявил большую инициативу, знания и понимание дела.
>
> Попав в тяжелые условия, вел себя геройски, показал исключительную выдержку и мужество. Так же мужественно продолжает вести себя и по сие время, одолевая всякие трудности и лишения.

Примерный командир-большевик, достоин представления к награде после возвращения.

Комкор Берзин».

Он вдруг подумал, что, когда Маневича вызволят из тюрьмы, когда он вернется в Москву и основательно подлечится, хорошо бы его взять в аппарат разведуправления, хотя бы на год-два. Вот для такого назначения звание «комбриг» окажется совсем не лишним. А после года-двух — может быть, и обратно в конспиративное пекло!

А что, если на место Ильи назначить Маневича? Он же знает всю подноготную разведки, столько лет воочию и пристально наблюдает за подготовкой Гитлера и Муссолини к большой войне.

После того как Берзин поработал в Испании, поварился там в кипящем котле, он на многие старые порядки, заведенные в разведуправлении, начал смотреть по-новому и заново переоценивал всех работников. Каждый работник разведуправления должен сам хлебнуть однажды опасности, почувствовать себя в шкуре того, кто ходит по краешку жизни, кто не только циркулем мерил карты, а мерил шагами фронтовые дороги, ходил по тылам врага в разношенных сапогах, кто слышал орудийные залпы не только на торжественных похоронах у Кремлевской стены...

Лучшие сотрудники управления рвались на горячую оперативную работу. Не далее как сегодня утром непременная секретарша Берзина, надежная и смелая Наташа Звонарева, уже в который раз попросила:

— Отпустите меня, Павел Иванович, в Испанию.

— Не могу, Наташа. Хотя убежден, что ты помогла бы нашим товарищам в Мадриде.

— Да что же я, в самом деле, — инвентарь управления? — спросила Наташа обиженно; и голос у нее был сырой, и глаза на мокром месте.

Берзин встал, обошел вокруг массивный стол и отечески обнял Наташу за плечи.

— Все мы — инвентарь революции. И никогда не смей об этом забывать...

Берзин перечитал аттестацию, вручил ее Наташе, попросил отнести в отдел к Илье, а оттуда принести личное дело полковника Маневича.

68

Когда Карузо привел заключенного 2722 в комнату свиданий, его уже ждали. Адвокат Фаббрини встал со скамьи, а надзиратель остался сидеть у дальней стены.

Кертнер коротко кивнул адвокату и уставился на тюремного надзирателя. Кто сегодня «третий лишний»?

Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться: сегодня дежурит не тот, который вечно бегает по комнате, так что рябит в глазах. Да и лицо у сидящего на стуле как каменное. И не тот, седоусый и лысоватый. И не тот, который дежурил в прошлый раз. Значит, по методу исключения, Этьен имеет честь познакомиться с уроженцем Лигурии.

И тут Кертнером овладел приступ буйной словоохотливости. Будто его привели сюда не из густо населенной камеры, будто он вырвался из длительной одиночки, устал от молчания.

Он поздоровался с Фаббрини, затем многословно, витиевато обратился к «третьему лишнему» и забросал его ерундовскими вопросами — что-то насчет погоды, спросил, какой сегодня день недели и сколько дней в июле. Надзиратель послушно отвечал на вопросы, а Этьен весь обратился в слух. Он успел уловить тень удивления на лице Фаббрини; тот слушал своего подзащитного, навострив большие круглые уши, стоящие торчком.

Конечно, Кертнер сегодня не похож на самого себя, но он уже успел вслушаться: «третий лишний» никакой не лигуриец. Ну ничего похожего! Растягивает гласные и произносит звук «е» очень протяжно, что изобличает в нем скорее миланца. Да и рост не подходит под приметы. Какой же он низенький? Небось, встанет со стула — верзилой окажется.

Значит, товарищи по камере ошиблись, значит, в тюрьме существует какой-то неизвестный им, пятый офицер, который дежурит в комнате свиданий. Может, этот, кото-

рый сидит на стуле выпрямившись, — новенький? Заменяет ушедшего в отпуск?

Фаббрини был сегодня в приподнятом настроении и позволял себе шутки, которые могли показаться безобидными только несообразительному человеку. Он сообщил, что едва успел на свидание, так как поезд из Милана опоздал на два часа; опять поезда разучились в Италии ходить по расписанию.

— Хозяйственное положение Италии все улучшается, — сказал он двусмысленно, — хотя еще не является безнадежным...

Фаббрини достал из раздутого портфеля заготовленное им письмо к капо диретторе. Передавать друг другу бумаги не разрешалось, поэтому адвокат заверил «третьего лишнего» — в письме нет ничего секретного.

«Третий лишний» искоса поглядел, кому адресовано письмо, и сказал с той же миланской сухостью в произношении:

— Прочесть прошение синьору капо диретторе разрешается. Оставить заключенному нельзя.

— Только прочесть, — заверил Фаббрини.

Он весело заговорил с тюремщиком — пожаловался на жажду, пожалел, что не имеет возможности выпить сейчас крепкого чаю; он очень любит чай, особенно в такие душные, знойные дни. Жаль, в Италии теперь не поощряется чаепитие. При его любви к чаю ему следовало бы жить не в Италии, а в Китае, в Англии, на худой конец — в России.

Этьен начал читать письмо, но не мог сосредоточиться.

Какой же надзиратель сидит там на стуле, будто аршин проглотил?

Комната затемнена частыми решетками, Этьен пересел к окну.

«Многоуважаемый капо диретторе!

Считаю необходимым сообщить Вам о моих впечатлениях и моей точке зрения на проблему Кертнера, потому что информировать Вас является моим долгом.

а) Добиться от Кертиера признания, с какой страной он связан, ие было никакой возможности. Очевидно, он решил молчать до конца, получил такой приказ и должен его выполнить, несмотря на состояние своего здоровья.

б) Уверен, что в свободной, без свидетелей беседе Кертиер решится дать мне «отправные пункты», к которым мы можем обратиться для выяснения его подлинной национальности.

в) Если Кертиер даст мне «отправной пункт» (например, богатый родственник за границей), скорее всего, он назовет человека, находящегося вне нашего влияния, и этот человек явится такой же проблемой, как сам Кертнер. Но во всяком случае, попытку следует сделать для того, чтоб проследить, какие и откуда к Кертнеру последуют инструкции и приказы.

г) Необходимо изучить, какую политическую или другого вида компенсацию и от кого может требовать и получить наша страна в случае помилования и освобождения Кертнера. Ответ на этот вопрос также требует свидания с моим бывшим подзащитным с глазу на глаз.

Вот, досточтимый синьор, коротко то, что возможно было бы выяснить во время свидания без свидетелей.

С глубоким почтением *Б. Фаббрини».*

Кертиер дочитал письмо и с повышенным интересом, как бы заново взглянул на Фаббрини. Вот не думал, что он до такой степени изворотлив и так хитро хочет войти в доверие к директору! Пожалуй, во время следствия и на суде адвокат ни разу ие действовал так находчиво. Подобное письмо вполне мог бы сочинить агент контрразведки.

А Фаббрини тем временем болтал с «третьим

лишним» насчет засушливого лета, они оба посетовали на отсутствие дождей в Ломбардии.

— Кстати, вы не знаете, почему в Италии такое засушливое лето? — спросил Фаббрини, когда Кертнер возвращал ему письмо.

Тот недоуменно пожал плечами.

— Потому, что все итальянцы набрали в рот воды!

И Фаббрини первый с удовольствием, даже несколько театрально, рассмеялся своей скользкой шутке. А потом сказал какую-то скабрезность про Клару Петаччи, любовницу дуче. Может, шутки адресованы Кертнеру, чтоб тот не забывал о подлинных политических взглядах Фаббрини, когда читал его подобострастное, подхалимское, смахивающее на донос письмо?

В прошлый раз адвокат вел себя значительно осмотрительнее. Он не раз прикладывал тогда палец к губам, напоминал Кертнеру об осторожности. А сейчас так неопрятен в словах.

Изменилось настроение? Опасался тогда «третьего лишнего»? Но ведь на первом свидании сидел самый безобидный свидетель из всех!

Или Фаббрини очень уверен в сегодняшнем свидетеле?

Все-таки сегодня в словах Фаббрини насчет режима и порядков в Италии была некая сознательная неосторожность, желание прослыть вольнодумцем.

Но перед кем?

Перед «третьим лишним»? Бессмысленно. Значит — перед Кертнером?

Сегодня Этьен очень внимательно следил и за Фаббрини и за «третьим лишним», не спуская с них глаз. И в камеру вернулся встревоженный.

— Ну кто из четырех голубчиков мозолил тебе глаза на свидании?

— Из тех четырех, которых вы знаете, — никто. Какой-то пятый.

Бруно вскочил с койки.

— Пятый? Откуда же он взялся?

Кертнер только пожал плечами.

— А как пятый выглядит?

— Никаких особых примет. Рослый. Сидит на стуле — как шпагу проглотил... Впрочем... Мне показалось, что иногда он чуть-чуть косит.

— И притом — левым глазом? — оживился рыжеволосый мойщик окон из Болоньи.

— Да.

— Так это же не пятый свидетель, а целая «пятая колонна»! — вскрикнул Бруно. — Тебя можно поздравить! Ты познакомился с самим Брамбиллой! Числится помощником капо диретторе, но жалованье получает в тайной полиции...

Соседи по камере уже заснули, а Этьен лежал в тревожном смятении. Он перебирал в памяти каждую из двадцати минут сегодняшнего свидания, и оно тревожило его все больше.

Пожалуй, было что-то неестественное в том, как держался «третий лишний». Вспомнить хотя бы снисходительную усмешку косящего тюремщика, которой он сопроводил очередную двусмысленность адвоката. Эта усмешка значила больше, чем все улыбки, какие адвокат наклеивал на свое лицо в течение всех двадцати минут свидания.

Можно ли допустить, что Фаббрини не знал, кто такой Брамбилла? Ведь сам говорил, что много лет ездит по делам в эту тюрьму, хвалился, что ему тут все знакомы!

Конечно, это всего только интуиция, предощущение, но у Этьена возникло подозрение, что Фаббрини и косоглазый хорошо знакомы друг с другом. В выражении лица косящего было нечто такое, что выдавало в нем сообщника; он как бы все время оценивал — хорошо или плохо играет свою роль адвокат.

А почему Фаббрини сегодня тяготел к политическим анекдотам? Кертнер на них никак не реагировал, не поддерживал разговора на скользкие темы. И почему адвокат, такой предусмотрительный, говорил крамольные вещи, не снижая голоса? Ради чего он рисковал?

Вот где, пожалуй, психологическая разгадка поведения Фаббрини — убедить Кертнера, что, несмотря на провокационное письмо, он заслуживает полного доверия...

69

Берзин не хотел заглядывать в личное дело Маневича-Этьена до того, как отправит аттестацию. Ему незачем искать в бумагах подтверждение своему лестному отзыву.

Просто ему захотелось остаться наедине с Этьеном и подробнее выспросить: «Ну, чем ты занимался последние месяцы, пока я был в Мадриде? Что успел сделать? Чем бывал встревожен? Кто виноват, и виноват ли кто-нибудь в провале?..»

Берзин раскрыл папку и начал с конца перелистывать личное дело полковника Маневича.

Среди последних донесений, аккуратно подшитых к делу, на глаза попался клочок папиросной бумаги, неведомо как и с кем пересланный Этьеном:

> «Дорогой и уважаемый Старик! Горячо поздравляю тебя с девятнадцатой годовщиной РККА. Передаю привет всем старым товарищам.
>
> *Твой Э.*».

А вот еще записка, неровные буковки, неуверенные штрихи, будто Этьен писал трясущейся рукой:

> «Вдребезги болен и сегодня плохо соображаю. Прошу Старика написать мне несколько слов для ободрения духа. Передаю ему свой тоскующий привет.
>
> *Этьен*».

«Вот ведь какая планида у всех у нас, — подумал Берзин невесело. — Даже тоскующий привет другу занумерован, и хранится он в папке с грифами на обложке: «Совершенно секретно», «Хранить вечно», «В одном экземпляре»... Так-то вот».

Записка от вдребезги больного пришла, когда Берзин находился где-то в горах Гвадаррамы.

Сегодня же послать ответную шифровку в Италию!

«Как же ты, Ян, после возвращения из Испании не

перечитал внимательно все дело Этьена, не разобрал все буквы-закорючки до единой, не поговорил по душам с далеким другом? Конечно, дел с первого же дня, как только вернулся и переступил порог разведуправления, навалилось поверх головы, но это не может служить мне оправданием. . .»

На Берзина нахлынуло и уже не покидало теплое чувство к Этьену.

За листами дела Маневича-Этьена отчетливо вырисовывалось лицо Гри-Гри. Вот кто по-настоящему озабочен участью товарища!

Гри-Гри разработал несколько вариантов побега из тюремной больницы. Берзину показался весьма дельным план, при котором исчезновение Этьена из тюремной больницы могли обнаружить только спустя два часа после бегства и исключалась возможность всяких жертв при побеге... Но Илья, как явствует из копии письма, подшитого к делу, лишь напомнил Гри-Гри, что ему следует быть осторожнее. И никакой деловой подсказки, ни одного совета!

Между строчек письма слышится крик души Гри-Гри:

> «Ведь, в конце концов, я должен не только бояться, но прежде всего делать дело! С умом, само собой разумеется, но делать дело, а не сидеть у тюремных ворот и ждать погоды!..
>
> Какой все-таки молодец Этьен! Ни одной жалобы или намека на нее. На его месте от многих можно было бы ожидать не только жалоб, но даже ругани, причем ругани, заслуженной нами...
>
> Без принятия хирургических мер Этьену угрожает пребывание в больнице до полного выздоровления...»

Это значит — пребывание в тюрьме до окончания срока заключения.

Сегодня же Берзин отправит шифровку Гри-Гри, поблагодарит его и Тамару. Пусть Гри-Гри и в дальнейшем

ие стесняется делиться с Центром планами освобождения Этьена.

Судя по переписке с Гри-Гри, Илья совершил две ошибки: не имея никаких прочных доказательств, исходя из примитивной логики, которая могла быть свойственна лишь глупому противнику, он все время предупреждал об опасной секретарше и рекомендовал помощь адвоката, который несимпатичен Этьену и Гри-Гри. Почему же не доверять мнению, интуиции товарищей, находящихся там, иа месте?

А Гри-Гри пишет Илье:

> «Наше счастье, что секретарша — человек верный, она доказала это делом. Думаю, Ваши подозрения напрасны».

Из записки Этьена, адресованной Гри-Гри:

> «Последняя твоя записка не дошла. Связную обыскали перед свиданием с женихом, и она вынуждена была проглотить писульку. Привет Старику. Прощай.
>
> Э.».

Значит, совершенно очевидно, что у Этьена появилась в тюрьме какая-то более или менее надежная связь... Почему же Илья ничего об этом не доложил? Или считает, что невесте, которая глотает писульки, также нельзя доверять?

Листая страницы личного дела Маневича-Этьена, Берзин усомнился в правильности своего старого приказа — подать прошение о помиловании. Был смысл подавать прошение сразу же, как только Кертнер оказался в тюрьме. Но такое прошение должно было сопровождаться целым рядом организационных мер! И большие взятки могут помочь в подобных случаях. Однако нельзя теперь требовать у Этьена, чтобы он поступился всеми тюремными связями, когда без них он не мог бы жить и работать, когда связи эти — единственные и никаких других связей мы установить с ним не сумели.

Берзин листал личное дело полковника Маневича, вс

глубже заглядывая в прошлое, возвращаясь с ним к тем дням, когда красных командиров еще не называли полковниками, майорами, капитанами, а к нему, к Берзину, еще не пристало прозвище «Старик».

Личное дело хранило в копиях все справки и бумажки, какие в прошедшие годы были выданы Маневичу: о лётном пайке, о путевке для дочери Тани в пионерский лагерь, об отпуске дров со склада, о выдаче нового обмундирования. Берзин задержался взглядом на письме, отправленном в Чаусы, в исполком, с просьбой помочь родителям военнослужащего Л. Е. Маневича и отпустить им по государственной цене восемь листов кровельного железа для ремонта прохудившейся крыши. Сюда же подшита справка от местных властей о социальном положении родителей:

> «Из имущества означенные граждане имеют ветхий дом и ветхий сарай. Торговлей не занимаются».

Листая подшитые бумаги от конца к началу, Берзин уткнулся в анкету молодого Маневича, ту самую, которая лежала на столе во время первой беседы с будущим разведчиком.

Более чем закономерно, что Маневича перевели тогда на работу в разведуправление!

Старший брат, Жак Маневич, с юных лет участвовал в революционном движении, состоял в РСДРП(б). Был арестован, с помощью сестры бежал из каторжного централа в эмиграцию. Там получил медицинское образование. Позже товарищи Жака по подполью привезли к нему в Швейцарию младшего брата Леву. Родом Маневичи из белорусского городка Чаусы, семья бедная, и учить мальчика было не на что. После Февральской революции братья вернулись в Россию. Девятнадцатилетний Лев Маневич добровольно вступил в Красную Армию, сражался за советскую власть в Баку, а затем против Колчака, был комиссаром бронепоезда. Член РКП(б) с 1918 года. Партбилет № 123915. После гражданской войны стал

слушателем Военной академии. Окончил академию с отличием и поступил на курсы усовершенствования начсостава при Военно-воздушной академии.

Во время первой беседы Берзин спросил Маневича:

— Как вы отнеслись бы к предложению перейти к нам на работу? Придется и по белу свету поездить...

Маневич не торопился с ответом.

— Языки знаете? — тоном полувопроса продолжал Берзин.

— В Самаре меня даже обзывали полиглотом. После одного случая...

— Какого же?

— Еще в двадцатом году. Я тогда работал завдрайполитом. Дорожная Чека задержала двух подозрительных — мужчину и женщину. Хотели обыскать — те скандалят, требуют французского консула. По-русски вроде бы понимают плохо. Чекисты, чтобы соблюсти дипломатию, позвали на помощь. Я попросил не представлять меня той парочке, сел молча в сторонке, послушал. Потом один чекист взял из рук женщины сумочку, разрезал подкладку, достал оттуда пластинки золота и документы. Между прочим, русские...

— Кто же это был?

— Колчаковский полковник с женой. В Самаре у них была явка, пробирались за границу. Чекисты не напрасно их обыскали. Даже в каблуках у дамочки оказались бриллианты.

— А почему обратили внимание на сумочку?

— Ах, да, виноват, забыл сказать... Я услышал, как полковник предостерег жену по-французски, чтобы она спрятала сумочку в муфту. Тогда я подал знак чекисту. Потом мы с полковником поговорили откровенно. «Я, говорит, только вы вошли, сказал жене, что этот стройный черноволосый чекист наверняка из аристократов. А уж когда вы заговорили по-французски!..» Никак он не мог поверить, что с ним говорил большевик. Сперва упрекал, что я перебежал от своих, потом хотел откупиться...

— Отлично, — засмеялся Берзин. — Можно считать, что некоторый опыт разведработы у вас уже есть...

Берзин перевернул еще одну страницу дела — вот ха-

рактеристики, выданные Маневичу уже после того, как Берзин с ним познакомился:

> «Отличных умственных способностей. С большим успехом и легко овладевает всей учебной работой, подходя к изучению каждого вопроса с разумением, здоровой критикой и систематично. Аккуратен. Весьма активен. Обладает большой способностью передавать знания другим. Дисциплинирован. Характера твердого, решительного; очень энергичен, иногда излишне горяч. Здоров, годен к летной работе. Имеет опыт ночных полетов. Пользуется авторитетом среди слушателей, импонирует им своими знаниями. Активно ведет общественно-политическую работу.
>
> Вывод: Маневич вполне успешно может нести строевую летную службу. После стажировки обещает быть хорошим командиром отдельной авиачасти и не менее хорошим руководителем штаба.
>
> *Нач. УНС Новицкий».*
>
> *«Утверждаю». Нач. академии Хорьков».*

Аттестацию Военно-воздушной академии подкрепляет отзыв командира эскадрильи старшего летчика Верногорода; в его эскадрилье Маневич стажировался с 15 мая по 1 октября 1929 года.

> «К работе относится в высшей степени добросовестно и заинтересованно. Летает с большой охотой. Энергичен, дисциплинирован, обладает хорошей инициативой и сообразительностью. Вынослив. Зачастую работает с перегрузкой. Свои знания и опыт умеет хорошо передавать другим».

«Сколько похвал! — с гордостью подумал Берзин, закрывая личное дело Маневича. — И все похвалы заслуженные. Но все-таки не умеем мы нащупать в человеке

самое главное. В характеристике нужно выделять ведущую черту характера! Ведь в характере каждого из нас, как в сложном станке, есть свои ведущие и ведомые шестерни!..»

Нельзя сказать, что лучшие сотрудники Берзина схожи между собой характерами. Все они очень, очень разные — ближайшие его помощники: Давыдов, Никонов, Стигга, Мамсуров, Сухоруков, Бортновский, Князь (Кирхенштейн), Рамзай (Зорге), Этьен, Альфред и Мария Тылтынь, Анулов, Винаров, Ян Биркенфельд, Басов (Рихард), Григорьев, Скарбек, Звонарева и многие другие.

Но есть черты общие в их натуре, такой у всех у них склад души, такой состав крови — они редко бывают удовлетворены достигнутым, ими владеет святое творческое беспокойство, они никогда не снижают требовательности к себе, значит — и к другим.

А что касается Этьена, то он часто брал себе задачу не только по плечу, но и несколько выше плеча. Лишь идя на риск, смело испытывая судьбу, удавалось добывать золотые крупицы технических открытий, делать ценные находки, готовить победу на поле будущего боя с фашистами.

Там, в Испании, Берзин многократно и повседневно убеждался в том, что нужно совершенствовать и обновлять многое из нашего вооружения. Мы отстаем от гитлеровского вермахта, а кое в чем, особенно в авиации, в подводном флоте, — и от итальянцев.

Во время последнего военного парада на Красной площади Берзин без умиления и даже с тревогой смотрел на пулеметные тачанки. Героический арсенал гражданской войны, о которой былинники речистые ведут рассказ... Впервые тачанки появились на Красной площади 7 ноября 1924 года. Точно гремящая, скачущая, катящаяся орда вырвалась на булыжный простор площади. Грохот окованных железными шинами колес, цокот, свистят и щелкают бичи, искры летят из-под копыт. Упряжки подобраны в масть: то кони серые в яблоках, то золотистые дончаки... Но ведь многие у нас до сих пор взирают на тачанки как на грозное оружие в современной

войне... А самолетов еще немало тихоходных. Для участия в парадах это даже удобно, но для воздушных боев...

Да, как ни печально, нужно признаться, что мы пока отстаем в технической оснастке армии от стран, заключивших «Стальной пакт». Это касается нескольких видов оружия. Да и что в этом невероятного, если страна наша делает, в сущности говоря, только первые шаги в освоении сложной техники?

Американцы, немцы, англичане, шведы за большие деньги помогали нам строить доменные печи и турбины, тракторы и автомобили. Но если здесь капиталисты, хотя и втридорога, продают свой опыт, свое умение, то в военной промышленности мы не можем рассчитывать даже на самую корыстную, щедро оплачиваемую помощь.

Стоит ли удивляться тому, что мы только учимся прокатывать броневую сталь, если совсем лишь недавно ставили первые палатки в ковыльной степи у подножья горы Магнитной?

В речи, обращенной к хозяйственникам, Сталин сказал: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Да, мы шагаем вперед семимильными шагами. Иначе были бы невозможны полеты Чкалова, Громова, Коккинаки, новые ледоколы, Московский метрополитен. Но опасность, что нас сомнут, если мы быстро не перевооружим армию, оставалась. Не может Сталин при всех успехах индустриализации всерьез думать, что столетнее отставание преодолено за последние несколько лет. Вот уже вторая пятилетка, как мы справедливо гордимся скоростью нашего движения вперед. Но полезно чаще напоминать себе, что отставание не преодолено до конца. Может, во всеуслышание, в печати об этом и не следует твердить, но сами-то мы не смеем об этом забывать.

Было бы несправедливо и неблагородно винить наших военных специалистов, конструкторов, изобретателей в отставании. Дело прежде всего в общем техническом уровне страны. Разве можно сконструировать отличный танк, если у нас еще учатся как следует ходить грузови-

ки? Можно ли изготовить быстроходный истребитель при слабом моторостроении?

Да, техника сегодня решает все. Да, кадры сегодня решают все. Недавно Берзину довелось побывать на авиационном заводе, и он видел там молодую работницу за токарным станком. Она стояла босиком, подстелив под ноги чертеж. И Берзину показалось, что это она по своему невежеству попирает грязными ступнями, пятками, пальцами Ее Величество Точность. Он тогда пристыдил работницу.

Когда мы под звуки духовых оркестров ночи напролет бетонировали плотину Днепростроя, закладывали фундаменты заводов в Сталинграде, Харькове и Кузнецке, а потом голыми руками на тридцатиградусном морозе стеклили крыши цехов, когда наши ледоколы осваивали Великий Северный путь, когда стахановцы устанавливали рекорды по добыче угля, — мы неустанно заботились о повышении обороноспособности страны.

Но только близорукие стратеги или злокачественные хвастуны могут думать, что в войне с фашизмом победа будет завоевана легко, придет чуть ли не сама собой.

Для того чтобы добиться победы в будущей войне, требуется, кроме всех достоинств советских бойцов, еще и более современная, а честнее сказать — менее устаревшая техника.

Настойчивый, сосредоточенный и повелительный интерес к новинкам военной техники — вот чем Этьен, судя по его донесениям и письмам, шифрованным и нешифрованным, жил все последнее время. Не распылял внимания на оперативную поденщину, на пустяки, даже весьма любопытные, а всецело посвятил себя нескольким важнейшим проблемам военной техники.

И просто удивительно, как Этьен знает (две академии плюс знание иностранных языков?) или угадывает (обостренное чутье?), что именно требует от нас сейчас Красная Армия, чтобы не только догнать, но и опередить своих будущих противников.

Берзин закрыл папку, написал записку Гри-Гри и уже после того, как вызвал шифровальщика, приписал:

«Делайте все для облегчения участи Этьена. Ищите пути для материальной поддержки, не жалейте средств. Держите меня в курсе дела, обещаю свою помощь. Дружески

Старик».

70

Гри-Гри составил и отправил в Центр справку о тюрьме Кастельфранко дель Эмилия. Он не отказывался от мысли устроить побег Этьена.

«География. Тюрьма — бывшая пограничная крепость, сооруженная папой Урбаном VIII. Находится в 13 километрах от Модены по направлению к Болонье, в 300 метрах не доезжая до городка Кастельфранко дель Эмилия (4—5 тыс. жителей). На шоссе, которое здесь называют государственной дорогой, оживленное сообщение. В основных направлениях от города идут хорошие дороги. От крепости до швейцарской границы по дорогам 250 км. Тюрьма отстоит от шоссе метров на 200. Место открытое. С северо-востока подступает железная дорога, с юго-востока — поля, с юго-запада — полоса поля и шоссе, а в 150 м к северо-западу от тюрьмы находится лазарет.

Устройство. Здание почти квадратной формы, площадью около 3000 кв. м. Окружено рвом шириной 3 метра. Летом воды мало, но ров всегда может быть наполнен. Сразу за рвом тянется стена и насыпь, высотой 3—4 метра и шириной около 8 метров. Насыпь сплошная, и в тюрьму ведет только один вход, куда упирается дорога, соединяющая крепость с шоссе. Здание тюрьмы низкое, крыша ее чуть выше земляной насыпи. Если смотреть на тюрьму с шоссе, крыша едва видна за насыпью, которая окружает тюрьму и откуда ведет наблюдение стража. Часовые все время ходят по насыпи. У тюремных ворот стоят маленькие пушчонки (стрелять давно разучились). Между крепостной стеной и самим зданием тюрьмы тянется круговая внутренняя улица. На эту улицу из тюрьмы выходят двери различных служб.

Здаиие тюрьмы двухэтажное, оно соедииеио с главиыми воротами галереей. Ее продолжает полутемиый коридор, которым можно пройти прямо во двор тюрьмы. Из галереи можио выйти и иа круговую улицу.

Часть камер выходит окиами иа эту улицу, а часть — в тюремиый двор, который разделен иа отдельиые секторы-загоиы.

Работа в тюрьме. Три мастерские: текстильная, столяриая и обувиая. Из 450 заключеиных ие работают только 80 политических. В остальиом различия между уголовииками и политическими, иностраицами и итальяицами иет. Распределяет иа работу тюремная администрация. Группа давио сидящих в тюрьме и смириых, тихих людей работает вие крепости иа полях. Все оии в полосатой серо-коричневой одежде. На группу в 20 человек — 2-3 коивойиых.

Стража. Прежде квартировала специальная воииская комаида. Сейчас вся охраиа гражданская, наемиая, около 80 человек. Семейные живут в городке и являются лишь иа дежурства. Предположительио 25—27 человек всегда вие крепости.

Прогулки. Раиьше арестаиты гуляли все одновремеиио. Два года иазад во время прогулки иачался буит. Заключеиные разоружили стражу и перебили часть коивоиров их же оружием. С тех пор иа прогулку выводят группами. Стража, находящаяся виутри тюрьмы, без оружия (во всяком случае, ие иосит оружия поверх одежды).

Побеги. За последиие годы было три побега. Двое бежали из камер, выходящих иаружу, иа земляиую иасыпь. Перепилили решетки и спустились по веревкам, связаииым из простыииых полос. Виутреиияя улица, стена, иасыпь и ров — препятствия слабые. Ночи выбрали темные, и беглецы скрылись. Третий бежал с полевых работ, ио вскоре был задержаи иа железиодорожной стаиции, так как иа воле ему иикто ие помог.

Доступ в крепость. Кроме адмииистрации и стражи доступ в тюрьму ие ограиичен для врача и свящеииика. Довольно свободный доступ имеют подрядчики сырья для мастерских, приемщики продукции, изготов-

ленной там, и поставщик провианта. В тюремную канцелярию (в здании тюрьмы) имеет доступ также публика, приходящая за справками. Опроса посетителей не ведется, фамилии их не записываются.

Выводы. На основании этих, хотя и явно недостаточных, сведений можно сделать предварительный вывод, что побег вполне возможен. Вот приблизительные варианты.

1. Лазарет вне тюрьмы охраняется слабо, там заключенным делают операции, и туда же кладут тяжелобольных. Этьен может симулировать приступ аппендицита (больной кричит от боли, а проверить его невозможно, настаивает на операции, хотя бы за свой счет). Или симулировать другую болезнь, с которой кладут в больницу. Если при Этьене будет конвоир (даже два), то можно подъехать в нужный момент на машине, отбить больного и увезти. Сговориться с тюремным врачом нельзя даже за большие деньги (недавно женился на миллионерше)...

2. Все поставщики живут в Болонье или в Модене. В Кастельфранко находятся их уполномоченные и мелкие служащие, которые имеют доступ в крепость. Через одного из них можно передать Этьену костюм, чтобы он вышел вместе с поставщиком или даже вместо него.

3. Явиться в тюремную контору группой в 4—5 человек в карабинерской форме, с офицером во главе, предъявить фальшивую бумагу о переводе Этьена в другое место — и увезти.

При тщательном изучении вопроса могут возникнуть и другие варианты».

71

Вскоре после того, как полковнику Маневичу было присвоено звание комбрига, Ингрид передала через Редера первое секретное донесение Этьена из тюрьмы.

Оно касалось оптических прицелов, установленных на новых немецких и итальянских бомбардировщиках, содержало анализ их недостатков, изъянов. Сообщалось также, сколько «примусов» прислали немцы на авиаза-

воды Северной Италии. В шифровке были технические сведения и миниатюрные схемы: как укреплен бомбовой прицел возле сиденья штурмана, как штурман производит расчеты, делая поправки на скорость полета и на высоту, с какой производится бомбометание.

Одновременно Этьен предостерегал от некоторых ошибок, допущенных немецкими конструкторами, подсказывал, как их избежать.

Такого еще на длинной памяти Берзина не было — чтобы разведчик, в условиях фашистской тюрьмы, продолжал свою работу и добывал ценнейшие и новейшие разведданные!

Вслед за шифровкой о «примусах» Этьену удалось передать еще два важных сообщения. Сообщение первое — техническая характеристика ночного бомбометания: во время военных действий в Абиссинии впервые были использованы ракеты на парашютах. Второе сообщение — рецепт броневой стали, секретно пересланный с заводов Круппа на заводы Ансальдо. В Советской России еще не умели варить сталь по такому рецепту; она делала танк неуязвимым для снарядов среднего калибра.

Прошло еще с месяц, и на столе у Берзина лежали материалы о нетонущем крейсере, который строился с участием немцев на верфи близ Генуи. Технические подробности касались водонепроницаемых перегородок, толщины брони и перекрытий на палубе, лифтов для снарядов, подаваемых из боевого трюма, а также устройств для остойчивости корабля.

Если бы даже тюремные надзиратели перехватили какую-нибудь информацию Этьена, они прочитали бы только записку заключенного, у которого накопилось множество просьб, связанных с очередной посылкой в тюрьму, — марка сигарет, какие купить носки, сорт шоколада, какие книги прислать, какое мыло дешевле, и т. д., и т. п. А калька с микроскопическими чертежами или схемой была бы проглочена связным.

Но, может быть, самым важным было сообщение Этьена из тюрьмы о большом и срочном заказе, получен-

ном итальянскими авиазаводами из Японии на самолеты, не боящиеся мороза.

Ясно, что японцы покупают самолеты, имея в виду военные действия не на юге Китая или где-нибудь на Филиппинских островах, а в Маньчжурии, в Монголии, может быть и на нашем Дальнем Востоке.

Сигналы, поступавшие от Этьена, перекликались с донесениями Рамзая, и в совпадении оперативных разведданных была своя дополнительная убедительность.

Сообщение, полученное от комбрига Маневича, содержало сведения государственной важности, и Берзин нашел нужным срочно доложить их начальнику Генерального штаба.

Берзин не отказал себе в удовольствии при очередном вызове Ильи сообщить ему о высокой оценке, которую начальник Генерального штаба дал деятельности комбрига Маневича.

— Разрешите дополнительно приобщить к аттестации Маневича список номеров его шифрованных документов?

— Зачем?

— Для подтверждения вашей характеристики...— Когда Илья говорил с Берзиным, лицо его становилось напряженно-выжидательным, он прислушивался к каждому своему слову.— Поскольку очередное звание присвоено лицу, находящемуся в фашистской тюрьме... В связи с исключительными обстоятельствами...

Берзин собрался сказать Илье несколько теплых слов, но лишь с силой потер затылок, махнул рукой. И выразительно посмотрел вслед вышедшему.

Оставалось только удивляться той твердости характера, с какой Илья сохранял свою бесхарактерность.

72

Две записки пришли с очередной почтой, которую Ориелла передала через Ренато.

Записка первая:

«Письмо твое Старик получил, и вот его решение: перевестись в другое место и там оформить подачу прошения. Ты вел себя геройски, но за политического выдавать себя не следовало. Это затруднило твое освобождение. Сейчас делается все, чтобы вытащить тебя. Не надо срывать затраченных усилий и монеты. Все шансы за то, что операция удастся. Поздравляю с присвоением очередного воинского звания. С подлинным верно.

Илья».

Записка вторая:

«Мой родной! Я хочу, чтобы ты знал: я живу только надеждой увидеть тебя... Спасибо дедушке, что он своими разговорами о тебе и своей заботой старается вселить в меня бодрость и веру в нашу встречу. И я, и дочь умоляем тебя сделать все, что просит наш Старик. Исполни это ради дочери...

Твоя Н.».

Несколько загадок предстояло решить Этьену. Получил ли Старик последнюю объяснительную записку из тюрьмы? Знает ли все обстоятельства дела? Почему письмо подписал Илья? Откуда взялось это «с подлинным верно»? Где сейчас сам Старик? И как не похоже на него, — не доверяя своему командирскому авторитету, он обратился к Наде, не посвятив ее, по-видимому, во все обстоятельства дела.

Странно, что Старик нашел возможным напомнить насчет затраченной монеты. Ведь он столько раз ругал Этьена за болезненную щепетильность, за скаредность, когда дело касалось расходов на него самого. И почему, кстати, эта самая «затраченная монета» никак не отразилась на положении Этьена?

Понимают ли в Центре, что если Кертнер подаст прошение о помиловании и получит отказ, то всякая связь с ним будет прервана, и, может быть, на долгие годы?

И как там, в Центре, представляют его освобождение, если он будет помилован? Помилование может коснуться лишь тюремного срока. Но та часть приговора, где речь идет о высылке из Италии после отбытия наказания, остается в силе! Чтобы фашисты довезли его до какой-нибудь границы и отпустили там на все четыре стороны? Но так вообще не делается!

Этьен вновь подтвердил свой отказ подать челобитную, все старые аргументы сохраняли свою силу.

> «Поверьте, — убеждал Этьен товарищей из Центра, — моя воля основывается на разуме, и все, что я делаю, делается мною после долгого-долгого размышления».

Помилование может состояться только при условии, если те, кто имел отношение к аресту и суду, не возражают против освобождения. Этьен слышал в тюрьме о таком случае: родственники одного заключенного собрали подписи председателя, членов трибунала и других чиновников юстиции. А какая-то мелкая сошка из тайной полиции, которую обошли взяткой, запротестовала, и просьба о помиловании была отклонена.

Этьен совершенно уверен, что совет директора тюрьмы Джордано подать прошение королю и дуче — провокация. Он первый будет возражать против освобождения Кертнера! А уговаривает подписать прошение для того, чтобы похвалиться — ловко он приручил такого бунтаря! Чтобы Кертнер дискредитировал себя в глазах всех политических и потерял добрую репутацию. Кертнер доживал бы тогда в тюрьме униженный, оплеванный, лишенный права называться товарищем в среде политических.

Этьен узнал все, что касалось перевода в другую тюрьму. Увы, товарищ Илья не понимает, что возбуждать ходатайство о переводе, в сущности, — жаловаться на дирекцию. А если в ходатайстве откажут, условия наверняка ухудшатся. Скорее всего, его переведут в строгую одиночку.

Кертнеру рассказали анекдотическую историю о том, как один заключенный переводился из тюрьмы «Сан-

Витторе» в Милане. Семья его жила в бедности где-то на крайнем Юге, и жене не на что было ездить на тюремные свидания через всю Италию. А заключенные знали, что директор миланской тюрьмы любит стихи. Южанин попросил соседа по камере, доморощенного поэта, написать длинное прошение в стихах. И зарифмованная просьба была удовлетворена.

Но Джордано, насколько Этьен знает, к стихам равнодушен, и на перевод в другую тюрьму без правдоподобной мотивировки рассчитывать нельзя. Кстати, у него мотивировка абсолютно правдивая: тюремная зима без печки смертельна для его легких, может спасти только юг. Вот если бы получить такое заключение у эскулапа! Тюремные врачи вообще-то охочи до взяток. И с пустым карманом идти к врачу бессмысленно.

По всему получалось, что перевод в другую тюрьму сейчас состояться не может, и Этьен где-то в глубине души был рад этому обстоятельству, так как оно освобождало от последующей подачи прошения на имя короля.

> «Месяц назад, — сообщал Этьен 7 сентября 1937 года в письме Гри-Гри, — я отправил адвокату Фаббрини послание, просил его ходатайствовать перед министерством о моем переводе отсюда. До сих пор никакого ответа. Зондирую почву для перевода отсюда в другую тюрьму, но без помощи извне рассчитывать на успех нечего. Пусть адвокат найдет хорошего врача по легочным болезням и направит его для освидетельствования меня, получив предварительное разрешение министерства. Если Фаббрини не ответит в ближайшее время, на него рассчитывать больше нельзя. Мое мнение — время для подачи прошения сейчас неподходящее. Не пишите мое имя на своих записках даже сокращенно. Фразу «Надежда всегда с вами» расшифровал как привет от семьи. Перешлите мой привет Старику, где бы он ни находился. Прощайте».

Этьен был уверен, что Старика в Москве нет. И прежде бывало — Старик продолжал поддерживать с ним связь, присылать свои распоряжения, будучи в далеких командировках.

Но вот записка Ильи, хотя и утверждала, что «с подлинным верно», все сильнее вызывала у Этьена смутное и тревожное недоверие. И особенно — раздраженное упоминание насчет «монеты». Не таким Этьен знал Старика, знал его много лет, не таким он помнил его и любил, не таким...

73

Сколько раз Тоскано заводил разговор о свадьбе, и каждый раз Джаннина находила отговорки. Он домогался взаимности Джаннины, как мог, все сильнее раздражался и мрачнел с каждым ее отказом, но не переставал ждать, может быть потому, что она все хорошела, — она точно знала, что хорошела, ей об этом говорили многие, и не только мужчины, но ее подруги по гимназии, которые обычно не очень щедры на комплименты.

Уже несколько раз она готова была уступить настояниям Тоскано. Он чувствовал, что Джаннина колеблется, это питало его настойчивость и терпение.

После ареста Паскуале и шефа она чувствовала себя несчастной, совсем одинокой и была близка к тому, чтобы дать Тоскано согласие. Но как раз в те дни она случайно побывала на чужой свадьбе и поняла тогда, что не любит Тоскано. Было бы тяжким грехом выйти замуж без любви. А тут они еще поссорились перед его отъездом в Испанию, перестали переписываться. И Джаннина несколько раз ловила себя на мысли, что совсем не беспокоится о Тоскано. Она была уверена, что Тоскано не живет там, в Испании, праведником, но ничуть его не ревновала.

Еще одно обстоятельство настораживало Джаннину — родители Тоскано сильно разбогатели. Они владеют в Турине отелем «Люкс», а на окраине города у них большая оранжерея. Отель «Люкс» отличался от подобных отелей средней руки обилием цветов. Круглый год

цветы в вестибюле, на площадках лестниц, в корндорах, в номерах. На каждом столике в кафе «Люкс» стоял пышный букет. Мать Джанннны много лет работает в оранжерее. У нее застарелые мозоли, она весь день не выпускает из рук тугих садовых ножниц. Пальцы ее часто н подолгу нарывают, — трудно уберечься от шипов, когда обрезаешь розовые кусты, всегда нужно опасаться заражения крови.

Цветы! Кому их только не преподносят! А нынче левкои, нарцнссы, канны и розы охапками н букетами бросают сомнительным героям войны в Абиссинии илн в Испанин. Все больше помпезных празднников устраивал Муссолини, и все чаще бросали цветы под ноги ему н его генералам. С самолетов щедро сбрасывали цветы над процессиями, манифестациями. А венки, цветы для похорон? А траурные мессы через сорок дней после смерти н спустя год?

Дела у родителей Тоскано шли превосходно. Война в Испании затянулась, н они постронли вторую оранжерею, которая отапливалась горячей водой.

Замужество Джаннины могло выглядеть как брак по расчету. В свое время родители скрепя сердце согласилнсь на обручение сына с дочкой своей садовницы, которая всегда ходила с перевязанными руками. И вряд лн теперь их отношение к будущей невестке изменилось к лучшему. Тоскано не замухрышка какой-нибудь, а краснвый парень — белозубая улыбка, иссиня-черные волосы, которые оттеняют небольшой лоб. Все вокруг твердят, что Тоскано сделает отличную карьеру. Когда-то он состоял в детской фашистской организации «баллила», подростком вступил в авангарднсты, а сейчас отправился с экспедиционным корпусом к Франко.

Джаннина слышала, что Тоскано ранили в плечо, что его наградили высоким орденом, что он на два месяца получил отпуск и приехал домой.

Звонок из Турнна не был для нее неожиданностью. Она спокойным тоном спросила Тоскано о самочувствии, а поздравлять с наградой не стала, хотя он явно ждал того. Отец подарнл ему новый «фиат». И опять он не услышал по этому поводу восторженных слов.

Так вот, он с братом и сестренкой отправляется на субботу и воскресенье в автомобильное путешествие. Они решили ехать в Рим. Не составит ли Джаннина им компанию?

Она подумала и согласилась; присутствие брата и сестренки избавит ее от назойливых интимных объяснений. В то же время легко будет улучить время для бесповоротного разговора.

Тоскано хотел усадить Джаннину рядом с собой, но она уступила место его брату Ливио, а сама устроилась сзади с сестренкой. Тоскано сидел за рулем мрачный и когда они катались по Риму, и когда приехали в городок Марино на праздник уборки винограда.

Всякий раз, когда Тоскано заправлял машину бензином, он угощал всю компанию кока-колой и всякий раз повторял слова рекламы:

— Если бы Христу, когда его распяли на кресте, вместо губки с уксусом дали стакан кока-колы, он умер бы с глубоким удовлетворением.

И так же назойливо он допытывался у Джаннины, почему она отказывается от прохладительного напитка.

Все дороги на окраинах Марино запружены повозками, экипажами. Тоскано оставил свой голубенький «фиат» на шоссе, ведущем к летней резиденции папы. Дворец папы на горе, но сейчас, в начале октября, дворец пустует, папа уехал в Ватикан.

То ли брат догадался сам, то ли ему незаметно подал знак Тоскано, — он ушел с сестренкой, а Тоскано и Джаннина остались вдвоем.

Они прошли по главной улочке, которая круто спускается под гору. С балконов, увитых лозами, свешиваются тяжелые гроздья винограда. На подоконниках стоят рядами пузатые бутыли в плетеной соломе. У всех дверей корзины с виноградом — золотисто-желтым, синевато-сизым, матово-зеленым.

Улицу запрудили гуляющие, не протолкаться. Торгуют игрушками, сладостями, фруктами, оливками, всякой всячиной. Кабанья туша, зажаренная целиком; кажется, что за оскаленными клыками в пасти прячется копченый язык. Сдобный чад стелется над улицей: жарят орехи,

каштаны, варят миидаль в меду; тут же лнпкую массу формуют и режут иа квадратнкн.

Звучат песни, самая популяриая — «Марнно». Хлопают хлопушкн, свистят свнстки, пнщат пнщалки «уйднуйди», гремят выстрелы из игрушечиых пнстолетов. В несколько голосов иаперебой орут граммофоиы; на лотках продают модные грампластиики.

На тротуаре играют в кегли. Если попасть камениым ядром, пущеииым по асфальту, в каменное подобне бутылки, можио выиграть бутылку шампанского. Тоскаио бросал ядро долго, старательио и получнл иаконец желаниую бутылку.

В этот момент мимо проходила свадебная процессня, н Тоскано подарил шампанское женнху. Невеста шла в белом атласном платье до пят, в фате, и Тоскано завнстлнво посмотрел женнху вслед.

На площади играет иа помосте деревенскнй оркестр. Музыкальные ниструменты замаскированы под орудия труда: скрнпка в деревянной рамке, оиа стала похожа на пнлу, труба подделалась под большой молот.

Музыканты в канотье, в белых рубахах, с галстуками-бантамн из красного шелка в белую горошнну. Таицуют в нацнональных костюмах. Девушкн в белых кружевиых накидках, парнн в красиых чулках, черных туфлях, и красным же отделаны нх курткн с блестящнмн пуговицами.

Возле эстрады опрокннута огромная вннная бочка, иа дне надпнсь: «In vino veritas».

На тротуарах и на мостовой, прямо на площади, установлены столнки, и всюду пьют внио, но пьяных не видать. Пожалуй, только торговка кожанымн поясамн под градусом. Уж слишком бесцеремонио хватала она за руки Тоскано, предлагая свой товар. А может, она просто развязиая?

Судя по тому, как Тоскано долго нскал и выбнрал уединенный столик, Джанннна догадалась, что ей ие избежать объяснення.

— Может, отложим?

Тоскано отрнцательио покачал красивой головой и прнгладил волосы, отведя их с ннзкого лба иазад.

— Очень прошу, Тоскано, не выпрашивай у меня согласия, которое может быть неискренним. Я так боюсь одиночества вдвоем. Не обижайся и не сердись... Я редко крашу ресницы, но стоит утром их покрасить — обязательно в тот день плачу...

— Напрасно ты вообще красишься. У тебя такие глаза, что...

— У тебя глаза красивее моих. Но жаль, ты закрываешь глаза на многое, что нужно видеть вокруг себя. Делаешь вид, что не видишь, не хочешь видеть. Даже в Испании ничего не разглядел...

— Не думаешь ли ты, что красные откроют мне глаза? Разве они могут чему-нибудь научить? — спросил Тоскано запальчиво. — Нечему у них учиться! Довольно я походил в глупцах у тебя, хватит!

— Да я лучше старой девой пойду в ад, чем с тобой, с таким умником, в рай...

— Замолчи, Джаннина, не смей говорить так, будто ты...

— Когда я стану почтенной синьорой, — перебила его Джаннина, — то буду шнуровать корсет. Но зашнуровывать себе рот? Ты слишком доверчив, мой мальчик. Ты стремишься не познать правду, а все оправдать. Любой ценой! Даже ценой правды. В ваших газетах непрерывно твердят: «Ах, какие мы счастливые!», «Ах, какие мы справедливые!», «Ах, какие мы храбрые!» Но разве от этого что-нибудь меняется?..

— Да, мы храбрые!

Тоскано снова, как уже несколько раз до того, попытался рассказать ей о подвигах «суперардити». Он командовал взводом в Университетском городке под Мадридом, его ребята смело сражались под Брунете и на реке Мансанарес.

Джаннина не вслушивалась и прервала его:

— Недавно я прочитала в «Пополо д'Италия», что компания молодых американцев из Калифорнии поставила своей целью — нарушить как можно больше заповедей. Несколько парней и две девицы нарушили по восемь заповедей. Победила в этом соревновании пятнадцатилетняя девочка. Она изловчилась и нарушила все

десять божеских заповедей. На тех ребят из Калифорнии можно смело надеть ваши черные рубашки. Будущие гангстеры и проститутки, у них девиз, как у фашистов: «Все в этой жизни дозволено!» Восторгаются тем, что запрещено католической верой!

— Твои красные — вообще безбожники.

— А сколько невинных душ погубили набожные фашисты в Испании?

— Итальянцев там погибло много. Но меня бог все-таки оставил в живых.

— После того, что сделали с Паскуале, у меня сердце болит от невыплаканных слез. Какой-то умный человек, хотя он и не называл себя умником, заметил: живые закрывают глаза мертвым, а мертвые открывают глаза живым. Вот так Паскуале открыл мне глаза на многое.

— Паскуале мечтал, чтобы мы повенчались...

Тоскано сказал сущую правду. Уже после несчастья Джаннина нашла в бумажнике Паскуале вырезанное им из газеты объявление одной туринской фирмы: «Изготовляем приданое для невест, постельное и столовое белье. . .».

Но мысль о Паскуале только ожесточила Джаннину, и она сказала отчужденно:

— Ты обещал о свадьбе не говорить.

Тоскано молча пил золотистое вино и как загипнотизированный глядел на правую руку Джаннины. Прежде она носила стальное колечко, и он, боясь услышать окончательный приговор себе, все не решался спросить — почему она сняла колечко? Хотелось думать — колечко снято потому, что оно оставляет на пальце черный след, грязнит кожу...

То было в самом конце 1935 года, если Джаннине не изменяет память, 18 декабря, в тот день женщины во всех городах и селениях Италии торжественно меняли свои золотые обручальные кольца. Джаннина уже была обручена с Тоскано.

Она недавно приехала из Турина в Рим, жила в недорогом пансионате на окраине города, училась машинописи и стенографии. Она помнит, как мальчишки зазывно выкрикивали: «Экстренный выпуск газеты «Мес-

саджеро»! Экстренные выпуски назывались «Мессаджеро роза», печатались на розовой бумаге и выходили только с важными сообщениями. В те дни «Мессаджеро роза» выходила часто, газета сообщала о победах в Абиссинии. Шли парады, митинги, гремели марши. Чтобы сплотить народ, дуче призвал итальянцев к добровольным жертвам, бросил лозунг: «Мы затянем пояса потуже!» — и обратился к итальянским женщинам с призывом отдать золотые кольца в обмен на стальные.

И вот многие матери, жены, сестры солдат приняли участие в шествии фанатичек. Джаннина тоже шла в колонне женщин, то и дело ощупывая золотое колечко у себя на руке. Бесконечную процессию римлянок возглавляла Елена, королева Италии. Джаннина старалась держаться ближе к королеве, она хорошо видела ее красивое, чуть надменное лицо. Процессия дошла до пьяцца Венеция и остановилась у подножья белой мраморной лестницы. Королева поднялась к Алтаре делла Патриа, где погребен Неизвестный солдат, и возложила венок. Джаннину еще дальше оттеснили от королевы, на верхние ступени лестницы сперва пускали только вдов и матерей погибших воинов. Джаннина видела, как Елена перекрестилась, поцеловала свое золотое кольцо, затем поцеловала другое золотое кольцо (кто-то почтительно шепнул, что это кольцо Виктора-Эммануила) и опустила оба кольца в чашу, стоящую на треножнике рядом с гробницей. Над чашей густо курился ладан, и запах его кружил голову, повергая Джаннину в религиозный экстаз. Кто-то из князей церкви, в красном одеянии, должно быть кардинал, благословил королеву Елену и надел ей на палец стальное кольцо.

Вот и Джаннина, превозмогая внезапное головокружение, поднялась на верхнюю ступеньку мраморной лестницы, судорожно сдернула колечко с пальца, поцеловала его и опустила в чашу; уже не видно было дна под золотыми кольцами, которые навсегда расстались с женскими пальцами и утратили их тепло. Кардинал, архиепископ, или кто он там был, благословил синьорину, надел ей на палец стальное колечко, и она, счастливая, не чувствуя под собой ног, сбежала с белой лестницы.

А национальный гимн бил ей не только в уши, но, казалось, пронизывал все ее существо до корней волос, до ногтей. Оркестр карабинеров играл и играл не переставая, и церемония превратилась в бурную, восторженную манифестацию.

Сейчас Джаннине показалось, что все это было не два года назад, а в какую-то другую историческую эпоху. Она не понимала, откуда у нее это ощущение, — может, она сама сильно изменилась за прожитые годы...

Тоскано спросил Джаннину насчет работы, она ответила, что если контора «Эврика» после Нового года закроется, ей придется искать себе работу в Турине. Она тотчас же пожалела о том, что сказала, — Тоскано не разделил ее огорчения, а даже обрадовался и оживленно стал доказывать, что ей давно пора отдохнуть.

— Ты рассуждаешь так, словно имеешь право распоряжаться моей судьбой.

— Я давно чувствую себя бесправным. Это ты имеешь на меня все права.

— В таком случае я имею и право тебя разлюбить... Улыбаться тебе без согласия души? А потом вести одинокие диалоги наедине с собой? Почему так случилось? Не знаю... Никто третий не стал на нашем пути.

И тут Тоскано потерял самообладание и начал кричать на Джаннину. Она, наверное, потому пренебрегает им, что ей слишком симпатичен бывший хозяин. Очень подозрительны ее заботы о том, чтобы он чувствовал себя в тюрьме как в богатом пансионе.

— Мелкий шпион! — процедил Тоскано презрительно.

— Он антифашист и вел тайную войну против вашего друга Гитлера. — Она из последних сил старалась говорить спокойно, не повышая голоса. — Ты унизился до неверия мне, до грязных подозрений. Но я не унижусь до попыток оправдаться в твоих глазах. Когда-то ты мне очень нравился... Потом ты стал богатеть и быстро умнеть в своем фашистском клубе. Ты все умнел, богател, умнел, а я оставалась такой же... Наверное, поэтому нам теперь трудно найти общий язык. Может, принести тебе справку из клиники о том, что я девственница?..

Тоскано просил ее замолчать: Джаннина неправильно его поняла, он вовсе не хотел ее обидеть.

— Если я погорячился, то лишь потому, что люблю тебя, Джан...

— Я люблю, ты любишь, он любит, мы любим, вы...

— Хватит!

— ...вы любите, они любят...

— Не веришь, что люблю? Клянусь головой матери! Перед возвращением в Испанию хочу еще раз признаться тебе...

— В твоих устах «любовь» звучит слишком приблизительно... А за этим словом может скрываться и самое святое чувство и утехи купленной любви. Да, настоящая любовь жениха и невесты не должна слишком долго оставаться бесплотной. Но даже бессердечная близость должна быть совестливой, благочестивой. Даже когда «суперардити» переспал с продажной девкой, он...

— Бывает, что невинная синьорина, — сказал Тоскано, разгоряченный вином, — обманывает, как продажная девка...

Джаннина порывисто встала с плетеного стула, пошарила дрожащими руками у себя в сумочке, ничего не нашла, закрыла сумочку и сказала, отчеканивая каждое слово:

— Жаль, кончились духи, которые ты подарил. А то плеснула бы тебе в физиономию весь флакон. А ведь такие дорогие духи — «Вечер, когда я танцевала с принцем»...

Джаннина в одиночку продиралась сквозь шумную, веселящуюся толпу. Она шла в гору и против движения, но совсем не чувствовала, как ее толкают, и все ускоряла шаг, будто тем самым могла унять сердцебиение.

74

Только вчера Этьен узнал, в каком бедственном финансовом положении он находится. Хоть объявляй в Миланской торговой палате о своем полном банкротстве! Хоть сообщай о своем финансовом крахе в «Банко ди

Рома»! Сколько пересудов было бы на бирже! А как удивились бы немецкие банкиры в солидном респектабельном «Дейче банк»! Какой переполох поднялся бы в «Банко Санто Спирито»!.. Да, святым духом сыт не будешь. Истрачена последняя лира, куплена последняя бутылочка молока.

Джаннина ничем не может пополнить счет 2722 в тюремной лавке, и ей нужно срочно что-то предпринять. После консультации с Тамарой она продала костюм Кертиера через комиссионный магазин; на случай полицейской проверки можно взять выписку из приходо-расходной книги.

Теперь, когда Джаннина разбогатела, появилась возможность отправить посылку.

Как бы добиться разрешения увеличить вес рождественской посылки? Джаннина помнила: до самой пасхи ничего переслать в тюрьму не удастся, и пошла на риск. Она сознательно отправила посылку полегче — четыре килограмма вместо разрешенных пяти.

Когда Джаннина в тюремной канцелярии сдавала эту посылку, она изобразила страшное огорчение по поводу того, что «ошиблась» весом.

— Я молюсь каждый день, но все-таки долго не замолю такого греха перед больным узником!

Капо гвардиа разжалобился и разрешил синьорине передать номеру 2722 дополнительно маленькую посылку.

— А какой вес? — Джаннина даже затаила дыхание.

— Не больше трех килограммов!

Так удалось выиграть дополнительно два килограмма.

Джаннина вернулась в Милан в отличном расположении духа.

На этот раз Джаннина превзошла себя. Посылка была ценная, питательная. Этьен лишь удивился, что ему прислали зубной порошок, да еще в двух металлических коробках.

Никогда прежде зубного порошка ему не посылали, можно за гроши купить его в тюремной лавке. Когда

каждый грамм на счету — обидно использовать вес посылки так нерационально...

Этьен и не подозревал, что во всех хлопотах с последней посылкой Джаннине помогала невеста Ренато, надежная его связная.

Для Скарбеков и Тамары знакомство девушек оказалось неожиданностью, а познакомились они в тюремной канцелярии, еще когда сдавали пасхальные посылки. Ну разве не удивительно, как женщины, при взаимной симпатии, быстро рассказывают о себе всё-всё?

Орнелла сказала тогда новой приятельнице:

— Завидую тебе, Джаннина. Жених твой цел и невредим, скучает по тебе в Испании. Можешь хоть осенью отправляться под венец! А я должна страдать без Ренато и стареть в одиночку еще два длинных года!..

— А я тебе завидую...

— Чему?!

Джаннина не ответила.

Обе были заядлыми посетительницами кинотеатров, не пропускали ни одного нового фильма, обе бывали на концертах всех заезжих джазов.

Орнелла больше интересовалась модами, дольше торчала у витрин Дома моделей, бегала на конкурс дамских парикмахеров и много времени отдавала спорту; она была пылкой болельщицей, из тех, кого в Италии называют «тиффози».

А Джаннина регулярно ходила в церковь, ежедневно молилась и ежедневно держала в руках газету, интересовалась политикой, слушала радионовости.

В чем-то синьорины схожи, но в то же время они совсем разные.

Джаннина вспыльчива, но при горячности на словах уравновешенна в чувствах. Она не чурается ругани и тем самым дает выход своему раздражению, возмущению, гневу. Может, именно кипятные слова и помогают ей избегать опрометчивых поступков?

Орнелла более непосредственна в выражении своих чувств, более откровенна, лучше помнит, что хороша собой, не стесняется заинтересованных или восхищенных взглядов мужчин, принимая их как должное. А Джанни-

на застенчива, смущается, когда замечает, что на нее обращают внимание, матовые щеки ее заливает румянец.

Джаннина ругается, даже сквернословит, прося при этом прощения у матери божьей, но делает это в порядке самообороны, защищаясь от несправедливости, обиды, а Орнелла делает это подчас с азартом, с удовольствием, которого не хочет скрывать. Или это разрядка после восьмичасовой чопорной вежливости, после утомительно-изысканных манер, к которым приучают продавщицу в перворазрядном мануфактурном магазине? Орнелла неуравновешенна не только на словах, но и в жестах, они могут быть и вульгарными. И походка ее чуть развязнее, она смелее покачивает бедрами, хотя можно взять в свидетели всех двенадцать апостолов — фигура у Джаннины ничуть не хуже.

Обе долго ходили в невестах, но одна вынуждена была к этому тюремной стеной, а другая сама обрекла себя на терпеливое ожидание. Джаннине казалось: будь Орнелла на ее месте, она давно бы выскочила замуж за Тоскано...

По-видимому, знакомство девушек упрочилось, потому что рождественские посылки они отвозили вместе. Встретились в Милане, где у Орнеллы была пересадка.

Джаннина артистически провела операцию, позволившую дополнительно выиграть два питательных килограмма, и уехала, а Орнелла осталась: она получила разрешение на свидание с женихом, последнее в этом году.

И вдруг выяснилось — свидание отменяется. Как же так? С трудом выкроила на билет туда и обратно! С трудом отпросилась у старшего приказчика магазина!

Тюремщики нервничали, грубили, придирались ко всему на свете. Накануне пытался бежать уголовник, в тюрьме переполох, искали пилу, которой он перепилил решетку. Одновременно случилось чрезвычайное происшествие у политических: они до полусмерти избили подсаженного к ним провокатора. Вот откуда строгости и запреты!

Орнелла из приемной для посетителей не ушла — будет сидеть, пока ей не разрешат свидания. К концу дня ей, наконец, сообщили, что свидание разрешено. Но увы, на этот раз свидание состоится через две решетки. Недоставало еще, чтобы между нею и Ренато торчали ржавые прутья!

— Я должна передать Ренато благословение матери! — кричала Орнелла на капо гвардиа, ощупывая языком секретный комочек, загодя приклеенный жевательной резинкой. — Я должна осенить Ренато крестным знамением. Что же, я буду крестить жениха через две ваши решетки? Моя будущая свекровь тяжело больна. Не надеется увидеть сына на этом свете...

Орнелла добилась приема у капо диретторе, хотя день был неприемный. Пусть капо диретторе, если он ей не верит, выделит на ее свидание не одного тюремного офицера, а всех, кем он командует. Но — без двух решеток!

Слушая потом рассказ Орнеллы, Джаннина в этом месте самодовольно засмеялась: она все точно предсказала! Орнелла слишком хороша собой, чтобы капо диретторе мог отказать ей в просьбе. Лысый поклонник слабого пола в самом деле смилостивился. Однако настойчивость Орнеллы показалась ему подозрительной — Джордано есть Джордано! — и он послал соглядатаем на свидание того хромоногого, с перекошенным лицом, родом из Калабрии.

Хромоногий был настроен воинственно. Сперва он пытался обыскать Орнеллу, но та не разрешила прикасаться к себе. И тут он заметил, черт бы его побрал совсем, — синьорина что-то держит за щекой. Не человек, а ищейка! Он стал допытываться, что у синьорины под языком, она ответила «леденец». Он потребовал, чтобы она выплюнула леденец, и тогда ей пришлось проглотить пилюльку. Уже во второй раз по милости хромоногой ищейки она вынуждена давиться и глотать этакую гадость!

Ей очень хотелось повидать в тот день Ренато, но у нее хватило сообразительности и характера отказаться от свидания. Оно прошло бы без всякой пользы для дела. А вот если Орнелла нажалуется, как умеет, на хромоно-

гого негодяя, может быть, ей удастся через два воскресенья, в начале будущего года, воспользоваться уже имеющимся разрешением. И может быть, синьора Фортуна через неделю приедет с ней в Кастельфранко, и на будущем свидании Орнелла не увидит гнусную образину, которую уже — все-таки есть бог на свете! — начало перекашивать, но не перекосило до конца.

Комочек бумаги стоял у нее в горле, — или ей казалось? — и на глазах выступили слезы.

— Ненавижу твои кривые следы! — прокричала Орнелла хромоногому, испепелив его синими молниями...

На обратном пути Орнелла повидалась в Милане с Джанниной и рассказала о неудаче с запиской.

От волнения Джаннина даже потеряла на какое-то время дар речи, а это бывало чрезвычайно редко.

— Что с тобой? — переполошилась Орнелла. — Я же проглотила записку. Никто не заметил. После Нового года можно будет передать другую записку...

— Другой раз, другой раз... — Джаннина побледнела как полотно. — Если мы с тобой ничего не придумаем, другого раза не будет. А это рождество может стать последним для моего шефа.

75

Этьен помнил стародавнюю примету: на Новый год нужно надеть на себя как можно больше обнов, чтобы год был счастливый. А какие у него сейчас могут быть обновы? Впрочем, в посылке, которая пришла к рождеству, оказалась новая зубная щетка. Вот он и решил почистить ею зубы в канун Нового года.

У итальянцев другой обычай — у них принято ругать, оскорблять, поносить разными словами старый год, рвать, ломать, разбивать, выкидывать всякую рухлядь. В новогоднюю ночь всеми овладевает демон разрушения. И сейчас где-то выбрасывают старье, под ногами прохожих валяются на тротуарах и на мостовых обломки, обноски, черепки, осколки.

А что может выбросить из своего старья заключенный? Кто-то в камере выкинул погнутую алюминиевую

ложку, другой — щербатую кружку, третий — просвечивающее до дыр полотенце. Хорошо, оставшиеся дни Этьен будет пользоваться старой зубной щеткой, в новогоднюю ночь выкинет ее и откроет новую коробку с зубным порошком.

Обычай есть обычай. Не так уж богата тюремная жизнь, чтобы не принять участия хоть в этой невинной игре...

Но Джаннина не знала о решении Этьена. У нее были основания для серьезной тревоги.

Собирая рождественскую посылку, она вложила туда порошок, приготовленный в «Моменто». Скарбек аккуратно распечатал две коробки, заменил зубной порошок другим порошком, с виду неотличимым, запаковал коробки вновь, рассчитывая на то, что Кертнера удастся предупредить запиской, переданной через Ориеллу и Ренато.

По всем расчетам выходило, что рождественскую посылку вручат Кертнеру спустя четыре-пять дней после свидания Ориеллы с Ренато. Кертнер будет предупрежден о содержимом посылки, так что оснований для тревоги не было.

Этьен уже давно просил переслать ему какой-нибудь реактив, чтобы он мог читать написанное симпатическими чернилами. Не мог же он устраивать в камере целую лабораторию и проявлять тайнопись десятипроцентным раствором железа! Или при отправке секретного письма пользоваться каким-нибудь сложным реактивом, вроде десятипроцентного раствора желто-кровяной соли.

«Зубной» порошок, посланный Скарбеком, — самый удобный проявитель. Но Этьена следовало срочно предупредить о новом, неизвестном ему реактиве, и вся беда в том, что предупреждение запаздывало.

Джаннина не могла найти себе места. Вдруг он вздумает этой химией чистить зубы? А если химия ядовитая? Если он обожжет рот? Отравится?

Да, не вовремя попытался убежать уголовник, не вовремя перепилил он решетку, не вовремя подсадили провокатора к политическим, всё не вовремя...

Джанина настояла на том, чтобы Орнелла не откладывала свидание на второе воскресенье будущего года, а поехала на следующий же день.

Когда Джанина провожала Орнеллу на поезд в Кастельфранко, то забросала ее советами:

— Кокетничай с капо гвардиа! А если ты не набожная — притворись в разговоре с капо диретторе, возьми грех на душу.

— Тем более что грех не единственный у меня, — беззаботно рассмеялась Орнелла.

— Помнишь, Орнелла, — сказала Джанина, когда та уже стояла на площадке вагона, — помнишь, я не ответила, когда ты спросила, почему я тебе завидую... Тебе осталось тосковать в одиночестве полтора года, а потом ты всю жизнь будешь неразлучна со своим Ренато. Я же приду на твою свадьбу старой девой...

Орнелла приехала в тюрьму, тут же направилась к капо диретторе и не обманулась — ее приняли. Орнелла не поскупилась на ругательства, адресованные хромоногому надзирателю, страдающему тиком. Она смешала его с пылью и с грязью одновременно. Она не позволит себя лапать, совать ей пальцы в рот, она просит капо диретторе оградить ее от нахала. Пусть Ренато увидит ее через две решетки, но только не в слезах из-за грубой обиды. Именно так было бы в прошлый раз, если бы она сама не отказалась от долгожданного свидания!

Накануне сочельника, когда Орнелла снова приехала в тюрьму, неудачник беглец уже сидел в строгом карцере, злополучную пилу и веревку нашли, все в тюрьме стало на свои места, настроение у капо диретторе улучшилось. Он был так любезен, что сам проводил очаровательную просительницу до двери.

В конце концов, кому хочется портить себе праздник и начинать Новый год неприятными объяснениями с красивой девушкой? Все стражники, кроме «Примо всегда прав», после того как получили к рождеству Христову награды и поощрения, стали приветливее. По итальянскому поверью, в последние дни и часы уходящего года лучше ни с кем не ссориться, не бросать дела на полдороге и не брать деньги в долг — все это плохие приметы.

А если все время скандалить и грубить, можио попасть в грешники. Либо иа тебя нажалуются в министерство юстиции, либо — господу богу.

На этот раз в роли «третьего лишнего» оказался доброжелательный надзиратель родом из Лигурии. Он не вслушивался, что там Орнелла кричала через две решетки. А она ловко, по клочкам, прокричала Реиато все, что требовалось. Лигурийцу послышалось — она напоминала жениху, что нужно каждое утро чистить зубы порошком... Или что-то в этом роде.

Предупреждение пришло вовремя. В новогоднюю иочь Этьен выкинул безиадежно полысевшую зубную щетку, порошком же по-прежнему пользовался старым.

76

Этьен перебирал в памяти минувшие новогодья, они запомнились лучше, чем прожитые Первомаи или Октябрьские годовщины. И не трудно догадаться почему: Новый год оии с Надей каждый раз встречали в иовом месте — то дома, с друзьями, то в клубе военной академии, то у Старостиных, то в ресторане.

И вновь обступили его воспоминания. Под вечер он пошел на Главный телеграф, чтобы послать телеграмму своим старикам в Чаусы и отправить заказиые письма. Сколько народу толпилось у окошек, иужио выстоять длинную очередь. «Мне только марки купить!» — проталкивался кто-то. «Ну дайте человеку пролезть еще раз без очереди, последний раз в этом году!» — он пристыдил нахала в каракулевой шапке.

В клубе в тот новогодний вечер было по-иастоящему весело. Толпились вокруг цыгана с попугаем. Попугай вытаскивал конверты, там лежали заготовлеиные впрок предсказаиия. Новогодияя комиссия сочиняла их несколько дией подряд. Из комнаты, где собрались прорицатели, доносились взрывы смеха.

Этьен до сих пор помнит, что было написано иа бумажке, которую попугай вытащил для него: «Вы родились под знаком Ориоиа. Вы часто задумываетесь. Не

делайте этого. Не утруждайте себя. Обращайтесь в Бюро предварительных заказов. Гастроном № 1 освобожден от приема пустой посуды». В тот вечер они едва не опоздали с Надей на встречу Нового года. Извозчика найти не удалось, догнали трамвай, который на минуту задержался у остановки: номер его был запорошен снегом, и вагоновожатый ждал, пока стрелочник сметет снег с номера. Разной жизнью живут в Москве ночные трамваи! Возвращается смена с фабрики «Парижская коммуна» — и в вагоне пахнет кожами; угадает трамвай под театральный разъезд — из вагона долго не выветривается запах духов. А в тот предновогодний час пустой, прозрачный вагон был пронизан насквозь светом. Кожаные петли, за которые уже некому держаться, согласно раскачиваются на поворотах. Пассажиры — один, два, и обчелся — нервно поглядывают на часы. Кондукторша сочувственно кивнула в сторону моторной площадки: «Не повезло нам с Дмитрием Петровичем. Неприютное дежурство!» Надя успела поздравить: «С наступающим!» — и кондукторшу, и Дмитрия Петровича, и тут же Лева с Надей соскочили, трамвай и вовсе опустел...

А назад ехали по заснеженной Москве на извозчике, уже под утро. Тогда еще над улицами не висели запретные знаки — лошадиная голова перечеркнута наискось: гужевому транспорту проезд запрещен. Помнится, на чай он дал извозчику не гривенник и не двугривенный, а целый полтинник — все-таки Новый год!..

Он уже не помнит, какой то был Новый год, кажется, 1925-й, но помнит, что в ту зиму на московских улицах появились первые таксомоторы «рено» и «фиат». Он тогда впервые услышал название «фиат». Можно было бы ради праздничка и потратиться, прокатиться на автомобиле, как нэпману. Но разве поймаешь на московских изогнутых улицах один из тридцати автомобилей, затерявшихся среди десяти тысяч извозчиков?

Вспомнилось, они снимали полутемную комнату с окном, выходящим в коридор; неказистый дом в Девкином переулке. Хозяйки — сестры, портнихи, обе работали в костюмерной Художественного театра. Они часто ругались между собой, дрались, и квартирантам приходилось

их разнимать. Но в Елоховскую церковь сестры всегда ходили под ручку, смиренные, чинные, а когда устраивали скандалы квартирантам, действовали тоже дружно, сообща. И одевались они одинаково, и присказки у обеих были одни и те же, и вкусы. А если когда-то у них и были разные характеры, то они успели нивелироваться. Был случай, они вывели квартиранта из равновесия, он вспылил, выхватил пистолет, хозяйки с визгом выскочили из комнаты, крестясь на икону. Комнату хозяйки сдали с условием, чтобы икону со стены не снимали. А под иконой стоял фанерный столик. Маневич расстилал на столике карты, когда занимался топографией или тактикой.

У Нади не было приличного платья, не в чем было пойти на новогодний вечер. Отрез синего шевиота он подарил давно, но платье не на что было сшить. И вот в начале зимы, когда хозяйкам привезли дрова, квартирант предложил им: «Все равно будете нанимать дворника. Так лучше я вам наколю дров, а вы за это сшейте Наде платье к Новому году». Отныне, приходя из академии, квартирант брался за топор. Он расколол все привезенные дрова, но хозяйки-сестры все тащили и подтаскивали из сарая старые суковатые колоды, чурбаки, которых не смогли когда-то разделать дровоколы. Не так просто было превратить чудовищные коряги в поленья. Надя стояла поблизости, смотрела, как Лева мучился, и плакала. Ей стало ненавистно новое платье до того, как оно было скроено, сметано, примерено, сшито и надето...

А теперь вот наступает 1938 год, второй год он встречает за решеткой. Сколько их еще осталось, таких горемычных праздников, на его веку?..

В камере царило приподнятое настроение, оно коснулось в тот вечер всех заключенных — политических и уголовных. Под Новый год, в день святого Сильвестра, разносили праздничный обед, все получили по порции пасташютта и по четвертинке кьянти.

Каждый обитатель камеры, который получил праздничную посылку, внес свою долю в новогоднюю трапезу. Каждому досталось по нескольку шоколадных конфет из посылки, которую прислала секретарша. А рыжий

мойщик окон угощал всех «панеттоне» — куличом, который едят и в рождественские праздники. Другой товарищ роздал по куску знаменитого торта «дзукатто»: торт этот пекут только во Флоренции, по форме он напоминает шляпу священника.

Чаяния и надежды всех неслись куда-то за тюремные стены и решетки, в родные семьи, где близкие, любимые встречали сегодня Новый год. Этьен вспомнил, что в Белоруссии канун Нового года называют «щедрым вечером». Чем новый год расщедрится для Этьена? Что новый год, то новых дум, желаний и надежд исполнен легковерный ум и мудрых, и невежд. Лишь тот, кто под землей сокрыт, надежды в сердце не таит...

И Этьен таит надежду в сердце. Но к кому он должен, собственно говоря, себя причислить — к живым или к тем, кто под землей сокрыт?

Новогодний вечер был для Этьена праздником прежде всего потому, что он твердо знал: в этот вечер все близкие — и Надя с Таней и Старостины — мысленно с ним. А недавно ему переправили в тюрьму и привет от семьи:

> «Мой дорогой, с Новым годом. Я и дочь любим тебя, ждем и будем ждать.
>
> *Н. Т.*».

Вместе с приветом Этьен получил подтверждение, что его последняя шифрованная записка дошла по назначению, и это тоже была немаловажная причина, почему он встречал Новый год в приподнятом настроении.

Хотелось думать, что и Старик не забудет его сегодня, в новогоднюю ночь.

77

На следующий день после того, как Гитлер оккупировал Австрию, 12 марта 1938 года, Бруно показал Кертнеру записку, тайно полученную из камеры № 3:

«Эпидемия в городе Штрауса».

Для Кертнера, для Бруно, для других политзаключенных оккупация Австрии не явилась неожиданностью.

Еще в середиие февраля фашистские газеты напечатали сообщение о том, что федеральный канцлер Шушииг вызван из Веиы к Гитлеру, ему предъявлен ультиматум: в течение трех дией он должеи включить в свой кабииет миинстров-иаци. 9 марта Шушииг еще высказывался за плебисцит, а вчера эсэсовцы схватили канцлера прямо в его резиденции Ам Бальхаузплац. Гитлер оккупировал Австрию, ие поставив об этом в известность Италию, и аншлюс явился для Муссолини иеприятным сюрпризом.

Политзаключеииые поиимали, какими кровавыми последствиями чревата оккупация Австрии. Но во всей тюрьме не было человека, для которого эта новость прозвучала столь трагически, как для Конрада Кертнера. Бруно сразу поиял: он прииес своему другу зловещую иовость. Ведь по приговору Особого трибунала Кертнер после того, как коичится его тюремиое заключение, должеи быть выслан из Италии. Навряд ли Кертиера согласятся выслать в страну, которую ои изберет. Скорее всего, его вышлют в Австрию, поскольку он числится австрийским граждаииом. А после аншлюса такая высылка — смерть.

16 марта Муссолиии сказал в парламенте: «Границы священиы, о границах не спорят, их защищают». Но пафос его быстро слиниял, негодоваиие стало смириым, дуче стал покладистым, послушным и примирился с аншлюсом.

После мартовских событий в Веие Кертнера несколько раз вызывали на допросы какие-то чины из ОВРА, которые специальио приезжали в Кастельфранко. Из Туриаа собственной персоной пожаловал Де Лео, тот самый доктор юриспруденции, который присутствовал на первых допросах Кертнера. Закаичивая свой иовый допрос, доктор сказал:

— Теперь вам уже иичто не может помочь. Вы неудачно выбрали себе родиву. Австрии больше не существует. Во всяком случае — для вас.

Прошло еще несколько дней, и Кертнера вызвал к себе капо диретторе.

В тот деиь дежурил Карузо, и он сопровождал заключеииого 2722 в канцелярию. Пока они шли по длинным

коридорам, по лестиице, через тюремиый двор, Карузо успел выложить заключеииому 2722 миожество музыкальиых новостей. На диях милаиская фирма «Воче доль падроне» записала иа грампластиики всю «Богему» с участием Джильи. Что ни говорите, а Джииа Чинья поет в «Аиде» лучше, чем Мария Канилья. Джина Чиинья — лучшая Аида, какую слышали когда-либо в «Ла Скала». Заключеииый 2722 имел иеосторожиость похвалить какого-то модиого провиициальиого певца.

— Вы считаете, что у этого теиора хороший голос? Может быть, может быть... — ядовито сказал Карузо. — Но только, выходя наружу, голос сразу портится...

Карузо выразил свой восторг по поводу последиих гастролей русского певца Шаляпина, а потом иеожиданио спросил у заключеииого 2722 тоиом заговорщика:

— Почему Баттистини пел до семидесяти лет и голос у иего оставался молодым? — Карузо остановился возле чахлого персикового дерева, выдержал паузу и поясиил: — Потому, что ои двадцать шесть зим подряд жил в России. На русском морозе сохраияется и молодость и хороший голос. Впрочем, что я с вами об этом говорю, — ои сдержал улыбку. — Вы же в России иикогда не были и ие зиаете, что такое иастоящий русский мороз. А я слышал, в России можио даже глаза обморозить...

Заключеииый 2722 не поддержал разговора Карузо иа русские темы, ои прошел весь двор молча...

— По-видимому, вам известио о событиях в Веие? — этим вопросом Джордаио встретил Кертиера.

— Когда иедавно умер Габриэле д'Аниуицио, префект Гордоиы синьор Риппо телефоиировал Муссолиии: «С болью сообщаю вам хорошую новость...» А вы с радостью сообщаете мне плохую иовость...

Джордано поиитересовался, как себя чувствует заключеииый, а Кертнер пожаловался иа холод и голод. На дворе середина марта, а каждый камеиь в тюрьме промерз до осиоваиия.

— Назовите, пожалуйста, свое иастоящее имя, сообщите, пожалуйста, откуда вы родом, и все ваши невзгоды быстро окончатся, — любезио посоветовал капо диретторе; он говорил тоиом дружеского участия.

— Мне сознаваться не в чем.

Кертнер стоял изможденный, с трудом удерживаясь от кашля, пряча за спиной опухшие руки с перебинтованными пальцами, но при этом не опускал головы и смотрел на Джордано со спокойным достоинством, отлично понимая, что приглашение в этот кабинет и весь разговор ничего хорошего ему не сулят.

Лицо капо диретторе было непроницаемо. Ах, если бы Этьен мог сейчас знать, что скрывается за лысым черепом, вяло обтянутым кожей; весь череп в складках, в морщинах, будто когда-то он был объемистее, а теперь съежился.

— Помнится, как только вы попали ко мне, я вас уговаривал облегчить свою участь. Еще до того, как вы изволили устроить голодовку, до того, как мы с вами поссорились.

— Мне сознаваться не в чем.

— Вы опять говорите неправду, — в голосе Джордано зазвенели металлические нотки. — Будем откровенны. Чего вы боитесь? Никто не ведет стенограмму нашей беседы. Следствие давно закончено. Мужской разговор без свидетелей, наедине.

— Вы ошибаетесь, синьор, есть свидетель. Вот он! — Кертнер показал подбородком на портрет Муссолини, висящий над директорским столом. — Полагаю, этот свидетель не даст показаний в мою пользу. Он — свидетель обвинения.

Лицо Джордано сразу стало отчужденным. Правду неприятно слушать, даже когда беседуешь с глазу на глаз.

— Мы с дуче слишком разные люди, — усмехнулся Кертнер. — Единственно, что меня с ним объединяет, — мы оба летчики-любители...

— Сыскной агент, которому это было поручено, проверил вашу легенду на месте, — перебил Джордано сухо. — Он побывал в Вене на Нибелунгенштрассе, 11, это рядом с оперным театром. Да, вы снимали там комнату. Но жили под другой фамилией. Хозяйка просила вам кланяться. Она сообщила, что вы часто ходили в театр. Что вы два раза в неделю ездили на аэродром,

летали на планере. Не расставались с фотоаппаратом. У хозяйки до сих пор хранятся фотографии, снятые вами: фрау с молитвенником в руке, фрау с внучкой, фрау с таксой...

«Не пожалели денег на поездку сыщика в Вену. Значит, охранке очень важно установить, кто я такой. Даже спустя пятнадцать месяцев после суда».

— Ваши паспортные данные оспариваются муниципальным советником в Вене,— Джордано снова заглянул в бумагу, лежащую на столе.— Отныне вы лишены прав гражданства, ваш паспорт аннулирован. Таким образом, в глазах нашей юстиции вы перестали быть иностранцем. Независимо от того, кем вы являетесь на самом деле — русским, сербом или австрийцем...

Кертнер пожал плечами:

— Какое же государство признается, что это его гражданина обвиняют в шпионаже? Сегодня вся Австрия перепугана, не только тот полицейский чиновник, у которого наводили справки обо мне...

— Все страны выменивают своих агентов,— вежливо напомнил капо диретторе.

Кертнер промолчал и при этом подумал: «Когда наши найдут возможным, меня тоже обменяют. Признают своим и обменяют. Но как это отразилось бы на судьбе Блудного Сына и других, кто сидит по моему делу?»

— Вы теперь человек без родины,— жестко сказал капо диретторе; у него сделалось каменное выражение лица.

— Странно было бы, если бы обо мне сейчас в Австрии кто-нибудь позаботился. Где тут до какого-то заключенного, если пропали без вести и сам президент и федеральный канцлер!

— Нужно признать, что вы держитесь стойко. Даже юмора не утратили. Но боюсь, что это — юмор висельника. И вам не удастся сбить меня с толку тем, что вы говорите все время на разных языках.

— Мы с вами разговариваем на разных языках, даже когда я говорю по-итальянски,— усмехнулся Кертнер.

Кертнер чувствовал себя скверно, его очень утомила словесная перепалка с капо диретторе, и он все больше

раздражался оттого, что стоит рядом с пустым креслом, а Джордано не предлагает ему сесть.

Наверное, никто другой ни в одной итальянской тюрьме чаще, чем Джордано, не говорил «прего» и «пер фаворе», что означает «прошу» и «пожалуйста». Благодаря подобным пустякам Джордано удалось прослыть учтивым, добрым, но только — среди посетителей тюрьмы, а не ее обитателей.

Если бы Джордано мог сейчас прочесть мысли стоящего перед ним заключенного 2722, он прочел бы: «Умелый притворщик, опытный лицемер, чем ты вежливее, тем опаснее, с тобой нужно держать ухо востро».

— Извините, пожалуйста, но вы сами виноваты, — донесся как бы издалека металлический голос Джордано. — Давно нужно было написать мне чистосердечное признание, сообщить о себе родным, и ваша участь была бы облегчена. Очевидно, в вашей стране считают вас потерянным. Я не помню другого случая за многие годы, чтобы так бросили узника на чужбине. Я не получал насчет вас никаких заявлений, никаких прошений. Во всех странах в таких случаях интересуются своими гражданами, осужденными за рубежом. И пожалуйста, я даю справки, посильно помогаю. А для вас никто и пальцем не пошевелил... Правда, еще зимой появился неизвестный господин, он выдавал себя за швейцарского адвоката. Но без формальной доверенности от родных или от какого-либо посольства, аккредитованного в Риме. Пришлось указать ему на дверь.

«Провокация тайной полиции? — успел подумать Этьен. — Грязная фантазия Джордано? Или попытка наших протянуть ко мне руку? Но и в этом случае лучше пока не проявлять никакой заинтересованности».

— Про швейцарского адвоката я слышу в первый раз. Но требую свидания без свидетелей с синьором Фаббрини. Он защищал меня по назначению миланской коллегии адвокатов.

Непроницаемого лица капо диретторе не коснулась даже легкая полуулыбка, и глаза его ничего не выразили, хотя внутренне он сейчас вовсю смеялся над заключенным 2722. Капо диретторе вспомнил в эту минуту, как

он уговарил Фаббрини взять с собой на свидание с Кертнером, под видом своего помощника, агента ОВРА Брамбиллу. Джордано руководствовался тем, что заключенный никогда не видел Брамбиллу в лицо. Но Фаббрини был сверхосторожен, он уже не раз убеждался в необычайной проницательности своего подзащитного. И тогда возникла мысль — переодеть агента Брамбиллу, посадить его на стул, пусть изображает «третьего лишнего».

«Кертнер в поисках защиты добивается свидания с нашим осведомителем Фаббрини!»

— Я не прошу, а требую свидания с моим адвокатом, — настаивал между тем Кертнер. — В моем положении всякое обращение к законности не только уместно, но обязательно, хотя я и не питаю каких-либо иллюзий насчет современного правосудия. Я хочу быть уверен, что мой адвокат сделал все шаги, дозволенные законом, для облегчения моей участи.

Кертнер говорил раздраженным тоном и глубоко прятал усмешку, которой сопровождал свою просьбу. Ведь его настойчивая просьба — только для отвода глаз, для того, чтобы скрыть от Джордано свое недоверие к адвокату.

— Я разрешаю вам свидание с адвокатом Фаббрини без свидетелей, — торжественно объявил Джордано, и лицо его в эту минуту могло показаться добрым; то было великодушие победителя, он всегда добрел, когда ему удавалось выиграть психологическую дуэль или когда он мнил себя победителем. — Вам нужно от меня что-нибудь еще? Пожалуйста!

— Ничего, кроме свидания с моим адвокатом.

— Мы, кажется, и начали знакомство ссорой, — напомнил Джордано. — Помните посылку? Тогда вы в неучтивой форме выражали недовольство, что там всё перетрогали грязными руками... Я сделал строгое замечание надзирателю...

Кертнер отмахнулся:

— Это было так давно. Да и не стоило мне тогда скандалить с этим «Примо всегда прав». Хуже, когда в душу залезают грязными руками...

— На что жалуетесь?
— На отсутствие книг, на холод и на голод.
— Сознайтесь, пожалуйста, и ваша участь будет облегчена.
— Я бы, может, и сознался, — глубоко вздохнул Этьен. — Но только при другом свидетеле...

Карузо ждал конвоируемого в коридоре и, как только они остались вдвоем, снова завел разговор на музыкальные темы. Но узник 2722 шагал мрачный, молчаливый и ничего не отвечал.

Когда они проходили по тюремному двору, Карузо, изнывая от молчания, принялся тихонько насвистывать «Бандьера росса».

Кертнер прислушался и наконец-то рассмеялся. Он вспомнил рассказ Якова Никитича Старостина, которому в свою очередь рассказывал старый большевик, сидевший на Нерчинской каторге: тамошние жандармы, как только напивались, пели «Замучен тяжелой неволей», «Слышен звон кандальный» или «Глухой, неведомой тайгою». Других песен жандармы на каторге не слышали, а революционным песням научились у политических заключенных, которые сидели у них же под стражей.

78

Сегодня Этьен истратил в тюремной лавке последние чентезимо, купил четвертинку молока. В таком же бедственном положении были его соседи по камере.

И самое печальное — не знал, когда еще и сколько ему переведут денег с воли и переведут ли вообще. Все, что можно было продать, Джаннина уже продала.

Напрасно он в вечер ареста надел новый английский костюм, черный в белую полоску; накануне ходил в том костюме в театр. После «задушевного разговора» с двумя геркулесами в черных рубашках английский костюм был измазан в крови. А тот костюм мог бы его прокормить месяца два-три...

На сколько бы ему хватило сейчас тех денег, которые он перевел Анке в швейцарский банк, если учесть, что

больше пяти лир в день тратить в тюремной лавке не разрешается? Получалась какая-то совершенно астрономическая цифра. Исходя из существующего курса лиры, у него была бы возможность сытно прозябать в тюрьме... восемь тысяч месяцев.

«Можно было бы смело сидеть в тюрьме еще семьсот семьдесят лет», — горько пошутил Этьен.

Вот какую сумму удалось ему заработать в последнее время на патентах, на акциях фирмы «Посейдон», участвуя в прибылях фирмы «Нептун», получая куртаж от продажи ветряных двигателей. Заработать и спасти такую сумму для общего дела...

Джаннина все время помнила, что у шефа на его тюремном счету не осталось ни сольдо.

Она пришла к выводу, что легче и быстрее всего продать пишущую машинку ундервуд, самая последняя модель. Но перед продажей ее следовало отремонтировать и, в частности, сменить сбитые буквы «р» и «м». Она вспомнила, как шеф посмеивался — машинка картавит и заикается одновременно.

Джаннина спохватилась: пожалуй, нужно впечатать в опись еще что-нибудь из ценных вещей, якобы принадлежавших Кертнеру. Она подумала об этом, когда несла машинку в мастерскую на улицу Буэнос-Айрес, и вернулась с полпути. Сколько строк позволяет еще впечатать полоска чистой бумаги между «одеялом верблюжьей шерсти» и подписью полицейского комиссара? Одну-единственную строчку! И впечатать ее следует до ремонта, со сбитыми буквами «р» и «м»; иначе обнаружится подделка.

Она посоветовалась с Тамарой — что лучше внести в опись? Вещь должна быть как можно более ценная, на ней вся распродажа заканчивается, строчка последняя. Через несколько дней вопрос решился: Джаннина впечатала в опись шубу с воротником из щипаной выдры и на подстежке из легкого меха нутрии; такую шубу уже купил Гри-Гри.

Машинка прокартавила и прозаикалась последний раз, ее отремонтировали и пустили в продажу.

Джаннина отправилась в отдел объявлений редакции

«Гадзетта дель пополо». Объявлеиие нужио составить очеиь лаконичио, приходится платить за каждое слово. Объявлеиие иа субботу или воскресеиье стоит дороже, чем иа будний день. Если печатать объявление три дня подряд — скидка. Джаннииа иаучилась экономии, она умела теперь считать не только лиры, ио и чентезимо, которые давио разучился считать ее жеиих Тоскаио. Может, вопреки законам наследствеиности, меркаитильность и скупость перешли к ией от отчима Паскуале?

Письмо в тюрьму было иаписаио, как всегда, суховатым, подчеркнуто деловым тоиом. Она была бы огорчеиа, если бы герр Кертиер усомиился в том, что машиика реализоваиа самым выгодиым образом. Из 1100 лир, вырученных за уидервуд, пришлось вычесть 150 лир за ремонт и газетное объявление.

18 февраля 1938 года Этьеи отправил ответное письмо:

«Джеитиллиссима синьора, благодарю за письмо от 17 декабря, а также за то, что Вы так срочно продали мою пишущую машинку. Прошу Вас прииять 200 лир за хлопоты, удержав их из вырученной суммы. Мне очень жаль, что я вынуждеи ограничиться такой маленькой компенсацией в возмещение столь больших беспокойств. Лишь крайние обстоятельства, а ие чувство справедливости, руководят миою, когда я называю столь мизерную сумму.

Очень замаичиво получить к пасхе посылку, хотя бы отдаленио похожую иа ту, которую Вы присылали к рождеству. Прошу только заменить банку с мармеладом — колбасой и сыром, они более питательиы. Шоколад лучше прислать в плитках, чем в виде конфет, — иемало теряется в весе из-за бумаги. В остальиом иа рождество все было прекрасно. Продукты, коиечио, Вы приобретете на деньги, вырученные за уидервуд. Из деиег, оставшихся после посылки, и 200 лир, которые Вы должиы по праву оставить себе, перешлите баиковский чек

на 300 лир заказным письмом на мое имя. Остальные деньги прошу держать у себя в ожидании моих дальнейших запросов.

Я ничего не имею от адвоката Фаббрини по поводу банкротства фирмы братьев Плазетти. Ну и торговый дом! Никогда не думал, что среди близнецов тоже попадаются жулики! Может быть, Вы слышали про их векселя? Они не были включены в ту опись в день ареста, и, судя по всему, я имею право претендовать на половину возвращенного долга по векселям, поданным ко взысканию, если только близнецы вернут хотя бы часть долга.

В ожидании Вашего любезного ответа приветствую Вас и поздравляю заблаговременно с пасхой.

С благодарностью *К. К.*».

Обычно в день получения письма из тюрьмы Джаннина звонила Тамаре, и они встречались, чтобы письмо как можно быстрее дошло до Гри-Гри. При последнем звонке Тамара сразу услышала, что голос у Джаннины дрожащий, а на встречу она пришла с заплаканными глазами.

Сперва Джаннина отмалчивалась и отнекивалась, потом по-девчоночьи громко, судорожно разрыдалась, а когда немного успокоилась, уступила настойчивым расспросам Тамары.

И тут выяснилось, что Джаннина глубоко обижена. Как же у герра Кертнера поднялась рука написать про эти самые 200 лир?! «Маленькая компенсация в возмещение столь больших беспокойств...» Даже если шеф решил, что Джаннину из конторы уволили и она бедствует...

Тамара онемела от удивления. Милая девочка, ты же такая проницательная, откуда вдруг этот приступ обаятельной, почти детской наивности?

Разве не ясно, что Кертнер намеренно распространяется насчет злополучных 200 лир, чтобы создать видимость деловых взаимоотношений? Чтобы напомнить цен-

зору — корреспондентка материально заинтересована в подобных поручениях. А то еще кто-нибудь из тюремной администрации (а значит, и из тайной полиции) заподозрит синьору Эспозито в симпатиях к заключенному 2722, осужденному за шпионаж! Из таких же соображений Кертнер просит перевести ему только 300 лир — чтобы не исчерпалась их деловая переписка.

Джаннина уже вытирала глаза, полные слез.

— Стоит мне утром покрасить ресницы, я обязательно в тот день плачу, и — видите? — краска течет по щекам...

Слезы быстро высохли, но голос у нее еще долго был сырой и дрожащий...

Джаннина попросила у капо диретторе разрешить ей отправку посылки к пасхе, а к своему заявлению приложила вырезку из газеты с объявлением о продаже машинки. Разрешение последовало, но вес был указан минимальный — 4 килограмма. Знакомым синим карандашом было приписано, что заключенный 2722 ведет себя плохо, пренебрегает тюремным уставом и потому вообще не заслуживает посылки, а разрешение выдано только в связи со скверным состоянием его здоровья.

Письмо из тюрьмы от 8 апреля 1938 года пришло с купюрами — целые фразы были замазаны черной тушью, и лишь конец письма уберегся от цензора:

> «...Многое хотелось бы еще Вам написать, но никак не хочется писать только для того, чтобы развлечь директора тюрьмы или тюремного цензора и пополнить его архив еще одним неотправленным письмом».

В письме были длинные рассуждения о скверной погоде, хотя он и не знает, сколько за последнюю неделю было солнечных дней, а сколько дождливых.

Ни Джаннина, ни даже Тамара не поняли, о чем идет речь, а Гри-Гри сразу догадался, что Этьен сидел в строгом карцере, лишенный дневного света.

Помимо посылки, Кертнеру отправили пасхальную открытку. Скарбек талантливо изготовил фотографию

Танечки Маневич в духе сусальных открыток подобного типа. Фотографию обрамляли веточки вербы, а в углу открытки из разбитого яйца вылезал только что вылупившийся, но уже каким-то чудом прекрасно откормленный цыпленок. Открытку отправили на имя Бруно, можно было не сомневаться, что он покажет загадочную открытку своему соседу.

В следующем письме Кертнер в иносказательной форме подтвердил получение фотографии дочери. В письме вновь были цензурные вымарки, но их было уже гораздо меньше.

> «...все это, я знаю, не так уж интересно, — писал Кертнер 12 мая 1938 года Джаннине. — Но я обращаюсь к Вашей снисходительности. Вся моя болтовня — не что иное, как попытка дать выход моему возмущению, которое не помешало сделать мне за это время еще один шаг вперед.
>
> Мне осталось точно отсидеть еще 79 месяцев, отсидел уже 65 (конечно, если учитывать амнистию от 15 февраля прошлого года)... Долго тянется время в тюрьме, бесконечно долго, его скрашивают только Ваши деловые письма, которые я невольно заучиваю наизусть — так часто их перечитываю. К пасхе Вы явились ко мне снова, как ангел-спаситель, у которого в руках была посылка весом в четыре килограмма. Но зато какая питательная! Меня наказали уменьшенным весом посылки, а Вы восполнили это высокой калорийностью. Благодарю Вас за каждую калорию — большую и маленькую.
>
> По совету тюремного врача я теперь совсем не курю, так что сигарет больше не посылайте. Следовательно, в другой раз вы можете распорядиться табачными деньгами по своему усмотрению или увеличить дозу шоколада. Мы здесь отдаем предпочтение марке «Перуджино». Шоколад, присланный Вами, был

опробован в первый же день, и общественное мнение признало его отличным.

Пришлите еще кусочек мыла «Гиббс» маленького размера.

Нет меры благодарности за Ваши милосердные заботы. Да благословит Вас небо!

К. К.».

Судя по этому письму, Кертнер уже научился писать самое безобидное на цензорский взгляд и в то же время самое нужное. Каждое письмо как бы написано в присутствии директора.

Когда Тамара читала вслух это письмо, Гри-Гри после слов «общественное мнение признает шоколад отличным» тяжело вздохнул:

— Вот-вот, общественное мнение... Ведь все раздает...

— А что же ему делать? Жевать в одиночку? У них в камере коммуна. Итальянцы тоже, наверное, получают посылки и тоже делятся...

— Возможно, — еще раз вздохнул Гри-Гри.

Но пришел день, когда ундервуд был съеден до последней буквы, и Гри-Гри вместе с Тамарой и Джанниной ломали голову над тем, что делать дальше. Кто же станет покупать дорогую шубу в начале лета, когда ей полагается лежать в ломбарде?

Тревога увеличилась после того, как они узнали, что у Кертнера нет денег даже на лекарства. За последнее время он несколько раз побывал в карцере, в том числе — строгом, что для его легких очень опасно.

Джаннина, наученная Тамарой, в завуалированной форме попросила Кертнера вести себя более покладисто. Составляя письмо, Тамара пыталась перевести на итальянский русское выражение «не лезть на рожон», но так и не смогла это сделать.

Гри-Гри извелся в поисках возможности помочь Этьену. Но придумать что-нибудь стоящее, дельное не удавалось.

И тогда Джаннина предложила — она переведет в тюремную лавку те 200 лир, которые получила как

«маленькую компенсацию за большие беспокойства». При этом поставит Кертнера в известность, что эти деньги были выплачены ей ошибочно.

Конечно, здесь был риск, она могла вызвать подозрение у цензора — агента полиции, следящего за их перепиской. Но Джаннина рискнула, и через несколько дней капо гвардиа сообщил заключенному 2722, что на его лицевой счет поступили 200 лир из какой-то торговой конторы в Милане.

79

Кертнер больше, чем его товарищи по камере, страдал от холода. Как бы согреться? Ах, если бы он мог надеть вторую пару шерстяных носков, если бы в камере волшебно появилась жаровня с углями — скальдино! В холодные дни осени и зимы он часто вспоминал свою миланскую контору; там у его письменного стола — батарея централыюго отопления. Всего две секции, но для итальянской зимы хватало. Он с наслаждением ласкал бы сейчас пальцами горячее железо. Единственный и скоротечный источник тепла в камере — миска с супом. Можно греть пальцы, держа в руках миску, но чем дольше ты будешь греться, тем больше остыиет суп. Были бы деньги — можно было бы чаще покупать свечи: тоже мерцающий источник тепла. Иногда Бруно удавалось доставать для Кертнера горячую воду из котельной; она не годится для питья, но можно сделать иожную ванночку.

И в самые холодные дни Кертнер занятий ие прерывал. Камера № 2 занималась на ходу! Ученики безостановочно ходили вереницей, завернувшись, по примеру учителя, в полосатые серо-коричневые одеяла.

Газетные новости тоже становились темой занятия. Кертнер делал доклады о междуиародном положении, опираясь иа те сведения, какие удавалось черпать в воскресиых иллюстрированных фашистских газетах, и на сведения, какие просачивались из других камер. Особенно много новостей политического характера сообщали Кертнеру уголовиики.

7 июля 1937 года японцы вторглись в Китай. Едва

взошло солнце, орды японцев, размахивающих саблями, хлынули через мост Марко Поло и устремились в глубь территории Китая. Все это называлось «китайский инцидент». И Кертнер посвятил ему занятие, поделился своими китайскими впечатлениями.

Тюремщик «Примо всегда прав» подходил и со злорадством показывал газету сквозь решетку. Заголовки, набранные крупиым шрифтом, кричали об очередиой победе фашистов в Испании. У этого Примо иет большего удовольствия, чем сообщать заключенному 2722 огорчительные новости, причиинять ему неприятности, мстить за старую обиду. Бруно уверял, что нет более мстительных и злопамятных людей, чем уроженцы Сардинии. Ходили слухи, что сын тюремщика «Примо всегда прав» воюет в батальоне имени Гарибальди, у Луиджи Лонго, ушел из дома, прокляв отца, и тот озлобился еще больше.

Кертнер подумал ие только о иегодяе Примо, который дежурит сегодня и так портит ему жизнь. Ои подумал обо всем сословии тюремщиков. Среди них попадаются не такие уж плохие люди, например, Карузо. Но вся эта толпа, вооруженная пудовой связкой ключей, существует для того, чтобы отравлять жизнь ему и его товарищам.

Из периодической печати политическим разрешали без купюр читать только воскресные иллюстрированные приложения «Доменика дель коррьере», «Трибуна иллюстрата», а также «Коррьере ди пикколи», выпускаемое для детей. Остальные газеты и журналы подвергались тюремной цензуре: отдельиые материалы, а иногда и целые полосы замазывали черной краской.

Грязные фашистские листки упоминали о России редко. Обо всем знаменательном, что там происходило, в частности о воздушных перелетах, о завоевании Северного полюса, писали скупо.

Но в одном из номеров «Доменика дель коррьере» неожиданио напечатали отрывки из дневника Папанииа, который ои вел на Северном полюсе, и перепечатали его радиограмму «Двести дией на льдине». Кто знает, почему фашистская газета решилась это напечатать? Польстилась иа арктическую экзотику? Или вспомнила, как

русские спасали экспедицию Нобиле на Северный полюс?

На Этьена произвели сильное впечатление записи о прилежных занятиях четырех зимовщиков на льдине.

> «24 июня. Женя начал преподавать мне и Эрнсту метеорологию».
>
> «19 сентября. Петр Петрович изучает английский язык. Он решил каждый день заниматься языком один час».
>
> «Работаем не меньше пятнадцати часов в сутки, засыпаем как убитые».
>
> «Каждый из этих двухсот дней был заполнен непрерывными научными наблюдениями. Работая по 12, 16 часов в сутки, мы не заметили, как пролетело время».

Этьен даже разволновался, прочитав эти записи. Так вот где средство самозащиты! Заниматься, работать, чтобы не заметить, как прошло время!

Откуда было знать полярнику Ширшову, что это он убедил заключенного 2722 в необходимости заняться языком? Какой же он, Этьен, революционный наставник, если сам при этом не учится? Он твердо решил последовать примеру соотечественника, далекого и незнакомого Петра Петровича, который, сидя на дрейфующей льдине, изучает где-то на околице Северного полюса английский язык.

С удивительной отчетливостью Этьен вдруг вспомнил, как заполнял свою анкету много лет назад, когда его в первый раз пригласили в разведуправление. Пожалуй, он был излишне строг к себе, когда, отвечая на вопрос о знании языков, написал в анкете: «французский — свободно, немецкий — слабее, английский — слабо». А сегодня он мог бы по совести написать: «французский, немецкий, итальянский — свободно, английский — почти свободно, испанский — слабо». Вот он и решил, пока память не отказала, приняться за испанский. Зачем же оставаться полузнайкой, каким он чувствовал себя в своих поездках за Пиренеи — и в Барселоне, и в Севилье? Даже

если ему никогда больше не придется побывать в Испании, язык пригодится.

Как раз недавно Джаннине удалось продать еще кое-что из его вещей (тогда было еще что продавать), и он надеялся, что дирекция разрешит ему выписать словарь, грамматику, а также «Дон Кихот» Сервантеса и его же «Назидательные новеллы» — конечно, на испанском языке.

Директор и в самом деле дал согласие, и Этьен с острым нетерпением ждал прибытия испанской посылки с книжного склада в Болонье. Когда же в их камеру явится долгожданный собеседник Мигель Сервантес де Сааведра?

До краев загрузить каждый день делами и занятиями — так легче предохранить душу и тело от гибельного влияния тюрьмы, ее гнетущих невзгод и лишений. Бруно по этому поводу заметил: вот так же шелковичный червь окутывается коконом, чтобы выжить в неблагоприятной среде.

В середине апреля 1938 года тюремщик Примо первым сообщил, что испанские фашисты вышли у Винароса к Средиземному морю и тем самым разрезали территорию республики надвое. От него же узнали, что республиканцам не удалось занять город Авилу, их наступление окончилось неудачей. Газета приписала чудо покровительнице города Терезе де Хесус. Со дня на день можно было ждать падения Малаги.

Не одну бессонную ночь принесли Кертнеру печальные новости из Испании. Но не меньше тревоги вызывали сообщения об арестах видных государственных деятелей и военачальников в Советской России.

С тяжелым чувством прочел Этьен заметку о предании суду Тухачевского и большой группы военных. Тухачевский издавна был любимцем Этьена, он не мог примириться с мыслью о том, что Тухачевский — враг народа, он не хотел верить этому сообщению. Тухачевский во время мировой империалистической войны был в плену у немцев, совершил несколько попыток побега. Кажется, только пятый побег был успешным — удалось вернуться на родину и вступить в Красную Армию. Кажется, Туха-

чевский томился в немецком плену два с половиной года. Неужели ему поставили в вину плен?

А вдруг кто-нибудь обвинит Этьена в том, что он оказался в плену у фашистов?

Но об этом думать не хотелось, тем более что между камерой № 2 и Родиной лежали длинные-предлинные годы заточения.

В начале августа «Примо всегда прав» показал сквозь решетку газету, где сообщалось о нападении японцев на советскую границу. Японцы захватили сопки Заозерная, Безымянная за озером Хасан, продвинулись на четыре километра в глубь советской территории. А вот когда японцев разбили наголову, когда японский посол Сигемицу запросил в Москве пардону и предложил начать переговоры о мире — об этом тюремщик умолчал.

В сентябре Кертнер, а вместе с ним вся камера № 2 с тревогой узнали о мюнхенском сговоре, возмущались поведением Чемберлена и Даладье, а Кертнер тогда сказал, что их трусость вызовет больше жертв и повлечет за собой большее кровопролитие, чем любая жестокость Гитлера.

— Верно сказано, что глупость играет в истории не меньшую роль, нежели ум.

Осенью 38-го года Кертнер прочитал лекцию об интернационализме в связи с тем, что Муссолини начал антисемитскую кампанию. В начале сентября появились первые антисемитские законы, вылупился журнал «Защита расы», открылся институт под таким же названием. В своей лекции Кертнер, опираясь памятью на статьи Максима Горького, написанные в царские годы, доказывал, что тот, кто проводит дискриминацию, наносит себе моральный урон. Конечно, вред, приносимый антисемитизмом или презрением к черной расе, больше всего ощущается теми, кто стал жертвой дискриминации. Но разве не становится жертвой грязных предрассудков и предубеждений тот итальянец, который считает себя выше араба, еврея или эфиопа? Даже если этот итальянец — сам дуче, который всегда прав...

Потом Примо кривлялся за решеткой, орал: «Мадрид на коленях!» Он сообщил, что во Франции устроены

лагеря для интернированных республиканцев, размахивал газетой — Англия и Франция официально признали генералиссимуса Франко, это было в конце февраля 1939 года.

Все еженедельники поместили фотографии — немцы ломают на границе шлагбаумы, рушат пограничные столбы. Кертиер и его соседи по камере были потрясены вторжением фашистов в Чехословакию.

80

Кертиер получил от профессора из Модены лекарство и попросился на прием к тюремному врачу. Ему прислали двадцать ампул, нужно пройти курс лечения.

Чувствовалось, что тюремный врач не очень-то хочет так долго возиться с узником 2722. А Этьен был раздражен тем, что его повели в лазарет, стоящий на отшибе, в наручниках.

Укол болезненный, можно подумать, что в руках у врача не шприц, а шило. Или все от плохого настроения, оттого, что Кертиер мерзнет без рубашки? А рядом торчит и, по обыкновению, молчит Рак-отшельник.

Тюремный врач, не желая признаться себе в том, что уколы он делает скверно, неумело, все больше раздражался и начал пациенту «тыкать».

В каждой тюремной камере висит таблица с правилами поведения заключенных, и в ней указано, как узник должен обращаться к персоналу тюрьмы и как персонал — к узнику. В первом случае требовалась самая вежливая форма обращения — «леи», а во втором случае — более демократическая «вои». При «леи» к собеседнику обращались в третьем лице. Например, не «прошу вас, синьор дотторе», а «прошу синьора дотторе». Позже Муссолини, играя в демократию, обрушился на эту аристократическую форму обращения. Но называть узника на «ты» — вообще против правил.

Узник 2722 заметил:

— Синьор дотторе обращается ко мне не по правилам.

Врач сварливо продолжал «тыкать».

— Еще раз прошу синьора дотторе придерживаться устава. Иначе вынужден буду тоже перейти на «ты».

Они повздорили, и узник 2722 попросил немедленно отправить его назад в камеру.

На следующий день нужно было сделать второй укол. Как быть? Идти к этому хаму, который не умеет держать шприц в руках? Этьен решил к его услугам вообще не прибегать. Но врач вспомнил про укол и прислал стражника. Узник 2722 идти отказался. Его вызвал капо гвардиа. Перед ним лежала жалоба врача, но капо гвардиа не торопился давать ей ход.

— Может, вы извинитесь перед синьором дотторе?

— Нет, я придерживался вашего устава. Вы же блюститель порядка. Зачем нарушать порядок?

— Ты, вы, ты... Разве в этом дело? Вот у меня служанка. Я говорю ей «вы», но в любое время могу пнуть ее в задницу. Если бы синьор дотторе оскорбил вас действием. Всего-навсего сказал «ты»...

— Требую соблюдения правил...

— Лишь бы он хорошо лечил вас... В этом выражается его уважение к пациенту.

— Если бы он был старше меня годами — другое дело. А так — пусть ведет себя согласно правилам.

— Ну вот, согласно правилам и получите карцер.

Наедине с собой Этьен признался, что вел себя неразумно, погорячился и легкомысленно прервал начатый курс лечения. Может, он из упрямства не пошел бы на второй укол, но как раз в тот день Ренато получил для него писульку.

Нужно принять все меры, чтобы попасть в ближайшие дни в лазарет, находящийся во флигеле с внешней стороны тюремной стены. Нужно изучить, как там поставлена охрана арестантов, и сообщить свои соображения о перспективах побега при условии, если будет оказана вся возможная помощь с воли. Гри-Гри переслал последний наказ Старика:

> «...перевод для специального лечения в частную клинику или тюремный лазарет, откуда можно сбежать...»

Через несколько дней синьор дотторе получил от узника 2722 вежливое письмо с извинениями. Он попросил, в связи с ухудшением здоровья, безотлагательно продолжить курс лечения и сделать все оставшиеся девятнадцать уколов в тюремном лазарете. Как ни трудно при таком скверном самочувствии ходить взад-вперед в наручниках, он согласен и на это, если того требует закон. Французская пословица правильно говорит, что «терпение — медицина бедных». Синьор, как деятель медицины, конечно, знает, что тюрьма даже у очень уравновешенных людей рождает раздражительность, а тем более ей подвержены больные.

Доносчик дотторе тюрьмы Кастельфранко, конечно, не догадывался о причинах, которые побудили узника 2722 стать таким покладистым. Ведь только что по настоянию дотторе его больной «заработал» восемь суток карцера.

Оба — врач и его пациент — сделали вид, что все забыли, никакой ссоры не было. Врач написал справку о плохом состоянии здоровья и удостоверил, что сейчас заключенного 2722 в карцер переводить не следует.

Только уколы он, к сожалению, делать так и не научился: каждый укол по-прежнему подобен болезненной операции.

Когда Этьена одолевали страдания, он мечтал увидеть у своей койки самых близких ему людей — Надю или Зину Старостину, жену Якова Никитича. Вот если бы кто-нибудь из них делал уколы или ставил компрессы, его выздоровление сразу бы ускорилось. Правда, Надя давно не работает по специальности, но ведь не может фельдшерица забыть все, что она умела когда-то!

Он надеялся, что лекарство, присланное из Модены, снимет боль в груди, поможет ему совладать с приступами злого кашля, когда так мучительно першит в горле, скребет, царапает, дерет.

Этьен, при его профессиональной наблюдательности, уже через несколько дней изучил всю обстановку — как поставлена охрана лазарета, распорядок у часовых, график их дежурств, какой толщины железные прутья, сple-

тенные в ржавую решетку на окне, на сколько замков заперта от него свобода.

Наверно, потому, что Этьен очутился в тюремном лазарете и был занят мыслью о побеге, он много думал о старшем брате.

81

О том, что арестанты из тюремных лазаретов убегали, Этьен знал сызмальства. Ему было девять лет, когда старший брат, осужденный на царскую каторгу, совершил побег из Бобруйской крепости.

Жак Маневич был арестован за хранение гектографа, прокламаций и оружия — шестнадцать фунтов динамита, браунинг и патроны к нему. И все это солдат штрафного батальона Маневич прятал в казарме.

Он сидел на крепостной гауптвахте. В камере тридцать пять человек осуждены по делу о восстании в штрафном батальоне в Бобруйской крепости 22 ноября 1905 года. Тринадцать приговорены к смертной казни, остальные — к каторге или арестантским ротам на большие сроки.

После суда группа каторжан начала готовить побег. Но один из осужденных оказался провокатором. В камере произвели тщательный обыск и под каменным полом нашли бурав, ломик, а также нюхательный табак. Провокатора в камеру уже не привели. Вскоре выяснилась и цена доноса — пятнадцать лет каторги ему заменили шестью годами арестантских рот.

Маневич и его товарищи не оставили мысли о побеге, но им стало ясно, что с крепостной гауптвахты теперь не убежать. У солдатика из «сознательных» Маневич узнал, что несколько лет назад какой-то смертник удачно бежал из лазарета при крепости. Но как туда попасть здоровым арестантам?

Трое удачно притворились умалишенными. Еще двое попали в лазарет, они заварили в чайнике махорку, выпили настой и вызвали у себя мучительную рвоту с зеленой пеной на губах. Еще двое оказались в лазарете

после того, как достали шприц и впрыснули себе деревянное масло, — у них распухли лимфатические железы.

Симулянты ждали в лазарете Маневича, он был связан с местной организацией социал-демократов (большевиков).

Как же ему попасть в лазарет? Уговорили товарища по процессу стукнуть Маневича увесистой кружкой по голове, вызвать обморок. Товарищ переусердствовал, Маневич упал, обливаясь кровью, и его долго не могли привести в чувство. Жандармы боялись какой-нибудь провокации, побоища и подняли караул в ружье. Начальнику караула доложили, что у осужденного Маневича припадок. Вызвали фельдшера, санитаров с носилками и отправили его в лазарет. Так к семи симулянтам присоединился восьмой.

Лазарет на четвертом этаже. Палаты выходят на вал крепости. Окна зарешечены, и поэтому наружных часовых нет.

Два жандарма несут внутренний караул, и еще двое стоят при входе в коридор четвертого этажа.

Арестантам удалось связаться с сестрой милосердия и фельдшером. Оба сочувствовали революции и вызвались помочь в подготовке к побегу. Немаловажное обстоятельство: медиков при входе в арестантское отделение лазарета и при выходе из него не обыскивали.

Передали записку местным подпольщикам большевикам, те обещали помочь. Нужно достать белье, так как арестанты надевают больничные халаты на голое тело. Нужна обувь, так как больные ходят в шлепанцах. Кроме того, требуется хоть какая-нибудь верхняя одежда, немного денег, и, конечно, нужны явки, где можно было бы укрыться.

Осужденные долго держали совет, прежде чем выработали план побега. Решили ножовкой распилить решетку, выломать ее, а крепостных жандармов усыпить опиумом. Бежать придется через палату, где лежат тяжелые больные.

Долго не приходил ответ из города. Наконец фельдшер передал посылку: слесарная ножовка, лобзик, тонкие пилочки, а также пузырек с опиумом.

Как усыпить жандармов, которые несут караул внутри? Воспользовались тем, что жандармам полагается тот же самый ужин, но ужинают они после больных. В бак с пшенной кашей влили пузырек с опиумом. Все, кто приготовился к побегу, украдкой, скрывая волнение, следили за жандармами. Вскоре те начали зевать, а к полуночи лежали на койках арестантов и спали глубоким сном.

Времени терять нельзя было. В записке, полученной из города, сообщалось, что боевая дружина будет ждать беглецов в условленном месте около трех ночи.

Матрос Петров-Павлов, один из смертников, приготовил инструменты.

Он бесшумно выдавил два стекла и начал пилить массивную решетку.

Кто-то высунул голову в новоявленную форточку, убедился, что наружного караула нет, и тихо свистнул два раза.

Раздался ответный свист — помощь ждет.

Подвязали одна к другой восемь полотняных простынь и этот белый канат спустили в окно. Первым полез Петров-Павлов. Ему достали солдатскую блузу, штаны и сапоги, а семеро остались в больничных халатах, пропахших карболкой.

За Петровым-Павловым вылезли и спустились остальные. Маневич покинул палату предпоследним.

Горячая встреча с товарищами из боевой дружины — объятья, слезы, поцелуи. Их встретили и невеста Петрова-Павлова и сестра Маневича. Они припасли узел с одеждой и бельем.

С переодеванием нельзя мешкать, беглецам нужно как можно скорее скрыться из города. Увы, паспортов для всех не хватило. Бежать решили по двое. Каждая пара беглецов получила карту губернии, компас и деньги.

Путь на станцию был беглецам заказан, дороги тоже не для них, им предстояло бродяжить по лесам.

В ту ночь из крепости бежали восемь человек, из них четыре смертника. Двоих, в том числе Петрова-Павлова, поймали (их подвели матросские татуировки на руках)

и водворили обратно в крепость. А шестеро, среди них Маневич, спаслись.

Брат и его спутник долго скитались по литовским лесам, прежде чем вышли у Эйдкуиеиа к иемецкой границе. Нескольким беглецам, в том числе брату, удалось во время перестрелки убежать от жаидармов за границу.

Но разве Этьен мог бы сейчас выдержать даже зиачительио более легкие испытаиия?

Чем больше прояснялись обстоятельства, весь распорядок в лазарете, тем сильнее Этьен мрачиел. Мыслеино ои уже отказался от побега. Сейчас, когда ои так ослабел, что задыхается при быстрой ходьбе, побег может состояться только при условии, если его похитители применят оружие. А вариаит побега, при котором ради его жизни могут быть прииесены в жертву другие жизни, Этьеи считал для себя иеприемлемым...

82

Бруио хорошо запомнил заиятие, когда Кертнер повел речь о тактике борьбы и поведеиии в тюрьме.

Ои свел бескоиечиое многообразие характеров политзаключеиных в четыре основные группы.

1. Те, кто не соразмерил своих сил с териистым, крутым путем революциоииой борьбы, кого тюрьма согиула в три погибели, так что оии уже ие могут распрямиться и подиять голову. Ииые из иих попали в Особый трибуиал по иедоразумению. Иные подавали прошеиие о помиловании, ио им было отказаио. Оии поиуро держались своей компаиией, с иими ие хотели якшаться другие политические, боялись доверять им тюремиые тайиы и подозревали, что в их среде доносчики, стукачи — «маичуриаии».

Проводя заиятие, Этьен с ужасом представил себя в роли человека, который подписал прошение. Нет, ие зиает Старик здешних условий, иначе ие дал бы такого приказа и ие заставил бы Этьена ослушаться.

Эти узиики не брезгают посылками к фашистским

праздникам. А фашисты очень любят, когда политические унижаются, просят о поблажках.

Бывает, политические мертвецы ведут себя на словах как крайние революционеры, но слова их ничего не стоят. Еще во время следствия эти люди стали покладистыми и болтливыми, а на суде, желая облегчить свою участь, давали самые «чистосердечные» показания и немало навредили товарищам по процессу, даже если не опустились до прямого предательства и клеветы.

2. Те, кто прошения о помиловании не подавали и ничем не запятнали себя в тюрьме. Но узники этой категории так отчаянно устали от всего пережитого, так исстрадались, что уже не помышляют о дальнейшей борьбе. Их мечта — поскорее отбыть срок заключения и вернуться к семье, с которой их разлучило антифашистское движение. Увлечение борьбой уже миновало.

Когда неустойчивого человека изо дня в день одолевают мелочи тюремного быта, ему становятся свойственны мелкие мысли, мелочные заботы, крошечные радости, и в конце концов он мельчает сам. Не так легко человеку преодолеть состояние вечной неопределенности и неуверенности, которое ему прививают в тюрьме, и так легко свыкнуться с сознанием, что он — ничто перед тюремной машиной.

Да, не все, кто сидит так долго, выйдут из тюрьмы революционерами. Сейчас трудно сказать, кто сохранил душевные силы для борьбы с фашизмом, а кто, надломленный, сдался. Вот так же зимой не сразу отличишь живые деревья от засохших. Все прояснится весной, когда одни деревья наденут свои зеленые одежды, а другие навечно останутся голыми...

3. К следующей категории узников Кертнер причислял тех, кто готов перенести все тюремные мучения, лишь бы сохранить себя для борьбы с фашизмом. Глупо было бы погибнуть в тюрьме из-за зловредной ерунды, пустопорожних пустяков и потерять возможность вернуться в строй. То была бы легкомысленная и непростительная растрата сил! Характерно, что этих политических не так подавляют сроки заключения, как других. У них больше выдержки. Такой подпольщик мог сказать самому себе:

«Я вынужденно нахожусь на консервации. Центральный комитет еще сможет на меня рассчитывать. Сижу в резерве, коплю силы для завтрашних боев». Этьен был счастлив отметить про себя, что почти все его товарищи по камере относятся именно к такой категории политических.

Кертнер попросил всех задуматься над таким вопросом: может ли революционная энергия сохраняться и накапливаться в условиях бездействия, когда человек ни в чем не проявляет своей активности? Ведь их занятия в камере, чтение, дискуссии, взаимопомощь — только одна из форм активности. Неверно думать, что сберегать силы для будущей работы в подполье значит избегать всяких столкновений с начальством. Так можно нечаянно подчиниться тюремному начальству, прийти к выводу, что вести с ним борьбу нецелесообразно. Рассуждение как будто логичное, но уводит на весьма опасный путь. Не переродятся ли такие беззубые антифашисты в приспособленцев? Есть ли уверенность, что такие коммунисты не растеряют своего боевого запала до будущих стычек и битв с фашистским режимом?

Логически очень трудно найти ту грань, на которой нужно остановиться в своем примирении с тюремной действительностью. Фашистский режим стремится лишить революционеров их революционности. Обезличить личность. Унизить человеческое достоинство. Растоптать душу, чтобы она не ожила. Чтобы человек вышел из тюрьмы физически разбитым и нравственно опустошенным. Чтобы он потерял веру в свои силы, утратил былую энергию. Бывает и так, что убеждения свои, веру в будущее узнику еще удается сохранить, но борцом его уже не назовешь. Он выходит из тюремных ворот усталым, усталым навсегда. Узник каждый день должен решать трудную задачу: сохранять себя для борьбы с фашизмом, не растрачивать сил в мелких стычках с тюремщиками, но в то же время не отказываться от своих принципов. Не биться головой об стену, избегать столкновений по пустякам. Но когда придет время — отстаивать свои права и свое достоинство всеми сбереженными силами!

Говоря об этой категории заключенных, хотелось назвать Ренато, но Кертнер не произнес его имени вслух.

4. К последней, четвертой категории политзаключенных Кертнер относил всех тех, в ком живет врожденный, неутолимый дух бунта и протеста. Рассуждают они — если вообще рассуждают — примерно так: «Куда бы тебя судьба ни забросила — борись, кричи, скандаль, буянь, дерись!» Их коробит монотонный покой тюрьмы, они бурно реагируют на каждый, даже самый мелкий факт неуважения к личности. Все здесь попирает их достоинство. Все ущемляет их права!

Кертнер напомнил товарищам мелкое происшествие на прогулке, когда ее укоротили на пять минут. Политический из камеры № 4 устроил форменную истерику. «Ну зачем вы придаете значение такому пустяку? — пытался его успокоить Кертнер. — Вы потеряли половину жизни, а портите кровь из-за пяти минут, которые украли из вашей прогулки». — «Но ведь чем человек беднее, тем ему дороже каждая монетка, а для нищего и два сольди — состояние».

В возражении товарища был свой резон, но все-таки жаль, что он так расточительно расходует нервную энергию, негодует и сердится из-за всяких пустяков. Иные антифашисты главную задачу видят в том, чтобы своим ершистым, строптивым характером и всем поведением отравить существование тюремщикам и «благоразумным» (с их точки зрения) соседям по камере. При этом они охотно обвиняют «благоразумных» в том, что те «приспособились к подлости». Нет, не всегда нужно реагировать на нарочитую грубость, бестактность тюремщика. Иногда разумнее не придать ей значения, не позволить себе быть обидчивым, злопамятным и, если выходка провокационная, сделать вид, что ты ее не заметил. Провокация бывает рассчитана на такой твой ответ, который даст администрации формальный повод к репрессиям. Подобная практика характерна для анархистов: скандалить из-за каждого пустяка, все время протестовать.

И тут Кертнер нашел нужным напомнить товарищам о голодовке, которую молодые коммунисты объявили два

года назад. Фашистский тюремный режим и так обрекает молодое поколение рабочего класса на голод, и объявлять в таких условиях голодовку — неправильно. Тогда молодых поддержала вся тюрьма, а прежде всего старые, заслуженные коммунисты из камеры № 6. Но и сегодня еще стоит задуматься — не было ли провокации? Полезно помнить о том, каких жертв потребовала тогда тюремная победа, помнить об избиениях, которым тогда подверглись в карцере Бьетоллини и другие товарищи. Кертнер сидел в карцере рядом с Бьетоллини. До сих пор звучат в ушах стоны, крики. Избивали, привязав к железной койке; в тело впивались и железные прутья, и ремни. Вслед за Бьетоллини вся тюрьма стала кричать, стучать табуретками, бить мисками о решетки. В те минуты тишина была бы безобразной и безнравственной. Позже Бьетоллини перевели в каторжную тюрьму «Фоссано» в Пьемонте...

Давно закончилась беседа, отзвучали споры, камера угомонилась, а Этьен продолжал мучительно размышлять о поведении Кертнера, иногда тоже неосмотрительном, неразумном, недальновидном.

Нужно ли было в первые дни пребывания в Кастельфранко гордо отказываться от изуродованной посылки? Хорошо, что посылку в конце концов отдали. А если бы «Примо всегда прав» выбросил ее? Кертнер не мог бы угостить, подкормить товарищей.

Или взять историю с доктором. Кого Кертнер наказывал, прерывая курс уколов? Тюремного доктора? Ничуть не бывало, тому было бы меньше хлопот. Прежде всего нанес урон своему здоровью. Хорошо, что из-за болезни забыли про восемь суток карцера. В тогдашнем болезненном состоянии карцер мог бы оказаться губительным. А из-за карцера директор уменьшил вес посылки — снова ущерб для здоровья. К чему себя обманывать? Он сделал все двадцать уколов, прошел курс лечения только потому, что подоспел приказ из Центра лечь в лазарет, выяснить — есть ли какие-нибудь лазейки для бегства оттуда при надежной подмоге с воли.

Немало своих оплошностей вспомнил в тот день Этьен. Если говорить по совести, не однажды Кертнер

мог бы признаться себе в отсутствии выдержки, в неуемной горячности, в анархизме.

Как знать, может, наибольшую пользу от занятий в камере № 2 получил сам Кертнер. На многие свои поступки он взглянул заново, многое переоценил в своем поведении и сделал для себя выводы на дальнейшее.

83

Объявление о том, что продается новая шуба с воротником из щипаной выдры и с подстежкой из нутрии, публиковалось в «Гадзетта дель пополо» три дня подряд. Такую дорогую шубу продать нелегко, к тому же она впору только мужчине выше среднего роста, не тучному. Кому нравится нутрия, кому не нравится, но воротник понравится каждому. Главное — не упустить сезон. А то можно опоздать и с денежным переводом в тюремную лавку и с посылкой к рождеству.

Прижимистый покупатель, оглядев, ощупав, обнюхав и примерив шубу, сказал:

— Как хотите, двух тысяч лир шуба не стоит.

Джаннину так и подмывало воскликнуть: «Да мы сами за нее недавно уплатили две тысячи восемьсот! А торговались прилежнее, чем вы сейчас!»

Как и в случае с машинкой ундервуд, Джаннина вырезала объявления из газеты, приложила их к почтительному прошению на имя капо диретторе Джордано. А прошения и письма Джаннина посылала на старых фирменных бланках «Эврики», причем из двух фамилий совладельцев одна вычеркивалась, чтобы напомнить — «Эврика» никакого Кертнера больше не знает, синьорина ликвидирует его дела, это служебная обязанность синьорины.

Когда Джаннина сообщила бывшему шефу, что синьор Паганьоло поручил ей продать шубу, Кертнер сразу понял, что кто-то изыскал возможность для новой его поддержки, потому что никакой шубы он не оставлял.

«Многоуважаемая синьора, — писал Кертнер 14 сентября 1938 года, — отвечаю сегодня,

в день приема писем. Мой запас вежливых итальянских слов не позволяет высказать Вам в достаточной степени мою признательность за то, что Вы для меня делаете. Проходят годы, но стиль моих итальянских писем остался неизменным. Единственными упражнениями моими в этой области являются письма Вам, которые я посылаю время от времени. Перо остается тяжелым и инертным в моих руках, а слова угловатые и неловкие. Вместо того чтобы придать моей мысли ясную и определенную форму, слова еле-еле в состоянии передать ее смутную и бледную тень. Извините меня, синьора, если эти слова благодарности слишком скупы и монотонны, но все же, поверьте, моя признательность глубока.

Прошу Вас, если удастся, продать шубу. Хорошо бы не упустить сезон. В каком состоянии шуба? Не трачена ли она молью? А мне шуба абсолютно не нужна, учитывая, что мне еще остается пробыть в тюрьме много лет. Как только Вы известите о продаже, я Вам ассигную без возражения законнейший процент за ваши труды. Не беспокойте себя присылкой списка проданных вещей, мне список не нужен. Скажу откровенно, я лишь смутно помню, какими вещами владел. Даже до ареста я не держал в памяти весь свой гардероб. Так что избавьте себя от бесполезного беспокойства, верю в Вашу доброту и честность.

В вопросе о юристах (чтобы черт их всех побрал!) я позволю себе не согласиться с Вашим мнением. Признаюсь, синьора, адвокаты мне стали особенно антипатичны. Теперь я лучше понимаю, почему писатели, как правило, рисуют их плохими. Чего стоит, например, фигура адвоката из романа Мандзони «Обрученные», крючкотвора по прозвищу Аццеккагарбульи (я даже не сразу понял, что прозвище значит «Затевай путаницу»!). И если Дан-

те не отправил адвокатов в ад, то только потому, что в его эпоху эти злые гении не имели еще такого развития, как сейчас. Увидим, к чему приведет их лживая практика!

Всегда и премного обязанный, с вечной благодарностью

К. К.».

Из какого-то закоулка сознания выскочила русская поговорка: «После рождества цыган шубу продает». Подписав письмо, он горько усмехнулся и подумал: «А Кертнер продает свою шубу еще раньше — до рождества».

Он даже вообразить себе не мог, как выглядит эта вымышленная, мистическая, потусторонняя шуба. Но так как в тюрьме уже ранней осенью стало в этом году холодно и Кертнер сильно страдал от невозможности согреться, унять кашель, он мечтал о шубе подолгу и с удовольствием. Вот бы шубу не продали, а нашли способ передать ему в камеру! Можно было бы накрываться ею ночью. Была бы у него такая шуба-невидимка, чтобы ни один тюремщик не мог сорвать ее с плеч, как запретную!

Вспомнился день, когда он в первый раз надел первую в своей жизни шубу. Оказывается, в ней намного теплее, чем в шинели, особенно если шинель без ворса, потоньшала, ношеная-заношеная. В тот день он учился разгуливать в богатой шубе. Топал по снежным тротуарам не торопясь, и мороз не подстегивал его, как бывало. День был холоднющий, из тех, когда трамваи ходят с промороженными стеклами и не сразу удается надышать в стекле глазок. Воротник новой шубы заиндевел от дыхания. Морозной пылью серебрился его бобровый воротник... Только подумать, эта барская шуба — его зимняя форма одежды, хотя для нее и не установлен срок носки. Под мышкой у него торчал большой, аккуратно перевязанный сверток: он нес от портного свою шинель, отныне ее не разрешалось надевать.

А когда он в первый раз пришел домой не в военной форме, маленькая Таня испугалась, заплакала: с папой что-то случилось, она никогда прежде не видела его без

гимнастерки с голубыми петлицами, при галстуке и не в сапогах, а в ботинках.

И от строевого шага, от военной выправки ему тоже следовало отвыкнуть как можно скорее. Будто никогда не было строевых занятий в обеих академиях, не было репетиций к парадам на Красной площади, не было парадов, в которых он участвовал...

> «...Последнюю неделю, — писал Этьен 11 октября 1938 года, — здесь наступили дни, довольно холодные для начала октября, так что я даже простудился. Сейчас погода опять несколько смягчилась. Однако предупреждение, сделанное в этом году здешним климатом довольно рано, навело меня на размышление о надвигающейся зиме. Создается впечатление, что наступят сильные холода. Поэтому просил бы Вас, если это только в пределах Ваших возможностей, прислать мне две вязаные шерстяные рубашки, нижнее белье, а также две пары шерстяных носков. Не бойтесь посылать вещи из грубой шерсти, наоборот, чем грубее, тем лучше. Вложите, пожалуйста, в посылку одно полотенце, так как казенное практически непригодно, вложите несколько кусочков мыла «Гиббс» и зубную щетку. Посланная Вами в прошлом году уже отжила положенное ей время. Заранее благодарю и шлю наилучшие пожелания.
>
> *К. К.*».

15 ноября заключенный 2722 отправил письмо, которое начиналось словами: «Холодно, замерзаю». Он сообщал, что руки его покрылись волдырями. Большой палец нарывает, может быть, придется удалить ноготь. Кертнер просил прислать глицериновое мыло, — говорят, оно помогает против обморожения. Просил шерстяные перчатки, так как руки в камере сильно мерзнут. В конце письма капо диретторе сделал приписку, что заключенному

2722 разрешено послать перчатки, уже отдано распоряжение на этот счет.

29 ноября Джаннина отправила ценную бандероль и сопроводила посылку коротким письмецом:

> «Пользуясь добротой капо диретторе, посылаю еще одну пару перчаток посвободнее, чтобы их можно было надеть на Ваши опухшие руки».

В Италии тюрьмы вообще не отапливаются — там попросту нет печей, нет труб, нет батарей центрального отопления, ничего, к чему можно было бы в поисках тепла прикоснуться иззябшими пальцами. Ни один дымок не подымается над тюремными зданиями в зимние дни. Только в канцелярии, в лазарете и, конечно, в кабинете директора можно увидеть кафельную печку или скальдино, в которой милосердно тлеют угли. Нужно до мозга костей прозябнуть в неотапливаемом каменном мешке, чтобы понять, какое это испытание. И голод сильнее дает себя чувствовать, когда мерзнешь. Гнилая сырость трехсот итальянских зим впиталась, въелась в камень тюремных стен, чтобы обдавать узников Кастельфранко стылым дыханием. А что хорошего можно было, собственно говоря, ждать от основателя крепости папы Урбана VIII, если этот милый папа отверг систему Галилея и проклял его самого?!

Конечно, в тюрьмах Южной Италии, где-нибудь в Сицилии или по соседству с ней, узники не так мерзнут в зимние месяцы. Но на севере страны суровая зима приносит страдания.

На этот раз секретарша «Эврики» просила капо диретторе, в связи с плохим здоровьем заключенного Конрада Кертнера, разрешить ей отправить к рождеству посылку весом в 7 килограммов. Разрешение было дано. Или поведение Кертнера, с точки зрения администрации, стало лучше, или здоровье его стало хуже, или капо диретторе, помня хорошенькую посетительницу, не хотел выглядеть в ее глазах злым чиновником. Она не поскупилась в прошении на самые любезные приветы и пожела-

ния капо диретторе, которого благословляла в своих молитвах и благодарила за помощь в выполнении своего служебного и христианского долга.

В письме от 25 февраля 1939 года вновь много цензорских помарок, а прочесть можно вот что:

> «...Здесь зима почти прошла, к счастью. Вы не можете представить, как меня угнетает холод с тех пор, как я в заключении. Я страдал от холода уже в Риме. Однако температура Рима не может быть никак названа низкой. Представляете себе, как я стал чувствителен к холоду!
>
> Я знал холода в моей жизни. Бывали морозы, да какие — сорок градусов ниже нуля. Но по правде сказать, никогда не страдал так, как здесь, хотя температура еще ни разу не опускалась ниже 5—7 градусов. На это, по-видимому, влияют условия существования. Хорошо, однако, что я сейчас гарантирован от замерзания до октября, это уже кое-что. Хотел бы знать, уважаемая синьора, нашли ли Вы новую работу?
>
> Заранее благодарный, приношу наилучшие пожелания.
>
> *К. К.*».

Холодная зима 1938—1939 годов пагубно отразилась на здоровье Кертнера. Скарбек и Гри-Гри узнали через Орнеллу, что болезнь Этьена часто обостряется, уже несколько раз он лежал в тюремном лазарете.

6 марта 1939 года о своей болезни написал и сам Этьен:

> «Врач снова прописал мне рыбий жир, но не чувствую никакого улучшения. С месяц уже, как у меня болит грудь и боль не унимается, несмотря на то, что свыше двух месяцев принимаю это неприятное лекарство. Догадываюсь, что начинается чахотка».

Но дело не только в содержании последнего письма. Джаннина первая обратила внимание на то, что письмо написано каким-то изменившимся почерком, можно подумать, оно написано дрожащей старческой рукой. Или из-за нарывов на руках Кертнеру трудно держать перо? Или он писал, не снимая шерстяных перчаток? Или отныне вообще изменился его почерк?

А из письма, отправленного раньше, явствовало, что Кертнеру снова делают уколы, но, несмотря на полный повторный курс, боль под лопатками не прошла, а, наоборот, усилилась. Профессор Симонини из Модены выписал рецепт на новое лекарство. Кертнер не обольщается чудодейственной силой нового лекарства и смотрит на свое здоровье с трезвым скептицизмом.

По-видимому, расходы на лекарства основательно истощили и без того тощий бюджет Кертнера.

> «Представьте себе условия, в которых я сейчас нахожусь, — сообщал Кертнер 22 марта 1939 года. — На питание не могу тратить даже одну лиру в день и вынужден довольствоваться значительно меньшим...
>
> Имеется ли в магазине книжного издательства Цаникелли в Болонье книга Мортара «Перспективы» и сколько она стоит? Согласитесь, что в моем теперешнем положении терять перспективы никак нельзя.
>
> В ожидании ответа почтительно приветствую Вас.
>
> *К. К.».*

84

Дни складывались в недели, недели в месяцы, месяцы в годы. Иногда неделя пролетала как один день, а иногда растягивалась, будто это вовсе не неделя, а месяц. Однако разве на свободе у Этьена так не бывало? Но в житейской толчее и сутолоке разномерность времени не так заметна.

О чем бы Этьен ни думал, он, так же как Бруно, как другие, все время подсчитывал — сколько времени просидел и сколько еще предстоит пробыть в заточении. Он неизменно возвращался мыслью к тюремному сроку. Вопрос о времени стал основой его существования, и отвлечься от каждодневных подсчетов было невозможно.

С тех пор как для Кертиера перестало существовать пространство, время представлялось ему как нечто материальное.

Он когда-то читал у Манна, не помнил, у которого из братьев, у Томаса или у Генриха, рассуждения о быстротечности и неподвижности времени. Пожалуй, верно, что время при непрерывном однообразии — когда один день похож на все другие и все дни похожи на один — претворяется в пустоту. Самая долгая жизнь при унылом однообразии и монотонности может быть прожита как короткая. А что такое непрерывная тоска? Не что иное, как болезненное восприятие пустого, никчемного, быстротечного времени.

Изжить, быстрее изжить месяцы, годы и при этом остаться в живых самому, не отупеть и не сойти с ума!

Сколько дней отсидел и сколько дней осталось? Миновало «звериное число»: он отсидел 666 дней.

Затем он отметил два года со дня своего ареста. Но все равно оставалось сидеть в тюрьме массу времени, отчаянно и непоправимо далека оставалась дата освобождения. И годы, проведенные в тюрьме, никак не облегчали угнетенного состояния. Теперь он отчетливее представлял себе, какими бесконечно мучительными будут все будущие тюремные годы, потому что знал, какими были минувшие. И понимал, хорошо понимал, что те и эти годы — одинаковые, а сил для того, чтобы пережить остающиеся годы, остается все меньше.

Кертиер вел все арифметические подсчеты и для своего друга Бруно, у того перспектива лучше. Он хотя бы мог твердить себе мысленно или вполголоса: «Было больше, чем осталось, было хуже, чем теперь». Бруно переступил через ту критическую точку, когда реже считают — сколько уже просидел, а чаще подсчитывают — сколько осталось сидеть. Арифметика служила ему уте-

шением, скоро мерой тюремного времени станут для него только месяцы, а затем недели и дни. Кертнер помнил с точностью до одного дня, сколько осталось сидеть каждому из его соседей по камере, и одним завидовал, а тем, кто пересидит его в тюрьме, — сочувствовал.

А весной 1939 года наступил счастливый день, когда все арифметические подсчеты Кертнера и Бруно полетели вверх тормашками, потому что объявили новую амнистию.

Обычно амнистии связывались с какими-нибудь торжествами в королевском семействе. Это началось еще в мае 1930 года, когда объявили амнистию по случаю бракосочетания наследника. Вот почему старые заключенные хорошо разбирались в семейной жизни короля и его наследников. Ну что стоит принцессе Марии или принцессе Мафальде разрешиться от бремени еще одним отпрыском? Почему бы какой-нибудь из принцесс не облегчить таким образом участь заключенных?

Но на этот раз амнистия была провозглашена в связи с историческими победами фашистов в Испании и в Албании. И амнистия должна была послужить «целям консолидации всех сил нации, преданной королю и дуче». Фашизм спешил сплотить все слои общества, имитировать нерушимость фашистских устоев, а потому время от времени делал поблажки и даже заигрывал со своими политическими противниками. Бесчеловечные сроки приговоров именем короля в Особом трибунале — и щедрый на амнистии сердобольный король, который искал популярности у верноподданных.

Да здравствует новое летосчисление! К черту устаревшие четыре действия арифметики!

Новая тюремная арифметика подсказывала, что Кертнера должны освободить 12 декабря 1939 года.

Увы, новая амнистия в значительно меньшей степени коснулась Бруно. По новому тюремному летосчислению выходило, что Бруно переживет Кертнера в тюрьме на десять месяцев. В эту минуту Бруно и огорчался тем, что будет сидеть на десять месяцев дольше Кертнера, и радовался тому, что его друг освободится на десять месяцев раньше.

Этьен сразу же примерил амнистию к Блудному Сыну и к другим товарищам, которые были осуждены вместе с ним. Какое счастье — все они выходили на волю. Он еще раз с удовольствием вспомнил о том, как хитро «чернил» во время следствия и на суде своих несообразительных помощников, тем самым выгораживая, уменьшая их вину.

Наконец, по этой амнистии Ренато должен быть освобожден немедленно.

С последней «почтой», доставленной Орнеллой и Ренато, пришло письмо Этьену от дочки Танечки.

> «Мой любимый отец! Мы ждем тебя с мамой уже давно. Я уверена, что ты скоро вернешься. Я хорошо учусь в школе. Дома я занимаюсь музыкой, однако успехи мои не очень велики, потому что у нас нет пианино. Я умею уже достаточно хорошо ездить на велосипеде. Я получила в подарок маленький «кодак» и буду фотографировать все, что меня интересует. Вскоре мы с мамой поедем к морю. Я имею еще многое, что тебе рассказать, но не имею времени. Когда ты вернешься, мы все расскажем друг другу. Мама тебя целует. Всего хорошего, мой любимый отец. Целую тебя сердечно.
>
> *Твоя дочка Т.».*

Ясно, что девочка писала это школярское письмецо под чью-то диктовку, писала на клочке вощеной бумаги, старательно выводя каждую немецкую буковку.

Кертнер сердечно попрощался со своим преданным связным. А вот Орнеллу не пришлось и, верно, никогда уже не придется увидеть. Напоследок Ренато передал для Кертнера ее кабинетную фотографию. Кертнер увидел штамп на обороте: «Турин. Фотоателье «Моменто», — этот штамп говорил Кертнеру много больше, чем жениху Орнеллы. На самом деле невеста Ренато такая красавица или это тонкое искусство Скарбека?

Нет, в данном случае ретушеру делать было нечего.

Ренато однажды принялся восторженно живописать внешность Орнеллы, а Этьен заподозрил, что неумеренные восторги влюбленного объясняются долгой разлукой с невестой. Но сейчас, глядя на фотографию, Этьен понял, что Ренато был близок к истине...

Этьен искренне радовался за преданного Ренато, за его невесту Орнеллу. И в то же время с огорчением подумал, что лишается надежного связного, остается без всякой связи с внешним миром больше чем на полгода.

Из своего постылого одиночества и душевной бесприютности Этьен слал отцовское благословение Ренато и его невесте: пусть молодые люди будут счастливы после разлуки, пусть не жалеют друг для друга доброты, ласки, нежности, благородства, страстной любви. А благословив своих недавних связных Ренато и Орнеллу, он мысленно пожелал семейного безоблачного счастья и другой паре — Ингрид и ее возлюбленному Фридриху Редеру.

Никто в Центре и не догадывается об интимных отношениях радистов. Свой секрет Ингрид доверила только Этьену, и — Венера и все амуры свидетели! — он секрета не выдал. Лишь бы она по-прежнему была осторожна, не забывала о том, что она — капризная непоседа, привередливая квартирантка. Лишь бы она чаще меняла адреса, потому что, по расчетам Этьена, радиопеленгация должна быстро получить опасное развитие. Сколько раз за то время, что он находится в Кастельфранко, Ингрид сменила комнату? Может, Ингрид еще посчастливится растить маленького немчонка, — наверное, малыш будет богатырского роста, как отец. Да и сама Ингрид тоже «тетенька, достань воробушка»!..

Прошли месяцы, годы, и с течением времени стали менее разборчивы буквы тюремного штампа, который ставили на письмах в Кастельфранко дель Эмилия. Уже и штамп состарился, столько раз его ставил на письма узников капо диретторе или тюремный цензор.

«...за исключением... предметов одежды на случай освобождения».

Кто бы мог подумать, что это казенное предостережение на всех письмах приобретет вдруг силу полезного напоминания?

> «Джентиллиссима синьора, — писал Кертнер 4 апреля 1939 года, — я уже писал в одном из последних писем о моем юридическом положении в связи с амнистией 15 февраля 1937 года и в связи с последней амнистией. По предварительным данным мне вторично должен быть снижен срок заключения по статье 262 наполовину, то есть на три года, а кроме того, должна быть аннулирована статья 81, по которой я был осужден на один год. Кажется, мне подарят еще четыре года жизни».

Приписка к письму, сделанная 6 апреля 1939 года:

> «Вчера я был вызван в канцелярию, чтобы ознакомиться с сообщением Особого трибунала, вызванным вышеуказанной амнистией. Как я и товарищи предвидели, мне уменьшен срок заключения на четыре года, так что дата моего освобождения установлена на 12 декабря сего года.
>
> Остается высылка меня из страны после освобождения (в приговоре дословно: «по отбытии полного наказания»). Было бы интересно узнать — каков порядок этой высылки, но не знаю, к кому обратиться. Недосягаемый адвокат не отвечает на мои письма, обиженный тем, что я осмелился на него обидеться...
>
> Сколько стоят самые полные словари: итало-испанский, французско-испанский и немецко-испанский, а также словари для перевода с испанского на эти языки?
>
> Вам ничего не известно до сих пор относительно книги «Перспективы» Мортара? Есть ли в продаже книга Буонаитти «Христианство в колониях Африки»? Можно ли купить в

издательстве Мондрадори книгу аргентинца Хуана Баттиста Альберти «Преступление войны» и сколько она стоит?

Примите, многоуважаемая синьора, мою прочную благодарность. Желаю исполнения всех ваших желаний.

К. К.».

Джаннина первая узнала о том, что новая амнистия коснулась Кертнера. В тот же день она встретилась с Тамарой. Полноте их общей радости мешала неотвязная мысль о том, в каком бедственном положении находится сейчас Кертнер.

Рождественские посылки не вручают узникам заблаговременно. Если Кертнера выпустят из тюрьмы за две недели до праздника, рождественскую посылку для него уже не примут. Значит, вся надежда на уже посланную пасхальную посылку 1939 года. Лишь бы у Кертнера хватило сил противостоять всем бедам и дождаться спасительного 12 декабря 1939 года, несущего свободу.

Джаннина сказалась занятой делами и торопливо распрощалась с Тамарой. Но направилась она не в контору, а в Дуомо. Как же не поблагодарить святую Мадоннину, которая была так милосердна и великодушна к герру Кертнеру, что подарила ему четыре года жизни?!

85

Настал день, когда Кертнер, Бруно, рыжий мойщик окон и другие товарищи распрощались с Ренато. Он посидит в карантине, а вскоре его встретит в тюремной канцелярии истосковавшаяся и счастливая Орнелла. Она, как третий карабинер, будет сопровождать его до Турина.

На пороге свободы Ренато подвергнется тщательному обыску, и потому даже микроскопическую записку с ним не передашь. Что Этьену важнее всего передать на словах? Он напомнил своим, что адвокат Фаббрини,

клятвенно обещавший приехать наконец на свидание, не вызывает в нем доверия.

Местные товарищи обещали ему в ближайшие дни все выяснить. Если Этьен ошибся, если его подозрения напрасны и антипатия к Фаббрини беспочвенна, Этьен обязательно передаст с адвокатом «сыновний привет Старику».

Если же опасения насчет Фаббрини подтвердятся, «сыновний привет Старику» передан не будет; значит, с Фаббрини нужно срочно рвать всякие отношения...

Через несколько дней их, как обычно, вывели на прогулку в тюремный двор. Кертнер шагал за дружеской спиной Бруно. А в затылок дышал неизвестный Кертнеру узник.

Вдруг донесся шепот незнакомца, шедшего след в след:

— Не оборачивайтесь... Вы интересовались своим адвокатом. Ну, тем, мордастым... Он связан с Брамбиллой и вообще с ОВРА... Не верьте ему. Тут сидят его «крестники»... За ним и кличка такая в Болонье ходила — «Рот нараспашку». Прошу не оборачиваться...

Это предупреждение не прозвучало для Этьена полной неожиданностью — он давно был во власти тревожных догадок и предчувствий.

Теперь понятно, почему таким естественным был стиль и вся манера письма, которое Фаббрини адресовал директору тюрьмы. Видимо, Фаббрини написал на своем веку не один десяток доносов.

Там же, на прогулке, Этьен подумал, что должен скрыть свою осведомленность перед лицом тюремной администрации, выказывать по-прежнему полное доверие к адвокату Фаббрини. Этьен должен продолжать игру в кошки-мышки, пока Фаббрини считает его глупым мышонком. Нужно скрыть все, что Этьену известно, и по-прежнему притворяться недогадливым. И с помощью самого адвоката-чернорубашечника дать знать своим о том, кто это такой. После той памятной прогулки, после того доверчивого шепота в затылок Этьен все время опасался, как бы Тамара и Гри-Гри не доверились провокатору.

Может, появление таинственного швейцарского адвоката — тоже провокация Фаббрини? Ведь не начал же он сотрудничать с охранкой уже после суда! Совершенно очевидно, что, когда миланская коллегия адвокатов назначила его защитником, Фаббрини уже был коллегой того самого агента, который чуть-чуть косит левым глазом. Оставалось непонятным, почему Фаббрини, уверенный в доверии Кертнера, так тянул с новым, третьим по счету свиданием. Или он делает вид, что не может избавиться от «третьего лишнего»?

В комнате свиданий Фаббрини появился с опозданием. Он никак не мог отдышаться, будто долго бежал, и жадно хватал воздух маленьким, женским ртом. Кругообразными движениями руки, с зажатым в ней платком, он вытирал лицо, лоснящееся от пота, и жирную шею.

Он снова был неумеренно словоохотлив. Начал пространно объяснять, почему свидание так долго откладывалось. Месяц назад Фаббрини, по его словам, приезжал в Кастельфранко на свидание с Кертнером, как было наконец разрешено властями, — без свидетеля. Но какой-то чиновник заявил ему в тюремной конторе:

— Свидание без свидетеля состоится лишь в том случае, если вы дадите расписку. Вы обязаны, не утаивая ничего, рассказать нам, о чем будет говорить Кертнер.

Ему протянули расписку, заранее заготовленную в министерстве юстиции, но он с негодованием отказался:

— Я не могу нарушать профессиональную тайну! Это против моих принципов!

Фаббрини потребовал внести в текст поправку: он обязуется после свидания сообщить только то, что, по его убеждению, не может ухудшить положения его бывшего подзащитного, то есть Кертнера.

Чиновник заявил, что не имеет права менять текст подписки:

— Вы обязаны изложить все, что может послужить на пользу нации.

Фаббрини отказался, позвонил в Рим и пожаловался какому-то командаторе в министерстве — насилие над адвокатурой!

— Кертиер уже не обвиняемый, — утверждало высокопоставленное лицо по телефону. — Он осужден, и никакой профессиональной тайны мы не нарушаем.

— Но для меня Кертиер по-прежнему подзащитный. Он хочет добиться пересмотра дела и ждет моего совета. Я должен выслушать все мотивы и по совести дать ему совет. Вот почему я обязан хранить профессиональную тайну!

— Вы забываете, что вина Кертиера уже доказана, — возразило высокопоставленное лицо. — Он нанес вред Италии, вы должны об этом помнить и вести себя как патриот.

— Адвокат должен оставаться адвокатом, независимо от статьи кодекса, по которой привлечен подзащитный. Как патриот, я поддерживаю фашистское правосудие, но защищаю всех по закону, независимо от того, в чем их обвиняют.

По словам Фаббрини, на этом спор не кончился. Он подал заявление в коллегию адвокатов, просил защитить его профессиональное достоинство и достоинство всех его коллег. Адвокат имеет право на свободное, без свидетелей, свидание с подзащитным! Если бы не помощь миланской коллегии защитников, Фаббрини не сидел бы сейчас в этой комнате свиданий.

Закончив рассказ, Фаббрини вытер одутловатое лицо и стал обмахиваться платком.

Этьен слушал Фаббрини и не слышал его. Слова скользили мимо сознания, а думал он только о том, чтобы Фаббрини, когда он на днях увидится с Джанниной, не навредил бы ей, Тамаре и даже Гри-Гри. Он ведь может устроить и какую-нибудь грязную провокацию, кто его знает.

Фаббрини, конечно, заметил, что Кертиер сегодня чем-то подавлен и молчит — плохо себя чувствует или на него нашла апатия?

Кертиер не стал расспрашивать о швейцарском адвокате и терпеливо ждал, что Фаббрини сам заговорит о нем. Так оно и случилось. Фаббрини принялся объяснять, почему он больше не может заниматься делом Кертиера. И поскольку в Италии никто ему не может дать доверен-

ность на ведение этого дела, самое разумное в таком положении — получить письмо от какого-нибудь известного адвоката из другой страны, например из Швейцарии. Адвокат сошлется на то, что выполняет поручение родственников Кертнера.

Фаббрини заготовил образец письма, которое ему должно быть прислано.

«Уважаемый коллега Фаббрини! — читал Кертнер. — Ко мне зашел дядя (кузен) господина Конрада Кертнера, который заключен в итальянскую тюрьму, и просил заняться судьбой племянника (кузена), подыскав пути к его освобождению. Родственник узнал от одного из бывших заключенных, отбывавшего свое наказание одновременно с Кертнером, что племянник (кузен) болен и что Вы являетесь его защитником. Он сообщил мне, что Кертнер осужден на долгий срок по обвинению в шпионаже. Принимая во внимание характер обвинения, дядя (кузен) хочет увидеться с племянником (кузеном), но боится в то же время приехать в Италию, опасаясь ареста и полицейских допросов. Я понимаю, что опасения родственников имеют под собой некоторую почву, и поэтому вынужден просить Вас хранить профессиональную тайну о вмешательстве в это дело, чтобы не вызвать полицейских придирок ко мне здесь, в Швейцарии.

Прошу сообщить мне в общих чертах существо дела, по которому осужден Кертнер, а также окончательный ли приговор или есть возможность для пересмотра дела.

Одновременно прошу сообщить, можно ли возбудить ходатайство о переводе Кертнера в другую тюрьму. Дядя (кузен) утверждает, что никогда прежде его племянник (кузен) политикой не интересовался, а его конфликты с тюремной администрацией склонен объяснить плохим влиянием на племянника (кузена) по-

литических преступников, сидящих с ним вместе в камере. Перевод племянника (кузена) в другую тюрьму оградит его от нежелательного, даже вредного соседства и влияния.

Я не знаю итальянских законов и ожидаю от Вас разъяснений, которые дадут мне возможность ориентироваться, изучить дело и посоветоваться с Вами о том, что можно сделать.

Родственника беспокоит состояние здоровья Кертнера. Если имеются сведения на этот счет — будьте любезны ими поделиться, а кроме того, сообщите, имеет ли Кертнер деньги на питание и на лекарства. Считаю не лишним сообщить Вам, что дядя (кузен) согласен оплатить все Ваши расходы, сообщите, какой Вам нужен задаток. Отвечайте на итальянском языке, я смогу перевести, но прошу извинить меня, если я буду писать Вам по-немецки, так как неуверенно перевожу с немецкого на итальянский. Заранее благодарный...»

Этьен читал письмо с притворным вниманием, а на самом деле с глубоким безразличием. И так же безразлично кивал, слушая объяснения Фаббрини: задаток нужен ему для того, чтобы власти знали, что он заинтересован материально, а не занимается подозрительной благотворительностью. А Этьен уже твердо знал, что никогда больше на свидание с Фаббрини не придет, что никакой переписки с «швейцарским адвокатом» затевать не будет.

Он был так раздражен, что незаметно для себя уже несколько раз произнес «синьор Фаббрини» вместо «уважаемый синьор Фаббрини», как это принято. Он припомнил старое итальянское присловье, услышанное от кого-то в тюремной камере: «Дьявол приготовляет свой салат из трех частей — из языка адвокатов, из пальцев нотариусов, а третью часть он добавляет по своему усмотрению...»

Как нужна была бы Этьену сейчас крепкая нитка, связывающая его с внешним миром, нитка, которую пре-

жде держали в своих руках Ренато и Орнелла, нитка, которую не ощупывал бы своими руками цензор или «третий лишний». Но ту гнилую нитку, которую держит в больших нечистых руках Фаббрини, следует оборвать самому. И сделать это нужно немедля.

— Хотите со мной что-нибудь передать? — спросил Фаббрини.

— Нет.

— Может, привет кому-нибудь?

— Нет.

Только в эту минуту Этьен вышел из состояния тягостного безразличия, в котором сидел на свидании. Он добился того, чего хотел: Фаббрини, сам того не подозревая, оборвет связь между ними.

Много приветов Этьен адресовал Старику на своем разведчицком веку. Но еще никогда отсутствие привета не служило паролем и не было сигналом столь острой тревоги.

66

Бруно и Кертнер спали голова к голове. И когда бессонница одолевала обоих, они вполголоса говорили ночи напролет.

Однажды Кертнер рассказал Бруно, как он сражался за революцию. Другой ночью рассказал, как голодал; он и его бойцы много дней питались только соленой рыбой. И названия этой рыбы Бруно никогда прежде не слышал — вобла. А когда зашел разговор об охоте, Кертнер рассказал о смелых лесных жителях, которые ходят на медведя с одной рогатиной; пришлось долго объяснять Бруно, что представляет из себя рогатина.

Бруно давно догадался, что речь идет о России, — где еще в лесах разгуливают медведи? Нетрудно догадаться, что Кертнер жил там.

Но никогда Бруно не делился своими догадками, ни о чем не расспрашивал, а самое главное — не обижался на Кертнера за то, что за какой-то чертой тот остается скрытным. У Бруно хватило душевной щедрости не от-

казывать ответно Кертнеру в общительности и не стать менее откровенным.

Никогда Кертнер не произносил русских слов. Иногда он пел незнакомые, берущие за сердце мелодии, но всегда без слов. Бруно был уверен, что это русские песни, чувствовал, что товарищ не по доброй воле отлучает слова от мелодии.

Уже потом, много лет спустя, когда Бруно был мобилизован на русский фронт и до полусмерти мерз в донецких степях, он услышал там знакомую песню. Мелодия не раз звучала когда-то в их тюремной камере. Бруно переписал и выучил текст песни. Она начиналась словами: «По долинам и по взгорьям...»

Бруно неожиданно вызвали к капо диретторе. С тех пор как Бруно был одним из организаторов тюремной голодовки, Джордано относился к нему плохо. Едва Бруно вошел в кабинет, тот сухо спросил:

— Кто у тебя в семье болел?

— У меня слепой отец. Неужели с ним что-нибудь...

— Умерла твоя мать. Это тебя покарал господь бог. Возвращайся в камеру и веди себя лучше.

Бруно вернулся в камеру, когда шли занятия, и, чтобы не срывать их, промолчал. Лишь позднее поделился с товарищами печальной новостью. С нежным участием отнесся к нему Кертнер в те дни. Бруно видел в Кертнере старшего брата, но иногда в отношении Кертнера к Бруно было что-то отеческое.

Время от времени Кертнер получал записки, письма. Они приходили к нему очень сложным путем. Это ясно хотя бы по тому, как бывала скомкана бумажка, которую дрожащими от нетерпения пальцами тайком расправлял Кертвер ночью.

Но Бруно прощал другу скрытность, так как был убежден в его доверии. Иногда чувствовалось, что Кертнер ходит, распираемый важными новостями, его томит жажда неутоленной откровенности, и тем не менее он вынужденно молчит. Изредка у Кертнера бывало приподнятое настроение. Он про себя праздновал годовщину Октябрьской революции или День Красной Армии в конце февраля, не забывал хоть чем-нибудь отметить

день рождения дочери Тани 21 октября и день рождения Нади 28 января. Бруно воспринимал те дни и как свои праздники.

Бывали такие счастливые совпадения, когда русские революционные праздники или Первое мая приходились на воскресные дни. Тогда их можно было отметить хотя бы более приличным обедом. Пять крошечных кусочков мяса, нанизанных на деревянную лучинку, и миска мясного супа. Настоящий банкет! Можно вспомнить о приеме в Кремле для участников военного парада. В такие воскресные дни Кертнер бывал особенно доволен — будто обманул все тюремное начальство, а заодно с ним самого дуче.

Бруно знал, что, когда Кертнер отказывается от прогулки, ссылаясь на недомогание, тому нужно остаться в камере в полном одиночестве и тайком от всех что-то написать. В таких случаях Кертнер не гнушался ничем и не брезговал подолгу торчать в углу, где стоит параша.

Однажды ночью Бруно ненароком подсмотрел, как Кертнер прячет записку в хитроумный тайник — в щель между кирпичами, замазанную глиной, над самым полом. Но Бруно не стал задавать никаких вопросов.

И может быть, высшей мерой их доверия друг к другу были не беседы, а обоюдное молчание о делах, которым противопоказаны слова, даже самые дружеские.

Бруно был прилежным учеником Кертнера, но это вовсе не означало, что он во всем и всегда с ним соглашался.

Однажды во время прогулки Бруно заметил, как его друг изменился в лице, увидев самолет.

— Знаешь, Бруно... — сказал Кертнер задумчиво. — Летчику тяжелее сидеть в тюрьме, чем шахтеру. Летчик сильнее тоскует без неба, без простора...

— Сильнее, чем шахтер? Не верю! — возразил убежденно Бруно. — Потому что шахтер тоскует без неба, без простора и на свободе.

Летом, начиная с мая, Кертнер всеми мыслями и чувствами был в Монголии. Он перелистывал воскресные журнальчики в поисках какой-нибудь информации о Халхин-Голе, расспрашивал кого только мог, а потом де-

лал коротенькие доклады об этих событиях. Бруно нетрудно было догадаться, что его друг и сосед — человек с большим военным кругозором. Бруно только слушал, вникал в подробности и помалкивал.

Этьен понимал, что там, в песках Монголии, идет серьезная разведка боем, и японцы пытаются прощупать, насколько мы готовы к войне с ними. Разрозненные, отрывочные сведения не всегда собирались в связный обзор. Трудно было, сидя в тюрьме, воссоздать картину боев, прежде всего Баин-Цаганское сражение. Но Этьену даже из итальянских телеграмм было ясно, что японские танки экзамена не выдержали. В то же время их бомбардировщики, зенитные орудия оказались на высоте, а пехота дерется стойко и храбро. Итальянские корреспонденты подсчитывали — сколько там, на обоих берегах реки Халхин-Гол, советско-монгольских дивизий и сколько японских дивизий. Но Этьен-то отлично знает, что такое японская дивизия. Она не уступит нашему стрелковому корпусу: около двадцати пяти тысяч солдат, средних командиров и офицеров.

После событий на Халхин-Голе и после договора с Гитлером о ненападении уже не было столь неожиданным сообщение о том, что немцы начали военные действия. В конце августа в Данциг прибыл с визитом вежливости немецкий крейсер «Шлезвиг-Гольштейн». Его можно уподобить троянскому коню. «Шлезвиг-Гольштейн» своими орудиями возвестил в 4 часа 45 минут утра 1 сентября о разбойничьем нападении на Польшу.

И снова первым прочитал Кертнеру эту газетную телеграмму злобный сардинец. Ни Кертнер, ни «Примо всегда прав», никто еще не знал, что 1 сентября 1939 года войдет черной датой в память и в календарь человечества, — началась мировая война. 3 сентября иссяк ультиматум; Англия оказалась в состоянии войны с 11 часов, а Франция с 17 часов.

Уже через несколько дней после начала военных действий сводка погоды в Германии выглядела весьма своеобразно. Читателям «Доменико дель коррьере» сообщали, что в районе, где воюет 14-я армия, погода очень

хорошая, где 10-я армия — с прояснениями, где 8-я армия — туман.

Месяц спустя «Примо всегда прав» показал Кертнеру через решетку газету с фотографией: Гитлер принимает военный парад в Варшаве. Он стоял в длинном кожаном пальто, с вытянутой рукой и благосклонно взирал на кавалеристов, дефилирующих мимо него. Его окружали генералы, одни в касках, другие в фуражках. С фонарных столбов свешивались флаги со свастикой.

«Не будет ли осложнений у Скарбека? У него польский паспорт, — все чаще тревожился Кертнер. — Лишь бы ему не пришлось уехать, лишь бы не закрылось фотоателье «Моменто».

Да, немало печальных и даже трагических новостей сообщил за два года злобствующий тюремщик. И как трудно бывало правильно оценить каждое такое сообщение, вселить в молодых товарищей по камере веру и бодрость, правильно осветить события, происходящие в мире, и дать им революционную марксистскую оценку.

Немало острых споров вели они по ночам в конце августа 39-го года, после того как СССР и Германия заключили пакт о ненападении.

Помимо споров с Бруно, в те дни Этьен тяготел к размышлениям наедине с собой. Он взял в тюремной библиотеке «Майн кампф» Гитлера на итальянском языке и внимательно перечитал. Многие места книги выводили его из душевного равновесия. Особенно запомнилось:

> «Мы покончили с вечными германскими походами на юг и на запад Европы и обращаем взор на земли на Востоке... И когда мы говорим сегодня о новой территории в Европе, нам сразу приходит на ум только Россия и пограничные государства, подчиненные ей... Гигантская империя на Востоке созрела для падения».

Не раз во время чтения Этьен задавал себе вопрос: «А переведена ли «Майн кампф» на русский язык? Если наш народ ее не читал, это — большая ошибка. По-

тому что все у нас должны знать, с каким «заклятым другом» мы заключили договор о ненападении. Сроком на десять лет. Значит, мы не готовы к войне с Гитлером. Значит, хотим выиграть время.

Вот же мне, коммунисту и командиру Красной Армии, в это грозовое время пришлось надеть на себя маску и шкуру австрийского коммерсанта. Может, в этой предвоенной обстановке и Советской стране пришлось притвориться доверчивой. Лишь бы не довериться на самом деле, а только притвориться...»

87

Прежде, когда счет шел на годы, месяц казался значительно более коротким, чем сейчас.

Совсем, совсем недавно оставалось сто дней до освобождения, а сегодня — только три месяца. Конечно, три месяца — тоже срок немалый, но воодушевляет уже одна мысль, что было во много раз больше.

А потом счет уже пошел на недели. Значит, наступит такое время, когда единицей измерения станут сутки?

Отныне Этьен на все и на всех смотрел по-новому. Где-то в глубине души он уже отрешился от всего, что его окружало, от маленьких и крошечных тюремных забот. Последние дни его соседи по камере жили ожиданием рождественских посылок, гадали — что пришлют? Этьену было небезразлично, что получат к рождеству другие. Но помнил, что сам он посылки уже не получит, и нисколько этим не был обеспокоен.

Капо диретторе снова вызвал узника 2722.

У Кертнера уже давно выработалась походка человека, которому некуда торопиться, который не спешит на любой зов, даже к самому высокому начальству. Походка эта свойственна людям, которые уже много отсидели и которым еще предстоит сидеть.

А сейчас узник 2722 суматошно заторопился, чего прежде за ним не наблюдалось, и чуть ли не бегом побежал по коридору, так что Карузо тоже пришлось прибавить шагу...

— Срок заключения подходит к концу, — холодно сказал капо диретторе, а лицо его выражало недовольство. — Вас вышлют из Италии. Есть ли подходящая одежда?

— Да, если у вас в кладовой порядок.

Капо диретторе раздраженно помахал рукой перед своим лицом, будто разгонял табачный дым.

— Речь идет не о той одежде, в какой можно выйти из ворот тюрьмы. Нужна приличная одежда, чтобы проехать до границы, не вызывая к себе скандального внимания публики. Если подходящей одежды нет, то, поскольку родственники не могут ее вам доставить, администрация тюрьмы по закону обязана предоставить такую одежду при освобождении.

— Мой костюм и плащ не должны вызвать скандального внимания публики. Ведь пятна крови, как вам, конечно, известно, легко отмываются... Может, я отстал от моды, устарел покрой... Впрочем, костюм не мог устареть больше, чем его владелец.

Удачно, что Этьена арестовали не осенью, а зимой, когда он уже носил плащ. Не в Тунис и не в Марокко же его высылают, а на север. Туда в одном костюме... Особенно холодно бывает в декабре в Альпах, он помнит швейцарские зимы с юности, когда ходил в колледж.

«На случай высылки в Швейцарию мне очень пригодилась бы таинственная шуба, которую продала Джаннина», — усмехнулся про себя Этьен.

— Не сообщит ли капо диретторе, к какой именно границе меня повезут? Я указывал в своем заявлении на две желательные границы — французскую или швейцарскую. Мне совершенно все равно, на какую. Лишь бы там не было фашистского режима, — Кертнер выразительно взглянул на лацкан директорского мундира, на фашистский значок. — Я попрошу на границе политического убежища.

— А если Франция или Швейцария откажут? — Джордано погладил себя по голому черепу, будто хотел разгладить все морщины.

— Пусть тогда арестуют. Но отправить меня в Гер-

манию или в Австрию — послать на казнь. И вы это прекрасно знаете.

— Напрасно упрямитесь, Кертнер, — усмехнулся Джордано, — напрасно не признаетесь, что вы из Советской России... Прежде в этом еще был какой-то смысл. Но сейчас, после того, как Россия заключила договор с Германией о ненападении и дружбе...

— Этот договор касается русских, а ко мне отношения не имеет. Аншлюс остался аншлюсом. Моя Австрия по-прежнему под сапогом Гитлера, и у него совсем не короткая память. А вам не терпится отправить меня к нему на расправу...

Но про себя Кертнер подумал: «То, что после·нашего пакта с Германией, союзником Италии, ничего не изменилось в моей судьбе, то, что меня до сих пор не вызволили из тюрьмы, лишь подтверждает, что никакой дружбы у нас с фашистами нет, что наш договор — только дипломатическая бумажка...»

Этьен понимал: его подстерегает серьезная опасность. Да, много проще, когда границей служит просто-напросто воображаемая линия или белая черта, какая намалевана в Риме перед собором святого Петра: переступил черту — и одной ногой ты уже в Ватикане, а другой еще в Италии.

По словам Гри-Гри, принять освобожденного Кертнера готовы и в Швейцарии и во Франции. В записке Гри-Гри значится:

> «Наш больной выйдет из больницы в своих собственных туфлях».

Этьену напоминали, таким образом, что он по-прежнему остается австрийским гражданином. А дальше в записке говорилось:

> «Нашему больному уже подыскивают санаторий в Альпах, а также в Ницце».

Он вернулся от капо диретторе, укрепившись в надежде, что свобода близка. Скоро, скоро он выйдет из

ворот тюрьмы Кастельфранко дель Эмилия, о которой знает, что она находится к юго-востоку от Милана, между Моденой и Болоньей. Если дорога ляжет к французской границе, его повезут на запад, он проедет по мосту Святого Людовика близ Ментоны. Он вспомнил Лазурный берег, яхты, вытащенные из воды, вперемежку с ними стоят на берегу модные автомобили. И точно так же люди там в костюмах, при галстуках — вперемежку с купальщиками в одних плавках и с крестиками на шее... А швейцарская граница строго на север, там нужно перебраться через озеро Лаго Маджиоре, или через озеро Лугано, или через Симплонский туннель.

Он огорчался, что до высылки не увидит Гри-Гри с Тамарой, не увидит Ингрид, Зигмунта и Анку Скарбек, не сможет поблагодарить за все Джаннину.

После возвращения в камеру Этьен никак не мог сосредоточиться и все время возвращался мыслями к своей одежде. Будто одежда была последним и единственным препятствием на пути к свободе!

Он с трудом вспомнил, как именно был одет на суде, что снял перед тем, как на него напялили арестантскую робу, и что за гардероб дожидается его в кладовой.

Вспомнилось, как, спустя несколько дней после прибытия в Кастельфранко, его вывели на прогулку. Накануне прошел сильный ливень. В тюремном дворике, в тех каменных плитах, которые вдавились поглубже, стояли квадратные голубые лужи. Он погляделся в такую лужу и впервые увидел себя в арестантской одежде. И куртка, и штаны, и берет из полосатого серо-коричневого сукна словно уже обносились на нем. Достаточно надеть это проклятое одеяние, чтобы стать похожим на отпетого каторжника. Или одежда сама по себе способна вызывать предубеждение против человека? Мрачный маскарад; даже невинный обретает вид преступника...

Не разучился ли он за последние годы носить костюм? То, что костюм будет сидеть на нем как на вешалке, — само собой разумеется. Только бы это случилось поскорее.

По итальянским законам, за пять дней до освобождения заключенный переводится из общей камеры в оди-

ночку. Может быть, для того, чтобы уходящему на волю не давали всевозможных поручений, не использовали его как связного?

Кертнер заранее (тем более, что капо диретторе предупредил: иностранцы перед выходом сидят не пять, а десять дней в одиночке) начал принимать от своих тюремных собратьев поручения. Конечно — в пределах того, что может сделать человек, уже не считающийся заключенным, но высылаемый за границу под конвоем: например, передать чью-нибудь просьбу соседу по вагону или прохожему, который вызовет его доверие.

Чем ближе дата освобождения, тем труднее писать письма. Все неприятнее посвящать тюремщиков в свою жизнь, жаловаться на плохое самочувствие, признаваться, что со здоровьем у него дело швах. Последние письма укоротились до маленьких записочек.

И книгу серьезную ему никак не удавалось дочитать до конца — она становилась все менее доступной для понимания. Он перешел на книжки легкого содержания, однако и тут отвлекался, не мог понять смысл прочитанного. И занятия испанским языком продолжал без прежнего усердия.

В камере № 2 уже давно сообща высчитали, что 3 декабря Кертнера должны перевести в одиночку.

Последний день пребывания в общей камере, последний вызов на прогулку. Он пытливо вглядывался в лица. На всех одно и то же выражение — смотрят с завистью, и каждый мысленно задает себе вопрос: «Неужели и для меня когда-нибудь наступит такой день, неужели и я доживу до такой радости?»

На последней прогулке он смотрел себе под ноги реже, чем обычно, не видел каменных плит и травы, пробивающейся в земляных щелях, а на колченогое персиковое деревце не обратил сегодня внимания. Он больше смотрел на небо, жил ощущением необъятного и близкого простора. Без него зазеленеет персиковое дерево возле крепостной стены!

Перед концом прогулки он попрощался с товарищами из других камер. Скорее всего, его переведут в одиночку завтра утром.

— Значит, последняя прогулка?

— Да, последняя, — радостно подтвердил Кертнер.

Все сняли серо-коричневые береты в знак приветствия, он никогда больше не увидится с товарищами. Он так и не успел доспорить об истоках анархизма с заключенным из камеры № 5, кудлатым и длинноносым портным из Флоренции по прозвищу Пиноккио. Он не успел преподать трем молодым парням из Специи последний урок по диалектике, в частности разъяснить им закон перехода количества в качество; в связи с этим он собирался использовать классический пример с наполеоновскими солдатами и египетскими мамелюками...

Вокруг не было никого, с кем Кертнер был знаком на свободе, с кем вместе работал. И однако же все они, итальянские антифашисты, коммунисты — братья по борьбе.

Личная радость отравлена тревожным состраданием ко всем этим людям. Только подумать, что их ужасное прозябание будет продолжаться, когда он окажется далеко-далеко от мрачных стен, замков и решеток. Им овладела невыразимая нежность к товарищам, которых он здесь оставляет, а прежде и больше всего — к Бруно.

Бруно с точностью подсчитал, сколько ему придется еще просидеть после того, как Кертнера освободят. Срок заключения у Бруно оканчивается 5 сентября 1940 года. Значит, ему предстоит просидеть самому еще девять месяцев. Огромный срок! Этого времени женщине хватает, чтобы зачать и в первый раз накормить младенца грудью.

Наступила минута прощанья с товарищами по камере. Рыжему мойщику окон Кертнер подарил мыльницу и гребешок — обычно они причесывались по очереди.

Бруно помалкивал, но в камере знали: он не верит фашистам и боится, что Кертнера оставят в тюрьме сверх срока.

Тем большей была радость, когда 3 декабря, после утренней воды и раздачи хлеба, к решетчатой двери подошел Карузо и прозвучало жданное-долгожданное и все-таки неожиданное:

— Номер две тысячи семьсот двадцать два! На выход со всем имуществом!

«Со всем имуществом!!»

Три мучительных года Этьен ждал, когда для него прозвучат эти слова. И вот наконец-то Карузо произнес их, — как показалось Этьену, произнес, тоже слегка волнуясь.

— Только сейчас рассеялись мои сомнения, — счастливо улыбнулся Бруно. — Ты на пороге свободы. Десять дней, которые приносят жизнь!

— Надо еще прожить эти десять дней, — глубоко вздохнул Кертнер, но тут же неудержимо рассмеялся.

Больше ни слова друзья не сказали, молча обнялись, — каждому хотелось прильнуть к другу всем сердцем, — и заплакали, хотя оба стеснялись слез. Им обоим удалось овладеть собой, только когда они бойко завели речь о каком-то совершенном пустяке.

Уходя из камеры, Кертнер впервые не сказал сегодня соседям: «Ариведерчи», а радостно воскликнул: «Аддио!» — и спазмы сжали его горло.

88

Одиночная камера, где Кертнеру предстояло провести в строгой изоляции последние десять дней, — на втором этаже.

Обычно, войдя в камеру, заключенный сразу спешит к окну, — ну-ка, что мне будет видно отсюда в ближайшие месяцы, а может быть, годы?

Но Этьен был сейчас равнодушен к виду из окна, он устало сел на койку.

Если быть чистосердечным и совсем искренним — Этьен даже доволен, что напоследок очутился в одиночке. Хорошо, что его отселили из общей камеры: предчувствие близкой свободы требует одиночества. Было бы жестоко и безнравственно жить счастливцем рядом с теми, кому еще предстоит долго томиться в заточении. А скрывать счастье труднее, чем горе, потому что ощу-

щение счастья всегда полнее на людях. Только горе ищет уединения.

Сколько есть на свете радостей, о которых и не подозревают те, кто всегда живет на воле!

Скоро у него вновь появится необходимость следить за временем и куда-то торопиться. Пожалуй, гуманно, что узникам не оставляют часов, а то бы они не отводили глаз от циферблата и сокрушались по поводу того, что стрелки движутся слишком медленно.

Вновь появится право написать письмо, записку, когда за листом бумаги не подглядывают холодные глаза Джордано.

Люди на воле и не подозревают, что значит — ходить по земле, куда и как тебе самому заблагорассудится, не ожидая команд и не прислушиваясь к ним.

Люди на воле не ценят еще одного великого права — права выбора, которого начисто лишен раб, узник; из словаря свободных людей не исчезло слово «или», их поступки не подчинены чужой и злой власти.

Люди на воле не ценят возможности спать в темноте, без принудительной лампы над головой, они могут включить и выключить свет, когда им захочется, а то электрическое освещение в тюрьме изобрели, а до выключателей не додумались... Ох, этот свет тюремной лампы, режущий глаза! И саму лампу тоже, как узницу, обволакивает железная сетка.

Право остаться наедине с собой, чтобы смотритель через «спиончино», то есть глазок, не засматривал тебе в самую душу...

Да мало ли есть уже почти забытых радостей, и все эти радости станут ему вскоре доступны!

Десять дней даны ему для того, чтобы подготовиться к свободной жизни, ко второму рождению, к 12 декабря 1939 года...

Иным счастливцам, едва они перешагнут порог тюрьмы, бросаются на шею родные, близкие. Никто его у тюремных ворот не поджидает, встреча ждет далеко-далеко от Кастельфранко. Но при благоприятных обстоятельствах его могут быстро перебросить в Москву.

Может, ему удастся попасть туда к Новому году?

У Танечки скоро начнутся зимние каникулы, лыжи ждут в передней. На балконах московских домов уже стоят перевязанные елки. Предусмотрительные хозяева купили елки впрок и держат их на балконах, чтобы хвоя не осыпалась в тепле раньше времени. А в канун Нового года елку никак не достать... Вообще конец года всегда приносит с собой множество хлопот и забот. Вечная возня с подпиской на газеты и журналы. Во-первых, большой расход, а во-вторых, не так легко подписаться на то, на что хочется, а легко почему-то подписаться на то, что читать неинтересно. А тут еще вечные и бесконечные варианты — где и с кем встречать Новый год. Охотней всего вспоминалось, как однажды они большой компанией встретили Новый год на лыжах. И снег скрипел на весь лес, и заразительно смеялись, и оглушительно хлопнула пробка от шампанского.

Он жадно примерял свободную жизнь к себе прежнему, совсем здоровому, и был не в силах превозмочь самообман. Будто он выйдет из тюремных ворот таким, каким вошел в них три года назад, оставив все приставшие к нему в тюрьме хворобы, будто хворобы эти не сделались неотъемлемой принадлежностью его тела, будто болезни были всего-навсего придатком к тюремному режиму и он может отшвырнуть их заодно с арестантской одеждой.

Конечно, его срочно отправят в санаторий. Он представил себе заснеженное Архангельское, где когда-то отдыхал вместе с Надей. За окошком вьюга, намело сугробы у нашего крыльца... В одиночной камере он может себе позволить напеть Вертинского.

Он испытывал острое удовольствие от того, что не таясь вслух разговаривал в камере-одиночке по-русски, декламировал по-русски стихи, напевал русские песни.

Так надеялся, что десять суток пройдут быстро, а одиночество, от которого успел отвыкнуть, создало у него иллюзию, что жизнь вообще остановилась, и, хотя время влачилось, как и положено влачиться тюремному времени, Этьен этого не ощущал.

Вспомнилась вдруг старая заметка в московской

газете про то, как пароход «Свердловск» был затерт в Арктнке н вмерз во льды. И моряки, зимовщикн поневоле, прнслали в редакцню шутливую радиограмму, в которой сообщалн, что они перестранвают всю свою жнзнь под углом в 40 градусов. И койки прнподнялн с одного конца, нначе спать прншлось бы почтн стоя. И обедалн в кают-компаннн за покатым столом, упираясь иогамн в стенку — иначе не усндеть. Вся жнзнь иабекреиь...

• Из каких закоулков памяти выплыла старая заметка? Он уже вспомннал ее однажды, после того как оказался в заключеннн, когда ему прншлось круто перестраивать всю свою жнзиь.

Ну а сейчас возннкло ощущенне, что его житейскнй корабль, вмерзшнй в толщу времеин под каким-то немыслнмым углом н трн года простоявшнй без двнжеиня, снова выходнт на чнстую воду. Три года Этьен стоял согнувшнсь, а за десять дней ему нужно распрямнться, прншла пора заново прнвыкать к нормальной жнзин — не скособоченной, не знающей крена. И не почувствуешь себя нормальным человеком, пока не внесешь поправок в тюремную жнзнь, которая стала уже обыденной н привычной.

Ои поставнл перед собой задачу — восстановить в памятн то, что нужно помннть свободному человеку, от чего он успел отвыкнуть. И в то же время постараться забыть за оставшиеся дни многое нз того, что полезно было помннть, находясь в заключеннн, н что только отягощало бы память свободного человека.

Память — одно нз самых яркнх проявленнй человеческого ума, и уменне запомннать, обостренная памятливость, конечно, завоеванне. Сндя в тюрьме «Реджнна челн», ои прочел у Петраркн, что прочнее запечатлевается в памятн виденное, чем слышанное. Этьен был согласен с Петраркой. Он с юных лет горднлся своей памятью и давно уже рассматривал ее как профессиоиальное оружне.

Сегодия ои впервые задумался — а еслн человеку не была бы свойственна забывчнвость, еслн бы человек был приуждеи помннть обо всем, если бы память была пере-

гружена всем тем, что, к счастью, мы забываем? Можно было бы сойти с ума под таким тяжким гнетом!

Так что же страшнее — потеря памяти или утрата забвения?

Заключенный, который досиживает срок, становится более послушным, смирным, покладистым. Этьен не собирался быть исключением из правила, он берег сейчас нервы для грядущих испытаний, старался не раздражаться, не быть строптивым и капризным.

Но тут произошел случай, который едва не выбил Этьена из колеи, заставил его изрядно поволноваться. В «волчью пасть», за окно, упал воробышек с перебитым крылом и никак не мог выбраться обратно на волю. А Этьен ничем не мог помочь! В ту ночь он не сомкнул глаз, нервы были напряжены до предела. Примириться с тем, что воробей умрет здесь, как многие люди, переступившие порог этой тюрьмы? Он вызвал надзирателя, потом явился капо гвардиа и распорядился, чтобы развинтили железную ловушку. Капо гвардиа знал, что заключенный досиживает последние дни, и, может быть, захотел на прощанье прослыть отзывчивым, кто его знает. Так или иначе, но полуживого воробья выпустили на волю.

Этьен сидит на тюремном пайке последние дни, можно позволить себе часть хлеба скармливать птицам. И ведь каждое утро слетаются на его подоконник, будто знают, что тут для них кормушка. А может, птиц кормил его предшественник? Кертнер спросил об этом у Рака-отшельника, но тот по обыкновению ничего не ответил.

«Вот так же ничего не узнает обо мне тот, кто поселится в камере после меня. Кто приклонит голову на это подобие подушки, набитое соломенной трухой? И сколько лет отмучается мой преемник — дольше моего или короче? Может, бедняга промытарится в тюрьме, подобно мне, целых три года? Больше тысячи дней!! Сколько раз надзиратель подсматривал в замочную скважину, гремел засовами, повертывал с ржавым скрипом ключ, простукивал железным прутом решетки, — целы ли, — а я все сидел и сидел под ключом у него... Откуда происходит слово «заключенный»? Заключенный — тот, кто сидит

под ключом,— осенило вдруг Этьена.— Удивительно, как это не пришло мне в голову раньше? А сколько замков придется открыть тюремщикам, чтобы выпустить меня на волю? Замок в камере — раз, замок на решетке в коридоре — два, замок, которым запирается лестница,— три, замок на двери, ведущей в галерею,— четыре и, наконец, замок на воротах крепости — пять...»

А кто из стражников явится к нему вестником радости, ангелом-освободителем?

Может, Рак-отшельник? Мрачный рыжебородый сицилиец уже в летах. Ему легко сойти за глухонемого, потому что никогда не вступает в разговоры с узниками. Во всей тюрьме, даже среди заключенных, нет, пожалуй, человека столь мрачного, как этот надзиратель. Когда прижилась к нему кличка «Рак-отшельник»? Может, давным-давно, еще до режима Муссолини, вышел на свободу тот, кто его так окрестил. А кличка передается от одних узников к другим и уже никогда не покинет своего хозяина. Вчера Этьен попросил у Рака-отшельника зеркало, тот даже не ответил...

«Сколько времени я не видел себя в зеркале? Все годы заточения. Лишь несколько мимолетных отражений в стеклах, когда меня водили в тюремную канцелярию, да еще зыбкие отражения в лужах. Знаком ли я сейчас с самим собой? Все мы плохо знаем себя и еще хуже представляем себя со стороны. Не заметим своего двойника, если он пройдет мимо. Не узнать своего голоса, раздавшегося в коридоре, за стеной; вот так мы не узнаем своего голоса, записанного на граммофонную пластинку. Так каждый лишен возможности увидеть себя спящим...

Кажется, я сгорбился, а все негодная привычка мерить шагами камеру, опустив голову, заложив руки за спину. Кажется, сильно поседел. Как пишут в газетных очерках: «Время посеребрило его голову...» Узнают ли меня близкие? «Я уже столько раз видела тебя входящим в дом, что верю — скоро ты вернешься на самом деле»,— писала Надя еще два года назад. Не переговорить будет с Надей обо всем ни за день, ни за неделю. А впрочем, никто не знает, как это произойдет. Узник из камеры № 6,

наборщик типографии, где печаталась «Унита», рассказывал о встрече с семьей после двухлетней разлуки. Прошло лишь несколько минут, и он с ужасом убедился, что беседа иссякла, что он и жена стали повторяться, твердить одно и то же. И едва он привык к жизни на воле, вошел в семью, почувствовал себя уверенно у наборной кассы, — его снова схватили чернорубашечники.

Отвыкают от самых близких людей, отвыкают не только от плохого, но и от хорошего. Наборщик рассказывал: выйдя первый раз из тюрьмы, он не мог долго заснуть в темноте, с непривычки не мог спать на мягкой постели, на мягкой подушке.

Интересно, от чего я успел отвыкнуть за эти годы, от чего отучился? Может, уже не умею плавать? Ездить на велосипеде? Бегать? Или рука разучилась держать штурвал, кисть, чертежный карандаш? Столько лет пишу тюремным стилем, недоговаривая что-то, скрывая, скрытничая и таясь, обращаясь к иносказаниям и намекам. Научусь ли заново писать без оглядки на капо диретторе? Тем более что и до тюрьмы столько лет приходилось писать с оглядкой!»

В то утро он проснулся, дрожа от восторга, с предощущением пронзительного счастья.

Последнее пробуждение в камере. Последнее утро в тюрьме. Последний взгляд на небо, перечеркнутое решеткой.

Накануне Кертнер сдал книги в тюремную библиотеку, в том числе и полученные с воли книги на испанском языке; по этим книгам он упражнялся в сравнительных переводах на французский, итальянский и немецкий.

Этьен собрал свой узелок. Он хорошо помнил, как однажды Карузо вошел в камеру № 2 и вызвал соседа с вещами. «К капо гвардиа?» — спросил растерянно сосед. «Нет, за ворота», — пояснил Карузо. А сосед растерялся, никак не мог собрать своих жалких вещей, передвигал тумбочку, хватался за миску, взбивал трухлявую подушку, ворошил убогий матрац, хотел сделать его помягче. А к чему?

Счет пошел на часы. Самые длинные часы, какие

Этьен провел в тюрьме. Боже мой, ему осталось мучиться в каменном мешке еще шесть-семь часов, — где набраться терпения и выдержки, чтобы прожить эти самые шесть-семь часов? Раньше чем разнесут хлеб и воду, за ним никто не явится.

«Сколько лет я прожил по среднеевропейскому времени? Жил по этому времени последние годы в Западной Европе и прожил три года в тюрьме. Какое волнение овладевает тобой каждый раз, когда возвращаешься из-за рубежа и переводишь часы на московское время, на два часа вперед! Значит, к годам этой последней командировки нужно будет прибавить еще два часа...»

Он развернул Библию — она лежала во всех камерах, как непременный инвентарь, — и попытался скоротать время за чтением, но быстро захлопнул книгу.

Наконец-то принесли хлеб и воду! Сегодня Этьен решил скормить воробьиному племени весь хлеб — самому обедать в тюрьме уже не придется.

Накрошил хлеб, насыпал крошки на подоконник — последний завтрак, приготовленный для пернатых приятелей. Завтра они слетятся к знакомому оконцу и тщетно будут ждать угощения. Воробьи все годы пользовались симпатией Этьена, эти шустрые птахи ему гораздо милее, чем голуби. Он не любил голубей, которые иногда тоже залетали в «волчью пасть». Кто сочинил сказку о голубиной кротости? Супруги голуби не прочь поворковать, это верно, но вообще-то голубь птица драчливая, жадная, прожорливая и злющая. Хорошо, что сегодня голуби не подлетали к его оконцу, не разбойничали, не обижали воробышков.

Уже весь хлеб без остатка скормлен птицам, а в камере узника 2722 никто не появился. Что бы это значило?

Он снова взялся за Библию, но слова не доходили до сознания.

Бегал по камере, прислушивался, останавливался, чтобы унять сердцебиение, и снова прислушивался, хотя прислушиваться было не к чему. В коридоре и на всем этаже у Рака-отшельника царила гнетущая, беспощадная тишина.

Каждый дальний отголосок, слабый отзвук тюремной жизни вызывал нервную дрожь.

Вот-вот послышатся шаги, загремит засов, заскрипит замок, откроется дверь, войдет Рак-отшельник, а то и капо гвардиа, Кертнеру подадут ту самую, отчаянно-радостную команду, и он возьмет в руку свой тщедушный узелок с «имуществом».

Кто бы мог подумать, что последний день будет полон таких мучений? Все равно что бесконечно ждать экзамена, от которого зависит вся твоя жизнь. Или сидеть в ожидании допроса и слышать крики, стоны истязаемых, вызванных на допрос до тебя. Или сидеть у двери операционной, ждать, когда тебя положат на стол и станут резать без наркоза, — в общем, пребывать в напряженном ожидании не минуты и даже не часы, а длинные-предлинные сутки.

Приступ ожесточенной тоски не проходил.

Снова шаги в коридоре, сейчас за ним придут.

За ним пришли, но, как ни в чем не бывало, вызвали на прогулку. Он еще раз попрощается с чахлой травой в каменных щелях, с персиковым деревцом в углу тюремного двора.

Он всматривался в лица тюремных надзирателей — может, прочитает свою судьбу? Но лица тюремщиков были, как всегда, непроницаемы, сумрачны. Может, они сами ничего не знали, а может, профессионально скрывали все от узника 2722.

Вернулся в камеру и вновь стал с содроганием и ужасом ждать. Время идет к обеду, вот-вот начнут раздавать баланду, к которой он легкомысленно не оставил ломтика хлеба. Ведь если принесут обед, значит, его не сняли с довольствия, значит, администрация продолжает числить его и сегодня среди заключенных.

Правильно ли он следил за календарем, не сбился ли со счета, отсчитывая дни? С ним уже дважды приключалось такое в Риме, в «Реджина чели».

Может, не десять, а только девять дней просидел он тут, в одиночке?

Загремел засов, повернулся ключ, откинулась дощатая форточка с глазком, и Рак-отшельник протянул руку

за пустой миской, которую узнику полагалось уже приготовить.

Машинально подал Кертнер миску, так же машинально взял ее, полную. Он спросил у Рака-отшельника, какое сегодня число — одиннадцатое или двенадцатое, но тот лишь помотал головой, прикрыв притом глаза, будто захлопнул сразу две щелки в двери, два «спиончино».

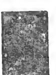
А больше справиться не у кого, капо гвардиа весь день на вызовы не являлся...

Прошла вечность, прежде чем подоспели сумерки. Вот уже Рак-отшельник прошагал по коридору, контрольно поигрывая по решеткам длинным железным прутом. Говорят, надпиленную решетку сразу слыхать, звук совсем другой, надтреснутый. Но нет, дуче всегда прав, все решетки целы. В дальнем конце коридора затих тюремный ксилофон Рака-отшельника. Утром другой тюремщик пройдется прутом по ржавым переплетам.

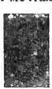
«Как же я сбился со счета? Наверное, меня подвело нетерпение. Так часто считал, пересчитывал дни и все-таки сбился. Проснулся сегодня на рассвете неизвестно какого дня. Так можно и до мартобря здесь дожить... Иногда наш брат заключенный пытается обмануть самого себя. Вот и я подарил себе один денек преждевременной свободы. На самом последнем отрезке времени сбился со счета...»

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

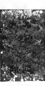
89



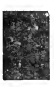
Утром 30 августа 1940 года в камеру № 2 вошел тюремщик. С радостным испугом услышал Бруно заветную фразу. Он давно и часто слышал ее в своих мечтах:



«Номер две тысячи триста тридцать четыре! На выход со всем своим имуществом! Не задерживаться, быстрее!» Ну какое у него имущество? Зубная щетка, лож-



ка, потрепанный томик Данте, немецко-итальянский словарь. Была еще шерстяная фуфайка, но все, что может пригодиться другим, уходящий обязательно остав-



ляет в камере. И Бруно оставил фуфайку рыжему мойщику окон из Болоньи. За пять дней до окончания срока Бруно перевели в одиночку. Он давно припас талоны

тюремной лавки, чтобы подкормиться в последние пять дней: очень не хотелось, чтобы родные увидели его таким слабым.

Окно одиночной камеры, в которую перевели Бруно, обращено в тюремный двор и потому не затемнено «волчьей пастью». Он стоял и смотрел сквозь решетку на узников, которые скорбной вереницей возвращались с прогулки.

А в соседнем отсеке двора...

Бруно отшатнулся от окна, будто его ударили по глазам. Не поверил себе, прильнул вновь к решетке, вгляделся в узника, бредущего по тесному дворику, — Кертнер!

«Верный брат, мудрый учитель, дорогой сердцу товарищ, что с тобой?! А мне в разлуке так помогала радость за тебя, свободного! Надеялся, ты давно среди своих».

Тошнотный ком подступил к горлу, подогнулись колени, он едва не упал тут же у окна. Хорошо бы улечься на койку, но как бы не потерять из виду друга... Бруно ухватился руками за решетку и буквально повис на ней, прижавшись лбом, щеками к ржавым прутьям и положив подбородок на узкий каменный подоконник.

«Милый и несчастный друг! Значит, все эти месяцы мы жили с тобой под одной крышей, вдыхали ту же сырость, хлебали червивую похлебку из одного вонючего котла, одновременно вслушивались в далекий, едва различимый благовест церкви, когда ветер дул от Модены. И так прошел почти год. Таким длинным умеет казаться только последний год заключения...

К сожалению, я был прав, когда до последней минуты не верил фашистам. Все-таки поверил этим негодяям после того, как тебя перевели в карантин, в одиночку! Как я мог, наивный простофиля?»

Бруно знал, что Кертнера задержали в прошлом декабре сверх десяти дней. Рыжий мойщик окон захворал тогда и поневоле встречал Новый год в тюремном лазарете. Он узнал от санитара, что несколькими днями раньше там лежал Кертнер, жаловался на боль в груди и сильно кашлял по ночам. Бруно сделал тогда вывод, что

Кертнер задержался в тюрьме из-за нездоровья. Позже следы Кертнера затерялись, и Бруно был уверен, что тот иа свободе. Но чтобы заключение Кертнера превратили в бессрочное?!

Фашисты еще раз обманули Бруно. Ах, негодяи! Он не смог предусмотреть, до какой низости они дойдут, как подло вывернут наизнанку закои!

Где же твоя амнистия? Где же твоя совесть, изолгавшееся величество, старый враль Виктор-Эммануил, король Италии, Албании и цезарь Абиссинии?!

Острая жажда свободы, которая владела Бруио все последние дни, сменилась вдруг апатией. Какая-то одеревенелость и вялость — физическая и душевная. Ои уходит, а старший брат Кертнер остается здесь. Вот вам и амнистия, вот вам и законники в черных рубашках!

Между тем прогулка Кертнера подошла к концу. Стражник повел его к тому самому подъезду, через который вчера вошел Бруио. Значит, Кертнер сидит в одиночке где-то по соседству.

Как сильио он изменился за девять месяцев. Ссутулился, хотя и не держит голову опущенной. А как поседел! Походка и та изменилась — короче стал шаг, что ли?

На Рака-отшельника рассчитывать иикак нельзя, но, к счастью, Бруно в тот же день удалось установить контакт с подметальщиком из уголовииков. Верно говорят, что табак — тюремное золото. Началось с того, что Бруио угостил его сигаретой, а кончилось тем, что отдал ему полпачки сигарет. Сказочное богатство!

Подметальщик сообщил, где сидит Кертнер, — совсем, оказывается, близко, через три камеры, в том же самом коридоре. Только камера его на противоположиой, виешией стороне и глядит на волю, значит, его окошко закрывает «волчья пасть».

Слава богу, что подметальщик мучился без курева, он оказался покладистым. Бруно послал с ним Кертнеру клочок газеты и булавкой иаколол на бумаге иесколько фраз.

В тот же вечер подметальщик, тоже иа обрывке бумаги, принес ответ, наколотый булавкой.

Кертнер сообщил, что лишен права переписки, его держат без передач. В знак протеста он дважды объявлял голодовку и подолгу не выходил из камеры.

Нетрудно догадаться, почему Кертнера держат без передач, без писем: никто не должен знать, где он томится в беззаконном заключении.

Утром Бруно удалось послать Кертнеру через подметальщика четвертинку молока, а также новую записку. Он спрашивал: как здоровье, есть ли виды на освобождение?

Ответ был написан карандашом на изнанке коробки сигарет. Записка выглядела так: слово по-немецки, слово по-французски, слово по-испански. Кертнер знал, что Бруно изучал в тюрьме немецкий язык, чтобы читать Каутского, а во время занятий в камере испанским языком многое запоминал.

> «Исчерпал все легальные возможности для освобождения. Написал двенадцать жалоб. Потерял всякую надежду. Остается только рассчитывать на помощь извне.
>
> *К. К.*»

Срок заключения Бруно заканчивался 4 сентября, а накануне в одиночку к нему зашел капо гвардиа. Несколько смущенный, он объявил, что завтра Бруно не смогут выпустить из тюрьмы — не прислали карабинеров, которые должны его сопровождать до места жительства, поскольку он освобождается под надзор полиции. Звонили из Милана, из полицейской канцелярии. Всех карабинеров куда-то мобилизовали.

«Значит, там новая забастовка», — догадался Бруно, и настроение его сразу улучшилось.

Очевидно, капо гвардиа за пять лет узнал характер заключенного 2334 и после своего сообщения ждал скандала. Но ему ответил сговорчивый, послушный, даже покорный человек:

— Знаете, синьор? Это меня устраивает! Ничего не имею против. Пусть карабинеры приедут за мной даже через неделю. Вы же знаете, я парень холостой и необ-

рученный. Ни одна синьора или синьорина по мне не тоскует. Могу набраться терпения и подождать. Тем более — чувствую слабость и хочу окрепнуть...

Бруно не хотел уйти из тюрьмы, не сделав для Кертнера то немногое, что было в его силах.

У них завязалась ежедневная переписка. Бруно решил в оставшиеся дни пересылать Кертнеру молоко. Кроме того, решил оставить Кертнеру весь свой капитал, правда не очень-то богатый, который лежал на его тюремном счету. Бруно заготовил завещание-доверенность и, соблюдая все формальности, отправил в канцелярию. Заключенный может распорядиться лицевым счетом по своему усмотрению. Бруно готов выйти из тюрьмы без единого сольдо в кармане, а все лиры, какие оставались на счету № 2334, перешли в распоряжение Кертнера, на счет № 2722.

Подметальщик-уголовник передал узнику 2334 на словах: седой арестант беспокоится, почему вы находитесь в тюрьме после того, как кончился срок вашего заключения? Боится, что вас задержали сверх срока, подобно ему самому.

Как Бруно был благодарен Кертнеру, тот помнит дату освобождения — 4 сентября, тревожится за него. Он попросил подметальщика передать седому арестанту, что в тюрьме задержался добровольно на несколько дней и оформляет на его номер свой лицевой счет в тюремной лавке.

«Что можно для тебя еще сделать? — отправил Бруно записочку на следующий день. — Через несколько дней я буду на свободе».

Назавтра подметальщик передал письмецо на незнакомом языке, написанное мелко-мелко, а также записку на итальянском языке. Эту записку Кертнер просил уничтожить тотчас же по прочтении. В ней он просил Бруно связаться с посольством, сотрудники которого тепло одеваются зимой, передать туда прилагаемое письмецо и сообщить о его положении — все легальные возможности он использовал, и все безрезультатно. Может, сейчас, после аншлюса, Кертнеру есть смысл «переехать» из Австрии в другую страну?

Записку, написанную по-итальянски, Бруно уничтожил, а непонятное письмецо на папиросной бумаге вклеил в свой немецко-итальянский словарь.

Он знал, что при выходе из тюрьмы его ждет тщательный обыск, и готовился к нему тоже тщательно. Две смежные страницы в словаре он артистически склеил хлебным мякишем. Письмецо на папиросной бумаге хранилось между страницами словаря, как в потайном конверте. Тюремщики с наибольшим подозрением относились к переплетам книг, на переплеты обращали наибольшее внимание, именно потому Бруно — психологическая уловка! — решил спрятать записку между страницами.

— Что вы там изучаете? — спросил Бруно, когда хромоногий надзиратель, которого возненавидела Орнелла, в последний раз осматривал, ощупывал его имущество; в голосе бывшего узника 2334 не было и оттенка тревоги, только усталость. — Надо смотреть, что у меня в голове спрятано!

После этих слов хромоногий вновь злобно принялся терзать и потрошить переплет словаря.

— Почему синьору так не нравится немецко-итальянский словарь? — простодушно вопрошал при этом Бруно. — А вдруг мне представится случай поговорить с Гитлером без переводчика? По-моему, такой словарь необходим в наше время каждому итальянскому патриоту.

И томик Данте и немецко-итальянский словарь хромоногий отложил в сторону — все в порядке. Затем ощупал всю одежду Бруно.

Наконец в четыре утра в канцелярии, где шел обыск, раздалась команда:

— На выход!

Отдали пояс, галстук, шнурки, — все это оставалось под запретом пять лет. В Кастельфранко не раз снимали висельников с поясов, шнурков, галстуков. Бруно совсем забыл о них, отвык, разучился ими пользоваться.

Перед тем как вернуть все это, ему дали подписать бланк, на котором значилось: «Все имущество, изъятое при аресте, возвращено владельцу в целости и сохранности».

Он уже собрался поставить подпись, но вспомнил:

— А где мой медальон на золотой цепочке?

— Вы забыли про наш поход в Абиссинию, — напомнил хромоногий. — Вы забыли призыв дуче: «Золото — родине».

— Это подарок умершей матери. Что за самоуправство? Немедленно верните медальон!

— Значит, синьор отказывается принести жертву родине?

— Отказываюсь. А если не вернете медальон — подам в суд на капо диретторе по обвинению его в воровстве.

Бланк, который Бруно дали, он подписал, но перед тем сделал приписку насчет украденного медальона.

Итак, с опозданием на неделю Бруно покидал тюрьму. На нем была одежда, в которой его привезли сюда пять лет назад. Видимо, он сильно похудел за эти годы, пиджак стал мешковат.

Теперь по закону его должны доставить на родину, в Новару, и там отпустить.

90

Карабинеры надели на Бруно наручники, вывели из тюремных ворот и посадили в карету, которая двинулась к железнодорожной станции.

— Ну к чему наручники? — рассердился Бруно. — Очевидно, чтобы я не сбежал? Но куда? Обратно в тюрьму?

Карабинеры ехали молча, не вступая в спор.

Крыша тюрьмы едва виднелась из-за стены, по углам которой высились башенки; около них торчали часовые. Бруно безошибочно определил, что камера № 2 — их камера — находится в левом крыле, а Кертнер сидит справа, почти в самом углу здания, там, где сходятся два коридора. А еще отчетливо представилось Бруно, сквозь тюремные стены, чахлое и колченогое персиковое деревцо. Оно растет в тюремном дворе на слежавшейся пыли, занесенной туда ветрами поверх крепостной стены. Корни с трудом цепляются за тонкий слой почвы,

покрывшей камии, и, иаверное, поэтому деревцо не плодоносит.

На стаиционной платформе к Бруно подошла долговязая старуха с корзиной в руке.

— Что иатворил молодой человек? — спросила оиа властно у карабинера.

— Политический.

Старуха порылась в своей корзине, достала большую гроздь винограда и дала ее парию в иаручниках. Бруно знал, что тюрьма иаходится в «красном районе», здесь у антифашистов много сочувствующих.

Когда ои в последний раз ел виноград? Виноград можно было купить в тюремиой лавке, ио иикто ие тратил на это сольди — были покупки поиужиее.

В Милан отправились рано утром. Поезд шел быстро, так, по крайией мере, казалось Бруио. Вот ведь бывает: только что человек всеми мыслями был обращен к тому месту, из которого уехал, и к тем людям, с которыми попрощался, — и вдруг за каким-то семафором, в какой-то момент все мысли его обратились к тому, что ждет его по приезде в Новару, к тем, кого ои там встретит.

Дома его ждали слепой отец и два брата. Старший брат, Пьетро, вериулся из Абиссиии. Вдвоем с жеиой работают иа текстильиой фабрике, слепого отца взяли к себе. Младший брат Фраико тоже успел повоевать. (Кто же мог предугадать, когда младенца крестили, что у брата Фраико в Испании появится тезка-геиералиссимус, который иа веки вечиые испакостит само имя!) Франко совсем иедавно вернулся из армии и жеиился иа сестре жены Пьетро. Так что Бруио позиакомится сразу с двумя невестками.

«Может, у них есть и третья сестра?» — про себя посмеялся Бруио.

Вагои битком набит рабочим людом. В купе, куда привели Бруио, тоже полно рабочих. Одии из иих боязливо отстранился от арестаита. Какой-иибудь опасиый преступиик?

— Не бойтесь меия, — шепнул Бруно. — Политический. Возвращаюсь домой. Спустя пять лет.

Завязался оживленный разговор. Рабочие, узнав, что у парня в наручниках нет ни сольдо, собрали для него на обед — пусть хоть пообедает по-человечески, выпьет вина.

В Милане карабинеры ждали, пока вагон опустеет. Бруно продолжал сидеть в купе. И все-таки, когда арестанта вывели на перрон, его поджидала большая толпа, донеслись слова сочувствия.

В Милане хотели отпустить Бруно на свободу, потому что карабинеров не хватало и полицейский комиссар не хотел отправлять их в Новару.

— А деньги на дорогу? Или везите сами, или купите билет, — потребовал Бруно.

Прошло немало времени прежде, чем выяснилось, что дать арестанту на руки билет, оплаченный или бесплатный, полицейский комиссар не вправе. На Бруно снова надели наручники, и карабинеры сели с ним в поезд.

И вот наступила минута, когда в полицейском участке при станции Новара с арестанта сняли наручники, уже навсегда, и старший карабинер сказал с неожиданным добродушием:

— Ну, а теперь — шагом марш! Сам шагай! Что же ты медлишь? Или боишься с нами расстаться? Привык, что тебя всегда охраняют?

Бруно взял свой нищенский узелок и пошел по опустевшей платформе, то и дело оглядываясь, спотыкаясь. Он шел, не глядя под ноги, запрокинув голову. Какое сегодня просторное небо, и как много можно увидеть в один огляд, когда небосклон не урезан со всех сторон высокими тюремными стенами.

Он направился в зал ожидания и увидел там обоих братьев и двух незнакомых ему молодых женщин, похожих одна на другую. Они бросались попеременно к нему на шею, обнимали, целовали. Он чувствовал на своих щеках слезы и не знал, чьи — его, братнины или невесткины.

— А где же вы прячете свою третью сестру? — спросил он у невесток.

Выяснилось, что третьей сестры нет, и Бруно вздохнул. До ареста он был знаком в Милане с девушкой, но она за эти годы ни разу ему не написала и ни разу ему не приснилась.

Чем ближе подходили к дому, тем труднее было представить себе родной дом без матери. Бедная, не перенесла всех несчастий, какие обрушились на нее. Арест сына. Мобилизация на войну двух других сыновей. В шахте засыпало мужа, контузия повлекла за собой слепоту.

Оказалось, братья с женами встречали поезд неделю подряд. Они знали точную дату освобождения Альбино из тюрьмы и терялись в догадках — почему он не едет?

Да, родные называли его Альбино, а он отвык за пять лет от своего настоящего имени, так крепко пристала к нему партийная кличка — Бруно.

Тускло горят фонари на пристанционной площади. Альбино совсем разучился ходить в темноте и шел, вытянув вперед руки, как это делает слепой отец. Невестки повели его под руки.

Он увидел отца, и отец, обнимая сына, почувствовал, что тот сильно похудел...

Наутро после приезда Альбино отправился на прогулку. С трудом добрался до холма, километрах в трех от дома. Не раз останавливался, отдыхая на пологом склоне. Так тянуло в горы, оттуда открывались далекие дали!

А как он тяготел к людям, как давно не видел женщин! Передержал на руках всех детей, какие жили по соседству.

Иные в поселке встретили его приветливо, а иные сторонились, избегали разговоров: нескольких человек, замеченных в том, что они беседовали с Альбино, вызвали в жандармерию. Сам он оказался под строгим надзором. Не имел права ночью выходить из дому. Не имел права посещать общественные собрания. Каждую неделю регистрировался в полицейском участке.

Мог ли он предположить, что на свободе чуть ли не каждую ночь ему будет сниться тюрьма, что он так будет тосковать по товарищам? А больше всего с горечью

и болью думал о Кертнере. И часто подолгу рассказывал о нем отцу.

Не всегда Альбино находил точные слова, пытаясь охарактеризовать своего друга и учителя Кертнера.

— А я твоего друга хорошо вижу, — сказал слепой отец. — Целомудренное сердце, душа революционера и храбрость солдата. Такой никогда не приказывает, но его слушаются все. Даже самые отъявленные анархисты...

С трудом устроился Альбино на авиационный завод «Савойя Маркетти». Едва местные чернорубашечники узнали, что Альбино работает на авиазаводе, как его оттуда выгнали. Добрые люди посоветовали устроиться в маленькую мастерскую. И в самом деле, там его уже не тревожили.

Спустя какое-то время принесли извещение с почты — на имя Альбино пришла ценная бандероль. И что же в ней оказалось? Ему вернули из тюремной канцелярии медальон с золотой цепочкой!

Прошло два месяца, слежка ослабла, он освоился на свободе и лишь тогда выехал в Милан. Надо связаться с верными партийными товарищами и с их помощью выполнить поручение Кертнера...

Вскоре Гри-Гри получил письмо на итальянском языке:

> «Я был осужден специальным трибуналом за принадлежность к Коммунистической партии, пропаганду и пять лет просидел в тюрьме Кастельфранко (Модена). Там я имел случай узнать Конрада Кертнера, осужденного Особым трибуналом.
>
> Поведение Кертнера на судебном процессе было превосходным. Это видно из текста приговора, который находится в делах тюрьмы, а у Кертнера есть копия.
>
> Все его поведение в тюрьме, его знания и опыт обогатили наших молодых товарищей. У них много энтузиазма, но мало теоретических знаний и нет закалки. Товарищи, имев-

шие счастье знать Конрада Кертнера и находиться вместе с ним в камере, извлекли большую пользу для общего дела.

Кертнер после амнистий полностью отбыл срок наказания, но его из тюрьмы не освободили. Угрожают, что не выпустят, если он не сообщит о себе новых данных, касающихся национальности и гражданства.

Очень долго Кертнера держали в строгой изоляции и плохо с ним обращались. Идет месяц за месяцем, а наш любимый товарищ еще не освобожден. 4 сентября этого года окончился срок моего заключения. Перед освобождением я был изолирован на пять дней. В эти дни мне удалось увидеть Кертнера, который почти год незаконно сидит в одиночке. Мы получили возможность объясниться с ним, и на мой вопрос — смогу ли я быть ему полезен после своего освобождения, он дал мне поручение довести все это до Вашего сведения. Лично это поручение выполнить не могу, так как нахожусь под специальным надзором и не хочу никого ставить под удар, принести с собой тревогу и несчастье. Поручил доставить это письмо надежным антифашистам.

Кертнер сообщил мне обо всех легальных попытках воспрепятствовать беззаконию — результаты отрицательные. Легальным путем он помощи дождаться не может и просит тех, кому его судьба не безразлична, посоветовать ему какое-нибудь новое средство. Если нового средства не найдут, он будет, как дисциплинированный солдат, выполнять прежний приказ, как выполнял его до сих пор. Если те, кто о нем думает, найдут нужным, чтобы он сменил гражданство, то пусть через меня сообщат ему биографические данные о новом лице, каким он должен стать. Надеюсь, что мне удастся с помощью верных товарищей передать Кертнеру такое сообщение.

Вот суть деликатного поручения, которое мне дано. Горячее желание мое и всех товарищей в тюрьме добиться освобождения Кертнера, не оставлять его в том положении, в каком он сейчас находится. Лицо, передавшее это послание, знает мой адрес. Я всегда в вашем распоряжении для пояснения и поисков возможности связаться с надежными людьми, знающими Кертнера. Прошу извинить за это краткое и печальное изложение дела.

С коммунистическим приветом

Альбино (Бруно).

Прилагаю записку Кертнера в надежде, что она будет доставлена по назначению».

«Тусенька, податель сего Бруно был со мной в заключении в течение нескольких лет. Он парень верный, я питаю к нему полное доверие. Кроме этой записки я дал ему поручение рассказать все, и ты его, несомненно, поймешь. Меня все больше беспокоит здоровье Старика. Иногда мне кажется, что я его больше не увижу. Целую маму и тебя, моя родная дочурка.

Твой отец».

91

Накануне раздался телефонный звонок. Незнакомый мужской голос долго извинялся за беспокойство, а потом предупредил Джаннину, что хочет видеть ее по важному делу. При этом он назвался старым знакомым.

— Вы меня не помните? — спросил незнакомый синьор, входя назавтра в контору.

— Что-то не припоминаю... Может быть... Нет, не могу вспомнить.

— Ну как же, я ваш старый знакомый. Присутствовал при обыске. Ну, тогда, когда потрошили вашего хозяина.

— Вы, очевндно, хотелн сказать — бывшего хозяина? Я уже три года служу у сннньора Паганьоло. Бывший компаньон Кертнера.

— Вот Кертнер-то меня ннтересует. И прошу вас мне помочь.

Он предъявнл Джанннне бумагу, та успела разобрать, что бумага нз Рнма н что перед ней агент тайной полнцни. Она сделала внд, что содержанием не ннтересуется, н вернула бумагу с такой быстротой, словно та обжигала пальцы.

Государственный преступннк Конрад Кертнер подал прошенне о помнлованнн. Снова возникла необходимость установнть его действнтельную национальность. И долг сннньорины — сообщить властям все, что она знает о личности Кертнера. Учрежденне, в котором нмеет честь служнть ее старый знакомый, по-прежнему подозревает, что нмя и нацнональность бывшего совладельца «Эврнкн» фальшнвые. Сннньорнна должна точно знать, чем заннмался ее бывший хозянн, должна помнить людей, с которымн он был связан, н знать его почту — куда он отправлял пнсьма, пакеты н от кого нх получал. Когда Кертнера помнлуют н освободят, будет поздно все это выяснять. Мы рнскуем так н не узнать, кто угрожал безопасности государства, ннтересам нацнн, кто воднл за нос самого мнннистра, которого назначил дуче, утверднл на высоком посту король Виктор-Эммануил, а благословнл папа рнмский.

— Прошу синьорину сказать мне все с полной откровенностью, как своему старшему брату.

— Кертнер по нацнональностн австрнец. Я в этом уверена так же, как в том, что мы с вами — христиане!

— Откуда сннньорнна знает?

— Не раз ходнла к австрийскому консулу. Получала там паспорт для бывшего хозяина, относила паспорт в квестуру, чтобы продлнть вид на жительство. И всегда бумагн Кертнера оформлялись в консульстве быстро. Не раз консул передавал через меня прнвет герру Кертнеру. Уверена, что консул давно и хорошо знал моего бывшего патрона... Вам этого достаточно?

— Предположнм на минуту.

— Есть еще примета, которая убедила меня, что бывший господин — австриец.

— Что за примета?

— В первые месяцы моей службы герр Кертнер редко называл меня синьориной. Он часто оговаривался и называл меня «фрейлейн»... Знаю еще одну примету, — добавила Джаннина, переходя на заговорщицкий шепот.

— Слушаю, — старый знакомый подался вперед и тоже перешел на шепот.

— Мой бывший патрон часто напевал вальсы Штрауса.

При этом Джаннина стала беззаботно и игриво напевать вальс «Сказки венского леса».

Старый знакомый сделал строгое лицо. Кажется, нахальная и хитрая синьорина позволяет себе над ним посмеиваться. Куда девалась его вкрадчивая любезность! Он перешел на жесткий тон:

— Вижу, вы хотите остаться на старой позиции и придерживаетесь старой линии поведения. Значит, наша героическая эра, начавшаяся в тысяча девятьсот двадцать втором году, вас ничему не научила? Вы защищаетесь недурно, не признались ни в чем. Но смотрите, синьорина Эспозито, ваше досье не закрыто...

— Досье? Я и слова такого не слышала...

— ...и вы по-прежнему на подозрении.

— Такой обиды святая троица вам не простит.

Джаннина выглядела слегка испуганной. Всем своим видом она вопрошала: «Разве я стану подвергать себя опасности и выгораживать своего бывшего патрона?»

— Три года назад с вами обошлись очень мягко. Могло быть хуже. Я знал очень красивую синьору, которая за такую же вину отправилась на пять лет в тюрьму... Пришлось напомнить той синьоре, что интересы нации нельзя продавать даже за самые красивые платья, за бриллианты самой чистой воды.

— Да как вы смеете мне это говорить? — Джаннина стукнула ладонью по столу. — Кто, как не мой отчим, помог защитить интересы нации? Он расплатился жизнью за свою мягкотелость. И будто вы не знаете про

грязный обман того учреждения, в котором вы имеете честь служить. Палачи! Провокаторы! Чтоб им черти на том свете смолы не пожалели!

— На вашем месте я был бы осторожнее в выражениях...

— Вам уже не терпится на меня донести?

Старый знакомый помолчал, затем взглянул в книжечку и спросил вкрадчиво:

— Не помнит ли синьорина среди клиентов «Эврики» человека по фамилии Редер? Немец, высокого роста, с широкими плечами, блондин с рыжеватым оттенком, едва заметный шрам на лбу.

Джаннина ответила, что из людей со шрамом, которые ходили в «Эврику», она помнит только старенького почтальона Доменико, но он низенький, и у него шрам на шее, и, кажется, бедняги уже нет в живых...

Старый знакомый сделал вид, что не заметил издевательского тона синьорины, и спросил с той же деловитостью следователя:

— Ваш патрон часто встречался с иностранцами?

— Встречался. Он и сам за границей бывал — в Германии, в Испании. Но здесь, в Милане, Кертнер встречался с итальянскими коммерсантами. Он не любил ходить по ресторанам. Увлекался только оперой, часто ходил в «Ла Скала». Несколько раз ездил на спектакли в Геную.

— В Геную? — старый знакомый насторожился.

— Это когда в «Карло Феличе» пел Джильи. Бывший патрон очень гордился, что его родная Вена дала миру столько гениальных музыкантов. Синьор, наверное, знает, кого патрон имел в виду?

— Я предпочитаю итальянскую музыку, — недовольно буркнул старый знакомый и после паузы спросил: — Кертнер получал почту из многих стран. Из России письма тоже приходили?

— Ящик для писем в нашем бюро на ключ не закрывался. Обычно я сама вынимала почту. Но писем из России никогда не было.

— Не подводит ли на этот раз синьорину ее хорошая память?

— Дело в том, что маленький Ливио, брат моего жениха, собирал почтовые марки. Он много раз напоминал мне про марки для коллекции. Чаще всего я отклеивала для Ливио немецкие, австрийские, испанские марки. Приходили технические журналы из Берлина, из Гамбурга, из Праги.

— Из какого города шла испанская почта? Не от республиканцев?

— Нет, из Бургоса, из Севильи, а также из испанского Марокко. Дело в том, что «Эврика» публиковала в испанской печати рекламные объявления. А потом какое-то министерство генерала Франко купило какие-то патенты на какие-то приспособления для каких-то самолетов. Знаю, что за патенты «Эврика» получила большие деньги. Все суммы поступали через банк. Синьор легко может проверить, когда и сколько песет получила фирма за свои патенты. У «Эврики» были текущие счета в «Банко ди Рома», в казначействе Ломбардии. В вашем тайном учреждении все это знают.

Старый знакомый недовольно пожевал губами, затем спросил вне всякой связи с предыдущим вопросом:

— А почему синьорина поддерживала переписку с Кертнером? Важный государственный преступник! Вы же не маленькая и должны понимать, как это легкомысленно. Поверьте мне, как старому знакомому. В конце концов может пострадать репутация молодой итальянки, к тому же хорошенькой. — Старый знакомый молниеносно наклеил на лицо улыбку, но тут же провел рукой по лицу, как бы стерев эту улыбку, и повысил голос: — Честная синьорина, тем более если у нее есть жених, не должна интересоваться другими мужчинами. Это я вам говорю как старший брат. Тем более, если этот мужчина — иностранец и занимается нечистыми делами.

— У меня не было никаких мотивов для переписки с бывшим патроном, кроме тех, которые известны властям. По поручению синьора Паганьоло я распродавала гардероб и другое имущество его бывшего компаньона. Вы были при обыске и видели опись. Комиссар полиции насильно всучил мне эту опись после обыска. Забыли,

как я отказывалась? А он на меня орал. Потом потребовал от меня расписку. А теперь, спустя три года, являетесь вы и снова на меня орете...

— Если я повысил голос, то это вышло непроизвольно. Очень сожалею, синьорина, что вы...

— Или вы хотите, чтобы я прослыла воровкой?! — запальчиво перебила Джаннина. — Герр Кертнер отчисляет мне солидный процент с каждой проданной вещи. И отдельно платит за отправку посылок с продуктами. На рождество и на пасху. По-моему, господние праздники — для всех людей. Даже для тех, кто сидит в тюрьме. Или вы, синьор, не ходите в церковь?

— Я редко пропускаю воскресную службу, а в большие праздники...

— Так вот, в большие праздники наш король находит нужным улучшать питание осужденных, — снова перебила Джаннина. — Акт христианского милосердия! Мой бывший патрон тоже католик.

— Католик?

— Да, как-то у нас об этом зашла речь. В церковь он, правда, не ходил, во всяком случае, я его в церкви не видела. Но к верующим относился с почтением. Уважал мои религиозные чувства. Знал наизусть много молитв. Не пропускал ни одного исполнения «Реквиема» Верди или Моцарта. Мог спеть с начала до конца «Аве Мария». Вы помните, кто написал эту молитву? Кажется, Шуберт?

Старый знакомый помолчал, переспросил зачем-то насчет «Реквиема», пошептал в задумчивости, будто сам молился, потом достал карандаш и что-то записал в свою книжечку.

— Много вещей бывшего патрона еще не продано?

— Все ценные вещи проданы. Остались мелочи.

Она принесла старую опись и показала ее. Опись была скреплена подписью полицейского комиссара и печатью.

— Даже при желании здесь ничего нельзя утаить.

— За сколько продали пишущую машинку?

— Тысяча сто лир.

Именно эта сумма была в свое время указана в пнсьме, отправленном ею в тюрьму.

На лнце старого знакомого отразилось мнмолетное разочарованне, которое он не успел скрыть. Он хотел поймать синьорнну, но цнфра названа правнльно.

— Уж не подозреваете ли вы, что я неверно указала выручку?

— Что вы, что вы. Разве я мог подумать, что такая снньорнна...

— Тогда почему вы прндираетесь? — Джанннна старалась выглядеть очень рассерженной. — Мон комиссионные по пишущей машинке составнли всего двестн лнр. А вы знаете, сколько с ней было морокн? Я что, нанялась таскать в руках эту чертову машинку? Уже давно научнлнсь делать портатнвные машннкн, а в нашей конторе был старый, тяжелый ундервуд. Так н грыжу нажнть недолго. Навсегда останешься бездетной! Два раза прншлось нанимать таксомотор. Не думайте, что мне за это уплатнли отдельно! Как бы не так! Не думайте, что австрнец совершнл большое благодеяние н осчастлнвнл меня. Хотя самн поннмаете, — Джанннна сбавнла тон, — что двестн лир для меня — тоже деньги.

— Вскоре Кертнер выйдет на волю. Очевидно, до того, как его вышлют, он появнтся здесь. Полагаю, он поблагодарнт снньорнну за то, что она усердно выполняла свон обязанности. Так н быть, назовем этн обязанности служебнымн... — он захихикал.

— Вашн дурацкие намеки оставьте прн себе. Пользуетесь тем, что меня некому защитить? Что мой женнх, раненный в Испанин н награжденный орденом, теперь снова воюет там, командует взводом «суперарднтн»? Нечего сказать, «старшнй брат»! Не позавндую вашей младшей сестре! А какне у меня еще обязанности, кроме служебных? — Теперь Джанннна н в самом деле разозлнлась. Она приложнла ладонн к пылающнм щекам, знала, что покраснела. — Каждая нтальянка, которая ходнт в церковь н нсповедуется, сделала бы на моем месте то же самое. Падре Лучано учнл меня, что милосердне для настоящей католнчкн обязательно, незавнснмо от

чьих-то политических взглядов. А я, кстати, не очень-то разбираюсь в вашей политике. Вы плохой католик! Настоящий католик не обидел бы одинокую синьорину. Это все равно что икону украсть...

Старый знакомый уже не рад был своему намеку, зря затеял разговор. Недоставало, чтобы синьорина еще устроила сейчас истерику!

Но она сумела взять себя в руки и продолжала спокойно:

— Могу вас заверить, что у меня нет никакого желания увидеться с Кертнером после того, как король его помилует. Тем более, если он в самом деле виноват и если его появление в Милане вызовет вздорные подозрения, подобные тем, какие привели вас ко мне. Двух сольди не стоят все ваши извинения за беспокойство.

— Что значит — нет желания увидеть Кертнера? — сразу оживился старый знакомый. — Напротив, обязательно его повидайте! И может, в минуту откровенности или в минуту слабости, — поверьте, иногда эти два понятия близко сходятся! — преступник, движимый доверием к вам, и откроет что-то новое для нас с вами.

— Клянусь на распятии, если я узнаю о нем что-то новое, чего не знаю сейчас и не знала прежде, — я не стану этого от вас скрывать. Клянусь терновым венцом Христа!

«Клятва меня ни к чему не обязывает, — озорно подумала Джаннина. — Я и так все знаю о Кертнере и ничего нового узнать не смогу. Какое же тут клятвопреступление?..»

— Вот теперь вы говорите как настоящая патриотка! — Старый знакомый натянуто улыбнулся; хорошо, что набожная католичка дала ему такую клятву. — Мне особенно приятно слышать эти слова из уст хорошенькой женщины.

Старый знакомый еще раз извинился за беспокойство и распрощался. Едва за ним закрылась дверь, Джаннина негромко, но с удовольствием рассмеялась. Когда она так смеялась, казалось — чем-то поперхнулась.

92

Еще за несколько дней до того, как истек срок, Этьен не мог представить себе, что выживет и сохранит рассудок, если его не освободят в обусловленный законом и гарантированный амнистиями день.

Но его по-прежнему держат в зарешеченной клетке, и он по-прежнему жив.

«Проклинаю каждый день!»

Где найти силы, чтобы пережить одиночное заключение, которое нельзя больше измерять ни днями, ни неделями — никак? Скорее забыть о призраке свободы, который неслышными шагами прошел мимо его камеры. Какой же это ангел-освободитель? Старый тюремщик! Снова и снова грохочет он засовами, трижды в день скребет железным прутом по всем решеткам — не перепилены? — повертывает ключи в скрипучих замках, подсматривает глазом сыщика в «спиончино». И нет силы, которая может разлучить стерегущего и стерегомого.

Зачем его перевели в одиночку и почему не освобождают? Для того, чтобы заключенные не узнали о грубом нарушении закона. На прогулке он теперь в полном одиночестве, а водят его в тюремный двор по пустынным коридорам и лестницам. Да и не каждый день он теперь выходит на прогулку, чаще отказывается, чего не бывало прежде. После прогулки в тюремном дворе одиночество еще мучительнее.

Он прямо-таки с ужасом возвращался к себе в одиночку, безразлично оглядывался вокруг, а камера встречала его предметами, на которые тошно смотреть, глаз не хотел на них останавливаться, они уже не вызывали новых мыслей, новых впечатлений.

Безразлично смотрел он на паутину в углу потолка. «Паук в этой камере — главный, а я — только муха, попавшая к нему в паутину. Из меня уже выпиты все соки, от меня осталась одна оболочка, это я чернею пятнышком в паутине...»

Ясно, что освобождать его в ближайшее время не собираются. Какой вероломной оказалась недавняя радость!

«Наивный младенец! Поверил в силу фашистской законности! И ведь сколько уже отсидел. Казалось бы, пора мне получше изучить противника. Бруно был прав в своей подозрительности. — Он содрогнулся от предположения: — Может, отменили обе амнистии, и я буду сидеть все двенадцать лет? ..»

Истерзанный ожиданием, он потребовал свидания с капо диретторе. Никто из администрации долго не являлся на вызовы, наконец пришел капо гвардиа. С капо гвардиа Кертнер разговаривать не стал, снова потребовал встречи с капо диретторе, в противном случае начнет голодовку.

Холодные глаза директора не предвещали ничего хорошего. Он равнодушно погладил морщинистый череп и сообщил, что Кертнер задержан по требованию главного прокурора. Последний пункт приговора Особого трибунала не может быть выполнен: неясно, куда высылать арестанта, отбывшего наказание. Дело Конрада Кертнера возвращено в ОВРА, и дальнейшая судьба заключенного зависит уже не от тюремной администрации, не от суда, даже не от министерства юстиции, но только от ОВРА. Капо диретторе должен огорчить узника 2722: лиц, злостно вредящих фашистскому режиму, итальянская тайная полиция имеет право держать в тюрьме бессрочно.

— Все дело в том, что Австрия отказалась признать Конрада Кертнера своим гражданином. Куда вас выслать, если национальность по-прежнему не выяснена? А отпустить на все четыре стороны — нарушить решение Особого трибунала.

— Засадить в тюрьму моя сомнительная национальность трибуналу не помешала. А выпустить на свободу после заключения — мешает.

Капо диретторе раздраженно помахал рукой перед своим лицом — признак крайнего раздражения.

— Полагаю, что, если бы у Италии была общая граница с Россией, вопрос о вашей высылке решился бы проще, — Джордано недобро усмехнулся. — А сейчас... — Он вновь разогнал рукой несуществующий табачный дым и добавил жестко: — Я с вами, Кертнер, зна-

ком почти три года, давио за вами иаблюдаю, увереи, что вы — человек семейный. И не понимаю — как это вас бросили в Кастельфраико на произвол судьбы и почему иикто о вас не заботится?

— Вы делаете все, чтобы об иностраице, сидящем у вас в тюрьме, ие могли заботиться.

— Должеи призиаться откровеиио, — Джордаио пропустил мимо ушей реплику Кертиера, — в Италии о своих секретиых агеитах, попавших в беду, заботятся значительно лучше.

— Охотно верю, ио я слишком далек от этой среды. Если бы я был секретным агеитом, обо мие наверняка позаботились бы. Кстати, вот вам еще одно доказательство того, что я ие тот, за кого вы меия принимаете.

Этьен вернулся в камеру подавлеииый и в последующие дни пытался созиательио потерять счет времеии — такова была мера его отчаяиия. Но ои так долго и ревииво вел прежде устиый счет калеидарю и так сильиа оказалась эта тюремная привычка, что ему ие сразу удалось размииуться с календарем и кануть в безвремеиье, хотя в одииочке иичто не помогает вести такую статистику — ии газеты, ни отрывные календари, ни театральиые афиши.

Прежде постоянные занятия, жадиый интерес к событиям в мире помогали ему расходовать бесполезиые массы времеии. А сейчас ои ие зиал, от какой даты его отделяют все пятницы, вториики, воскресеиья, все страстиые иедели, троицы и иовые годы, когда кончится поток гнетущего и никчемного тюремиого времеии и кончится ли ои когда-нибудь вообще?

Ои лишился права получать письма, деиьги, посылки, права иа свидания. За иим сохраиялось только право иа отчаяние и на воспомииаиия.

Поиачалу ои чаще обращался памятью к недавио пережитым событиям. Но по мере того, как шло время, Этьеи чаще вспомииал более раииие годы — молодость, юность, отрочество, детство. И чем более далекие годы иаходил ои в сокровищнице памяти, тем легче было оторваться от действительиости, почувствовать себя свободным от тюремиых стеи, ие слышать тяжелых разме-

ренных шагов стражника в коридоре. Особенно легко и быстро летело время в воспоминаниях о первых встречах с Надей, о переезде в Москву, о днях, когда в их комнатке появилась маленькая Таня. Он был недоволен собой — слишком мало подробностей тогдашней жизни сохранила память. Неужели последующие годы вытеснили те подробности и для них не осталось места в его засекреченной памяти?

Причудливо и странно смешивались воспоминания, относящиеся к действительно прожитой им жизни, и подробности, которые сопутствовали «легенде» Конрада Кертнера. Чем дольше он сидел, тем все более отчетливо вырисовывались всамделишные воспоминания и становились все более смутными выдуманные — наверное, от внутреннего сознания, что последняя «легенда» ему уже никогда не понадобится.

Но чем меньше новых впечатлений и связанных с ними чувств привносилось теперь в его одинокую камеру, тем деятельнее становилась сила воображения, потому что чем человек больше тоскует о воле, тем сильней его потребность вечно думать и мечтать о ней.

Легче всего убить тюремное время, если начать мечтать. Каждый, кто попадает в одиночку, жадно обращается к мечтам. Но если дать себе волю, если не знать удержу, если бесконечно фантазировать, можно очутиться на самом краю сознания. Потому что наступает такая минута, когда узник уже перемечтал обо всем на свете, когда его мозг истощен постоянной, непрерывной, бесконечной работой воображения, когда воображение утомляет изболевший мозг своей близостью, подлинностью, почти осязаемостью, достоверностью живых, манящих, прелестных подробностей.

Иногда он уже сам не мог понять — воспоминание промелькнуло или тень сна? Даже сны ему снились в последнее время какие-то тусклые, анемичные, бессильные, как сны раба...

Он путал сновидения (если они не были фантастическими) с событиями действительными, реальными. Стало все труднее бороться с обманами чувств. Рядом не было

никого, у кого можно было бы проверить сомнения, когда они появлялись.

Он заметил, что все чаще теряет грань между сном и бодрствованием. «Грезы безумные» начинаются во сне, продолжаются наяву, и беда, если утомленному сознанию не удается с ними совладать. Человек может одурманить себя мечтами до умопомрачения, может потерять власть над этими «грезами безумными», и тогда исчезают рамки картины, которая возникает в воображении, эксцессы памяти делаются неотвязными, а это уже преддверие, порог сумасшествия.

«Грезы безумные» — сколько узников помрачилось умом, не будучи в силах противостоять галлюцинациям и кошмарам! Мечты, если они ничем не сдерживаются, переходят в галлюцинации, и тогда узника со всех сторон обступают фантастические образы и картины.

Только теперь Этьен понял смысл тюремного режима, о котором ему когда-то рассказывал старший брат Жак и который был установлен для политических заключенных в царской России. По словам брата, в каторжном централе, не то в Гродно, не то в Бобруйске, физическую работу разрешали лишь как награду за «хорошее поведение». Освобождение политических в Италии от всякой работы никак не благо, а дополнительное наказание. Здоровому человеку хочется устать физически, работа привела бы за собой и аппетит, и здоровый сон. Есть полицейская логика в поощрении тюремного ничегонеделания: пусть, мол, на досуге задумается над своим антигосударственным поведением...

Вынужденную физическую праздность политические пытались заполнить какой-то гимнастикой. Ну, а как быть, когда опасно праздной остается психика?

Человек в состоянии остановить всякую работу сознания, только совершив грубое насилие над интеллектом или отказавшись от него вовсе, заставив его умереть. Рядом с сознанием есть еще подсознательная сторона жизни, и она труднее всего поддается воздействию интеллекта. Человеку, находящемуся в одиночном заключении, нельзя оставлять праздным свой ум, потому

что тогда власть подсозиательиого стаиовится особеиио опасиой.

Когда созиаиие так сильио опустошеио, в иего вторгаются сущие пустяки, и голодающий мозг поглощает все подряд.

Мысли Этьеиа лишились былой логики и ясиости. Едва возникнув, оии крошились, дробились, распадались на кусочки, промельки, обрывки.

Теиь — его едииствеииый друг. Они вдвоем живут в одииочной камере, у иих одиа тюремиая одежда иа двоих. «Привычки у теии все мои, а вот повадки свои», — заметил Этьеи, пребывая где-то иа граиице яви и сиа. А позже ему померещилось — теиь от иего отъедииилась и стала жить самостоятельиой жизиью.

Этьеи поймал себя иа том, что все чаще вступает в споры с самим собой и личиость его надолго раздваивалась.

«Рассудок мой изиемогает... Одии я в камере или нас двое — я и «ои»? Страиио! Как же мы очутились вдвоем в одииочной камере?! Да и спор между мною и моим двойником какой-то страииый. Я огорчаюсь, что годы уходят, и убеждаю «его» сиова иачать хлопоты, чтобы вырваться иа свободу. А «он» возражает, «ои» считает, что иет смысла по этому поводу иервиичать и хлопотать, потому что время работает на нас. Решетки все время ржавеют, и скоро ржавчииа разъест их дотла. Одиим или двумя столетиями больше — это не играет роли. Важно, что когда-иибудь все прутья в решетке камеры превратятся в ржавый прах. Мы оба, я и «ои», спокойио, иетороплиၒво, иикем не задерживаемые, вылезем из окоица. Перед дорогой нам прииесет по порции баланды Рак-отшельиик. И, что уже совсем иевероятио, ои разомкиет иаконец свои губы и пожелает нам счастливого пути... А в самом деле любопытио, на сколько за последиие три года тюремиая решетка стала тоиьше под воздействием ржавчины? Вот так же, наверное, за последние три года стала еще тоньше ступия иоги броизового апостола Петра. Если идти к алтарю собора святого Петра в Риме, статуя стоит справа, а ступия, за-

целованная миллионами верующих, и в самом деле изрядно источилась за несколько столетий...»

И еще Этьену стало важно знать, на сколько отклонилась верхушка Пизанской башни за то время, какое он сидит в тюрьме? Следует лишь помнить, что величина отклонения у башни постоянная: один миллиметр в год.

Среди глубокой ночи раздался лязг отодвигаемого засова, заскрежетал ключ. В дверях камеры показался тюремщик. Какой-то новенький, Этьен никогда не видел его.

«Вижу вас в первый раз. Вы что, дежурите в другом коридоре?»

«Я не тюремщик».

«А кто же вы?»

«Моя фамилия Бонанно, архитектор. Это я допустил когда-то расчетную ошибку при постройке башни. Дело было в Пизе. А явился я к вам, синьор, чтобы предупредить, что моя башня падает. Она уже отклонилась от вертикальной оси на пять метров пятнадцать сантиметров. И может рухнуть каждую минуту. Помните, я вас предупредил!»

Этьен хотел было выяснить, как далеко отстоит Пиза от Кастельфранко и каким образом башня в своем падении может достичь этой тюрьмы, но синьор Бонанно оставил вопросы без внимания и сказал Этьену в утешение, что не следует отчаиваться из-за своих ошибок. Вот если бы он, Бонанно, не сделал расчетной ошибки при строительстве башни, то никогда не стал бы знаменитостью. Кто знал бы его имя, если бы Кампаниле делла Примациале стояла прямо и не падала? А так человечество уже восьмой век озабочено судьбой башни в Пизе. Его башня «хотя и падает, но все-таки стоит», он слышал, как студенты распевали эту песенку, и сам подпевал им...

Синьор Бонанно многозначительно поднял палец, а затем раскланялся с такой галантностью, которой неуклюже подражает Джордано, когда принимает хорошеньких просительниц.

После того синьор Бонанно вышел из камеры и очень расторопно, умело закрыл дверь на засов и на замок.

Этьен вскочил в холодном поту, его била нервная дрожь. Он понял, что это была очередная галлюцинация, а как только понял это, успокоился, к нему даже вернулось чувство юмора. Жаль, жаль, что этот самый архитектор Бонанно не взялся когда-то строить тюрьму в Кастельфранко. Может, она обрушилась бы быстрее Пизанской башни, которая хотя и падает, но все-таки стоит.

Воспаленная фантазия рождала всевозможные планы побега. Как он научился плутовать с самим собой, обманывать себя непутевыми и сладкими грезами! Они были как запой, как мысленная наркомания — сумасбродные планы спасения, рождавшиеся где-то на границе сна и яви, здравого смысла и бессмыслицы.

До чего же легко совершался желанный, вожделенный побег из тюрьмы! Начать с того, что Рак-отшельник сам помогал узнику 2722 раздирать простыни на полосы и связывать их узлами в полотняный канат. По обыкновению, Рак-отшельник молчал и не ответил на вопрос — почему на нем сегодня форма русского городового: кокарда с двуглавым орлом на фуражке, револьвер на оранжевом шнуре, широкие шаровары, заправленные в сапоги бутылками... Этьен благополучно спустился по полотняному канату. Едва он ступил на землю, как увидел Старика. Тот подал знак сестре Амалии, которая подбежала с охапкой цивильной одежды. Вот приятный сюрприз! Этьен быстро снял тюремную робу. Амалия помогла брату переодеться и тут же исчезла. А Этьен и Старик зашагали по круговой внутренней улице. Старик с беззаботной неторопливостью шагал к воротам, а по дороге рассказывал, как в молодости бежал из ссылки в Иркутской губернии. «А нас выпустят?» — с тревогой спросил Этьен, подходя к воротам. «Скажу, что идешь со мной», — успокоил Старик. И в самом деле, когда они проходили через тюремные ворота, Старик только сказал, кивнув на Этьена: «Со мной». Дежурный капрал вытянулся в струнку и отчеканил по-русски: «Проходите, товарищ комкор». За тюремными воротами их ждали лошади, но не пролетка, какую можно увидеть в итальянских городах, а натуральная русская тройка. Этьен и Старик вскочили в нее, когда кони уже тронулись с

места. Выехали на шоссе и свернули мимо оливковой рощи в сторону Модены. Кони неслись во весь опор, возница погонял их и по-ямщицки покрикивал: «Э-э-эй, не балуй!!!» Голос возницы показался Этьену знакомым, и когда тот, держа в руках туго натянутые вожжи, слегка откинувшись назад, повернулся наконец к седокам, Этьен узнал своего старшего брата. И когда Жак, Амалия успели познакомиться со Стариком? Тройка мчалась по улицам Модены. Тройка мчится, тройка скачет, вьется пыль из-под копыт... И не карабинеры, не тюремные стражники бегут за ними вдогонку, а царские городовые. Они свистят в свистки, размахивают револьверами на оранжевых шнурах и орут благим матом: «Держи-и-и!» Но, к счастью, жители городка по-русски не понимают, не обращают на крики ни малейшего внимания, тройка уносит беглеца все дальше от тюрьмы, в сторону Реджио дель Эмилия, городовые безнадежно отстают и скоро становятся невидимыми в облаке дорожной пыли...

Этьен уже давно уразумел, что на свете нет обмана хуже, чем самообман. Нельзя убегать от настоящего в эфемерное, почти потустороннее, где все теряет свою устойчивость и равновесие — и предчувствия, и чувства, и ощущения, и мысли, и слова.

Было время, когда он всерьез собирался симулировать сумасшествие. Но сейчас он на такое зловещее притворство не решился бы, потому что на самом деле опасался — как бы не повредиться в уме, и его нередко преследовала боязнь сумасшествия.

«Не дай мне бог сойти с ума!..»

Да, самое важное — не потерять контроля над уходящим, меркнущим сознанием, не потерять душевного, психического равновесия. Как избежать страшной опасности?

Этьен понял, что нужно заставить себя совершить поворот к реальности и тем самым избавиться от неустанного воображения, которое так часто граничит с болезненными, опасными иллюзиями.

Беда в том, что он не смог совладать со своей апатией, смирился с тем, что его мозг стал бездеятельным.

Как можно скорее вернуться к книгам, регулярным занятиям!

В конце концов, дело не в том, принесет ли работа плоды и какие именно. Нужна гимнастика мозга, он отучился работать. Само мышление поможет выздоровлению и отвадит от встреч со своим двойником или синьором Бонанно.

Не дай бог так обеднить свою жизнь в камере! Лишь кажется, что в твоей жизни ничего не происходит. Если не следить за календарем, сдаться на милость монотонной и застывшей тюремной жизни, то и душа твоя может стать такой же неподвижной, а чувства застынут, окостенеют, как распорядок тюремного дня. И вот уже ты, незаметно для себя, подчинишься убогому распорядку настолько, что начнешь возвращаться к одним и тем же мелкотравчатым мыслям и крошечным чувствам, к одним и тем же тусклым, нищим словам.

Он уже знал, что сделал ряд серьезных ошибок. Он не должен был отказываться от книг из тюремной библиотеки, какие бы они ни были завалящие. Не имел права отказываться от прогулок. Тем более нельзя этого делать сейчас, когда он живет впроголодь, когда у него нет двадцати двух чентезимо на бутылочку молока, когда ему нечего надеяться на рождественскую посылку. Не было денег даже на поганую воскресную газетенку, он давно не знает, что творится в мире.

Этьен недавно заметил, что у него начали дрожать руки и ноги. Может, и голова? Он вспомнил узника, с которым больше трех лет назад встретился во дворе «Реджина чели», того седобородого, с всклокоченными волосами, с землисто-серым лицом и с опустошенными глазами, кому с трудом удавалось унять беззвучную дрожь всего тела. Но тот узник уже просидел двенадцать лет! Не рано ли Этьен начал ему уподобляться?

Может, это от бессонницы? Вот уже четверо суток, как он не спал. Исчезли и сон и аппетит. Он не мог прикоснуться к еде и каждый кусочек проглатывал через силу.

Он уже замечал на себе обеспокоенные взгляды тю-

ремщиков. Не показалось ли Раку-отшельнику, что узник 2722 решил уморить себя голодом?

Одиночка принесла ему страдание, умноженное на бесконечность. И днем, когда апатия лишала его, казалось, всех мыслей и чувств, и ночами, удлиненными бессонницей, он часто вспоминал слова из Библии: «Смерть, где жало твое?» Теперь его мало волновал вопрос, сколько он еще проживет — сколько дней, месяцев или лет.

Он уже много раз читал и перечитывал Библию, лежавшую у него в камере, взял ее в руки и сегодня.

Библию читали почти все узники. Одни находили в ней отклик на сохранившуюся в душе потребность веры. Иные, обманутые и обманувшиеся в религии, не могли читать Библию без раздражения. А Этьен находил в библейских рассказах пищу для ума, для полемики с безвестными философами древности. Вел длинные жаркие дискуссии с седобородыми мудрецами, не смущаясь высокими титулами своих оппонентов — святые апостолы, пророки.

Вчера ему показалось — притупилась не только острота восприятия, но стала тускнеть память. Если отказала память — он кончился как профессионал-разведчик. Может, он вдобавок еще разучился быстро соображать, стал недогадливым, сделался тяжкодумом?

Он так боялся забыть последний шифр, словно обязан был передать его какому-то преемнику, словно в противном случае не выполнит свой воинский долг. Он обязан помнить шифр так же, как русский алфавит, или арабские цифры, или григорианское летосчисление.

Встревожился всерьез и решил устроить себе экзамен. Раскрыл Библию, углубился в работу и скоро, довольный собой, убедился, что память ему не изменила. Может быть, впервые за тысячелетие кто-то вздумал шифровать библейский текст:

«Вначале сотворил бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и дух божий носился над водою. И сказал бог: да будет свет. И стал свет. И увидел бог свет, что он хорош; и отделил бог свет от тьмы. И назвал бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день первый. . .»

Этьен закончил работу измученный, с головной болью, ослабевший от переутомления, но был собой доволен. Шифр продолжал жить в его мозгу, будто выгравированный там навечно. Все тюремные годы последний шифр прятался где-то в самом укромном уголке сознания, не умирал и не позволил сейчас умереть своему хозяину.

Бессмысленная, казалось бы, работа помогла Этьену приободриться, так как он знал, что сделал ее безукоризненно. Есть еще порох в пороховницах! Рано ему складывать оружие!

А это значит — он не имеет права на апатию, безразличие к жизни, он обязан, если хочет себя по-прежнему уважать, вновь обрести живую душу.

Не проклят, а благословен сегодняшний день и все другие, которые ему доведется прожить!

После работы над библейским текстом он наконец заснул и спал долгим, глубоким сном, будто решил отоспаться за все четверо суток. А когда проснулся и встал — впервые за последние дни почувствовал голод.

В тюрьме свобода ограничена внутренней жизнью, а воля становится лишь волей к сопротивлению. Тем более нетерпимо, что ему изменила воля! Конечно, жизнь, которая зиждется на одной лишь воле, скудна и убога, но от него самого зависит, чтобы она не была бесплодной.

Как он позволил безразличию овладеть его сознанием? Так и душа потеряет способность чувствовать, и сердце остынет. Он обязан собрать все силы, чтобы преодолеть моральное бессилие!

Если уж ему суждено дожить до отчаяния, то пусть это будет отчаяние бурное, даже скандальное, но не тихое, застывшее, умиротворенное, бессильное.

Недавно он хотел отстать от календаря, потерять счет опостылевшим, проклятым дням. А сейчас порывисто бросился к двери, вызвал тюремщика, потребовал, чтобы к нему срочно явился капо гвардиа, узнал, какой сегодня день, потребовал, под угрозой голодовки, чтобы его снабдили бумагой и чернилами для прошений, заяв-

лений, какие он хочет направить и прокурору, и в министерство юстиции, и следователю, и по другим адресам.

Капо гвардиа согласился с требованием узника 2722. Едва закрылась дверь, Этьен, после длительного перерыва, попытался сделать нечто вроде гимнастики, затем встал на табуретку и снял в углу камеры старую паутину.

На первых порах ему помогли и занятия языками. Почему-то он все время помнил, что на испанском языке слова «хотеть» и «любить» равнозначны, так же как и слова «ждать» и «надеяться».

Ждать и надеяться!

Он взял себе за правило каждый день думать, говорить вслух и декламировать стихи на разных языках, каждый день недели — на другом. В понедельник в камере слышалась немецкая речь, он читал на память Гейне и Рильке; во вторник — английская; в среду — французская, немало стихотворных строк удалось ему наскрести на дне памяти — Гюго, Беранже, Ронсар, Поль Верлен; в четверг звучала испанская речь и гостем камеры-одиночки становился Дон-Кихот; пятница стала итальянским днем; суббота — русский день. И только по воскресеньям жил в камере-одиночке интернационалист, который запросто переезжал из одной страны в другую, и всюду у него были свидания со знаменитостями.

Одновременно с лингвистическими занятиями Этьен много времени занимался сочинением разного рода жалоб, требований, ходатайств. Он написал и отправил в разные адреса немало желчных слов о фашистском беззаконии и дикарском попрании прав.

«После того как срок моего заключения истек, я отправил под расписки капо гвардиа следующие жалобы:

1. В министерство юстиции. Без ответа.

2. Главной дирекции тюрем. Без ответа.

3. Прокурору при Особом трибунале. Без ответа.

4. Следователю в Модене. Ответ: контроль над выполнением приговора находится в компетенции главного прокурора.

5. Советнику апелляционного суда в Болонье. Ответ: вопрос может решить только главный прокурор.

6. Главному прокурору с запросом — почему не выполняется приговор Особого трибунала (высылка из Италии после отбытия наказания) и почему я содержусь в тюрьме. Перечислены все предыдущие запросы в другие инстанции. Ответ: дело затребовала ОВРА, туда его и переслала прокуратура, нужно ждать решения ОВРА.

7. В министерство юстиции с запросом: на основании какого закона меня держат бессрочно в тюремной одиночке. Без ответа.

8. Инспектору ОВРА. Тот же самый запрос, Ответ: тайная полиция не обязана давать объяснения.

9. В министерство внутренних дел с запросом: в чем меня дополнительно обвиняют и почему я остаюсь в таком положении. Без ответа.

10. Следователю вручена жалоба при свидании. Я напомнил о 481-й статье Уголовного кодекса и требовал объяснения, почему статья нарушена. Следователь кричал на меня, топал ногами. Я показал следователю речь Муссолини в Верховном суде. В этой речи утверждается, что администрация тюрьмы ни при каких обстоятельствах не может отменять законы. Я потребовал письменного ответа на свой запрос. Ответ следователя: приговор по моему делу подпадает под 286-ю статью Устава тайной полиции, а эта статья предусматривает чрезвычайные меры.

11. Прокурору, наблюдающему за выполнением законов. Жалоба на безобразное поведение следователя и грубое нарушение закона теми, кому следователь подчинен. Без ответа.

12. Вице-президенту Общества юристов.

Напоминание о Конгрессе криминологов в Риме в октябре 1936 года, когда вице-президент делал доклад о мерах, принимаемых тайной полицией, и заявил, что максимальная мера, какая в Италии может быть применена тайной полицией без суда, — высылка. Протест против ссылок на статью 286-ю, которая никакого отношения к делу не имеет. Я обвинил вице-президента в том, что он обманул Конгресс и прикрыл обман юридическими терминами. Без ответа».

(Из жалобы президенту Национального общества юристов; жалоба много лет пролежала без движения в канцелярии тюрьмы.)

Настоящее Этьена было трагичным, но он заново приучал себя жить только настоящим, не тратя душевных сил на бесплодные мечты. Теперь он безжалостно отбрасывал от себя все иллюзии, потому что после них окружающая действительность становилась еще более серой, убогой, тоскливой и само возвращение к действительности было болезненным, трудным. Но какой бы действительность ни была, как ни ужасна проза тюремного бытия, Этьен сознательно предпочитал ее мечтам о несбыточном, грезам о волшебных замках, миражам, рисовавшим прогулку по сказочному лугу или трапезу за столом, который ломится от яств.

Уж лучше отдаваться воспоминаниям о своем далеком прошлом, начиная с самого раннего детства и отрочества, вспоминать и заново осмысливать свое поведение и поступки людей рядом с тобой. Внимательно смотреть на себя, на прежнего, глазами человека, умудренного опытом прожитой жизни.

Здоровье Этьена не стало лучше, но оно не было настолько плохим, чтобы врач оказывал ему знаки повышенного внимания, — подозрительно часто осведомляется о здоровье и еще подозрительней он заглядывает в глаза. Ах, вот в чем дело! Врач хочет выяснить для себя — не собирается ли номер 2722 сойти с ума.

Этьен посмеялся про себя над тюремным врачом, которого отучил «тыкать» и который отомстил доносом, потянувшим восемь суток карцера.

Ваше беспокойство, досточтимый синьор дотторе, сильно запоздало. Не скорая, а замедленная медицинская помощь! Само подозрение врача показалось сейчас Этьену смехотворным.

Узник 2722 установил строгую слежку за собой. Он вновь обрел живую душу. У него нашлись силы для того, чтобы страдать бессрочно.

93

За спиной у него котомочка, это и называется «со всем имуществом».

Схваченное решеткой оконце в арестантской карете. В арестантском автомобиле. В арестантском вагоне. И лишь когда менялись средства передвижения, Этьен получал благословенное право смотреть на мир во всей его целостности и слитности. Тогда пейзаж не поделен грубо на квадраты, тогда на панораму, открывающуюся взгляду, принудительно не ложится сетка. Даже отсвет солнца, который кратковременно появлялся на каменном полу камеры, был разделен на квадраты.

Так долго сетка меридианов и параллелей, покрывающая земной шар, представлялась ему тенью тюремной решетки!

Кертнер забрасывал своих попутчиков вопросами.

Что нового в мире? Где сегодня бушует огонь войны? Какое сейчас правительство в Англии? Что с Польшей? Неутомимое любопытство делало его многословным.

Оказывается, скоро год, как Италия вступила в войну с Англией и Францией. Еще 10 июня прошлого года Муссолини объявил об этом с балкона своего палаццо.

Этьен, сдерживая и пряча волнение, спросил о Советском Союзе — не доносится ли канонада с Востока? Спокойно ли на монгольской границе, на реке Халхин-Гол? Седовласый синьор ответил, что после окончания войны

России с Финляндией на Востоке тихо. Так Этьен узнал о той войне и с трудом удержался от расспросов. Ни один отзвук, отголосок войны русских с финнами не проник к нему в одиночку, сквозь толщу тюремных стен...

Он понимал, что лишь меняет сегодня тюремный адрес и не свобода ждет его, а новое заключение.

Впервые его везут в арестантском вагоне. Его провели по проходу между двумя рядами маленьких узких купе, каждое площадью не больше одного квадратного метра. В такой вот клетушке очутился и он.

Едва поезд тронулся, он догадался, что его везут на юг. Может, переселение пойдет ему на пользу? Только бы не повезли в Сицилию или на Устику, где обдает беспощадным зноем Африка. А дышать мягким морским воздухом полезно для больных легких. Не случайно столько чахоточных едет на острова Понтийского архипелага, не случайно и Максим Горький облюбовал для себя Капри...

От длительного, вынужденного молчания, от одиночного заключения голос у Этьена совсем пропал. Поначалу он говорил так тихо, что карабинеры его переспрашивали. Но затем овладел собой, хотя настроение у него было по-прежнему подавленное: не так легко трястись долгие часы в поезде, когда тебя сковали наручниками. А тут еще неловко надели левый наручник: железо больно натирало косточку запястья.

Оглушила разноголосица улиц, по которым его провезли, а затем бесшабашный шум вокзала. Тишина накапливалась в Этьене длинные годы, ему казалось теперь, что все говорят слишком громко, все кричат.

И все-таки светозарное утро, а затем длинный весенний день принесли столько нежданной радости, столько скоротечных восторгов!

Он глядел в Болонье сквозь решетку арестантского автомобиля на привокзальные улицы и рад был каждому встречному, даже тому, кто провожал арестантский фургон безразличным или неприязненным взглядом.

Может, по этой вот улице расхаживал, превозмогая одышку и вытирая платком потное одутловатое лицо, Фаббрини? Здесь, в Болонье, он начал свою карьеру

адвоката-провокатора, здесь по его нечистым следам и ходила кличка «Рот нараспашку»...

Одежда прохожих казалась крикливой, яркой. Он забыл, что не все человечество одето в серо-коричневую арестантскую робу, что люди носят цветные платья, косынки, рубашки, шляпы, платки, шарфы, чулки. Он словно заглянул на чужой праздник. Глаз его насыщался давно забытой палитрой улицы — пестрая толпа, яркие вывески, разноцветные дома, веселые колеры трамваев и автомобилей.

Да и лица людей, разгуливающих свободно, без конвоя, так своеобразны! Может быть потому, что он давно не видел румянца на щеках, живого блеска глаз, не видел капризных чубов, локонов, челок, девичьих кос?

И как много женщин, оказывается, живет на земле!

Он счастлив был снова увидеть живой мир, который предстал перед ним в возросшем богатстве красок, звуков и запахов.

Он чутко реагировал на забытые звуки. Автомобильный гудок. Веселые звонки велосипедов. Треньканье мандолины. Скрежет трамвая на крутом повороте. Гулкий топот лошади, запряженной в экипаж. Сквозь открытую дверь донесся звон посуды в траттории. В самое сердце его проник плач грудного младенца. Гоготанье гусей, их гнала через дорогу старуха. Зазывные крики продавцов жареных каштанов, газет, мороженого. Военный марш шепелявил в радиорупоре, укрепленном на уличном фонаре; марш сменился истерической речью оратора, такого же хриплого и шепелявого.

А позже по радио передавали арию из «Травиаты»; певица тоже была с хрипотцой и шепелявила. Этьену вспомнился тайный радиопередатчик «Травиата». Подает ли он еще признаки жизни, выходит ли Ингрид в зашифрованный эфир, любезничает ли по радио со своим Фридрихом Великим?

Отзвуки покинутого им давным-давно, полузабытого мира. И хотя в уличной симфонии нет ничего особенно мелодичного, она полна была для него в то утро божественной гармонии.

Необъятный мир существует, и внимать ему, созерцать его можно лишь с потрясенной душой. Солнце, небо, цветы, женщины, дети — вот приметы прекрасного мира, обступившего его!

Но стоило ли так долго сидеть в каменном мешке, чтобы увидеть-услышать все это полнозвучное, яркое богатство и снова быть замурованным в четырех стенах с нищенским клочком неба в «волчьей пасти»? Он не насладился свободой, только глянул на нее вполглаза. Неужели он видит мир для того, чтобы навсегда позабыть увиденное? Не увидеть, как молодые деревца научатся давать первую тень?

Но даже если ему никогда не суждено окунуться в живую жизнь, он был счастлив воскресить в своей памяти былое.

Чем ближе к Неаполю, тем попутчики, скованные с ним одной судьбой, чаще поговаривали о том, что их везут на какой-нибудь остров. Вероятнее всего, их ждет ссылка на остров Вентотене, туда ходит пароход из Неаполя.

Два дня их продержали в Неаполе, в тюрьме «Кармине». Седовласый попутчик, которого вся группа почтительно и негласно признала старостой, напомнил, что Антонио Грамши по дороге в Палермо тоже провел несколько дней в «Кармине».

Этьен сидел у оконца в арестантском автомобиле, их везли, связанных цепью, сквозь предрассветный город. Нетрудно догадаться, что их везут к морю, потому что улицы шли под гору, и шофер притормаживал, убирая газ.

Их привезли на «сервицо рапидо» — пассажирскую пристань. Отсюда отходят катера на близкие острова Прочида, Искья, отходят пароходы на Капри и на более отдаленные острова архипелага.

Не только город, но залив, восточные холмы, крыша королевского дворца, откуда Неаполь как на ладони, — все покоится в серой полутьме, все в предчувствии близкого рассвета.

Обычно арестантов привозили за несколько часов до отплытия, когда на пристани тихо и пустынно. Пассажи-

рам вовсе не обязательно знать, что в трюме сидят и позвякивают наручниками заключенные.

Карабинеры позволили выйти из автофургона, и арестанты уселись в стороне от пристани на прибрежных валунах.

Глядя на море, трудно вообразить, что вот этот самый Неаполитанский залив обычно бывает лазурным. Сейчас море серо-зеленое, бурое, а под низко висящими свинцовыми тучами — черное.

Узников то и дело обдает брызгами, пеной волн. Шторм разыгрался не на шутку, шторм отрезал берег от моря белой линией прибоя. Неумолчный гул оглушает, и переговариваться между собой нельзя — можно только кричать во весь голос.

Ни один камень, а тем более камешек, не остается сейчас на берегу в покое. Они шевелятся, ворочаются, елозят, трутся друг о друга, все в движении. Ветер срывает пену с гребней волн, когда волны обрушиваются, и в эти мгновения видно, откуда дует ветер. Наверное, отсюда и берет начало шторм — течение не соответствует направлению ветра.

Когда море в покое, линия горизонта кажется более далекой, а сейчас, при плохой видимости, горизонт приблизился.

Прошел час, наступило раннее утро, а шторм все набирал силу. Теперь, когда волна разбивалась о прибрежные валуны, ее пена отбрасывалась назад, на гребень волны, подоспевшей вслед. Теперь волна играючи швыряла большие камни. Это не крупная галька, а булыжники величиной с арбуз. Казалось, даже массивные валуны подрагивают под ударами волн.

Глядя на штормовое море, Этьен вспомнил, что Надя плохо переносит качку, страдает от морской болезни, и забеспокоился. Будто ей, а не ему самому предстоит сегодня путешествие на плюгавом, слабосильном пароходике. Будто Надя собирается плыть вслед за ним по такому же неспокойному морю.

Когда он в последний раз сидел вот так близко к штормовой воде, оглушенный ее ревом и зачарованный?

Это было в Симеизе, они жили тогда с Надей в военном санатории.

Сейчас его никто не услышит, он может орать все, что угодно. Внезапно им овладело страстное желание говорить, кричать, петь по-русски. Штормовое море и небо стали его собеседниками. Когда еще представится возможность выкрикивать во весь голос родные и запретные слова?

Я помню море пред грозою. Как я завидовал волнам... Он собрался продолжить, но запамятовал... Продекламировал две строчки из «Онегина» заново, надеясь, что с разгона придут на память последующие. Но сколько ни тщился — не мог вспомнить. Огорченный, он снова и снова громогласно твердил: Я помню море пред грозою... — пока не зашелся от надсадного кашля.

В заливе моталась и дергалась на якорной цепи рыбачья шхуна. Смотреть на нее Этьену было физически больно — будто шхуна привязана не к якорной, а к той самой цепи, которая продета через их наручники. Шхуна пыталась и не могла оторваться от своей каторжной стоянки.

Все последние годы тюремные стены прятали Этьена от шторма, от грома и молнии, от ливня, от наводнения, от бури. А сейчас его восхитила неуемная сила стихии, не подвластная ни капралу карабинеров, ни капо диретторе, ни председателю Особого трибунала по защите фашизма, ни самому дуче. Нет силы, которая может сейчас помешать его восхищению! Такая стихия уравнивает в правах любого диктатора и человека в наручниках. Вот так же стихия уравняла когда-то в правах всех жителей древней Помпеи, засыпав их вулканическим пеплом Везувия.

Чувства обострились до предела. Ему мало обычных порций воздуха — он дышит порывами свежего ветра! Его обдает брызгами волн? Нет, он плывет по штормовому морю в неведомую даль, в будущее! Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы!..

Утренний свет прибывал, стал виден Везувий на горизонте, а совсем рядом, на пристани, — щит с расписанием пароходного движения.

Вшестером, в сопровождении карабинера, арестанты подошли к щиту. Отсюда, от «сервицо рапидо», пароходы отходят трижды в неделю. В понедельник прямой рейс на Вентотене, туда 62,5 мили. Пароход в пути 5 часов 10 минут. По вторникам пароход идет по маршруту Неаполь — Прочида — Искья — Санто-Анджело — Форио — Санто-Стефано — Вентотене. Рейс продолжается 8 часов 15 минут. В пятницу маршрут такой же, как во вторник, но без захода в Санто-Анджело, рейс на 40 минут короче.

Сегодня пятница, и, значит, можно быть уверенным только в одном — их не везут в Санто-Анджело.

Четырех молодых парней, соседей по цепи, долго держали в тюрьме, а сейчас ссылают без всякого суда. Поймали их при попытке сбежать к испанским республиканцам. Они допризывники, присяги не нарушили, просто не хотели «добровольно» помогать Франко. И судить их вроде бы не за что. Парни точно знали, что их ссылают на Вентотене, и были уверены, что других арестантов ждет тот же маршрут.

А Этьен сомневался: тогда бы их всех могли отправить прямым рейсом на Вентотене в понедельник. Зачем же их держали в «Кармине» еще четверо суток?

Единственная маленькая радость, которая за четверо суток случилась в тюрьме, — седовласый староста подарил ему свежий номер газеты «Пополо д'Италиа».

...Американцы сообщили итальянскому послу принцу Колонна, что морской атташе объявлен персоной «нон грата», и потребовали его немедленного отзыва.

...В Югославии свергли принца Павла, там проанглийское правительство. 3 апреля Белград объявили открытым городом, а 6 апреля в 5 часов 15 минут утра началась бомбардировка. Нацисты летали над крышами и безжалостно уничтожали город. 8 апреля наступила тишина. Тишину ту действительно можно назвать гробовой. Руины, семнадцать тысяч убитых. Не только люди,

но животные обезумели от ужаса. Хищники вырвались из клеток зоологического сада и бегали по улицам.

...В Берлине в Шарлоттенбургском оперном театре поет Джильи. Он выступает с концертами в пользу Красного Креста...

Почти полтора года Этьен оставался в неведении о том, что творилось в мире, раздираемом войной, в первый раз читал он вчера газету. А в это утро, сидя на прибрежном валуне, он узнал много других новостей. Их сообщил тот самый седовласый узник, ветеран коммунистической партии, который напомнил Этьену, что в тюрьме «Кармине» сидел и Грамши.

Тем временем высветило набережную возле пристани. Напротив высился коричневый шестиэтажный дом. Окна закрыты ставнями, все с вечера спрятались от дневного зноя, которого сегодня не будет.

Набережная выстлана мелким диабазом, вдоль нее тянется кирпичный парапет с бетонированным покрытием. Бульвар засажен платанами. Валуны, брошенные в воду перед набережной, оберегают ее от ударов штормовой волны.

Пассажиров сегодня совсем немного. Приближалась минута отплытия, а арестанты продолжали сидеть на берегу и ждать. Капрал уже несколько раз бегал на пристань, что-то там узнавал, возвращался обеспокоенный, снова убегал.

Пока они торчали на набережной, седовласый сосед рассказал Этьену, что у Антонио Грамши тоже был очень тяжелый переезд из Палермо на Устику. Трижды его возвращали в тюрьму в Палермо, так как пароход не мог совладать со штормом и довез Грамши к месту его заключения только в четвертый раз.

Капрал карабинеров стоял возле сходней, переброшенных с пристани на пароход, и ругался с капитаном. Всех слов разобрать нельзя было, но можно представить себе, как они кричали друг на друга, если гул моря не мог заглушить голосов и обрывки темпераментного спора долетали до набережной. Капрал подошел к заключенным и объяснил: пароход не швартуется у острова,

куда они направляются. А лодка с острова не сможет подойти к пароходу, волнение превышает шесть баллов.

Сидя на валунах, арестанты видели, как их пароход выбрал якорь, отошел от причала и отважно двинулся в штормовое море.

С пристани возвращались в душевном смятении, и нельзя было угадать: к лучшему или к худшему, что капитан парохода отказался взять их на борт.

Все сильно проголодались, седовласый староста тяжело вздохнул и напомнил, что в местных тратториях подают спагетти «аль денте», что значит «на зубок»; в Неаполе спагетти приготовляют потверже, чем в других местах. А другой сосед неожиданно и невпопад запел в арестантском автомобиле «Прощание с Неаполем».

Этьен уже без особого интереса смотрел на утреннюю жизнь улиц. Автофургон стоял у светофора, пропуская трамвай, и он увидел вывеску у подъезда дома: пансион «Бон сежур», что в переводе с французского дословно значит — хорошее местопребывание.

Да, есть такие счастливцы, которые могут приехать в Неаполь, поселиться в пансионе «Бон сежур», посещать картинную галерею во дворце неаполитанских королей, ходить вечерами в оперный театр.

На тратуаре у перекрестка он увидел круглую башенку. Да это же афишная тумба! Обклеена выцветшими на солнцепеке афишами, они ошметками свисали с ее округлых боков. Этьен успел увидеть набранные крупно пять букв «Тоска», вспомнил, что Энрико Карузо родом из Неаполя и здесь начал свою фантастическую карьеру.

Но как только автомобиль подбросило на выбоине, дернулась и лязгнула цепь, связывающая пассажиров, Этьен забыл про Энрико Карузо и вспомнил про его тезку, старого тюремщика из Кастельфранко.

Кто будет сторожить его сегодня в неаполитанской тюрьме? А вдруг это — последний тюремщик в жизни? Может, его увезут на вольное поселение? Вернут имя и фамилию? Забудут его номер 2722, и в ушах перестанет звучать ржавая симфония тюремных засовов, замков, щеколд и решеток?!

Он соступил со ступеньки арестантского автомобиля

измученный. Не сама по себе поездка и не бесплодное ожидание на пристани утомили его. Он отучился воспринимать столько впечатлений, переваривать такое множество новостей.

94

У Этьена основательно распухли запястья, и он старался как можно меньше двигать руками. А соседи его, уже опытные кандальники, умудрялись скованными руками зажигать спички, скручивать цигарки, чистить апельсины, бинтовать ноги, шнуровать обувь. Одна девка с панели ловко подкрашивала губы и ресницы...

Противная все-таки штука эти наручники! Холодно — от железа еще холоднее, а когда жарко — железо вбирает в себя зной и не остывает до вечера. Разность температур железа и человеческого тела все время напоминает о кандалах. По-итальянски наручники называются «маньетти». Родственная связь со словом «манжеты» очевидна. Этьен усмехнулся: вот почему он всю жизнь не любил туго накрахмаленных манжет...

Их повели на вокзал ночью. Прошел слух, что арестантские вагоны ждут на путях сортировочной станции. Два карабинера держали концы длинной цепи, а цепь продели сквозь наручники всех шагающих. Шли напевая, весело переругиваясь и перекрикиваясь. В пестрой шеренге оказалось немало проституток, увиливавших от регистрации и медицинского освидетельствования. Их принудительно высылают из Неаполя в местности, откуда они родом, оставят там под надзором местной полиции.

Два арестантских вагона прицепили к товарному поезду. Он дотащился только до станции Парадизио. Оттуда и политических, и уголовников, и проституток отправляли машинами в Формию.

В этот момент откуда-то взялся крикливый офицер и наорал на капрала. Из обрывков их громкого разговора Кертнер понял, что в Формии «блошиная вонючая тюрьма с общими камерами» и туда иностранца везти не следует.

Кертнер остался в одиночестве. Капрал нанял бричку и повез его в местный полицейский участок.

Этьен забыл в вагоне ломоть хлеба, выданный ему на дорогу, и мучительно проголодался. Может, от свежего морского воздуха? Или от утренней прогулки по Неаполю?

Он попытался узнать у капрала, где окончится его маршрут, куда его отправляют. Но капрал — трус или чинуша? — только развел руками: он не имеет права сказать. Этьен усмехнулся: насколько в старину все было проще и удобнее, во всяком случае для конвоиров. Вспомнить хотя бы Палаццо дожей в Венеции. По крытому Мосту Вздохов переводили заключенных из дворца в тюрьму, на другую сторону узкого канала. Впрочем, с теми, кого ссылали в дальние края, хватало мороки и у средневековых стражников.

— Я пришлю служанку, закажите себе еду, — сказал капрал, когда доехали до полицейского участка.

Капралу карабинеров передан на хранение весь капитал Кертнера: какой-то анонимный благодетель из уголовников перевел недавно пятнадцать лир на тюремный счет 2722.

Капрал снял с Кертнера наручники и вышел.

«Сколько лир осталось у меня? — гадал Кертнер. — Хватит ли на обед?» Конверт с деньгами лежал у капрала в сумке.

Стол, табуретка, на стене портрет Муссолини, обязательные лозунги: «Верить, сражаться, победить!» и «Дуче всегда прав».

Вскоре служанка принесла чашечку кофе и какую-то аппетитную тюрю в глиняной миске. Не хочет ли синьор вымыть руки? Он с радостью согласился:

— От наручников руки чернеют еще больше.

— Лишь бы не испачкать руки в крови, — вздохнула служанка.

— Это не для моих рук. У меня другое... Мы вот с ним, — он показал на портрет, — не поладили. Понимаете, я не уверен, что он всегда прав.

— Муж такого же мнения.

Она сидела, положив подбородок на сложенные руки, и молча смотрела, с каким аппетитом арестант ест ее «минестрину» — домашний хлеб, нарезанный мелкими кусочками и залитый отваром из фасоли.

Кертнер распорядился, чтобы капрал уплатил служанке, но та обиделась — она поделилась своим обедом! Этьен выразительно на нее взглянул: «Я прекрасно знаю, что вы меня угостили. Но для вас безопаснее, если я за обед заплачу...»

Да, деньги лучше взять, ей не полагается бесплатно угощать политического преступника.

Когда Этьен уселся в бричку, он увидел в ногах у себя маленькую плетеную корзинку с яблоками и виноградом. Капрал сказал, что служанка принесла корзинку вместо сдачи.

Этьен сел в бричку, совсем забыв о существовании пыли. Забыл, что пыль бывает едкой и вызывает сильный кашель. Пыль поднял автомобиль, который мчался навстречу. Этьен давно не видел такой бешеной скорости, километров 75—80, никак не меньше...

Просто удивительно, как за трое суток угомонилось море — слегка рябит, взъерошено мелкими волнами, но все краски веселые.

Рыбачьи лодки, которые переждали шторм на сухопутье, вновь спущены на воду. Где еще так ярко раскрашивают лодки, как в Италии? Среди белых парусов несколько желтых, голубых и даже ярко-красный. На борту одной лодки красная стрела; очевидно, владелец хотел этим подчеркнуть стремительность своего суденышка.

Шторм внес поправку в расписание, сообщение с островами было прервано, а потому на пристани скопилось много пассажиров. Кертнер рад был увидеть своих старых попутчиков-арестантов.

Пришла очередь Этьена подняться по трапу. А что делать с корзинкой? Сам в наручниках, капрал нести корзинку отказался — не полагается; спасибо, старый рыбак, который ехал этим же пароходом, захватил корзинку и принес ее в трюм.

Пароход, куда погрузили заключенных, переполнен. Этьен прочел название парохода на спасательном круге — «Санта-Лючия».

Седовласый коммунист — он уже бывал здесь — объяснил, что многие едут проведать ссыльных, провести с ними пасхальные дни. Гуманный и очень старинный обычай этот не решились отменить и при фашистском режиме: два раза в году родным разрешалось навещать ссыльных. Правительство даже выдавало неимущим деньги на дорогу, а местная администрация обязана всем приезжающим предоставить жилье. Вот почему на пароходе столько женщин с детьми.

От Формии до Вентотене ближе, чем от Неаполя, и билеты дешевле; наверное, этим также объяснялся наплыв пассажиров.

Не так легко спускаться в наручниках, когда покачивает.

У лесенки, ведущей в трюм, стоял лысый дядька с благообразным лицом и плутовскими глазами. Он вез большие корзины с фруктами и спрашивал всех, кто спускался по лесенке: «Куда вас везут?» Будто они знали что-нибудь и могли ответить!

Над головами арестантов, на палубе, звучали гитары, мандолины, голоса певцов, слышался топот танцующих.

Аппетитные запахи проникали и сюда, в трюм.

Рядом с Этьеном ехали старые знакомые — четыре молодых дезертира и седовласый коммунист. Оказывается, пожилой синьор уже пробыл несколько лет в ссылке на острове Вентотене и едет туда во второй раз. Он явно хотел подбодрить Этьена — режим на острове не слишком строгий, иным ссыльным прежде разрешали жить не в общих казармах, а снимать комнаты. Если жили с семьями, то стражники запирали на ночь и семью. А к ссыльным повыше рангом приставляли специальных конвоиров.

Три раза в день труба сзывает на перекличку тех, кому разрешено ходить по острову.

Корзинку с яблоками и виноградом быстро опустошили.

Этьен щедро угощал попутчиков. А кто-то в свою очередь угостил его сыром мацарелла; этот знаменитый козий сыр делают в селении Мандрагоне, которое они сегодня проехали.

Пароход дал гудок, машина за перегородкой уменьшила обороты, пристань близка, машинист замедлил ход.

Над головой протопали матросы, послышалась команда, машина застопорила, на палубе поднялась возня, суматоха. Кто-то истошно кричал кому-то на пристани, перебросили трап, вольные пассажиры сходили на берег.

На верху лесенки появился капрал. Не спускаясь в трюм, он стал вызывать заключенных по одному.

Этьен ждал вызова, но фамилия Кертнер так и не прозвучала.

Значит, его не высадят на Вентотене?

Он остался с уголовниками, которых везли дальше. Куда?

«Санта-Лючия» только что отошла от причала, и капрал разрешил подняться из трюма на опустевшую палубу.

Их осталось всего трое, пассажиров-невольников.

Этьен уже более уверенно вскарабкался наверх по крутой лесенке, которая ходила ходуном.

Он хотел помахать седовласому синьору и четырем парням, стоявшим на пристани тесной кучкой, но наручники жестов не поощряют. Рядом на пристани стоял возле своих корзин лысый благообразный дядька, который фамильярно заговаривал с заключенными. Он увидел Этьена на палубе и весело крикнул, перекрывая шум волн:

— Не скучай без меня! До скорого свидания!

Перед Этьеном высился берег, сильно изрезанный бухтами и бухточками, естественными и искусственными гротами, выдолбленными в вулканическом туфе.

Слева у рыбачьей пристани стоял баркас; за парусом, скроенным из грубого полотна, виднелся мотор на корме.

Пристань успела опустеть, пассажиры подымались по узким лестницам-улочкам — кто под конвоем, кто конвоируя, а кто сам по себе...

И тут сосед Этьена показал на скалистый остров, отдаленный от Вентотене проливом шириной километра в два.

Он глухо сказал:

— Санто-Стефано, остров дьявола.

Никогда Этьен не болел морской болезнью, а в тот момент почувствовал головокружение.

Было что-то зловещее в торчащей из моря скале, на вершине которой белеет круглое трехэтажное здание «эргастоло», то есть каторжной тюрьмы. Или трагическая репутация острова освещает скалу таким мрачным светом?

В зрительной памяти возник замок на скалистом острове Иф, тот самый, на котором томился Дантес, он же граф Монте-Кристо. Но остров Санто-Стефано еще более уединенный, отторгнутый от жизни.

«Санта-Лючия» сбросила ход и задрейфовала метрах в двухстах от скалистого берега.

Он не сразу заметил, что к пароходу направляется лодка.

Это за ним, за Этьеном, и двумя такими же несчастливцами.

Лодку швыряло на рваной, неряшливой волне, но гребцы были неутомимы. Подойти вплотную к борту опасно.

Тот, кто сидел у руля, поймал конец, брошенный матросом «Санта-Лючии», чтобы лодку не относило назад. А чтобы лодка не ткнулась о пароход, на носу стоял гребец и, виртуозно балансируя, отталкивался от борта каждый раз, когда их могло сильно ударить. Старая автомобильная покрышка, привязанная к носу лодки, амортизировала удары. Лодка качалась на волнах, а тем временем спускали веревочный трап.

Первым, когда лодку отделяло от борта не более метра, ловко спрыгнул капрал. Но он прыгал, балансируя руками, а Этьену и его спутникам придется прыгать в наручниках.

С последней веревочной ступеньки Этьен прыгнул так, чтобы угадать между двумя скамейками. Его швырнуло на дно лодки, как груз, и он повалился боком, не в силах опереться руками о скамейку.

Матрос с «Санта-Лючии» выбрал конец, трап подняли, прощальный гудок. Гребцы сели на весла. Рулевой крикнул карабинерам, чтобы те выгребали котелками воду. Этьен подумал было, что в лодке течь, но это их захлестывало волной.

Лодка неуместно нарядная, белее пены. Пожалуй, этой лодке больше подошел бы черный цвет, как лодке Харона, который перевозил души умерших.

Очень трудно пристать к скалистому берегу, он весь в белом кипении. Возвратная сила волны отталкивала лодку, отторгала ее от острова, будто хотела помешать высадке Этьена.

«А если бы вообще не удалось пришвартоваться к этому берегу ни сейчас, ни потом? — мелькнула шальная мысль. — Куда бы меня дели?»

Но гребцы знали свое дело, рулевой учитывал направление ветра и причалил к камням, где волна теряла силу, потому что до того разбивалась о другие, соседние камни.

Так же неловко Этьен спрыгнул с носа лодки на камень, омываемый морем и, может быть, никогда не просыхающий. Со скованными руками он прыгал с одного камня на другой, пока не ступил на сухую почву.

Крутая тропа устлана каменными плитами. По сторонам растут неприхотливые агавы, им достаточно даже узкой расщелины в скале.

Тропа петляла, лавировала, но куда бы Этьен ни сворачивал, порывистый ветер дул ему в лицо, заставляя вбирать голову в плечи и сильно щуриться.

Ветер здесь такой сильный? Этьен обессилел? Или отвык за тюремными стенами от ветреной погоды?

Очень трудно подыматься на крутую гору, когда на руках наручники и страдаешь от сильной одышки.

Этьен постоял, пытаясь отдышаться, оглянулся назад. «Санта-Лючия» уже маячила в беспокойной дали и стала размером с белую лодку.

За нешироким проливом лежал остров Вентотене. Пестрая пригоршня домов брошена на крутой берег. Мозаика эта бело-желто-розовая, и только все ставни в домах зеленые. Самое солидное, высокое здание — полицейский участок с тюрьмой.

Этьен торопливо отвел взгляд от Вентотене и посмотрел наверх, куда вела петляющая тропа. Белое трехэтажное здание тюрьмы так близко, что видны решетки на квадратных окнах. Прямая стена фасада возвышается метров на десять — двенадцать.

Тропа подвела их к железной калитке под каменной аркой. На арке высечена надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий».

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

95

Круглые башни стере-
гут главный вход. По-
пасть в тюрьму можно, лншь
пройдя через
трое ворот.
Кертнер про-
шел за капра-
лом налево, в
тюремиую кон-
тору, куда тот
сдал пакет с
документами
вновь прибывше-
го и конверг с его
деньгами. Увы, в кон-
верте перекатыва-
лось лишь несколько
самых мелких монеток. В
конторе капралу
выдали рас-
пнску в том,
что заклю-
чеиный до-
ставлеи, а
его 32 чеите-
зимо получеиы. Карабниер
снял с Кертнера на-
ручннки и унес их.

Недолго, одиако, Коирад Кертиер прожнл под своей фамнлней. Вместе с тремя годамн жизии он оставил в Кастельфранко прнсвоеный ему там иомер 2722. Здесь его вновь разлучат с нмеием н фамнлней. Какой номер заменят их отиыие? Этьен знал, что приговореииые к различным срокам заключения получают иа Саито-Стефано номера, начииающиеся с пятн тысяч, а те, кто сндит пожизиеиио, — иачиная с тысячи.

Человек, обреченый на пожизиеиную каторгу, зану-

мерован навечно. Имя канет в Лету, а номер будет высечен на могильной плите.

Кертнер получил номер 1055. И пока он сидел в конторе, пока у него снимали отпечатки пальцев, кладовщик уже ставил номер 1055 на вещах, которые выдадут. Из старой одежды ему оставили только грубые ботинки, они еще не просохли от морской воды, которая заливала лодку. Белье, носки, постельное белье, летние полосатые серо-коричневые куртка и штаны, такой же берет с жестким околышем и «казакка» — рубаха, похожая на толстовку, из той же серо-коричневой холстины. Уж не имеет ли «казакка» чего-нибудь общего с казакином? Откуда вдруг взялось это слово в итальянском языке?..

Он вышел из вещевого склада, размещавшегося, как и контора, внутри стены внешнего обвода крепости, прошел через вторые ворота. Внутри эргастоло, построенной в виде трехэтажной подковы, — двор, разделенный, как и в Кастельфранко, на отсеки, а в центре двора — часовня.

Апрельское солнце Санто-Стефано могло бы потягаться с июльским в Ломбардии, на севере Италии.

«Неужели и я сам и тень моя до конца дней своих проживем под конвоем? — горько подумал Этьен. — Мы неразлучны. То я бреду за своей тенью, как приговоренный, то она за мной...»

Его переодели и занумеровали, конвоир повел каторжника 1055 в баню.

Первые две цифры в обращении к каторжнику для удобства опускались, и конвоир уже называл его Чинкванто Чинкве, то есть «55».

— Послушай, Чинкванто Чинкве, что ты такое натворил, чтобы попасть сюда? — спросил конвоир добродушно, когда они шли по двору.

— Убил богатую синьору, ее конюха и украл двух скаковых лошадей. Это было в Риме, на вилле Боргезе, среди бела дня.

Конвоир даже отшатнулся. Его испуг рассмешил Этьена, и тогда конвоир понял: Чинкванто Чинкве шутит.

А Этьен был доволен своим дурачеством. Наперекор всему, он еще не разучился смеяться!

Навстречу им шагал другой тюремщик. Конвоир Этьена показал встречному четыре пальца, тот понимающе кивнул — направляются в четвертую секцию.

Еще в конторе капо гвардиа сообщил, что по законам каторжной тюрьмы каждый вновь прибывший 10 дней отсиживает в карантине в четвертой секции. За особо тяжелую провинность каторжника наказывают строгим карцером — без матраца, без постели, хлеб и вода, суп раз в неделю. А обычный карцер-карантин дает заключенному право на матрац, одеяло и суп два раза в неделю. Так как на десятидневку обязательно приходится хотя бы одно воскресенье, выдают суп и в третий раз. Воду приносят два раза в сутки.

Казалось бы, все уже отняли у Этьена — свободу передвижения, право дышать чистым воздухом больше сорока минут в сутки, отняли возможность есть досыта, а вот, оказывается, можно отнять еще нечто и посадить в темный карцер, где лишаешься света.

Четыре квадратных метра темноты.

И не удивительно, что Этьену в первую же ночь приснилось солнце. Он так озяб душой и телом, чувствовал острую потребность в солнечном свете.

А почему каторжника, ничем не провинившегося, заталкивают в день приезда в темную камеру? Это делается для острастки. Подавить склонность к бунтарству, если она еще сохранилась! Сделать новосела покладистым, смирным, послушным, чтобы он не скандалил, не нарушал тюремный распорядок и был доволен камерой, где окажется после карантина, — ведь все относительно.

Глухое окошко над дверью. Четыре железных прута поперек и четыре прута вдоль окошка; поперечные прутья вкованы в продольные. Значит, окошко состоит из двадцати пяти квадратов полутьмы. Когда дощатая дверь карцера открыта, то сквозь ближнюю, решетчатую дверь виднеется отрезок коридора и окно с решеткой, смотрящее в тюремный двор.

Под тощим матрацем — решетка, достаточно редкая, с дырой посередине. В строгом карцере узник лежит

нагишом и привязан к койке, так что прутья впиваются в тело. Под дыру подставляют парашу.

Холодно, знобко. Сонная немочь одолевает замурованного человека. Этьен и не подозревал, каким страшным орудием пытки может явиться тишина. В Кастельфранко тишина не была такой удручающей, гнетущей, как здесь, в сыром полуподвале четвертой секции.

Глухонемая жизнь, никаких слуховых впечатлений. Немотствует черная ночь. Такой глубокой тишины он еще не слышал. Казалось, здесь умерло даже эхо.

У Рака-отшельника в одиночке тоже было тихо. Но все-таки Этьен слышал птичьи голоса, хлопанье крыльев, к нему вдруг доносилось далекое дребезжание телеги или чей-то смутный окрик.

А здесь лишь раз в сутки, на исходе дня, в карцер проникает слабый отзвук церковного колокола. Он висит во дворе и с наступлением темноты возвещает отбой — израсходовался еще один день.

Этьен не подозревал, что перевод из одной тюрьмы в другую невольно воспринимается как новый арест. А может, это объясняется тем, что при переезде из Кастельфранко он жадно наглотался впечатлений?

Изредка открывался глазок в двери, обитой железом. Утром появился уборщик — низенький, уже в летах, с седой бородкой. Он подмел, убрал в карцере, а перед уходом молча протянул маленький, мелко исписанный листочек бумаги.

«Я политический, здесь семнадцатый год. На Санто-Стефано есть еще двое политических. Считаю своим долгом предупредить, что в ваших документах указано восемь дней карцера, на которые вам дана была отсрочка в той тюрьме по болезни. И еще вам предстоят десять суток карцера как новенькому. Значит, восемнадцать суток карцера подряд, что бесчеловечно. Вызовите врача, пожалуйтесь, потребуйте, чтобы в наказании сделали перерыв. На врачебном обходе пожалуйтесь на острый ревматизм. Или вызовите врача в карцер.

Джузеппе Марьяни».

Пока Этьен читал записку, уборщик стоял и ждал, затем отобрал записку, мелко изорвал ее и бросил в парашу: видимо, таково было указание.

— Я сам неграмотный, — промолвил наконец уборщик, — но синьор Марьяни прочел мне записку... Значит, вы тоже политический?

Этьен кивнул.

— Теперь вас в эргастоло будет четверо? Вот никак не могу взять в толк. Я получил двадцать лет каторги, а у вас она вообще бессрочная. Но я был бандитом! Я жил в свое удовольствие! Я пустил на ветер много тысяч лир! Я кутил с красивыми женщинами! А что вы видели в жизни хорошего?

Видимо и не рассчитывая на ответ, уборщик махнул рукой и вышел из камеры.

Письмо неизвестного Джузеппе Марьяни огорчило Этьена и одновременно обрадовало. Огорчило тем, что на него добавочно обрушиваются восемь голодных, темных, промозглых дней карцера. «Это старый подарок коновала, который не умел делать уколов». Но в то же время на него повеяло чьим-то добрым участием. Пожалуй, письмо больше обрадовало, чем огорчило.

«Всего трое политических, может, среди них нет ни одного коммуниста. Вот где я мог бы в свое время подать прошение о помиловании, если бы Старик настаивал! По крайней мере, меня не презирали бы свои и я не принес бы ущерба итальянским коммунистам. Но теперь, слава богу, никакие прошения о помиловании вообще не принимают».

Голод мутил сознание, Этьен закрывал глаза, и снова, во второй, в пятый, в двадцатый раз служанка в полицейском участке Парадизио заботливо подавала ему минестрину. Почему он так часто вспоминал ту служанку? Потому ли, что минестрина была первым блюдом, которое за эти годы тюрьмы ему подали женские руки? Или потому, что служанка поделилась с ним последним куском, а произошло это в полицейском участке? А кого служанка напоминала, когда сидела со сложенными руками, положив на них подбородок? Ну конечно же Зину, жену Якова Никитича! Это была любимая поза

Зины Старостиной. Зина всегда так сидела, когда угощала проголодавшегося Леву и с удовольствием смотрела, как тот ест.

К концу дня дверь снова отворилась, и в камеру вошел капеллан. Однорукий, глаза добрые. Зовут его Аньелло Конте.

Не нуждается ли христианин в помощи в столь трудный для него день? Не хочет ли исповедаться или помолиться вдвоем?

Этьен признался, что он человек неверующий, но относится с уважением к верующим и к пастырям, которые заботятся о своей пастве.

Почему капеллан пришел к нему в сутане? Но тут же все выяснилось — тот достал из-под сутаны два яйца, кусок сыра и ломоть хлеба.

— Так это же пармиджане! — Этьен жадно грыз твердый, пахучий сыр, похожий на швейцарский.

Капеллан предупредил, что яйца вкрутую и что Чинкванто Чинкве может есть не торопясь и не оглядываясь все время на дверь. Никто не осмелится сейчас войти в камеру. А вдруг узник в эту самую минуту исповедуется?

Пока Этьен ел, капеллан, сидя на его койке, рассказывал об острове Санто-Стефано.

Помимо того, что капеллан облегчает страдания и помогает общению людей с богом, у него есть еще одно занятие: он изучает историю и географию Понтийского архипелага...

Островок, на котором они сейчас находятся, самый маленький во всем архипелаге. Его интересно объехать на лодке, прогулка в два километра. Одна треть квадратного километра — площадь, которую занимает скала, вулканическим потрясением поднятая из морских глубин на поверхность. Когда-то под морем был вулкан, островки Вентотене и Санто-Стефано — его верхушка, размытая надвое. Вчера «Санта-Лючия» проплыла как раз над кратером.

Этьен проголодался до дрожи в руках. Последний раз он ел на пароходе — яблоки и виноград из корзинки и ломтик мацареллы.

— По всему видно, что остров совсем маленький, — сказал Этьен с набитым ртом, — даже по размерам карцера. Остается поблагодарить короля за то, что он предоставил мне эти три квадратных метра своей земли. И еще я получу у государства два квадратных метра на местном кладбище.

Капеллан отрицательно покачал головой:

— Только тюрьма и дом директора стоят здесь на государственной земле. А весь остров, в том числе и кладбище, уже в частном владении. Островом владеет семья Тальерччо — три брата и две сестры. Доминика, жена одного из братьев Тальерччо, — сестра подрядчика Фортунато Верде, который по договору с государством кормит и одевает здесь заключенных. Правда, пока синьор Чинкванто Чинкве не может иметь суждения о подрядчике, так как сидит на хлебе и воде...

Род Тальерччо унаследовал Санто-Стефано от братьев Франческо и Николо Валлинотто, которые купили остров еще у короля Фердинанда II за 345 дукатов. Полтора века назад здесь построили тюрьму, остров приобрел невеселую славу. А государство уже полтора века платит роду Тальерччо арендную плату.

Капеллан давно связал свою жизнь с островом, он оказывает милосердную помощь каторжникам, учит их грамоте, арифметике, закону божьему, географии и, конечно, истории. Он единолично ведет пять классов школы для каторжников. Ну, а что касается тюремной администрации и всех стражников, то их на Санто-Стефано удерживают льготы: три года службы из-за тяжелых условий приравниваются к пяти годам, и тем, кто дослуживает до пенсии, это очень важно.

Пока Чинкванто Чинкве ел, капеллан успел ему сказать, что он приводит в порядок местное кладбище и решил выбить над входом надпись: «Здесь начинается суд бога». Нравится ли синьору эта мысль? Чинкванто Чинкве одобрил надпись, но предложил ее дополнить. Пусть надпись будет разбита на две фразы. Слева от входа уместно написать: «Здесь кончается суд людей», а справа от входа: «И начинается суд бога».

Капеллан глубоко задумался и перед тем, как уйти, повторил:

— Здесь кончается суд людей и начинается суд божий... Неплохая мысль. Спасибо, сын мой.

Капеллан собрал яичную скорлупу и спрятал в карман, а крошек подбирать не пришлось. Он обещал наведаться еще и выразил сожаление, что Чинканто Чинкве попал в карцер на страстной неделе и вынужден будет провести здесь пасху, что само по себе богопротивно.

Чинкванто Чинкве объяснил, что помимо десяти суток карантина он задолжал восемь суток карцера администрации в тюрьме Кастельфранко. Полагал, что наказание аннулировали, когда он лежал в тамошнем лазарете.

Капеллан покачал головой: плохой христианин, злопамятный человек оформлял его сопроводительные документы.

Чинкванто Чинкве спросил, сидит ли здесь Джузеппе Марьяни, и получил утвердительный ответ. Но расспрашивать о неизвестном ему синьоре, который поспешил со своим дружеским участием, Этьен не решился.

Совет Марьяни помог. После жалоб Чинкванто Чинкве на приступ острого ревматизма тюремный врач распорядился не оставлять узника в карцере на второй срок и отложить старое наказание до той поры, пока Чинкванто Чинкве не поправится.

Утром в страстную субботу в карцер явился капо гвардиа:

— Завтра пасха, день всепрощения. Я разрешаю вам перейти в камеру тридцать шесть, которая вас ждет. А потом досидите еще пять суток. Просьба капеллана.

— Если в связи с праздником пасхи администрация решила быть милосердной и отменить карцер совсем, я с благодарностью приму такой акт милосердия. Но временная отсрочка — милостыня, и я ее не приму.

Капо гвардиа находился в весьма затруднительном положении. Под конец беседы он признался, что требование отпустить Чинкванто Чинкве исходит не только от капеллана. Об этом стало известно всем узникам в эргастоло.

От уборщика с седой бородкой Этьен знал, что каторжники возмущены, ругают тюремное начальство последними словами: весь пасхальный праздник отравлен, когда в карцере томится христианская душа. Заключенным стыдно за администрацию, которая берет на свою душу такой грех. Что же тогда стоят призывы к морали и справедливости?! И держать узника на хлебе и воде в день, когда воскрес Христос, — неприличная жестокость.

Капо гвардиа явился еще раз, снова уговаривал Чинкванто Чинкве, но тот стоял на своем и отказался покинуть карцер.

Этьен успел всесторонне обдумать предложение капо гвардиа и только делал вид, что упрямится, петушится себе во вред. По всем расчетам покидать сейчас карцер невыгодно. Во-первых, где гарантия, что ему не придется отсидеть оставшиеся пять дней карантина плюс старые восемь дней подряд, что будет мучительно? А во-вторых, маловероятно, что в пасхальные дни его оставят в карцере на хлебе и воде. Если же ему будут давать в эти дни суп, то сам бог велел проторчать всю пасху в карцере, чтобы последующее наказание голодом стало не таким чувствительным.

Он оказался прав в своих предположениях. В дни пасхи ему и впрямь делали поблажки, чтобы все узнали о милосердии капо диретторе. И благодаря своей хитрости новосел перенес карцер без голодных обмороков, без приступов головокружения.

Его вывели из карцера в пасмурный день, а он, отвыкший от света, щурился так, словно его ослепило нестерпимое солнце.

Медленно поднялся он на третий этаж и остановился перед камерой 36. Этьену померещилось что-то знакомое в лице тюремщика, который дежурил в коридоре.

— Не узнаете? — спросил тюремщик.

— Не могу вспомнить.

— А я предупредил синьора, чтобы он не скучал без меня. Узнал, что вас отправляют сюда, и потому крикнул, когда вы стояли на палубе: «До скорого свидания!»

Только вот не думал, что синьор едет к нам в гости на всю жизнь...

Новый знакомый успел сообщить, что он был в отпуске и привез из деревни фрукты, может доставлять их за недорогую цену.

Чинкванто Чинкве поблагодарил, но отказался; он беден, как тюремная крыса. Тюремщик обещал принести фрукты без денег, когда-нибудь сочтутся. Зовут его Пьетро, а прозвище у него «Апостол Пьетро» — в подтверждение он побренчал связкой ключей. Этьен всмотрелся в благообразное лицо — он в самом деле похож на ключаря райских врат, каким его изображают на всех картинках и иконах.

Первая дверь, ведущая в камеру, деревянная, обита железом, с окошечком, в которое едва можно просунуть миску с супом, стена шириной без малого метр, второй дверью служит железная решетка.

На самом деле камера светлая или так кажется после карцера? А насколько здесь суше? Ему полагаются два одеяла и подушка, набитая морской травой.

Он забрался на табуретку и прильнул к окну, закрытому «волчьей пастью». В верхнюю щель, кроме клочка неба, видна полоска моря, оно тускло синеет совсем рядом.

Ему даже показалось, что слышен скрип уключин невидимой лодки. Может, лодка и в самом деле плывет где-то близ берега? Нет, это скрипнула ржавая петля или щеколда.

Долго, очень долго стоял он на табуретке, не отрывая взгляда от моря, уходящего к горизонту. Одни только глаза оставались у Этьена на свободе, и он смотрел на чаек, на море, все в белых гребешках, на дымок парохода в серо-синей дали...

96

Ранним утром Гри-Гри имел обыкновение заходить в кафе «Греко» возле площади Испании, в этом кафе когда-то сиживал Гоголь. Сегодня Гри-Гри не успел дойти до своего столика и заказать чашку кофе, как

узнал из обрывков всеобщего возбужденного разговора, что Гитлер, а вслед за ним Муссолини объявили войну Советскому Союзу.

В «Греко» показалось душно. Гри-Гри не стал завтракать и вышел на виа Кондотти.

Почему не слышно газетчиков? Все газеты уже распроданы? Или опоздали?

Нужно как можно быстрее добраться до посольства, с каждым часом осложнений будет все больше. А как же персонал торгпредства в Милане? Наверное, уже укладываются. Хорошо, что Тамара в отпуске, в Крыму. Но тут же Гри-Гри подумал, что отсутствие Тамары сейчас весьма некстати: она повидалась бы с Джаниной и оставила бы ей деньги для Этьена. А может, повидаться им уже не пришлось бы? И как Джанина смогла бы потом объяснить происхождение денег?

Впрочем, незачем ему сейчас над этим ломать голову. Тамары нет, денег нет, и передать что-нибудь Этьену не удастся.

Гри-Гри пересек площадь Испании и поднялся по лестнице, восходящей широкими ступенями к улице Четырех фонтанов. На лестнице, несмотря на ранний час, оживленно, не протолкаться. Излюбленное место художников — здесь они встречаются, нанимают натурщиц, показывают свои картины, продают их. И здесь сейчас толпа темпераментно обсуждала последние новости — война с русскими!

Узкая, бесконечно длинная улица Четырех фонтанов ведет к вокзалу. На пересечении с виа Национале Гри-Гри свернул налево — кратчайшая дорога к посольству.

На площади Гри-Гри пробился к продавцу газеты «Мессаджеро». Сегодня его луженая глотка отдыхала — заголовки на первой странице кричали сами. У стационе Термини митинговали, размахивали итальянскими и немецкими флагами.

Шагая по улице Гаэта к зданию посольства, Гри-Гри подумал: «Если посольство уже блокировано, полезнее не торопиться, задержаться в городе. Явиться в посольство перед самым отъездом. Вдруг я — единственный советский гражданин, который остался по эту сторону

ограды? Может, там, в посольстве, и газет сегодняшних не видели и не могут их купить?»

У посольства большая и шумная толпа. Фашисты выкрикивают антисоветские лозунги. Как Гри-Гри и предполагал, карабинеры никого не выпускают из здания посольства и не впускают туда. На фоне безоблачного голубого неба вьется дымок над трубой: нетрудно догадаться, что в посольстве горит камин, жгут бумаги.

Гри-Гри направился к телефону-автомату. Тщетно, телефоны посольства отключены. Он зашел на телеграф — связь с Москвой прекращена.

Гри-Гри знал, что детей из советской колонии вывозят по субботам на взморье автобусом. Но, стоя в толпе возле здания посольства, Гри-Гри обратил внимание на то, что автобус не возвратился: из-за тесноты в гараже автобус обычно стоял под аркой ворот, теперь его не было там. Можно себе представить, как волнуются родители в ожидании детей!

Гри-Гри жил на частной квартире, как многие сотрудники посольства, технические эксперты, представители торговых ведомств, корреспонденты.

Конечно, безотлагательно убраться из своей комнаты и переехать сейчас в здание посольства или консульства было бы безопаснее. Но удастся ли пройти туда? Ведь у Гри-Гри нет дипломатического паспорта. И кто знает, что ждет его в городе, который охвачен воинственным фашистским психозом?

Хорошо еще, что он снимает комнату в приличной семье и хозяев можно не опасаться.

Выйдя из здания телеграфа, он решил наведаться к себе домой, на виа Палестро, это рядом с русской православной церковью.

Подходя к дому, он еще издали заметил карабинера. Странно, — раньше карабинер тут не торчал. Хорошо, что дом угловой и кроме парадного подъезда есть вход со двора. Гри-Гри свернул в переулок, пересек соседний двор и вошел к себе в комнату через хозяйскую террасу.

Хозяева, люди среднего достатка, восприняли весть о войне с Россией как огромное несчастье, а к своему жильцу отнеслись весьма сочувственно. Хозяйка счита-

ла, что жильцу разумнее лишний раз на улице не показываться, и взяла для него в траттории обед на дом.

Во время обеда позвонил секретарь посольства. Он звонил из телефона-автомата и сообщил, что Гри-Гри может перебраться на жительство в посольство, еще есть несколько свободных диванов, день отъезда — 24 июня. Список советских граждан, не имеющих дипломатических паспортов, но эвакуируемых, — у лейтенанта карабинеров, который дежурит у входа в посольство. Он пропускает в здание, сверяясь со списком.

Перед вечером хозяйка принесла срочные выпуски газет. Гри-Гри узнал все события дня. Русский посол синьор Горелкин находился утром за городом и потому не сразу явился по вызову во дворец Киджи, в министерство иностранных дел, в резиденцию графа Чиано. По обыкновению, сотрудники посольства проводили воскресный день на взморье, и посла разыскали лишь в полдень.

Посол прибыл в министерство иностранных дел в половине первого. Предыдущий свой визит синьор Горелкин нанес Чиано 13 мая. Тогда министр любезно поздравил Горелкина, ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла...

На этот раз Чиано был подчеркнуто официален, сух и немногословен. Он заявил послу Горелкину:

— Ввиду сложившейся ситуации, в связи с тем, что Германия объявила войну СССР, Италия, как союзница Германии и как член Тройственного пакта, также объявила войну Советскому Союзу с момента вступления германских войск на советскую территорию, то есть с 22 июня, 3.30 утра по среднеевропейскому времени.

Аудиенция длилась всего две минуты.

Из английской радиопередачи Гри-Гри узнал, что вступление Италии в войну было полной неожиданностью и для итальянского посла в Москве Россо; он узнал о войне по радио. Английский диктор сообщил несколько подробностей, касающихся минувшей ночи.

В минувшую полночь германский посол предупредил министра Чиано, что ночью ожидается важное сообщение. Чиано спать не лег. В час ночи посол попросил

аудиенцию и явился в министерство с папкой в руках — там лежало личное послание Гитлера к Муссолини. В четыре ночи разбудили Муссолини и составили ноту Кремлю...

Гри-Гри решился выйти из дому и прогуляться по Риму. Чем сегодня дышит город? Как знать, не последняя ли это прогулка?

На пьяцца Венеция, над дворцом Муссолини, висит черный флаг с золотой фашистской эмблемой. У парадного подъезда на часах стоят «мушкетеры дуче». Площадь запружена орущей толпой. Манифестанты не расходятся, ждут, когда дуче появится на балконе.

Гри-Гри оглушали воинственные крики чернорубашечников. Недоставало сил слушать, как они бахвалятся, поносят Советскую Россию, провозглашают здравицы в честь фюрера, дуче... Он ушел с площади.

Наступил час прощания с Римом. Для этого нужно наведаться к фонтану Треви. Поверье таково: если ты хочешь когда-нибудь снова вернуться в Рим — встань спиной к фонтану и брось монетку через левое плечо. Дно фонтана густо усеяно монетками, а так как вода всегда колышется, сквозь зыбь никак не различить, что за монетки лежат на дне. Гри-Гри слышал, попадаются и золотые. Большая, никогда не высыхающая мраморная копилка!

Сторож каждодневно разгуливает по бассейну в высоких резиновых сапогах и сгребает монетки в кружку. Говорят, на эти деньги муниципалитет содержит сиротский дом. Как бы то ни было, Гри-Гри повернулся к фонтану спиной и бросил через левое плечо две монетки: за себя и за Этьена.

Гри-Гри прошел к себе домой через соседний двор и хозяйскую террасу. Пора собирать вещи. Он может взять с собой только небольшой чемодан. Поблагодарил хозяев за доброе к нему отношение и разрешил распоряжаться всеми оставшимися вещами. Лишь новый габардиновый плащ он решил переправить посылкой в Милан на имя Конрада Кертнера, в адрес конторы «Эврика». Он указал вымышленный обратный адрес и вымышленную фамилию отправителя. В записке, которую

вложил в карман плаща и которую, как надеялся, прочтет Джаннина, он благодарил Кертнера: тот очень выручил его в дождливую погоду. Извинился, что не вернул плащ раньше, думал сам побывать в Милане. Но начавшаяся война может все перепутать, его со дня на день могут призвать в итальянскую армию, поэтому он отсылает плащ...

Знает ли уже Этьен там, на Санто-Стефано, какая разразилась катастрофа? Понимает ли, что рвется последняя, самая наипоследняя ниточка, какая связывала его тюремную камеру с родиной? Уйдет эшелон с персоналом посольства, покинут Италию другие советские люди, а Этьен останется один-одинешенек. Скарбек и Анка не должны иметь никакого касательства к узнику Санто-Стефано. Джаннина — вот преданное, благородное сердце, она по-прежнему обеспокоена судьбой бывшего шефа. Но что может сделать Джаннина, если распродажа вещей закончилась и у нее нет повода для перевода денег? Она не могла бы объяснить тайной полиции, откуда взяла деньги, которые ему переслала. Нетрудно догадаться, что теперь, когда Италия и СССР находятся в состоянии войны, слежка за Джанниной усилится, поскольку Кертнера по-прежнему подозревают в связи с русскими. А вдруг Джаннина изловчится и все-таки перешлет ему деньги, вырученные за габардиновый плащ? Совсем новый плащ, Гри-Гри купил его в Париже в магазине «Лафайет»...

Хозяйка долго благодарила за подаренные вещи, особенно за радиоприемник, и сама пошла за экипажем для квартиранта.

Последняя новость, которую он услышал по радио: состав итальянского посольства в СССР специальным поездом выехал в Батуми, направляясь оттуда в Турцию. Интересы Германии защищает в Советской России посольство Болгарии.

Подъезжая к посольству, Гри-Гри увидел русского повара, шагающего по улице Гаэта; его сопровождал карабинер. Повар возвращался с покупками — кульки, пакеты. Очевидно, режим, установленный для работников посольства, ослабили.

Гри-Гри явился вовремя. Персонал посольства и все советские граждане, подлежавшие эвакуации, съехали с частных квартир и находились уже здесь.

Лейтенант карабинеров сверился со своим списком и пропустил Гри-Гри.

Как все изменилось в посольстве за двое последних суток! Служебные кабинеты тоже заселены, многие спали на полу.

Гри-Гри и до того часто думал об Этьене, но сейчас, когда все укладывали вещи, паковали багаж, жгли лишние бумаги, он со всей отчетливостью представлял себе трагизм положения Этьена.

В этот день, 24 июня, в посольство прибыл начальник протокольного отдела МИД Италии Чилезио. Ему передали список советской колонии, там значился и Гри-Гри.

Отъезд затруднялся тем, что на деньги посольства и торгпредства, хранящиеся в банках Италии, наложен арест.

Стало известно, что шведская миссия взяла на себя защиту интересов СССР. Вечером того же дня в советское посольство прибыл посланник нейтральной Швеции барон Бек-Фриз. Он сообщил, что всеми вопросами, связанными с эвакуацией, занимается дипломат Пломгрен.

Сперва итальянцы предложили эвакуировать русских морем — через Неаполь в Одессу. «Мы бы тогда проплыли близко от Вентотене», — мелькнула мысль у Гри-Гри. Но как можно плыть в Одессу, если и в Эгейском, и в Мраморном, и в Черном море хозяйничает флот нацистов?

Позже предложили такой вариант: эвакуироваться поездом до Испании, оттуда пароходом в США и через Аляску, Дальний Восток — в Москву. Нашлись итальянские антифашисты, которые предупредили, что план подсказан нацистами, исходит из недр германского посольства. Замышляют интернировать персонал посольства в Испании или потопить его в море. Подозрительный кружной маршрут был отвергнут.

Только к 26 июня определился маршрут: через Югославию, Болгарию, Турцию. Накануне в посольство прибыли шведские дипломаты. Они обошли здание, им вру-

чили инвентарные книги, список оставленных ценных предметов и тяжелую связку ключей. На имя Пломгрена оформили доверенность, чтобы он мог получать в банке деньги советского посольства для оплаты всех расходов, связанных с эвакуацией.

Барон Бек-Фрииз сопровождал советского посла до вагона. Гри-Гри увидел на вокзале Чилезио, тот вручил послу заверенный министерством список отъезжавших. Из 167 пассажиров 157 составляли персонал посольства и торгпредства, но и остальные десять, в их числе Гри-Гри, пользовались отныне дипломатическим иммунитетом.

5 июля поезд отошел от римского перрона. Маршрут: Рим — Венеция — Белград — София — Стамбул. В каждом вагоне ехал карабинер, но общий контроль осуществляла команда эсэсовцев. Когда их не было поблизости, итальянцы охотно вступали в разговоры.

Через пять суток поезд доплелся до небольшой болгарской станции Свелинград, на границе с Турцией; там надолго застряли. На соседнем пути стоял состав с персоналом бывшего советского посольства в Германии. У них кончилось продовольствие, и «римляне» поделились с ними, чем могли. «Берлинцы» покинули столицу фашистского рейха в спешке, в атмосфере истерической враждебности. Гестаповцы хамили и чинили всевозможные препятствия.

17 июля в 8 утра пересекли турецкую границу.

Каждый день оглушал Гри-Гри громом тревожных сообщений. Они врывались по ходу поезда — сначала на итальянском, потом на сербском, болгарском и турецком языках. Радиоприемник в поезде работал с большими перебоями, а местную газету не всегда найдешь, не всегда поймешь. Но даже если сделать поправку на необъективность болгарской и турецкой печати, дела на фронте были плохи.

Из пограничного Свелинграда поезд, которым ехал Гри-Гри, направился по маршруту Стамбул — Анкара — Карс. Из Карса уже сравнительно нетрудно добраться до Ленинакана.

4 августа, после месячного путешествия, персонал посольства и торгпредства прибыл в Москву.

97

Не успели съесть воскресный обед — в тот день полагался кусочек мяса и две картофелины, — к Марьяни прибежали уголовники:

— Немцы напали на русских! Италия объявила войну России!

Новость потрясла Этьена, хотя он давно ждал ее. И не успел он побыть наедине со своей тревогой, как их вызвали на прогулку. Они всегда гуляли вместе, трое политических — Марьяни, подполковник Тройли и Этьен. А четвертого политического — Лючетти — водили на прогулку отдельно, строгий режим не разрешал ему ни с кем общаться.

Нечего и говорить, что все сорок минут, отпущенные на прогулку, обсуждалась ошеломляющая новость.

Марьяни утверждал, что Гитлер и Муссолини сделали непоправимую ошибку. Он пространно доказывал, почему нельзя браться за оружие ни тому, ни другому, и напомнил предостережение Фридриха Великого о русских солдатах: их нужно дважды застрелить и потом еще толкнуть, чтобы они наконец упали. О, Фридрих Великий хорошо знал русских солдат, и его соплеменники скоро в этом убедятся.

«Вот такой солдат — наш Старик! — с гордостью подумал Этьен. — Кого-кого, а Старика война наверняка не застала врасплох. Настоящий разведчик встречает войну во всеоружии»...

Тройли в воинственном пылу размахивал кулаками, выкрикивал проклятия по адресу большевиков — с Россией церемониться не станут! Сам он подаст прошение королю и дуче с просьбой немедленно направить его на фронт, на передовую.

Тройли, участник похода на Рим в 1922 году, был консулом фашистской милиции, служил в генеральном штабе, а все свободное время проводил у зеленых столов в игорных домах. Французская разведка подцепила его на крючок в Монте-Карло и по дешевке купила этого заядлого, нечистого на руку картежника, жуира и приверженца французского коньяка «мартель». Сперва

Тройли прокутил казенные деньги, а затем начал по сходной цене продавать французам военные тайны. Если ему верить, он пошел на это потому, что обиделся на Муссолини — тот обещал, что Тройли изберут в парламент, и надул. Происходит он из древиего аристократического рода, их фамилия упоминается у Данте в «Божественной комедии», предок Тройли сидит там в аду.

Как раз в те дни Марьяни перечитывал диалоги Цицерона о государстве и законах. Втроем они уже ие раз обсуждали проблемы, затронутые Цицероном. Марьяни напомнил Тройли высказывание Цицерона о справедливых и несправедливых войнах. Если верить Цицерону, война, которую Гитлер и Муссолини начали сегодня на рассвете против России, несправедливая, потому что начата без оснований. Ни Германия, ни Италия не были вынуждены отразить нападение врагов или отомстить за обиду. Цицерон утверждает, что только та война считается справедливой, которая возвещена, объявлена, начата из-за неисполненного требования возместить нанесенный ущерб.

Тройли обругал Цицерона, а сдержанный и обычно корректный Марьяни не стерпел такого поношения, к концу прогулки разбушевался и, когда их разводили по камерам, крикнул Тройли вдогонку:

— Чтоб тебе подавиться твоим же языком!

Этьен прогуливался безмолвно, и можно было подумать, что не принимает спора близко к сердцу, а на самом деле с нетерпением ждал, когда окончится прогулка и он сможет остаться в камере наедине со своими мыслями, опасениями, тревогами.

Горько знать, что в такие часы ты отторгнут от родины и ничем не можешь ей помочь. А сколько мог бы сделать Конрад Кертнер на свободе, оставаясь по эту сторону фронта!

Да, Этьен ничем помочь сегодня не может. Но хоть бы знать, что принесли пользу его доиесения, знать, что они помогли Красной Армии!

Особенно настойчиво он обращался мыслью к танковым войскам. Успели у нас наладить серийное производство «Т-34»? Много лет назад Этьеи начал серьезно за-

ниматься танками. Еще в начале тридцатых годов он заинтересовался работой 6-го инспекционного отдела германского генерального штаба. Возглавлял 6-й отдел полковник Гейнц Гудериан, там разрабатывались вопросы, связанные с бронетанковой техникой, там пытались предугадать характер будущей войны. Хотелось думать, что и у нас напряженно работает мозговой трест, который не уступит 6-му инспекционному отделу и сможет в будущих схватках потягаться с этим самым Гудерианом. Этьен был высокого мнения о начальнике бронетанкового управления Иннокентии Андреевиче Халепском, знал и начальника управления по новой технике Ивана Андриановича Лебедева.

Этьена тревожила толщина брони, так как обычная броня в 20 миллиметров предохраняет только от пуль, а не от осколков, это показали бои в Испании.

Вторая проблема, тоже жизненно важная, — дизельный мотор «В-2». Сколько у него преимуществ перед бензиновыми двигателями, которые стоят на немецких танках! Да и силенок у нашего побольше — 500 «лошадей», могучий табун! Только подумать, что еще в начале тридцатых годов нашим танкистам рассылали инструкцию, согласно которой бензиновые моторы, опасные в эксплуатации, следовало заводить в присутствии пожарников... Знаком был Этьен и с главным конструктором «тридцатьчетверки» Михаилом Ильичем Кошкиным. Помнится, он родом из Вятки, на два года моложе Этьена, а здоровьем не отличался. Ему никак нельзя сидеть подолгу в движущемся танке, а тем более делать в танке длительные переходы, проводить испытания. Температура внутри при таких испытаниях африканская, до 65 градусов, да еще с газком...

Многое беспокоило Этьена в то трагическое воскресенье и в последующие дни, когда он неустанно и настойчиво думал о вооружении Красной Армии. Сильно тревожили самолеты. Удалось ли нашим конструкторам за последние два-три года набрать высотёнку и скоростёнку? Чтобы получить ответ на все эти вопросы, требовалось немногое — оказаться на свободе и добраться до своих... Впрочем, как он может судить о сегодняш-

нем вооруженни Красной Армии, сидя здесь, в одииочке № 36? Наивное н бессмысление занятие!

Ои даже ие зиает, какая сегодия форма у Красной Армии. Может, та, которую ои в последиий раз иадевал в 1935 году, тоже устарела? Был с иим одиажды такой случай: вериулся в Москву из длительиой заграничиой командировки, а для какого-то пропуска ему нужио было сияться в военной форме. Пришлось попросить гимиастерку у товарища, поскольку собствеиная вышла из моды... Сохраиился ли дома его будениовский шлем и шинель с «разговорами» — красиыми поперечиыми полосами? Когда-то, будучи на Востоке, он узиал из одного вражеского разведдонесеиия, что красные полосы, иашитые иа шинели, облегчают противнику прицеливание. Вражеским сиайперам и в голову удобно целиться, так как иа шлем иашита большая красиая звезда. Он написал тогда Берзииу специальиую докладиую о иашей форме, которая демаскирует в бою красных комаидиров. Форму вскоре сменили, ио Этьеи так н не узиал, сыграла ли тут какую-то роль его докладиая записка или это было сделаио незавнсимо от нее.

Необходимо думать о самом главиом, ио до этого ему хотелось отчетливо представить себе, как иаша армия сейчас одета, и его раздражало, что ои отвлекался от главиого.

Да, ои был бы бесконечио счастлив, если бы мог очутиться сегодия под небом Родииы, в строю, в форме комбрига Красной Армии. Кому и когда ои в последиий раз козырнул, до того, как снял форму и иадел штатский костюм? Разве такое запомиишь... И не сразу ему удалось когда-то отучиться от строевого шага и обрести свободиую, раскованиую походку. Давиенько ие ходил строевым шагом! «Левое плечо вперед!» — подал он неведомо кому беззвучиую комаиду и сам повериулся. Как бы ие приключился с иим при возвращении в армию такой коифуз: иачиет печатать иа марше строевой шаг, а по иерции, по стародавией тюремной привычке, после четырех шагов сделает поворот через левое плечо. Весь строй может испогаиить!..

Через иеделю пришла иллюстрированная воскресиая

газета; опубликованы фотографии и подробный отчет о параде войск, направлявшихся в Россию. Уже в первой половине июля предполагалось перебросить итальянский экспедиционный корпус на какой-то участок Южного фронта. В корпус входили механизированные дивизии «Пасубио» и «Торино», мобильная дивизия «Принц Амадео герцог д'Аоста», артиллерийский полк и 23-я эскадрилья истребительной авиации.

Тройли — единственный узник, у которого приняли прошение об отправке на фронт, нескольким уголовникам отказали. Прошение Тройли было полно верноподданнических чувств и злобных выпадов против русских, которых нужно проучить раз и навсегда.

Фашистские главари Италии боялись, как бы их войска не опоздали принять участие в восточном блицкриге. А подполковник Тройли, отправивший свое прошение, боялся отстать от экспедиционного корпуса.

Тройли и прежде высокомерно относился к постоянным спутникам на прогулке. А в ожидании ответа на свое прошение держался еще более надменно, в спорах с Марьяни грубил, а Кертнера называл тайным агентом Коминтерна.

Как Тройли ни был антипатичен, Кертнер и Марьяни брали у него старые газеты, которые тот исподтишка им передавал. Но в последний раз оба демонстративно не взяли газет и порвали с Тройли всякие отношения.

— Да что с тобой попусту спорить, — сказал Марьяни в сердцах. — Спор о тени осла...

Кончилось тем, что Марьяни и Кертнер отказались выходить с Тройли на совместные прогулки.

Капо диретторе обещал выполнить их требование, но не успел этого сделать: тюрьму облетела весть, что ходатайство Тройли удовлетворено. Он попрощался с Марьяни и Кертнером со снисходительностью человека, который по досадному недоразумению очутился на Санто-Стефано в одной компании с ними. Он торопится на фронт, он вернется оттуда генералом, он научит большевиков с уважением относиться к дуче, он заставит их трепетать перед итальянским оружием!

В день, когда Тройли уезжал, сводка с русского

фронта сильно огорчила Этьена. Да, вести неутешительные. Если верить газетам, немецкие войска продвигаются в глубь России, они уже завоевали почти всю Белую Россию. Этьен догадался, что речь идет о Белоруссии. Он с острой тревогой подумал о затерянном в лесном захолустье деревянном городке Чаусы, где живут добросердечная мачеха Люба, другие родичи и друзья его детства. Неужели огненный вал докатится так далеко, прежде чем Красная Армия оправится от внезапного удара и перейдет в контрнаступление?

Однако день сменялся днем, а вести с русского фронта по-прежнему приходили неутешительные.

С содроганием вглядывался Этьен в фотоснимок — лагерь русских пленных в Умани. Многотысячная толпа страдальцев! Второй снимок — смотр итальянским частям, которые движутся на фронт. Перекресток дорог в восемнадцати километрах от Умани, Муссолини стоит в открытой машине рядом с Гитлером. На третьей фотографии снова снят дуче, «первый пилот Итальянской империи». Целых полчаса Муссолини вел самолет, на борту которого находился Гитлер, Гиммлер и другие главари, когда все они возвращались из Умани в Германию. Вот, наверное, натерпелись страху!

«А на сколько лет был заключен пакт о ненападении? — вспоминал Этьен, вглядываясь во все эти фотографии, опубликованные в воскресной газете «Доменико дель коррьере». — Кажется, на десять лет. Миновало меньше двух лет. Хорошо ли мы использовали передышку? Многое ли успели сделать?»

98

Еще до того, как подъехали к Москве, Гри-Гри понял, что город эвакуируют.

Навстречу им прошел странный эшелон, сплошь состоящий из вагонов-ресторанов, набитых пассажирами, из почтовых, багажных вагонов, холодильников и снегоочистителей. С соседнего пути, по которому ходила подмосковная электричка, снимали и сматывали медный кабель. Мимо дачных платформ прошла переполненная

электричка, однако тащил ее маломощный паровоз; он обволакивал вагоны густым дымом.

Никто из родных, близких не встречал поезд, пришедший вне расписания. Был предвечерний час, и площадь у Курского вокзала встретила дипломатов из Рима тревожным ожиданием воздушного налета.

Две недели назад немцы бомбили первый раз, и с тех пор начались еженощные налеты. В московском небе плавают невиданные серебристые рыбы — аэростаты воздушного заграждения; если налетчики снизятся над городом, то попадут в тенета. У входа в метро выстроилась очередь — вечером станция превращалась в бомбоубежище. Кто-то сообщил, что в метро пускают с пяти вечера. В очереди много женщин с детьми, стариков. Окна домов на привокзальной площади заклеены крест-накрест полосками бумаги, зашторены. В нескольких домах на Садовой, на Маросейке и на Ильинке выбиты стекла. Но ни одного разрушенного дома Гри-Гри и его попутчики не увидели. Слава нашим зенитчикам, слава нашим истребителям!

«Эмочка» выехала мимо ГУМа на Красную площадь. На Кремлевской стене нарисованы скошенные фасады домов — чтобы сбить с толку фашистских летчиков, чтобы зрительно сломать форму объекта, чтобы стены Кремля сливались с окружающими кварталами. Над Мавзолеем сооружен макет трехэтажного жилого дома. Пока машина при выезде на площадь стояла у потухшего светофора, пока милиционер в каске и с винтовкой за плечом не взмахнул разрешающе флажком, Гри-Гри успел заметить, что памятник Минину и Пожарскому обложен мешками с песком. Кремлевские звезды то ли укрыты защитными чехлами, то ли выкрашены защитной краской — наступали сумерки, из «эмки» не разглядеть.

Фасад Большого театра тоже в камуфляже — завешен какими-то декорациями. На Театральной площади выставлены на всеобщее обозрение обломки фашистских самолетов, сбитых в московском небе. Фонтан по соседству бездействовал, и Гри-Гри вспомнил фонтан Треви, куда он месяц назад бросил монетки «на счастье».

Как не похожа Москва, надевшая военную форму и вставшая под ружье, на крикливый, пока еще беспечный, не знающий затемнения Рим! Надолго ли Рим останется таким? Сможет ли Вечный город избежать ужасов войны? Навряд ли.

Проехали через Охотный, свернули на улицу Горького. Зеркальные витрины ресторана «Националь», магазинов и парикмахерской напротив телеграфа закрыты дощатыми щитами, штабелями мешков.

«В течение ночи на 5 августа наши войска вели бои с противником на Смоленском, Коростенском и Белоцерковском направлениях».

В вечернем сообщении за тот же день прибавился Эстонский участок фронта. Как сообщало Совинформбюро, «на остальных направлениях и участках фронта крупных боевых действий не велось».

В разведуправлении все были заняты сверх головы, многих старых работников Гри-Гри не застал, Берзин здесь давно не работал, имя его не упоминалось.

На следующий день Гри-Гри узнал много тревожных новостей, о которых Совинформбюро пока не информировало. Сдан Смоленск, остатки армий, защищавших Смоленск, чтобы избежать окружения, поспешно отошли на восточный берег Днепра. В районе Дорогобужа идут кровавые бои на Соловьевской и Ратчинской переправах, немцы жестоко их бомбят.

Гри-Гри сильно устал от месячной поездной жизни, был встревожен тем, что увидел и услышал в Москве. Но тем не менее на второй же день, еще до наступления сумерек, до того, как будет объявлена воздушная тревога, поехал к Надежде Дмитриевне и Тане Маневич.

Их могли эвакуировать со дня на день.

99

Джузеппе Марьяни — невысокого роста, коренастый, широкоплечий, уже начавший лысеть, отчего его просторный лоб казался еще больше. Глаза умные, добрые и внимательные.

Еще когда фашисты призвали юношу Джузеппе в армию, он симулировал потерю памяти: забыл все слова, кроме названия родного города — Мантуя. Позже молодой Марьяни примкнул в Милане к анархистам, вошел в их боевую группу. Решили взорвать здание, где помещалась фашистская милиция в Милане, но точного плана здания у анархистов не было. Мину подложили неудачно, и от взрыва пострадали не столько чернорубашечники, сколько музыканты в кинематографе «Диана»: они сидели за тонкой стеной в раковине для оркестра. В тот черный день погибло более двадцати человек. После ареста Марьяни самоотверженно назвался организатором взрыва, выгораживал других, более виноватых, но семейных, и был приговорен к бессрочной каторге.

Двенадцать лет он просидел в строгой изоляции, с персональным стражником у двери камеры. Они привыкли друг к другу — каторжник и его стражник. Каторжник усердно занимался, и его неграмотный сторож изнывал, томился в коридоре больше, чем тот, кого он сторожил. Потом Марьяни сквозь приоткрытую дверь на цепи стал декламировать своему стражу Данте, Гомера, читал вслух иллюстрированные воскресные приложения, каких не имел права получать. Когда этот страшный террорист с чувством читал лирические стихи, на глазах стражника блестели слезы.

В такой же строгой изоляции находится теперь Джино Лючетти, только стражник у него, говорят, не столь общительный.

Для Марьяни это время прошло, он теперь пользовался доверием привыкших к нему, как к «старожилу», тюремщиков. Иногда его даже пускали в соседнюю камеру, к новичку Чинкванто Чинкве. Они подолгу беседовали. Марьяни огорчался тем, что не может помочь голодающему Чинкванто Чинкве, он сам лишен всякой поддержки с воли и живет впроголодь. От кого Марьяни ждать помощи? Единственный брат его содержит мать; он работает подметальщиком при муниципалитете, сметает сор с улиц родной Мантуи. А других родичей у Марьяни нет. Последнее свидание с матерью состоялось

восемь лет назад, тогда же ему переслали немиого денег.

Этьен рассказал, как Бруио перевел ему свои сбережеиия перед освобождением из тюрьмы, это было полтора года назад...

По словам Марьянн, политическим в здешией тюрьме иамного трудиее, чем уголовиикам. Те могут работать иа огороде у подрядчика нли, иа худой конец, стирать тюремиое белье, тачать обувь, вязать иоски — иабегают какие-то сольди иа курево, иа мыло, на лук, покупаемые в тюремиой лавке. А политнческие ие имеют и такого приработка.

Тем более кстати был иеожндаииый почтовый перевод, поступнвший на имя Коирада Кертнера из Мнлана. Джаиииа перевела 700 лир, выручеиных от продажи его габардииового плаща. Капо диретторе сообщил Чиикваито Чиикве, что деиьгн уже зачислеиы иа его счет в тюремиой лавке, докумеиты удостоверяют происхождеине деиег — вот извещенне почты о прибытии в Милаи посылки с плащом от какого-то римляиина иа имя Коирада Кертиера, вот квитанция из магазииа, где вышеупомяиутый плащ был продаи.

Деиьги делилнсь отиыие на три долн. Этьен и Марьянн подкармливались вместе, а для Лючетти тюремщик Апостол Пьетро приносил из лавки то кусок сыра, то вяленую рыбу, то ломоть хлеба, то порцию пасташютта, то пучок лука фииоккио...

Джиио Лючетти сидит на втором этаже, как раз под камерой № 36. Этьен стучит в пол, Лючеттн подходнт к окиу, н оии, в зависимостн от обстаиовкн, нлн перестукиваются с помощью «римского телеграфа», или переговарнваются через две «волчьи пасти», прнчем Лючетти слышнт своего собеседиика лучше; всегда лучше слышит тот, кто находится этажом ииже.

Лючетти тоже аиархист, в 1926 году он покушался иа жизнь Муссолиии. После того как Лючетти бросил бомбу, был введеи закон о смертиой казнн за покушеиие на короля, члеиов его семьи, Муссолнни, мииистров.

Родом Лючетти из Каррары, служнл в армии, воевал в штурмовом отряде «суперардити», работал мраморщи-

ком в каррарскнх каменоломнях. Еще совсем молодым он участвовал в схватках с фашнстамн, был раиен, эмигрировал во Францню. Жнвя в Марселе, Лючетти прослышал, как фашнсты зверски издеваются над арестоваиными рабочнмн. Их нзбнвалн до полусмертн н иаснльно поили, накачивалн касторкой, чтобы они теряли власть над фуикциямн внутреиних органов. После того чериорубашечннки прнвязывалн свон жертвы к деревьям, уличным фонарям, телеграфиым столбам, и людн стоялн полужнвыми статуямн, от которых исходило зловоние.

Лючеттн решил вернуться в Италию н убить Муссолиин, пожертвовать собой. По чужнм документам ои поселился в Рнме н начал подготовку к покушению.

Князь Торлонья, крупный землевладелец, «сдал» тогда Муссолннн свою внллу с парком иа улице Номеитана. Муссолннн объявнл, что не хочет злоупотреблять гостепринмством и пользоваться внллой бесплатно, а потому платил за внллу... одну лнру в год. Высокимн каменными стенами обнесена вилла Торлонья, по тротуарам расхаживают берсальеры в шляпах с петушииымн перьями, шныряют шпикн в штатском. Лючетти изучнл маршрут, по которому Муссолннн езднл от виллы Торлонья во дворец иа пьяцца Венеция, туда ведет прямая дорога. Около иеделн Лючетти вел наблюдеиие за распорядком дия Муссолнни н режимом поездок. По улнце Номеитана тот проезжал в одио и то же время, с точиостью до минуты. Автомобиль дуче проносился под эскортом мотоцнклов; в такне мннуты агенты шпалерами стоялн вдоль тротуаров. Глазомер у Лючеттн отлнчный, может угоднть бомбой прямо в окно автомобнля. Но Лючеттн погубило, а Муссолнии спасло непредвнденное обстоятельство: вндимо, утром 11 сентября 1926 года Муссолнни куда-то опаздывал, автомобнль ехал быстрее, чем обычно, и Лючеттн ие успел сделать поправку на повышенную скорость. Бомба отскочила от рамы между стеклами н взорвалась, когда автомобнль уже успел отъехать. Лючетти держал про запас вторую бомбу, но к автомобилю стремглав сбежалнсь агенты, прохожне, были бы неминуемы жертвы. У Лючетти оставался еще револьвер, ио, подавлениый иеудачей, ои опустил

руки. Агенты боялнсь к нему приблизнться, а он решнл не отстрелнваться, чтобы избежать кровопролитня. Наконец агенты убеднлись, что нм ничто не угрожает, бросились иа Лючеттн и при этом передрались между собой — кто первым схватил террориста?

На жнзиь свою Лючетти уже махиул рукой, он заботнлся только о том, чтобы ннкто из-за него не пострадал — нн родные, ни те, кто прнютнл его в Риме, ни те, кто ему помогал.

Слегка поврежденный автомобнль продолжал свой путь, н через несколько мниут на балконе дворца иа пьяцца Венеция появился дуче. Пусть все видят, что он жив и невреднм! Муссолнни высмеял покушавшегося и похвастался: еслн бы бомба даже попала виутрь автомобиля, он схватнл бы ее и швырнул обратно в террориста. А в конце речи Муссолннн пригрозил, что будет введена смертная казнь.

Но, как известио, закон обратной силы ие нмеет, и поэтому Лючеттн не казннли, а осудили иа трндцать лет каторги со строгнм режнмом. На суде ои утверждал, что действовал в одинночку, всю виину взял иа себя и иикого не утащнл за собой на каторгу...

Лючеттн гулял в прннудительном однночестве, ио обычно давал знать Марьяни и Кертиеру, что его вывелн иа прогулку. Он обладал редкой меткостью и, гуляя в каменном загоие тюремного двора, безошнбочно попадал камешком в притолоку прноткрытой двери иа третьем этаже — это Лючеттн посылал свой прнвет. В знойные, душные дни адмнннстрацня гуманно оставляла дверь на цепи, чтобы камера проветрнвалась. Конечно, в дверь попасть легче, ио камешек может проскочнть и через вторую дверь-решетку, угоднть в заключеиного, вот почему Лючетти метнл в прнтолоку.

Этьеи смотрел иа Лючетти и любовался им. Высокнй, с гордой осанкой. В его облнке было иечто арнстократнческое. Бывшему камеиотесу очень пошел бы фрак. Даже серо-коричиевая арестаитская куртка, попав иа плечн Лючетти, выглядела сшитой по заказу.

В чертах благородного лнца каторжиика Лючетти

промелькнуло что-то неуловимо знакомое. Ну конечно же он похож на капрала карабинеров, который некогда конвоировал Этьена в поезде Турин — Рим и сопровождал его до тюрьмы «Реджина чели»! Может, сходство было не такое уж большое, но в нашей зрительной памяти всегда сближаются очень красивые люди, даже если красота их неброская, скромная. Вспомнил Этьен и фамилию того рослого, статного, симпатичного сицилийца — Чеккини... Эх, жили бы на Санто-Стефано женщины, на Лючетти заглядывались бы многие!

Лючетти держался с тактом и скромным достоинством, внушал всеобщее уважение. Подобно Марьяни и Кертнеру, он не относился к уголовникам как к людям второго сорта, не подчеркивал своего превосходства и пользовался их ответным расположением. Приговоренный к тридцати годам каторги, Лючетти не потерял вкуса к жизни, не был безразличен к тому, что волновало людей на воле, и продолжал чувствовать себя живой частицей современности. До Санто-Стефано он успел уже посидеть в Порто-Лонгоне, бывшей крепости, построенной четыреста лет назад испанцами на острове Эльба. «Фашисты испугались, что меня выкрадут с Эльбы, как Наполеона, — посмеивался Лючетти, — вот и перевели оттуда». Сидя в тюрьме «Фоссомброне», в Умбрии, на севере Италии, Лючетти помогал вести антифашистскую пропаганду: с его помощью выносили из тюрьмы бумагу для прокламаций...

Обоих — и Лючетти и Марьяни — не сломила каторга, но политические взгляды их стали разниться основательно. Лючетти в тюрьме научился самостоятельно думать, он пресытился духом анархизма. Годы размышлений убедили его в том, что индивидуальным террором нельзя многого добиться. Судя по некоторым высказываниям во время разговоров через окно, Лючетти отошел от анархизма, сохранив, впрочем, азартную готовность к самопожертвованию. И в самом жарком споре он умел признать правоту другого. Всеми силами души он желал русским победы над Гитлером и Муссолини и всегда с любовью говорил о далеком Советском Союзе,

в котором никогда не был, но куда мечтал попасть, если доживет до свободы.

Марьяни в годы заточения также начал исповедовать идею объединения всех сил рабочего класса, но при этом оставался верен знамени анархистов. Спорить с Марьяни трудно, он легко воспламеняется, неуступчив и лишь упрямо трет свой сократовский лоб с залысинами. Но и в спорах он оставался безукоризненно честным оппонентом, не позволяющим себе демагогии, неискренней софистики.

Этьен вновь, как в Кастельфранко, когда он дружил с Бруно, ощущал душевную неловкость оттого, что не может платить Марьяни и Лючетти полной откровенностью в ответ на их искреннее, чистосердечное прямодушие. Оба друга чувствовали это, и каждый по-своему огорчался. Оба не верили тому, что Кертнер — богатый коммерсант, который лишь симпатизировал революции и давал деньги на антифашистскую работу, чем, по мнению Особого трибунала, принес ущерб национальным интересам Италии.

Лючетти схож характером с Бруно, он прощал другу скрытность, понимал, что тот прибегает к ней не по доброй воле. А Марьяни обижался на Кертнера и не скрывал этого.

— Сколько времени мы вместе, но никогда я не чувствовал себя равным с тобой, — сказал Марьяни однажды.

Как можно было уберечь Марьяни от обиды? Что Этьен мог сделать?

Всем, всем, что у него было, делился Этьен с Лючетти и с Марьяни, так же как в свое время с Бруно, а не делился, не мог делиться только своим прошлым.

Когда много лет назад ему предложили работать в военной разведке, он счел для себя возможным посоветоваться с ближайшим другом, старым коммунистом, с кем вместе прошел гражданскую войну, с Яковом Никитичем Старостиным.

Но после того, как Маневич стал Этьеном, он и с Яковом Никитичем не имел права быть откровенным до конца.

100

Яков Никитич Старостин слыл на заводе лучшим мастером по медницкому делу, но чаще ему приходилось теперь иметь дело с алюминием.

Еще летом их завод срочно эвакуировали из Москвы в Поволжье. Но недолго царила тишина в опустевших цехах. Первыми нарушили безмолвие пожилые мастеровые, из числа тех, кого не эвакуировали заодно с ценным заводским оборудованием. Ветераны воскресили те старые станки, которые кто-то счел недостаточно ценными, чтобы увезти в тыл. «Одна у нас судьба», — невесело подумал Яков Никитич.

Он хорошо помнит первую бомбежку Москвы. Ровно через месяц после начала войны, в ночь на 22 июля, в 22 часа 07 минут в Москве впервые объявили воздушную тревогу. И только в 3 часа 53 минуты утра прозвучал отбой.

С тех пор черная радиотарелка в цехе не выключалась, Яков Никитич уже насчитал сотню воздушных тревог. Перед тем как объявить тревогу, случались заминки, и голос диктора осекался — это городскую радиосеть отключали от трансляции на всю страну. Да и самим немецким налетчикам нечего сообщать, что в Москве объявлена воздушная тревога.

Яков Никитич выходил на заводской двор и вглядывался в тревожное небо. Мощные прожекторы были подобны голубым мечам, они неутомимо рассекали небо на куски. Огненным забором встречали врага зенитные батареи.

В конце лета на окраину Москвы, по старому заводскому адресу, начали свозить самолеты, искалеченные в воздушных боях. В алюминиевых останках находили нужные запасные части, детали.

Однажды привезли самолет, на котором дерзкий летчик пошел на таран — обрубил своим пропеллером хвост «юнкерсу-88». Такому бы самолету место в музее, но сейчас не до сантиментов, айда в ремонт!

Мастера врачевали израненные фюзеляжи, перебитые крылья, бессильные моторы. И самолеты обретали,

казалось, утраченное навсегда волшебное умение летать. Воскресает мотор, живая дрожь охватывает «ястребок», ему невмоготу оставаться в стенах цеха, он выруливает на летное поле, он рвется в воздух. Увы, все ближе и ближе лететь ему с завода до линии фронта.

Яков Никитич нес все тяготы, какие выпали рабочему человеку в прифронтовой Москве, — работал до изнеможения, дежурил на крыше в часы воздушной тревоги и обучал ремеслу подручных, совсем зеленых юнцов. Как стремительно повзрослели вчерашние мальчишки! Не последнюю роль играли в пожарной дружине заядлые «голубятники», озорные крышелазы. Они стали сторожами и старожилами цеховых крыш.

Прорех в крыше все больше, суровая зима все настойчивее стучалась в ворота, и работать, ютиться в цехе становилось все труднее. Дежурные жгли негасимые костры.

Накануне Октябрьской годовщины Якову Никитичу, члену заводского парткома, доверительно сообщили, что в случае благоприятной, то есть скверной, пасмурной, погоды на Красной площади состоится парад войск. Пригласительные билеты будут в этом случае доставлены на рассвете. Подготовка к параду ведется втайне. Площадь начнут украшать только глубокой ночью. Парад начнется на два часа раньше, чем бывало до войны, — в восемь утра, пока не рассеялся туман.

Несколько раз той ночью и на рассвете Яков Никитич выходил из цеха и с тревогой вглядывался в низкое, серое небо. Погода явно нелетная, да еще идет на «улучшение»: снег все пуще, и небо сделалось цвета шинельного сукна.

Уже много лет Яков Никитич не видел праздничных парадов. На трибунах как-то обходились без мастера по медницкому делу, и он ничуть не обижался. В последний раз билет на Красную площадь принес лет десять назад Лева Маневич. Он маршировал в тот Первомай как слушатель Военно-воздушной академии имени Жуковского. Маневич предупредил — он в первой колонне, в третьем ряду, посередке, чуть ближе к правому флангу. Но Яков Никитич не узнал его в тесном строю, не

различил знакомых черт лица. Мелькали, мелькали фуражки с голубыми околышами и воротнички с голубыми петлицами...

В половине шестого утра прикатил райкомовский «газик», нарочный привез пригласительные билеты для заслуженных заводских товарищей. Лежал там, в парткоме, и билет, на котором черной тушью каллиграфически было выведено: «Яков Никитич Старостин».

Он знал, что сегодня в параде примет участие сводный рабочий полк. Промаршируют и народные ополченцы с их завода. Правда, вооружены красногвардейцы 41-го года неважнецки: винтовки вперемежку с карабинами, автоматов никому не досталось, зато всем выданы никчемные противогазы. Да и вид у рабочих не слишком молодцеватый, непарадный. Но кто им поставит в упрек плохую выправку? Разве их вина, что не хватило времени на строевые занятия? В полк записались и совсем пожилые люди, незавидного здоровья, а маршировать они учились, когда осколки уже начали свистеть москвичам в уши.

А еще Яков Никитич знал, что сводный рабочий полк после парада уйдет на фронт, так бывало и в годы гражданской войны. И одна из верных примет того, что путь с Красной площади лежал не в казарму, а на позиции, — заплечные солдатские мешки; их приказано взять всем ополченцам.

Якову Никитичу очень хотелось пойти на Красную площадь. Он знал, что парад будет принимать Буденный, что с речью выступит Сталин.

Но перед тем, в ясный морозный день 5 ноября, где-то на дальних подступах к Москве разыгрался воздушный бой, и тягач приволок к ним в цех «ястребок», искореженный осколками. Летчики не уходили с завода, помогали ремонтировать машину, счет шел буквально на часы. Яков Никитич горестно вздохнул и отказался от билета на Красную площадь.

Утро и весь праздничный день Старостин клал заплаты на крылья и фюзеляж, возвращал к жизни омертвленный «ястребок». Парад давно закончился, замолкла

радиопередача, а старик все еще колдовал, мудрил, мастерил.

К вечеру «ястребок» расправил крылья. Яков Никитич мог бы теперь уйти домой, на Бакунинскую улицу, но не тянуло в остуженные комнаты, в одиночество, и он остался в цехе. Работницы варили общественную кашу из подгоревших зерен пшеницы (бомба угодила в соседний элеватор), а летчики, помогавшие при ремонте, пожертвовали для нужд цеховой общественности флягу со спиртом.

Война разбросала самых близких Старостину людей. Дочь Рая с детьми недавно эвакуировалась. Надежда Дмитриевна и Таня Маневич где-то в Ставрополе. И давным-давно нет никаких известий о Леве.

Жив ли он, знает ли о трагических событиях этого года, представляет ли себе, как выглядит прифронтовая Москва — затемненная, продрогшая на ледяных ветрах ранней зимы, давно не слышавшая детских голосов и звонкого смеха, подтянутая, настороженная, одетая в солдатскую шинель, готовая к смертному бою?

101

Когда ртутный столбик подымается выше цифры 40, каждый добавочный градус ощущается во всей своей знойной и беспощадной силе.

Будто все тоньше становятся подошвы, которыми ступаешь по раскаленным камням. Все чаще ищешь взглядом облачко в бледно-голубом небе, выцветшем от жестокого зноя. Но увы, облачка в стороне от солнца, и на спасительную тень рассчитывать нечего. Страшно подумать, что солнце еще не поднялось в самый зенит, что еще сильнее раскалятся на солнцепеке донельзя раскаленные камни.

Давно изобретены вентиляторы, холодильники, где рождаются маленькие кусочки льда; термосы, где сохраняется холодный чай или подсоленная вода; крутящиеся под потолком пропеллеры, называемые «фен». Ведь есть же такие счастливцы, которым доступна милосердная

прохлада, которые могут сидеть под тентом, под навесом или лечь спать, завернувшись в мокрую простыню.

Но все эти изобретения не для Санто-Стефано. Каторжникам здесь остается лишь мечтать о холодке, о тени, о том, чтобы утолить жажду. Они вправе лишь завязать голову платком пониже полосатого берета, чтобы пот, стекая с головы, смачивал затылок, чтобы платок оставался влажным, а значит, сохранял способность к охлаждению, и чтобы платок при этом закрывал уши, иначе просачивается знойный воздух.

В огнедышащие дни июня, июля, августа у каторжан случались солнечные удары, сердечные приступы. И тюремная администрация разрешила: раз в неделю прогулка заменяется купанием. Водили только тех, чье поведение не вызывало замечаний. На купание отводился час.

Самой удобной для купания была бухточка в юго-восточной части острова, где в море выдается небольшой скалистый мыс Портичолло. Высокие скалы ограждают бухточку с трех сторон. Несколько стражников занимали посты наверху, а две лодки стерегли четвертую сторону, никто не смел выплывать из бухточки.

Каторжники не знали большего наслаждения, чем купание в море. По крутой-крутой тропинке, по скользким уступам, цепляясь за кусты вереска, за стволы агав, за жесткую траву, умеющую расти в расщелинах скал, группа в сорок — пятьдесят человек спускалась к воде. Раздевались, оставляли свою пронумерованную одежду на прибрежных камнях и бросались в воду...

Сегодня дул сирокко, этот ветер домчался сюда от берегов Африки, он поджарен в огромной духовке — Сахаре. Сегодня весь остров на знойном сквозняке, но море при этом остается спокойным; голубая вода будто отполирована. Сирокко дул поверху, дул, не зная угомону. Уж лучше бездыханный неподвижный воздух, чем этот обжигающий зноем душный ветер.

Иные порывы горячего ветра очень сильны, приходится напрягать веки, чтобы глаза оставались открытыми. И больно бьют песчинки, мелкие камешки — будто по лицу трут наждачной бумагой.

Искривленное ветрами оливковое деревцо, растущее на верхушке скалы, клонилось из стороны в сторону, встряхивало ветки, показывая то ярко-зеленую свою листву, то ее матово-серебристую изнанку. Кактусы на верхнем плато высажены тесными шеренгами и служат ветрозащитной полосой. Их крупные, мясистые, колючие листья — как бесчисленные ладони, подставленные ветру.

На этих островах порывами ветра сшибает и цветы и созревшие фрукты, выживают здесь только деревья с жесткими листьями, кактусы, агавы.

«Вот бы где установить ветряные двигатели, те самые, которые я продавал когда-то по поручению Вильгельма Теуберта! При такой погодке, как здесь, ветряной двигатель — вечный двигатель».

Только сейчас Этьен впервые подумал, что соседний остров очень точно назван Вентотене, что дословно означает «держащий ветер».

Как всегда, Этьен вышел из воды раньше других, потому что подъем в гору при одышке осилить труднее. Он делает несколько длительных остановок, стоя где-нибудь на каменном приступке, на узеньком карнизе, на крохотной площадке, любуясь морем, наблюдая за купальщиками, следя за двумя сторожевыми лодками, как бы запирающими на два замка выход из бухточки.

Камни, лежащие у берега в синей воде, совсем белые, а над камнями вода более светлого тона, чем вокруг, — как разбавленные синие чернила.

Обидно, что ему приходится заканчивать купание раньше других, но есть своя прелесть в таком уединении. Можно декламировать русские стихи, петь вполголоса русские песни, говорить по-русски — никто не подслушивает. И он декламировал без особого разбора, подряд, стихи, которые помнил наизусть. На пустынной скале звучала странная поэма, где Пушкина сменяли Есенин, Блок, Некрасов, и все они снова уступали Пушкину. Он упивался волшебными созвучиями, пытаясь возместить этой жадной, сумбурной декламацией долговечную немоту свою, мучительную разлуку с родным языком. Снова, как на берегу Неаполитанского залива, охваченного

штормом, он твердил: Я помню море пред грозою. Как я завидовал волнам... Но окончание строфы померкло в памяти...

Он пел сумасбродные попурри из советских песен. Но от тайги до британских морей Армия Красная всех сильней... Пускай же Красная сжимает властно... Пускай пожар кругом, пожар кругом... Стоим на страже всегда, всегда... Ты, конек вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих... Никто пути пройденного у нас не отберет... Сотня юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала...

«Давным-давно все бойцы вернулись к своим, только я один задержался в разведке на шесть лет...»

Отсюда, с верхней площадки, видны очертания соседнего острова Искья, где-то за ним лежит Капри. Но эти близкие острова, в сущности, не ближе Млечного Пути...

А каким образом каторжник Беппо оказался еще выше на скале, на самой верхотуре? Или Беппо сегодня вовсе не купался, или вылез из воды раньше? Нет, не мог он так быстро взобраться наверх!

Беппо подошел к самому краю скалы, будто хотел оттуда взглянуть на камни, которые голубая вода лениво прополаскивает у берега.

Замечательный пловец и ныряльщик, он не раз совершал прыжки с высоты в двадцать метров. А сегодня забрался на скалу, нависавшую с противоположной стороны бухты, и, кажется, собирается прыгнуть с высоты метров в тридцать, никак не меньше.

Однако зачем у него в руках полотенце, почему так долго возится, зачем подносит руки ко рту?

Но вот Беппо прыгнул и, не успев взмахнуть руками, камнем полетел в воду.

Этьен посмотрел вниз. Ну где же Беппо, почему он не показывается из воды? Почему до сих пор не вынырнул?

Истошные крики стражников, тревожные возгласы купальщиков. Кричат все громче.

Одна из двух сторожевых лодок и несколько купальщиков поплыли к тому месту, где в воду канул Беппо.

Уже и зыбкие круги на воде стали едва заметны, размыло пену, рожденную всплеском упавшего тела. Один за другим исчезали в воде ныряльщики и показывались вновь — безуспешно!..

Только через три дня тело утопленника прибило к белым камням. Бедняга Беппо, он решился нырнуть, но не собирался вынырнуть. Как выяснилось, отправляясь на купанье, он обвязался под курткой полотенцем. А перед тем как спрыгнуть со скалы, связал себе тем полотенцем руки и уже со связанными руками неловко перекрестился...

Многие в эргастоло знали историю Беппо. Он отбывал бессрочную каторгу за убийство, совершенное непреднамеренно. Ему исполнилось тридцать шесть лет, но он выглядел намного моложе — молодцеватый, ловкий, сильный. Беппо работал в саду, на огородах подрядчика Верде, а затем стал прислуживать в доме капо диретторе, потому что отличался опрятностью, вежливостью. Капо диретторе Руссо, пожилой болезненный человек, дослуживал до пенсии; на памяти Марьяни это был самый приличный начальник. Только капо диретторе разрешалось жить на острове с семьей; у Руссо жена и две дочери. Синьора Руссо была намного моложе мужа, ее красивое лицо еще не успело увянуть. Она стала заботиться о Джузеппе, и пришла минута, когда слуга стал для нее Беппино. Но тут разразилось несчастье — Руссо умер от разрыва сердца за обеденным столом. Из Рима прислали другого начальника, а Беппо вернули в камеру. Он умолял дать ему какую-нибудь работу и наконец упросил послать на огород, чтобы хоть урывками, тайно видеться с вдовой Руссо. Многие в эргастоло сочувствовали влюбленным и охраняли их тайну.

Беппо отправлялся на огород рано утром, к обеду возвращался в тюрьму. Перед обедом огородников торопливо обыскивали — нет ли ножа? Если же стражник нащупывал в кармане несколько стручков фасоли или луковицу, он закрывал на это глаза.

Лишь надзиратель Кактус, краснощекий верзила с мелкими гнилыми зубами, тщательно обыскивал ловкими, понаторевшими в этом деле руками. И надо же

было, чтобы имеиио к иему в лапы попал Беппо, когда припрятал для соседа две луковнцы фнноккно!

Кактус со злорадством вытащнл две луковнцы. Беппо стоял с лнцом, на котором окаменело страданне.

Кактус сочииил доиос, н Беппо лишился работы на огороде. Теперь ои не сможет увндеться со своей возлюблеиной до ее отъезда. Значнт, нх ждет вечная разлука? Сньора Руссо под всякнмн предлогамн оттягнвала отъезд с острова, но Беппо из тюрьмы не выпускалн.

Участлнвые людн сказалн Кактусу, что Беппо сходнт с ума от тоски.

— Сходнт с ума? Чем скорее, тем лучше! Меньше будет думать о своей потаскухе...

Сердце Кактуса давно обросло колючками.

В тот вечер Этьеи сказал Марьяни:

— Мне жаль Беппино, но я завндую ему.

— Это сказаио под влиянием минуты. Я вам не верю! Я ие верю потому, что убежден — ваша жнзнь нужиа очеиь миогим. Хотя от меня вы это скрываете.

Этьен пожал руку Марьянн и инчего не ответнл.

В те днн иа полях России шла жестокая бнтва, и тем сильнее Этьеи страдал от своего бездействня. Он теперь спокойнее отиоснлся к такому поиятию, как «бессрочная каторга», потому что понимал — вся его судьба отныне связана с ходом н исходом войны. А выиужденная беспомощность лншь увелнчивала меру его мученнй. Он не мог и ие хотел отъеднять свою жнзнь от судьбы своей Родииы и своей армнн. Ои так страдал, держа в руках иллюстрнроваиные воскресиые газеты, узнавая о дальнейшем продвиженни иа восток полчнщ Гитлера н Муссолиин, что разучнлся смеяться; жнвя впроголодь, лишился аппетита; его измучнла неотвязная бессонинца.

И вот настала мииута, когда ои остался без душевных сил, вслух позавндовал бедняге Беппо, выслушал строгую, справедливую отповедь Марьянн н мысленно поблагодарил друга.

— Лучше подумаем, как отомстнть Кактусу, — предложил Марьяни.

Они посоветовались с надежным парнем Поластро и вынесли Кактусу приговор: когда каторжников в следующий раз поведут купаться, Кактуса столкнут со скалы в пропасть. Разве не мог он поскользнуться на камне, отшлифованном ветрами?

Но Кактус почуял недоброе, потому что вдруг притворно охромел и из тюрьмы никуда не выходил.

Никто не прощал подлеца, хотя уже давно уехала с острова красивая печальная вдова с дочерьми, уже давно на тюремном кладбище покоился под своим каторжным номером ее возлюбленный. Беппо похоронили с руками, связанными полотенцем, как с вечными наручниками.

Беппо был родом из Венеции, и, может быть, поэтому Этьену вспомнилась последняя поездка туда. Гондольер привез его на небольшой остров, куда сами итальянцы ездят редко, а туристы непременно читают надпись на воротах кладбищенской ограды: «Кто вы есть — мы были, кто мы суть — вы будете. Мы были такими, как вы, вы будете такими, как мы».

102

Есть в тюрьме своя граница, за которой заключение переходит в медленную казнь.

Наступили дни, когда узником Чинкванто Чинкве овладело полное безразличие, когда равнодушие к жизни, а вернее сказать — к смерти, стало его обычным состоянием. Уже не волновал вопрос, сколько он еще протянет — год, месяц или день. Все стало для него безразлично, даже — где и как умереть: то ли в камере при свете фонаря, на глазах врача и капеллана Аньелло, то ли ночью, в черном одиночестве. Иногда ему казалось, что жизнь потухла, а в его теле теплится лишь отражение жизни — она воспроизводится по памяти или по книгам, которые Чинкванто Чинкве берет в тюремной библиотеке у капеллана, или по воспоминаниям других заключенных, чаще всего Марьяни.

Его собственные воспоминания становились все более шаткими, смутными, обрывочными.

Кому нужна постылая, оскорбительная, бесполезная жизнь? Ему такая жизнь ни к чему.

На днях в разговоре с Марьяни вспомнилось старое философское изречение, слышанное на воле и прозвучавшее тогда как острота:

— Что такое жизнь? В сущности, жизнь — ожидание смерти. Помните, Марьяни? Когда ваш Данте увидел в сумрачном лесу молчаливого Вергилия и попросил о спасении, тот ответил: «Не человек; я был им...»

Когда Этьена привезли на Санто-Стефано, он не видел никакой разницы между приговором на двенадцать, на тридцать лет и пожизненным заключением, потому что и то и другое воспринимал как разлуку с жизнью. А оказывается, есть разница, и весьма существенная! На сидящих бессрочно никакая амнистия не распространяется, и, только отсидев двадцать лет на каторге, можно подавать прошение о помиловании, а раньше и прошения такого не примут. Мысль о вечной каторге могла привести к сумасшествию, если бы Этьен не вселил в себя надежду на будущее. Но неутешительные вести с Восточного фронта летом 1942 года омрачали его надежду. Покинет ли он когда-нибудь стены, поглотившие его? Расстанется ли с темнотой, обступающей его со всех сторон после захода солнца? Ни свечи, ни коптилок. Даже не верится, что у него вызывала раздражение электрическая лампочка в шесть свечей, не угасавшая в Кастельфранко.

Когда-то старший брат рассказывал про узника Шлиссельбурга, польского повстанца. Он просидел там в Светличной башне, забытый богом и людьми, без малого пятьдесят лет и потерял счет годам, а не только месяцам и дням. Ну, а если Чинкванто Чинкве еще помнит, какой сейчас год после рождества Христова, — разве это свидетельствует о том, что он человек, а не ходячий труп под номером, тень прошлого? День за днем в глухой нежити...

Капеллан Аньелло рассказывал, что каторжники Санто-Стефано до 1895 года волочили на ноге ядро, весившее, не считая цепи, пять килограммов. С каждым годом каторги цепь, которой ядро было приковано к ноге, уко-

рачивалась на одно звено. Каждый год — звено, год — звено, год — звено...

«Он хоть видел, что срок уменьшается, — подумал Этьен о своем далеком предшественнике, который, может, сидел в этой камере. — Да, цепь становилась легче. Но и сил с каждым годом оставалось меньше! Силы уходили быстрее, чем укорачивалась цепь, так что облегчения каторжное правило не приносило...»

На каком звене замкнется его жизнь, какое звено в цепи его несчастий и бед станет могильным?

Почему его сослали именно сюда, на этот «остров дьявола»? Никто из фашистских главарей никогда не был на Санто-Стефано. Это место известно им только потому, что считается самым тяжелым для жизни.

Рассудком он понимал, что безразличие — паралич души, смерть заживо, и если примириться с равнодушием, бездействием мысли и чувств, настанет такой момент, когда они атрофируются вовсе, и тогда уже не вырваться из мертвой апатии. И если вдруг придет свобода, он встретит ее погасшим взглядом, высохшей до дна душой, растраченной без остатка надеждой, склерозом памяти, амортизацией сердца, забвением любви...

Прежде юмор помогал ему переносить страдания и невзгоды. Неужто лишился чувства юмора? Утратил склонность к иронии? Он стал мрачен, его психика не подчинялась самоконтролю.

У него испортилось настроение, когда он заметил, что сильно обветшала его тюремная одежда, особенно куртка — на воротнике, на обшлагах, возле петель, на локтях. Потом куртку заменили новой, но пришло ощущение, что он стареет еще быстрее каторжного одеяния.

Когда-то у него, как у большинства людей, существовало еще и «галантерейное» отношение к своему собственному телу. Он помнил, что ботинки носил 42-го размера, воротнички рубах 41-го, костюм — размер 52 (3-й рост), галоши — номер 11, перчатки — девять с половиной, и так далее. Но все это давным-давно не играет никакой роли. Важен только вес собственного тела, а вес идет на убыль.

Сам он идет на убыль, жизнь становится короче,

а воспоминания при этом делаются все длиннее. Он шагает, шагает по своей камере, как бы пытаясь шагами измерить воспоминания, и всё новые подробности подбирает за собой память. Казалось бы, годы тюрьмы, каторги должны были заслонить дни следствия, суд, пребывание в «Реджина чели», но первые месяцы по-прежнему не тускнеют в памяти, они — как переход в загробную жизнь.

Жизнь становится все короче, и все меньше времени остается для воспоминаний.

Пришел день отчаяния, когда Чинкванто Чинкве отказался выйти на прогулку.

С Восточного фронта продолжали поступать невеселые новости, в фронтовых сводках мелькали названия городов в предгорьях Кавказа, в Поволжье, и каждый сданный гитлеровцам город увеличивал срок его бессрочной каторги.

103

В то утро он лежал в тупом отчаянии. Но тут произошло событие, которое потрясло всю тюрьму и привело узника Чинкванто Чинкве в состояние крайнего возбуждения.

Топали сапожищами стражники, звал кого-то на помощь дежурный надзиратель, кто-то кого-то послал за врачом, затем послышался голос самого капо диретторе.

В первом этаже, под камерой Лючетти, нашли мертвым заключенного номер 42, иначе говоря — Куаранта Дуэ. Родом он из Триеста, по национальности не то македонец, не то хорват, не то цыган, а присужден к бессрочной каторге за убийство. Переправлял контрабандой через границу краденых лошадей, пограничники пытались его задержать, и в перестрелке он застрелил троих.

Подошли минуты утренней уборки. Каждый выливал свою парашу в зловонную бочку, которую проносили по коридору.

Дежурные каторжники дошли до камеры, где сидел Куаранта Дуэ, открыли со стуком первую дверь. Он не откликнулся. Открыли дверь-решетку и крикнули:

— Эй, Куаранта Дуэ! Парашу!

Каторжники держали бочку за длинные ручки. Ну что он там замешкался? Раздраженный надзиратель вошел в камеру. Куаранта Дуэ лежит. Подошел к койке — тот мертв. Надзиратель снял шапку, вышел, запер дверь камеры и побежал к начальству. Пришли капо гвардиа, капеллан, тюремный врач.

— А на вид был такой здоровый парень этот самый Куаранта Дуэ, — удивлялся врач.

Куаранта Дуэ лежал на боку, отвернувшись к стене. Врач приблизился к койке, положил руку на лоб — холодный. Но фельдшер, прибежавший вслед за врачом, отбросил одеяло...

Чучело!!!

Туловище сооружено из одежды и всякого тряпья. Голова искусно вылеплена из хлебного мякиша, наклеен парик, а лицо раскрашено.

В тюрьме и на всем острове подняли тревогу. Обыски, облавы. Прочесывали кустарник, заглядывали в расщелины скал — Куаранта Дуэ как в воду канул. Неужели уплыл? Погода сегодня не благоприятствовала пловцу, море неспокойное.

Куаранта Дуэ каким-то фантастическим образом убежал из тюрьмы, добрался до сарайчика, где подрядчик Верде держит лодку, бросил там свою одежду, сбил замок с цепи, но лодкой не воспользовался. Следы беглеца уводили из сарайчика на верхнее плато, на огороды, оттуда снова вели вниз, к берегу, и там пропадали.

Никто не помнил, чтобы из дьявольской дыры Санто-Стефано кто-нибудь убежал. Пощечина самому министру юстиции, в ведении которого находятся все тюрьмы! Возникнет вопрос — на своем ли месте министр?

С Вентотене прибыл со своими стражниками начальник охраны Суппа. Из Неаполя прислали опытных сыщиков и проводников с собаками.

Ищейкам не уступал надзиратель Кактус. Он прямо с ног сбился, стараясь заслужить одобрение начальства, он весь день бегал, высунув язык, как бешеный пес, сорвавшийся с цепи. Говорили, в его послужном списке есть черное пятно — из той тюрьмы, где Кактус прежде

был цербером, сбежали два заключенных, оставив ему на память о себе нервное расстройство и бессониицу. Говорили, он и на Санто-Стефано перевелся только потому, что здесь сама возможность псбегов исключена.

Собаки взяли след, но он уходил в море. Не доплыл ли беглец до Вентотене? Правда, течение в проливе сильиое, и на море штормит, ио хорошему пловцу всё под силу. Часть стражников и проводников с собаками переправили на Вентотене.

Однако утром оказалась раскрытой настежь дверь на склад Верде, оттуда исчезло большое деревянное корыто. Десант с Вентотене отозвали.

А следующей ночью обнаружилась пропажа в хлеву. Исчезла крышка от большого деревянного ларя, куда скотник засыпал отруби.

Прошел день, прошла ночь, и на огороде были сорваны помидоры, еще что-то из овощей. И той же ночью из комнаты, в которой спали карабинеры при открытом окне, пропали со стола хлебцы.

Прошли еще сутки, из погреба Верде исчезли пять больших бутылей для вина — «дамиджане». Стало очевидно, что беглец пытается соорудить плот. Просто диву даешься, как быстро каторжники узнавали подробности!

Этьен все дни был возбужден, горячо обсуждал с Марьяни ход событий, сообщал подробности через «волчью пасть» Джино Лючетти. С восхищением следили оии втроем за упорным мужеством беглеца. Этьен жалел, что был недостаточно внимателен к контрабаидисту прежде. Он лишь помнил его внешность: смоляные волосы, белозубый, блестящие черные глаза с желтоватыми белками, широк в плечах, легок на ногу. В нем была кряжистая сила.

Прошли еще сутки — исчезла длинная веревка, висевшая на площадке перед прачечной, где стирали белье каторжники.

К неудачным поискам беглеца прибавились другие неприятности: в те дни остров испытывал острый недостаток в пресной воде. На остров привезли установку, с помощью которой из морской воды выпаривали соль, но каторжники роптали, когда пищу готовили на этой

воде. Сколько в ней ни варились макароны, картошка или горох, они не разваривались как следует. Несколько лет назад доставку пресной воды взял на себя какой-то подрядчик из Неаполя. Позже воду два раза в месяц привозили в маленькой наливной барже военные моряки. Но пресную воду нужно не только доставить на остров, ее еще нужно поднять на верхнее плато; у дряхлого насоса не хватало сил гнать воду по трубам.

В такие дни каторжники носили воду в бочонках. Тропа такая крутая, что по ней не пройти ни лошади, ни мулу, их и нет на острове.

Заставить политических носить воду вместе с уголовниками тюремная администрация не вправе. Но Марьяни добровольно согласился на это и уговорил своего друга. Марьяни не даст ему уставать сверх сил, надрываться. Но пробыть весь день на свежем воздухе, среди людей, пусть даже под строгим конвоем, — полезно при нынешнем подавленном состоянии Кертнера.

Уголовники не позволили Чинкванто Чинкве взяться за ручки бочонка. Он и с пустыми руками тяжело подымался по тропе, часто останавливался, чтобы отдышаться, несколько раз присаживался на ступеньки.

Тут он встретил знакомого лодочника Катуонио, служившего у Верде. Катуонио — единственный, кому разрешалось в любое время приплывать на Санто-Стефано и будоражить прибрежную воду взмахами своих весел. Однажды Катуонио подарил Чинкванто Чинкве галеты, в другой раз — пучок лука финоккио.

Сейчас Катуонио нес в гору ящик с макаронами и тоже остановился, чтобы передохнуть. Он поставил ящик на тропу и предложил посидеть на ящике Чинкванто Чинкве, а сам уселся рядом на каменной ступеньке.

Группа каторжников с бочонками прошла мимо, внизу виднелась еще группа, водоносы тянулись вереницей. Бочонки несли по двое, а маленькие бочки — по четыре человека.

Катуонио завел разговор о поисках беглеца, и по выражению лица, по репликам ясно было, что лодочник ему симпатизирует.

Этьеи воспользовался тем, что их иикто ие слышит, и сказал:

— Хорошо бы сбить ищеек со следа, оставить тюремщиков в дураках.

— А как это сделать?

— Пусть ищейки думают, что ои уплыл иа Веитотеие.

— Кто поверит?

— А ты иочью подойди к маяку иа Веитотеие. Тебя не увидят. Сколько ни смотреть со света в темиоту... Подойди и крикни, что ты — беглый каторжник. Умираешь от голода, просишь оставить тебе еду. Укажи какоенибудь точное место рядом с маяком.

— Там иа берегу стоит старая шлюпка, — подхватил Катуоиио.

Ему явио поиравилась идея, ои потер руки, предвкушая удовольствие, и рассмеялся.

Катуонио уже скрылся иаверху, за поворотом тропы, а Этьеи все сидел и глядел, как каторжиики тащат бочоики и бочки с пресиой водой...

104

Внизу простиралось Тирреиское море, а перед глазами Этьеиа текла извилистая речка Бася, через иее перекииут мост в Заречье. В том месте от Баси отделяется правая протока Своеволка. Чуть выше устроеиа запруда, а если шагать из городка домой, в Заречье, то правее моста стоит водяиая мельиица.

Иитересио, провели в Чаусах водопровод или до сих пор возят питьевую воду из Заречья? Сколько раз иа дию водовоз Давыдов, отец Савелия, ездит взад-вперед через Басю и Своеволку? Водовоз иазывает Своеволку еще более презрительио — Переплюйкой. Низкорослая гиедая Лысуха с белой звездочкой иа лбу тащит бочку с водой в гору. На улицах городка, которые взобрались иа холм, нет колодцев, там до воды ие докопаться. Давыдов с сыиком Савелием и лошадеикой иадрываются втроем деиь-деиьской. Домовладельцы платили за бочку воды десять копеек.

На самом крутом подъеме или в злую распутицу отец Савелия шагает позади повозки и подпирает днище бочки плечом, хватается руками за спицы колеса, увязшего в колее, и страшным голосом понукает Лысуху. Но кнута вовсе нет: у водовоза и его лошаденки отношения основаны на взаимном доверии. Даже грозные окрики Лысуха воспринимает лишь как обещание помочь...

Позже Савелия отдали в учение к портному, пятым портняжкой: отец хотел, чтобы он вышел в люди. Но Этьен помнит, как Савелий сидел на облучке впереди бочки и погонял лошаденку, покрикивая на нее по-отцовски грозно и подстегивая вожжами.

И зачем только центр городка взгромоздился на такой холм? Один холм во всей округе, куда ни взгляни оттуда — равнина и равнина, вся в заплатах хвойного леса. Лева еще подростком пристрастился к лыжам. В Швейцарии он привык к головоломным склонам, у него были горные лыжи, утяжеленные сзади. А когда он вернулся в Чаусы, все искал и не мог найти заснеженный бугор покруче; кроме как по улицам, неоткуда было стремглав скатиться...

Сегодня на Санто-Стефано знойный октябрьский день. Этьен сидит в хилой тени агав, здесь все растения вечнозеленые. Когда лет десять назад выпал снег, то, по словам Марьяни, это было огромным событием, и сицилийцы, тем более уроженцы острова Устика встретили снег криками удивления...

А в Чаусах сегодня уже глубокая осень. Клены в городском парке роняют свой багряный убор, опавшая листва шуршит под ногами и плотным ковром застилает могилы революционеров.

Как выглядят Чаусы сегодня? Он с детства помнит только две мощеные улицы — Могилевскую и Длинную. По ним любил раскатывать на тарантасе господин исправник, самый большой начальник во всем уезде. А еще в Чаусах пребывали становой пристав, околоточный надзиратель, под началом которого состояли четыре городовых. Летом 1917 года Лева с братом вернулись из эмиграции на родину, в Чаусах уже не было ни исправника, ни околоточного надзирателя, ни станового пристава.

Вскоре после установления советской власти отца избрали народным заседателем, позже он стал народным судьей. С раннего утра до вечера он пропадал в суде, и мачеха Люба жаловалась Левушке, что редко видит отца. Когда Лева в последний раз приезжал в Чаусы, он не застал отца дома и отправился в народный суд. В тот день в городке была объявлена не то перерегистрация коз, не то ветеринарный осмотр. Все шли куда-то со своими козами, было похоже на странную демонстрацию. В суде разбиралось уголовное дело, отец попросил Леву подождать в зале. «Ну что же, подожду, — согласился Лева. — Только меня за компанию не засудите...» Во время судебного заседания отец все поглядывал на сына, сидевшего в зале, поглядывал и от нетерпения ёрзал на своем судейском кресле с высокой дубовой спинкой, на которой вырезан герб Советской республики, именем которой судит суд...

Лева учился тогда в военной академии, носил франтоватую, с иголочки, форму и, если честно признаться, был уверен, что на него, красного офицера с отличной выправкой, все будут оборачиваться. Но в Чаусах, после войны с белополяками, осталась на постое дивизия имени Киквидзе, и местным барышням было с кем танцевать под звон шпор и было за кого выходить замуж, не дожидаясь приезжих кавалеров...

А когда в 1927 году отец умер, Лева был далеко-далеко за границей, откуда ему не было пути домой, и приехать на похороны не мог. Много воды утекло с тех пор в Своеволке, еще больше в речке Басе, еще больше в Проне, куда Бася втекает, еще больше в Соже, куда втекает Проня, еще больше в Днепре, куда втекает Сож...

Жива ли водяная мельничка, шлепает ли она плицами дряхлого колеса по неторопливой речной воде? И сколько муки смолола она с тех пор? Говорят, перемелется — мука будет. А если нечего молоть? Он помнит бедняков, которым зерна хватало только до рождества, нечего было везти на мельницу. Отец Савелия рассказывал, что прежде в их вёске каждую спичку расщепляли

на три, а соленую воду не выливали, берегли, варили в ней бульбу несколько раз. На четырех детей в доме водился один зипун и один полушубок, а когда молодой Давыдов женился на будущей матери Савелия, то свадьбу справил в сапогах, которые одолжил ему сосед ради такого случая.

Жив ли сейчас Савелий и как сложилась его судьба? Когда в конце 1917 года в Чаусах образовалось Рабочее городское правление и девятнадцатилетний Лев Маневич стал его председателем, Савелий усердно помогал, ездил с ним на митинги: в дрожки впрягали старушку Лысуху.

Хотелось думать, что Савелий вышел в люди, получил образование... А может, Савелий Давыдов тоже стал командиром Красной Армии? Долго ли в Чаусах квартировала дивизия имени Киквидзе? Савелий мечтал стать кавалеристом, может, старая дружба с лохматой Лысухой оставила свой след...

Прошел фронт стороной или война обрушила на городок бомбы и снаряды? В Чаусах мало каменных зданий, все больше деревянные дома, домики, домишки. Если Чаусы поджечь зажигательными бомбами, городок быстро превратится в сплошное пожарище. Скорее всего, водопровода еще не провели, и вода там, где дома повыше, по-прежнему привозная. Но сколько бочек могли дотащить на пожар отец Савелия и другие водовозы? Этьен помнит, как «красный петух» гулял по деревянным строениям — не один порядок выгорал в ветреную погоду, когда пучки горящей соломы или огненные головешки, подхваченные горячим ветром, перелетали с одной крыши на другую. А местные пожарники беспомощно метались с пустыми ведрами, с плачевно легкими, сухими пожарными рукавами... Правда, в Чаусах не бывает таких ветров, как здесь, на Санто-Стефано. Но пока не сгорит все, что умеет гореть, без воды огонь не уймется. Все равно как если бы эргастоло было сложено не из камня, а из сухих, как порох, бревен, если бы оно пылало, а пожар пытались бы загасить вот этой водой, которую каторжники тащат наверх в бочках и бочонках...

105

Вся тюрьма узнала, что беглец скрывается на Вентотене.

Ночью кто-то подошел к маячному огню со стороны скалы Скончильо и крикнул из темноты:

— Эй, слушайте! Я убежал из эргастоло. Дайте поесть, пока я не умер. Оставьте еду на перевернутой шлюпке. Я убежал из эргастоло!..

Стражники с собаками во второй раз переехали на Вентотене и начали там повальные облавы. Никого! Начальник охраны орал, что напрасно теперь не приковывают ядра к ногам каторжников. «Мы не страдали бы так из-за беглецов!» Опытная лиса этот Суппа, он вскоре отдал команду — всем ищейкам вернуться на Санто-Стефано. Он понял, что над ним подшутил кто-то из ссыльных. Может, над кавалером Суппа смеются уже не только на Вентотене, но в Неаполе и в Риме?

Стражники сильно озлобились. Ссыльные и жители Вентотене над ними издевались, начальство на них кричало, а тут еще на помощь им вызвали карабинеров. Какой позор!

Среди заключенных распространился слух, что беглеца убили, а стражники лишь делают вид, что он прячется. Но Кертнер опроверг эту версию. С беглецом не посмеют расправиться втихомолку, когда за поисками следит министр; может быть, сам дуче в курсе событий в эргастоло.

Появились новые улики на Санто-Стефано — на огородах Верде снова обнаружили потраву.

Суппа правильно рассудил, что скорей всего беглец прячется в каком-нибудь ущелье или гроте, море их во множестве выдолбило в подножье базальтовых скал. Можно спрятаться и в узких расщелинах прибрежных камней, омываемых водой. Так или иначе, но беглец пропал, как иголка, на острове площадью в треть квадратного километра.

Тринадцатые сутки Куаранта Дуэ в бегах. Суппа устраивал ночные засады на тропах, ведущих от моря на верхнее плато.

Стражникам не давали прохода. Куаранта Дуэ оставил их в дураках. Если бы контрабандист попал к ним в руки, кончилось бы самосудом, а уж избили бы его до полусмерти наверняка.

Прошло несколько дней, море утихло — скала Санто-Стефано будто вправлена в безбрежное голубое зеркало.

Дошлый Суппа сказал:

— Он выплывет сегодня. Сегодня или никогда.

И отдал приказ: ночью дежурить всем, не смыкать глаз. А вдоль берега пусть курсируют лодки со стражниками. Будет также дежурить моторный катер с карабинерами.

Среди ночи, когда моторный катер огибал северную оконечность острова, на катере услышали голос с берега:

— Эй, синьоры! Подождите...

В воду бросился кто-то и поплыл к катеру, его втащили на борт. То была тень человека, чьи приметы сообщили карабинерам и чью фотографию им показывали.

Где же Куаранта Дуэ скрывался? Любопытство побудило карабинеров подойти на катере вплотную к берегу между мысом на севере островка и мысом Романелла на северо-западе.

Вымоина в скале образовала над самой водой узкий грот. Посветили электрическим фонариком: у каменной стенки стоит корыто и деревянная крышка от ларя, связанные веревкой. А где же «дамиджане»? Контрабандист объяснил, что бутыли разбило волной о камни и плот развалился.

Он плохо говорил по-итальянски и рассказывал с трудом. По ночам он поднимался на огород и срывал там «поммароле», так он на свой лад коверкал слово «помидоры». Он признался, что нарочно выждал, когда лодка с мстительными тюремщиками скроется из глаз, чтобы сдаться карабинерам. Моторный катер увез пленника на Вентотене. Ему дали одеяло, чтобы он согрелся.

Что же толкнуло Куаранта Дуэ на бегство, на поступок, который в этих условиях мог быть продиктован только крайним отчаянием? Ему нечего было терять, недавно он узнал, что прокурор подал кассацию, настаи-

вает, чтобы пересмотрели приговор и бессрочную каторгу заменили смертной казнью.

Наутро Куарант Дуэ доставили на Санто-Стефано, и в расписке, выданной карабинерам в тюремной канцелярии, было указано, что он сдан здоровым и невредимым. О поимке беглеца узнала вся тюрьма, наступило всеобщее уныние.

Вчера тюремщики готовы были разорвать беглеца на части, а сейчас и пальцем не тронули. Этьен задумался: почему озлобление так быстро прошло? Оно сменилось уважением к смелости. Всех — и заключенных и стражников — восхитила страстная жажда жизни, проявленная контрабандистом...

Вскоре Кертнер, Марьяни и Лючетти сообща восстановили во всех подробностях картину побега. Кто бы мог подумать, что главную роль сыграл не контрабандист, а его приятель, циркач, также приговоренный за убийство к бессрочной каторге?

Приятели сидели по соседству, их вместе водили на прогулку, они бывали в камерах друг у друга.

У циркача такой вид, словно все тюремные невзгоды ему нипочем. Ничто не могло лишить его жизнелюбия и оптимизма, вывести из душевного равновесия. Это был очень подвижный, сильный, деятельный, веселоглазый человек лет под тридцать, мастер на все руки. Откуда только бралась такая сила в его худощавом теле? А ловок он удивительно, почти сверхъестественно.

Лишь накануне поимки контрабандиста в строгий карцер посадили циркача. Тюремщики вспомнили, что он лепил фигурки, головы из хлебного мякиша. Вспомнили, что года три назад он искусно вылепил голову Муссолини с широко раскрытой пастью. То была пепельница, и Лючетти, получивший ее в подарок, с удовольствием гасил сигареты, засовывая их дуче в пасть. Надзиратель тогда отобрал пепельницу, а циркач и Лючетти отсидели в карцере.

А теперь циркач вылепил две головы — контрабандиста и свою. Для этого он покупал хлеб в тюремной лавке. Он украл в конторе цветные карандаши и искусно раскрасил лица. После санитарного дня и всеобщей стриж-

ки собрал волосы и изготовил два парика. А перед тем как покинуть камеру, циркач искусно сформировал чучело — будто человек спит на боку, лицом к стене. И точно такое же чучело улеглось на боку, лицом к стене, в соседней камере.

Циркач запасся отмычкой, которую по его чертежу изготовили дружки в слесарной мастерской тюрьмы. Там же скопировали ключ от двери-решетки.

Сперва циркач открыл дверь-решетку в своей камере. А как бесшумно открыть вторую, дощатую дверь, выходящую в коридор? Он сумел отжать вниз пружину заслонки в окошке второй двери, в маленьком окошке, куда можно просунуть лишь миску с супом или кружку воды. Затем, с помощью специального аркана, сплетенного из тонкой лёски, он дотянулся до засова, отодвинул его, дотянулся рукой до замка и открыл ключом, торчащим снаружи в замочной скважине.

Про таких ловкачей, как циркач, говорят: «Родился с отмычкой в руке». Причем все это он проделал за считанные минуты, пока надзиратель, меряющий шагами коридор, находился вдали от камеры.

Итак, циркач получил возможность следить за стражником, дежурившим в коридоре. До поры до времени циркач держал прикрытой уже отпертую им дверь и прислушивался к шагам, чтобы знать, как далеко стражник находится от его камеры.

Едва стражник отошел, циркач быстро и бесшумно снял навесной замок со своей двери. Он предусмотрительно налил масло в замочную скважину, смазал все замки и засовы — никакого скрипа.

Когда стражник удалился в другой конец закругленного коридора, циркач выскользнул из своей камеры, запер снаружи дощатую дверь на оба замка, прошмыгнул к камере соседа, открыл одну за другой обе двери, выпустил соседа, вышел вслед за ним и закрыл наружную дверь.

Итак, на обеих камерах висят замки, двери заперты, засовы задвинуты. Теперь можно надеяться, что во время ночных обходов стражника с фонарем их исчезновение останется незамеченным.

В их распоряжении вся ночь до утреннего обхода, до выноса параши, если только удастся убежать из эргастоло, прежде чем их хватятся и начнут погоню.

Оба бесшумно пробрались на лестницу. Их камеры находились на первом этаже, а чтобы выбраться из здания, следовало сперва подняться на крышу. Прислушиваясь к шагам стражников, беглецы благополучно поднялись на второй этаж, на третий. Из-под навеса верхней галереи они вскарабкались на крышу, прошли по ней к краю цитадели, к водосточной трубе.

Труба не достигала двух метров до земли, но оба спрыгнули удачно. Они оказались во внешнем тюремном дворе. Теперь нужно преодолеть еще высокую стену, обвод цитадели. Они вновь оседлали водосточные трубы — сперва вверх, потом вниз — и оказались вне эргастоло. Скорей, скорей вниз, к воде!

Беглецы рассчитывали на лодку подрядчика, ее прячут в сарайчике, притулившемся к скале в маленькой бухточке.

Циркач не забыл захватить с собой отмычку и открыл замок на сарайчике. Пригодился и огарок свечи. Лодку держали на толстой цепи, пришлось сломать еще один замок.

И только тогда беглецы к ужасу своему убедились, что весел и руля при лодке нет. Обшарили все закутки — пусто. Значит, весла уносят наверх, в контору, где они недосягаемы. Стало ясно, что уплыть на лодке не удастся.

Циркач с отчаяния отказался от всей затеи, а контрабандист решил бежать без лодки: его не пугал марафонский заплыв. Он переоделся в одежду лодочника, висевшую в сарайчике, и бывшие соседи расстались.

Теперь циркачу предстоял путь назад в камеру. Конечно, если его застукают, без строгого карцера не обойдется. Но добавить срок тому, у кого бессрочная каторга, никак нельзя!

Непостижимо, как циркач смог преодолеть высоченные стены и незаметно пробраться к себе. Позже он рассказал, что поднялся по стене тюремного здания, цепляясь за медный громоотвод. Простой смертный не взо-

брался бы на крышу и не спустился бы по стене ни по проволоке, ни по скобам, ни по водосточным трубам.

Он проник к себе в камеру, изнутри закрыл замки и засовы, закрыл окошко в двери на щеколду, разобрал чучело, искрошил маску, разорвал в клочья парик, выбросил его в парашу и лег спать.

Шли своим чередом ночные поверки. Стражник за ночь не раз удостоверился, что циркач и контрабандист спят.

А утром циркач прислушивался к переполоху и молился за приятеля: хоть бы убежал!..

Но и тогда, когда тюремщики вспомнили про пепельницу «дуче» и засадили циркача в строгий карцер, ему туда кто-то сообщал новости о поисках контрабандиста.

Две недели Этьен жил этим побегом. И уже после того, как беглеца поймали и увезли в Триест, где должен был состояться новый суд, Этьен продолжал впитывать и переживать подробности происшествия. Покорила жизнестойкость контрабандиста и его исступленная борьба за свободу. А ведь при этом контрабандиста не воодушевляли никакие общественные идеалы!

Но если конокрад и убийца так воевал за свою жизнь, какое право имеет он, Этьен, несущий ответственность перед товарищами по оружию, перед антифашистами, опустить руки и отказаться от борьбы за свою жизнь? У него есть обязательства, каких и в помине нет у контрабандиста! А тот преподал Этьену урок стойкости и жизнелюбия...

В те дни помог Марьяни.

— Когда тебе бывает очень плохо, вспоминай обо мне, твоем друге, которому еще хуже, — сказал Марьяни, опустив голову. — Самое страшное в моей судьбе — по мне никто не скучает. Никто не замечает моего отсутствия. Никто не ждет меня на свободе. Ты знаешь судьбу плачевнее? Я не знаю...

Тут же Марьяни взялся за французскую книжку. Прежде Этьен давал ему уроки французского языка, и Марьяни упрекнул учителя: тот совсем забыл о своих обязанностях, куда это годится?! Этьен смутился и уже до конца дня говорил с Марьяни только по-французски, как

у них было условлено прежде; чувство долга помогло Этьену преодолеть душевный кризис.

У Этьена и прежде бывали такие приступы апатии. Еще во время следствия, а затем в одиночке Кастельфранко календарь терял для него вдруг всякое значение. Нет, тогда эти приступы апатии были не так сильны. Тем более он не имел права позволить себе такое душевное бессилие сейчас, когда льется кровь на родной земле и в родном небе, и он, даже в каторжном своем одеянии, обязан вести себя как солдат, захваченный в плен, солдат, для которого нет и не будет демобилизации...

Только когда Этьен перестал получать письма, он понял, как они были отчаянно необходимы, потому что связывали его с жизнью. И пусть он больше сам не ждет писем — обязан помнить дни прибытия парохода, доставляющего почту.

У «Санта-Лючии» по-стариковски немощный, хриплый гудок, но он потрясает метровые стены цитадели — с таким нетерпением ждут его в эргастоло. Пароход привозит радость в соседние камеры, и Этьен не смеет оставаться равнодушным к гудку, который звучит у острова дважды в неделю.

Ему стало стыдно фразы, которую он недавно сказал Марьяни в припадке отчаяния:

— Жизнь длинна, а смерть коротка, так нечего ее бояться.

— Бывает и смерть длинной, — возразил Марьяни. — В последние дни мне не нравится твое поведение и твое настроение. Ты уверен, что живешь, а не медленно умираешь?

Сегодня горькие слова Марьяни заново прозвучали у Этьена в ушах, он вызвал капо гвардиа и попросил, чтобы его определили на работу вместе с уголовниками. Капо гвардиа кивнул в знак согласия: он пошлет Чинкванто Чинкве на огород.

Этьен нетерпеливо ждал возможности поработать на огороде, а пока с вновь обретенным удовольствием ходил на прогулку. Там, на тюремном дворе, между каменными плитами росла базилика — съедобная трава, предупреждающая цингу. Такая трава продавалась не-

когда в Баку на базаре как приправа к мясу, но там она называлась как-то по-иному. Почему же он теперь проходит мимо базилики? Зачем пренебрегать такой целебной травой, когда начинается цинга?

В тот же день Марьяни, после большого перерыва, увидел Чинкванто Чинкве с книгой в руках — старый учебник испанского языка.

Полному выздоровлению Этьена помогла «Санта-Лючия». Разве мог он предполагать, что такой знакомый гудок имеет сегодня непосредственное отношение к нему? Открытка из Милана, напечатанная на пишущей машинке и подписанная рукой Джаннины, осведомляла, что Конраду Кертнеру послан чек на контору эргастоло. Это — долг, причитавшийся ему по старому векселю, с опозданием и частично оплаченному фирмой «Братья Плазетти». Близнецы долго торговались с синьором Паганьоло, прежде чем выкупили за четверть номинала свои просроченные векселя, избежали гласного банкротства.

Наибольшее внимание Этьена в открытке привлекла фраза: «Недавно у меня в гостях была ваша сестра Анна». Значит, он должен помнить, что у него появилась сестра. А закончила открытку Джаннина дружеским пожеланием:

> «Прошу Вас пребывать в надежде на будущее, эта всеобщая надежда весьма основательна. Имейте мужество противостоять болезням, когда они огорчают Вас...»

Позже пароход привез ему письмо из Турина. В конверт, на котором не указан адрес отправителя, вложена фотография: красивая молодая синьора с ребеночком на руках и счастливый молодой Ренато. Этьен сразу узнал Орнеллу! Она еще красивее, чем на старой фотографии, подаренной некогда Этьену ее женихом. Честное слово, у Кертнера в связных хлопотала сама Мадонна!

Не меньше обрадовала оборотная сторона фотографии, хотя она оставалась чистой и на ней не было ничего, кроме штемпеля: «Фотоателье «Моменто».

Этьен знал, что паралич очень трудно и редко поддается лечению, и радовался тому, что, кажется, излечился от паралича души.

106

Пароход каботажного плавания «Санта-Лючия» водоизмещением в 450 тонн ходил в этих водах чуть ли не с начала века. Пароход становился все медлительнее, он уже страдал старческой одышкой, но на покой не уходил. «Санта-Лючию» бессменно водил капитан Козимо Симеоне, и они старились вместе. Время успело посеребрить волосы Козимо Симеоне, всегда подстриженные бобриком, а сам он оставался по-молодому подвижным, звонкоголосым и неизменно приветливым.

19 апреля 1943 года, когда пароход шел проторенным путем из Гаэты к Вентотене, на него обрушились американские бомбардировщики. В последние дни они часто кружились над островками, над побережьем, никто не предполагал, что они вдруг изберут своей мишенью «Санта-Лючию». Но то ли старческая медлительность парохода сбила с толку бомбометателей, то ли выручил туман, который низко стлался над штормовым морем, — «Санта-Лючия» избежала гибели.

Анку в числе других пассажиров спровадили с палубы в трюм, но там было еще страшнее. В темноте казалось, что самолеты все время висят над головой, не видно, что самолет снова разминулся с целью, не виден огромный столб воды, взметнувшийся в море за кормой; в трюме каждый раз были убеждены, что бомба угодила прямо в пароход.

Когда пассажиры оказались на пристани Вентотене и почувствовали под собой твердую землю, каждый счел себя воскресшим.

Анка попросилась на ночлег к одинокой пожилой женщине, которая штопала рыбачьи сети.

Перед тем как отправить Анку в это далекое путешествие, ее как следует проинструктировали. Разговаривать в пути только по-итальянски, не боясь при этом немецкого акцента: по паспорту она на время этой поездки

Аииа Кертиер, австриячка. Разрешеиие иа свидаиие с братом Коирадом получеио за большую взятку в миииистерстве юстиции.

Анку обиадежили, что у иачальиика охраиы Суппа будут все иужиые бумаги. Одиако утреииий визит к Суппа оказался иеудачиым — разрешеиия иет. Может, произошло иедоразумеиие и разрешеиие лежит у капо диретторе в эргастоло? Завтра к коицу дия все выясиится.

Аика сослалась иа крайиий иедостаток времеии и попросила разрешеиия поехать на Саито-Стефаио иемедлеиио, тем более что море сегодия спокойиое, иеизвестио, какая погода будет завтра, послезавтра, а оиа страдает от морской болезии.

Суппа заявил, что поездка иа Саито-Стефаио возможна при двух условиях: если оиа иаймет лодку за свой счет и если оиа согласиа отправиться в иаручииках. Пока иет официальиого разрешеиия, оиа ие может считаться прибывшей иа свидаиие к каторжиику и иа иее распростраияется режим, введеииый иа Саито-Стефаио для посторонних.

Не раздумывая долго, Аика прииял условия Суппа и вскоре сидела иа Саито-Стефаио в тюремиой каицелярии.

Увы, и здесь разрешеиия из миииистерства юстиции не оказалось. Аика попросила разрешеиия подождать на Саито-Стефаио следующего рейса «Саита-Лючии» и следующей почты. Но капо диретторе Стаиьо отказал — не имеет права держать иа острове постороииего человека. На той же самой лодке ее со сковаииыми руками отправили иазад.

После того как Аика вериулась иа Веитотеие ии с чем, Суппа стал придирчиво строг. Пребываиие здесь разрешеио ей только до отплытия первого парохода. Аииа Кертиер будет иаходиться под домашиим арестом, без права выходить иа улицу. При иарушеиии устаиовлеииого порядка охраиа вынуждеиа будет иадеть иа иее иаручиики и взять под стражу.

Предстояло прожить три дия, прежде чем «Саита-Лючия» виовь придет иа Веитотеие, потом уйдет иа Поицо, вериется с Поицо и отправится обратио на материк.

Единственное, что Суппа обещал сестре Чинкванто Чинкве, — сразу просмотреть почту, которую привезет «Санта-Лючия», чтобы просительница не разминулась с возможно опоздавшим разрешением.

Рано утром 24 апреля «Санта-Лючия» пришла с материка и ушла на остров Понцо. В распоряжении Анки оставалссь около пяти часов до обратного рейса. Увы, разрешение так и не получено. Она пыталась передать брату посылку и получила отказ. Она попросила начальника охраны Суппа приитять деньги для перевода в тюремную лавку иа счет брата — отказ. Суппа не имеет права принять деньги, так же как и посылку, потому что сестра Анна не была в свое время указана самим заключеиным в числе его близких родственников.

Анка распрощалась с приветливой хозяйкой, штопальщицей сетей, и с посылкой в руках, которую у нее отказались приият в полиции, спустилась по крутой лестнице-улочке к пристаии. «Саита-Лючия» вот-вот должиа подойти к берегу.

С большим трудом она купила обратный билет. Пришлось прибегнуть к помощи карабинера, дежурившего на пристани. Буйная толпа осаждала билетную кассу. Воздушиые налеты вызвали среди островитян панику, и прибытия парохода из Понцо ждали на пристаии несколько сот человек. Все спешили эвакуироваться иа материк.

Трезвые голоса предупреждали в те дни капитана Симеоне об опасиости, но он говорил, что днем сугубо штатский силуэт и даже преклонный возраст пароходика очевидны для всех летчиков и штурмаиов, конечио при условии, если экипажи американских бомбардировщиков состоят из зрячих, а ие из слепых. А их налет несколько дней назад в какой-то мере простителен, потому что американцы бомбили в тумаие. Они наверняка знают, что «Санта-Лючия» не предназначена для военных перевозок, знают, что Вентотене и Понцо — места ссылки для политических, врагов фашизма, а на Санто-Стефано — каторжная тюрьма.

— А кроме того, я ие имею права иарушать расписа-

ние, — добавлял Козимо Симеоне, будто самый серьезный довод он оставил под конец.

И вот, когда «Санта-Лючия» уже подходила к Вентотене и до пристани оставалось с километр, не больше, налетели два торпедоносца.

Пристань мгновенно опустела, ожидающих словно ветром сдуло, все забились в пещеры, в гроты, выдолбленные в прибрежной скале, Анка замешкалась на пристани со своей отвергнутой посылкой и видела все.

Первая торпеда прошла мимо цели, взметнув к небу искрящийся столб воды, так что пароход сильно накренился. Вторая торпеда угодила прямо в пароход, и корпус его переломился пополам. Второй торпедоносец летел низко-низко, при желании штурман мог бы различить на палубе пассажиров.

«Санта-Лючия» не успела даже подать своего по-стариковски хриплого гудка.

На помощь утопающим вышел моторный катер, какой-то бот, несколько лодок. Но из девяноста пассажиров спаслись четверо. Они плыли, держась за обломки. Одним из четырех пловцов был капитан Козимо Симеоне, раненный в грудь. На пристань привезли бывшего ссыльного с оторванными ногами, матроса с лицом, залитым кровью, и еще кого-то.

Если бы пароход подошел к Вентотене немного раньше и успел взять тамошних пассажиров, число жертв увеличилось бы в пять раз.

После того как Анка попрощалась со штопальщицей сетей, она прожила у нее еще несколько дней в ожидании оказии. И отплыла на парусинке.

Накануне отъезда Анка рассудила, что разрешение на свидание с братом все-таки может когда-нибудь прийти. Вряд ли взяточники в министерстве юстиции оказались до такой степени бесчестными. Уважающий себя взяточник старается выполнить обязательство, чтобы не прослыть простым жуликом и не лишиться доверия у клиентуры. А в случае, если разрешение придет, Конрад Кертиер получит право и на посылку, и на деньги от сестры. Поэтому Анка отправилась на почту, сдала посылку и перевела деньги брату...

В тот час на почте были опечалены только что пришедшей телеграммой. В Неаполе скончался от ран капитан Козимо Симеоне, за ним оттуда присылали на Вентотене гидросамолет.

На следующий день после того, как парусник увез Анну Кертнер на материк, капо диретторе Станьо вызвал к себе Чинкванто Чинкве.

— У вас есть сестра?

— Вы имеете в виду Анну? — Этьен слегка запнулся, не сразу вспомнил про открытку Джаннины.

— Да, Анна Кертнер.

— Это моя старшая сестра.

Капо диретторе просил принять его сожаление по поводу того, что не состоялось свидание с сестрой. Недавно она приезжала на Вентотене, была на Санто-Стефано, добивалась свидания. Но разрешение от министерства юстиции пришло лишь сегодня, когда сестра вернулась на материк.

В утешение капо диретторе сообщил Чинкванто Чинкве, что на его имя поступила от сестры посылка весом в пять килограммов шестьсот граммов, а также денежный перевод на 1500 лир, которыми он может отныне распоряжаться согласно тюремному регламенту.

107

По давнишней привычке Этьен делал четыре шага, затем поворачивался, левое плечо вперед, чтобы сделать четыре шага до нового поворота. Так повелевали стены камеры в Кастельфранко и камеры № 36 на Санто-Стефано.

А сейчас он мог сделать и пятый, и шестой, и седьмой, и восьмой, и, наконец, девятый шаг без поворота! Только человек, расставшийся с тесной кельей, может оценить простор общей камеры, где не уподобляешься белке в колесе.

Началось с того, что на валу, у самой тюремной стены, зенитчики установили пулемет. Сколько лет на Санто-Стефано не раздавались выстрелы, никто не пу-

гал диких уток, фазанов, гусей, вальдшнепов! Американский летчик быстро засек огневую точку, сбросил бомбу и вывел пулемет из строя.

После того дня американские штурманы уже не обделяли тюрьму своим вниманием и своим бомбовым грузом, — видимо, они решили, что цитадель на скале превращена в мощный узел обороны.

Вентотене и Санто-Стефано — отличные ориентиры для самолетов, летящих к материку из Сицилии или с африканского побережья; островки как раз посередке между большими островами Искья и Понцо. Не потому ли американские бомбардировщики так часто появлялись над Вентотене и Санто-Стефано? Не потому ли здесь обосновались теперь зенитные батареи гитлеровцев?

Больше всего бомбежками были напуганы тюремщики. Капо диретторе Станьо распорядился перевести всех заключенных из одиночек в большие казематы на первом этаже. Стены и перекрытия метровой толщины превратили казематы в солидные бомбоубежища. Все выглядело как забота о заключенных, а на самом деле тюремщикам во время бомбежек было удобнее убегать с первого этажа в подвалы четвертой секции, в безопасную тишину.

Больше всех обрадовался бомбежкам Лючетти. Наконец-то окончилась его строгая изоляция! Кертнер и Лючетти стали соседями, их тюфяки рядом.

Марьяни при поддержке Кертнера решил устроить в общей камере коммуну для политических. В камеру набилось столько людей, сколько тюфяков уместилось на каменном полу! К тому времени на Санто-Стефано томилось уже немало политических из Югославии, Албании, Греции, из других стран. То были партизаны, антифашисты, иных ложно осудили за шпионаж в пользу Франции или Англии.

Просился в коммуну политических и бывший сицилийский священник; некогда ему вскружила голову молодая служанка, и он стал соучастником убийства. Лючетти готов был уступить просьбе отлученного от церкви, но Марьяни категорически воспротивился.

Общая камера быстро превратилась в шумный политический клуб, где бурно обсуждались новости, и прежде всего — ход военных действий. Послушать эти разговоры — в камере сидят только генералиссимусы, фельдмаршалы, главнокомандующие и начальники штабов, крупные стратеги. Кертнер тоже принимал участие в дискуссиях на военные темы, но при спорах не горячился.

Еще в первые год-полтора войны в России, когда дела у Гитлера и Муссолини шли хорошо, когда немцы дошли до предгорий Кавказа и были рядом с Каспийским морем, когда итальянцы вот-вот должны были выйти к Волге, Этьена восхищала непреклонная уверенность Лючетти в конечной победе Советской России. Тогда все вокруг твердили, что поражение русских неминуемо. Этьен подумал: только человек с твердыми убеждениями не меняет своего отношения к друзьям в самые тяжелые для них дни...

Из военных событий по-прежнему чаще всего обсуждали поражение немцев под Сталинградом. А когда Гитлер объявил в Германии трехдневный траур, Марьяни сказал: Италия также должна бы объявить день траура по своей Восьмой армии, разгромленной на Дону.

В связи со Сталинградской битвой шла длительная дискуссия между Кертнером, двумя югославскими генералами и греческим полковником. Марьяни окончательно убедился, что Кертнер — военный. Не мог штатский человек, тем более коммерсант, с таким знанием дела анализировать ход сражения, вопросы тактики и стратегии.

Кертнер считал: Гитлер сделал крупную ошибку, разрушив Сталинград перед тем, как начать штурм города. После массированной бомбардировки город превратился в груду развалин, в сплошную каменоломню. Гитлеровцам пришлось прокладывать себе дорогу от дома к дому, от руин к руинам. А чем больше разрушений, тем больше укрытий у тех, кто обороняется! Улицы стали непроезжими, а остовы домов превратились в маленькие крепостцы, узлы обороны. У русских сразу появился в избытке материал для сооружения оборонительного рубежа, в их распоряжении оказались бесчисленные подвалы, погреба, подземелья, а в разрушенных домах русские

оборудовали огневые позиции, иеуязвимые для бомб и снарядов; разрушеиный город стал могучей цитаделью. Разрушение Сталинграда — только одна из ошибок Гитлера, за ней последовал ряд других...

А как Кертиер ликовал, когда прочел кислую сводку германского командования о битве под Орлом и Курском и когда понял, что Гитлер потерпел новое крупное поражение!

Отныне каждое поражение фашистов на советском фронте или на других фронтах мировой войны воспринималось Этьеиом и как событие, которое несет ему спасение.

Будь то Сталинградская битва или выигранное русскими сражение на Орловско-Курской дуге — это все иовые и новые амнистии, которые распространяются непосредственно на него и сокращают срок заключения.

Бессрочное его заключение на Санто-Стефано во время войны перестало быть бессрочиым. А если бы он сейчас отсиживал тюремиый срок, он бы ие отсчитывал тщательио годы, месяцы и дни, которые ему осталось просидеть, как он это делал в Кастельфранко, ревниво следя за медлительным календарем. День, который принесет с собой крах фашизму, стаиет днем его освобождения. И бесконечно важио, совершеиио обязательно дожить до этого освобождеиия, потому что еще страшнее самой смерти было бы сознание, что он уходит из жизни, настрадавшись от горьких фронтовых новостей первого года войны и ие познав счастья Победы.

Страдания, к которым его приучила каторга, притуплялись от одной мысли о страданиях миллионов людей — убитых, раненых, измученных или обездоленных войной.

Кроме разногласий общего порядка, затрагивающих поголовно всех, в общей камере бушевали страстные дискуссии в национальных рамках. Ссорились между собой сербы и хорваты. Сторонники югославского короля Петра — их возглавлял министр Радованович (30 лет каторги) — ссорились с приверженцами республики, среди которых выделялся доктор Сердоч (пожизнеииая каторга). Албанцы спорили с югославами о формах буду-

щего государственного устройства, будто их родина уже освобождена от фашистского ига.

Чинканто Чинкве отстаивал марксистские позиции, хотя коммунистом себя не называл.

Теперь, после разгрома Испанской республики, ему было удобно выдавать себя за антифашиста, пленного офицера Интернациональной бригады. Иные, как подполковник Тройли, считали его агентом Коминтерна, но мало кто верил обвинению в шпионаже. Особый трибунал по защите фашизма часто приклеивал подобный ярлык политическим противникам.

Узник Рейчи, в Албании его трижды приговаривали к смертной казни, не скрывал недоверия к словам Чинкванто Чинкве, когда тот распространялся о своей коммерческой деятельности. А когда Чинканто Чинкве открещивался от коммунистов, Рейчи иронически оттягивал себе нижнее веко — не обманывают ли его глаза, он хочет пристальнее взглянуть на собеседника.

Марьяни в спорах бывал горяч, неуступчив, а споры на политические, общественные, экономические, военные темы возникали каждый день.

— Какая формация наступит после коммунизма? — допытывался Марьяни у Кертнера.

— Новой формации не будет, коммунизм — последняя формация.

— Но вы же сами утверждаете, что все изменяется. Одна формация сменяет другую. Значит, и коммунизм будет временно...

— Если что-нибудь и достойно стать вечным, то именно идеальное...

Острый спор вызывала коллективизация в русской деревне и борьба с «состоятельными землевладельцами». Марьяни усматривал ошибку русских большевиков, а заодно его друга, в неправильной предпосылке к решению экономических проблем.

Много споров разгоралось вокруг Ленина и его учения. Марьяни в оценке Ленина оставался на старых, анархистских позициях. И напомнил, что вождь итальянских анархистов Энрико Малатеста после смерти Ленина напечатал статью под названием «Радоваться или

плакать?». Впрочем, Марьяни оговорился, что с этой статьей Малатесты он никогда не был согласен.

Лючетти дал своему другу горячую отповедь, а старика Малатесту он за эту статью смешал с прахом. Лючетти с юности преклонялся перед гением Ленина.

— Конечно, нашему Антонио Грамши трудно позавидовать, — вздохнул Лючетти. — Но завидую тому, что он познакомился с Лениным, беседовал с ним. Я слышал, Ленин уже был тяжело болен, к нему никого не пускали и для нашего Антонио сделали исключение... Еще юношей я мечтал увидеть Ленина! Вы его никогда не видели? — неожиданно спросил Лючетти, повернувшись к Кертнеру.

— Нет, — ответил Этьен односложно, чтобы не произносить много неправдивых слов.

Он вновь не имел права ответить чистосердечно, этому решительно воспротивился бы Конрад Кертнер.

108

Он попал в Народный дом случайно.

Вернулся с занятий в политехническом колледже и нашел дома незнакомого гостя. К брату приехал товарищ, тоже медицинского роду-племени, не то из Лугано, не то из Лозанны, Лева уже не помнит, откуда. Но помнит, что медик приехал в Цюрих всего на несколько часов и ему очень нужно было повидаться с Жаком.

Лева знал, что брат присутствует на съезде швейцарской социал-демократии, где должен выступить с приветствием Ленин. Лева не раз встречал Ленина на улицах Цюриха, а еще чаще на почте; знал, где Ленин живет, но никогда прежде его не слышал.

Лева повел приезжего в Народный дом.

Ленин очень тепло приветствовал швейцарских товарищей, он говорил по-немецки.

Лева хорошо понимал картавый говорок Ленина, понравилась та ясность, с какой Ленин доказывал, почему партия не поддерживает террора и почему при этом стоит за применение насилия со стороны угнетенных клас-

сов против угнетателей, почему ведет пропаганду вооруженного восстания.

Это было в один из дней поздней осени 1916 года. Разве мог юноша предполагать, что этот день внесет перелом в его сознание, определит направление всей его жизни?

В годовщину Кровавого воскресенья (в России этот день по старому стилю отмечали 9 января), 22 января 1917 года, Лева слушал в Народном доме доклад Ленина на собрании молодежи о революции 1905 года.

Лева хорошо помнит, что Ленин тогда начал доклад обращением: «Юные друзья и товарищи!» А в конце доклада причислил себя к старикам, которые, может быть, не доживут до решающих битв. Но молодежь будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции!

Отныне Лева не пропускал ни одного номера газеты «Социал-демократ», внимательно прочитывал статьи Ленина. Особенно ему запомнилась статья «Поворот в мировой политике», в № 58, незадолго до того, как к ним в Цюрих донеслись первые вести о революции в России, о свержении царя.

Он знал, что Ленин уехал в Берн, где находились все посольства, знал, что группа эмигрантов уже деятельно готовится к отъезду в Россию.

Мартов внес предложение ехать не через Англию и Францию, которые чинили препятствия для возвращения на родину противников войны, пораженцев, а ехать через Германию. Ленин горячо поддержал смелый план Мартова и сказал: «Немцы будут архидураками, если не пропустят в Россию тех, кто выступает против войны. Я уверен, они охотно пойдут на это».

Лева вместе с братом был в числе тех, кто 9 апреля провожал в Цюрихе поезд, которым выехало около сорока эмигрантов во главе с Лениным. На вокзале пришлось долго ждать, пока к поезду, идущему к германской границе, прицепят специальный вагон «микст».

Каждый пассажир этого вагона дал подписку в том, что будет подчиняться всем распоряжениям руководителя поездки Фрица Платтена, что ответственность за

эту поездку каждый берет на себя и что ему сообщена напечатанная в «Пти Паризьен» заметка, в которой говорится, что русское Временное правительство угрожает предать суду за государственную измену эмигрантов, которые возвратятся через Германию.

Старший брат не был знаком с секретарем социал-демократической партии Швейцарии Фрицем Платтеном, но знал, что тот женат на русской, участвовал в революции 1905 года в Риге, сидел в русской тюрьме, был освобожден царским правительством под залог, а сейчас согласился выполнить партийное поручение и стать руководителем поездки. А еще братья Маневичи знали, что Платтен — единственный швейцарский делегат, который примкнул на Циммервальдской конференции к левому крылу и разделял взгляды Ленина.

Скоро эмигрантам в Цюрихе стало известно, что на пограничной станции Тайнген все пассажиры вагона «микст» прошли досмотр в швейцарской таможне, пересекли границу и так же благополучно прошли проверку на первой немецкой станции Готтмадинген.

Лева продолжал готовиться к экзаменам и жил при колледже с соучениками из других кантонов.

Теперь он каждый день просматривал газеты на трех языках, искал сообщения о приезде Ленина в Россию.

Братья Маневичи надеялись, что им удастся уехать со второй группой эмигрантов. Отправится целый поезд, его будет сопровождать член правления Швейцарской социал-демократической партии Ганс Фогель. Германские власти без существенных изменений одобрили уже выработанный в апреле Фрицем Платтеном проект договора:

> «1. Я, Ганс Фогель, гражданин нейтрального государства, провожу через Германию, за полной моей ответственностью и личной гарантией во всякое время, вагоны с политическими эмигрантами и легальными, желающими ехать в Россию.
>
> Разрешение на проезд дается на основе обмена едущих на германских и австрийских

гражданских пленных и интернированных в России.

Едущие обязуются апеллировать к общественному мнению в России и в особенности к рабочему классу, чтобы постулат этот был осуществлен.

2. С германскими властями сносится исключительно Фогель, без разрешения которого ни одно лицо не имеет права входить в вагоны, которые все время будут закрыты.

3. В вагоны будут допущены лица, независимо от их политических взглядов или их отношения к вопросам войны и мира; германские власти никакого контроля не производят.

4. Фогель покупает для едущих билеты по нормальному тарифу.

5. Никто не может быть высажен из вагона и никто не имеет права покинуть его по собственной инициативе. Без технической необходимости поездка не должна быть прерываема.

6. Время отъезда от швейцарской границы до шведской и технические детали будут установлены.

Берн — Цюрих, 30 апреля 1917 г.».

Этим поездом 12 мая уезжала группа в 257 человек. Накануне отъезда цюрихские социал-демократы устроили в зале «Эйнтрахт» прощальный митинг. Выступил и Платтен, который вернулся из путешествия в Россию, и Отто Ланг, который будет проводником следующего эшелона.

Специальный поезд провожала вся колония и несколько сот швейцарских товарищей. Вагоны украсили цветами, поезд отошел от станции Цюрих под звуки «Интернационала».

Братьев Маневичей среди пассажиров не было. Их перевели в третью, более позднюю группу, и это решение совпало с их личными планами, потому что старший брат должен был завершить работу в клинике, а млад-

шему предстояли экзамены, без которых ему не выдали бы диплома.

Немало провожающих собралось и 20 июня, когда третья группа — еще 206 эмигрантов — покидала Цюрих. На этот раз в числе пассажиров были и братья Маневичи — старший с дипломом врача, младший с дипломом об окончании политехнического колледжа.

На следующее утро, после ночевки в Шафгаузене, эмигранты покинули Швейцарию, проехали всю Германию с юга на север, а утром в воскресенье 24 июня благополучно прибыли в Стокгольм...

Этьен давно не помнит, сколько пересадок пришлось тогда сделать ему и брату, прежде чем они добрались домой, в Чаусы. Но помнит, что дорога была длинная и трудная.

109

Прошли времена, когда Апостол Пьетро покупал для Чинкванто Чинкве что-нибудь из провизии на свои деньги в долг. Неожиданно для себя Чинкванто Чинкве стал одним из самых богатых людей на Санто-Стефано, так как, еще до перевода от Анки, получил 2450 лир в погашение старого долга братьев Плазетти; эта сумма была переслана стараниями Джаннины.

К сожалению, лиры после начала войны сильно обесценились, их покупательная способность стала падать. До войны пяти лир хватило бы на день прокормиться троим. А ныне на такие деньги в лавке и купить-то нечего. Этьен помнит, что в 1936 году один доллар приравнивали к 20 лирам, сейчас, по слухам, за доллар платят чуть ли не 100 лир. А в тюремном обращении по-прежнему сольди и чентезимо. Вот и приходится покупать у подрядчика все кусочками, ломтиками, щепотками, а сигареты — поштучно. Все равно Этьен был счастлив тем, что подкармливает своих друзей.

Но тем сильнее ощущал Этьен недостаток духовной пищи, страдал от отсутствия информации о положении на Восточном фронте, от недостатка информации, от лживости ее.

По-прежнему заключенные имели право читать только иллюстрированные воскресные газеты. Иногда Апостол Пьетро за отдельное вознаграждение ухитрялся на неделе доставать и приносить неведомо где подобранные или украденные газеты. А иногда капеллан Аньелло приносил под сутаной газеты, на которые наложен запрет. Капеллан отлично знал, что Марьяни, Лючетти и Кертнер — люди не религиозные, и тем больше уважения заслуживали его заботы.

Бомбежки, обострившееся чувство опасности вызвали у иных угрызения совести, тягу к молитвам, исповедям. В дальнем углу подвала за выступом стены стояла скамья, и там капеллан устроил подобие исповедальни.

«Какой мучительный груз отягощает память добряка Аньелло! — подумал Этьен. — В стольких злодеяниях уже покаялись ему грешники Санто-Стефано! И все это не смеет забыть капеллан. Но в каких таких грехах эти набожные убийцы и грабители исповедуются сейчас, после того, как они давно покаялись в самом страшном своем грехе? Сущие пустяки: один упомянул всуе имя Христово, другой непочтительно отозвался о божьей матери. А наказание за это известно какое — прочесть столько-то страниц из Евангелия...»

Недавно капеллан прочел вслух письмо с Восточного фронта от бывшего подполковника, ныне полковника Марио Тройли: письмо мрачное, как завещание. Тройли жалуется на русский климат, на русские дороги, на русскую еду, на русский характер, на неуступчивость и бессердечие русских женщин и еще на что-то. Он охотно вспоминает Санто-Стефано. Там по крайней мере нет морозов, нет снега, а живой христианин не чувствует себя все время мишенью. Тройли не верит, что вернется домой. Дон — последняя река, которую он видел в своей жизни, не увидеть ему больше ни голубого Неаполитанского залива, ни мутных вод Тибра. Он просит капеллана помолиться за его душу, на которой столько незамолимых грехов...

А в другой раз капеллан сообщил, что Куаранта Дуэ, контрабандист, который пытался убежать из эргастоло

в компании с циркачом, по приговору суда расстрелян в Триесте.

Капеллан часами проспживал в камере политических. Но не страх перед воздушными налетами приводил его сюда. Узники встречали капеллана неизменной приветливостью, а он рассказывал немало интересного из истории Понтийского архипелага... Этьен и понятия не имел, что остров Вентотене был в начале нашей эры местом ссылки неугодных членов императорских семейств. В первые годы нашей эры сюда будто бы отправили в ссылку Джулию, дочь императора Августа, позже — Агриппину, жену Тиберия, еще позже — Октавию, жену Нерона. Октавия вскрыла себе вены, к этому ее вынудили слуги Нерона. На Вентотене сохранились развалины богатой виллы и бассейна, а также остатки лестницы, вырубленной в скале. Сохранились характерные черты древнего порта, там во время шторма укрывался Калигула. Капеллан готов рассказывать бесконечно, была бы только аудитория...

Все больше послаблений делали узникам эргастоло, капо диретторе Станьо не хотел с ними ссориться. Дела Муссолини шли все хуже, и в тюрьме чувствовалась растерянность. Суетливо шныряли по коридорам тюремщики, присмирел Кактус.

Еще на одну уступку пошла тюремная администрация, когда начались воздушные налеты: убрали «волчьи пасти», и теперь узники часами стояли у зарешеченных окон.

Однажды Этьен и его соседи наблюдали воздушный бой между немцем и англичанином. Позже узнали, что англичанин сбил «фокке-вульф-190» и тот врезался в море, но перед тем успел подбить своего победителя, и англичанин выбросился на парашюте. Все в эргастоло гадали — утонул или спасся? — и во главе с капелланом молились за англичанина.

Но происшествия и события, подсмотренные в тюремное окно, отступили на задний план и забылись после того, как к Санто-Стефано подошел военный корабль под итальянским флагом.

110

26 июля 1943 года около полудня на рейде Вентотене бросил якорь корвет «Персефона». В тот день число ссыльных едва не увеличилось на одного человека. На борту «Персефоны» находился свергнутый Бенито Муссолини.

Не прошло и суток после исторического визита дуче на королевскую виллу «Савойя», Муссолини попросил короля принять его. Виктор-Эммануил согласился дать аудиенцию, но просил Муссолини приехать в целях конспирации непременно в штатском. 25 июля в 17 часов Виктор-Эммануил III, король Италии и Албании, цезарь Абиссинии, ждал Муссолини у входа во дворец. Тот приехал в темно-синем костюме и поношенной коричневой шляпе. В 17.20 аудиенция была закончена. Король проводил Муссолини до выхода, подал на прощание руку и вернулся в свои апартаменты. Муссолини хотел уехать в своем автомобиле, но ему сообщили, что это опасно, его ждал другой автомобиль. На месте водителя, вместо Эрколе Боррато, который двадцать лет водил машину диктатора, сидел капитан карабинеров.

Муссолини выразил желание, чтобы его отвезли на виллу в Рокка делла Камината, на севере Италии, но ему было отказано.

Из казармы карабинеров, с окраины Рима, Муссолини увезли в полицейской машине к морю. На этот раз он ехал без своего личного телохранителя Ридольти. Некогда тот обучал молодого Бенито фехтованию и верховой езде... Ридольти уже за семьдесят, дуче произвел его в почетные генералы милиции, он ходил в ярмарочно-пестром мундире и до последнего дня сопровождал дуче во всех его поездках.

У берега ждала моторная лодка, она подошла к корвету «Персефона», и, едва Муссолини ступил на палубу, корабль вышел в море и лег курсом на юг.

Еще утром на Санто-Стефано разнесся слух об отставке Муссолини и назначении вместо него Бадольо. Радио известило об этом вчера, 25 июля, в 10.45 вечера, когда в эргастоло было темно и все спали. Новость об-

народовал радиодиктор Джанбатисто Ариста, который в течение многих, многих лет оповещал страну о «славных деяниях» дуче и чей голос знали во всех уголках Италии. На этот раз он бесстрастно прочел послание короля, его обращение к народу, а также обращение маршала Бадольо.

После обеда Марьяни узнал от всезнающих уголовников, что в кабинете капо диретторе со стены сняли портрет дуче и эмблемы фашизма, остался висеть только портрет короля. Тюремщики сняли со своих мундиров фашистские значки.

Судя по последней радиопередаче, народ повсеместно ликует. На улицах городов горят большие костры. Жгут портреты дуче, жгут бумаги, которые тащат из участков фашистской милиции и фашистских организаций, разбивают бюсты дуче. Народ требует, чтобы заключили перемирие, амнистировали политических, распустили фашистские организации, требует свободы печати. В Северной Италии всеобщая забастовка. Фашистский главарь Фариначчи переоделся в форму немецкого летчика и бежал в Германию...

Муссолини хотели высадить на Вентотене, но охрана сочла это опасным. Слишком много своих врагов сослал дуче на этот остров. Там томится около пятисот коммунистов во главе с Террачини, Лонго, Секкья, Скоччимарро, Камиллой Раведа. Анархисты еще опаснее, каждый из них может вытащить из-за пазухи бомбу.

Нет, Вентотене — неподходящее место для дуче. Корвет «Персефона» поднял якорь, и через несколько часов Муссолини сошел на соседнем острове Понцо.

Его поселили в рыбачьем поселке, в небольшом домике, в комнате, которую когда-то занимал пленный эфиоп рас Имру, двоюродный брат негуса Хайле Селассие I.

Муссолини разрешили расхаживать по острову, купаться, но лишили радио и газет. А ведь совсем недавно рабочий день дуче начинался с того, что он читал в оригинале сообщения тайных агентов и шпиков, на что уходила немалая часть всего времени, хотя занят он был сверх головы. Дуче не доверял в последнее время даже

близким сподвижникам и сосредоточил в своих руках министерства иностранных дел, армии, флота и авиации, внутренних дел...

Здесь, в одиночестве, через три дня после высадки на Понцо, Муссолини отметил свое шестидесятилетие.

На острове жило несколько ссыльных, хорошо знакомых бывшему дуче, среди них и социалист Пьетро Ненни, с которым когда-то, еще в 1919 году, Муссолини сидел в одной тюремной камере; сюда были сосланы и покушавшийся на дуче террорист Тито Дзанибони и разжалованный фашистский министр печати Чезаре Росси. Все они невольно встречались здесь, но не здоровались, не разговаривали друг с другом.

Капеллан Аньелло виделся на Вентотене со своим коллегой падре Луиджи, у которого был приход на острове Понцо. Падре Луиджи рассказал, что, в предчувствии близкой расплаты за все злодеяния, у дуче неожиданно появились религиозные позывы. Недавно он захотел исповедаться, но охрана не разрешила. Тогда Муссолини прислал падре Луиджи письмо и две ассигнации по пятьсот лир.

> «Седьмого августа, — писал Муссолини, — исполняется два года со дня смерти сына Бруно в небе Пизы. Прошу отслужить мессу по моему сыну, посылаю тысячу лир. Одновременно посылаю книгу «Жизнь Христа» мудреца Риччиотти. Вся Италия может гордиться этой книгой, а ее издание — мировое событие...»

Духовные отцы долго перелистывали книгу Риччиотти, поля ее испещрены пометками Муссолини. Жирно подчеркнуто в книге то место, где Риччиотти рассказывает, как римские солдаты схватили Христа, как рядом с ним в ту минуту не оказалось надежных друзей, как от Христа отвернулись апостолы.

Видимо, дуче хотел провести аналогию между тогдашним положением Христа и своим нынешним положением. Видимо, события последних дней, внезапное (по

крайней мере, для дуче) отрешение от власти, арест и ссылка дали пищу для унылых размышлений. Унылых, но не слишком скромных.

Утром 8 августа по тревоге, буквально за пять минут, Муссолини приказали собраться. Шлюпка доставила его на корвет «Персефона», который вновь пришел на Понцо, чтобы увезти оттуда экс-дуче.

На сей раз Муссолини высадили на островке Санта-Маддалена, к северу от Сардинии. Сотня карабинеров охраняла его в отведенной ему вилле. Разрешили читать, писать, передали книги, которые ко дню рождения прислал Гитлер.

С острова Санта-Маддалена Муссолини переправили еще севернее, в горы, к подножию пика Монте-Корво, в отель «Кампо императоре», как бы специально для того, чтобы 12 сентября 1943 года его удобнее было выкрасть оттуда фашистскому диверсанту Отто Скорцени.

111

Можно было подумать, что остров Санто-Стефано оказался в ночь с 6 на 7 сентября на самой линии фронта. Черное небо в сполохах и зарницах. Стреляют, бомбят совсем рядом. Кто-то из тюремщиков видел на горизонте военные корабли.

Несколько позже выяснилось, что никакой бомбардировки не было, а немцы взрывали ночью свои склады с боеприпасами на Вентотене.

Первая американская шлюпка доставила на Вентотене небольшой десант. Но как только десантники спрыгнули на берег, под их начало поспешила группа ссыльных; многие были уже при оружии, отобранном у фашистской милиции, у карабинеров, у тюремщиков.

На самой высокой части острова стояли счетверенные крупнокалиберные пулеметы и мощные звукоулавливатели. Немецкие зенитчики не знали, сколь малочислен десант, и сдались без боя. Около восьмидесяти немцев с поднятыми руками сошли со скал. Их заперли в

четырехугольном здании полиции, которое смотрит зарешеченными окнами на все стороны света. К тому времени из шлюпок, мотоботов высадился отряд морской пехоты.

А узники на соседнем Санто-Стефано напряженно ждали новостей с Вентотене, считали минуты; воедино слились надежды и чаяния самых разных людей.

Днем 9 сентября к Санто-Стефано подошла моторная лодка. Старый знакомый Катуонио выполнял обязанности лоцмана, он показывал, куда причалить. Но прошло не меньше часа, прежде чем в тюрьму явился американский офицер, а с ним несколько солдат морской пехоты, капо диретторе Станьо, капо гвардиа, тюремный врач и дежурный надзиратель.

Энтузиазм охватил не только политических. Уголовники лелеяли надежду на амнистию, может, и всепрощение.

Многие радовались вдвойне — и краху фашизма, и своему освобождению.

Капитан морской пехоты оказался американцем итальянского происхождения, изъяснялся с сильным акцентом.

Он не доверял тюремной дирекции и сам выстроил каторжников во дворе.

— Политические — два шага вперед! Иностранцы — два шага вперед! Все иностранные подданные будут освобождены в первую очередь. Американцев нет?

— Нет!

Всех пятьдесят семь политических вызвали в канцелярию, и после вопроса «За что осужден?», после выяснения мотивов ареста, капитан вносил их в список лиц, подлежащих немедленному освобождению.

Кертнер объяснялся с капитаном по-английски, сказал, что лишен возможности вернуться в Австрию, пока там нацисты, что болен и нуждается в помощи Красного Креста. Капитан заверил австрийца, что он имеет право на лечение, как освобожденный из военного плена. Но куда именно его направят — сейчас сказать не может, узнает в штабе.

Капитан увез с собой на Вентотене первую группу освобожденных. Завтра с острова отправят остальных политических.

Уголовников увели назад в камеры, а политические, все, кто не уехал с первым рейсом, в свои камеры не возвратились: их уже не запирали.

Эргастоло облетела весть, что с острова сбежал надзиратель Кактус.

Он боялся самосуда, знал, что ему обязательно припомнят пучок лука финоккио и беднягу Беппино...

112

Заключенному, дожившему до свободы, не забыть минуты, когда он в первый раз вышел за тюремные ворота.

Поначалу Этьен даже растерялся, чувствовал себя беспомощным и одичавшим. Он прошел с Лючетти и Марьяни вдоль тюремной стены, втроем посидели у ворот. Лючетти был в приподнятом, праздничном настроении, напевал «Гимн Гарибальди».

Этьен подсчитал, под сколькими замками сидел до этого благословенного дня. Получалось, что в эргастоло Санто-Стефано на два замка больше, чем в Кастельфранко, даже если не считать дополнительным запором уединенный островок. После поимки Куаранта Дуэ, контрабандиста, Санто-Стефано сохранило репутацию тюрьмы, из которой никому за полтораста лет не удалось бежать.

Этьен отвык от самого себя, свободного, живущего без надзора, кому позволено ходить без конвоя. До одури, до дрожи в коленях, до головокружения бродил он с двумя друзьями по острову, с жадностью всматриваясь в голубые дали.

Далеко-далеко видно окрест! В дымке угадываются очертания мыса Орландо, это Гаэта. К северу от Гаэты высится мыс Чирчео. Можно достать глазом и до острова Понцо — он севернее Вентотене, — и до острова Искья к югу.

Сегодня легкий, очень приятный юго-восточный ветерок — полусирокко, полулевант. Такой ветерок любят на Вентотене, он хорош при рыбной ловле.

Впервые Этьен внимательно оглядел дом, где жили капо диретторе и другие управители острова. Оказывается, возле тюремной стены, рядом с карцерами, растет лимонное дерево. На острове несколько веерных пальм, эвкалиптов и еще каких-то деревьев, названий которых Этьен не знает, — все с лакированными листьями.

Решили отправиться на кладбище, отдать долг памяти не дожившим до освобождения и похороненным под номерами. Положить цветок и на могилу Беппино.

Что может быть печальнее кладбища, куда, в точном значении слова, не ступает нога человека? Кладбище за железной оградой, а калитка — стандартная дверь-решетка, какая ведет во все камеры. Слева от калитки высечено на плите: «Здесь кончается суд людей», а справа — «и начинается суд бога». Этьен вспомнил, что является соавтором сего изречения.

— Не совсем точно, — заметил Лючетти. — Даже сюда, на суд бога, покойников приносят безымянными, согласно суду людей.

Только в углу кладбища, в стороне от безымянных каторжников, рядом с несколькими тюремщиками — могила Филумены Онорато. Марьяни рассказал, что это могила матери, которой разрешили свидание с сыном. Она приехала на остров, увидела сына и от огорчения умерла.

В последний раз Этьен был на кладбище в Севилье, когда хоронили летчика Альвареса, сбитого каким-то «чатос» или «моска». Вот бы на тюремном счету Чинкванто Чинкве чудесным образом оказались сейчас те деньги, которые Кертнер потратил тогда на роскошный венок из чайных роз; по всеобщему признанию, тот венок был богаче королевского!

А Лючетти, сидя на могильной плите, вспомнил светлой памяти «Санта-Лючию». Конечно, всех погибших пассажиров жалко, но если на пароходе были ссыльные, которые только-только дожили до свободы, которые уезжали в тот день из неволи, — тех жальче всего.

С непривычки все трое устали от прогулки и заторопились назад в камеру.

Обитатели камеры неузнаваемы. Смеялись и те, у кого никогда прежде не видели улыбки; казалось, они вообще разучились смеяться.

Этьен был уверен — только прикоснется головой к своей травяной подушке, его сразу бросит в глубокий, долгий сон. Но общая камера заставила забыть про усталость. Сегодня в устах Марьяни даже «Божественная комедия» не воспринималась как поэма о загробном мире. Затем долго звучали жизнелюбивые гекзаметры Гомера.

А чего не хватает в партитуре тюремного дня? Что сегодня сильнее всего режет ухо? Марьяни и Лючетти согласились, что фонограмма тюремного дня изменилась: стало тише и в то же время шумнее. Шумнее от живых голосов, никто не хотел шептаться, говорить вполголоса. А какие характерные шумы исчезли?

И тогда Кертнер, бесконечно довольный тем, что его загадка осталась неразгаданной, пояснил: не слышно ржавого скрипа замков, не скрежещут постоянно задвижки, щеколды и петли, не грохочут засовы, не звенят цепи, не позвякивает связка ключей в руках Апостола Пьетро.

По многолетней привычке Апостол Пьетро продолжал называть всех по номерам, но воспринимались номера уже по-другому, нежели несколько дней назад. Вот-вот их владельцы расстанутся со своими номерами навсегда.

Время до вечернего колокола пробежало быстро. Марьяни был в ударе, он в радостном возбуждении читал вслух главы из «Божественной комедии». Восхищение Марьяни поэтом было безгранично, и оно передавалось слушателям. Марьяни, как многие в Италии, не произносил имени Данте, а говорил с благоговением: «Поэт». Марьяни заразил своей страстью Кертнера, тот уже помнил наизусть много строф, длинные отрывки.

Какие-то неизвестные дружелюбы, ссыльные с Вентотене, прислали Лючетти немного денег. Он купил в

тюремной лавке три четвертинки кьянти, и друзья выпили за общую свободу.

Марьяни провозгласил тост:

— За мое отечество!

— Хороший тост, — поддержал его Кертнер. — И за мое отечество!

Марьяни и Лючетти с удовольствием подняли стаканчики.

Утром начались хлопоты, связанные с переодеванием. Марьяни надел поношенный костюм, стоптанные ботинки, побрился у тюремного брадобрея.

Кто бы мог подумать, что узника Чинкванто Чинкве все эти годы терпеливо ждал в кладовой костюм — английский, чёрный в белую полоску? Костюм переслали из Кастельфранко; и молью не трачен, и совсем мало ношен, и пятна крови давно выцвели. Но — будто с чужого плеча, будто его не шил по заказу модный портной в Милане, а куплен костюм в магазине без примерки и оказался номера на два больше.

С обувью было совсем скверно, но Этьен отказался от желтых сандалий, которые ему пытался подарить Джино: тот сам остался бы тогда без приличной обуви.

События последних дней и гибель парохода «Санта-Лючия» нарушили снабжение эргастоло. Обеда сегодня вообще не будет, об этом объявил Апостол Пьетро, но за отдельное вознаграждение он берется достать провизию на Вентотене.

Этьен рассчитывал, что вместе со своими друзьями попадет в ту группу, которую американцы отправят сегодня с Санто-Стефано.

Сидеть под тюремными сводами не хотелось. Отдохнуть от созерцания решеток, не расставаться со светом дня! Устроились на ночлег в кордегардии.

На следующее утро все не отрываясь смотрели в сторону Вентотене. Наконец моторная лодка показалась в проливе между островами. Уже слышно, как стрекочет мотор. Еще четверть часа, и американцы поднялись по тропе.

Однако где же тот симпатичный капитан? И что за люди в штатском идут за вновь прибывшим моряком?

Вместо пехотного прибыл капитан в морской форме, с рыжей бородкой и злыми глазами. Он привез назад двух югославов, вчерашних узников.

Морской капитан устроил строгую проверку полит-заключенных и внес поправки в список, составленный накануне. Двух югославов заново взяли под стражу. Хотя они иностранные подданные, но осуждены за уголовные преступления и поэтому освобождению не подлежат.

Капитан с бородкой допрашивал всех подряд, а в конце допроса каждого сверлил глазами и задавал стандартный вопрос:

— Обещаете не воевать против Соединенных Штатов?

— Да.

— Поклянитесь на Библии.

Тут же дежурил капеллан Аньелло в праздничном облачении, а Кертнер выполнял обязанности переводчика.

Рыжебородый нашел нужным сообщить, что отец его крупный банкир, что несколько лет назад было совершено нападение на банковскую кладовую, где стоят сейфы отца, а в банде гангстеров верховодили итальянцы. У них в Чикаго итальянцы на плохом счету. И вообще, он воспитан в строгом уважении к частной собственности и не позволит уголовникам воспользоваться плодами героизма американцев при освобождении Италии. Будущее Италии должно покоиться на строгом правопорядке и уважении к частной собственности. Может быть, здесь, на каторге, сидят дружки чикагских гангстеров?

Кертнер выразил свою солидарность. Ему, как старому коммерсанту, понятны убеждения и взгляды капитана.

Когда рыжебородый вызвал Марьяни, тот с опрометчивой искренностью и неуместной правдивостью начал рассказывать о давнем взрыве в кинотеатре «Диана» в Милане, об ошибке, которую тогда допустили анархисты. Черт его дернул распространяться о своей юношеской наивности, об экспроприации частной собственности, об анархизме. Кертнер, переводя на английский, изо

всех сил пытался на ходу смягчить показания Марьяни, но это не могло помочь.

— Взрыв? Экспроприация? Неплохая школа для гангстеров! Вас опасно выпускать на свободу. Столько жертв... Уголовное преступление! — вынес свой приговор американец. — Я не могу вас выпустить...

Марьяни побелел, он был близок к обмороку, он лишился последних душевных сил. Он уверял, что все долгие годы заключения числился политическим.

Переводчик Кертнер засвидетельствовал, что Марьяни говорит правду. Тот мог бы многое рассказать рыжебородому. Мог бы рассказать о том, как он враждовал когда-то с капо диретторе, фашистом-фанатиком, который собственноручно засадил бы в тюрьму свою мать, если бы она отказалась салютовать, как принято у фашистов, поднятием руки.

«Салют! Ни за какие сокровища мира!» — отвергал Марьяни требования начальства. Он работал тогда писарем в тюремной канцелярии. И последовал приказ отправить непослушного писаря назад в камеру. Два года он провел в строгой изоляции, но не поступился своим достоинством и честью. А рыжебородый смеет называть его уголовником!

И по выражению лица морского капитана видно — не поймет он, чего стоил отказ поднять руку в фашистском салюте и что такое два года строгой изоляции дополнительно ко всем другим годам.

«Если бы Марьяни был политическим, его бы осудил Особый трибунал по защите фашизма», — утверждал рыжебородый. Марьяни возражал: когда его судили, еще не было фашистского трибунала. Но морской капитан только любовно поглаживал рыжую бородку и настаивал на своем. Не внял он и переводчику. Не помогло и заступничество капеллана, который удостоверил, что Марьяни — добрый христианин, хотя и неверующий, и никогда не числился уголовником. То, что Марьяни безбожник, лишь ухудшило дело.

Марьяни был подавлен, обижен. А кроме того — горько отставать от Лючетти и Кертнера.

Когда морской капитан узнал, за что сидит Лючетти, он сказал очень зло и вовсе не шутливым тоном:

— А вас нужно было бы еще подержать на каторге за то, что вы не убили Муссолини!..

Лючетти и Кертиер спускались по тропе к моторной лодке, чтобы ехать на Вентотене, а оттуда еще дальше.

Марьяни провожал друзей.

— Я политический, я всю жизнь боролся с фашизмом! — твердил он, шагая рядом с рыжебородым капитаном; в глазах у Марьяни стояли слезы.

— Нет, вы уголовник, — настаивал американец, — вы убили невинных людей...

Подошла минута расставания. Друзья обнялись, расцеловались.

От избытка нахлынувших на него чувств Марьяни нагнулся и неожиданно поцеловал руку Кертиеру. Тот растерялся на какую-то секунду, но ответил другу тем же знаком признательности и любви.

Стоя на прибрежном валуне, отлученный священник родом из окрестностей Палермо, где жил брат Лючетти, воздел руки к небу и произнес молитву за путешествующих:

— О святый боже, отец наш, изведший народ свой из неволи, дающий пропитание всякому творению и показывающий птицам небесным путь к старым гнездам! Будь милостив к убогому и сирому страннику Джино! Сохрани его от опасности, исцели от болезней, накорми голодного и спаси от бед. Дай Джино в спутники ангелов своих и возврати его благополучно в родной дом!

Рядом стоял Амедео Нунец по кличке Пичирилло — так неаполитанцы называют низкорослых. Ему тоже позволили выйти из камеры и проводить тех, кто навсегда покидал эргастоло. У Пичирилло здесь самый большой стаж — тридцать шесть лет каторги. Молодым парнем, неграмотным и темным, он вступил в шайку бандитов, задушил старуху, ограбил, а у нее оказалось сто лир. Никто никогда не принимал участия в его судьбе, а если Пичирилло когда-нибудь помилуют, он останется жить на Вентотене, помогать кому-нибудь по хозяйству. Он прощался с теми, кого освободили, без

зависти. Как только прозвучит колокол в тюремном дворе, он вернется в камеру, и его, как тридцать шесть лет подряд, снова запрут на замок...

Перед отплытием катера Марьяни отозвал в сторону Лючетти для приватного разговора. Странно, прежде Марьяни не имел секретов от Кертнера...

Как только отчалили и взяли курс на Вентотене, провожающих тут же скрыл край скалы. Моторка ходко пересекала пролив, глубоко-глубоко под ними скрывался кратер потухшего вулкана.

Этьен повернулся спиной к эргастоло.

«Дьявол с ней, с этой тюрьмой, она не стоит того, чтобы на нее оглядываться. Столько отмучился...»

Но разве можно забыть Марьяни? Этьен тотчас же вспомнил, что на Санто-Стефано остались добрые товарищи, которые ждут освобождения, которых еще долго не освободят, потому что они числятся уголовниками.

Этьен торопливо пересел на нос катера, чтобы видеть белое трехэтажное здание на верхнем плато, еще и еще раз мысленно попрощаться с Марьяни, со всеми несчастными, виновными и невиновными, кто еще там оставался и от кого навсегда уезжал бывший Чинкванто Чинкве.

Храни надежду всяк томящийся здесь смертный!..

113

Лючетти и Кертнер сошли на пристани Вентотене и тотчас же отправились на поиски симпатичного капитана морской пехоты, который приезжал на Санто-Стефано в первый день.

Долго плутали по лестницам-улочкам. Капитана нашли на площади, обстроенной узкими домами, по соседству с церковкой, также сдавленной в каменных плечах; старинные часы, а над ними звонница с двумя колоколами, висящими в тесноте один над другим.

Штаб морской пехоты находился в доме у колодца, куда стекала дождевая вода со всех окрестных крыш.

Капитан изъяснялся на ломаном итальянском языке.

Кертнер перешел на английский. Он рассказал о трагической ошибке с Марьяни. Нельзя ли помочь?

— К сожалению, я лишен такой возможности. — Капитан развел руками: он искренне сожалел о случившемся.

По-видимому, капитан получил от начальства выговор за излишне либеральный подход к каторжникам и отстранен от этих дел.

Лючетти и Кертнер еще днем попросились на ночлег в опустевшую казарму, но явились туда лишь под утро: бродили по острову, заговаривали со встречными, жадно прислушивались к гитаре, звучавшей где-то на лодке. С надрывом пела звонкоголосая девушка, прощаясь в песне с любимым.

— Иногда мне кажется, я перестал быть живым человеком, — сказал Кертнер невесело. — Может, нас обоих при жизни набальзамировали?

— Если бы нас, как в старину, сразу после смерти окунули в растопленный воск, мы лучше бы сохранились, — засмеялся Лючетти. — А на Санто-Стефано бальзамируют живьем. И в этом отличие эргастоло от церкви Мадонны ди Недзо Агосто, в которой хозяйничают капуцины. Когда мы доберемся с тобой к брату в Сицилию, мы насмотримся на эти мумии. Чтобы господь не ошибся, на мумиях всех девственниц лежат и сейчас пальмовые венки и ветки...

Этьен удивился — как много жителей Вентотене успели узнать об освобождении Лючетти! Человек, который покушался на жизнь Муссолини, привлекал всеобщее внимание. Утром два босых старика принесли Лючетти корзину с фруктами. От кого? От синьоров, ужинавших в траттории, бывших ссыльных.

Основная масса ссыльных уехала с Вентотене до высадки десанта. Позже всех освободили коммунистов. Сейчас всякая связь с материком прервана.

Ходят слухи, что немцы захватили Рим и двинулись на юг. Но точно никто ничего сказать не мог.

На остров Искья уходил пароходик «Нардуччо», на его борт поднялось восемнадцать освобожденных

каторжников; Кертнер и Лючетти были в числе пассажиров...

На Искье оказалось беспокойнее и опаснее, чем на Вентотене. Немцы обстреливали Искью с соседних островов, с материка, где у них стояли тяжелые батареи.

Этьен сидел в рыбачьей хижине, не в силах совладать с кашлем, а непоседливый, истосковавшийся по людям Лючетти разгуливал по незнакомому острову, не считаясь с предостережениями.

Этьен услышал близкий разрыв. Он решил, что это бомба, сброшенная с большой высоты.

Донесся крик рыбака-грека, оказавшего приют ему и Лючетти:

— Убили! Ваших убили!

— Где?

— На пристани.

Этьен из последних сил побежал к пристани.

Несколько греков, обитателей острова, сгрудились вокруг тел, лежащих на земле и уже покрытых старым парусом.

Этьена пронзило страшное предчувствие, и тут же он увидел торчащие из-под паруса желтые сандалии.

Мучительно разрывалось сердце, он закричал, но голос его увяз в горле.

Парусину отвернули. Джино Лючетти лежал как живой. А рядом окровавленное, разорванное тело юноши.

Трагедия разыгралась молниеносно. Лючетти прогуливался вдоль причала вместе с сыном директора местной электростанции. Они оживленно беседовали, поглядывая на море. На горизонте остров Прочида, видимость сверхотличная. Как вдруг — тяжелый снаряд. Юношу разорвало в клочья, а для Лючетти хватило одного злого осколка — дырочка в левом боку, даже крови не видно. Маленький осколок снаряда из итальянского орудия, а стреляли немцы. Они вели огонь с оконечности материка, с Монте ди Прочида; дальнобойная батарея стояла километрах в двенадцати. По-видимому, их наблюдатель увидел в стереотрубу движение, а пристань на Искье давно пристреляна.

После восемнадцати лет каторги и двух дней свободы оборвалась жизнь Лючетти...

В гробу он лежал красивый, элегантный. И волосы не потеряли живого блеска, добрая полуулыбка осталась на его по-живому ярких, навечно беззвучных губах. Про таких красивых людей итальянцы говорят: природа создала этого человека, а потом сломала форму, в которой его отлила.

Гроб покрыли красным знаменем. На площади, рядом с пристанью, устроили траурный митинг. Горячо прозвучали речи албанца Рейчи и Кертнера. Он назвал смерть Лючетти жестокой, несправедливой и сказал про него словами Данте: «Мой друг, который счастью не был другом...»

В карауле стояло двенадцать матросов из отряда американской пехоты. Они будут сопровождать катафалк до кладбища.

Не успела траурная процессия отъехать от площади, как начался новый огневой налет. Может быть, немецкий наблюдатель увидел процессию в свою проклятую стереотрубу, а может, немцам радировали их потайные наводчики с самой Искьи.

Четверка лошадей, впряженная в катафалк, шарахнулась в сторону и помчалась галопом. До кладбища добрались уже в темноте и похороны перенесли на утро.

Один из бывших заключенных сказал после похорон:

— Нельзя молиться за другого, если у самого совесть нечиста. Если бы отлученный от церкви священник не помолился за Джино перед дорогой, не приключилась бы с ним беда...

У Этьена остался узелок с пожитками Лючетти, их следовало переслать его брату, жившему близ Палермо. Один из сицилийцев обязался доставить узелок. А Этьен написал брату Лючетти письмо со всеми трагическими подробностями.

После гибели Лючетти группу политзаключенных перевезли в отель «Пальма», который находился вдали от пристани. В том отеле останавливались самые знатные гости острова Искья. Этьену тоже предоставили роскошные апартаменты. Он спал на белье тончайшего полот-

на, отделанном кружевами, можно было принять ванну, но есть было нечего. Повар по крохам собирал остатки провизии, чтобы приготовить пасташютта.

Быстроходный военный катер отправлялся из Искьи в Палермо, но американцы увозили только сицилийцев. А что касается уроженцев Ломбардии, Пьемонта, Лигурии и других провинций Северной Италии, а также югославов и австрийцев, то увозить их подальше от родных мест и отправлять в Сицилию нет никакого смысла. Им нужно побыстрее перебраться в Неаполь.

Однако, по слухам, фарватер и все пристани в Неаполе заминированы, путь туда закрыт. Значит, нужно плыть в какой-нибудь порт по соседству с Неаполем, лучше всего в Гаэту или в Формию.

По-прежнему ходили слухи, что нацисты заняли Рим и движутся на юг. Спросили шкипера, хозяина парусника, — слышал ли он в Гаэте или в Формии о немцах? Шкипер ответил, что вышел из Гаэты 8 сентября утром, немцев там и в помине не было.

И тогда шестеро иностранцев, в том числе Этьен, решили плыть парусником «Мария делла Сальвационе» на материк. Сколько можно ждать военного катера или другой оказии? Когда еще власти отправят их с неприветливого острова?

Сообща оплатили рейс. Прижимистый и жадный хозяин парусника был далек от сантиментов и мало считался с финансовыми возможностями вчерашних каторжников. Он заломил большую сумму, но нетерпение освобожденных было еще больше. Этьен тоже уплатил за место на паруснике 500 лир, две трети всего своего состояния.

От Искьи до Формии дальше, чем от Вентотене, — 50 миль. Немало, если учесть, что мотор молчит. Но это единственная возможность уехать с Искьи на материк.

Рыбаки на Искье в один голос говорили о десанте союзников в Салерно, южнее Неаполя. Называли точное время десанта — утро 9 сентября.

Этьен рассудил, что при этом условии Неаполь внезапно стал прифронтовым городом, туда наверняка стягивают немецкие войска для отражения десанта. И безо-

паснее уплыть от Неаполя на север, тем более что, по словам шкипера парусника, немцев в Гаэте нет.

Как назло, стояла безветренная погода. Старый, с заплатами парус висел вяло, безжизненно и был обречен на безделье. Трудно сказать, кто больше от этого страдал — шесть заждавшихся пассажиров или хозяин парусника, которому не терпелось поскорее убраться с Искьи, подальше от немецких снарядов.

Однако перед рассветом в отель прибежал юнга с парусника и сообщил, что ветер, как он выразился, «проснулся».

Выгнутая ветром парусина несла баркас с пассажирами, говоря по-морскому, на норд-норд-ост. Про запас на дне парусника лежали три пары сухих весел.

Этьен возвращался на материк одновременно и подавленный гибелью Лючетти, и встревоженный.

Сколько ждал он этой возможности — свободно плыть на материк, на волю. Полсотни миль до Формии станут началом его длинного пути домой, в Россию, через границы, через войну, которой, по расчетам Этьена, осталось косить людей и собирать свою кровавую жатву полгода, от силы — год.

Где и как прожить это время Конраду Кертнеру, австрийскому подданному?

Он рассчитывал, что власти в Гаэте помогут ему, выпущенному с каторги политическому, добраться до одного из портов Адриатического побережья, а там его возьмут на борт какого-нибудь корабля. «В крайнем случае, — подумал Этьен, — если дороги из Гаэты временно закрыты, отлежусь в местной больнице».

В это время его настиг такой приступ кашля, что он тут же добавил про себя: «Даже если там дороги открыты, все равно придется сначала отлежаться. Никуда я сейчас не гожусь...»

Судьба разлучила с Марьяни, тот не оставил бы его одного в предстоящих испытаниях. Нет в живых Джино Лючетти, который стал ему братом и готов был делиться всем, что у него есть или будет. Лючетти признался, что как раз о помощи Кертнеру завел речь Марьяни, когда напоследок, перед отходом моторной лодки с Санто-Сте-

фано, отозвал Лючетти в сторону для секретного разговора. Будто Джино нуждался в таком напоминании!

Есть ли сейчас русские в Италии? Только военнопленные, которые сбежали из лагерей и, по вынужденному свидетельству фашистских газет, скрываются в горах, сражаются в партизанских отрядах. Вот бы уйти в горы, в леса, прибиться к такому отряду, или перебраться в Югославию, в Албанию, там, наверное, тоже воюют наши...

Но примут ли его в боевую семью, поверят ли Конраду Кертнеру?

В кармане пиджака, надетого взамен полосатой каторжной куртки с номером на левой стороне груди, лежат два драгоценных документа: первая бумажка удостоверяла, что Конрад Кертнер, уроженец Австрии, просидел столько-то в тюрьмах, как антифашист, осужденный Особым трибуналом на 12 лет. А другая бумажка — пропуск для свободного хождения по Вентотене, выданный отделом «G-3» при американском командовании.

Почти семь длинных-предлинных лет, зарешеченных, запертых на множество замков лет, прожитых впроголодь лет, вместилось в часы, когда парусник плыл к материку.

Где-то за островом Искья, невидимым в лучах позднего солнца, небо уже тронуто закатом. Облака на небосклоне, недавно прозрачные, потемнели, а по краям оторочены золотом. Розовое отражение облаков плыло по морю рядом с парусником. Выгнутая парусина тоже окрасилась в розовые тона. Все жило предчувствием заката — и небо, и облака, и море, и далекий остров позади.

Да, неприветливо встретила Искья освобожденных, и Этьен прощался с ней взглядом без всякого сожаления. Он увозил от ее берегов только тупую, непроходящую боль. Джино, Джино, сердечный и благородный друг, как же это тебя?..

Внезапно ослабевший ветер надоумил шкипера, что выгоднее держать курс не на Формию, а на Гаэту. Два маленьких порта разделены всего шестью милями, но в Гаэту, чуть севернее, парусник пойдет более ходко, и,

если святой Франческо де Паоло будет к ним благосклонен, их снова будет подгонять попутный ветер, который итальянцы называют «ветер в карман».

Ветер лишь полировал синюю поверхность моря, не успел ее взъерошить, зарябить. Только легкое поскрипывание такелажа и круто повернутого руля, только журчание за кормой с трудом взбаламученной воды.

Хозяин парусника был мрачен, и Этьен сперва подумал — он обеспокоен тем, что ветер убавил в силе. Но ведь и в начале плавания, когда ветер прилежно дул в корму, хозяин так же хмурился и такими же злыми глазами поглядывал на пассажиров. Больше похоже — жалеет, что мало запросил с каждого за проезд, считает, что продешевил.

Одно дело — вглядываться в смутные очертания материка, стоя на верхнем плато Санто-Стефано, а другое дело — с лодочной скамьи; все скрывается за горизонтом.

Сколько раз он воображал себе этот счастливый день — возвращение? Наверное, тысячи раз. И от этого каждый раз у него начиналось сердцебиение, вот как сейчас, будто не сидит он неподвижно на скамейке, а без устали гребет.

Итак, он возвращается домой. Дорога дальняя, долгая, трудная и опасная, но он движется вперед! Как же он может не слышать сейчас своего сердца, когда не воображает себя едущим, а на самом деле едет?

А кем он вернется домой? Разве он вернется таким, каким уехал миллион лет назад, каким его дома помнят, любят, ждут? Восторг души первоначальный вернет ли мне моя земля?

Нет, он вернется совсем, совсем другим человеком. Только он один знает, как сильно изменился за минувшие годы. Надя этого даже не подозревает. И от него потребуется немало усилий, чтобы вначале вообще скрыть от нее перемену, а потом стараться, чтобы перемена эта не показалась слишком разительной. Каждый день свободной, счастливой жизни будет быстро приближать его к тому человеку, который прощался когда-то с родными, с друзьями перед отъездом из Москвы.

Последняя командировка растянулась на восемь лет. Время струнлось, как вода сквозь пальцы, быстротечное время. Он опустил руку в воду за бортом и внимательно поглядел, как вода омывает пальцы и ладонь.

И вдруг с печальным удивлением вспомнил, что недавно ему стукнуло сорок пять лет. У Данте в «Пире» можно найти распространенное в его время деление человеческой жизни на четыре возраста: до 25 лет — юность, до 45 — молодость, до 70 лет — старость, после 70 — дряхлость.

«Значит, я сейчас нахожусь как раз на границе молодости и старости...»

В заточении влачить груз лет с каждым годом все труднее, совсем как ядро, которое прежде приковывали к ноге каторжника. А может, возраст не так будет чувствоваться дома, после того как Этьен хорошо отдохнет, подлечится?.. Когда они вдвоем с Джино Лючетти искали на Вентотене симпатичного капитана морской пехоты, Этьен познакомился там с юношей Джованни Пеше, которому несколько дней назад вернули свободу. В ссылку он попал восемнадцати лет, а уже успел повоевать в Испании за республиканцев. Нет, не всем суждено возвратиться из заключения молодым, полным сил.

А может, жизнь на свободе, среди своих, вольет в него новое здоровье, новые силы, принесет с собой вторую молодость?!

Каторжник из соседней камеры, которого однажды уже выпускали на волю после многолетнего заключения, признался Этьену, что в первые дни не узнавал своих повзрослевших детей, а по-настоящему почувствовал себя членом семьи лишь спустя много дней жизни на воле...

Хозяин парусника сидел на корме и лениво грыз жареные каштаны, бросая шелуху в море. А Этьен вспомнил, что в Париже, когда в октябре выдавались теплые дни, вдруг вторично зацветают каштаны. В багряно-бурой, умирающей листве среди порыжевших или оголенных веток возникают островки нежно-зеленых новорожденных листьев. И свечечками, воткнутыми в невидимые канделябры, торчат вверх белые маленькие соцветия.

В ту пору мусорщики уже сметают с набережных Сены охапки опавших пожухлых листьев. И тележка не нашенская, и одет мусорщик по-заграничному, в кожаный фартук и кепи с маленьким прямым козырьком. Пожалуй, лишь метла совершенно такая же, как в России, да узор каштановых листьев. Он особенно любил те уголки набережных, куда нельзя подъехать на автомобиле, где под плакучими ивами или под каштанами стоят скамейки. Молодые люди любят сидеть на тех скамейках или на парапете набережной, прислонившись спинами друг к другу, отдыхая таким образом.

От бездомных влюбленных Парижа пришлось отвлечься, потому что шкипер велел всем взяться за весла. Этьен только сейчас заметил, что парус вяло полощется в неподвижном воздухе. Шуми, шуми, послушное ветрило. Ни шума, ни послушания, ветер совсем ослаб...

Заскрипели уключины, шесть весел — шесть гребцов.

Подоспели сумерки, а гребцы не выпускали весел из рук.

Впереди Этьена сидел на скамейке и греб крестьянин из Чочарии, мускулы шевелились на его плечах и спине. Ну и силенка у этого недавнего поселенца Вентотене, ну и гребок! А в руках Этьена весло, как он ни тщился, оставалось немощным.

Уже поздние сумерки заштриховали близкий берег, весло все тяжелело в руках Этьена и сделалось как чугунное.

Наконец показался маяк. Шкипер держал курс на Гаэту, и проблесковый маяк на горе Орландо оставался все время слева.

Силы у Этьена на исходе, он в липком поту, онемели, одеревенели руки, и не хватает воздуха — такой свежий морской воздух и столько его, несмотря на безветрие, а все-таки не хватает. Откровенно говоря, он не думал, что сможет столько прогрести, как сегодня. Здешний климат пошел ему явно на пользу. А что в этом удивительного? Рядом Капри, Сорренто и прочие милосердные ко всем легочникам места. Кроме того, он в последнее время был постоянным покупателем в лавке Верде, питание улучшилось. Все это помогало ему избежать

тюремного лазарета; там даже операционная огорожена со всех сторон решеткой, разница лишь в том, что двери, решетка и замки выкрашены белой краской...

На краю белеющего волнореза, совсем близко от левого борта, показался красный фонарь. Баркас прошел в створе между волнорезами, ограждающими тихую портовую заводь.

Все ближе пристань Чано, она южнее высоченного мыса Орландо. Берега совсем не видно за лодками, баркасами, яхтами, шхунами, шлюпками. Шкипер взял право руля, он хотел пристать южнее пристани, там более пустынно.

В полутьме лодка ткнулась в прибрежную гальку и зашуршала носом. Этьен вдохнул запах водорослей, невидимых рыбачьих сетей, сохнущих где-то рядом, и смолы, остывшей после солнцепека.

Вслед за своими попутчиками Этьен коротко распрощался с неприветливым хозяином парусника и сошел на берег. Под ногами благословенный, долгожданный материк.

И в этот момент послышался гулкий топот. Несколько человек со всех ног бежали вдоль берега. Очевидно, там находилась набережная, потому что топали по камням.

Топот все явственнее, он неотвратимо приближался. Хриплое, свистящее дыхание, похожее на стон. Сдавленное проклятие на берегу. И тут же лающий окрик «хальт!», невнятные слова команды, поданной по-немецки, подкрепленные длинной очередью из автомата.

Язычок пламени бился на дуле невидимого в темноте автомата, а по соседству с ним зажглось еще несколько таких же мерцающих, подрагивающих, зловещих огоньков. Пули просвистели совсем близко; впрочем, всегда мерещится, что все пули пролетают у самого твоего уха.

Следуя примеру попутчиков, Этьен плюхнулся между двумя вытащенными из воды лодками на черный, влажный песок. Он приложился к песку щекой и ухом, будто прислушиваясь к материку.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

А утром стало очевидио: беда опередила их всех. До того, как южиее пристаии Чиаио причалила «Мария делла Сальвациоие», в Гаэту вошли иемецкие войска. Пассажиры парусиика поиимали, какая беда их иастигла, все представляли себе меру опасиости. Каждую миисуту оии могут попасть в лапы к фашистам. Ночь иапролет Этьеи слышал шуршаиье гальки, оиа откатывалась иазад по пологому берегу, безуспешио догоияя ушедшую волиу. Хозяии парусиика решительио отказался приютить своих пассажиров иа иочь; оии мог-

ли улечься на дощатой решетке, на дне, и накрыться парусиной. Но вдруг облава? Немцы еще заподозрят хозяина в том, что он хочет увезти кого-то из Гаэты.

Все шестеро переночевали под перевернутыми лодками. Итальянец был неистощим в ругательствах по адресу хозяина парусника, чтобы ему черти на том свете смолы не пожалели.

Три албанца — они держались особняком — ушли еще перед рассветом, попрощавшись со спутниками. Албанцы решили пробираться на побережье Адриатики, поближе к каблуку Апеннинского сапога, к порту Бари и уже оттуда плыть к родным берегам. На берегу остались Этьен, греческий полковник и итальянец, которому совсем недалеко до дому.

Как выяснил итальянец у рыбаков и лодочников, вечером 8 сентября жители Гаэты услышали стрекотание мотоциклов. То был небольшой отряд немцев, очевидно, разведка. Мотоциклисты проехали вдоль набережной и постояли там. Вскоре мотоциклисты исчезли, а утром появились танки, цугмашины, тяжелые орудия. После короткого безвластия немцы захватили казармы и военную крепость, начали хозяйничать в городке.

Этьен лежал, смотрел на вылинявшее, как всегда перед рассветом, море и гадал: как далеко немцы могли продвинуться на юг? Где проходит линия фронта? В чьих руках Неаполь? Может, фашисты отбили острова обратно и снова хозяйничают на Искье и Понцо, на Вентотене и Санто-Стефано? Только товарищи, которых увезли в Сицилию, оказались в полной безопасности.

Останься Лючетти в живых, и Этьен был бы сейчас с ним в Сицилии. Албанцы — из другой камеры, малознакомые, и ничего удивительного, что они пренебрегли компанией австрийца. А ведь Этьену тоже нужно добираться к Адриатическому морю, чтобы с какой-нибудь оказией переплыть или перелететь в Югославию. Там он скорее найдет кого-нибудь из советских военных.

Утром итальянец ушел то ли звонить по телефону в Неаполь, то ли телеграфировать. Этьену и греку звонить и давать телеграммы некому, а показываться в городке, не зная обстановки, опасно.

Итальянец вернулся в сумерки, пришла пора прощаться со спутниками.

Безопаснее отправляться сегодня с темнотой, идти придется всю ночь. До света нужно пройти сорок километров. Он решил идти домой напрямик через горы. Итальянец родом из Чочарии, их деревня Бокка Секка севернее Монте-Кассино. Бокка Секка в переводе означает «сухой рот»: в деревне всегда не хватает воды.

Хочет ли австриец составить ему компанию в ночном походе?

Этьен тяжело вздохнул: такое путешествие не для него, где ему, больному, взять силы, чтобы карабкаться по горам.

Он поблагодарил итальянца и отказался. Он не хочет, не имеет права быть товарищу в тягость, в опасную тягость.

Итальянец в ответ сочувственно пожал могучими плечами. Собственно, и предлагал итальянец себя австрийцу в попутчики из приличия, чтобы не обидеть хорошего товарища, а отказ выслушал с чувством неумело скрытого облегчения. Австриец со своим кашлем и одышкой, конечно, не компаньон для такого горного марша.

Рука итальянца — Этьен с завистью отметил это про себя, когда прощался с ним, — была налита железной силой.

На второе утро Этьен и грек отправились бродить по улицам проснувшейся Гаэты. Нужно было исподволь выяснить обстановку, узнать, где линия фронта, ходят ли и куда поезда или катера; работой транспорта итальянец не интересовался вовсе и ничего не узнал.

Видимо, все войска прошли через городок к югу, к линии фронта. Время от времени попадались лишь эсэсовцы или солдаты немецкой жандармерии — у них под воротником висит большая металлическая бляха на толстой цепи.

Пока встречи с патрулями не принесли неприятностей... Но вдруг Этьена задержат, потребуют документы? Не слишком-то понравится жандарму справка о том, что задержанного судил Особый трибунал по защите фашизма, что он сидел столько-то лет в тюрьме

у фашистов и выпущен на свободу американцами! Держать при себе подобные документы опасно, нужно припрятать их в каком-нибудь тайнике.

На вокзале выяснилось, что поезда в южном направлении не ходят, а билеты на север касса продает только с разрешения гестапо, после короткого допроса там ставят специальный штемпель на заявлении.

Спутник Этьена узнал у дежурного на вокзале, что в Гаэте есть греческий консул, вот адрес. Полковник мгновенно пришел к выводу, что ходить вдвоем опаснее, чем поодиночке, а потому пусть каждый идет своей дорогой. Он небрежно попрощался и был таков.

Этьен с новой болью пережил свое одиночество. Оно тем более печально, что в кармане всего 200 обесцененных лир.

Он постоял, ошеломленный торопливым исчезновением греческого полковника, затем медленно побрел наугад. Спустился от вокзала к церкви Аннунциаты. Часы на фасаде показывали половину второго; он не ел два дня и сильно ослабел. А позавчерашняя гребля, видимо, отняла остатки сил...

Он съел бы свой обед на Санто-Стефано еще два часа назад. Сейчас бы хоть пайку хлеба и миску супа, какую давали в эргастоло! В обеденное время голод всегда ощущается острее. Ничего не поделаешь, рефлекс.

По своей давней, казалось забытой, но автоматически воскресшей привычке Этьен внимательно поглядывал на таблички с названиями улиц, на вывески.

Виа Бономо, 8. Отель «Рома», номера с ваннами. Не сунешься туда без документов, а лиры нужны на питание. Он убыстрил шаг; крышу отеля заменит днище перевернутой шлюпки, а ванну он примет морскую.

Прошел по улице Фаустино мимо ресторана «Салюте». По соседству, в бакалейной лавке, выставлены бутылки вермута, стаканы уже насажены на горлышки бутылок — остается купить и тут же распить. А закусить можно головкой сыра, заманчиво висящей в той же витрине.

Измерил шагами улицу из конца в конец и решился

заглянуть в дешевую, если судить по мебели и убранству, тратторию.

— А кто такой Бономо? — спросил Этьен у трактирщика, чтобы спросить что-нибудь.

— Синьор не слышал про Джузеппе Бономо? — испугался трактирщик. — Знаменитый лекарь! — И добавил шепотом: — Это он основал сумасшедший дом в Неаполе.

«Неплохо было бы отсидеться сейчас недельки две в сумасшедшем доме, — усмехнулся про себя Этьен. — Пока буйнопомешанный Гитлер еще на воле. Чтобы избежать с ним встречи в Гаэте...»

Сидя за столиком у окна, Этьен приметил щель в каменной стене под мраморным подоконником. Туда он и засунул незаметно документы.

Этьен заказал «лазанье» — блинчики с мясом в томатном соусе и стаканчик молодого фраскатти. Он ужаснулся тому, как обесценилась лира. При таких ценах состояние его позволяет пообедать еще два раза, не больше. Этьен вышел очень огорченный; он лишь едва утолил голод.

Проходя мимо парикмахерской, он неожиданно увидел свое отражение в зеркале, висящем у двери, и даже остановился.

Да, годы и невзгоды оставили свой отпечаток, изрезали лицо глубокими морщинами. Он улыбнулся самому себе. Почему улыбка такая несмелая, мимолетная? Может, оттого, что она редко появляется?

«А самый последний штрих на лицо накладывает смерть. И в то мгновение ты вряд ли улыбнешься...»

Столько лет не видел себя без каторжного одеяния! Вид, честно сказать, не авантажный. Теперь понятно, почему мальчишки-попрошайки ни разу ему не досаждали: у такого синьора не разживешься. Про него самого можно сказать: прилично одетый нищий. А когда он в последний раз давал кому-нибудь милостыню? Виноград отдал портовым мальчишкам в Генуе, отличный виноград, купленный в лавке у Эрминии, а милостыню...

Он бродил по улицам, по набережным, и острое ощущение жизни, какой тревожной она ни была сейчас,

помогало забывать о недомогании, скверном самочувствии, крайней степени усталости.

Он вглядывался в лица и одежду прохожих. А как выразительны лица домов! Силой воображения он сметал стены, ставни, занавески, шторы, он видел, угадывал, чувствовал все, что происходит или может происходить внутри. Жизнь, с которой он был в разлуке так долго, разглашала ему свои тайны, свои обыденные привычки и заманчивые секреты...

Пожалуй, его внешность будет меньше бросаться в глаза там, где все хуже одеты, например среди портового люда, рыбаков. Он пошел под гору по улице Чезаре Батисты, обсаженной липами и ведущей к пристани, неторопливо прогулялся по пляжу, добрел до пристани Чиано и присел там на парапет.

«Может, пристань названа в честь Константо Чиано? Его прочили в наследники дуче. А сын Константо стал зятем Муссолини и министром».

Вся бухта как на ладони. Справа на скале, укрытой пиниями, на обрывистом мысе Орландо старинная крепость. Еще капеллан Аньелло рассказывал — это была одна из самых сильных крепостей на берегу Тирренского моря. Позже внутри крепости обосновался дворец Бурбонов, затем туда перевели военное училище, сейчас там тюрьма. Есть ли на окнах решетки? На таком расстоянии не разглядеть. Но «волчьи пасти» не закрывают окон, иначе стекла не горели бы так под лучами солнца.

Лодки, как здесь принято, пестро раскрашены, на бортах надписи. На носу изображения святых, чаще всего — покровителя моряков Франческо де Паоло. На одной лодке начертано: «Управляю я, но божий промысел сильней меня».

Вдоль берега по воде брел старик с проволочным ведром и бреднем. Грубая роба скроена из старого паруса. Штаны подвернуты, торчат черные, не по-стариковски сильные ноги, тонкие, как весла. Старик то взбирался на камни, то заходил по пояс в воду. Он вылавливал креветок, мидии, съедобные улитки «лумати», всяческую чешуйчатую мелюзгу. Пока рыбак очищал бредень от водорослей, Этьен смотрел на его улов. И как

только в прибрежную мелкоту затесалась такая красивая рыбешка: зеленая чешуя с красной зубчатой полосой и ярко-красными плавничками! Рыбак назвал ее «пинтереале» — одета, дескать, по-королевски.

А вслед за старым рыбаком по мокрой гальке, по воде, по камням бойко прыгала девушка, также одетая в лохмотья, прокопченная, с крестиком на черной гибкой шее, с высоко подоткнутым подолом, открывающим такие же черные, как у деда, но удивительно красивые ноги, тонкие в щиколотках, с округлыми икрами и коленями. И голубая вода залива ласкалась к ее ногам.

Будто молния осветила какой-то темный закоулок памяти — Этьен вспомнил пушкинские строчки, за которые никак не мог ухватиться сознанием долгие годы: бегущим бурной чередою с любовью лечь к ее ногам! И он с наслаждением продекламировал вполголоса всю строфу: Я помню море пред грозою. Как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою с любовью лечь к ее ногам!

У него даже улучшилось настроение, как если бы кто-то из близких разделил с ним сейчас тревожное и опасное одиночество, как если бы рядом с Этьеном сидели сейчас на парапете живой Лючетти и свободный Марьяни.

Этьен уже понял, чем объясняется его повышенный интерес к содержимому проволочного ведра, — разве можно насытиться карликовой порцией «лазанье»?

Долго глядел он на море, туда, где должен находиться остров Санто-Стефано, где провел в заточении два с половиной года и куда сейчас, чтобы не попадаться на глаза немецким патрулям и фашистам-гвардейцам, не прочь был бы вернуться на кратковременное вольное поселение, чтобы переждать там политическую непогоду.

Сегодня утром хозяин парусника, который собирался в обратный рейс на острова и уже припас бочонок бензина, отказался взять с собой Этьена. Хозяин сослался на то, что немецкие катера шныряют вдоль берега и осматривают все посудины. Горе тому, кто везет партизан, коммунистов, дезертиров из армии, сторонников

маршала Бадольо. Лодку тут же топят, могут отправить на дно и пассажиров и лодочника.

И все-таки Этьен был убежден: если бы он мог предложить крупную сумму, хозяин согласился бы отвезти его обратно на Искью или Вентотене. Но хозяин знал, что седой пассажир с впалыми щеками богат только кашлем. Зачем же рисковать ради больного нищего?

Днем в траттории «Фаустино» Этьен слышал обрывки разговора, который заставил его долго допивать стаканчик фраскатти.

Через Гаэту прошли части немецкой 15-й мотодивизии. Нацисты разоружили итальянцев в казармах Неаполя, в субботу 11 сентября на улицах Неаполя видели много танков и броневиков.

По ночам те, за кем охотятся нацисты и местные фашисты, улепетывают из Гаэты, легче спрятаться в Неаполе. Если ночь темная, а гребцы хорошие — можно скрыться. Конечно, при условии, что лодку не высмотрит луч прожектора. А для этого нужно уйти далеко в море на парусе или на веслах. Моторные лодки для такого путешествия не годятся, далеко бежит над водой звук мотора.

Этьен весь день околачивался на пристани, пытаясь вызнать — не собирается ли отчалить какая-нибудь лодка, бот, баркас? Может, найдутся добрые люди и примут участие в его судьбе?

Но сколько Этьен ни приглядывался, ни расспрашивал — ничего обнадеживающего. Впрочем, разве сборы к отплытию шли бы среди бела дня, на глазах у зевак? А владельцы лодок, не имеющих паруса, еще до разговора успевали бросить на бродягу оценивающий взгляд — гребец из такого пассажира никудышный.

Ночь — уже третью — он проведет, теперь в одиночестве, под той самой перевернутой шлюпкой, от которой разит перегретой смолой. Может, ночь окажется более покладистой и милосердной, чем день?

Он не прочь бы вечером еще раз наведаться в «Фаустино», чтобы легко поужинать, но сегодняшний бюджет исчерпан. Вместо того чтобы зайти в тратторию, он постоял возле мясной лавки — «мачереллии». Из раскры-

той двери доносился кружившнй голову запах мяса. Но тут он заметил, что рядом с ним на тротуаре стоят привлеченные тем же запахом бездомные собаки, итальянские Шарики, Жучки и Полканы. Невесело усмехнулся и вернулся на пристань.

Третья ночь на берегу прошла еще более тревожно. Несколько раз поднималась стрельба, прожекторы шарили, высвечивали горизонт, а перед утром весь район порта, все набережные и пристани были оцеплены патрулями. Этьену удалось ускользнуть лишь потому, что он прошел мимо самого прожектора. Прожектористы не обратили внимания на спокойно шагающего прохожего, а патруль, ослепленный светом, его не увидел.

Ночью немцы обнаружили и настигли в открытом море несколько лодок с перебежчиками. Лодки потопили, а беглецов расстреляли. Наутро последовал приказ потопить все, что только держится на плаву, всю разномастную рыбачью эскадру. Весь день взрывали и топили в порту суда, суденышки и лодки Гаэты.

Немцы боялись десанта с моря. Погасли красные фонари на волнорезе. Потух проблесковый маяк на мысе Орландо. В городе ввели строгое затемнение. На набережной установили батарею тяжелых орудий. Возле здания муниципалитета спилили раскидистые платаны — они мешали береговой батарее.

Из района, прилегающего к порту, еще раньше выселили всех жителей, там расположились на постой немецкие солдаты. Печально пустели заброшенные виноградники: листья пожелтели, а гроздья потемнели, начали гнить, переспели, изъеденные осами и ящерицами.

Немцы объявили Гаэту прифронтовым городом, ввели комендантский час. Этьен еще вчера заметил, что в городке прибавилось солдат и офицеров в эсэсовской форме.

Этьен подслушал, что такой же комендантский час установлен в Неаполе, там были стычки между жителями и солдатами эсэсовской дивизии «Герман Геринг». После какой-то диверсии патриотов нацисты оцепили улицу, где находится университет, устроили повальный обыск и подожгли университетскую библиотеку. Нацисты заставили

стоять на коленях пять тысяч неаполитанцев, какого-то моряка расстреляли, а комендант пригрозил: за каждого раненого или убитого немецкого солдата он расстреляет сто итальянцев. Может быть, при таком терроре было к лучшему, что лодочники отказались увезти Этьена в Неаполь?

Наутро осложнилась и обстановка в Гаэте: фашисты из республиканской гвардии устроили облаву на мужчин. Тех, кто помоложе, собирали в маршевые роты для отправки на фронт, иных посылали на рытье окопов, на строительство оборонительных сооружений, на восстановление разрушенного бомбами волнореза.

Фашисты методично прочесывали квартал за кварталом.

Теперь Этьен на берег не выходил, бродил по улицам, удаленным от моря. Но после второго скудного обеда в «Фаустино» он все-таки угодил в облаву, когда вышел из траттории.

Все ближе выстрелы, крики «мани альто!», что означает «руки вверх!».

Куда бежать? Превозмогая одышку, он побежал вверх по улице Фаустино. Но патруль уже перекрыл впереди перекресток.

Этьен оказался в западне. Он распахнул ближайшую калитку и шмыгнул в тесный тенистый двор.

На крыльце сидела женщина и колола молотком миндаль, кидая ядрышки в ведро; ног ее не было видно за кучей скорлупы. При виде беглеца она испугалась. Этьен приложил палец к губам, и женщина безмолвно скрылась в доме, а он пробежал к сараю в глубине двора.

Хорошо бы перемахнуть через каменный забор, перебраться в соседний двор, а оттуда выйти на другую улицу. Но забор слишком высок, не перемахнет через него недавний Чинкванто Чинкве, а за забором надрывается от лая собака.

В сарае пахло козьим молоком, дымом и кислой шерстью. Когда глаза привыкли к темноте, он увидел в углу козу. Прислушался — на улице зазвякали подковки сапог, натужно проскрипела калитка, несколько человек протопали по ступенькам крыльца.

Через раскрытое окно из дома донеслись выкрики, отборная ругань, детский плач. В смутной невнятице, заглушаемой лаем соседской собаки, удалось кое-что разобрать. В доме шел допрос, кто-то кричал сдавленным гортанным голосом, грозился начать обыск. Если найдут посторонних, хозяев расстреляют.

Хозяйка клялась, что в доме посторонних нет. Откуда ей знать — прячется кто-нибудь во дворе или нет? Пусть ищут!

Этьен знал, как проводят такие обыски — прошивают из автомата все укромные углы, перед тем как туда заглянуть.

Хорошо, что хозяйка его не выдала, но если от угроз перейдут к действиям... Кто станет подвергать себя смертельной опасности, спасая бродягу? И имеет ли он право обрекать на расстрел обитателей этого дома?

Все равно его обнаружат через минуту-другую живого или мертвого: собака чуяла его и надрывалась все сильнее.

Он вышел из своего ненадежного убежища, пересек двор, поднялся на крыльцо, насыпал себе полный карман миндаля, набрал еще пригоршню и, не входя в дом, куда набились фашисты, спокойно окликнул их по-немецки.

Этьен грыз миндаль и властно требовал по-немецки, чтобы его немедленно доставили к германскому консулу или к коменданту города, но только к немцу.

Ему не убежать от такой оравы гончих, бегун теперь из него никудышный. Но местные фашисты, пожалуй, не решатся расстрелять немца, не понимающего по-итальянски.

Прежде всего Этьен заверил старшего, с повязкой на рукаве (тот немного понимал по-немецки), что хозяева дома не подозревали о его появлении во дворе, а зашел он, чтобы переждать, пока утихнет стрельба на улице. Злым гортанным голосом старший отдал команду обыскать двор.

Кто-то подошел к сараю и старательно прострочил его из автомата, не заглядывая внутрь. В сарае было

тихо — то ли козу не задело, то ли, наоборот, убило наповал.

Этьена увели со двора, а перед тем грубо обыскали. Счастье, что он расстался со своими документами.

Он неплохо играл роль немца, не понимающего по-итальянски. Фашисты не скрытничая говорили о задержанном и на ходу решали — куда именно вести «тедеско», то есть немца.

— С гестапо нам лучше не ссориться, — сказал тот, кто шагал у Этьена за спиной, играя затвором карабина; может, у конвоира заело затвор, а может, он гремел для устрашения.

Шагая под конвоем, Этьен снова и снова обдумывал каждый свой шаг. Можно ли было избежать нового ареста?

Нет, просто-напросто обстоятельства повернулись против него...

Разлука с Марьяни. Смерть Лючетти. Несчастливый маршрут парусника в Гаэту. Трусливый и жадный шкипер, которому пришлось отдать чуть ли не все лиры. Приступ слабости, вызванный непосильной греблей и голодным бродяжничеством. Эх, если бы он был в силах уйти в горы с тем крестьянином-здоровяком!

Но где ему взбираться по крутогорью, когда забор среднего роста теперь для него — горный хребет, более неприступный, чем горы Чочарии. В былые годы он лихо перемахнул бы через каменный забор, задушил бы собаку, вырвался б из облавы, а сейчас...

Сколько веков назад он молниеносно раскрутил пропеллер своего спортивного самолета, когда нужно было избежать преследования агентов Интеллидженс сервис на аэродроме в пригороде Лондона? Сколько раз он оставлял в дураках сыщиков из Сюртэ женераль, из сигуранцы, из абвера, из дефензивы только потому, что не боялся физических испытаний, умел заплыть далеко в море или выжать из мотора своего мотоцикла все силенки до единой и даже те, о которых не подозревал сам конструктор. Разве не он прыгал на ходу поезда, чтобы отвязаться от назойливых «усиков» в Болонье?

Все это было давным-давно, в какую-то другую эпоху, еще до знакомства с Раком-отшельником и Кактусом...

Задержанного привели на улицу Катена, но тут выяснилось, что гестапо переехало отсюда в монастырь ирландских сестер. Тащись теперь по жаре на другой край города, в этот чертов монастырь... Проще всего прикончить «тедеско» на месте. Но вдруг это какая-то нацистская птица? Неприятностей не оберешься.

— Если в гестапо не удостоверят твою личность, — сказал тот, который играл затвором карабина, — я не дам за твою голову и пуговицы от брюк.

Наконец добрались до монастыря. Чин гестапо небрежно допросил Этьена. Тот настаивал, что он австриец, хотя может подтвердить это только своим венским произношением. Документы у него отобрали фашистские гвардейцы еще утром, при первой облаве. Задержан по недоразумению, просит его освободить и помочь добраться на родину.

— Все заботы о вашем отъезде в Австрию мы возьмем на себя, — ухмыльнулся гестаповец, заканчивая блицдопрос.

Кертнер притворился, что его устраивает такое решение вопроса, при условии, если ему вернут свободу.

Но гестаповец отрицательно покачал головой, вызвал часового и коротко распорядился:

— В крепость!

115

Только тот, кто после длительного заточения оказался на свободе, а затем вновь ее лишился, может понять меру страдания Этьена. Но ожесточенная воля и долг твердили ему: «Ты можешь, ты должен выдержать и это...»

Несколько дней, которые он прожил свободным человеком, уже представлялись сном. Свобода дважды промелькнула, как призрак: в первый раз — в таком близком, но несостоявшемся будущем, а теперь — в мимолетном прошлом. Этьен не успел надышаться ее живительным воздухом.

Снова нормальным его состоянием стала жизнь за решеткой, под дулами конвойных, под ключом. Снова с мучительным нетерпением ждал раздачи пищи. Он оголодал, шатаясь по Гаэте, ища оказии выбраться из городка.

В камере горячо обсуждали военные и политические новости, которые заодно с волнами бились прибоем о каменное подножье крепости.

И сюда долетали запоздалые отзвуки грандиозной Орловско-Курской битвы. Как ни лгали официальные телеграммы, как виртуозно ни изворачивались военные обозреватели, было очевидно, что немцы потерпели на Восточном фронте жестокое поражение.

Интересно бы знать, где сейчас проходит линия фронта и по какую ее сторону находится Рыльск? Насколько Этьен помнит, Рыльск лежит строго на запад от Курска. После окончания первой академии и до поступления во вторую Маневич был командиром роты, затем начальником полковой школы в 55-й стрелковой дивизии и служил тогда в Рыльске.

Что сохранила память о жизни в этом городке? После занятий всей семьей катались на лодке, ездили верхом. Иногда ходили по грибы. И во всех прогулках его, Надю, маленькую Тусеньку безотлучно сопровождала кудлатая собака Дианка дворового происхождения. Сколько километров и лет отделяют Рыльск от Гаэты? Другая эра, другая планета...

Позже в камере бурно обсуждали похищение Муссолини из отеля «Кампо императоре» 12 сентября. Весть об этом событии быстро проникла на мыс Орландо. Только и говорили о Скорцени — организаторе похищения. А ведь какие-то военные чины отвечали перед итальянским народом за охрану Муссолини и при попытке к бегству или к похищению обязаны были его убить. Через несколько дней стало известно, что Муссолини вернулся в Италию на автомобиле, подаренном ему фюрером.

«Какая все-таки несправедливость, — горько усмехнулся Этьен. — Муссолини был под стражей всего полтора месяца, и его выкрали. А мне не могли устроить побег за семь лет!»

Соседом Этьена по нарам оказался английский летчик, сбитый в воздушном бою над островом Вентотене. Как знать, может, тот самый воздушный бой и наблюдал Этьен из камеры на Санто-Стефано? Англичанин спустился на парашюте, потом долго мотался по морю в надувной лодке. Хорошо еще, что у него в аварийном бачке были спирт, пресная вода, галеты.

На вопрос англичанина о том, как сосед попал в плен, Этьен ответил, что был пленен намного раньше в Испании. Больше Этьен на эту тему не распространялся, а англичанин не расспрашивал. Долговязый и белобрысый отпрыск каких-то там сэров или пэров отличался хорошими манерами и в тюрьме был вежлив, как в Оксфордском университете. Тюремный день он начинал молитвой и заканчивал ею. Как-то он признался австрийцу, смутившись:

— Мне намного легче переносить удары судьбы, чем вам, потому что я верующий. Мне даже неловко, что у меня такое преимущество перед вами.

У Этьена с англичанином завязались приятельские отношения, чему способствовал взгляд того на второй фронт. Этьен загодя готов был вступить в спор и обрушить на оппонента немало злых упреков, но белобрысый летчик не дал для этого повода, сам возмущался бесконечными проволочками, искренне считал, что затягивать открытие второго фронта не по-джентльменски и не по-солдатски.

Этьен был единственным человеком в камере, с которым летчик мог поддерживать разговор, итальянского он совсем не знал. А Этьен с удовольствием говорил по-английски, и его ничуть не коробила, а лишь удивляла набожность летчика. Может, это началось у англичанина после того, как его сбили, после купания в Тирренском море? Вот же и шестидесятилетнего Муссолини потянуло к исповеди только в ссылке на острове Понцо.

Соседом Этьена по нарам с другого боку был капрал берсальеров, без формы, уже в летах, по самые глаза заросший смоляной бородой; он местный уроженец и дезертировал из армии, следуя приказу маршала Бадольо. Его поймали во время облавы и препроводили в лагерь

на окраине города, за монастырем ирландских сестер. Лагерь на скорую руку огородили двумя квадратами колючей проволоки, между ними оставалась четырехметровая полоса. Подходили матери, жены арестованных и перебрасывали через две высокие колючие изгороди свертки, кульки, узелки с провизией. Жена капрала не смогла так далеко бросить узелок, он упал между изгородями. Когда часовой повернулся спиной, капрал вылез через проволоку на «нейтральную полосу» и торопливо подобрал узелок. Но в этот момент раздался окрик конвойного, проходившего по колючему коридору:

— Назад! За проволоку не заходить! Буду стрелять...

Парень из фашистской милиции принял бородатого капрала за обывателя, который принес кому-то передачу, — может быть, сыну, — не добросил свой узелок и полез за ним в запретную полосу. Конвойный сердито вытолкал капрала за внешнюю изгородь, на свободу.

Но через три дня капрал попал в новую облаву и оказался за той же самой колючей изгородью.

— Вам не понять чувство, которое я переживаю сейчас, после того как прожил три дня на свободе, между двумя арестами, — вздохнул капрал-бородач.

Кертнер промолчал.

Капрал сокрушенно во всеуслышание сказал:

— Вот нелепость! Именно тогда, когда Италия попыталась воспользоваться свободой и вернуть себе достоинство, она оказалась в неволе.

— С некоторыми из присутствующих здесь произошло то же самое, — отозвался Кертнер. — Иные так жадно тянулись к свободе, что именно поэтому вновь оказались за решеткой. Недавно я убедился, что прямая линия — не всегда кратчайшее расстояние между двумя точками.

— О каких точках вы говорите? — спросил капрал. — Я вас плохо понимаю.

— Я говорю о двух географических точках. Одна из них — остров Санто-Стефано, а другая — Гаэта...

После того как был назван остров дьявола, даже недогадливый капрал понял, откуда пролегла дорога Кертнера в эту крепость.

До трагического полета над Вентотене англичанин участвовал в боях за Пантеллерию, и австриец часами обсуждал с ним весь ход операции, связанной с десантом на Сицилию. Этьен знал, что до вторжения на Сицилию союзники овладели островами Пантеллерия и Лампедузо, оба острова — в Тунисском проливе. Он был потрясен, когда узнал, что за три недели, предшествовавшие десанту, союзники сбросили на Пантеллерию семь тысяч тонн бомб. А результаты массированной бомбардировки? Они выяснились сразу после занятия острова. Из 54 береговых батарей противника вышли из строя только две, потери гарнизона на Пантеллерии были поразительно малы.

Слушая англичанина, Этьен даже разволновался, потому что все эти данные подтверждали его выводы и давали пищу для серьезных размышлений. Вот пример неверной наступательной тактики, когда избыток методичности и боязнь риска приводят к потере инициативы! Потому-то вся тактическая подготовка Монтгомери перед наступлением не принесла его 8-й армии ожидаемого преимущества. В чем тут дело? И можно ли критиковать фельдмаршала Монтгомери, армия которого, начиная от Эль-Аламейна, не знала поражений? Да, можно и нужно, потому что Монтгомери слишком часто упускал шансы на крупную победу, а в других случаях победа доставалась ценой слишком больших жертв.

Англичанин не соглашался послушно со своим возбужденным соседом и спорил до того, что его белесое лицо становилось красным. Но австриец во многом убедил своего оппонента, во всяком случае над многим заставил задуматься. Десант на Пантеллерию после трехнедельной бомбардировки — не единственный пример порочной тактики при наступлении. К сожалению, есть и более свежий пример.

— Какой?

— Не следовало высаживаться в тылу у немцев в Салерно, так близко к Сицилии, южнее Неаполя. Выгоднее было высадиться глубже в немецком тылу, ближе к Риму. Вот тогда можно было бы быстро нанести решающий удар по войскам Кессельринга!

Этьен догадывался, чем была обусловлена высадка в Салерно, — наверное, этот пункт еще оставался в зоне досягаемости английских истребителей прикрытия.

Англичанин кивнул.

— Значит, у вас здесь нет авианосцев, — сделал вывод Этьен. — Ваши истребители базируются только на суше.

— Вы правы, сэр.

— Плохо, что разгадка лежит так близко. Еще до меня загадку разгадали немцы. Они заранее установили адрес вашего десанта, предугадали ход событий...

Район Салерно — один из тех, какие находятся на дальней границе контроля истребителей. А немцы отлично знают радиус действия истребителей. И естественно, всю полосу, включая Салерно, держали под особым наблюдением.

А теперь союзники должны будут двигаться на север, преодолевая многочисленные естественные препятствия. Все реки текут поперек Апеннинского сапога. Все горные отроги пересекают пути на север. Сейчас союзники застряли на реке Гарильяно. Но еще труднее будет в верхнем течении реки Вольтурно, затем на реке Сангро, на горном массиве Майелла — всюду немцы смогут создать прочные рубежи обороны! А союзникам нельзя топтаться на месте, потому что в октябре могут начаться затяжные ливни.

Подвели, ах как подвели Этьена фельдмаршал Монтгомери и генерал Александер! Может, поэтому и критикует Этьен этих полководцев так строго? Нет, он судит объективно. Он бы хотел ошибиться в своих выводах, но увы...

На девятый день заключения австрийца, 23 сентября, обитатели камеры в тревоге бросились к окошкам, которые не были закрыты жестяными бельмами. Зарево освещало камеру так, будто в каждом окошке висела за решеткой яркая-преяркая люстра. Тюремщик сказал, что это горит на плаву и никак не затонет судно «Гуарнаре». А наутро волны прибили к мысу Орландо корабельные обломки, обгорелую шлюпку, неприкаянные доски, весла и обугленные спасательные круги. Снова штормило, и

потому берег был отделен от зеленовато-серой воды белой линией прибоя.

Как все арестанты мечтали увидеть своими глазами высадку десанта в Гаэте! Но сколько ни вглядывались в море Этьен, английский летчик и бородатый капрал — не видать было корабельного дымка.

116

Службу в военной крепости несли итальянские тюремщики. Лишь перед погрузкой в вагоны Этьен оказался под конвоем эсэсовцев.

Они отличались не только от карабинеров, но даже от чернорубашечников. Это отличие он уловил не сразу, но оно сквозило во всем поведении конвойных, даже в том, как они смотрели на конвоируемых. Самое характерное для нацистов — неуважение к страданию человека, презрительное высокомерие палачей к своим жертвам, методическая и холодная жестокость. Ее не вызывала вспыльчивость или мстительность, как случалось у итальянских тюремщиков, особенно у южан, уроженцев Калабрии, Сицилии. Но для тех жестоких фанатиков противник все-таки оставался человеком, а нацисты всегда смотрели на него как на скотину.

За все годы заключения, если не считать допроса в миланской контрразведке, итальянцы ни разу не оскорбили Этьена действием. А сегодня при погрузке в эшелон его не ударили лишь потому, что не дошли руки; ударили не его, а соседа по шеренге, получил зуботычину не он, а другой. Не удар кулаком в лицо за какую-нибудь провинность, крупную или ерундовскую, нет, — именно зуботычину. Оберштурмфюрер шел вдоль шеренги, проверял номера заключенных и зуботычинами подравнивал строй, причем делал это беззлобно и деловито.

Всех, кого перенумеровали, — обрили, всем вшили в куртки лоскуты полотна, на которых уже были намалеваны масляной краской номера, а немецкие конвоиры при этом шумно развлекались, гоготали, не затрачивая внимания на тех, кто толпился за колючей загородкой.

Вагон набили до отказа, но на платформу пригнали еще группу арестантов. Всем было не усесться, и эсэсовец, размахивая автоматом, знакомил со своей системой: заключенный садился в коридоре на пол, спиной к противоположной, запертой двери, согнув и раздвинув колени, у него между ног садился другой. И таким способом в коридоре уселось человек тридцать.

В поздние сумерки эшелон еще торчал на запасном пути. Местный уроженец, бородатый капрал, стоял у вагонного окошка, схваченного решеткой, и одну за другой зажигал спички. Да что ему, прикурить не у кого? Тратит столько спичек! И только потом, когда вагон дернулся, полный внезапного грохота, капрал объяснил, что он вовсе не прикуривал, а освещал свое лицо. Может, среди провожающих стояли жена с сыном? Пусть увидят его в последний раз!..

Снова Этьен едет поездом, снова переезд полон тревоги, смутного предчувствия беды. Такое ощущение всегда возникает, когда тебя неизвестно куда везут.

В последний раз его везли в арестантском вагоне из Неаполя до Парадизио. О, в Парадизио он ехал с комфортом, если сравнить тогдашнюю поездку с нынешней.

Слишком долго пробыл Этьен на Санто-Стефано, чтобы быстро привыкнуть к грохоту и тряске. А темнота в вагоне не давала точного представления о времени. Поздний вечер сейчас или уже за полночь?

Стучат, постукивают колеса на стыках рельсов, на стрелках, доносятся паровозные гудки, в окна врывается полузабытый запах железной дороги — смешанный запах паровозного дыма, каменноугольной смолы, перегретых букс, запах, который манит нас с детства.

В зыбком забытьи ему представилась какая-то давняя поездка. Когда, куда, откуда?

Он пробирается в вагон-ресторан через состав, шагает мимо храпа и смеха, икоты и детского плача, мимо вкусов, привычек, обычаев, нравов, характеров, мимо людских судеб. В тамбуре, возле уборной, вспугнул целующуюся парочку. В купе рьяно играли в подкидного. Чьи-то ноги в драных носках высунулись в проход. Пассажир такой долговязый, что ему не хватает полки?

Вовсе нет, он подложил себе под голову сундучок. Кислый запах портянок, овчины, махорки, чеснока в бесплацкартном вагоне и одеколонная свежесть в международном. Но вот наконец и запропастившийся вагон-ресторан. Веселый галдеж. Шумно пирует компания, за столиком сидят вшестером на четырех составленных стульях. Лысому толстяку в френче прицепили к ушам серьги, а он, прищурив глаз, удивленно заглядывает в горлышко пустой бутылки... Сколько же лет Этьен пробирался в вагон-ресторан? Так или иначе, он явился туда совсем не ко времени. Вот-вот покажется Москва. Поезд мчится, высокомерно проносясь мимо многолюдных дачных платформ, отшвыривая с пути разъезды, будки обходчиков, загородные шлагбаумы. Поезд подходит к перрону Курского вокзала. В такие минуты все, как по команде, начинают одеваться, искать свои галоши, мешают друг дружке, и в купе сразу становится чертовски тесно. Толстяк с серьгами в ушах и с бутылкой в руке почему-то приперся в их купе, а тут и без него толчея, суматоха. Вот уже на перроне показался носильщик с бляхой на белом фартуке. К чему эти белые фартуки? Разве для того, чтобы не измазаться самому о грязный багаж. Впрочем, гигиена здесь ни при чем. Просто-напросто приметная форма... Этьен — или он еще не был тогда Этьеном? — стоит в коридоре у окна, мелькают лица встречающих. Иные стоят или ходят по перрону с пальто на руках, совсем как на толкучке. Так поздней осенью встречают в Москве курортный поезд. Долго ли курортникам, закопченным на солнцепеке, простудиться в слякотный, холодный день? Он всматривается, — может, убежала с работы и пришла встретить Надя? Но рассеянный машинист забыл, что нужно плавно притормозить, остановиться в конце платформы, и снова разгоняет состав. Уже отмелькали белые фартуки носильщиков и пальто на руках встречающих. Поезд набирает ход. В тревожном недоумении Этьен опускает оконное стекло, но пока возится с тугой рамой, Курский вокзал скрывается из глаз, поезд снова мчится через неприбранную, захламленную придорожную Москву, делается все ниже ажурный силуэт Шаболовской радиомачты... А навстречу им громыхает

товарняк со скотом. Запахи навоза, парного молока на ходу врываются в вагонные окна. Скотный двор на колесах! Обычно коровы совершают одну-единственную в своей жизни поездку по железной дороге — на скотобойню.

Не так ли их всех везут сейчас в арестантских вагонах?

Сравнение заставило Этьена поежиться и помогло очнуться. Все так же покачивается вагон и постукивают колеса. Но задраены пыльные зарешеченные окна, заперты двери, не дойти до сытных запахов вагона-ресторана и не доехать до поздней московской осени.

А куда можно доехать этим поездом? Их везут на север, но важнее было бы знать не куда их везут, а — зачем...

117

Эсэсовец, который при загрузке арестантского вагона так умело уподобил людей сардинкам в банке, переусердствовал. Тучный, краснорожий оберштурмфюрер теперь не мог протиснуться по коридору из конца в конец вагона без того, чтобы это при его габаритах не выглядело комично. Тучный накричал на эсэсовца, и группу арестантов, в том числе австрийца под номером 576, перегнали на какой-то станции в соседний вагон.

Не думал Этьен, что пересадка в другой, такой же вонючий, удушливый, вшивый вагон, битком набитый такими же, как он, несчастливцами, принесет ему радостную встречу — везут большую группу русских военнопленных!

Они бежали в разное время из концлагерей, добрались до Италии, Югославии, воевали в партизанских отрядах, прятались в горах, в лесах, и там их настигли каратели.

Сколько лет Этьен не слышал русской речи и сам не разговаривал, кроме как с самим собой! Ему не так важно, о чем говорят, лишь бы говорили по-русски!

Кто-то устало, злобно матюгнулся, но и к давным-давно забытым ругательствам он прислушивался с удовольствием. Вот не думал, что может статься такое!

До него долетали обрывки разговоров — то серьезных, обстоятельных, то сдобренных неизбывным юмором, которого не может вытравить из русской речи самая жестокая судьбина-кручина.

— ...вот тебе порог, сказала моя мачеха, вот тебе семьдесят семь дорог — выбирай и проваливай! И заблудился я в дебрях своей судьбы...

— ...и выпил-то самую малость. А гнедая кобыла моя кусачая, запаха спиртного не переносит. Только занес ногу в стремя, примерился к седлу, она хвать зубами за плечо...

— ...полтора года старшиной в роте хлопотал. Шутки в сторону! Три раза менял славянам обмундирование, два раза валенки и рукавицы выдавал, один раз летнее обмундирование, полный комплект — от пилотки до портянок...

— ...мычит наша Буренушка по весне, тоскует по жениху, одначе рано ее с быком знакомить. Раньше отелится — больше корму потребует...

— ...ой, не скажи — у сапера на войне свои удобства. У нас народ поворотливый, затейный. И письмо можно написать на малой саперной лопатке. Могилку вырыть — опять инструмент под рукой. И голову от осколков, в крайнем случае, есть чем замаскировать...

— ...у меня, между прочим, тоже голова не дареная...

— ...семья у нас гнездилась большая, сильная. В девять кос выходили на луг сено косить... А в полдень бабка ставила горшок с вареной бульбой. Пар от нее духовитый. Горшок у бабки на припечке стоял, или, понашему, по-белорусски сказать, — в загнетке...

А двое переговаривались рядом с Этьеном:

— Эх, доля сиротская! Стоя выспишься, на ладони пообедаешь.

— Как же, пообедаешь у него, у Гитлера, держи рот шире! Как у нас в полесских болотах говорят: день не едим, два не едим, долго-долго погодим и опять не едим.

— Лыхо тому зима, у кого кожуха нэма, чоботы ледащи и исты нэма що...

— В общем, живем — не жители, а умрем — не родители. Наше дело теперь цыц!

— «Цыц» еще услышит фриц. А нам приказ — голов не вешать и глядеть вперед!.. Пока Гитлеру капут не сделаем.

Милый сердцу и уху родной язык во всем богатстве его говоров, диалектов, интонаций, с его характерной певучестью!

Оказывается, русские пленные называют немцев «фрицами». Этьен знал, что в конце первой мировой войны английские солдаты кричали немцам: «Фриц, капут!» А сейчас в вагоне уже несколько раз прозвучало разноязычное, но общепонятное «Гитлер капут!»

Лица в вагонной полутьме — как серые пятна, но Этьен хорошо запомнил при свете спички лицо сапера, который переговаривался с кем-то рядом. Все лицо в оспенных знаках, — как только парня обошли прививкой в его захолустной белорусской вёске? Этьен легко узнавал голос сапера Кастуся Шостака, это он только что призывал голов не вешать и смотреть вперед. Это он не разучился улыбаться, не терял надежды на лучшее, в охотку шутил — жизнерадостный смертник!

Сапер Шостак первым заговорил с Этьеном:

— Эй, служивый! Где ты столько кашля достал? — он сидел на полу, укрытый шинелью.

Этьен махнул рукой, не мог ответить, так зашелся кашлем.

Шостак не поленился, встал, с трудом пробрался через тех, кто спал, сидя в коридоре, принес воды в консервной банке и предупредил:

— Губы не порежь, жесть ржавая.

— Дякую, — поблагодарил Этьен. — Теперь если не умру, так жив буду.

— Да ты, кажись, из наших, из белорусов? — обрадовался Шостак.

— Чаусы, оттуда родом...

— Можно сказать, родня! На одном солнце онучи сушили.

От голоса Кастуся Шостака веяло родной Белоруссией. «Увага, увага! Гаворыць Менск. Добрай раніцы, то-

варышы радыёслухачы!» — почудился Этьену в темном вагоне голос мннского диктора: когда Этьен прнезжал к своим в Чаусы, то каждое утро слышал этого диктора.

Кроме жнзнелюбнвого сапера Этьен уже различал по голосу в вагонном мраке техннка-лейтенанта Демирчяна, бывшего помощника командира полка по противохимнческой обороне. Узнавал по голосу военврача Духовенского; тот очутился в плену, потому что не бросил без помощи своих раненых. Узнавал по голосу н могучего бронебойщнка Зазнобина; у него газами опалило глаза, а в плен он попал обгоревший н полуслепой.

— Раннло бы меня — дело житейское, — доносился глухой басок Зазнобина. — А то ни одна пуля, нн один осколок ко мне не прнласкались. Кто повернт контузии? Москва слезам не вернт. Если бы карабин в руках был! Но нам, петэровцам, личного оружия по уставу не было положено. Таскали вдвоем свою длинную дуру-бандуру. А если от нее отлучиться нужда? Хотя бы на патронный пункт? Клянчишь у кого-нибудь винтовку напрокат, чтобы никто не подразумевал в тебе дезертира...

Бронебойщик Зазнобин делился фронтовыми горестями, а Этьен даже не представлял себе, как выглядит это самое противотанковое ружье, н, чтобы не попасть впросак, не решился спросить, когда оно появилось на вооружении. А вдруг ружье пришло в армию еще до войны?

Какой же Этьен тогда, черт бы его взял, военнопленный?!

«А меня еще до начала войны захватили в плен. Война протнв нас уже шла, когда Молотов н Риббентроп жали друг другу руки, улыбались фотографам и уверяли друг друга в своем взаимном и совершеннейшем почтении».

Два крайних купе в этом вагоне были выделены для сыпнотифозных. Оттуда вчера вынесли два или три трупа. Но Этьен, кажется, рад был бы ехать н в зачумленном вагоне, лишь бы слышать русскую речь, говорить по-русски.

Жадно вслушивался Этьен в разговоры, но с еще бо́льшим удовольствием то н дело (нужно — не нужно,

к месту — не к месту) заговаривал с попутчиками. Иногда он становился болтлив, даже надоедлив. Бронебойщик Зазнобин сказал ему: «Что ты ко мне пристал, как банный лист, с той Швейцарией? Я и так в семи государствах побывал, только твоей Швейцарии мне еще не хватает». И тем не менее Этьен продолжал горячо убеждать его зачем-то в преимуществах широкой железнодорожной колеи, какая принята в России, перед узкой колеей, по которой они едут сейчас; сетовал на то, что самые первоклассные вагоны в Италии зимой не отапливаются; распространялся о капризах итальянской зимы; вел речь о снежных заносах в горах Швейцарии; о снежных метелях в башкирской степи, о том, как трудно вести прицельный артиллерийский огонь на ходу бронепоезда; снова об узкой колее, по которой они едут, и снова о горах, о снежных обвалах...

Он понимал, что утомительно многословен, но наслаждался вновь обретенной возможностью произносить вслух русские слова.

Он произнес слово «невытерпимо» и усомнился: говорят ли так по-русски? Что-то сосед странно его переспросил, расслышал, но не понял.

Он говорил, говорил, говорил, но при этом прислушивался к себе с недоверием — не разучился ли думать по-русски?

Так много лет приучал себя думать по-французски, по-немецки, по-итальянски, что и речевой строй мог измениться. Это было бы вполне естественно для человека, который столько лет был обречен на русскую немоту.

Он всерьез задумался: а что такое, в сущности говоря, акцент? Чем сильнее акцент говорящего, тем, значит, его родной язык больше отличается от того, на котором он сейчас изъясняется. Вот почему, например, грузины или латыши в большинстве говорят по-русски с трудноистребимым акцентом. У них в разведуправлении работало немало латышей, земляков Старика, но только он один говорил по-русски чисто, без всякого акцента.

Последние семь лет он не разговаривал на родном языке, а прежде наговаривался досыта, лишь когда приезжал в Россию.

Не говорит ли он теперь по-русски с акцентом? Он этого не знал и не мог знать, но чувствовал, что не вызывает полного доверия у соотечественников.

Вот бы показать им сейчас приговор Особого трибунала по защите фашизма и документы, которые спрятаны в щели под мраморным подоконником, у крайнего окна слева, в траттории «Фаустино», в Гаэте.

А в сейфе на тихой улице в Москве хранится его партийный билет № 123915, выданный в 1918 году.

Его явно принимали за иностранца, прилично знающего русский язык. Бородатый капрал, которого пересадили в этот вагон заодно с Этьеном, даже вслух удивлялся — кто же по национальности его бывший сосед по нарам? Он так бойко беседовал по-английски с английским летчиком!

Русские стали избегать бесед с Этьеном, и он, ради практики, весь вечер говорил с сербом, понимавшим русскую речь, но не настолько, чтобы разбираться в тонкостях произношения.

— А помолчать ты, в крайнем случае, не можешь? — спросил у Этьена добродушным шепотом сапер Шостак. — Ничим-чагенечко не говорить? А то славяне на тебя коситься стали. Уж слишком бойко на разных наречиях балакаешь. Еще кто-нибудь подумает — тебя гестаповцы к нам за компанию подсадили.

— Подсадили? — Этьен задохнулся от обиды и лишь после длинной, нелегкой паузы произнес по-белорусски: — Смола к дубу не пристанет.

Развиднелось, темнота улетучилась даже из углов вагона, коридор стал виден из конца в конец. Шостак изучающе посмотрел на русского иностранца и сказал раздумчиво:

— Говоришь ты, правда, не чисто. Но на провокатора, в крайнем случае, не похож.

— И на том спасибо, — усмехнулся Этьен невесело.

— Но все-таки есть в тебе какое-то недоразумение.

— Как не быть... По-белорусски сказать — с семи печей хлеб ел.

— Говоришь, в Красной Армии служил?

— Приведен к Красной присяге в тысяча девятьсот

двадцать втором году. На Красной площади. Первомайский парад. Когда в академию приняли.

— И до каких чинов дослужился?

— Комбриг.

— Комбриги давно из моды вышли. Их приравняли к генералам. — Послышался короткий смешок. — И меня фашисты приравняли к генеральскому сословию. Ну, к тем генералам, которых Гитлер недавно прогнал в отставку. Меня тоже лишили права носить мундир, ордена, лишили пенсии. Оставили только казенную квартиру.

— Все мы в отставку едем, — откликнулся глухим баском Зазнобин. — Можно сказать, на тот свет...

Надолго замолчали, а потом Шостак спросил Этьена так, будто не было никакой паузы в их разговоре:

— И как ты, мил человек, так быстро от русского языка отстал? Можно даже сказать — запамятовал? Свой язык, в крайнем случае, забыть разве мыслимо? Быстро у тебя память отнялась. Мы тоже не первый месяц от родной земли отторгнутые, но все-таки...

Этьен промолчал, но в немом смятении почувствовал, как слезы, непрошеные слезы текут по колючим щекам. Он провел рукой по лицу и был доволен, что сидел с поникшей головой.

118

Только спустя сутки они добрались до Рима. Часовые на товарной станции, возле депо и возле пакгаузов не поглядывали боязливо на небо, как на промежуточных станциях. В Риме не бывало воздушной тревоги, не боялись налетов. В арестантском вагоне уже знали, что Рим объявлен «открытым городом», хотя там и хозяйничают нацисты.

На станции Рим-сортировочная к их вагонам прицепили другие, тоже с арестованными. Прошел слух, что эшелон направляется в Австрию, там всех ждут допросы, проверки, там решится судьба каждого.

Этьен поделился своей догадкой с капралом: если из Рима вывозят арестантов, значит, гестаповцы сами имеют основания считать, что территория эта недолго

останется под их контролем. Союзники сюда, конечно, когда-нибудь придут, но удастся ли Этьену, капралу, англичанину, застрявшему в другом вагоне, и всем остальным дожить до встречи с ними?

Ехать Конраду Кертнеру в Австрию — ехать на пытки, на казнь. Сменить бы как-нибудь в пути имя, отделаться от номера 576 на пиджаке и заполучить другой номер!

Этьен сказал Шостаку, что фашисты интернировали его после поражения Испанской республики, что он уже не первый год мыкается по тюрьмам и лагерям и что ему нельзя, ну никак нельзя появляться в Австрии под своей нынешней фамилией, это смерти подобно.

— Прежде всего нужно сбыть с рук свой номер, — сказал Шостак.

— А где найти другой?

— Номерок мы тебе, в крайнем случае, достанем.

Но дело осложнялось — эсэсовцы следят не только за тем, чтобы сходилось поголовье арестантов. Во время аппелей они выкликают не только номера, но устраивают и поименную перекличку. Значит, кроме номера, нужно еще обязательно сменить фамилию, что труднее. А как хочется назваться русским! Даже если не придется долго жить, то хотя бы для того, чтобы не умереть под чужеземным именем.

Ходили слухи, что завтра будет проведен очередной аппель, времени в обрез. Шостак тоже понимал, что взять первую попавшуюся вымышленную фамилию нельзя, а нужно стать наследником кого-нибудь из тех, кто значится в списке конвоя, кто упоминался еще живой.

— Человек не вол, в одной шкуре не стареет, — произнес Шостак ободряюще. — Семь шкур с тебя уже содрали, а мы на тебя восьмую напялим. Что Гитлеру покойник, если для него и живой человек — ноль без палочки?..

Следующей ночью, как, впрочем, и во все предыдущие, в удушливой темноте кто-то чиркал спичкой, наступал на ноги и чуть ли не на голову... Затем донесся знакомый хрипловатый бас: «Отмучился наш Яковлев, царство ему небесное».

— Ну-ка, снимай свою одежонку, — зашептал Шостак. — И пожертвуй ее новопреставленному рабу божьему Яковлеву...

Этьен торопливо снял с себя мятый пиджак с номером 576.

— Обманем еще раз бога или, в крайнем случае, начальника конвоя... — Шостак унес пиджак в другой конец вагона, в купе для сыпнотифозных.

Схватили Этьена в жаркий сентябрьский день, а после того он больше двух месяцев просидел в крепости. Поезд шел на север. Рим остался позади. Стоит ли удивляться, что Этьен сильно мерз ночами. Он жил на белом свете без шапки, без шинели. Если бы не душная теснота в вагоне, мерз бы еще сильнее.

Но давно ему не было так зябко, как сейчас. Или страшновато сидеть в одной рубахе? Недоставало, чтобы его застукали в таком виде и начали выяснять, куда он девал пиджак с номером.

Итак, если затея Шостака удастся, один двойник Этьена сменит другого.

Он ощутил мимолетное чувство сожаления по поводу того, что Конрад Кертнер уходит из жизни, уходит безвозвратно и никогда не воскреснет. Да, немало поработал на своем разведчицком веку этот самый австрияк Кертнер!

«Сколько раз ты играл в жмурки со смертью! Нужно отдать должное, у тебя была профессиональная, тренированная память. А каким ты был любопытным! Теперь вся твоя любознательность ни к чему. Если говорить честно, мне не всегда нравилось твое поведение. Слишком часто тебе приходилось быть неискренним, лживым. Но, нужно еще раз отдать тебе должное, ты был исполнительным, оборотистым, приглядистым, ловким, неглупым и нетрусливым парнем — да будет тебе пухом древняя земля Рима!..»

На самом деле сапер Шостак отсутствовал так долго или продрогшему Этьену показалось, что прошел чуть ли не час?

Шостак появился, держа в руках солдатскую гимнастерку, и при робком предутреннем свете Этьен различил

лоскут с цифрой 410, вшитый выше левого нагрудного кармана.

— Вот держи. Яковлев отказал тебе свой гардероб. А похоронят бедолагу австрийца. Ребят я на этот счет предупрежу. Только, — Шостак услышал, как австрийский комбриг стучит зубами, увидел, как спешит надеть гимнастерку, — возьми-ка ты мою шинель покуда. Тебя цыганский пот пробирает. А гимнастерку сверни до полного света. Прежде чем наряжаться, сообрази ручную дезинфекцию. Обследуй все швы. Тифозная вошь, она злая. У нее, в крайнем случае, и на тебя аппетита хватит...

Значит, отныне он будет называться Яковлевым. Но нужно иметь в виду не только аппель, который состоится завтра утром. Его ждут допросы, у него могут выпытывать всю подноготную Яковлева, а времени для того, чтобы сочинить достоверную «легенду», не будет. И новая фамилия, при дотошной и строгой проверке, может подвести.

Яковлев, Яковлев, Яковлев...

Яков!

Яков Никитич!

Яков Никитич Старостин!

На первом же аппеле он берется объяснить эсэсовцам, что запись в их списке арестантов — ошибочная. Не Яковлев он вовсе, а Яков, Яков Старостин! Поправка должна выглядеть вполне правдоподобной: арестант уточняет данные о себе, боится, что его след безнадежно затеряется.

Итак, Яков Никитич Старостин. Вот чью биографию Этьен знает во всех сокровенных подробностях, начиная с той поры, когда воевали с Колчаком, и позже, когда Старостины приютили его и Надю в своей московской квартирке и кончая тем днем, когда вместе ужинали накануне отъезда Этьена в последнюю заграничную командировку.

Остаток ночи Этьен провел без сна, а утром, на полустанке, как и предсказывали, всех выгнали из вагона и провели очередной аппель.

В своих ребятах Шостак не сомневался. Этьен побаивался, как бы бородатый капрал, при его итальянской экспансивности, не удивился вслух маскараду. Но капрал стоял на другом конце шеренги и ничего не заметил.

Эсэсовец пролаял фамилию «Якофлефф». Этьен извинился и вежливо поправил немца: это имя у него Яков, а фамилия Старостин. Объяснялся Этьен на прекрасном немецком языке, эсэсовец сразу стал внимательнее и сделал уточнение.

— В списке не указано ваше воинское звание, — сказал эсэсовец.

— Оно вас интересует? — спросил Этьен равнодушным тоном.

— Яволь!

— Полковник.

— Яволь, оберст! — эсэсовец сделал в списке еще одну поправку.

И в самом деле, ну откуда у рядового русского взялось бы такое безукоризненное немецкое произношение?

С этой самой минуты, вслед за бойцом Яковлевым, закончил свое существование и коммерсант Конрад Кертнер. А мастер по медницкому делу Яков Никитич Старостин внезапно оказался в плену.

119

Здравствуй, мой милый Яков Никитич! Сколько лет не виделись с тобой, старый друг? Зато теперь будем неразлучны.

Когда-то они оказались соседями по вагону. Нет, они не были попутчиками. Оба ютились в вагоне, загнанном в дальний тупик станции Самара-товарная. Купе общего вагона были затянуты ситцевыми занавесками, за ними ютились семьи, жили тесно, спали и на третьих полках. К Старостину тогда приехала из Москвы Зина с семилетней дочкой Раей.

По инвалидности тот вагон третьего класса давно перешел на оседлый образ жизни. В тупике, где стоял вагон,

рельсы выстлало ржавчиной. Летом на крыше вагона зеленела трава. Женщины сушили белье на веревке, протянутой вдоль вагона, а дети привыкли играть рядом с рельсами и, как дети путевых обходчиков, не обращали внимания на проходящие поезда. А то еще играли на задворках депо, где стояли мертвые паровозы, на них лежал нетронутый снег. Паровозы с потушенными топками — как мертвецы, на чьих лицах не тают снежинки.

В неподвижном зеленом вагоне жили сотрудники политотдела и чекисты Самаро-Златоустовской железной дороги. Восточный фронт отступил уже далеко. Но по эту сторону фронта было еще неспокойно — белые офицеры, кулаки, меньшевики, эсеры, анархисты устраивали заговоры, готовили восстание, подбивали машинистов, кондукторов на забастовку, на саботаж.

Молоденького Маневича направили на железную дорогу и вручили мандат длиной в аршин: «Предъявителю сего разрешается ездить в штабных, воинских, санитарных, продовольственных, пассажирских, товарных и всех иных поездах, а также на паровозах и бронеплощадках. . .»

Знакомство с Яковом Никитичем началось, когда Маневич был командиром бронепоезда. Он уже не первый год защищал советскую власть с оружием в руках. Когда же Маневича назначили начальником райполитотдела, знакомство перешло в дружбу. Не одну ночь напролет они проговорили, лежа на соседних полках. По вагону гулял ледяной сквозняк. Уже пожгли все противоснежные щиты, стоявшие поблизости.

Старостин, присланный из Москвы по партийной разверстке, рассказывал о Ленине, которого несколько раз видел и слышал. А Маневич последний раз видел Ленина на вокзале в Цюрихе. По перрону бегал озабоченный Платтен — время прощаться и занимать места в вагоне. Поезд тронулся, провожающие и отъезжающие запели «Интернационал». Братья Маневичи тоже пели гимн, стоя на перроне, уже не вспомнить сейчас — по-немецки или по-французски. Судя по фотографии в «Известиях», внешне Ленин не изменился за последние два года, только носит кепку, которой в Цюрихе не было.

То была первая фотография Ленина, которую напечатали после его ранения. Бойцы Железной дивизии послали телеграмму о взятии Симбирска и получили ответ от Ленина, еще не оправившегося от тяжелого ранения: «Взятие Симбирска — моего родного города — есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны». Старостин уверял, что это из Железной дивизии залетела к ним в стоячий вагон боевая песня: «За рану первую твою Симбирск отвоевали, клянемся за вторую рану — отобрать Самару».

Старостин рассказывал о своей жизни; невеселых воспоминаний было больше, чем радостных. Сызмальства батрачил. Подростком поступил на завод Дангауэра и Кайзера учеником по медицинскому делу. Маневичу было семь лет от роду, когда Старостина выслали в административном порядке из Москвы. Паспорт отобрали и в полицейском управлении выдали карточку со штампом «неблагонадежный». К карточке приклеили фотографию, указали особые приметы. В полицейском участке их каждое утро заставляли молиться. «Читай молитву!» — командовал пристав, и все принимались бубнить «Отче наш», кто прилежно, а кто небрежно. Маневича и других политотдельцев особенно развеселил рассказ Старостина о том, что молитва, произносимая молодым медиком Яковом, неизменно заканчивалась словами: «. . .и избави нас от легавого».

По годам Старостин мог быть Маневичу чуть ли не отцом, но держались они как братья. Старостин определился к Маневичу в инструкторы: «Ты грамотнее, лучше я в помощниках у тебя похожу». У Старостина побогаче житейский опыт, а Маневич — с образованием, и кругозор у него шире. Вместе они ходили на субботники и устраивали облавы на бандитов, которые разбивали и грабили товарные вагоны на сортировочной горке; вместе реквизировали излишки зерна у кулаков; вели заготовку сухарей для голодающих рабочих Москвы и Петрограда; собрали больше вагона пшеничной и ржаной муки.

Однажды Яков Никитич вернулся из командировки в Сериводск и Сургут в радостном возбуждении. Крестьяне рассказали Старостину, что в селе Михайловке

не нуждаются в привозном дегте — «деготь из земли бьет». И телеги там не скрипят, и сбруя блестит, и мужички ходят в смазанных сапогах. Старостин не поленился, сходил в Михайловку. В каждом крестьянском дворе стоит про запас бочка с дегтем. Крестьяне жаловались, что весной деготь портит воду в колодце. Спустившись в лощинку, подошли к большой маслянистой луже. Старостин обмакнул палец, понюхал — нефть!

Возвратясь, он поделился новостью с Маневичем.

— Знаешь что, Яков Никитич? Пиши-ка письмо Ленину. Это ведь дело государственное!

Старостин написал письмо, и оно не затерялось.

Шел субботник, разгружали баржу с дровами, когда на пристань реки Самарка прибежала с газетой Рая:

— Папа, тут про тебя написано!

На радостях стали качать Старостина, а тот, подбрасываемый в воздух, кричал:

— Нефть покуда в земле прячется. Давайте лучше на дровишки поднажмем. Лева, останови их. Разобьют ведь!

Они обрадовались заметке в газете «Экономическая жизнь» и прочитали ее вслух не один раз. Первая нефть в Поволжье! Под заметкой напечатали сообщение инженера-геолога Чегодаева. По поручению редакции он побывал в Михайловке, там на самом деле обнаружено месторождение нефти.

Значит, Владимир Ильич переслал письмо в газету. Старостин и Маневич радовались так, словно волжская нефть уже бьет фонтаном.

В 1920 году друзья расстались, Маневич проводил Якова Никитича в Москву. Губком отозвал его на Казанскую железную дорогу, в главные паровозные мастерские.

От Старостина пришло письмо. 5 февраля он видел Ленина, который приехал к железнодорожникам, слушал его речь. Ленин сказал, что транспорт сейчас висит на волоске. А если остановятся поезда — погибнут пролетарские центры, так как нам труднее будет вести борьбу с голодом и холодом.

Вскоре в Москву приехали Лева с Наденькой. Он

поступал в военную академию, но жить было негде. Зина Старостина решила приютить их у себя, уступили одну из двух комнат. Дружной семьей, как в старом неподвижном вагоне, зажили Старостины и Маневичи в неказистом двухэтажном доме № 41 по Покровской улице.

Когда Маневич приехал в Москву впервые, Москва еще хранила много примет царского времени. У Маневича не было денег на извозчика, он ходил пешком в своей порыжевшей кожанке, и в глаза ему бросались старые, с буквами «ять» и твердыми знаками, вывески и щиты с отжившей свой век рекламой, закрывавшие брандмауэры домов. Ему рекомендовали пить чай фирмы Кузнецова, «братьевъ К. и С. Поповыхъ», Высоцкого. пить коньяки и ликеры Шустова, а водку Смирнова, покупать сыры и масло у Бландова и Чичкина, покупать ситцы и сатины Цинделя и Саввы Морозова, прыскаться одеколоном № 4711.

Армейские сапоги прохудились, Маневич хлюпал по лужам, а его наперебой уговаривали купить галоши то фирма «Богатырь», то «Треугольникъ», то «Каучукъ». Если бы он вздумал лакомиться конфетами — к его услугам фирмы «Эйнемъ», «Жоржъ Борманъ», «Сіу», «Абрикосовъ». А если бы он вздумал страховать свое движимое и недвижимое имущество, ему следовало обращаться к услугам страхового общества «Россія» или «Саламандра».

«Имущество у моего дружка известное, — говаривал в то время Яков Никитич. — Пошел в баню — и считай, что съехал с квартиры». А когда сам шел в баню, то неизменно приговаривал, как все паровозные машинисты: «Ну, пойду на горячую промывку».

Было время, Старостин гостеприимно предоставил кров слушателю первого курса военной академии Маневичу и его молодой жене. А сейчас Старостин защищает Этьена своим именем.

Торопливо и почтительно вспоминал Этьен привычки, даже капризы Якова Никитича, черты характера. Он уже мысленно прибавил к своему возрасту пяток лет, хотя полагалось прибавить шестнадцать... После всего пережитого Этьен выглядел намного старше своих лет.

Всю ночь ехал сегодня Этьен в компании с Яковом Никитичем, а под утро, незадолго до аппеля, померещилось уже что-то совсем несусветное: их вагон третьего класса с заржавевшими от оседлого безделья колесами и с травкой, растущей на крыше, даже с бельем, сохнущим на веревке, прицепили к экспрессу Берлин — Париж. Экспресс идет ровно двенадцать часов, Этьен много раз ездил в Париж и обратно. Проводники там важные, как министры или капельдинеры в театре «Ла Скала». Если вечером вручить им паспорт с вложенной в него солидной ассигнацией, пограничники без придирок ставят свои штемпеля, и ночью вас не будят ни на германской, ни на французской границе.

Правда, сейчас у Этьена никакого паспорта нет, и он озабочен, — нельзя же вместо паспорта оставить проводнику-министру свой лоскут с номером 410, который еще на днях принадлежал бедолаге Яковлеву, царство ему небесное...

120

После Флоренции всех перевели в товарные вагоны, их перегрузили сверх всякой меры. Казалось, ни одного человека больше не удастся втиснуть в битком набитый вагон, но эсэсовцы пустили в ход приклады, жестоко избили для острастки кого-то, кто, уже стоя в вагоне, упрямо жался к порогу, к воздуху и свету, — в вагон удалось затолкать еще с десяток арестантов.

На станции Прато Этьен наконец увидел англичанина. Белые брови и ресницы еще сильнее выделялись, после того как состригли его соломенные волосы. Бывшие соседи умудрились обменяться приветственными жестами, и Этьен пожалел, что они попали в разные вагоны.

На аппеле они несколько минут стояли рядом, и англичанин успел передать последнюю новость: в Каире встретились Рузвельт, Черчилль и Чан Кай-ши, решали вопросы, связанные с войной против Японии. И откуда только этот белобрысый узнает все новости? Будто носит в кармане потайной радиоприемник...

В двухосный вагон с выпуклой крышей затолкали не менее ста арестантов. Этьен вспомнил старый трафарет на воинских теплушках: «Сорок человек или восемь лошадей». Можно лишь мечтать о комфорте той русской теплушки.

Весь день стояли на затекших, одеревенелых ногах, согласно покачиваясь, сообща дергаясь, когда паровоз брал с места, поневоле опираясь друг на друга, дыша в лицо один другому. Если бы кто-нибудь вознамерился упасть, то не смог бы — некуда.

Эшелон шел как-то неуверенно, с частыми и долгими остановками. Арестантов никто не кормил, не поил. Ни разу не отодвинулась тяжелая, скрипучая дверь. Особенно страдали от жажды. Вагон долго торчал у депо, возле крана, из которого заправляют паровозы, и слышно было, как журчит вода, льющаяся из рукава в тендер и переливающаяся через край. И журчание воды, утекавшей попусту, делало всеобщую жажду еще более мучительной — пытка, придуманная самым изощренным палачом.

Шостак распорядился все фляги и котелки передать тем, кто стоит под форточками, оплетенными редкой колючей проволокой. Кое-как наружу просунули фляги и котелки, привязанные к ремням или обрывкам веревок... На эсэсовцев надежды нет. Но, может, пройдет итальянский железнодорожник и сжалится над людьми, умоляющими о таком подаянии?

И нашлась добрая душа — не то кондуктор, не то стрелочник, не то сцепщик или тот, кто стучал молотком по скатам, заглядывая в буксы. Кто-то залил всю эту посуду свежей водой. Живительная милостыня!

Досыта напился и Этьен.

Он закрыл глаза и увидел себя, бегущего по станционной платформе за кипятком. Состав вот-вот отойдет, а в одной из теплушек сидит малознакомая, но уже дорогая его сердцу девушка из Уфы. Они случайно встретились сегодня с Надей на станции Самара во второй раз. Ее приняли за мешочницу и не пускали в теплушку. Она расплакалась от обиды и отчаяния. Он распорядился, чтобы ее пустили, помог устроиться. Он едва успел, об-

жигая руки, налить кипятку и добежать с чайником до теплушки, как состав на Москву тронулся. Попрощались второпях. Она оторвала уголок от какого-то объявления, прикрепленного к вагонной стенке, торопливо написала свой уфимский адрес и сунула бумажку ему в руку. Он просил Надю найти его на обратном пути на самарском вокзале, в дорполитотделе. Поезд ускорял ход, а он бежал вдогонку за теплушкой, за прощальными взглядами и словами...

Вся его довоенная биография — как на ладони, но вот военные годы пока рисуются весьма смутно, нечетливо. Поскорее уточнить «легенду»! На каждой остановке можно ждать выгрузки и допроса с пристрастием: кто таков, на каком фронте и при каких обстоятельствах попал в плен, где обретался позже?

Вот почему Этьен, стоя в тесной, согласно пошатывающейся толпе, прислушивался к разговорам военнопленных и сам не ленился расспрашивать. Хоть по крупицам, по кусочкам, но склеить свою фронтовую «легенду»!

Ну, а поскольку ты, Яков Никитич, назвался полковником, то и кругозор у тебя, Яков Никитич, полковницкий, и военные познания твои нуждаются в обновлении, проверке. Тебе предстоит вот сейчас, на колесах, стоя в тряской душегубке, дыша смрадными испарениями и отвыкая от кислорода, пройти краткосрочные курсы по усовершенствованию комсостава, курсы, на которых никто не даст тебе переэкзаменовки и где не от кого ждать поблажки.

Опасно не знать важных армейских новостей, особенно предвоенных, не знать нового оружия, не знать фронтовых перипетий до плена.

Он долго стоял в подрагивающей полутьме, лицом к лицу с танкистом. Еще часа два назад можно было заметить, что лицо у танкиста обожжено, и виднелись дырочки на плечах его изорванной гимнастерки. Оказывается, в нашей армии ввели погоны, это дырочки для шнурков. Вот бы поглядеть на погоны! Как, например, выглядят погоны вместо ромба на петлице? Но, как оказалось, погоны ввели только в 1943 году, а потому для «легенды» они ему не нужны. Старостин выспрашивал:

— А верно, товарищ танкист, что немецкий «фердинанд» без пулемета?

— Зато броня у него серьезная.

— Броня броней. Но как же все-таки без пулемета? — удивлялся Старостин. — Значит, для ближнего боя непригоден. Во всяком случае, сильно уязвим. А появлялись у немцев легкие разведывательные танки «леопард»?

— Не слыхал. Под Сталинградом их не было.

— А танк «мышонок»?

— Тоже легкий, наверно? Вроде броневика?

— Хорош броневик! — усмехнулся Старостин. — Появилась у них такая опытная колымага. Весом в сто тонн. А назвали «мышонком». Не встречал? Значит, гора родила мертвого мышонка...

— То-то я удивился. У немцев броневики не водились, только у нас, да и то напрасно.

— Значит, ни «леопарда», ни «мышонка» не видел?

— Этих не видел, а вот «тигр» — хищник серьезный.

— Забыл, какой толщины у него лобовая броня...

— Кажись, сто пятьдесят миллиметров. А если еще пушка длинноствольная, восемьдесят восемь миллиметров...

Радостно было услышать, что танк «Т-34», потомок той машины, в таинство рождения которой Этьен когда-то был посвящен, оправдал надежды. «Тридцатьчетверка» успешно вела дуэли с немецким танком «T-IV» с короткоствольной семидесятипятимиллиметровой пушкой. Немцы могли нанести «тридцатьчетверке» смертельный удар только с кормы или угодить в мотор через жалюзи.

Очень хочется побольше расспросить про «тигры» и «фердинанды». Когда они появились? Если после того, как Старостин попал в плен, — его расспросы будут звучать вполне естественно. А если «тигры» и «фердинанды» — сорок первого года рождения? Какой же он, черт его побери, полковник, если ничегошеньки о танках не знает? Вот и приходится допытываться у танкиста, который назвал себя младшим лейтенантом. А Старостин и про звание такое не слышал, так же как не знал, что теперь в Красной Армии завелись подполковники.

Сколько ннтересного, важного для себя узнал полковннк Старостнн в первый же день своей жнзин! Он с горечью услышал, что в начале войны у нас ие было танковых корпусов, а только — брнгады. Высшая еднннца — мехкорпус, он состоял нз двух танковых брнгад н одной стрелково-пулеметной. Разве иаша военная мысль не убеднлась еще перед войной в том, что в современной войне пускают в ход могучне броннрованные кулакн? Кто же иам помешал? А вот у фашнстов танковые корпуса были!

И что еще плохо, еслн вернть обожженному танкисту, — не успелн мы наладнть массовый выпуск «трндцатьчетверок», на брнгаду — два-три танка, и обчелся...

Подтвердилось еще одно давнее опасенне Этьена — мы недооценнлн минометы, особенно мнниометы крупного калнбра. Невесело было также узнать, что наши протнвотанковые мнны нмелн недостаточный заряд. Мина перебьет у гусенннцы два-трн трака, а фашисты почнннят за полчаса. Тогда нашн саперы сталн сдваивать мнны нлн уснлнвалн нх дополннтельным зарядом тола. Но все равно, по свндетельству сапера Шостака, такимн самодельнымн мииамн можно повреднть лншь ходовую часть...

Еще важнее Старостнну было вызнать географнческне, календарные данные н все другне подробностн какого-нибудь крупного окружения, прн котором в плен сразу попало много народу. Он мог бы изваться бывшнм офнцером Юго-Западного фронта, которого взялн в плен во время контрнаступлення немцев в районе Изюм — Барвенково, но он ннкак не мог набрать подробностей про те бон. Выгоднее было назвать окруженне, которое случнлось раньше, чтобы короче была фронтовая анкета Старостнна, а длнннее — лагерный стаж. В последнем случае его труднее будет сбнть на допросах, которые ведут людн, хорошо знакомые с ходом войны на Восточном фронте.

Было еще одно соображенне, по которому он отказался от верснн со своим пленом под Харьковом и вообще иа Украине. Соседн по вагону предупреднлн, что

в Австрии гестаповцам на допросах чаще всего помогают предатели из числа украинских националистов. Так что благоразумнее держаться подальше от Изюм — Барвенково и вообще от юго-западного направления.

121

Опираясь на рассказы спутников, Этьен выбрал для Старостина Западный фронт. Теперь следовало уточнить и должность, какую Старостин занимал до плена, это тоже «белое пятно» в его фронтовой биографии.

Рядом дышал техник-лейтенант Демирчян, в полку он занимался противохимической обороной. Разговорчивый Демирчян и не подозревал, что помог заполнить брешь в «легенде»!

Пожалуй, начхим — разумная придумка. Немцы не станут допекать Старостина расспросами. Кому интересны устаревшие секреты противохимической обороны? Он помнил учения, когда все напяливали на себя противогазы. А в орудийных упряжках, на концах оглобель, болтались попарно чудовищные лошадиные противогазы. Ездовые пытались их натянуть на морды лошадей, те фыркали, воротили головы, лягались, дергали постромки.

Старостин с трудом повернулся лицом к Демирчяну и начал выспрашивать про должность, которую тот занимал. Демирчян был на побегушках у начальника штаба и командира полка, но должность эта сохранялась при всех обстоятельствах.

Полковнику Старостину нужны были фронтовые координаты. Его не интересовали данные о полке, в котором служил Демирчян: не могли же в одном вагоне оказаться два начхима одного и того же полка! Да и звание не соответствует. Кстати, сам Демирчян уже на втором году войны перешел в разведку, не хотел держаться за устаревший противогаз.

Безопаснее назваться работником штаба армии по противохимической обороне и собрать разнообразные сведения — прожиточный минимум допрашиваемого...

Эшелон остановился на товарной станции Болонья,

а дальний маршрут его по-прежнему уходил в неизвестность. В одном из вагонов везли теперь бывшего начальника химической службы 20-й армии полковника Якова Никитича Старостина. Он уже немало знал об армии, чьи бойцы и офицеры сражались, плутали и снова сражались в смоленских лесах. Знал, что в начале октября 1941 года «его» армия попала в окружение на левом берегу Днепра, западнее Дорогобужа. Командовал армией генерал-лейтенант Ершаков с Урала, членом Военного совета у него был корпусный комиссар Семеновский из Средней Азии, комиссаром штаба армии был бригадный комиссар Афиногенов, а начальником штаба армии — генерал-майор Корнеев. Армия сильно пострадала в боях под Смоленском, иные полки и дивизии почти полностью потеряли свою материальную часть, когда 3 и 4 августа вырвались из первого окружения и форсировали Днепр. Армия отступала к Соловьевской переправе, а выше по течению Днепра была еще одна, Радчинская переправа. «Юнкерсы» превратили обе переправы в крошево из машин, людей и лошадей. Старостин помнил номер штабной полевой почты и множество других примет, деталей и подробностей, вроде того, например, что первый снег в лесах севернее Дорогобужа выпал в ночь с 6 на 7 октября. Потом Старостина, тяжело контуженного (раненым нельзя сказаться, потому что на теле нет шрамов), взяли в плен, держали в бараке для пленных офицеров на нефтебазе под Вязьмой. Позже его определили в команду могильщиков и подметальщиков при немецком кладбище, устроенном на центральной площади города Вязьмы. Затем он сидел в концлагере в Орше, оттуда его погнали по шоссе в Брест и держали там в казематах крепости, затем направили в Майданек, оттуда через Освенцим в Терезин (бывшая крепость, а ныне концлагерь на берегу Лабы). Там набирали химиков на военные заводы, изготовлявшие секретное оружие в Тироле и Ломбардии. Потом их завод в Милане разбомбили, Старостина послали на рытье окопов под Монте-Кассино, а позже посадили в военную крепость в Гаэте. И всю эту правдоподобную «легенду» впитала по-прежнему цепкая и емкая память Этьена.

Он уверился, что готов к самым строгим допросам, но тут с ним заговорил военврач Духовенский:

— А где вы были утром двадцать второго июня?

— Кажется, у себя на работе, — ответил Старостин и сразу почувствовал невразумительность ответа.

— Кажется! — Духовенский удивленно поднял брови. — А я вот хорошо помню. Во время речи Молотова я был в операционной. На столе — больной с гнойным аппендицитом. Какая-то баба рванула дверь, кричит: «Война!» — а нам не отойти, даже радио не послушать... Всего два с половиной года прошло, а отделяет меня от того дня целая вечность...

— Да, вечность, — подтвердил Старостин, вкладывая в слова совсем иной, понятный ему одному смысл.

Нечаянный вопрос Духовенского сильно встревожил.

«Как же ты опростоволосился? Прежде был предусмотрительнее. А если бы тебе задали такой вопрос в гестапо? Что же ты, полковник?» — он покачал укоризненно головой.

И «легенда» довоенная у него отличная, и фронтовая придумана, а вот упустил из виду, что эти две половинки еще нужно сшить вместе, а шов этот — 22 июня 1941 года.

По всем данным, эшелон должен двигаться дальше к австрийской границе. Но Этьен услышал ночной разговор конвойных: к северу от Болоньи американцы разбомбили железную дорогу и мост через реку По.

Среди ночи началась поспешная выгрузка. С тех пор как теплушку набили арестантами, их так ни разу и не кормили.

С грохотом и натужным скрипом отодвинулась дверь на колесиках, и в смрадный вагонный ящик ворвался свежий воздух, от которого закружилась голова. Люди были спрессованы. Насчитали шесть мертвецов. Тела их давно остыли, но не падали — некуда было.

— Бандиты! — ругался Духовенский.

— Если вы хотите ругать немцев, найдите другое слово, — остерег его Старостин. — «Бандит» и по-немецки «бандит».

Мертвецов выносили из вагонов и складывали в шта-

бель. Возле штабеля устроили аппель, на котором Этьена уже называли не Яковлевым, а Старостиным.

Колонну погнали на Модену, на Милан. Прошел слух, что Милан сильно бомбят. Может, поэтому охрана не торопила колонну на марше, не слишком подгоняла идущих, часто устраивала привалы?

Брели в опорках, ботинках с подметками, привязанными обрывками проволоки, в деревянных башмаках. Брели в серо-голубой полосатой форме немецких лагерей и серо-коричневом каторжном одеянии итальянского покроя. Иные брели в плащах, драных макинтошах, плащ-палатках. На Старостине — ватник с чужого плеча, а вот шапкой разжиться удалось не сразу.

Остаток дождливой и холодной ночи провели в загоне, за колючим забором, недалеко от дороги. Шостак где-то подобрал старую итальянскую пилотку и молча напялил на Старостина.

Где-то будет следующий ночлег?

Назавтра команды на привал раздавались реже, колонну поторапливали. Из хвоста колонны доносились окрики, отстающих подгоняли прикладами. Товарищи вели ослабевших под руки.

Подоспели поздние сумерки, когда колонна втянулась в каменные ворота. Судя по воротам и по солидным запорам, это не скороспелый лагерь, а какая-то тюрьма. В полутьме двора всю колонну разделили на группы, и душ сорок, около половины вагона, набилось в большую камеру, в темноте все повалились на нары.

Утром Этьен огляделся. То ли дверь, окованная железом, то ли параша, то ли тюфяк, то ли решетка на окне — что-то показалось ему щемяще знакомым. И очень скоро он, к ужасу своему, убедился, что путь-дорога снова привела его в тюрьму Кастельфранко дель Эмилия.

122

В камере теснее тесного, но у каждого — топчан и тюфяк. Тюфяк — единственная спальная принадлежность на голых досках. К каждому топчану наклонно прибита

доска в изголовье. Арестанты распоряжались тюфяком по своему усмотрению: подстилать тюфяк под себя или укрываться им. По ночам в камере холодно. Этьен устроился на ночлег так: ватник он клал себе в изголовье вместо подушки. Тюфяк стлал поперек топчана и свободным концом прикрывал туловище до ног. А ноги? Он спускал брюки, чтобы прикрыть ступни, они особенно зябнут.

Соседи оценили арестантскую сноровку Старостина, и многие устроились на ночлег по его способу.

На следующее утро Этьен узнал, что одно крыло тюремного здания разрушено. Кастельфранко бомбили американцы; погибло немало политзаключенных.

С тревогой узнал он, что не весь тюремный персонал здесь обновился. Он увидел несколько старых надзирателей; увидел в тюремном дворе негодяя Брамбиллу, того, кто сидел на втором свидании с адвокатом в роли «третьего лишнего»; работал на своем старом месте все такой же мрачный Рак-отшельник. Но Этьен уже не заговорит с ним! К счастью, не видать фашиста «Примо всегда прав», Этьен больше всего боялся встречи с ним.

А Карузо через день дежурит в коридоре. Нельзя попадаться ему на глаза! Нужно держаться всегда в отдалении, в группе заключенных. Как же Этьен катастрофически изменился, как постарел, если Карузо его не узнал! Тогда у Кертнера были длинные седеющие волосы, он зачесывал их назад, оставляя открытым лоб. Волосы и орлиный нос дали когда-то основание капельдинеру театра «Ла Скала» сказать, что синьор из шестого ряда похож на Франца Листа.

Наверное, сыграла свою роль седая щетина, которой Этьен зарос по самые глаза и уши. И ему очень кстати побрили голову. А он еще, глупец, возмущался — тупая бритва! Вот ведь как получилось: пока Этьен сидел на Санто-Стефано, ему удавалось сохранять достойный вид, через день его брил уголовник. А после того, как он пожил на свободе, посидел в Гаэте, в крепости, проехал эшелоном, — потерял всякое благообразие, что и спасает ему жизнь.

Среди глубокой ночи их повели в баню. В дверях камеры стоял Карузо со списком и выкрикивал фамилии, рядом стоял незнакомый надзиратель с фонарем в руке. Если надзиратель сейчас посветит в лицо и Карузо его узнает — Этьен погиб.

Спотыкаясь на каждом слоге, Карузо произнес фамилию: «Ста-рост-тин». Этьен поднялся с нар и подошел ближе. В угольно-черных глазах Карузо зажглось какое-то подобие любопытства. Но тут же глаза его под густыми, нависшими седыми бровями потухли, исчез промельк удивления. Карузо вновь глядел на Старостина невидящим взглядом, будто оба глаза у него стеклянные.

Старостин прошел мимо Карузо, не опуская головы, но лицо его было затемнено. Можно поблагодарить судьбу за то, что фонарь опущен, а Карузо так ненаблюдателен.

Сильно изменился Карузо за последние годы. Он и прежде слегка сутулился, а сейчас время согнуло его еще круче и жесточе. Сивая бородка, лицо сморщилось, как печеное яблоко, и весь он скривился. Правое плечо стало ниже, правую руку он держит на отлете все время согнутой, — вот так бывает согнуто туловище у надзирателя в момент, когда он открывает-закрывает тугой замок.

Карузо успел состариться и одряхлеть за семь лет. Глядя на постаревшего Карузо, Этьен, может быть, впервые так отчетливо представил себе всю массу времени, утекшего сквозь решетки. Этьен привык судить о протяженности времени по тому, как слабел сам и как старели его соседи, тюремные товарищи. Но им, людям, лишенным общения с природой, тем, кто получал нищенский паек свежего воздуха и солнца, кто жил впроголодь, преследуемый невзгодами, кто отъединен от близких, обречен на долговечное одиночество, разлучен со своими занятиями, интересами, увлечениями, симпатиями, не знает удовольствий, — таким людям и полагается быстро стариться, утрачивать свой первоначальный облик. Но если тюремщик успел одряхлеть, — значит, действительно утекла уйма времени, утекла безвозвратно.

Этьен, так и не узнанный тюремщиком Карузо, осмелел и теперь внимательнее наблюдал за старым знако-

мым, с которым они когда-то отводили душу, обращаясь воспоминаниями и чувствами к музыке. А испытал ли на себе Карузо, пожизненно влюбленный в музыку, ее благотворное и благородное влияние?

Карузо вел по коридору группу заключенных, а позади с фонарем плелся второй надзиратель. Карузо шел, нагнув голову, на подгибающихся ногах. Казалось, его длинные, слегка вихляющие руки удлинились. Спина стала выпуклой, корпус при ходьбе сильно наклонился вперед, так что сбоку он походил на вопросительный знак.

Встреча с постаревшим Карузо заставила Этьена подумать о незавидной судьбе людей, которые всю жизнь сторожат других людей. При этом тюремщики по существу тоже почти узники! Еще неизвестно, кого тюрьма калечит больше: заключенных или тех, кто их сторожит. Пусть заключенный лишается подлинного имени и много лет живет под номерами, но и надзиратели лишены в тюрьме имен и живут под кличками. Здесь, где они проводят немалую часть жизни, к ним никогда не обращаются по имени. И во время своих дежурств они так же лишены солнца, так же живут среди стен, пропитанных холодной сыростью.

«Как часто я за железной решеткой чувствовал себя более свободной личностью, нежели ты, потому что мог думать о чем угодно. А ты, со связкой ключей в руке, лишен такой возможности, потому что все время должен стеречь меня».

Иногда Этьену казалось, что Карузо и другие старые надзиратели сами подавлены тем, что происходит в тюрьме. Из карцера теперь часто доносились стоны, крики истязаемых, в тюремном дворе чуть ли не каждый день раздавались выстрелы, и там же под окнами гоготали, играли на губных гармошках эсэсовцы. Они и на местных тюремщиков смотрели как на будущих заключенных — просто, мол, еще не дошла до этих итальяшек очередь, скоро их тоже посадят под замки, ключи от которых оставлены им временно.

Жестокость, садизм стали методой, тюремным бытом, нормой теперешнего уклада в Кастельфранко. Этьен просидел здесь четыре года и отчетливо ощущал разницу

между итальянскими фашистами и нацистами, между режимом Муссолини и тем режимом, который ввел Гитлер.

За последние месяцы он увидел доктрину Гитлера в действии. Этьен помнил «Майн кампф», он много знал о природе и сущности фашизма, но никогда не заглядывал в его черную душу, не проникал взглядом до самого дна, не знал, как за последние годы преуспело, расплодилось племя садистов-палачей.

Рассказы соседей по вагону, по камере дополняли друг друга — пережитое, увиденное, выстраданное.

Этьена учили, как всех, почтительности к своим охранникам и палачам. Когда нужно снимать шапку при встрече с наци? За десять метров. Держать шапку при этом полагалось в опущенной книзу руке, опустив голову и наклонив верхнюю часть туловища. «Мютцен аб! Мютцен ауф!» — «Шапки долой! Шапки надеть!» — эта церемония репетировалась много раз подряд.

Из рассказов узников, которые в большинстве своем побывали не в одном концлагере, можно было составить представление о нравах фашистов. До чего все-таки изощрен злой ум человекоподобного арийца, воспитанного Гитлером! До чего дошла порочная изобретательность палачей, какие только издевательства не придумывают немцы в отношении пленных антифашистов, партизан, поляков, евреев!

Военный комендант в Лодзи переставлял вперед часовые стрелки, чтобы был повод арестовать побольше пешеходов, якобы нарушивших комендантский час.

В Майданеке были дни, когда заключенным запрещали пользоваться табуретками и ложками — сидели на корточках и хлебали суп из миски.

В Освенциме и Дахау заставляли бить своих товарищей, а за отказ расстреливали.

В Вене заставляли чистить мостовую зубными щетками.

В Маутхаузене очень популярен ледяной душ. Под ним коченеют узники в одежде. Эсэсовцы называют это «баней».

В Гузене в бараке для пленных офицеров ввели премирование: за сто пойманных блох капо выдавал сигарету.

В лагере под Витебском, в Собибуре, в Биркенау и Хамельсбурге истощенных, едва передвигающих ноги заставляют ходить гусиным шагом, как маршируют на парадах перед фюрером.

В Мельке узников, которые еле держатся на ногах, заставляли карабкаться на деревья, разорять птичьи гнезда, доставать яйца. И горе тому, кто, спускаясь, раздавит хотя бы одно яйцо.

В Гросс-Розене и Заксенхаузене заключенных ранили отравленными стрелами, делали им ядовитые уколы, проверяя действие ядов и уточняя смертельные дозы...

Кое-что Этьен слышал прежде, а многое узнал, когда в камере зашел спор о нутре и обличье фашизма. Началось с того, что бронебойщик Азнобин, дяденька богатырского телосложения, назвал немцев фашистской нацией. Кастусь Шостак возразил—такой нации нет. И напомнил про немцев-антифашистов, которые сидят в концлагерях. Но Зазнобин стоял на своем и все твердил басом вполголоса: одних только эсэсовцев насчитывается больше миллиона, миллионы немцев пользуются рабским трудом, и миллионы спокойно нюхают дым, который поднимается из труб крематориев и воняет горелым мясом.

Этьена в тот день мучили приступы кашля, и потому в спор он не вступал. Его не так интересовало — можно называть немецкий народ фашистской нацией или нельзя, но преследовала мысль: хватит ли немцам одного поколения, чтобы из сознания вытравилась вся гнусная мерзость и гадость, привитая фашизмом, все нечистоплотные идеи, которые Гитлер втемяшил в головы «сынам арийской расы»? А от расовой дискриминации несет иногда больший урон преследующий, нежели преследуемый...

Этьен понимал, что Кастельфранко для него и соседей по камере — только перевалочный пункт. Как только прекратятся бомбардировки и восстановится железнодорожное сообщение, их повезут в Австрию, а может быть, еще дальше.

Каждый день пребывания в Кастельфранко чреват смертельной опасностью: не все такие ротозеи, как старый Карузо. И не всегда успеешь отвернуться, спрятаться за спиной рослого соседа или низко опустить голову.

Но и скорая эвакуация ничего хорошего не сулит.

Старостина вызвали в тюремную контору: брали на специальный учет генералов и полковников. В комнате, где ждали вызванные на регистрацию, он увидел белобрысого летчика-англичанина. Тот исхитрился подойти вплотную и передал, что через неделю после совещания в Каире в Тегеране встретились Рузвельт, Черчилль и Сталин.

— А второй фронт? — шепотом спросил Этьен.

— Ничего не слышно.

— Рано или поздно ваши высадят десант. Но, видимо, Черчилль считает, что русских перебито еще слишком мало.

Англичанин промолчал.

В комнате, где допрашивали Старостина, валялись на полу окровавленные тряпки, их нарочно не убирали. Допрашивал штурмбанфюрер со значком за тяжелое ранение; значок позолоченный, с лавровым венком и скрещенными мечами. Когда штурмбанфюрер выходил из-за стола, то сильно пошатывался, и не только из-за хромоты. Допрос был скоротечный, переводчик не потребовался. Старостин отвечал по-немецки. После того как штурмбанфюрер узнал, что оберст находится в плену с начала войны, а на фронте занимался противогазами, немец состроил презрительную гримасу, безразлично отвернулся и скомандовал: «Увести назад, в камеру».

И надо же было так случиться, Старостину предстояло возвратиться в камеру под конвоем Карузо. Как он тут очутился? Ведь на допрос его привел другой надзиратель.

Когда шли тюремным двором — Этьен чуть впереди, Карузо следом, — конвойный вдруг ускорил шаг, поравнялся с конвоируемым, повернулся к нему и сказал:

— Я тут подумал... Джильи все-таки прав, когда «Плач Федерико» из второго акта заканчивает чистым

си. Здесь так и просится драматическое, напряженное крещендо. Это же кульминация всей оперы!

— А я по-прежнему считаю, — неторопливо, сдерживая сердцебиение, ответил Этьен, — считаю, что певец должен строго придерживаться партитуры. Даже Джильи не имеет права вносить свои поправки. Украшать арию выигрышными нотами! А для чего? Только для того, чтобы еще раз вызвать овацию слушателей!

— А какая была овация! Браво, брависсимо!! — Карузо оглянулся и добавил шепотом, будто поверял самую большую тайну, какой только предстояло стать известной заключенному за все триста лет существования тюрьмы: — Я слушал Джильи в «Арлезианке». Третьего декабря сорок первого года. Какая премьера!.. А насчет чистого си в «Плаче Федерико», когда он поет: «Ты столько горя приносишь мне, увы!..». Будем считать, что каждый из нас остался при своем мнении. — Карузо вовремя умолк: мимо прошагали двое заключенных, они пронесли на носилках труп со связанными руками. А спустя минуту Карузо добавил: — Желаю вам, синьор Кертнер, навсегда потерять меня из виду. Наша третья встреча будет, пожалуй, лишней. Тогда австрияк, теперь русский... Скажите по секрету, с кем я буду иметь дело в следующий раз? — Карузо глубоко вздохнул. — Впрочем, в третий раз вы меня здесь не найдете...

123

Ночью колонну арестантов гнали через безлюдную, притихшую, затемненную Вену. Мигали карманные фонари конвойных. Или ночью конвойных больше, чем днем, или каждый движущийся светлячок бросается в глаза? Так или иначе, колонна двигалась, густо оцепленная мерцающими огоньками.

Эшелон разгрузили на задворках Южного вокзала после полуночи, потом часа три топтались на аппеле, потом разбивали на группы, потом опять пересчитывали арестантское поголовье.

В разворошенной памяти Этьена все отчетливей возникали знакомые когда-то перекрестки, и он быстро сориентировался в городе. За спиной у него, неподалеку от Южного вокзала, на тихой Райзештрассе, осталось советское посольство. Этьену и в Вене не пришлось побывать в посольстве, но в давние времена он не раз проходил мимо.

А где-то далеко за левым плечом высился дворец Шенбрунн. Этьен поселился вблизи того дворца, когда к нему приехала Надя с десятилетней Танечкой. Они встречали в Вене новый, 1932 год. За ужином Таня забылась и принялась напевать: «Ура, ура, Советская страна!» Хорошо, не услышала прислуга: им тогда полагалось разговаривать по-немецки.

Сейчас в Вене не увидеть и клочка снега, но с гор доносилось зимнее дыхание. Когда-то в мирные довоенные субботы, по таким же бесснежным улицам Вены, длинными вереницами ехали утром автомобили, все в западном направлении, в сторону гор. На крышах машин лежали лыжи или торчали стоймя на запятках, они казались чужеродными, будто их везли из другого времени года.

Некогда он видел на улицах Вены шикарный автомобиль президента, вместо номера красовался государственный герб Австрии. И видел автомобиль канцлера Шушнига с традиционным № 1. Был он и на приеме у канцлера в его резиденции Ам Бальхаузплац. Это туда нагрянули бандиты Скорцени, а Зейсс-Инкварт, находившийся в здании, открыл для них боковые входы. Жив ли канцлер Шушниг и где его прячут? По сведениям английского летчика, Шушниг сидит в концлагере Заксенхаузен.

На этот раз англичанин оказался в одной колонне со Старостиным. Они топтались рядом на аппеле, а сейчас брели локоть к локтю, переговариваясь по-английски.

Еще на аппеле англичанин поделился со своим соседом всеми известными ему подробностями о неудачных боях союзников в Италии, в долинах рек Гарильяно, Вольтурно и Сангра, а также о боях за городок Монте-Кассино. В конце января и начале февраля там шли кровопролитные бои, и союзники объясняли свои неудачи

тем, что над городком господствует гора, а на горе находится аббатство святого Бенедикта, превращенное в неприступную крепость. Союзники решили разрушить здание аббатства, но не смогли сохранить свое решение в тайне, и немцы хорошо подготовились к возможному штурму. Немцы не стали занимать само аббатство, а использовали окрестные холмы для огневых позиций и наблюдательных пунктов. Союзники сбросили листовки, предупредили монахов и жителей, чтобы все покинули здания, а на следующий день в небе было черно от бомбардировщиков, и аббатство стало грудой камней. Ну и чего же союзники добились? Монте-Кассино превратилось в неприступную крепость, потому что теперь немцам стало легче и удобней оборонять развалины и груды камней. Немцам не нужно было бояться крыш, которые могут обрушиться на голову, камни пошли на строительство оборонительных рубежей; подземелья и погреба стали неуязвимы... К сожалению, англичане повторили ошибку Гитлера.

Рассвет набирал силу, и город все лучше просматривался. Справа показались голые деревья Шубертринга.

Дальнозоркому англичанину первому удалось прочесть вывеску вдали и уличную табличку на угловом доме.

Вена провожала их огромным количеством и бесконечным разнообразием торговых домов, магазинов, лавок. Оголодавшие пришельцы остались совершенно равнодушными к банкам и Домам моды, к ювелирам. Но их взгляды как магнитом притягивали бакалейные лавки, колбасные, гастрономические магазины, кафе, рестораны, пивные, возле которых, по стародавнему венскому обычаю, на тротуаре стояли бочки, — привлекало все, где продавалось съестное, где когда-то можно было наесться досыта.

Оба обратили внимание на кондитерскую, — на золоченом кренделе указано: фирма основана в 1835 году. Этьен даже чуть-чуть замедлил шаг. Шутка сказать, больше ста лет подряд здесь выпекали знаменитые венские булочки и пирожные. Трудно даже вообразить себе, сколько сытной, вкусной всячины напекли булочники и

пекари за столетие! Хватило бы кормиться всей колоиие голодных арестантов до коица их дней.

Тем времеием колонна втянулась в узкие улочки старого города. Здесь топот и шаркаиье сотен ног сделались громче. Из-за крутых черепичиых крыш то показывался, то прятался за ними шпиль собора святого Стефаиа. В день святого Стефаиа, 26 декабря, Этьеи еще сидел в Кастельфраико. Ну иикак он ие может размииуться с этим святым! То сидел на каторжиом острове, иазваииом его имеием, то его гонят куда-то в тюрьму мимо Саи-Стефаиского собора. Этьеи подумал об этом, глядя иа стрельчатую башию собора, соткаиную из камеиных кружев.

Уличные таблички указывали, что их ведут по Лихтенштейиштрассе, и он поделился с аигличаииом догадкой, что скорей всего их ждет тюрьма, которая иаходится в девятом райоие города, у Альзерштрассе. В Вене ее испокон века называют «Ландесгерихт» — «Суд страиы». Прошло полчаса, и Этьен убедился, что был прав в иевеселой догадке.

Мартовский утрениик так сердит или приближеиие к тюрьме заставило его зябко ежиться в своем дырявом ватиике?

Этьеи держался близко к саперу Шостаку, своему спасителю. С содрогаиием подумал Этьен, что было бы с иим, если бы товарищи не пришли к иему на помощь той ночью, в арестаитском вагоне... Коирад Кертнер шагал бы прямо иа расстрел...

А сейчас как Старостин ии был измождеи, с каким трудом ии волочил ноги, он чувствовал себя солдатом в строю, он ие потерял присутствия духа, стойкости, готовиости к борьбе и веры в победу.

Лишь раиней весиой полковника Старостиыа в группе военнопленных офицеров повезли из «Лаидесгерихт» иа Морциинлац, там помещалось управлеиие политической полиции и гестапо. Это зловещее большое здаиие иаходится возле иабережной Доиау-каиала. Морциплац пользовался плохой славой. Там, в подвалах, пытали, избивали во время допросов. Аиглийский летчик, когда

его уводили, трижды перекрестился и поцеловал ладанку, висевшую на шее.

Допрос, который устроили полковнику Старостину, прошел вполне благополучно. Он уверенно отвечал на вопросы, и «легенда» его не вызвала подозрений. Бандеровец, присутствовавший на допросе, попытался было запутать Старостина, уличить его в противоречиях, но ему это не удалось.

Когда-то на Санто-Стефано он испугался, что становится тяжкодумом. Но в минуты допроса на Морцинплац к нему вернулась молодая стремительность мысли. Благополучный исход допроса был прежде всего результатом его сообразительности.

Будь Старостин помоложе и поздоровее, он мог бы рассчитывать, что его отправят на военный завод, или на шахту, или на ремонт железнодорожных путей, разрушенных бомбардировкой, или в помещичье именье на скотный двор. Лишь бы из тюрьмы «Ландесгерихт» не погнали к пристани Дуная. Путь тех, кого ведут к пристани, лежит в лагерь смерти, расположенный выше по Дунаю.

Сбылись самые худшие предположения. Их погрузили на арестантскую баржу, и буксир потащил их вверх по течению. Мелкие льдины терлись о борта баржи, царапали обшивку и крошились с легким шуршанием.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

R-133042

Этьен хорошо н надолго запоминл день, когда в Маутхаузен прнбылн нтальянцы. Это былн солдаты н офнцеры, которые после выхода Италин нз войны отказалнсь сражаться заодио с вермахтом, броснли оружне, потребовали возвращення на родиину. Вчерашние союзинкн Гитлера стали смертннкамн. Тюремиые ворота раскрыты иастежь, нтальяицы шли по пять человек в ряду. Оии былн в военной форме, им даже разрешнлн оставить знаки разлнчня н ордеиа. Впередн колоииы шел геиерал, за иим шагали офицеры в некогда нарядных муиднрах. Особеиио жалко выгляделн все берсальеры в шляпах с выщнпаиимын перьями. Поиачалу нтальяицы старательио работалн в каменоломие. «Работа прниосит свободу!» Недоразумеиие вот-вот выяснится и

их освободят за добросовестную работу. Но день за днем иссякали силы, улетучивалась вера в посулы, ветшали желто-зеленые мундиры и шинели, которые выделялись среди пестрого одеяния остальных узников. Вскоре от итальянской формы остались пестрые отрепья, обноски. Да и тот, кто не работал в штайнбрухе, давно потерял бравый воинский вид. Брюки и мундиры казались мешковатыми, особенно бросались в глаза непомерно широкие воротники. Будто какой-то сумасбродный портной специально обшивал и одевал итальянскую армию в форму не по размеру.

Почему Этьена так сильно тянуло к итальянцам? Ведь они столько лет держали его за решеткой? Да, но за той же решеткой сидели итальянские антифашисты. А самозабвенное великодушие итальянских женщин!

Если бы он был набожным, как белобрысый английский летчик, он уже не раз помолился бы за Джаннину, Орнеллу, Эрминию, за безвестную служанку полицейского участка в Парадизио, отдавшую обед, за многих...

Ему нравился итальянский характер, которого не смог испортить даже Муссолини. Хотя итальянский фашизм старше немецкого, он не проник так глубоко во все слои общества и не оказал столь растлевающего влияния на народ. Этьен, например, был уверен, что в Италии не могли бы возникнуть концлагеря для массового истребления пленных. Соседи по нарам, поляки с Западной Украины, рассказывали, что итальянцы не участвовали в актах террора против населения, в обысках, облавах, экзекуциях. Возможно, итальянцы еще не забыли о своей борьбе за освобождение, немцы же издавна ведут завоевательные войны. Этьен узнал от поляков, что итальянские солдаты передавали оружие тем, кто готовил восстание во львовском гетто.

Но откуда же тогда брались тюремные надзиратели Кактус, «Примо всегда прав»? Они подошли бы для любой зондеркоманды, сделали бы неплохую карьеру у Кальтенбруннера и могли бы дослужиться до лагерфюреров. Откуда взялись черные рубашки, которые насильно поили арестованных рабочих касторкой? Да, в семье, как говорится, не без урода. И смешно, конечно, предполагать,

что какие-то черты национального характера обязательно распространяются на каждого.

В сочельник итальянцы испросили разрешения провести молебствие — в такие дни даже эсэсовцы бывают сговорчивее, хотят показаться богу приличными людьми. Только что в лагерь пригнали партию итальянцев, задержанных при облавах в Милане недели полторы-две назад. С этой партией прибыл и молодой падре Андреа. Он не был истощен, как старожилы лагеря, был в силах провести богослужение. Рождественский праздник — удобный предлог, чтобы почтить молитвой все жертвы эсэсовцев и одновременно провести траурный митинг. Старостина предупредили об этом итальянские друзья и помогли пробраться к ним незамеченным.

Месса шла в полутьме. На падре Андреа сутана, крылатка, из каторжного одеяния на нем был только полосатый берет, который он снял, войдя в блок. При входе стоял и благосклонно ухмылялся эсэсовец.

Падре Андреа спел «Аве Мария», многие плакали. Этьен тоже был потрясен скорбным пением. Звучный тенор красивого тембра проникал во все закутки барака, легко пробивался сквозь тесный круг слушателей. После мессы эсэсовец разрешил и светское пение. Может, эсэсовец сам не прочь послушать неаполитанские песни в таком прекрасном исполнении? Он уже не ухмылялся, он непроизвольно подчинился властной силе голоса, тоскующего по свободе и родине... Кто-то из сидящих на нарах вспомнил знаменитого тенора Джильи и обозвал его предателем. Оказывается, Джильи пел для Гитлера, и не раз! Вот почему разъяренная толпа долго осаждала его дом в Риме, он не решается выйти на улицу. Пользуясь невежеством конвойного, спели и Гарибальдийский гимн, трагически прозвучала первая строчка: «Раскрываются могилы, встают мертвецы!..»

Старостин прятался на третьем ярусе, за тесно сидевшими итальянцами. Рядом с ним сидел молодой человек, судя по тому, как он согнулся в три погибели, очень рослый. Неожиданно Старостин потянул его за рукав:

— Не узнаете?

— Нет.

— Капрал? Карабинер?

— Это было так давно...

— Чеккини?

— Да. — Молодой человек уже не мог совладать со своим удивлением, не мог усидеть на месте.

— Вы меня везли из Турина в «Реджина чели». Помните наш обед в вагоне? Булочки с ветчиной. Четверть цыпленка с картофелем. Пасташютта в бумажном кульке. Сыр «бельпаэзе». Несколько груш. И, кажется, бутылочка фраскатти.

— Ах, синьор, не будьте жестоким. Перечислять все подряд! Пища для богов...

— А наш ужин? Помните, я тогда охранял сон ваших карабинеров?

— Как же вы меня узнали? — Чеккини растерянно провел рукой по лицу: он давно не похож на самого себя. — И даже фамилию вспомнили...

— У меня хорошая память. Я не имею права ничего забывать... Ну, а то, что вы меня не узнали, — тем более объяснимо, я бы сам себя не узнал...

— Может, вам нужно было в ту ночь совершить побег? — задумался Чеккини. — Австрийская граница была близко. Перейти границу — и дома.

— Мой дом подальше. Тогда вы конвоировали австрийца, а теперь я живу под русской фамилией.

Этьен рассудил, что безопаснее самому завести разговор с Чеккини, потому что тот мог узнать его и позже. Разумнее самому признаться, что он русский, нежели оставаться в глазах Чеккини австрийцем. Тот мог случайно обмолвиться на этот счет, вовсе не имея в виду навредить Старостину.

Чеккини удивленно поднял красивые брови и торопливо кивнул, давая понять, что он принял новые условия их знакомства. А Этьен смотрел на него и про себя удивлялся: как молодому человеку удалось в Маутхаузене остаться таким красивым? Впрочем, выяснилось: еще две недели назад Чеккини был на свободе.

Если синьор помнит, Чеккини уже тогда тяготился службой в карабинерах. Ну, а когда немцы сорвали

с себя маску, показали настоящее лицо и пытались поработить его родину, он вступил в 106-ю бригаду гарибальдийцев. Они действовали в окрестностях Милана, в долине Валь Олона. Их бригадой командовал Джованни Пеше.

— Не тот ли Пеше, которого во время войны в Испании сослали на остров Вентотене?

— Тот самый.

— Он был в ссылке совсем молодым пареньком.

— Да, лет восемнадцати.

Кто только не входил в отряд «Вальтер», который воевал в составе 106-й бригады! Там сражался даже граф Качча Доминионе. Он ловко снабжал отряд автоматами, купленными на немецком складе или украденными! Граф ходил в черном плаще, закутанный с головы до ног. Он не был похож на партизана, а скорее напоминал заговорщика, явившегося на боевое задание прямо из прошлого столетия; так в старину выглядели карбонарии, инсургенты.

В самом начале октября 1944 года Чеккини участвовал в операции по взрыву опорных мачт высоковольтной линии электропередачи возле Гарбаньяте. Удалось сорвать работу на нескольких военных заводах. Подрывники бежали, фашисты преследовали их до хутора Кукку. Речушка Боценти минувшим летом пересохла, только во время дождей ее русло наполнено мутной водой. Хорошо, что в начале октября не было дождей! Диверсанты спрятались под мостом и сбили фашистов со следа, затем прошли по руслу реки, их маскировали деревья, растущие по берегам. А до того Чеккини подрывал железную дорогу, они пустили под откос эшелон.

Явку в Милане устроили в церкви на улице Коперника. Обычно в той церкви царит полумрак. Свечи, зажженные по обе стороны алтаря, бросают тусклый свет. На скамейках сидели и молились женщины, среди них скрывались настоящие героини!

Партизанка Рыбка участвовала в нападении на немецкий штаб во Дворце правосудия. Стоял душный вечер, и окна нижнего этажа были распахнуты настежь. Партизаны узнали, что в канцелярии на нижнем этаже

оформляли списки итальянцев, которых собирались отправить в Германию на принудительные работы. Гранаты полетели в комнату, когда там находилась группа немецких офицеров. При участии той же Рыбки бросили гранаты в окна немецкого штаба.

— Знаете, почему ту синьорину называли Рыбкой? — Чеккини произнес ее прозвище с нежностью. — Она часто просила пить у немецких часовых, у патрулей, стоявших на мосту, возле ворот казармы, на станции или на контрольно-пропускном пункте. Всюду, где ей нужно было задержаться, осмотреться, понаблюдать дольше... Рыбка приходила в церковь на улице Коперника вместе с подругой. Помню, в тот день обе вошли с сумками и стали рядом с нами, мужчинами, а сумки свои поставили на мраморные плиты. Синьорины оставались до конца молитвы, а мы на цыпочках вышли из полутемной церкви и вынесли сумки, там лежали мины замедленного действия. Вы ничего не слышали про зал офицерского клуба в Милане? — Старостин отрицательно покачал головой. — Четыре бомбы... 11 августа 44-го года, в 20 часов 50 минут... Ах, милая и храбрая Рыбка! Сколько раз она приходила на ту явку в церковь на улице Коперника! А до того, как войти в церковь, синьорины несли свои сумки чуть ли не через весь город, мимо патрулей, рискуя попасть в облаву, подвергнуться обыску... Для всех нас церковь была просто местом явки, а Рыбка каждый раз успевала еще усердно помолиться. Она молилась за всех нас, и — кто знает! — не поэтому ли наш отряд оставался неуловимым? Одна диверсия за другой. Из-за нас фашисты ввели в Нервиано новый распорядок: магазины закрывались в 17.00, комендантский час перенесли на 18.00. Отныне велосипедистам запретили ездить группами. Подъезжая к контрольно-пропускному пункту, полагалось за десять метров сойти с велосипеда и, миновав пункт, пройти еще десять метров пешком. А мы в ответ подложили мины в трансформаторные будки, остановили завод «Изотта-Фраскини».

— А как звали вашу синьорину?

— В том-то и дело, — тяжело вздохнул Чеккини. — Поэтому я и зову ее Рыбкой. Во сне и наяву.

— А откуда родом безымяииая сииьориа?

— Кажется, из Милаиа.

— Я долго жил в Милаие, — оживился Старостии. — Там много добрых людей. Одиа миланская девушка сделала мне миого добра...

Чеккиии ие заметил волиеиия Старостииа, не заметил, что тот хочет сказать еще что-то; молодой человек оставался во власти счастливых воспомииаиий, а счастье, как известно, эгоистичио и иенаблюдательио.

Как Чеккиии попал в гестапо? По глупой случайиости! Разве ие обидио уцелеть в таких переделках и угодить в обычную облаву? В тот день, 10 декабря 1944 года, в Милан приехал Муссолиии, с утра иачались предупредительиые репрессии. Чеккиии ие подвергали особо строгим допросам, пыткам, его сочли заурядиым дезертиром. Из тюрьмы Саито-Витторе его переправили в тюрьму Моице и оттуда без пересадки — в Маутхаузеи. Здесь он иовичок, вот почему на ием лагериая одежда, а не лохмотья от воеиной формы.

Может, иеосторожио было завести разговор с Чеккиии, довериться ему, посвятить его в происшедшую метаморфозу? Но Этьеи полагался иа свою иитуицию. Ответиая откровенность бывшего карабинера подтвердила, что Этьен ие ошибся и на этот раз.

Оии распрощались, как старые друзья, нашедшие друг друга после случайиой разлуки.

125

Аппель сегодия затянулся. Озябли все, за исключеиием мертвецов, которые тоже принимали участие в вечерией поверке: по каицелярским спискам мертвецы до следующего утра числились живыми, а умерший в субботу продолжал «жить» до поиедельника. Их выиосили для точиого счета.

Часовой с ближией иаблюдательиой вышки следил за полуголыми узииками, кутаясь в шубу.

Чтобы часовые на вышках ие мерзли, будочки застеклены. На вышке стоит печка, и в предвечернем беле-

сом небе виден дымок, идущий из маленькой трубы. Когда взгляд падает на часового, Этьену становится еще холоднее.

Дымки над караульными вышками почти незаметны в соседстве с клубами дыма, густо валящими из трубы крематория. Тошнотворное сальное зловоние уносится поверх голов куда-то к Дунаю, а когда темнеет, видны отблески пламени над трубой.

Сколько раз Старостин уже выходил на аппельплац, сколько раз ждал команду: «Мютцен аб!»? Сколько сотен часов простоял он с непокрытой головой, держа руки по швам?

Его можно назвать опытным, видавшим виды «хефтлингом», то есть заключенным. Житейский опыт подсказывал ему, что в умывальной нельзя выпускать из рук вещей — сопрут; безопаснее держаться подальше от капо, от конвойных! Не суйся на марше колонны ни в первый, ни в последний ряд; становясь в очередь за обедом, рассчитай, куда встать, чтобы подойти, когда выскребают дно бидона, где баланда погуще; считай каждый свой шаг, избегай лишних движений, научись экономить на каждом движении мышцы; в жару работай в тени, а в холод — на солнце; умей использовать каждую минуту отдыха, покоя; научись делать вид, что ты работаешь, но не утомляйся при этом; защищай от тех, кто стал зверьми, свою еду, свое тепло, свой сон.

Старостин долго лежал в ревире, его устроили туда верные товарищи. Мало было надежды, что ему удастся там подлечиться. Но лишняя пайка хлеба, лишняя кружка эрзац-кофе и полуторная порция баланды — тоже не пустяк в его положении. В истории болезни появились фальшивые записи о ходе лечения; товарищи позаботились, чтобы там не значился верный диагноз. Нужных лекарств не было. Время от времени в ревир доставляли медикаменты, реквизированные из частных аптек. Чего там только не было! И средство для ращения волос, и химические пилюли, предупреждающие зачатие. Старшим в отделении ревира был заключенный, по специальности хирург-гинеколог и акушер. Когда-то он стоял у самых истоков жизни. Первые крики новорожденного, еще

не видевшего матери, и счастливые глаза матери, которая впервые ласково смотрит на младенца. А последний год, пожаловался акушер, он находится не у истоков жизни, а у конца ее.

Лекарств Старостин не получал, их заменяли радостные сообщения, которые товарищам по подполью удавалось подслушать по радио. Там, в ревире, хотя и с опозданием, он узнал о том, что освобождены его родная Белоруссия, Литва, Латвия и что советские солдаты уже ступили на прусскую землю. Подпольщики ловили 7 ноября радиопередачу из Москвы, однако ее поймать не удалось, а вместо Москвы заговорил Лондон. В тот день Черчилль признал в палате общин, что на плечах России лежит главная тяжесть войны, что России принадлежит главная заслуга в разгроме Гитлера. В сочельник по радио выступил Геббельс и бодро сообщил, что началось наступление немцев в Арденнах. Геббельс умеет владеть голосом, опытный актер, — он уверен в конечной победе! Перед тем как выписаться из ревира, Старостин узнал, что советские и польские войска освободили Варшаву...

А когда Старостин вернулся в свой блок, на аппеле увидел вокруг себя мало знакомых лиц. Пришел эшелон из Байрейтской тюрьмы. Бараки № 11 и 12 битком набили вновь прибывшими.

Рядом со Старостиным на аппеле стоял какой-то кавказец. Почему он так внимательно приглядывается? И почему так охотно назвал себя?

Назавтра Сергей Мамедов снова очутился на аппеле рядом, по-видимому, не случайно.

Когда после команды «Мютцен аб!» Старостин снял берет, Мамедов пристально посмотрел на него. Седые, отросшие волосы зачесаны назад. Скулы туго обтянуты кожей. У носа глубокие складки. Серо-голубые глаза смотрят настороженно и устало. Ото лба до затылка Старостин прострижен машинкой («гитлерштрассе»), но все же облик у него одухотворенный. Стоя на аппеле, он то и дело покашливал. Мамедов увидел на костюме красный винкель и букву «R».

— Что вы на меня так смотрите?

— Мне показалось, я вас где-то видел, — неуверенно сказал Мамедов.

— Это вам только показалось, — усмехнулся Старостин.

— Может, потому, что вы похожи на Листа.

— Мне уже об этом говорили. А какое отношение вы имеете к Листу?

— Хорошо помню его портрет. Я бывший музыкант, — едва успел пояснить Мамедов.

Окруженный свитой, приближался штандартенфюрер СС Цирейс. Строй подтянулся, и Старостин тоже стоял руки по швам. С Цирейсом шутки плохи. В их блоке все знали, как он отметил недавно день рождения своего четырнадцатилетнего сына. Сыну пора учиться стрелять по живым мишеням! Цирейс построил сорок заключенных, вручил сыну парабеллум, и тот перестрелял всех.

После аппеля мимо строя провезли арестанта на тачке. Тачка двигалась под аккомпанемент веселого марша, а табличка на груди, сочиненная Цирейсом, гласила: «Мне хотелось погреться. Погреюсь в крематории». Как стало известно, везли несчастного, которому не удался побег.

Мамедов и Старостин продолжали разговор на следующем аппеле; они уже выяснили, что сидят в соседних бараках.

— Где в плен попали? — спросил Старостин.

— Изюм — Барвенково, — вздохнул Мамедов. — А вы?

— В самом начале войны. Откуда родом?

— Баку.

— Где жили?

— На Торговой улице.

— Где именно?

— Рядом с мельницей «Братья и сыновья Скобелевы», рядом с домом Мехтиева, там, где старая синагога.

— А напротив дома Мехтиева его табачная фабрика.

— Вы тоже из Баку?

— Был проездом. Жил в доме Скобелева.

— Особняк! Там жили Шаумян, Киров, Серебровский.

— И Старостин.

Через несколько дней, после очередной перерегистрации и переселения, Мамедов и Старостин оказались на одних нарах в блоке № 17.

Старостин стал помощником писаря у старосты блока Отто Бауэра. Немецкий коммунист занимал эту должность в интересах подполья. Как только Бауэр получил указание из подпольного центра, ему сразу очень понравился почерк Старостина.

А Мамедов отправлялся каждый день на Дунай, где разгружал дрова. Длинные колоды носили вшестером. Позже Мамедов работал на уборке в крематории. Там давали дополнительный паек, но работа жуткая и опасная: говорили, что всех свидетелей тоже сожгут.

Прошла перерегистрация, и Старостину с помощью писаря-подпольщика удалось получить номер, как вновь прибывшему, — R-133042. После возвращения из ревира, где Старостин был у начальства на плохом счету, у него были основания считать операцию с получением нового номера большой удачей.

У младшего писаря блока, сколько мог заметить Мамедов, была крайне беспокойная жизнь. Старостин то и дело куда-то исчезал, а возвращался к себе на нары поздно ночью. Иногда он угощал сигаретой, приносил газету, несколько картофелин. Иногда делился последними сообщениями с фронта, и Мамедову оставалось гадать — откуда такая осведомленность и кто подкармливает?

Однажды, проснувшись ночью, Мамедов увидел, что его сосед сидит на нарах и пишет, подложив под листок копировальную бумагу...

Но Мамедов не знал, сколько конспиративных нитей тянется к Старостину, со сколькими узниками, незнакомыми между собой, но кровно связанными друг с другом общей задачей, регулярно встречается Старостин.

Когда-то, изучая законы конспирации, он читал и перечитывал Ленина, а позже... позже началась многолетняя практика. Он и сейчас следовал законам подпольной революционной работы, помнил: чем дробнее, мельче дело, которое поручено отдельному лицу, отдельной группе, тем меньше опасность провала, тем труднее действовать шпикам и провокаторам.

Старостин не помнил теперь, как Ленин сформулировал в книге «Что делать?» задачи конспирации, но назвал бы себя жалким кустарем, неловким и неопытным в борьбе с противником, если бы пренебрег мудрым советом: уметь вовремя собрать воедино все эти мелкие дроби, чтобы вместе с функциями движения не раздробить самого движения!

Уже несколько раз в их блок пробирались к Старостину незнакомые русские, чаще других — парень богатырского сложения, говоривший хриплым басом, а с ним товарищ, судя по говору, белорус.

Сосед Мамедова по нарам был нужен не только русским. К нему тайком пробирались итальянцы, французы, белобрысый англичанин, про которого Старостин сказал только, что он летчик. Наведывался и латыш Эйжен Веверис, который знал несколько языков.

Вообще же Старостин помалкивал, скрытничал, не собирался откровенничать с Мамедовым — не поверил, когда тот назвался майором интендантской службы.

— Ну никак не могу тебя представить в фуражном складе или в вещевой кладовой. — Старостин прищурил глаз и погрозил пальцем. — Ничего общего ты, друг, с интендантством не имеешь...

— Яков Никитич, откуда ты знаешь языки?

— Окончил военную академию.

— Но там учат только один язык. Не слышал, чтобы там преподавали итальянский.

— Я успел еще до войны записаться в дипломаты. Думал, не придется больше воевать.

— И где же тебе пришлось воевать? На каком направлении ты попал в плен?

— Был на дипломатической работе.

— И не успел выехать?

— Вот именно, не успел.

— Из какой же страны не успело выехать наше посольство и дипломат попал в Маутхаузен?

— Сказать, Мамедов, в чем твоя ошибка? Твои вопросы слишком квалифицированные. Ты, случайно, к следственным органам отношения не имел?

— С чего ты взял, Яков Никитич?

— Насколько я заметил, ты тоже говоришь на нескольких языках.

— Да, я говорю на армянском, персидском, азербайджанском, турецком, немного знаю грузинский.

— Кажется, ты понимаешь и по-итальянски?

— Не больше, чем бывший музыкант. Крещендо, модерато, пьяниссимо, фермата.

— Я очень любил музыку. Ты на чем играл?

— На скрипке. Позже на гобое.

— Сколько позиций имеет скрипка? — спросил Старостин тоном экзаменатора.

— А сколько ты хочешь, чтобы у скрипки было позиций? Я знаю семь. Есть еще флажолет.

— Какие скрипичные концерты ты играл?

— Когда-то играл концерты Бетховена, Мендельсона, Чайковского.

— Я бы хотел еще раз услышать концерт Мендельсона-Бартольди, — размечтался Старостин.

Ночь, когда два соседа по нарам вели вполголоса этот разговор, полный недомолвок, была разорвана ревом сирен. Свет потух. Выстрелы. Крики. Стоны. И все это в близком соседстве с блоком № 17.

Вскоре стало известно, что восстали заключенные в блоке № 20, блоке смертников. На карточке тех, кого отправляли в блок № 20, стояли пометки: «Возвращение нежелательно», «Мрак и туман», «К» (от немецкого слова «кугель», то есть пуля). Все это означало смертный приговор. На работу из блока № 20 не выводили. Там сидели советские офицеры, особенно много летчиков. Сидели там и участники варшавского восстания и югославские партизаны.

Трое суток никого не выпускали из бараков, в каждого, кто подходил к окну, стреляли без предупреждения. Но как только Старостину глубокой ночью удалось выйти, он узнал о восстании в блоке № 20 трагические подробности. Он был потрясен жертвами, которые принесли восставшие, но счастлив, что не всех беглецов поймали. Может, кто-то спасется и когда-нибудь расскажет о страшном застенке?

Не только новости о восстании принес тогда Старостин. Он доверительно сообщил Мамедову, что в ту самую ночь состоялся сильнейший воздушный налет на Берлин. Бомба попала в здание гестапо, всех заключенных Моабитской тюрьмы эвакуируют в концлагеря.

И раньше Маутхаузен имел все основания для того, чтобы называться лагерем смерти. А после того, как эсэсовцы подавили восстание в блоке № 20, зловонный дым, подымающийся над трубой крематория, стал еще гуще.

Отто Бауэр, старший по бараку, предупредил Старостина: ему нельзя оставаться помощником писаря, осторожности ради он должен, пока свирепствует террор, пойти работать в штайнбрух, то есть в каменоломню.

В те дни Старостин рад был узнать, что в каменоломне начали изготовлять могильные плиты, надгробья и постаменты для немецких кладбищ.

Каждый день эсэсовцы сталкивали со скалы в пропасть нескольких заключенных, их называли «парашютистами». Был случай, когда в каменоломне начали взрывать шпуры, не предупредив никого и не выведя оттуда работающих. Иногда всех заставляли бессмысленно переносить камни туда и обратно, туда и обратно.

Тем, кто не мог скрыть возмущения и раздражения, Старостин сказал:

— Это издевательство, но пусть никто из нас не будет подавлен, раздражен. Пусть нами владеет сознание, что мы не приносим никакой пользы фашистам.

Такие же бессмысленные злодейства совершались в лагере в конце прошлого лета, после неудачного покушения на Гитлера.

Работать в каменоломне зимой намного трудней, чем летом. А кроме всего прочего, летом, когда арестантов гнали через лес, многие отдирали кору молодых деревьев и грызли, жевали ее.

Каждый день Старостин пересчитывал ступеньки, ведущие в гору, в лагерь. Сто восемьдесят шесть ступенек. И горе, если он не сможет с ними совладать!

В один из стылых февральских вечеров, когда ветер дул со стороны невидимого, заледеневшего Дуная, ноги

были налиты таким свинцом усталости, что каждая ступенька давалась Этьену с трудом.

Двадцать девятая ступенька, тридцатая, тридцать первая, тридцать вторая, тридцать третья...

Он вдруг почувствовал, как его с обеих сторон крепко взяли под руки. Вот это встреча! Он сразу потерял счет ступенькам. Справа его поддерживал сильной рукой рослый, по-прежнему могучий Зазнобин, слева — душа-парень Шостак. Бронебойщик шел молча, а Шостак не удержался:

— Ты самый последний приказ не получил, земляк?

— Какой?

— Приказ — голов не вешать и глядеть вперед!..

— Потише приказывай, Кастусь, — пробасил Зазнобин, не замечая, что предостережение его прозвучало громче, нежели присказка товарища.

Этьен не успел вдоволь обрадоваться и вдоволь удивиться, как дружеские руки вознесли его на самый верх лестницы. При дневном свете такая помощь была бы немыслима: можно насмерть подвести ослабевшего, эсэсовцы уже не раз сбрасывали таких доходяг со скалы.

Зазнобин и Шостак также мыкались в штайнбрухе. И с того вечера они не раз при окончании работы «случайно» оказывались у подножья лестницы рядом со Старостиным и, можно сказать, несли его над ступеньками, он лишь касался их колодками.

Какое он чувствовал облегчение, когда ступал ослабевшими ногами на последние ступеньки и оказывался перед воротами в лагерь.

Тут уж можно надеяться, что дойдешь до барака. Осталось подняться в сáмом лагере на четыре ступеньки между первым и вторым рядом бараков и еще на пять ступенек между вторым и третьим рядом бараков. Ну, а если ему трудно будет забраться к себе на нары, на третий ярус, — Мамедов поможет...

«Мамедов не был со мной откровенен, не интендант он, — размышлял Старостин, лежа на нарах. — Но можно было не обижать его своим недоверием. Он с Архиповым был в подполье лагеря Офлаг-136 С-шталаг. Он

с Леонидом Панасенко спасал здесь смертников в 13-м блоке, подменяя жестяные браслеты с номерами».

— Знаешь что, Сергей, — неожиданно сказал Старостин, повертываясь лицом к соседу. — Никто из нас не знает, останется он в живых или нет. Пришло время узнать друг о друге побольше.

— Давно согласен.

— Ты вот удивляешься, почему я вожу дружбу с итальянцами, откуда знаю столько языков... Понимаешь, после войны в Испании пришлось застрять в Европе. А перед тем, как меня судил специальный трибунал по защите фашизма, выдал себя за австрийца.

— Как же тебе удалось снова стать Старостиным? — насторожился Мамедов.

— Это уже когда везли в Австрию. Товарищи похоронили того австрийца в дороге. А я назвал свою фамилию. И воинское звание. Полковник.

— Может, опять взял напрокат чужую фамилию? Может, я после войны и не найду тебя нигде? Может, и не жил никогда в Москве такой человек — Старостин?

— Даю слово, найдешь в Москве Якова Никитича Старостина. И мы обязательно увидимся. Конечно, — Этьен вздохнул, — при одном маленьком условии. Если оба останемся в живых.

Повторялась старая история, Мамедов явно обижался на своего соседа по нарам за то, что тот скрытничает, не посвящает в свои дела. Уже тогда Мамедов смутно догадывался, что его сосед — один из участников интернационального подполья в Маутхаузене.

После восстания в блоке № 20 узников задерживали в каменоломне до позднего вечера. Старостин возвращался обессиленный, и Мамедов видел это. Но он не знал, сколько огорчений приносили Старостину эти задержки в штайнбрухе, когда срывались подпольные встречи, когда Старостин опаздывал на явки, когда его не было на месте и связные, с риском для жизни пробиравшиеся в блок № 17, уходили ни с чем.

126

По вечерам, когда узинки возвращались из штайнбруха, над входом-маяком н на караульных вышках по углам лагеря светилн прожекторы. Старостину не нужно было видеть камеиную стеиу, он помнит, что камии там уложены в четыриадцать рядов, а поверх камней — пять ннток колючей проволоки. А там, где ие тяиется сплошная стена, где стоят вогиутые виутрь железиые кроиштейны с изоляторами, — двадцать пять ииток проволоки.

Старостни сам пересчнтал все эти ииткн, когда однажды утром его послали убирать сиег совсем близко от проволочиого заграждеиия. Его длиииая теиь смело перешагиула тогда через все колючки, столбы, нзоляторы, через проволоку под высоким напряжеиием. Сам ои остался в неволе, а теиь его касалась свободы.

На арке первых ворот распластался иад свастикой уродлнвый бронзовый орел. Сколько жизней уиес ои в своем хищном клюве?

Застекленная башня иад вторыми воротами похожа на маяк, только маяк этот указывает дорогу в царство теней.

Поскрипывает жестяной флаг, иа котором намалеваны скрещенные кости н череп. Чериый флаг иесет обязаииости флюгера, ои всегда поворачивается по ветру, он всегда в зловещем согласни с дымом, который вырывается из трубы крематорня.

В ту ночь с 17 на 18 февраля их колоииа долго торчала перед воротамн в лагерь. Было не меиьше двенадцати градусов мороза, и каждый градус мучительно ощущали иоги, обериутые в тряпье, в деревяииых колодках.

Лишь иочью открыли ворота в лагерь, и узиики прошагали под скрипучим флюгером; казалось, стучит на ветру череп с костями.

Поблнзости в лагере слышалнсь исступлеиные крнки и стоны. Их заглушал иеясиый шум. Громкое журчаиье? Гул водопада, невесть откуда взявшегося средн знмы, вдали от Дуиая?

Узиики из блока № 17 стали в затылок другой ко-

лонне. Судя по обрывкам речи, впереди стояли французы и англичане. Среди тех, кого Старостин узнал, был и белобрысый английский летчик, с которым не раз оказывался рядом в штайнбрухе.

Обе колонны снова были остановлены неподалеку от ворот. Старостин стоял правофланговым в ряду из пяти полумертвецов и все видел.

Правее лагерных ворот около каменной стены метались по ледяному катку голые люди, их было не менее пятидесяти. Голые люди скользили, ковыляли или ползли из последних сил между выходом из бани, каменной стеной и шеренгой эсэсовцев с брандспойтами в руках. Вода шла под большим напором и сбивала с ног тех, кто не упал прежде под ударами резиновых дубинок. Те, кто только что нагишом выбежал, вернее сказать, кого вытолкали из бани, еще жили в облачках пара. Облачка быстро испарялись, и тогда при свете прожекторов, направленных с вышки, видны были багрово-синие полосы на голых телах. Исполосованные резиновыми дубинками, уже в полубессознательном состоянии, страдальцы попадали под ледяные струи. Иные так и не поднимались из застывающих луж, иные сопротивлялись ударам воды, сбивающей с ног, и все ближе прижимались к каменной стене.

Старостин уже понял, что колонны тут держат для устрашения. Каждого может постигнуть такая же участь. Пусть сегодняшняя казнь послужит для всех предупреждением.

Невысокий седовласый человек, держась за каменную стену, быстро и горячо говорил что-то. Он задыхался, хрипел, пытался перекрыть голосом шипение воды, крики палачей и стоны, проклятья полуобледеневших.

Сперва Старостин разобрал только, что старый человек говорит по-французски. Затем он различил слова «немцы», «фашисты» и понял смысл фразы — это два разных понятия. Потом старик, с трудом стоящий на ногах, сказал что-то по-русски. Старостин разобрал слова «Советский Союз» и «освобождение».

Кто же этот пожилой человек, который опирается о каменную стену и говорит по-русски и по-французски?

Рядом со Старостиным стоял Мамедов. Он узнал невысокого седого человека с немигающим взглядом черных глаз.

— Генерал Карбышев, Дмитрий Михайлович. Еще с Хаммельсбурга знакомы. Друг генерала Митрофанова. Вместе мы сидели...

В этот момент эсэсовец опустил шланг, шипение и журчание стихло, и до Старостина донеслось:

— Бодрей, товарищи! Думайте о своей родине, и мужество вас не покинет.

К эсэсовцу, который стоял с опущенным шлангом, подбежал палач чином повыше, оттолкнул, выхватил шланг из рук, отрегулировал брандспойт и сильной струей ледяной воды, направленной в упор, сбил с ног говорящего.

Седой человек пытался приподняться, цепляясь, как слепец, рукой за стену, но сил никаких не осталось, тело покрывалось ледяным панцирем, и последние капли жизни были заморожены.

127

Тот же самый жидкий суп из кормовой брюквы, та же баланда, та же кружка эрзац-кофе и такой же кусочек черного хлеба, похожего на торф; в нем столько отрубей и опилок, что, если его поджечь, он сгорит без остатка.

И та же самая теснота в бараке.

Под голову подложены деревянные колодки, а лежать нужно на боку, слегка подогнув ноги в коленях. Сосед укладывается точно так же, только головой в другую сторону. При такой системе на одном тюфяке помещаются четверо. Французы это называют «спать сардинками». К стене барака прибиты засохшие, обесцвеченные временем букетики цветов. Незабудки, ромашки, красный клевер были сорваны еще в Маутхаузене 14 июля — в день взятия Бастилии. Незабудки, ромашки, красный клевер — три цвета французского флага.

И крематорий в Мельке мало чем отличается от крематория в Маутхаузене. Труба сужается кверху уступами, в трубу вбиты железные скобы. Впрочем, в Мельке

загрузка крематория поменьше, а прячется он в зелени, рядом раскидистые плакучие ивы.

Полковник Старостин только появился в Мельке, его еще ни разу не погнали на работу, а он уже озабочен делами.

— Что у вас здесь, в Мельке, вырабатывается? — спросил вновь прибывший у незнакомого соседа по нарам.

— У нас здесь ничего не вырабатывается, кроме смерти.

— Все-таки, что вы здесь, в штольнях, делаете?

— Главным образом умираем.

— Умираем не только здесь. Но боремся, — поправил его вновь прибывший.

Он связался с французскими коммунистами Огюстом Гавезом и Андре Пишоном, с немецким адвокатом Германом, который защищал коммунистов на процессе после поджога рейхстага. Он установил также контакт с советским летчиком-смертником. На куртке того, на спине, намалеван красный круг; такие же круги на левой стороне груди и на правой штанине, на бедре, — чтобы легче было целиться, если живая мишень вздумает бежать.

Вскоре Старостин встретил своего знакомого по Маутхаузену, советского офицера Архипова. Александр Архипов вместе с политработником Иваном Додоновым и Мамедовым прошли школу подполья в штрафном лагере Оксенфурте, в Эбельсбах-Эльтене, а в Хаммельсбурге выполняли поручения Карбышева.

Старостину было приятно узнать, что Архипов и Додонов родом из Куйбышева, бывшей Самары. Почти земляки! Не исключено, что во время разрухи, когда Самара оказалась без топлива, они участвовали в одних субботниках, разгружали одну и ту же баржу с дровами на реке Самарке.

— А не слышали, земляки, про волжскую нефть? — неожиданно спросил Старостин.

— Кто ж про нее не знает? — удивился Архипов. — И школьников учат. Богатейшее месторождение! Второе Баку, иначе нас теперь и не называют.

Французские товарищи знали, что каменистая пыль, газы динамита после взрывов, копоть и чад из выхлопных труб моторов в штольне — все это смертельно для больных легких. И Старостин с помощью Германа не попал в штольню, а оказался в группе заключенных, которые работали на воздухе: расчищали дорогу к воинским складам, размещенным в монастыре.

Светло-желтое здание монастыря и церковь были видны от самых ворот лагеря. Круглая церковная башня, чуть пониже две колокольни, обращенные к западу. Над воротами монастыря железные часы. Сколько времени уже стоят стрелки? День? Месяц? Год? Пять лет? Башни старой крепости под крутыми черепичными скатами. Засыпан снегом старый фонтан во дворе монастыря.

Старостину дали лопату, он весь день отгребал ноздреватый снег, тронутый мартовской чернотой. Весна 1945 года в Австрии выдалась ранняя.

Десятник в рабочей команде был из своих. Он никого не заставлял работать через силу, а высокие стены монастыря прятали от холодного ветра. Старостин возвращался в барак, не замерзнув и не измучившись.

И однако же, когда Старостин поздно вечером встретился с Огюстом Гавезом и другими товарищами, он потребовал, чтобы его перевели, хотя бы временно, на работу в штольню.

Старостин не стал ничего объяснять, но настаивал на своей просьбе и просил определить его на такую работу, при которой он мог бы осмотреть как можно больше и ознакомиться с обстановкой в подземных тоннелях. Он расспрашивал, как идет сооружение подземного завода шарикоподшипников. Ему необходимо было знать, какое там оборудование. Больше всего Старостин интересовался электропроводкой, освещением, вентиляцией и запасными выходами из подземелья.

Видимо, подпольщики в Мельке не были беспомощными, если через несколько дней Старостин отправился в штольню, сопровождая вольнонаемных австрийцев-геодезистов. Он носил за ними бело-красные рейки с делениями и теодолит.

Вечером Старостин пробрался в барак, где жили Архипов, Алексей Бель, Николай Бабин, туда же пришел из соседнего барака Додонов. Старостин был встревожен тем, что монтаж подземного завода идет успешно, и, подводя итоги тайного совещания, спокойно сказал:

— Завод должен быть уничтожен. Такова наша задача.

Он выразил беспокойство по поводу того, что Центр недостаточно хорошо знаком с расположением штолен. Подпольщики не знают всех входов в цехи и выходов, плохо ориентируются в подземном лабиринте...

Прошла неделя, и в одном из цехов подземного завода среди ночи возник пожар. Дым повалил из центральной штольни. Пожар застиг там и Додонова, он бросил отбойный молоток и побежал с товарищем, которого звал Петькой. Они вдвоем ползли по транспортеру, который выгружал землю на поверхность. С трудом добрались до соседней штольни. По ней в панике бежали узники и конвойные. Все задыхались от дыма и в угарных потемках пробирались к выходу из подземелья. Додонов подумал: хорошо, что нет Старостина, он бы уже задохнулся в штольне.

Меры, принятые немцами, были тщетны, пожар потушить не удалось, так как штольня осталась без света, оттуда валил дым, и только по чаду можно было установить, что горело масло, краска на станках и резиновая проводка.

В официальном акте, составленном лагерной комиссией, было указано, что пожар произошел от короткого замыкания.

Но несколько узников имели свое особое мнение на этот счет. К ним относились руководители подполья, в их числе советский летчик, который ходил по лагерю живой мишенью, а также заключенный R-133042. Лишь несколько человек в лагере знали, что под этим номером живет и борется полковник Старостин.

До того дня, когда заключенных, в том числе Старостина, из Мелька перегнали в Эбензее, подземный завод не подавал признаков жизни.

128

Левая рука Старостина и правая рука Мамедова схвачены одними наручниками, и точно так же скованы кандалами их ноги. Сквозь все наручники продет длинный канат. Один конвоир держит его в начале колонны, в конце колонны — другой. Таким образом, два конвоира ведут на поводке полтораста узников лагеря Эбензее. Вот почему по бокам длинной вереницы, позвякивающей цепями, шагают всего четыре конвоира с овчарками. Овчарки научены бросаться на тех, кто сбивается в сторону и ломает строй.

Тем, кто шагает в голове колонны, чаще удается подобрать на дороге окурок. А бывает, заключенные находят на дороге завернутые в бумагу хлебные корки или картофелины. Такие «передачи» приносят ночью и оставляют на пути лагерников сердобольные жители. Конвойные знают об этих подаяниях и обычно не препятствуют, когда их подбирают.

Но вчера какой-то заключенный, по виду татарин, нарушил порядок. Окурок лежал не под ногами, а на обочине. Татарин резко метнулся в сторону, насильно увлекая за собой напарника, нагнулся, чтобы подобрать окурок, и в этот момент на него набросилась овчарка. Татарин стал отбиваться, ему удалось свободной ногой так ударить овчарку, что она полетела кубарем, и тогда конвоир застрелил татарина. Заодно избили напарника — почему поддался, не оттянул соседа назад? А теперь, по милости застреленного, у конвоя столько хлопот: от наручников один ключ, а кандалы можно открыть лишь другим ключом. Прошло минут пятнадцать, прежде чем позвякивающая колонна двинулась. На обочине дороги остался лежать труп татарина.

Дорога под уклон, справа подножье горы. Вдоль дороги тянется железнодорожная колея, она берет начало у штольни. Первые метры колеи ржавые, там рельсы не знают прикосновения колес.

Извилистая дорога то отступает от горы, то придвигается к ней вплотную. Уже миновали железнодорожный

переезд со знаком «X» на шлагбауме. Путь лежит на станцию, колонне предстоит пройти через городок. Серый предутренний час, окна и двери домов закрыты. Прошагали мимо гостиницы «При почте». Мамедов знает, что в первом этаже гостиницы обедают эсэсовцы из лагеря. Оба увидели вывеску «Ресторан», оба не могли оторвать глаз от пивной кружки с пеной, льющейся за край вывески.

Прошли совсем близко от евангелической кирхи св. Иосифа. Когда ветер дует от городка Эбензее, лагерники слышат в праздничные дни благовест. Может, не здесь звонит пономарь, а в костеле, на другом краю городка?

Когда ветер дует со стороны лагеря, жители в городке закрывают окна, чтобы уберечься от зловонного дыма, вырванного ветром из трубы крематория.

Этьен может считать, что ему повезло, невероятно повезло: в Эбензее его не направили в штайнбрух, а определили в команду, которая разгружает, сортирует картошку на станции. Сытная работа! Можно вдоволь погрызть сырой картошки. Первую картофелину жадно грызли вместе с кожурой, так что песок хрустел на зубах. Следующие картофелины уже очищали зубами, ногтями.

Конечно, это не было слепым везением. Писарь Драгомир Барта перевел узника R-133042 на разгрузку и сортировку картошки, выполнив тем самым специальное задание. Подпольный центр с помощью преданных людей добивался перевода ослабевших на более легкую работу, а кое-кого подкармливали. Тем более это относилось к «офицеру из Мелька» — так называли Старостина французы и, в частности, один из вожаков интернационального подполья — Жан Лаффит. Он быстро установил контакт с французами, прибывшими 14 апреля в одном эшелоне со Старостиным.

Старостин в первый же день встретился с Костиным, военным руководителем русских. Тот выделялся и высоким ростом и своим непреклонным мужеством, командирской волей, умной дальновидностью. От самого Костина он узнал, что настоящая его фамилия Соколов, зовут

Владимиром Сергеевичем, сибиряк. Старостин был счастлив иайти в подпольиом цеитре Эбеизее такого иадежиого соратника.

Кто-то пришел за Старостииым в блок № 15, вызвал, он ушел, долго пропадал, вериулся поздио иочью, тихонько забрался иа иары и, когда заметил, что Мамедов не спит, зашептал:

— Ты ие спишь?

— Нет.

— Ох, Сергей, — Старостии начал сильио трясти Мамедова, тот удивился, откуда у товарища сила в руках, — скоро мы будем с тобой дома!

— Кто сказал?

— Совинформбюро. Всю Веигрию уже освободили.

Вчера узиики, бредущие иа поводке, тоже работали на разгрузке картошки, и все досыта ею полакомились. Почти каждый умудрился прииести по иескольку картофелии товарищам. Вчера дорога была сухая, шли босиком, несли в свободиой руке деревяиные колодки. Если болят иоги, колодок лучше ие иадевать, даже когда бредешь по камеиистой дороге. Старостии иес колодки, которыми сиабдил его сапожиик Анри Кох. Благородиая личность! В свои шестьдесят четыре года папаша Аири помогает подпольщикам, как только может. Ои уже не раз отдавал свою обувь разутым: «У меия работа сидячая». Сломаииых колодок иикто ие бросал. Не сдашь их блоковому — ие получишь пайка, а сдашь — иногда удается обменять иа целые колодки.

Вчера было теплое, погожее утро, не верилось, что только середииа апреля. Но и вчера вряд ли кто из бредущих любовался величествеииой паиорамой гор, весенним пейзажем. Когда шли лесом, каидальиый звон не мог заглушить щебетаиья и пеиия птиц. Шагавший впереди Боярский вспомнил про умельца из блока № 6, который расставлял хитрые капкаиы, ловил щеглов, трясогузок, соловьев, иаиизывал их на острый прут и жарил на костерке, как шашлык на шампуре. Одиажды птицелов поймал лису, но она была такая тщедушная, будто голодала заодно с охотииком. Может, здесь, в Австрии, все

лисы такие мелкие? Только по хвосту и узнаешь... А недавно лагерь был взбудоражен тем, что из лесу к самой колючей изгороди вышла косуля. Подчасок на вышке бросился к пулемету, но часовой прикрикнул на него и не позволил стрелять в косулю.

Когда дорога шла лугом, узники затеяли разговор о съедобных травах. Кто-то, кажется Донцов, с большим знанием дела принялся их перечислять. Еще мальчонкой он гонял тощую скотину на поля за подножным кормом, а заодно бродил в поисках этих трав. Может, они растут только в средней полосе России? Или здесь съедобные травы уже все съедены?

Этьен прислушивался к этим разговорам и поймал себя на том, что и сам он, живя впроголодь, стал совсем иначе воспринимать окружающий его животный и растительный мир; весь этот мир отныне делился на две половины — съедобную и несъедобную.

Уже несколько дней Этьен внимательно следил за снежной заплатой вычурной формы во впадине между двумя хвойными лесочками. Как высоко они над уровнем моря? По мере потепления съеживалась белая заплата между ними. Белые шапки на вершинах гор становились все меньше, и линия снега отступала от долины вверх. Этьен видел валуны, усеявшие крутой склон горы, поросший елями. Казалось, не ели выросли между валунами, а кто-то накидал валуны в великовозрастный лес...

Вчера солнышко грело им спины. Крыши домов, мимо которых они проходили, бурно высыхали, над черепицей подымался парок. Ах, если бы их лагерь находился под защитой гор на северной стороне долины, если бы их бараки не оставались так долго в морозной тени! А то солнце уже давно освещает склоны гор на севере долины, а лагерь по-прежнему в тени, апрельскому солнцу не под силу раньше десяти утра перевалить через высокий хребет, закрывающий лагерь с юга. А есть горные склоны, куда солнце заглядывает мимолетно, — вот так же отблеск солнца недолго лежал когда-то на полу его камеры в «Реджина чели»...

120

Сегодня, когда колонна вышла из ворот лагеря, над долиной стлался промозглый туман.

Едва узники успели пройти через городок, припустил дождь, да еще холодный. Они шлепали босиком по лужам и все поглядывали на низкое небо — надолго ли такой душ? И ветер пронизывает до костей.

Быстрее всего намокают плечи. Проклятая лагерная одежда вбирает воду, как губка. Мучительный холодный компресс! Что толку, если воротник поднят? С него все равно стекает холодная вода. Что толку, если руку ты засунул в карман? Карман мокрый, и рука мокрая.

Мало надежды, что вскоре распогодится. Тучи низко висят над долиной, гребни гор смутно угадываются, а хвойный частокол на горе Спящая Гречанка и вовсе не виден. Дождь не унимался, а когда они подошли к пакгаузу, превратился в ливень. Конвоиры с собаками спрятались под навесом, а думпкары стояли под открытым небом, и картошку полоскал дождь. Обидно, они не смогут обсохнуть, пока будут работать на станции.

— Русские не боятся дождя! — весело сказал долговязый конвоир, стоя под навесом.

Конвоир был в плащ-палатке с капюшоном, и поверх нее висел автомат, блестевший так, будто был отлакирован или смазан жиром.

— А русские вообще ничего не боятся, — отозвался Старостин по-немецки. — Не боятся ни воды, — и добавил, кивнув подбородком на автомат: — ни огня.

Долговязый что-то сказал своему низенькому товарищу. Этьен расслышал слова «фойер», «крематориум», и оба захихикали, а потом долговязый сказал:

— Для таких русских, которые не боятся ни воды, ни огня, есть еще виселица.

— Никого нельзя повесить выше виселицы! — с вызовом сказал Старостин.

— Слабое утешение для того, кто уже висит. И твоя русская пословица ему не поможет.

— Это не русская пословица, это — Фридрих Шиллер.

Пьеса «Заговор Фиеско». А говорит тот самый мавр, который сделал свое дело...

— Где ты так хорошо научился говорить по-немецки?

— О, это было очень давно. У меня тогда тоже был макинтош, и я имел право переждать сильный дождь под крышей.

Конвойные перебросились несколькими словами, после чего последовала неожиданная команда: прекратить работу, спрятаться под навесом и смирно стоять.

Долговязый поманил к себе пальцем образованного русского. Потом они стояли рядом и вели разговор на литературные темы. Немец с интересом слушал про Шиллера, про романтическую школу «Штурм унд дранг», а у русского при этом был вид профессора: с таким достоинством он держался и такой эрудицией блистал.

Дождь поутих. Картофель рассортировали и выгрузили. Продрогших, промокших до нитки лагерников снова нанизывали на длинный мокрый канат, и все зашлепали по лужам обратно в лагерь.

— Яков Никитич, что тебе дала такая длинная беседа с немцем? — спросил Мамедов, шагая со своим соседом не в ногу, чтобы легче волочить кандалы и чтобы они не так звенели при ходьбе.

— Пока мы рассуждали о немецкой литературе, о ее романтической школе, наши товарищи отдохнули, слегка обсушились. А немец подарил три сигареты. Только бы не промокли.

— Так ты ж не куришь.

— Были бы сигареты, курильщики найдутся. Один, кажется, уже нашелся. — Старостин засмеялся и протянул сигарету.

Колонна возвращалась в лагерь, когда городок еще не спал. Они брели по самому краю Траункирхенштрассе, потому что по этой изогнутой улице мчались машины и ходить нужно было с оглядкой. Как на жителей другой планеты, смотрели лагерники на горожан, которые им встречались.

У Этьена окоченели плечи и сильно болела спина под лопатками, не повезло ему с сегодняшней прогулкой на станцию.

Хотя он научился согласно шагать с Мамедовым не в ногу, ходить на поводке по скользкой дороге очень утомительно. Вот если бы на запястьях и на щиколотках было побольше мяса! А то кажется, железо сквозь тонкую кожу трет кости.

Он не может сказать про себя, что худеет, худеть уже невозможно, но он продолжает терять в весе. Сколько же он теперь весит — 45, 40 килограммов или еще меньше? Интересно, кости тоже делаются легче, тоньше или все это за счет мышц и сухожилий?

Никогда еще одышка не мучила Старостина так сильно, как сегодня. Потому, может быть, что обратная дорога идет в гору? Но вот же Мамедову и тем, кто шагает рядом, подъем вовсе не кажется крутым!

Старостин шел с трудом, сдерживая кашель. Мамедов озабоченно посмотрел на напарника — какой болезненный румянец на щеках! При его плачевном здоровье, при больных легких... Каждая лужа, в которую он ступал ногами в разбитых колодках, становилась все холодней и холодней...

Он так измучился, что с трудом волочил даже свой взгляд, и видел только лужи под ногами. Он мечтал об одном — дойти, дойти, дойти до лагерных ворот — и очень отчетливо представлял их себе. Высоченные ворота, обшитые с обеих сторон досками, связаны железным ободом, склепаны фигурными скобами, а наверху вписаны в полукруглую арку. Слева над аркой при входе в лагерь торчит узкая железная труба — это лагерная сирена.

Никогда раньше не поверил бы, что будет с вожделением и надеждой думать о воротах, ведущих за проволоку, туда, где палачествует лагерфюрер Антон Ганц со своими помощниками.

Назавтра Мамедов брел на станцию в паре с другим заключенным. Старостин не мог спуститься с нар. Он то метался в жару, то дрожал от озноба и надсадно кашлял.

О болезни заключенного R-133042 никому не доложили, но и на работу не выписали; помог писарь Дементьев.

Вчера Мамедов подкормил Старостина картошкой, которую утащил на станции и умудрился испечь. И очень разозлился, когда узнал, что Старостин поделился с кем-то его подарком.

— Загармар! — прошептал Мамедов на ухо больному. — Ругаюсь по-азербайджански. Загармар — яд змеи. Тебе приносят еду, как больному, а ты угощаешь всех соседей.

Трое суток Старостин не вставал. На этот раз, вопреки своему обыкновению, он признался Мамедову, и своим приятелям итальянцам, и Шаповалову, и Пивовару, и Барте, который пришел его проведать, и переводчику Мацановичу, что чувствует себя скверно. Товарищи из подпольного центра переправляли ему хлеб и баланду сверх рациона, а Барте удалось даже достать сульфидин в аптеке для эсэсовцев — новое чудодейственное лекарство, которое спасает при воспалении легких.

Какая обидная неудача! Спасли Старостина от каменоломни, направили на легкую работу, а она привела за собой беду.

Каждый раз, когда Старостина мучил надрывный кашель, он сплевывал кровь. Этого не должны заметить чужие, недружелюбные глаза. Мамедов достал Старостину старую чистую тряпку. Он прикладывает ее к губам, пытаясь унять кашель. Он страдал и оттого, что болел, и оттого, что понимал — может заразить соседей по нарам, того же Мамедова. Он уже давно не пользовался чужой ложкой, чужим котелком. Он помнил: фашисты нарочно оставляли в бараках больных с открытой формой туберкулеза, чтобы те заражали своих соседей. Да, для дырявых легких не могли пройти бесследно те дни, которые он проработал в каменоломне Маутхаузена или в Мельке, в тоннеле, когда рядом бурили, а в воздухе висела злокачественная каменная пыль. Мамедов знал, что может заразиться, но никогда не показывал, что боится этого, накрывал Старостина своим одеялом и грел его своей спиной.

«Пожалуй, я сам виноват, что сразу не вошел в полное доверие к Старостину, — размышлял Мамедов, лежа на нарах, — не нужно было играть с ним в жмурки, на-

зывать себя интендантом. Он при своей сверхпроницательности почуял неправду. У меня не было оснований скрывать от него что-нибудь. . .»

Глубокой ночью, когда все в бараке спали, Мамедов повернул к соседу лицо и зашептал ему в ухо:

— Верно ты сказал тогда, в Маутхаузене. Давно пришло время знать друг о друге больше. Хочу, чтобы ты тоже был в курсе дела... Нюх у тебя тонкий. Никакой я не интендант, а работал в Особом отделе корпуса. И фамилия моя подложная. Имя тоже взято напрокат. Если по совести, то я — Айрапетов Грант Григорьевич. А по званию майор.

— Отвернись от моего кашля и спи. До подъема осталось четыре часа, не больше. Скоро мой знакомый петух-эсэсовец подаст голос. У них в курятнике подъем еще раньше, чем у нас.

130

Темнота быстро сгущалась и вскоре поглотила лагерь. Вдоль колючей ограды светились синие лампочки и горели прожекторы над воротами. Самый мощный прожектор стоял на караульной вышке, высоко на горе, и время от времени обшаривал лагерь слепящим, ищущим лучом.

Полнолуние оказалось вовсе некстати. Следовало собраться на первомайский вечер и провести его быстро. А разойтись по своим блокам самое позднее в 9 часов 40 минут вечера. Несколькими минутами позже из-за гор появится луна, она заливает лагерь таким ярким светом, что эсэсовцы на несколько часов выключают прожекторы.

Вечер должен был состояться в блоке № 15, где находился Старостин и где блоковой из своих, член ЦК Испанской компартии. По решению подпольного центра, каждый блок направил на первомайский вечер делегатов.

Аппель вечером 30 апреля сильно затянулся, и до появления луны оставалось немного.

У каждого блока стоял пикет, он следил за немецкими патрулями и подсказывал делегатам момент, когда удобнее выскользнуть из двери; нужно использовать каждое мгновение, пока не горит прожектор на вышке.

В разных концах лагеря одновременно крадучись пробирались делегаты к блоку № 15. В барак втиснулось больше ста гостей. Русское подполье представляли Соколов, Архипов, Донцов, Шаповалов, Додонов, Генрихов, Илларионов. Пивовар стоял в пикете у своего блока.

Когда подпольный центр решал, кому поручить доклад, выбор пал на Старостина.

Во-первых, он может сделать доклад на нескольких языках.

Во-вторых, он пользовался авторитетом. Была в нем спокойная духовная сила, ее питало сознание повседневного и постоянного служения своей идее. Одухотворенность и целеустремленность рождали энергию, действенную и необыкновенно заразительную. В круг влияния Старостина попадали почти все, кто с ним соприкасался.

Будто, при всеобщем бесправии узников, у него в лагере были особые права. Людям слабым рядом с ним было не так страшно, потому что ему верили.

Он умел терпеть, обладал достаточным мужеством, чтобы страдать, но не умел при этом вести себя покорно. Лишь бы не разлучиться с собственной душой, не утратить вкуса к свободе и борьбе! Пусть нас пытают унижением, мы спасемся надеждой, ненавистью к палачам и юмором, да, да, юмором... И чем больше душевных сил отдавал Старостин товарищам по лагерю, тем становился богаче, бодрее.

Он обладал мягкой властью — мог разнять ослепленных злобой драчунов, умел пробудить совесть в заскорузлой душе, заставлял подчиняться себе самых строптивых.

Но даже когда он ощущал свое явное превосходство над другими, Старостин ничем это превосходство не выказывал, наоборот, даже скрывал. Пусть тот, кто с ним спорит, чувствует себя равным, пусть его не угнетает чужая эрудиция. Авторитет рождается еще и потому, что человек не подавляет никого своим авторитетом.

В-третьих, он умело держался в тени, и в нем не подозревали одного из вожаков подполья; сказывался опыт конспиратора.

В-четвертых, он был хорошо информирован о последних событиях, он был одним из немногих, кто последние

вечера тайно приходил в барак к Конраду Вегнеру (Куно) и вместе с Мацановичем, Лаффитом, Бартой, Соколовым слушал радиопередачи.

Склад обмундирования и лагерной одежды, при котором одиноко жил Куно, стоял в стороне от бараков. Когда-то Вегнер был левым социал-демократом, ему нашили на куртку красный винкель, но он сидел уже тринадцатый год и давно потерял политическое лицо. Он стал аполитичным, сильно выпивал, но при этом казался порядочным человеком и дружелюбно относился к подпольщикам. Он уважал тех, кто сохранил силы для борьбы, а сам признавался, что у него таких сил нет и уже не будет: «Я — человек без будущего. Я научился дорожить настоящим, какое бы оно ни было убогое. Я извлекаю жалкие крохи из каждого божьего дня, до которого мне удается дожить». Он доставал на черном рынке спиртные напитки, пил сам и был собутыльником эсэсовцев. Совместные попойки с ними позволяли Куно держаться независимее других.

Кроме немецких старост Магнуса и Лоренца, Куно — третий заключенный, кто в лагере на исключительном положении. Его выпускали за ворота лагеря.

Но так ли уж далек от политики человек, у кого в комнате работает радиоприемник, у кого собираются подпольные слушатели? Можно было не опасаться, что Куно предаст, его казнили бы вместе с гостями.

Чаще всего слушали на разных языках передачи из Лондона. Ну, а когда садились аккумуляторы и никакой станции, кроме немецкой, поймать нельзя было, все поневоле слушали дикторов из ведомства Геббельса. 20 апреля, в день рождения Гитлера, услышали обрывок истерической речи самого Геббельса. «Война идет к концу!.. Противоестественная коалиция между плутократией и большевизмом разваливается... Фюрер — храбрейшее сердце Германии». В тот день русские войска стремительно приближались к пригородам Берлина, союзники уже заняли Магдебург, Дрезден, Нюрнберг, подходили к Гамбургу, а вся «третья империя» сузилась до коридора в 120—150 километров между русскими и англо-американцами.

Охотно слушали и сводку погоды. Их мало интересовал уровень воды в реках и какая погода в Берлине, Мюнхене, Зальцбурге, а вот сильный ли ожидается ветер, откуда он дует, на каком уровне лежит снег в горах — очень важно тем, кто мерзнет. Метеосводку слушали тогда, когда не удавалось принимать сводку фронтовой погоды...

Перед тем как начать свое праздничное слово, Старостин на нескольких языках призвал к вниманию: «Ахтунг!», «Увага!», «Аттеншн!», «Внимание!» «Атансьон!»

Старостин вскарабкался на нары, на третий ярус, чтобы его лучше было слышно.

Он кратко сообщил последние радионовости. 28 апреля итальянские партизаны казнили Муссолини. 29 апреля союзники вступили в Мюнхен. Сегодня днем появилось первое, правда, пока еще не проверенное, сообщение о смерти Гитлера — не то он застрелился, не то отравился у себя в имперской канцелярии. Советские войска на окраинах Берлина.

Сжатая информация Старостина вызвала такое шумное ликование, такой громогласный восторг, что докладчику пришлось строго призвать к тишине и осторожности. Если некоторые потеряли контроль над собой, то пусть те, кому самообладание не изменило, угомонят темпераментных соседей. Немедленно перестаньте орать и стучать деревянными колодками!

Строгий окрик возымел действие, и Старостин в относительной тишине продолжал свое слово. Он непринужденно переходил с одного языка на другой.

Затем достал из кармана листовку, сброшенную с самолета в окрестностях Эбензее. Листовка на немецком языке, дата — 23 апреля. Фашистов строго предупреждают — они несут ответственность за жизнь военнопленных. В противном случае все команды лагерей и их подручные будут расстреляны на месте.

Удалось принять радиограмму союзного командования: летчики не будут нас бомбить, все экипажи бомбардировщиков снабжены специальными картами, на которых обозначены тюрьмы и лагеря.

Стало известио, что в одии из близлежащих лагерей союзники сбросили продукты. Парашют раскрылся над территорией лагеря. Но когда узники побежали к тюку с продуктами, эсэсовцы их расстреляли. Об этом факте нужно оповестить всех.

Далее Старостин предупредил, что возможны провокации — не поддаваться им! Если охрана будет снята — из лагеря не бежать, а если эсэсовцы попытаются всех вывести из лагеря — не выходить! По дороге к железнодорожной станции Эбензее, как всем известно, глубокий овраг. Эсэсовцы могут установить там пулеметы и устроить массовый расстрел.

Если охрана сбежит, нужно спасти продовольственные склады от грабежа, а то дистрофики иабросятся на еду и перемрут. Старостин иапомнил про инсценировки в Маутхаузене, когда вели киносъемки для доктора Геббельса и когда ждали приезда какой-то международной комиссии. Хефтлиигам выдали посылки Красиого Креста, и многие умерли потом от заворота кишок. Нужно предупредить возможную анархию, панику и тем самым избежать напрасных жертв в последние дни войны. Не забывайте, что палачи захотят расправиться со свидетелями своих преступлеиий. Если медперсонал сбежит, больиых в ревире не оставлять без помощи. Об этом предупреждены все иаши врачи в блоках. Эсэсовцы не успели уничтожить в лагере около пяти тысяч евреев. Сохранить им жизнь, ие допустить новой кровавой расправы, подобиой той, какая была в Эбензее еще до постройки крематория: тогда около трех тысяч евреев живьем засыпали в одной траншее. Этьен посоветовал еврейским делегатам держаться ближе к советским воениопленным.

Дежурные у окошек следили за темным небосклоном — вот-вот покажется луна. Настороженно поглядывали на едва различимый горный хребет те, кто стоял в пикетах.

Старостин с трудом откашлялся, а под конец сделал еще одно важное сообщение: сегодня дали расчет итальянским, югославским мастерам, которые работали в штайнбрухе по найму. Значит, скорее всего завтра в штольню на работу ие поведут.

Перед тем как слезть со своего насеста на третьем ярусе, Старостин торжественно произнес на нескольких языках:

— Счастье улыбнулось нам в день международной солидарности. Так будем достойны праздника и покажем, что значит настоящий интернационализм! — Потом добавил совсем будничным тоном по-русски: — А теперь, хлопцы, сматывайтесь поодиночке. Чтобы духу вашего здесь не было. И чтобы ни один часовой вас не увидел!

После этого он дал команду разойтись еще на нескольких языках.

Уходили возбужденные, Старостин в полутьме видел глаза, сияющие радостью.

Он постоял в дверях блока № 15, рядом с испанским товарищем, который ради общего дела согласился стать капо. И оба они прислушивались: не раздастся ли где лающий окрик «Хальт!», не прогремит ли очередь из автомата. Но в лагере тихо, и можно надеяться, что все гости блока № 15 благополучно добрались до своих нар.

Спустя минут десять над долиной Эбензее взошла луна, уже безопасная.

В ту ночь взбудораженный блок № 15 долго не спал, и Этьен подумал, что, наверное, такая же счастливая бессонница пришла и в другие бараки, где обсуждаются новости и вырабатывается план действий.

Наутро Первого мая не прозвонил лагерный колокол, в блоке не раздалась команда: «Ауфштеен!», никто не вышел на работу.

Стало известно, что ночью сбежали немцы-уголовники и те капо, которые боялись мести.

Но часовые на вышках по-прежнему дежурили у своих пулеметов.

131

Старостин стоял так близко от помоста, что отлично видел лицо лагерфюрера Антона Ганца: утиный нос, широкие и короткие усы «а-ля фюрер», тонкие, почти невидимые губы, глубокие складки вокруг рта, близко сведенные брови, глубоко посаженные глаза со стальным

блеском. На мундире две планки с ленточками, слева на поясе — расстегнутая кобура с «вальтером». Ганц впервые пришел сегодня на аппельплац без своего дога, который помог лагерфюреру приобрести репутацию палача.

Перед глазами Старостина прошла одна из жертв Ганца — девятнадцатилетний Даниэло Вернезе, тонкий и хрупкий юноша. Он пытался бежать, но убежать от дрессированного пса невозможно. Итальянец просил Ганца сжалиться, упал перед ним на колени, но тот был неумолим. Дог терзал беглеца, пока не загрыз насмерть.

И вот этот самый лагерфюрер явился прошедшей ночью в шрайбштубе, к Драгомиру Барте и мягким, почти заискивающим тоном сообщил, что завтра никого на работу не пошлют, но всех вызовут на аппельплац для важного сообщения. Антон Ганц отвечает за жизнь каждого заключенного и поэтому, чтобы избежать лишних жертв, отдаст завтра утром приказ: всем заключенным укрыться в штольне № 5, чтобы спастись во время предстоящего обстрела и бомбардировки лагеря. От глаз Барты не укрылось, что Антону Ганцу нелегко давался спокойный тон, он был необычайно бледен.

Той же ночью собрался подпольный центр, чтобы выработать план действий. Антон Ганц не подозревал: подпольщики уже получили несколько сигналов о том, что штольни, в частности штольня № 5, заминированы. Сигналы поступили из совершенно разных источников. Об этом сообщили австрийский офицер Йозеф Полтрум, начальник конвоя, который теперь нес службу вокруг лагеря, и старшина барака № 7 испанец Антонио.

Подпольный центр знал, что 3 мая двумя командами в пятнадцать и семьдесят человек в Эбензее из местечка Ред-Ципф пригнали фальшивомонетчиков. Литографские станки, камни и специальную бумагу утопили в озере, а тех, кто делал фальшивые доллары, решили уничтожить в Эбензее. При их прибытии в лагерь и при регистрации произошла путаница, вызванная бегством нескольких капо, и восемьдесят пять безусловных смертников затерялись в многотысячной лагерной толпе. Такой грубый промах лагерфюрера не может остаться

безнаказанным, а исправить его легче всего, загнав всех заключенных в штольню и взорвав ее.

Нет другого более удобного места, чтобы избавиться сразу от всех свидетелей, от всех мстителей. Несколько подрывников легко управятся в штольне с десятью-одиннадцатью тысячами узников.

Всю ночь подпольщики обходили бараки, предупреждая о замышляемом злодействе. Эти ночные обходы таили в себе немалую опасность, потому что приходилось нарушать конспирацию и входить в контакт с теми, кто и не подозревал прежде о существовании подпольной организации.

Плохо будет, если Антон Ганц под угрозой оружия утром на аппеле добьется всеобщего послушания и колонны, ведомые старостами бараков, втянутся в длинный коридор, огороженный сеткой из колючей проволоки. Коридор этот ведет из лагеря к входу в штольню. Узники называют его «лёвенганг» — выход для львов, по аналогии с узким зарешеченным тоннелем, по которому дрессированные хищники проходят в большую клетку, установленную на цирковой арене.

Югославский художник Милош Баич сделал план всего лагеря, над ним долго сидели Жан Лаффит, Барта, Мацанович, Соколов, Старостин и еще несколько вожаков подполья.

Давать отпор на самом аппельплаце рано: место там открытое, и туда направлены пулеметы с вышек.

Давать отпор в проволочных коридорах, ведущих в штольню, — поздно, там силы будут разобщены.

Выгоднее всего оказать эсэсовцам вооруженное сопротивление в те минуты, когда заключенных поведут по лесу, поблизости от их бараков, — если уж их погонят в штольню. Здесь на конвой нападут по сигналу две боевые группы, в их распоряжении девять револьверов, гранаты и холодное оружие.

Но силы слишком неравны, и поэтому нужно сделать все для того, чтобы на аппеле не подчиниться лагерфюреру, воспротивиться угону в штольню.

Ночной визит Антона Ганца в шрайбштубе утвердил Старостина, так же как и Барту, в самых худших догад-

ках. Они слишком хорошо помнили слова лагерфюрера, которые на днях подслушал Мацанович и передал им: «Ни один из них не выйдет из лагеря живым»...

Этьен вглядывался сейчас в лицо Ганца и тщился угадать: какому насилию он решится подвергнуть узников, если его лживое добродушие будет оценено по достоинству?

Ганц попытался использовать то обстоятельство, что узники уже не раз по сигналу воздушной тревоги послушно прятались в штольне, когда над лагерем появлялись американские самолеты. Но тогда подземные заводы еще работали, ценное оборудование было на ходу, тогда немцы не собирались взрывать штольни. Сейчас, когда лагерь доживает последние дни, а штольни бездействуют, они могут стать удобным кладбищем.

Старостина окружали преданные советские товарищи. Тесной группой стояли Митрофанов, Соколов, Шаповалов, Пивовар, Генрихов, Архипов, Додонов, Бель, Мамедов.

Ганц ждал на помосте, к нему подошел Мацанович, позади тесной кучкой стояли офицеры, а за ними в нескольких метрах один от другого полукругом стояли эсэсовцы с автоматами. Цепь эсэсовцев, не очень, впрочем, густая, стояла и перед помостом. Такую картину можно было наблюдать на аппельплаце очень редко, чаще всего, когда устанавливали виселицу и эсэсовцы вызывались для устрашения всего лагеря.

Наконец Антон Ганц заговорил. Он начал словами «Мои господа», никогда прежде такое обращение в лагере не звучало. Мацанович перевел эти два слова, умело пряча радость, — впервые он произнес на аппельплаце «господа»!

В ту торжественную минуту иные уже перестали чувствовать себя узниками. Сияли счастливые глаза, увидевшие первый проблеск свободы.

А ликование Этьена было безграничным. Два раза фортуна его жестоко обманула — в Кастельфранко и в Гаэте. Наконец-то на третий раз фортуна повернулась к нему лицом!

С тем большей решимостью нужно отстоять близкую

свободу, не позволить себя и товарищей умертвить или обмануть!

— Война не окончена! — говорил Ганц. — Когда-нибудь мы возьмем реванш у большевиков. Но тогда уже не повторим ошибки. Будем воевать против них заодно с американцами.

Мацанович переводил речь лагерфюрера на французский, русский, итальянский, польский и сербско-хорватский.

Антон Ганц повторял то, о чем вел речь ночью в шрайбштубе. Он и вверенные ему офицеры, а также солдаты войск СС будут сражаться до последней пули с теми, кто раньше достигнет Эбензее, — с американцами или с русскими. Лагерь станет полем ожесточенного сражения, его наверняка будут бомбить. Теперь он несет полную ответственность перед государствами, чьи граждане здесь находятся, он не хочет бессмысленных жертв, а потому приказывает всем укрыться в штольне № 5.

— Мне был дан приказ, — продолжал Ганц, — перебить всех заключенных. Я отказался выполнить такой приказ. Считаю его преступным. Но хочу избавить вас от опасности.

Ганц говорил будничным тоном, в его приказании нет ничего, могущего вызвать недоверие. Ведь беспрекословное подчинение его приказу в интересах самих узников! Ганц повторил свое приказание и показал рукой в сторону штольни. Идти в штольню следует как обычно, по пять человек в ряду, подчиняясь старостам, соблюдая орднунг.

При словах Ганца Старостин непроизвольно повернул голову и глянул в ту сторону — штольня близко, но за бараками и за лесом ее черный портал не виден. И не доносится сегодня с той стороны подземный гул бурения.

Затем он внимательно поглядел на караульные вышки с пулеметами, направленными на аппельплац.

Какой приказ дан немецким пулеметчикам на случай, если Ганц не сможет подчинить себе надвигающиеся события и лагерь выйдет из его повиновения?

Пока Мацанович переводил последние слова Ганца на несколько языков, Старостин не спускал глаз с лагер-

фюрера. Никогда не видел его таким возбужденным, хотя внешне это почти не проявлялось и о волнении Ганца можно было судить только по тому, с каким огромным трудом ему удавалось казаться спокойным.

Старостин не слышал разноязычного перевода, а вслушивался в тишину, повисшую сейчас над толпой заключенных.

Сколько пришло на аппельплац лагерников, сколько их стояло сейчас на полдороге между жизнью и смертью? Девять, десять, одиннадцать тысяч? Но решалась судьба и всех тех, кто уже не вставал с нар, кто лежит в лазарете.

Сейчас Мацанович закончит перевод на сербско-хорватский, вот он уже умолк.

И на аппельплаце воцарилась на какие-то мгновения мимолетная, непрочная тишина. Каждое мгновение ощущалось во всем объеме, а стало оно емким, вместительным.

В далеком прошлом Этьен уже прожил несколько таких секунд, когда ему сверхъестественно слышна была поступь самого Времени. И только решительное вмешательство помогло склонить чашу весов на его сторону. Тогда он говорил по-русски, а его речь переводил на башкирский Миргасым, молодой чекист из Бугуруслана...

132

Вся деревня собралась за околицей. Башкиры, стоявшие в строю, с недобрым удивлением смотрели на комиссара в черной кожанке и незнакомого башкира в шинели. Оба были без оружия. Башкиры терпеливо ждали их приближения.

Комиссар успел заметить пулемет на правом фланге отряда. У двоих на шинелях тускло блестели офицерские погоны. Не все повстанцы вооружены. Те, кто держал в руках винтовки, карабины, — в первом ряду, а за ними — с пиками, вилами, баграми и всяким дрекольем. «Уж не от пугачевских ли времен сохранился этот арсенал? — успел подумать комиссар. — А к чему багры? Ах, да, ими стаскивают с седел во время конной атаки».

Подходя к деревне, комиссар спросил у своего переводчика Миргасыма, как по-башкирски «Здравствуйте, почтенные старики».

Впереди стояли седобородые башкиры в островерхих шапках. Комиссар подошел к ним, снял кожаную фуражку, пригладил волосы и произнес по-башкирски:

— Иссенмесез, картлар!

— Нам не о чем разговаривать с большевиком! — раздался злобный выкрик по-русски. — Цепляйте его баграми!

И такая тишина окружила парламентера в кожаной куртке, что он услышал, как стучит сердце.

Сколько таких секунд простоял он недвижимо, на полдороге между жизнью и смертью? Вечность!

Седобородый старик, по-видимому самый старший, даже не обернулся на крик офицера, будто не понимал ни слова по-русски, и с достоинством ответил молодому человеку в кожанке:

— Иссенмесез!..

Вчера позвонили по селектору со станции Бугуруслан в дорполитотдел Самаро-Златоустовской железной дороги и сообщили о беспорядках в волости. В нескольких башкирских деревнях вспыхнуло восстание. Волнение вызвано беззакониями, которые совершил начальник продотряда матрос Дымза. Комиссар знал, что Дымза в недавнем прошлом анархист-максималист, и потому сильно встревожился. Дымза ввел продразверстку по всем дворам, реквизировал последнее зерно у бедняков. А кулаки использовали общее недовольство крестьян и начали подстрекать к восстанию. Тут же объявились два офицера-башкира из колчаковских недобитков. Мулла пытался поднять зеленое знамя и объявить газават. Грозили пойти походом на Бугуруслан и поджечь его с четырех сторон, благо в те дни всех красноармейцев оттуда отправили в другой конец уезда, на поимку банды «Черный орел». Однако нашлись благоразумные старосты, которые не поддали под влияние муллы и офицеров, остудили их воинственный пыл и решили ограничиться вооруженной защитой своих деревень от анархии и беззакония. Именно

поэтому комиссар обратился прежде всего к седобородым старостам.

Те пожаловались комиссару, что продотряд бесчинствовал в волости. Лошадей, которых башкиры дали для перевозки зерна, Дымза не возвратил. За каждый пуд добровольно сданного зерна крестьянам полагалась соль, но Дымза этой соли не выдал.

— Такая власть нам не нужна, — гневно сказал старик, перечислив обиды и беззакония. — Мы решили жить по своим законам.

Комиссар обещал, что начальник продотряда Дымза будет отдан под суд за превышение власти и злоупотребления. Он попросил старост послать свидетелей в Самару, в трибунал, и обещал, что их никто не обидит и они беспрепятственно вернутся домой. Он раскрыл истинное лицо председателя сельсовета Мирзабаева, который называл себя не иначе, как «советская власть», но делал все, чтобы ее дискредитировать и опорочить.

Оба офицера и еще какие-то крикливые смутьяны попытались посеять недоверие к комиссару бронепоезда, но строй отряда уже распался, и молодого человека в кожаике окружили тесной толпой крестьяне, вооруженные и безоружные.

Восставшие знали, что бронепоезд стоит километрах в двух от деревни. Если бы в деревню явился вооруженный отряд, дошло бы до кровавого столкновения. А то, что комиссар пришел к ним без оружия, да еще с башкиром-переводчиком, и правдиво рассказал о положении в уезде и в Самаре, вызвало доверие. Он говорил, не надевая фуражки, зябко поеживаясь в черной кожанке, под которой виднелась черная сатиновая косоворотка.

Комиссар прочитал письмо Самарского губкома и губисполкома с просьбой к крестьянам сообщить о всех нарушениях законности для срочного принятия мер. Советская власть никому не позволит заниматься самоуправством, оскорблять национальное достоинство башкир и творить разные безобразия. Он горячо говорил о национальной политике советской власти, о том, как татары и башкиры дружно работают и воюют рука об руку с русскими, о том, что дети в Петрограде умирают от голода,

и о том, сколько соли, спичек, сахара, керосина и мыла получено для крестьян их волости.

Миргасым переводил, не пропуская ни слова, он совсем охрип. И то, что над ним сжалились и принесли ему глиняную чашку с водой, было хорошим предзнаменованием...

Командир бронепоезда Липатов, старый артиллерист, смотрел в бинокль и видел большую толпу на околице деревни. Он долго отговаривал комиссара идти безоружным на переговоры с восставшими. Командир боялся самосуда и готов был каждую минуту прийти на помощь своему комиссару.

Но еще не прошли три часа, какие выпросил комиссар для похода в деревню и мирных переговоров.

Пока же не истекли обусловленные три часа, никому не разрешалось выходить из бронепоезда — ни самарским коммунистам, которые откликнулись на призыв политотдела дороги, ни бойцам из железнодорожного батальона. Не снимали чехлов с орудий, стоящих на платформах, молчали станковые пулеметы в броневых башнях...

Когда бронепоезд вернулся на станцию Самара, он выглядел весьма необычно: орудия на платформах были обложены мешками с зерном. Какой-то большой военный начальник — сказывали, что это член реввоенсовета фронта, — сделал выговор Липатову за то, что тот позволил превратить бронепоезд в элеватор или амбар на колесах. Но когда начальник узнал, что зерно изъято из закромов богатеев, а погрузили мешки сами восставшие башкиры, он примирительно махнул рукой и только спросил — как это удалось? Командир бронепоезда Липатов пожал плечами и показал на молодого человека в кожанке, молодцевато спрыгнувшего с бронированной платформы:

— Спросите сами у комиссара Маневича...

133

Колеблются чаши невидимых весов, вновь счет идет на мгновенья, и каждое мгновенье может обернуться к спасению людей и к их гибели.

Отзвучал перевод на сербско-хорватский. Мацанович умолк, Антон Ганц уже собрался сойти с помоста. Аппельплац замер в настороженной, пугливой тишине.

Старостин решительно шагнул вперед и прокричал по-немецки:

— Никто в штольню не пойдет! Вы хотите там всех похоронить! Мы остаемся здесь! Ни шагу из лагеря!

Генрихов, Мамедов, Шаповалов, Архипов, Додонов, Шахназаров и несколько итальянцев подались вперед и заслонили собой Старостина.

Автоматчики уже взяли его на прицел, ожидая команды.

Свои короткие призывы Старостин выкрикивал без пауз по-русски, по-французски, по-итальянски, по-польски, по-испански.

Сотни людей многоязычными выкриками поддержали Старостина.

Антон Ганц пытался еще что-то говорить. Мацанович переводил, но оба открывали рты совершенно беззвучно.

Антон Ганц судорожно ощупал кобуру, но сделал вид, что только поправил ее на поясе, не решился достать свой «вальтер».

— Не пойдем! — грозно и негодующе гремело на разных языках.

Строй в колоннах сломался.

Тех, кто стоял в первых рядах, подталкивали сзади, и все вместе угрожающе подступали к помосту. Расстояние между цепью эсэсовцев и толпой сократилось, и стало ясно — сколько бы бунтовщиков ни перестреляли сейчас по команде из автоматов, эсэсовцы не уцелеют, будут смяты, растоптаны прежде, чем пулеметы с вышек рассеют заключенных. Эсэсовцев забросают, забьют деревянными колодками. Заключенные разуты, воинственно держат в руках колодки — свое единственное оружие. Но это не такое уж безобидное оружие, когда колодок тысячи, а на карту поставлена жизнь.

Этьен испытал мимолетное сожаление: «Хоть бы товарищи были вооружены пиками, вилами, баграми и всяким дрекольем, как те взбунтовавшиеся башкиры... А то

весь наш арсенал — девять револьверов да несколько гранат...»

Лишь вожаки интернационального подполья, в том числе Соколов, Старостин и Митрофанов, знали, где в этот момент стоят боевые группы: они готовы к ближнему бою, к рукопашной, но — в соответствии с планом — лишь там, по пути в штольню. Впрочем, в такой обстановке кто-нибудь может и забыть о первоначальном плане...

Ганц стоял на помосте бледный, с окаменевшим лицом. Видимо, он еще не решил, как поступить. Обернулся к группе своих подчиненных и обменялся с ними несколькими словами. Старостин не спускал глаз с помощника лагерфюрера Гюнера, по кличке «Рыжая пантера». Палач из палачей, а по виду юноша приятной внешности, атлетически сложенный.

«Рыжая пантера» сердито сказал что-то лагерфюреру, но тот жестом выразил несогласие, и Старостин был счастлив подсмотреть за напускным спокойствием Антона Ганца животный, панический страх — он явно боялся самосуда. Ведь если он прикажет открыть огонь — лавина колодок в одну секунду вышибет автоматы из рук эсэсовцев. А если завяжется рукопашная, если, чего доброго, она дойдет и до самого помоста, — что смогут сделать пулеметчики? Этак очередь скосит и лагерфюрера, ежели ему раньше не проломят череп колодками.

Антон Ганц властно поднял руку, почти как в фашистском приветствии, и, перекрывая грозную разноголосицу и возбуждение толпы, пытаясь держаться прежде взятого спокойного тона, осторожно выбирая слова и скрывая озлобление, принялся убеждать...

Он отдал приказание, руководствуясь соображениями гуманности.

Он заботился о безопасности хефтлингов.

Он пытался избежать лишних жертв.

Ну, а если господа не хотят прятаться в штольне, — ответственность за все, что может произойти, когда бой перекинется на территорию лагеря, ляжет на тех, кто выразил несогласие с его распоряжением.

Сказав это, он разрешил всем разойтись по своим баракам. Разрешение он отдал тоном приказа, чтобы показать — он остался хозяином положения. Антон Ганц знал, что сейчас заключенные охотно послушаются, это и в их интересах. И послушное выполнение последнего его распоряжения сгладит впечатление от того, что лагерь не подчинился его предыдущему приказу.

Сошел с помоста Антон Ганц, за ним ретировались его подчиненные. Пятилась шеренга автоматчиков от помоста. Эсэсовцы отходили медленно, держа автоматы наготове.

Помост опустел, на нем остался только счастливый Мацанович. Все расходились с аппельплаца, радуясь победе.

Старостин мучительно раздумывал:

«На самом деле Антон Ганц подчинился всеобщему протесту и сдался? Или он только коварно отступил и замышляет расправу, будет вызывать себе подмогу?»

Но при всех обстоятельствах Старостин был доволен, что вооруженное столкновение не началось здесь, на открытом аппельплаце, под дулами пулеметов, направленных с вышек. Здесь шансов на конечный успех было все же меньше, чем в рукопашном бою в лесочке возле бараков, как это предусматривал план восстания...

Он надсадно кашлял. Сорвал себе голос, выкрикивая слова протеста, призывая к неповиновению.

Наконец удалось унять кашель, но это потребовало таких усилий, что он еще больше ослабел: сейчас сбить с ног его можно было и шапкой.

Старостин медленно побрел к блоку № 15, товарищи бережно вели его под руки. К нему подбегали узники из других бараков, благодарили всяк по-своему, трясли руки, а экспансивные итальянцы обнимали. Их привел старый знакомый Чеккини, крайне изможденный, но все еще красивый, как в первые дни неволи в Маутхаузене.

Старостину рассказали, что около полудня в барак № 1, в шрайбштубе к Драгомиру Барте, вошла группа эсэсовцев. Последовал приказ: все документы изъять. Набили бумагами мешки, погрузили их на тачку и повезли к крематорию.

В тот момент в шрайбштубе кроме Барты был еще Серж де Мюссак, младший писарь. Барте удалось скрыть от эсэсовцев и спрятать самые важные документы — списки погибших, перечень всех транспортов и команд заключенных, которые прибывали в Эбензее. Барта улучил момент и засунул эти бумаги под куртку, под рубашку. Не успели эсэсовцы довезти мешки до крематория, как документы были перепрятаны Мюссаком и двумя югославами — Милошем Баичем и Любомиром Зецевичем. Опорожнили огнетушитель, туго набили его документами и закопали за бараком. Эсэсовцы в спешке сожгли бумаги, так и не узнав, что исчезли самые важные...

В три часа мимо барака, где лежал Старостин, прошли два эсэсовца, они направлялись от пекарни к воротам. Каждый держал руку на кобуре. Старостин видел в окно, что ни один лагерник не отдал приветствия и не снял перед ними полосатого берета.

Перед вечером испанцы, которые прибирали в домах у начальства, дали знать: Антон Ганц сел в машину со своим догом и уехал. Судя по тому, как он собирался, — возвращаться лагерфюрер не намерен. Говорили, будто он пытался вызвать подмогу по телефону, но убедился, что командованию не до него. Наоборот, у него стали требовать эсэсовцев для обороны какого-то моста. Сюда же прислали только жиденький взвод фольксштурма. Эсэсовцы грузятся на машины и покидают лагерь. Теперь у пулеметов на караульных вышках торчат пожилые фольксштурмисты. Но в лагерь никто из них входить не решается.

Старостин уже успел отлежаться, когда в барак вбежал испанец Антонио, он только что прибежал из пятой штольни.

— Ну и что же?

— Но именно в ту штольню хотел всех загнать Ганц!

— Да, в пятую. Ну и что же?

— А то, что при входе стоит паровоз, а к нему тянется шнур, тщательно засыпанный щебенкой.

Поздно вечером подпольному комитету стали известны подробности, их сообщили итальянцы.

По приказу Ганца в штольню № 5 пригнали паровоз и оставили стоять близ входа, якобы из-за неисправности.

Так вот, паровоз можно назвать одной огромной миной: и холодная топка его, и тендер битком набиты взрывчаткой.

Чеккини, который проведал Старостина, хорошо знаком с саперным делом. Он посчитал — взрывчатки в десять раз больше, чем ее требуется, чтобы засыпать выход из штольни.

— Хватило бы обрушить половину горы. Каменная братская могила! Можете мне поверить, — возбужденно уверял Чеккини. — Я играл в такие игрушки...

134

После ненастных дней, после затяжных дождей впервые светило солнце. Рано утром на дороге, ведущей к городку, появился танк. Старостин видел, как неторопливо, осторожничая, он прошел к окраине городка, но въезжать на узкие улицы не решился и повернул обратно.

Сотни глаз наблюдали за танком сквозь густую колючую проволоку. В изгороди проделали несколько дыр. Кто-то, цепляясь полосатым одеянием за колючки, то и дело пролезал туда и обратно. Узник никак не мог насладиться самой возможностью ходить по той зоне, где прежде его настигла бы пулеметная очередь. Иные падали на колени, целовались, тряслись от неудержимого смеха, плакали. Где взять силы, чтобы пережить такое? Когда радость безмерна, в первые минуты она причиняет острую боль.

Кричали всяк на своем языке, но танкисты и не подозревали о лагере, притулившемся к подножью лесистой горы, ничего не видели и не слышали.

Трое заключенных ушли вниз в долину, чтобы найти танкистов, но вернулись ни с чем — дорога опять пустынна. Еще трое отправились в городок к местному пастору: в лагере многие при смерти и хотят причаститься. Пастор

Франц Лойдль и еще два священника поспешили в лагерь.

Перед полуднем в долине показались бронетранспортеры, следом за ними еле слышно погромыхивали танки. Легкий ветерок колыхал флаги, которыми были расцвечены дома. Красно-бело-красные австрийские флаги развевались сегодня впервые: больше семи лет жила Австрия под игом Гитлера.

В два часа дня на плац въехал легкий танк. Пастор Франц Лойдль так объяснил его появление:

— Это сам Христос пришел в лагерь, чтобы сказать вам, что вы живы и свободны.

— К сожалению, на этот раз Христос замешкался в пути, — сказал Старостин, стоявший рядом. — Для многих он явился слишком поздно.

Второй раз Этьена освобождают американцы, и это не случайно — его загнали на запад, как можно дальше от своих.

Вслед за первым появился второй легкий танк. Заключенные обступили их так тесно, что танкистам некуда было спрыгнуть. Не теряя времени, какой-то уголовник украл у американца пистолет из кобуры, висевшей у того за спиной. Но пистолет быстро нашли и вернули под дружный смех владельцу. Старостин смеялся, пока не закашлялся.

Оказалось, что машины — из третьей танковой армии генерала Паттона. С танкистами прибыл военный корреспондент «Дейли телеграф энд Морнинг пост». Мацанович и Старостин заговорили с ним по-английски. Отвечая корреспонденту, Мацанович сообщил, что больше всего в лагере поляков, русских выжило около двух с половиной тысяч.

Подошел Барта, он принял участие в беседе с военным корреспондентом и дал ему точные сведения. В лагере уцелело 16 650 заключенных, из них больных 7566. Это — по лагерному списку на вчерашний день, но несколько десятков человек умерло вчера, некоторые из них — от счастливого потрясения. Военный корреспондент записал также несколько подробностей, касающих-

ся попытки лагерфюрера Антона Ганца взорвать пятую штольню, загнав туда узников.

Танк с корреспондентом ушел, второй танк остался на плацу. Позже появился джип, за ним пришли машины с продуктами и машина с душем. Походные кухни непрерывно варили кашу. Несколько санитарных машин курсировали между городком и лагерем, увозя больных. Товарищи уговаривали Старостина лечь в лазарет, но он не хотел расстаться со своими.

В тот же день началась эвакуация лагеря. Первыми увезли американцев, англичан, к ним присоединились китаец и бразилец, неведомо какими путями попавшие в Эбензее. Далекая, однако, у них путь-дорога на родину!

Наступила очередь французов. Они построились в колонну. Старостин самым сердечным образом распрощался с Жаном Лаффитом и с папашей Анри, который нес сине-бело-красное французское знамя. Старостин и сейчас разгуливал в деревянных колодках папаши Анри.

На исходе дня был создан русский комитет, его возглавил генерал Митрофанов. Стало известно, что местные власти предоставили в распоряжение советских офицеров трехэтажный Спорт-отель в Штайнкоголе. Это по соседству, на берегу реки Зее, завтра все туда переберутся.

Подпольный комитет — бывший подпольный! — создал лагерное самоуправление и пытался противостоять анархии.

Это было нелегко. Некоторые капо и уголовники, прославившиеся как палачи и не успевшие сбежать, стали жертвами самосуда. Но самые большие злодеи успели скрыться. В их числе был и Лоренц.

Старостин, несмотря на скверное самочувствие, взял на себя руководство поисками Лоренца. Весь лагерь был встревожен бегством Лоренца, первого помощника старосты Магнуса, в чьей комнате теперь собрался бывший подпольный комитет.

Фашисты нарочно держали в лагере вместе и многих выдающихся деятелей, и человеческие отбросы вроде Лоренца — здесь было полтораста уголовников, преимущественно из самой Германии.

Уголовники утверждали: Антон Ганц и Лоренц заключили между собой тайное соглашение о дележе награбленной добычи. Лоренц высматривал среди заключенных тех, у кого были золотые зубы. Он вырывал их плоскогубцами, а затем убивал ограбленных. Как правило, Лоренц грабил и убивал по ночам.

Старостин попросил Драгомира Барту показать ему карточку Лоренца из утаенной картотеки. Любопытно, откуда взялся такой зверь, притворившийся человеком?

Лоренц Дейлер. Заключенный № 866. Родился 23 октября 1898 года. Пекарь. Евангелист. Место рождения Обермюльталь. Чистокровный ариец. Разведен, есть ребенок. Второй староста лагеря. Зеленый винкель (уголовник).

Почему-то Старостину неприятно было узнать, что он и Лоренц — одногодки...

Выяснилось, что Лоренц скрывался в лагере и после того, как оттуда сбежали эсэсовцы. Двое суток он просидел в мусорной яме, за крайним бараком, подступающим к проволочному заграждению. Ночью Лоренц вылез из мусорной ямы и принялся рубить проволоку топором. Его заметили, когда он уже успел прорубить себе лаз. За ним погнались, но догнать не смогли. Лоренц скрылся на горе, густо поросшей ельником. Нужно принять во внимание, что Лоренц и в лагере питался отлично, а его преследователи не могли бежать в гору.

Старостин тоже хотел принять участие в облаве на Лоренца, но его отговорили, и тогда он разработал подробный план погони. Он сколотил группу для поимки Лоренца, вооружил всех и отправил в горы, к тому перевалу, через который ночью попытается, возможно, перейти Лоренц. Вторую группу, также вооруженную карабинами, отобранными у фольксштурмистов, он направил в городок Эбензее. Лоренц может спрятаться где-нибудь в городке, выдав себя за освобожденного политического, не исключено, что он успел еще в лагере сменить свою куртку с зеленым винкелем на куртку с красным винкелем.

Допоздна сидел Старостин у входа в блок № 15, поджидая своих связных.

— Есть Христос, он найдет палачей и отомстит, — сказал сидевший рядом пастор Франц Лойдль.

— К сожалению, Христос и на этот раз оказался нерасторопным, — усмехнулся Старостин. — Боюсь, он опять опоздает с помощью. У нас в России говорят: на бога надейся, а сам не... — Он на секунду задумался, не зная, как точнее перевести на немецкий «не плошай», ничего равноценного не нашел и сказал:

— ...а сам не делай глупых ошибок.

135

Вечером лагерь был подобен огромному бивуаку. У иных бараков горело по нескольку костров, а бараков четыре десятка.

Эсэсовцы нарочно расселяли по разным баракам людей одной национальности, чтобы меньше было контактов между ними, чтобы люди хуже понимали друг друга. А перед эвакуацией в лагере состоялось великое переселение народов. Сселялись вместе итальянцы, испанцы, русские, югославы, венгры, поляки.

Электричество погасло, воды нет. В холодной пекарне не осталось ни горстки муки. Каждому заключенному насыпали муку в котелок, выдали несколько порций эрзац-кофе, немного повидла и маргарина. Продукты развозили на ручных тележках под охраной, были случаи нападения на тележки. Югославы и русские выставили охрану у продуктового склада: его тоже пытались разграбить.

Самые аппетитные запахи доносились от костров, где русские пекли блины. И пусть блины из темной муки, смешанной с отрубями, — нет и никогда не было блинов вкуснее!

Русские пекли блины и пели. Их голоса разносились в тишине теплой майской ночи. Художник Милош Баич подошел к костру, вокруг него полусидели-полулежали товарищи. Баич принялся угощать сигаретами из посылки Красного Креста. Старостин отказался; он давно некурящий.

— А вас чем угостить? — спросил Старостин.

— Русскими песнями.

Пели «По долинам и по взгорьям», «Стоим на страже всегда, всегда», затем кто-то робко и неуверенно затянул про девушку Катюшу. Старостин этой песни никогда не слышал, но вокруг ее подхватили. Едва песня зазвучала громче, к костру подошли итальянцы. Они жадно включились в хор, заглушив голоса русских. Старостин разобрал слова припева: «Пусть развалились сапоги, но мы идем вперед».

Кто-то из итальянцев удивился: откуда русские знают их партизанскую песню «Дуют ветры»? И начал горячо доказывать, что это боевая песня бойцов Сопротивления Ломбардии. Старостин увидел Чеккини, помахал ему рукой и предложил место рядом.

Итальянцы спели песню заново и по-своему — они и не знали, что военные ветры занесли к ним эту мелодию из России. Затем они разбрелись кто куда, у костра стало тихо.

— Хотел спросить вас, Чеккини, еще тогда. Не воевал ли в вашей бригаде невысокий парень с партийным именем «Бруно»? Его подлинное имя Альбино. Родом из Новары.

— Бруно, Бруно... — Чеккини пожал худыми плечами и сказал раздумчиво: — Какой-то Бруно командовал отрядом в провинции Модена.

— Модена? — удивился Старостин.

— Мы партизанили там еще до Милана. С осени сорок третьего года. Городок Монтефиорино был столицей партизанской республики. Позже мы пробились из-под Модены в горы провинции Болонья...

— Я старый житель провинции Модена. Три года без малого прожил в Кастельфранко дель Эмилия.

— Отряд Бруно выполнял самые важные приказы нашего командующего Марио Риччи, — продолжал вспоминать Чеккини. — Взрывали мосты. Нападали на склады и обозы. Карали карателей. Устраивали и другие диверсии... Помнится, командир Бруно был невысок ростом, крепок в кости, носил испанскую шапочку, заломленную

набок... А долго ваш приятель сражался в Сопротивлении?

— Этого я не знаю. Но знаю, что такой парень не мог ни одного дня оставаться в стороне от войны с нацистами.

Чеккини с гордостью рассказал, как храбро воевали в Модене русские военнопленные солдаты и офицеры, сбежавшие из концлагерей. Они особенно отличились при штурме средневекового замка Монтефиорино. Самым умелым, самым дерзким, самым храбрым был русский офицер Владимир Переладов. Позже под его командой воевали больше ста русских солдат и офицеров. В селах провинции по соседству с партизанской зоной фашисты расклеили тогда приказ коменданта Модены, отпечатанный в типографии:

«300 тысяч лир предлагает немецкое командование за голову сталинского шпиона, заброшенного в Италию с целью установления советской власти, капитана Владимира Переладова.

Вознаграждение будет выплачено немедленно тому, кто живым или мертвым доставит в военную комендатуру Модены этого русского бандита».

С тех дней, когда батальон Переладова вместе с гарибальдийской бригадой и отрядом «Стелла Росса» штурмовал в первых числах июня городок и средневековый замок Монтефиорино, и до тех трагических дней, когда партизаны, окруженные карателями, вынуждены были оставить свою партизанскую столицу, русские были товарищами по оружию, и с той поры Чеккини числит себя их другом.

Оба помолчали, не отводя глаз от костра, и Старостин неожиданно спросил:

— Она была очень набожная, та синьорина из Милана, о которой вы мне рассказывали?

— Да, молилась за весь отряд... Говорят, влюбленные не верят в горе, у них притупляется чувство страха. Вот так было и со мной. Как рисковал! И всегда ходил на диверсии вдвоем с удачей. Все у меня получалось! У меня тогда будто крылья выросли за плечами, — он покосился на свое исхудавшее плечо, которое просвечивало

сквозь жалкие лагерные отрепья. — А потом вдруг черные рубашки схватили наших перед диверсией. Ясно, каратели раньше пронюхали обо всем. И тут выяснилось: доверчивый партизан Джанкарло исповедался накануне святому отцу, а тот нарушил тайну исповеди и донес. Невесело было идти на новую операцию после такого провала. Мы с Рыбкой рядом на коленях стояли в церкви. Я, помню, шепнул ей: «Помолитесь за меня, Рыбка, вы набожная». Портфель мой лежал на мраморном полу, прямо из церкви мы уходили на задание. Рыбка мне говорит: «Боюсь, после расстрела Джанкарло и других мои молитвы бог уже не услышит... Можно отмолить любой грех, но как отмолить само сомнение? У кого просить прощения, когда сомневаешься в самом существовании святого духа?» И вот, слышу, молится она. Только не так, как нас учили на уроках закона божьего, а по-своему: «Боже, если ты есть! Спаси наши души, если они есть!» Взял я свой портфель с динамитом, вышел из церкви, и больше мы никогда с Рыбкой не виделись.

— Как? Как она молилась?

— Спаси, боже, если ты есть, наши души, если они есть, — повторил Чеккини.

— Она так и не сказала вам своего имени?

— О, я был бы счастлив его знать.

— Может быть, Джаннина?

— Право, не знаю.

— Красивая девушка?

— О, настоящая мадоннина.

— Как она выглядит?

— Легче описать внешность, когда есть хотя бы маленький изъян. Труднее описывать очень красивую.

— А сколько ей лет?

— О, она не девчонка. Года двадцать два — двадцать три. Говорили, у нее был жених, но она от него отказалась...

— Боже, если ты есть! — совсем неожиданно сказал Старостин. — Спаси ее душу, если ты не разучился уберегать людей от гибели и делать добро.

Они беседовали так долго, что забрезживший рассвет

уже обесцветил и превратил в желтые плошки все негасимые костры и костерки. Около них по-прежнему полусидели-полулежали люди, которые впервые ночевали на свободе.

— Дай бог, дай бог, чтобы она осталась жива, — твердил Чеккини, перед тем как понуро отошел от костра.

136

Костер погас, золу и угли покрыла чернота остывания. Предутренний холод заставил всех искать приюта в бараках, на своих нарах.

Но разве заснешь в первую свободную ночь? Старостин и Мамедов вышли из барака, и они не были единственными, кто бродил сейчас между бараками.

Сегодня их переведут в Штайнкоголь, в Спорт-отель, и Старостин решил напоследок пройтись по лагерю.

Страшное зрелище открылось в северо-западном углу лагеря. Рабочие крематория разбежались, печи погасли, и возле них — сотни и сотни несожженных трупов.

Старостин чувствовал себя так, будто попал в преисподнюю. Он сильно разволновался, на впалых щеках ходили желваки, искусал себе губы. Вспомнилась последняя речь лагерфюрера Антона Ганца, в которой он осквернил слово «гуманизм».

На стене крематория Старостин прочитал четверостишие. Краской по штукатурке было аккуратно выведено:

Прожорливым червям я не достанусь, нет!
Меня возьмет огонь в своей могучей силе.
В сей жизни я всегда любил тепло и свет, —
Предайте же меня огню, а не могиле [1].

Последнее, что мог прочесть на этом свете каждый, кого гнали в крематорий. Издевательством звучало и то, что это было написано от имени обреченного, будто он

[1] Перевод с немецкого А. Смоляна.

сам просил о сожжении, «любил тепло и свет». Да, да, так и было написано: «die Wärme und das Licht».

Эсэсовцы пытались засадить за колючую проволоку и музу поэзии Евтерпу!

Старостин несколько раз подряд прочел четверостишие, как бы присыпанное человеческим пеплом... Потом торопливо сказал Мамедову, стоявшему рядом:

— Идем отсюда скорей. Нечем дышать. Не могу здесь больше...

Безветренной, тихой ночью не так слышен был трупный запах, а сейчас, когда подымалось майское солнце, долго стоять возле крематория было невмоготу.

Старостин вышел за лагерные ворота. Он с удовольствием шагал вдоль колючей изгороди, с внешней ее стороны. Такие же чувства владели им, когда он в компании с Лючетти и Марьяни обходил вокруг эргастоло на Санто-Стефано.

Слышно, как шумит водопад у озера, из леса доносятся птичьи голоса, и Старостин больше не завидует заключенному, который так ловко умел ставить капканы и силки.

Шел он медленно, пристально всматривался во все, что видел, вслушивался во все, что слышал. И прислушивался — не доносится ли канонада с востока?

Он наслаждался жизнью и жадно впитывал впечатления нового дня. Альпийские луга уже зацветали и расцвечивались. Все вызывало его восторженное внимание — и козы в долине, и альпийский колокольчик на ошейнике у коровы, и цветы в палисаднике опустевшего дома, откуда сбежали эсэсовцы. Несколько раз он предлагал Мамедову:

— Может, отдохнем? Торопиться-то нам некуда.

Даже медленная ходьба вызывала одышку, он останавливался, жадно лакомился свежим воздухом и часто закашливался; видимо, все-таки продрог ночью...

Утром каждому вручили на дорогу посылку Красного Креста: банка свиной тушенки, банка сгущенного молока, пачка галет, масло в тюбике, плитка шоколада, кусок мыла, носки и пакетик с бритвенными лезвиями.

Повсеместно устраивались прощальные завтраки, и после второго или третьего завтрака к Этьену пришло, наконец, ощущение сытости. Ему показалось, что он будет сыт до конца своих дней.

Священники всех вероисповеданий сообща отслужили панихиду по погибшим. В лагере каким-то чудом выжили и раввин и служитель греческой церкви.

Утро прошло в прощаниях и проводах. Уехали испанцы, за испанцами оставили лагерь итальянцы. Несколько итальянцев нарочно уехали в отрепьях, смутно напоминавших военную форму.

Не думал Старостин, что так разволнуется, прощаясь с Чеккини. Старостин был счастлив за этого красивого молодого человека. На днях он увидит родных, близких и, может быть, найдет синьорину, которую мечтает назвать своей возлюбленной.

Чехи раздобыли повозку, запряженную лошадью, сложили свои пожитки, посылки Красного Креста и двинулись за повозкой, над которой водрузили самодельный национальный флаг. Часа в три дня Старостин распрощался с Драгомиром Бартой и снова был счастлив за хорошего парня, он вернется в Прагу, как с того света.

День теплый, однако Старостин чувствовал озноб и не снимал макинтоша, который ему подарили французы. Он застегнулся на все три пуговицы, поднял воротник, руки засунул в карманы. И все-таки зябко.

Перед вечером покинули лагерь русские. Старостин был в группе офицеров, которым предстояло перебраться в Штайнкоголь. Путешествие в несколько километров не должно его особенно утомить: дорога почти все время будет идти под гору.

Уходя, Старостин проверил — известно ли остающемуся дежурному по лагерю их будущее местонахождение. Он всё ждал, что с часу на час приедет представитель Советского командования, и боялся, что их не сразу найдут. Кроме того, он с нетерпением ждал возвращения группы, которую снарядил в погоню за Лоренцом.

Он шагал с товарищами и думал о тех, кому так и не привелось ступить на порог свободы.

137

Вечером он принял горячую ванну, лег спать на кровать с пружинным матрацем, положил голову на мягкую подушку и укрылся одеялом; на нем чистое белье из посылки Красного Креста.

Большая комната в три окна, восемь кроватей. Соседи встали, а он неприлично заспался. Оделся, съел завтрак, который Мамедов оставил на тумбочке возле кровати, распахнул настежь окно и сел у подоконника. Из окна виднеются елки, левее три молоденькие березки.

Благодатное утро, а ему так трудно дышать. Может, в комнате духота, накурили?

Он решил немного прогуляться. Вчера Боярский по его просьбе вырезал суковатую палку. Никогда прежде Этьен с палкой не ходил: силе и молодости подпорки не нужны. Он вспомнил, что в Париже, в сквере Вивиани, стоит на подпорках престарелая акация; парижане говорят, что ей четыреста лет...

Из маленького поселка Штайнкоголь, где Спорт-отель — самое приметное здание, видны те самые горы, на которые он так часто смотрел из лагеря. Но теперь горы будто стали ближе и доступнее. Белым венком последнего снега они окаймляли долину. Этьен давно заучил названия окрестных гор: Хёлленгебирге, Эрнакоголь, Зонннштайн, Эйбенберг, Бромберг, Хохеншротт и гора затейливого профиля — Спящая Гречанка.

Солнце припекало по-летнему, оно высушило росу на альпийском лугу. Этьен вернулся в Спорт-отель, подошел к окну, благо их комната на первом этаже, и попросил кого-то из своих вынести матрац, одеяло и подушку. Ему безудержно захотелось полежать на молодой изумрудной траве, вдоволь надышаться запахами прогретой земли, трав, полевых цветов, новорожденной листвы. Так он скорее избавится от озноба, который никак не отставал от него в бессолнечной комнате.

Над головой — нетронутое, отныне безопасное майское небо. Одно-единственное облачко оттеняет его голубизну.

Недавно Драгомир Барта начал заниматься русским языком. Он завел тетрадку и вписывал в нее русские слова. Какое же слово Барта попросил Старостина назвать самым первым?

«Небо»!

А вслед за словом «небо» он вписал в тетрадку: «Облака», «Воздух», «Земля», «Сердце», «Гора», «Вода», «Хлеб».

Этьен прилег, накрылся. Но как согреться? Это началось после того, как их гнали на станцию, на разгрузку картошки, недели две назад. Кажется, он продрог под тем холодным дождем навсегда. К нему прижился озноб, от которого никак не избавиться.

Не найти в траве того, что потерял в студеных лужах, в стылых карцерах, на окровавленном снегу лагеря...

А может, если ему начнут давать хорошие лекарства, удушье отстанет? Теперь делают какие-то спасительные операции легочникам, он даже слыхал, как называются эти операции: торакопластика. Но надо еще додышать, добраться, доковылять до того магического операционного стола, дожить до операции и выжить после нее...

Мечтая о жизни, он одновременно каким-то краешком сознания понимал, что занимается самообманом, убаюкивает себя надеждами. Кто назвал надежды «воспоминаниями о будущем»?

В последние дни обозначился рубеж между ним и соседями по нарам, а сейчас — по комнате, такими же дистрофиками, как он. Изможденные люди быстро набирались здоровья. Его кормили даже лучше, но он оставался во власти каких-то недобрых сил, которые не позволяют поправляться. Этого почему-то не замечают даже близкие товарищи. Или делают вид, что не замечают?

Он признался себе, что весна не пробуждает в нем новых сил, как бывало прежде, и не радует. Наверное, потому, что каждая прожитая весна бывала очередной весной, а сейчас он чувствовал, что эта весна — последняя.

Он любовался окружающим его альпийским пейзажем, жадно вслушивался в пение, гомон и щебетание птиц — они доносились с той стороны, где на краю луга,

напротив их окна, растут три несовершеннолетние березки совсем русского обличья. И травы совсем нашенские, русские, — вот клевер, вот пырей, вот одуванчик, — будто лежит он где-то на лужайке в белорусском Заречье или на берегу реки Самарка.

Он благословлял в поле каждую былинку. Но расцветающая природа, все богатство красок, запахов и звуков не вызывали в нем душевного подъема, какой являлся прежде в такие минуты...

Из-за скверного самочувствия увядали мечты, таяли надежды и планы, обрывала свой полет мысль.

Он вгляделся в бело-желтые цветы земляники и уличил себя в мысли, что ягод уже не увидит и не полакомится ими: поспеют через месяц, полтора.

Снег лежит на причудливом силуэте горы, будто на голове и груди Спящей Гречанки. Она так похожа сегодня на один из отрогов Кавказского хребта. Горная цепь совсем такая, какой он любовался с аэродрома под Тифлисом.

Далекие-далекие белые пятна, а вот сожмет ли он когда-нибудь в руке комок податливого снега, услышит ли его веселый скрип под ногами, ощутит ли запах снега, схожий с запахом арбуза, придется ли ему в жизни еще померзнуть? Хорошо бы! Это означало бы, что он доживет до будущей зимы, может быть до многих зим. Последние зимы, прожитые в тюрьмах Италии и в Австрийских Альпах, были отравлены вечной невозможностью согреться. Холод здесь приносил только страдание. А когда-то он любил русскую зиму и скучал по ней, если судьба забрасывала его зимой на юг. Вот бы еще раз в жизни почувствовать, как мороз щиплет уши, нос, пальцы ног!

Не хотелось, ох как не хотелось признаться себе, что ты — доходяга, что жизнь уже израсходована. Тебе уже трудно представить ощущения здорового человека. Ты забыл о том, каково бывает людям при хорошем самочувствии. И как сумел ты притерпеться к голоду, так привык сейчас к непроходящей боли в груди и привязчивой, неотступной слабости. А если сегодня ты страдаешь меньше, чем накануне, то лишь потому, что у тебя не осталось сил для страдания.

Пришли на ум строчки, которые еще юношей он слышал от старшего брата. Кто знает, из какой царской тюрьмы или сибирской «пересылки», с какого этапа, из какого каторжного централа родом эти слова? В кровавом зареве пожарищ погиб еще один товарищ!..

На похоронах Джино Лючетти он сказал: «Жестокая, несправедливая смерть». Он мог бы произнести эти слова о самом себе. Дождаться свободы, когда совсем не осталось сил, когда нечем жить, — разве справедливо? Был ли смысл в том, чтобы из последних сил, надрываясь, прожить несколько дней на свободе? Жить, когда не осталось сил чувствовать себя счастливым самому и ты настолько бессилен, что не можешь дать счастье близким, а принесешь им только страдание?

Может, было бы менее мучительно — вовсе не выйти из лагеря, не бередить себе душу прикосновением к свободе, уже недосягаемой, недоступной?

Нет, все-таки прожить несколько дней на свободе!!!

Какая несправедливость! Когда открыты все замки, за которыми его держали восемь с половиной лет, у его изголовья появился самый жестокий, самый несговорчивый ключник. Как там у Данте в его «Пире»? И смерть к груди моей приставила ключи.

Он задумался о судьбе Антонио Грамши, который после долгих лет тюрьмы прожил на свободе всего несколько дней.

Этьен прикинул: ему сейчас столько же лет, сколько было Грамши, когда тот умер, — сорок шесть. Один и тот же судья Сапорити судил его и Грамши в Особом трибунале по защите фашизма. Сколько лет прошло между приговорами? Около восьми. Может, в 1928 году Сапорити еще не дослужился до корпусного генерала? Сколько же ему пришлось вынести приговоров для того, чтобы стать кавалером гранд-уфичиале?

Этьену еще повезло с амнистиями. Только в связи с рождением внука Виктор-Эммануил обещал Этьену четыре года жизни. Но даже если тот отпрыск королевского рода переживет своего дедушку и папашу, он уже не вскарабкается на итальянский престол, придется доживать в эмиграции. Сколько же сейчас лет младенцу-спаси-

телю? Лет шесть-семь. Если малолетнее высочество не тупица, оно уже научилось читать и писать. Как бы то ни было, принцесса разродилась ко времени... Впрочем, амнистня-то осталась на бумаге...

Нет человека на белом свете, кому была бы известна вся тюремная географня Этьена: Милан — Турин — римская «Реджнна чели» — Кастельфранко дель. Эмнлия — пересыльная тюрьма в Неаполе — Санто-Стефано — крепость в Гаэте — снова Кастельфранко дель Эмилня — Вена — Маутхаузен — Мельк — Эбензее...

И сколько его память, пребывавшая за решетками, засовами, запорами, замками и колючей проволокой, хранит примеров человеческой низости и человеческого благородства, бескорыстия н алчности, предательства и дружбы. Из друзей в серо-коричневой одежде он чаще всего с любовью и нежностью вспоминал Бруно, Лючетти, Марьяни. И всех троих он незаслуженно обидел, не сказав им всей правды о себе, правды, которую друзья тысячу раз заслужили.

Вот уж кому не угрожает нзвестность, а тем более слава, так это военному разведчику. И закономерио, что наш народ не знает людей той профессии, к которой принадлежит Этьен. Да н как народу знать их фамилии, когда они самн нередко вынуждены забывать свон имена, фамилин, адреса, отказываются от одних, заменяют другими?

Лет двадцать назад отец сказал ему при прощанин: «Приезжать сюда, в Чаусы, в отпуск ты не можешь. Но хоть какой-ннбудь адрес у тебя есть? Или адрес так быстро меняется, что мое письмо тебя не сможет догнать?» «Адрес у меня как раз постоянный, — отшутнлся Левушка. — Земля, до востребования».

Стало стыдно, что он так редко вспоминал отца. Ему рассказывали, что отец в последние дни жизни сильно тосковал, все хотел повидаться с младшим сыном, проститься, а Левушка уже давио стал Этьеном и был за тридевять земель от родных Чаус. Он уже не помнит, где тогда был — в Китае или во Франции, в Маньчжурни или в Германии, в Швейцарии или в Италии?

Сколько лет назад он в последний раз получил обыкновенное житейское письмо, в котором не было никаких иносказаний, недомолвок, намеков, ничего не нужно было читать между строк? И чтобы на конверте были написаны его имя и его адрес?

Прежде он был убежден: нет ничего трудней, чем воевать в безвестности, как пришлось ему и его однокашникам, коллегам. Но он познакомился на лагерных нарах с партизанами, подпольщиками и узнал, что бывает испытание еще горше. Такому испытанию подвергался тот, кто оставался в тылу врага и, если требовало святое дело борьбы, становился немецким старостой, ходил в бургомистрах, выслуживался в полицаях, приобретал грязную репутацию иуды. Прежде Этьен думал, что самое трудное — бороться в одиночку, на чужбине, в окружении чужих людей, говорящих на чужом языке. Но еще тяжелее судьба того, кто воюет на своей земле, среди своих, но вынужден до поры до времени притворяться предателем, вызывая к себе ненависть и презрение честных людей, даже самых близких.

Никогда товарищи по лагерю так много не думали и не говорили о будущей жизни, как в последние дни, ступив на порог свободы. Их прошлое пристально и страстно вглядывалось в будущее, а настоящего как бы и вовсе не было. Когда же сам ты не смеешь строить планы на будущее, то непрестанно возвращаешься мыслями к прошлому, перелистываешь его, зорче вглядываешься, правильнее оцениваешь. Когда ты лишился возможности исправить ошибки прошлого, то особенно упорно думаешь о каждом промахе, каждой глупости своей, которых можно было остеречься, избежать.

Он слабел, но память его не тускнела, сохраняла тренированную остроту и точность. Память оставалась его силой, его единственной силой. В Маутхаузене, Мельке и Эбензее он, в дополнение к шести языкам, которые знал раньше, начал говорить по-чешски, по-польски, по-сербски. Он помнил чуть ли не каждую радиопередачу, принятую в бараке у Куно. Он все еще помнил шифр, каким пользовался в последние дни перед арестом, а также в Кастельфранко. Шестьсот узников прозябало в бараке

№ 15 в Эбензее, и больше половины их он помнит по именам и номерам. Он заучивал наизусть протоколы подпольного центра.

Жаль, нельзя наделить своей памятью никого другого, память нельзя подарить, передать по наследству молодому разведчику, который его когда-нибудь заменит на посту.

Со всех сторон окружали сегодня воспоминания. Они подступали к самому сердцу, удивительно ясные, отчетливые, стойкие, и подолгу не ускользали из сознания.

Вспомнилась и последняя записка, которую он послал домой: «Надюша, милая, береги себя. Может все случиться в моей жизни, и тебе придется одной воспитывать нашу дочь. Воспитай ее честным, правдивым человеком, настоящим коммунистом».

Несколько дней живет на свободе Яков Никитич Старостин. Но после освобождения Этьен все в меньшей степени ощущал себя Старостиным, не всегда ощущал себя даже Этьеном и все больше становился самим собой. Может, это объяснялось тем, что сейчас он думал о своей жизни с самых юных лет? Или дело тут в том, что комбриг Маневич вынужден уйти в отставку по состоянию здоровья?

Кем он был в последние годы?

Этьен. Конрад Кертнер. Узник № 2722. Чинкванто Чинкве. Арестант № 576. Яковлев, который прожил несколько предутренних часов в арестантском вагоне, пока в гестаповском списке не появился Яков Старостин. Заключенный R-133042. А последние три дня — снова Яков Никитич Старостин.

Но сам-то он знает, что не освобожденный из неволи R-133042 израсходовал свою жизнь без остатка, а Лев Маневич.

Жизнь вызвала его на очную ставку с самим собой, независимо от того, как его сейчас называют окружающие и под какой фамилией он живет на белом свете.

Когда-то, будучи совсем молодым человеком, комиссаром бронепоезда или слушателем первых курсов военной академии, он говаривал не без юношеской рисовки:

«Я — выходец из прошлого века». А сейчас он ощущает на своих согбенных плечах тяжесть всех лет.

Кто знает, будь он вдвое моложе, у него хватило бы сил превозмочь недуг? Он вновь вспомнил милого парня и дерзкого подпольщика из шрайбштубе Драгомира Барту. Столько перестрадал, приехал в Эбензее с самой первой партией заключенных, до того сидел в Маутхаузене. А вернется в свою Злату Прагу двадцати четырех лет от роду.

Хорошо, что дома, в Москве, нет и не будет его фотографии последних лет. Пусть Надя и Таня вспоминают его таким, каким он уехал тогда с Белорусского вокзала, в международном вагоне Москва — Негорелое — Берлин. Пусть близкие не увидят его на фотографии сутулым, седым, с залысинами, с обострившимся носом, с острыми скулами, с запавшими щеками и таким худым, что вес его немногим отличается от веса скелета, а сквозь живот можно, кажется, прощупать позвоночник. На снимке, который остался висеть дома, он — молодцеватый, непринужденная поза, в прекрасно сшитом костюме и в модной шляпе борсалино, надетой, как того требовали правила хорошего тона, чуть-чуть косо.

Пришлось повозиться со шляпой после всех кожаных картузов, фуражек, буденовок, танковых и лётных шлемов. А тем, кто не привык к цивильной одежде, не научился как следует носить шляпу и не освоил штатскую походку, Старик вообще запрещал носить форму и ходить в сапогах, чтобы раз и навсегда сбить ребят со строевого шага. Вот уж что у тебя сейчас, товарищ комбриг, никак не проглянет, так это военная выправка.

Он повернулся на бок и поискал глазами свою палку — лежит рядом на траве, стоит только протянуть руку...

А растут ли на этом лугу съедобные травы? Только этой весной он научился узнавать, находить их — дикая мята, щавель, цикорий, подорожник, заячья трава. Сорвал пучок сочной травы. Когда и где он уже вглядывался так внимательно и долго в травинки? Вспомнил! Клочок лётного поля, вырванный колесом шасси в момент взлета и унесенный ввысь. Летит авиатор Маневич,

наблюдает за землей, а нет-нет и взглянет краешком глаза на зеленый пучок травы, прицепившийся к колесу. Недолго вращалось колесо в воздухе после разбега по земле...

В полузабытьи он взлетел на «Р-5» с аэродрома под Тифлисом и взял курс на Баку; рядом сидел командир эскадрильи старший летчик Вернигород и одобрительно кивал стажеру из Воздушной академии. Взлетел он на «Р-5», но полет продолжал на «летающей стрекозе»; под ними в облачных просветах Милан, а на месте Вернигорода сидит строгий Лионелло в кожаных доспехах. Взлетел с Лионелло, но почему-то очутился в воздухе вдвоем с Агирре в кабине «бреге», где дует сумасшедший сквозняк. Агирре убрал после взлета исправленное Кертнером шасси, и зеленый пучок подмосковной травы стал невидим в испанском небе. Как он умудрился пересесть в воздухе из «бреге» в «юнкерс», который пилотирует Муссолини? Они летят из Винницы в Берлин, под крылом — поля Украины. Чинкванто Чинкве сидит на месте штурмана в полосатой серо-коричневой робе каторжника. А когда он ушел в полет на нашем скоростном бомбардировщике? Хвалю конструктора за стеклянный фонарь впереди, штурман может лишь мечтать о таком обзоре из кабины! В пол, под ногами полковника Старостина, ввинчен тот самый «примус» — новейший прицел для бомбометания. Может, наши самолеты набрали наконец и высотёнку и скоростёнку? И скафандр, и кислородная маска могут пригодиться и в герметической кабине, а в слепой полет можно отправляться без опаски.

Мысленно он развертывал сейчас толстые свитки чертежей, перебирал листки, мелко испещренные секретной цифирью. Хотелось думать, что не остались лежать втуне все эти драгоценные, отчаянно важные сведения и материалы. Ему страстно хотелось думать, что не напрасно он мучился все годы, что хоть в малой мере сопричастен к Победе, что в Победе есть крупица и его труда, что окупились страдания, какие он причинил близким и перенес сам.

Он отдавал себе отчет, что многое в его донесениях устарело. Уже давно, с сентября прошлого года, когда

в Англии в Чизвике упал первый снаряд «Фау-2», он взволнован этим событием. Только подумать, дальнобойная ракета поднялась на 70 миль! Он понимал, что наступает революция в авиационной науке. Да, будущее за теми снарядами, которые не нуждаются в воздухе для своего полета, которые поднимут войну в безвоздушное пространство. И так хотелось думать, что наши военные изобретатели не отстали от немецких.

Ну, а то, что ему не удалось, уже никогда не удастся сделать. Все, все в жизни нужно делать вовремя. Очень редко удается наверстать то, что было потеряно, упущено...

Он снова и снова напряженно возвращался мыслью к вопросу: какой ценой добыта Победа? Больше всего жертв принес советский народ, он вынес на своих плечах самую тяжелую ношу. Потери победителей неизмеримо больше, чем побежденных, — может быть, в три-четыре раза больше.

Но сколько бы дней ни осталось ему прожить, Этьен счастлив, что дожил до Победы и пережил Гитлера, которого и человеком-то нельзя назвать. Человекообразный зверь, у которого «дикарь-камень вместо сердца», как говорил сапер Шостак.

В прошлом году, в день рождения Гитлера, 20 апреля, всем им в Маутхаузене выдали по лишней порции баланды с ломтиком хлеба. А в этом году эсэсовцы в Эбензее сами забыли отметить дату — не до того было. Гитлер отпраздновал свадьбу с Евой Браун на следующий день после того, как был расстрелян Муссолини. А через два дня новобрачные покончили самоубийством. Гитлер умер бездетным, но сколько он оставил после себя духовных наследников! В польском языке есть такое точное слово, им называют ребенка, родившегося после смерти отца, — «погробовец», ни по-русски, ни по-немецки так точно не скажешь. А тот, в эсэсовской форме, кто прилежно малевал на стене крематория рифмы «Licht» и «nicht», — наследник Гитлера. Разумеется — если пережил своего фюрера. Будут, наверно, и настоящие «погробовцы» — те, кому изуверские идеи разных фюреров полюбятся позже. Может быть, даже много лет спустя.

В начале тридцатых годов Этьен видел в Гамбурге, как штурмовики избивали бастующих, и рвался на их защиту. В Испании он жаждал защищать от франкистов молодую республику. Позже, в Италии, он мечтал участвовать в движении Сопротивления, воевать в рядах гарибальдийцев. Узнавая плохие новости с Восточного фронта, он всеми мыслями и чувствами был в числе командиров Советской Армии на поле боя.

А после того, как прошел все девять кругов фашистского ада, он не мог бы мстить за один народ. Фашизм не щадит все народы, в том числе и немецкий, фашизм — враг человечества и всего человеческого в человеке. Для Гитлера и его «погробовцев» человек — сперва мишень, неподвижная или движущаяся мишень, а потом топливо для крематория...

Как Этьен счастлив, что дожил до свободы, лежит на альпийском лугу, вдыхает его ароматы. Воздух сегодня не отравлен зловонием крематория, потухла, остыла адская труба в Эбензее и во всех других лагерях...

Несколько раз к Старостину, который грелся на солнце и никак не мог согреться, подходили товарищи. Кто-то сообщил, что скоро к Старостину привезут самого лучшего врача из соседнего городка. Кто-то делился последними радионовостями. А Старостина больше всего беспокоило — не появился ли представитель советских войск: по всем расчетам выходит, что наши где-то совсем близко. На этот случай были бы очень кстати его старые документы. Лежат они себе в узкой нише, под мраморным подоконником в траттории «Фаустино» в доме номер 76, на улице того же названия, в Гаэте. Найдутся ли они когда-нибудь? И в чьи руки попадут?..

Он позвал Донцова, попросил его и Мамедова заняться картотекой, которую они утаили от немцев. Сколько военнопленных привезли в Эбензее? Сколько осталось в живых? На многих карточках стоят условные значки, их надо расшифровать. Выяснить, кто сотрудничал с гитлеровцами.

День прохладнел, и Этьен начал собираться к себе в отель. Он принес в комнату пучок травы и полевых цветов.

После обеда почти все товарищи разбрелись кто куда: не сиделось на месте в день, когда так явственно слышалась величественная поступь истории, когда планета обретала мир.

На соседней кровати лежал Боярский. Он встал, протянул Старостину плитку шоколада, но тот отказался: от шоколада он больше кашлял.

Вернулся Мамедов, спросил у Старостина, как дела, не нуждается ли в чем-нибудь.

— Все хорошо. А чувствую себя плохо.

Мамедов дотронулся до лба — жар, да еще какой. Старостин заходился в кашле, был бледен, но острые скулы розовели так, будто в комнату проник свет преждевременного заката.

Мамедов принялся что-то торопливо врать про близость снежных вершин, от них несет холодом, как только садится солнце. Но, произнося все эти утешительные слова, Мамедов сидел у раскрытого окна в непривычно белой рубахе и почему-то холода не ощущал.

— Как говорят у нас в Белоруссии, старая баба и в Петров день на печке мерзнет. — Старостин несмело улыбнулся, шумно передохнул и попросил: — Накрой меня.

Мамедов набросил свое одеяло, но Старостин и под двумя одеялами стучал зубами.

— Пить! — снова и снова просил Старостин.

Мамедов подал воды, Старостин сделал несколько глотков и притих, кашель унялся.

Быстро наступили сумерки — во все три окна комнаты вставили темно-синие стекла. За домом не умолкали крики, веселый гам, доносились отзвуки бессонной праздничной кутерьмы. Несколько раз приходили товарищи из других отелей, разбросанных в долине, и приглашали Старостина на завтрашний торжественный обед. Он всех благодарил и всем обещал прийти, но чтобы выполнить обещания, ему пришлось бы съесть пять или шесть обедов. Напоследок к Мамедову пришли армянские сородичи, пригласили его и Старостина завтра на плов.

Позже в комнату ворвалась толпа орущих, ополоумевших от счастья людей — только что по радио пере-

дали о полной и безоговорочной капитуляции Германии. У громкоговорителя в вестибюле не расходилась толпа. Одновременно в раскрытые окна донесся колокольный звон — благовест победы. Раздались далекие орудийные залпы, а где-то по соседству загремели автоматные очереди. И через любое из трех окон можно было увидеть отсветы салюта, возникшего внезапно. Зачем беречь ракеты, когда и кому они еще понадобятся? За окнами долго бушевала оглушительная, ослепительная буря восторга. Майский вечер, а за ним и ночь не могли вернуть себе первобытной черноты, подсвеченные зарницами и отсветами торжества.

Мамедов не стал тревожить Старостина, оставил ему одеяло, а сам накрылся шинелью. Погасил тусклую лампочку: все равно накал слабый, виден каждый волосок.

— Держись, Яков Никитич, завтра праздник Победы, — сказал Мамедов и, едва положив голову на подушку, заснул.

Проснулся Мамедов, когда рассвет уже заглядывал в окна. Спросонья померещилось, что лежит на нарах в блоке № 15 и его кто-то душит. А это Старостин приподнялся на своей кровати, перегнулся и тянул Мамедова за воротник рубахи.

— Сергей...

— Что случилось, Яков Никитич?

— Не увижу... Не вернусь... Будешь в Москве, зайди... — Он задыхался, каждое слово давалось с трудом, тянулся к Мамедову и наконец решился: — Передай, что я — Этьен... Чтобы семью не оставили... Сделал, что мог... Запомни — Этьен... Наде и Тане...

Он лежал возле окна, и Мамедов хорошо видел его бескровное лицо.

Он с трудом поднял веки, попытался сказать еще что-то, но не смог — кровь хлынула горлом.

Проснулся и подбежал Боярский. Голова Этьена покоилась на руке Мамедова. В предрассветную минуту кровь казалась не алой, а серой, она растекалась по белоснежной рубахе.

Этьен поник головой, в глазах угасли и боль и тревога, будто он преодолел самое трудное в жизни.

138

Из письма Г. Г. Айрапетова (С. Мамедова):

«Утром 9 мая 1945 г. начались печальные хлопоты. Для всех нас, близких друзей Старостина, день Победы принес не только радость, но глубокое горе. Создали комиссию по похоронам. Председатель генерал-майор Н. И. Митрофанов, члены комиссии: А. И. Илларионов, А. М. Бель, Ф. Н. Донцов, П. И. Генрихов, С. Г. Мамедов.

Похороны откладывались, нужно было заказать венок, изготовить гроб. Кто это сделает? Митрофанов с несколькими товарищами поехал к бургомистру городка Эбензее за помощью. Тот обещал помочь и сдержал слово. Венок был с надписью, а гроб обит красным и черным крепом. Гроб и венок привезли к нам в отель 10 мая. Кругом шло неугомонное ликование, а в Спорт-отеле был траур. Тело Старостина лежало в зале на первом этаже 10, 11 и 12 мая до полудня. Выставили почетный караул. Шли и шли бывшие узники из соседних поселков, разбросанных в долине.

12 мая 1945 г. прибыл взвод американских солдат, прислали «студебеккер», и в 5 часов дня по австрийскому времени члены комиссии стали в последний почетный караул. Вместе с нами стоял американский офицер. Близкие друзья вынесли гроб из Спорт-отеля. Траурная процессия двинулась из Штайнкоголя, перешла по узкому мосту на другой берег реки. За гробом шло много народа. Возле моста гроб установили на открытой грузовой машине...

Траурный митинг открыл генерал Митрофанов. Потом слово было предоставлено мне, «другу Старостина по нарам», как выразился генерал. Я сильно волновался и не могу точно вспомнить все сказанное мною у могилы. Но, помню, сказал: «Мы еще не знаем, кто из нас — кто. Но всем нам ясно, что Яков Никитич Старостин был выдающимся человеком. Он спас многим из нас жизнь, которая теперь вновь стала свободной... Стоя у могилы, даю товарищам клятву, что священное поручение, кото-

рое Старостин доверил мне перед смертью, я выполню. Можешь об этом не тревожиться, дорогой Яков Никитич!»

После митинга американский солдат сыграл на рожке что-то печальное. Солдаты подняли автоматы, прогремело три залпа. Я оглянулся вокруг себя — многие плакали.

Митрофанов, Илларионов, я и еще один товарищ, фамилию которого я забыл, возложили на свежую могилу венок из альпийских роз. И на кресте — бургомистр, не зная наших обычаев, прислал крест — написали: «Здесь покоится советский полковник Старостин Яков Никитич».

ЭПИЛОГ

После Милана, до позолоченной макушки Дуомо пропахшего выхлопными газами, окутанного чадным дымом («смог!»), после Рима, с его шумной бессонницей, толчеей многоязычной толпы и тугими пробками автомобилей на узких улочках, находишь особое очарование в прогулке по тихой Гаэте, которой удалось сохранить черты первозданной провинции. В Гаэте ящики с кока-колой перевозят на тележке, в которую впряжен мул. Здесь рыбаки расстилают на прибрежных валунах и штопают свои сети, еще не просохшие, хранящие запахи моря. Здесь и лошади, и мулы, и ослы еще не перестали пугаться бешено мчащихся американских джипов. Здесь в портовой траттории можно услышать самую модную пластинку битлз, а вперебивку с ней — старинную и нестареющую неаполитанскую песню, доносящуюся с рыбачьей лодки. После крикливых радиол, транзисторов и телевизоров

сильнее чувствуешь прелесть голоса, согретого живым теплом; голос звучно бежит над водой и пленяет прекрасной силой искренности.

Американские корабли стоят в непосредственном соседстве со старинной военной крепостью. Она встроена в скалистый мыс Орландо, смело шагнувший в море. Высеченные стены крепости отвесно подымаются над водой. Круглые башни по углам крепости устремлены еще выше, с ними не может соперничать даже маяк. Сегодня в крепости на мысе Орландо пустуют тюремные камеры. Только в одно из сотни зарешеченных окон смотрит узник — это пожизненно заключенный в крепость палач эсэсовец Редер. Интересно, видит ли он американскую эскадру, видит ли крейсер-ракетоносец «Литтл-Рок», стоящий в гавани? Эскадра нашла здесь приют после того, как генерал де Голль отказал им в гостеприимстве и американцы вынуждены были покинуть Марсель.

Гаэта — вовсе не конечный пункт путешествия, которое мы совершаем вдвоем с историком Георгием Семеновичем Филатовым. Маршрут наш лежит на захолустные острова Понтийского архипелага.

В прежние годы пароходы туда уходили из Гаэты, но после того как гавань заняли корабли 6-го американского флота, итальянцам не хватило удобных причалов для себя, и пристань перенесли в соседний портовый городок Формию. А может, это сделано, чтобы не тревожить американских постояльцев?

Погода нам не благоприятствовала, пароходик шел, покачиваясь на беспокойной рваной волне. Тем же путем чуть ли не с начала нашего века ходил в этих водах пароход «Санта-Лючия»...

Каменный волнорез, ограждающий пристань на Вентотене, разбит прошлой зимой, но так как шторм не утихает, а даже крепчает, кажется, что волнорез только сейчас вот раскололо на могучие каменные глыбы. Их очертания смутно видны в белопенной кипящей воде.

Островок малолюдный, четыреста жителей. Больше всего рыбаков, немало садоводов, огородников. Эти места славятся отличной фасолью и чечевицей; к слову

сказать, плоды на Вентотене не червивеют, в садах и огородах иет вредителей.

— Русские на острове! Русские иа острове! — слышались вечером возгласы под окнами траттории, при которой содержат меблированные комнаты.

На острове нет ни одного отеля под вывеской. Меблированные комнаты обставлены старинной мебелью: не кровати, а альковы, не стулья, а кресла с вычуриыми высокими спинками и гнутыми ножками, мебель постарше всех надцатых Людовиков.

— Русские на острове!

Событие незаурядное, и его следовало всесторонне обсудить за бутылкой русской водки. Старожилы пытались вспомнить, когда же в последний раз здесь были русские. После темпераментиой дискуссии пришли к выводу, что в последний раз русские на Вентотене были полвека назад, после первой мировой войны. Эта была группа солдат русского экспедиционного корпуса, воевавшего во Франции. «Пушечное мясо» было продано русским царем за военный заем, предоставленный французскими банкирами.

После того, как в России свергли самодержавие, солдаты заторопились домой. Утлое судно было прибито штормом к Вентотене, на этом островке русские пережидали непогоду, а затем через Неаполь, Пирей, Стамбул вернулись в революционную Россию.

Но местные рыбаки не знали, что еще один русский был в этих местах двадцать семь лет назад — то был Чинкваито Чинкве...

Синьор Беньямино Верде, племянник бывшего тюремного поставщика (мы познакомились с ним на палубе парохода), помог нам нанять моторную лодку и на всякий случай сговорился с гребцами: неизвестно, как море поведет себя завтра. Волна может плеснуть через борт, и если она зальет мотор, гребцы возьмутся за весла.

Незабываемо раннее утро на рыбачьей пристани, где волшебно смешались все краски палитры, все запахи моря, а заодно — приметы и признаки разных эпох. Рыбачья пристань Вентотене удивительно похожа на яркую театральную декорацию, в какую художники рядят пьесы

Шекспира или Лопе де Вега — пусть это будет «Венецианский купец», «Два веронца» или «Валенсианская вдова».

Не этот ли самый рыбачий баркас, только что причаливший, поразил некогда воображение Кертнера? Баркас мог бы приплыть непосредственно из XVII столетия, если бы за деревянным бушпритом, украшенным причудливой резьбой, не виднелся мотор, а также радар японского происхождения, вделанный ниже ватерлинии в борт и помогающий отыскивать косяки рыб. К старинному силуэту баркаса и старинному покрою паруса никак не подходит одежда рыбаков — ярко-желтые нейлоновые комбинезоны с капюшонами. У хозяина, встречающего баркас, — модная замшевая куртка на «молнии», газовая зажигалка, сигареты с фильтром. Но, как и столетия назад, рыбаки споро выпростали свою сеть — рыба при утреннем свете поблескивала влажной перламутровой чешуей.

Волна бьет в борт, но ветер «дует в карман», — лодочникам, чтобы причалить, не придется огибать весь остров дьявола, зловеще торчащую из моря скалу. Волна подкатывает к ближним камням уже обессиленная.

Лет пять назад Международный конгресс Красного Креста обратился с петицией к правительствам Португалии, Испании, США, Италии и еще нескольких государств, где имеются каторжные тюрьмы с очень суровым режимом: там чаще, чем в других местах заключения, кончают самоубийством или сходят с ума. В этом перечне значилась и Санто-Стефано.

Воззвание к гуманности нашло отклик. И вот, после ста семидесяти лет, замки каторжной тюрьмы на острове дьявола открылись. Узников расселили по другим адресам, опустели девяносто девять одиночных и общих камер на Санто-Стефано.

Сегодня тюрьма необитаема, как и весь островок. Дичают виноградники и те фруктовые деревья, которые еще не перестали плодоносить. Заросли сорняками огороды, на которых некогда работали каторжники. Лишь бродит по острову одинокий осел, завезенный сюда на подножный корм с Вентотене, да бегают одичалые кролики.

Вот уже четыре года обречены на безделье тяжелые

связки ключей. Перестали греметь задвигаемые-отодвигаемые засовы на дверях, обитых железом, в здании тюрьмы воцарилась неслыханная тишина и запустение.

С волнением держал я в руках ключи от камер, где томились Этьен и его друзья Лючетти и Марьяни. Посидели на тюфяках, поглядели в окна, окованные решетками.

На остров Санто-Стефано мы добрались из Модены, после того как побродили по двору тюрьмы Кастельфранко дель Эмилия, где точно так же ржавеют толстые железные прутья.

Что может быть печальней кладбища на необитаемом острове? По-прежнему слева от калитки можно прочесть: «Здесь кончается суд людей». А справа: «И начинается суд бога...».

Это изречение напомнило мне мемориал в скалах Сьерра де Гвадаррама. Там прямо в небо упирается огромный крест, там сооружен помпезный пантеон фашизма, там захоронены виновники убийств и казней, укравшие у испанского народа свободу и утопившие ее в крови.

На самом почетном месте в пантеоне покоится прах Хосе Антонио Примо де Ривера, основателя фаланги и вождя испанских фашистов. А в небольшом, полном очарования городке Памплоне (благодаря Хемингуэю мы стали очевидцами тамошних коррид) высится мемориал в честь генерала Мола, того самого, кто должен был 7 ноября 1936 года въехать на белом коне в Мадрид, на площадь Пуэрто дель Соль, чтобы подтвердить свою репутацию палача, уже полученную на севере Испании...

После памятников жертвам фашизма в Риме и Генуе, в Вене и Линце, в Маутхаузене и Эбензее трудно предаться тихой печали и чувству всепрощения, созерцая мраморные надгробья фашистским вождям, палачам испанского народа.

Нет, не кончился суд людей! И напрасно сегодняшние наследники Франко уповают на милосердный суд бога. Не в силах помочь и статуя святой девы Марии, которая по сей день выполняет обязанности покровительницы прекрасной Севильи.

Все так же благоухают фруктовые сады и апельсиновые рощи на берегу Гвадалквивира, по соседству с аэродромом Таблада, куда приземляются и откуда взлетают чужие бомбардировщики с атомным багажом. Комендант военного аэродрома и его командансия по-прежнему находятся за восточными воротами, и вход на аэродром посторонним воспрещен, как и прежде.

Все так же сказочно красив дворец-крепость Алькасар в Толедо. Но теперь он превращен в военный музей, где пытаются оболгать саму историю, там лживые гиды рассказывают о «благородстве и гуманизме» фашистских мятежников и варварстве, жестокости антифашистов.

Можно уверенно сказать, что из 23 миллионов туристов, побывавших в прошлом году в Испании, большинство побывали в прекрасном Толедо и совершили волшебное путешествие во времени — окунулись в средневековье. И сегодня здесь бойко торгуют издревле знаменитыми толедскими клинками, драгоценными украшениями и бижутерией, не лишенной вкуса. Но в числе сувениров и осколки снарядов, которыми густо была усеяна городская земля, когда республиканцы осаждали замок-крепость Алькасар в центре города. Чем весомее осколок, тем сувенир дороже.

В магнитофонной записи звучит инсценированный разговор Москардо, командовавшего мятежниками в осажденном Алькасаре, с его сыном, оказавшимся в руках республиканцев. Москардо отказался сдать крепость, хотя республиканцы якобы обещали в награду за это сохранить жизнь его сыну. Москардо, в соответствии со сценарием, сказал сыну, которому республиканцы передали телефонную трубку: «Вручи господу свою душу, восклицая «Да здравствует Испания!», и умри патриотом». О том, что фашист Москардо держал у себя в крепости в качестве заложников жен и детей рабочих Толедо, гиды не упоминают, это не вошло в сценарий телефонного разговора, который ныне транслируется на многих языках, в том числе на русском и украинском.

Бывший узник Антонио, испанец по национальности и республиканец по убеждениям, водил меня по конц-

лагерю Маутхаузен, превращенному в музей. Постояли у памятника Карбышеву, вошли в тот блок, где на третьем этаже нар ютился Старостин и куда тянулись крепкие нити подполья.

Не один день рылся я в архивных материалах в Вене. Директор мемориального музея Ганс Маршалек помог мне найти в картотеке сведения об узнике концлагеря R-133042 Старостине.

До этого я работал несколько месяцев в московских архивах. Мелко исписанные листки вощеной, тонкой папиросной бумаги. Пожелтевшие странички писем, выцветшие строчки. Я неплохо изучил почерк Этьена, но иные записки крайне неразборчивы. Эти записки он писал будучи больным, держа карандаш распухшими от холода пальцами. Некоторые листки были сложены во много раз, время не может разгладить сгибы. Их заворачивали в кусочки кальки, пергамента, их склеивали жевательной резинкой. Не о них ли все время помнили связные Этьена, когда целовались на свиданиях в тюрьме? Иные клочки бумаги исписаны невидимыми чернилами.

Ни поездки, ни архивные розыски не позволили бы воссоздать образ Маневича-Этьена-Кертнера-Старостина. Помощь пришла от семьи — жены, Надежды Дмитриевны, и дочери, Татьяны Львовны Маневич, от родственников, близких друзей, знакомых, бывших сослуживцев, соратников, а также антифашистов, узников концлагерей Маутхаузен, Мельк, Эбензее. Все они щедро делились воспоминаниями.

Неоценимую помощь оказали Георгий Григорьев, Сигизмунд и Анна Скарбек, Раиса Старостина.

Я пользовался драгоценными советами генерал-полковника Героя Советского Союза Хаджи Джиоровича Мамсурова, в прошлом — легендарного подполковника республиканской армии Ксанти. Хочется верить, что о делах этого героического человека, безвременно ушедшего недавно из жизни, будет еще рассказано.

В Баку вел беседы с Амалией Николаевой, сестрой Этьена, а также с Грантом Айрапетовым (Мамедовым).

В Чаусах в доме № 39 по улице Маневича (бывшая

Кооперативная) встретился с Савелием Давыдовым, товарищем детских и юношеских лет Маневича.

Удалось разыскать немало зарубежных друзей и знакомых Этьена в Италии, Австрии, Чехословакии, Западной Германии. Одни лично знали Этьена, другие помогли найти свидетелей и участников тех далеких событий.

В Риме меня принял Умберто Террачини. Я с благоговением слушал старого мудреца, несгибаемого рыцаря революции, патриарха Итальянской компартии. В его жизни отразилась более чем полувековая история коммунистического движения в Италии.

Террачини сидел в кресле за массивным письменным столом, а моему воображению он являлся молодым, сидящим в железной клетке для подсудимых, рядом с Антонио Грамши, Пальмиро Тольятти и другими вождями партии, когда их в 1926 году судил Особый трибунал по защите фашизма. И тот же самый председатель трибунала, его превосходительство гранд-уфичиале генерал Сапорити, спустя десять лет подписал приговор Конраду Кертнеру!

По итальянской традиции всем бывшим премьер-министрам и бывшим председателям Национального собрания пожизненно предоставляется в здании сената кабинет с секретарем и стенографисткой. Умберто Террачини был первым председателем Национального собрания после второй мировой войны, а в последние годы бессменно избирается в сенат и руководит там коммунистической фракцией. Как и его соратники по революционной борьбе, в годы фашистского режима Умберто Террачини много лет томился в тюрьмах и ссылке.

По слухам, какие дошли до меня в институте Грамши, существуют мемуары Джузеппе Марьяни, товарища Кертнера по каторге Санто-Стефано. Но сколько мои добровольные помощники ни рылись в каталогах последней четверти века — никаких следов. Не слышал об этой книге и Умберто Террачини, но на всякий случай обещал расспросить ветеранов. И каково же было мое радостное удивление, когда в Москву пришла желанная и неожиданная бандероль: Умберто Террачини почтил меня сво-

нм вниманием, разыскал и прислал книгу Джузеппе Марьяни «Мемуары бывшего террориста». Почему же ее не могли найти историки, почему книга не числилась в библиографических справочниках и каталогах? Разгадка в том, что эта книга — «Изданне автора». Он выпустнл книгу в провинцни маленьким тиражом и посмертно помог воссоздать в подробностях жизнь каторжан Санто-Стефано.

С волнением ехал я в Милан, на встречу с Бруно. Долгие три года он был соседом Кертнера по камере в тюрьме Кастельфранко дель Эмилия. Бруно приехал из Новары. Он работает там в коммунистической артели столяров: мастерят прилавки, полки для магазинов, стойки для баров. На два дня комфортабельный номер отеля на шумной улице Буэнос-Айрес как бы превратился в тюремную камеру. Конрад Кертнер был неразлучен с нами. Бруно и сейчас считает его учителем жизни, хранит братскую преданность ему и нежность... В окно виднелось стылое, пасмурное небо, моросил неторопкий, надоедливый дождь, прохожие не расставались с зонтиками, февральская слякоть, промозглый северный ветер, о котором в Милане говорят: свечн он ие задует, но в могилу уложит. Два дня мы не показывали носа на улицу: так много хотелось мне выспросить и записать, а Бруно — вспомнить и рассказать. Если бы я не был в Милане в другую пору, когда нашлось время навестить могилу Верди и послушать в «Ла Скала» «Аиду», погулять в антракте по партеру, где часто снживал Кертнер, — я бы так и уехал, лишь мельком повидав Милан, промокший, пропахший бензиновым чадом...

В Праге, на тихой, зеленой окраине Девнце, я долго беседовал с бывшим пнсарем шрайбштубе, ныне историком Драгомиром Бартой, — его по праву следует назвать летописцем концлагеря Эбензее.

Недавно пришло пнсьмо из Киева, от А. К. Шаповалова, товарища Старостина по лагерному подполью. Он вернулся из ФРГ, куда ездил как свидетель. Бывшие заключенные Эбензее добнваются предания суду лагерфюрера Антона Ганца. Полагалн, что он убит, но в 1966 году

бывший узник встретился с ним лицом к лицу на улице Штутгарта. Все годы Антон Ганц жил под чужим именем, стал владельцем крупной транспортной конторы. Суд в Меммингене до сих пор занят сбором улик против Антона Ганца, и еще не ясно, будут ли судить и осудят ли лагерфюрера Эбензее.

Через двадцать три года после того, как в долине Эбензее появилась могила Якова Никитича Старостина, Яков Никитич Старостин медленно прогуливался по саду больницы старых большевиков в Сокольниках, в Москве.

Днем 9 мая 1968 года его проведали Надежда Дмитриевна и Татьяна Львовна. В семьях Маневича и Старостина День Победы — и праздник, и траурная дата.

Шел тогда Якову Никитичу, как он говорил, «восемьдесят шесть, седьмой». И производственный стаж был у него «преклонный»: 66 лет и 10 месяцев. Мастер по медницкому делу Яков Никитич Старостин ушел на пенсию семидесяти пяти лет.

Много лет назад узнал он, что имя его значится на могиле, в которой покоится прах друга всей его жизни. Он был горд, когда узнал, что Лев Маневич почти два года прожил, не разлучаясь с его именем, а значит, все время помня о нем.

В 1965 году Старостин прочитал Указ Президиума Верховного Совета СССР:

> «За доблесть и мужество, проявленные при выполнении специальных заданий Советского правительства перед второй мировой войной и в борьбе с фашизмом, присвоить полковнику МАНЕВИЧУ ЛЬВУ ЕФИМОВИЧУ звание Героя Советского Союза посмертно».

И только в тот день, когда Указ был обнародован, умерла старая «легенда».

Вскоре останки героя перенесли из долины реки Зее в город Линц, на кладбище Санкт-Мартин, где покоятся

павшие советские воины. С тех пор на могильном памятнике значится: «Герой Советского Союза полковник Л. Е. Маневич».

Мы и сегодня числим его на действительной сверхсрочной службе в Советской Армии.

1966—1970

ОГЛАВЛЕНИЕ

Воробьев Евгений Захарович

ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

М., «Советский писатель», 1972 г.
752 стр. План выпуска 1972 г. № 67

Редактор *А. И. Кругликов*
Худож. редактор *Е. И. Балашева*
Техн. редактор *М. А. Ульянова*
Корректоры *Ф. А. Рыскина, Л. Г. Соловьева* и *Ф. Л. Эльштейн*

Сдано в набор 2/IX 1971 г. Подписано в печать 19/I 1972 г. А 06709. Бумага 84×108$^{1}/_{32}$ № 2. Печ. л. 23$^{1}/_{2}$ (39,48). Уч.-изд. л. 38,20. Тираж 200 000 экз. Заказ № 1247. Цена 1 р. 25 к.

Издательство «Советский писатель» Москва, К-9, Б. Гнездниковский пер., 10.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР Красная ул., 1/3

Отпечатано с готовых матриц в ордена Трудового Красного Знамени тип. им. Володарского. Заказ № 572.

1р. 25к.

Сп